ЛАРС СОБИ КРИСТЕНСЕН

ПОЛУБРАТ



Этот ворвавшийся с холода роман обжигает сердце, освежает душу и наполняет светом часы, проведенные с ним наедине [*Madame Figaro*]

THE BEST OF **ИНОСТРАНКА**

Полубрат
Ларс Соби Кристенсен

Аннотация
Ларс Соби Кристенсен. ПОЛУБРАТ
(пролог)
ПОСЛЕДНИЙ СЦЕНАРИЙ
ЖЕНЩИНЫ
ЧЕМОДАН С АПЛОДИСМЕНТАМИ
БАРНУМ
ОТКОРМКА. Сценарий Барнума Нильсена
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Аннотация

Ларс Соби Кристенсен — вероятно, наиболее известный в мире современный скандинавский писатель. Впервые слава пришла к нему еще в семидесятые, когда он опубликовал свой поэтический сборник «История Глу», а в 1984-м весь мир обошел его первый роман «Битлз», собравший несколько престижнейших международных литературных наград. Однако лучшим его произведением все-таки стал «Полубрат»: именно за него Кристенсен получил «Премию Северного совета» — в Европе ее часто называют «Скандинавским «Нобелем», именно он держит абсолютный рекорд для всей скандинавской литературы — перевод более чем на тридцать языков.

На страницах «Полубрата» уместилось полвека — с конца Второй мировой до рубежа тысячелетий. В центре сюжета двое сводных братьев, связанных странной, ожесточенной и болезненной любовью-ненавистью. Братьев окружают женщины, сильные, страстные и потому одинокие: мать, которая в день окончания войны стала жертвой на-

силия, бабушка и прабабка-актриса немого кино, не сыгравшая ни одной роли. Это не просто семейная сага с захватывающим сюжетом, это еще и роман о лжи и самообмане, подчиняющих себе жизнь героев и разрушающих ее изнутри.

Ларс Соби Кристенсен
ПОЛУБРАТ

(пролог)

Спасибо! Я вытянулся на самых цыпочках, просунул насколько смог руку в окошко, и Эстер положила мне на ладонь двадцать пять эре, сдачу с одной кроны. Потом она протиснулась в узкий проём, запустила костлявую руку в мои пшеничные кудри и задержала её так, это было не очень-то приятно, но и не внове, я пообвыкся уже. Фред давно свинтил, пакетик с ирисками он сунул в карман, и я видел по тому, как он идёт, что он в ярости. Он злился, и ничего хуже этого нельзя было придумать. Фред шёл, шаркая подмётками по тротуару, втянув голову в худющие вздёрнутые плечи, будто каждый шаг давался ему с натугой, можно подумать, шквальный ветер валил его с ног, а он боролся с ним из последних сил, хотя на улице теплел прекрасный майский день, суббота к тому же, и небо над Мариенлюст было ярким и синим и тихо скатывалось к лесу за городом, как огромное-преогромное колесо. — Фред заговорил? — шепнула Эстер. Я кивнул. — И что сказал? — Ничего. — Эстер хихикнула. — Давай, догоняй братца. А то он один всё съест.

Она высвободила руку из моих волос и поднесла к носу понюхать, но я уже рванул за Фредом, и вот ровно это засело в памяти, этот мускул приводит в движение воспоминания, не восковые старушечьи пальцы в моей шевелюре, а то, как я бегу за Фредом, моим сводным братом, пыхчу, но догнать-то его на самом деле невозможно. Младший братишка-недомерок, я силюсь понять, с чего он взъелся, я чувствую уколы сердца в груди и тёплый, острый привкус во рту, я мог прикусить язык, пока мчался по улице. Я стискиваю в кулаке сдачу, липкую монетку, и несусь за Фредом, за тощей, тёмной фигуркой в ярком свете вокруг нас. На часах телебашни восемь минут четвёртого, Фред уже устроился на скамейке у кустов. Я выхожу на финишную прямую и лечу по Киркевейен, сейчас эта «дорога к храму» почти пуста, суббота же, только похоронный катафалк обгоняет меня и вдруг глохнет на перекрёстке, из него выходит шофёр весь в сером и, матерясь, принимается лупить по капоту, а внутри, в удлинённом салоне, стоит белый гроб, но он, конечно же, пуст, никого не хоронят в субботу под вечер, у могильщиков тоже выходной, думаю я, чтобы не думать о другом, а если там всё-таки лежит кто-то, тоже ничего страшного, у покойников времени

навалом, думаю я, но тут серый шофёр в чёрных перчатках наконец оживляет мотор, и катафалк исчезает на Майорстюен. Шумно ловя ртом вонючий пробензиненный воздух, я сворачиваю на газон, к устроенным здесь крохотным улочкам, тротуарам и светофорам, похожим на городок лилипутов, где раз в год великаны-полицейские в форме, перетянутой широкими блестящими ремнями, учат нас правилам движения. Это здесь, в лилипутском городке, я перестал расти. Фред сидит на лавке и смотрит совсем в другую сторону. Я сажусь рядом, кроме нас в этот тёплый майский день, в субботу после обеда, здесь ни души.

Фред засовывает в рот острый осколок ириски и тщательно разжёвывает, лицо ходит ходуном, на губах выступает коричневая слюна и начинает подтекать. Глаза у него мрачные до черноты, и они дрожат — у него дрожат глаза. Такое я видел и прежде. Он молчит. Голуби беззвучно ковыляют в высокой траве. Я жду. Но терпенье быстро иссякает, и я спрашиваю: — Что случилось? — Фред сглатывает, по худенькому кадыку пробегает дрожь. — Когда я ем, я глух и нем. — Фред засовывает в рот ещё ириски и медленно раскусывает их. — Чего ты рассердился? — шепчу я. Фред подъедает все ириски, комкает корич-

невый пакетик и пуляет его на тротуар. На него с криком пикирует, распугивая голубей, чайка, проносится на бреющем над асфальтом и взлетает на фонарь. Фред откидывает чёлку со лба, она тут же снова падает на глаза, он больше не поправляет её. Наконец заговаривает: — Что это ты наговорил старухе? — Эстер? — Кому ж ещё? Вы уже просто по имени? — Я голоден, меня мутит. И больше всего мне хочется прилечь на траву, где ходят вперевалку голуби, и заснуть. — Ничего я не говорил, не помню. — Помнишь наверняка. Подумай-ка. — Ну не помню я, Фред. Честное слово. — Я помню, а ты, значит, не помнишь? — Не знаю, правда. Ты поэтому злишься? — Вдруг он упирает мне руку в затылок. Пальцы сжаты в кулак. Я съёживаюсь. — Ты идиот? — спрашивает он. — Нет, не знаю, Фред. Слушай, будь так добр, веди себя как человек. — Быть добрым? Ну, уже теплее. — Пожалуйста, не говори так. Не надо. — Он растопыривает пальцы и пропахивает ими мне по лицу, от них сладкая вонь, как будто он натирает меня клеем. — Повторить, что ты сказал? — Да. Повтори. Что я сказал? — Фред наклоняется ко мне. Я отвожу глаза. — Ты сказал: «спасибо»!

У меня гора с плеч. Я-то думал, что ляпнул что-

нибудь другое, ужасное, зазорное, чего ни в коем случае говорить нельзя, чего я даже и не знал, а оно раз — и само вырвалось у меня, у пустозвона. Я прокашлялся. — Спасибо? Я так сказал? — Да! Так ты, чёрт побери, и сказал: *спасибо!* — Фред орал, хотя мы сидели на одной скамейке, впритирку. — Спасибо большое! — надрывался он. Я не совсем понимал, чего он взъелся. И пугался всё больше. Ещё чуть-чуть, и обдуюсь. Я не дышал. Мне страшно хотелось ответить правильно, впопад, но как угадаешь, когда неясно, что у него на уме. *Спасибо.* И заплакать тоже было нельзя. Тогда Фред распсихуется или станет высмеивать меня, а насмешки его, их вообще нельзя вынести. Я пригнулся к коленкам. — И что? — прошептал я. Фред застонал: — И что? Нет, я вижу, всё-таки ты идиот. — Нет, Фред, я не идиот. — А откуда ты знаешь? — Я задумался: — Мама говорит. Она говорит, что я не идиот. — Фред молчал. Я не решался взглянуть на него. — А про меня она тогда что говорит? — То же самое, — выпалил я. Я почувствовал его руку на своём плече. — Надо думать, ты не врёшь своему брату, — вымолвил он тихо, — пусть даже и сводному? — Я поднял глаза. Меня ослепил свет. И получилось, что солнечный свет полон звуков, со всех сторон

прорезались высокие, громкие звуки. — Ты из-за этого злишься на меня, да, Фред? — Из-за чего? — Из-за того, что я сводный? — Фред показал на мой кулак, в котором я так и сжимал сдачу, монетку в двадцать пять эре, горячую и влажную, как пастилка, которую человек пожевал-пожевал и вынул. — Это деньги чьи? — спросил Фред. — Наши. — Он кивнул несколько раз, и мне стало жарко от счастья. — Возьми себе, — быстро сказал я. Пусть берёт монетку, мне же лучше. Но Фред просто сидел и рассматривал меня. Я снова забеспокоился. — Зачем говорить «спасибо», если тебе отдают твои же деньги?

У меня перехватило дыхание — как всё просто! — В другой раз головой думай, понял? — Да, — пискнул я. — Потому что мне не нужен брат, который ведёт себя, как говнюк. Даже если это всего лишь какой-то сводный брат. — Понял, — просипел я. — В другой раз буду думать. — «Спасибо» — говно, а не слово. Чтоб я такого больше не слышал. Усёк? — Фред поднялся, сплюнул, и тяжёлый коричневый плевок описал дугу и смачно шмякнулся на траву прямо перед нами. Я увидел, как на него накинулся отряд муравьёв. — Слушай, я пить хочу, — заявил Фред. — От этих ирисок теперь жажда.

Мы пошли обратно к Эстер, в палаточку в нише дома прямо напротив церкви Майорстюен, белого храма, настоятель которого не пожелал крестить Фреда, а потом и меня отказался, но это уже из-за имени. Я подошёл к окошку, вытянулся на цыпочках, Фред прислонился к водосточной трубе, взмахнул рукой и кивнул, как будто мы сговорились о серьёзном деле. Показалась Эстер, заулыбалась, увидев меня, и опять потрепала мои кудри, как без этого. Фред вывалил язык дальше некуда и состроил гримасу, как будто его тошнит. — Наш юный джентльмен что-нибудь забыл? — пропела Эстер. Я стряхнул её руку со своей макушки. — Пакетик сока. Красного. — Она посмотрела на меня в изумлении: — Пакетик красного сока? Сейчас. — Она поставила его на прилавок. Фред сторожил рядом, в тени, тоже почти ослеплённый пронзительным сиянием выбеленной стены храма на той стороне улицы. Фред не спускал с меня глаз. Всё видел. Всё слышал. Я сунул Эстер двадцать пять эре, она тут же вернула мне пятачок. — Пожалуйста, — сказала Эстер. Я глядел ей в глаза, а небо над нами по-прежнему лениво скатывалось к лесу, как огромное синее колесо. Стоя на цыпочках и не отводя взгляда от её глаз, я несколько раз

сглотнул. Потом показал на пятачок. — Это наши деньги, — звонко проверещал я. — Так и знайте! — Эстер едва не вывалилась в узкое окошко: — Вот тебе раз! Что это с тобой? — Мне не за что благодарить, — сказал я. А Фред схватил меня за руку и вытянул на улицу. Я отдал ему пакетик. Сока мне не хотелось. Он надкусил уголок, и капли за нами вились по тротуару красной дорожкой. — Сойдёт. Выправляешься, — сказал он. Я ужасно обрадовался. Я и пятачок хотел ему отдать. — Себе оставь, — сказал он. Я сжал кулак с монеткой. На это можно побросать колец в парке, если кто-нибудь не откажется сыграть со мной. — Спасибо большое, — сказал я.

Фред вздохнул, и я испугался, что он рассвирепеет опять. Я готов был откусить свой язык и проглотить его, не сходя с места. Но Фред неожиданно обнял меня за плечо, другой рукой выдавливая последние капли сока в водосточную канавку: — Ты помнишь, о чём я спрашивал тебя вчера? — Я киваю не дыша. — Нет, — шепчу я. — Нет? Опять не помнишь? — А я помню. А хочу забыть. И не могу. — Лучше бы уж Фред продолжал себе молчать. — Не помню, Фред. — Спросить опять? — Да, — шепчу я. Фред улыбается. Он не злится, раз он так улыбается.

— Барнум, прикажешь мне убить твоего отца?
Барнум — это моё имя.

ПОСЛЕДНИЙ СЦЕНАРИЙ

(кинофестиваль)

Тринадцать часов в Берлине, а я уже дошёл до чёртиков. Звонит телефон. Я слышу. Он меня и разбудил. но я отсутствую, я временно недоступен. Меня не подключили. Не заземлили. А вместо тонального режима оснастили лишь сердцем, оно бьётся тяжело и не в такт. Телефон всё трезвонил. Я открыл глаза, оторвавшись от плоской пустой черноты. Увидел свою пятерню. Зрелище не самое аппетитное. Она приблизилась. Потрогала моё лицо, опасливо, будто проснулась в постели незнамо с кем, словно её приставили к чужой руке. От вида раздутых, как сосиски, пальцев меня вдруг замутило. Я лежал не шевелясь. Телефон надрывался. И какие-то приглушённые голоса, постанывания, значит, кто-то поднял трубку вместо меня? Но почему телефон продолжает звонить? И откуда посторонние в моей комнате? Разве я всё-таки заснул не один? Я повернулся. Стало ясно, что звуки доносятся из телевизора. Два мужика сношались с девкой. Она не выказывала восторга, но каза-

лась вполне безразличной. На одной половинке попы у неё была татуировка, бабочка, на редкость непривлекательно расположенная. Бёдра в синяках. Мужики раскормленные, дебелые, с понурыми потугами на эрекцию, но упорные, они стонали в голос, пока всаживались в неё во всех мыслимых позах. Мрачная и занудная тягомотина. На миг безразличие девахи сменилось болью, лицо исказилось гримасой, когда один из мужиков поводил ей по губам своим обмяклым членом да и стукнул наотмашь. Рука отодвинулась от моего лица. Потом пропала картинка. Если набрать номер моей комнаты, то можно смотреть платный канал ещё двенадцать часов. Я не хотел смотреть. И не помнил номера своей комнаты. Я лежал поперёк кровати, наполовину выползши из пиджака, видимо, хотел отойти ко сну по-человечески, раздетым, но не успел далеко продвинуться, как свет в крошечной дольке в голове слева потух. Так, ботинок на подоконнике. Это я, взгромоздясь на окно, любовался видом или раздумывал совсем о другом? Может быть. Нет, не может. Понятия не имею. Болит в колене. Я снова нашёл руку. Моя. Я направил её в сторону ночного столика, и когда она наконец зависла над ним, как больная когтистая птица над белой

крысой, которая зловеще мигает красным глазом, телефон смолк. Рука вернулась на место. Сзади подступила тишина, открыла тугую молнию на затылке и прошлась по моему хребту железным языком. Я долго не шевелился. Мне надо в воду. Зелёный пузырь вот-вот перестанет терзать проспиртованную плоть, закатится в лунку души. Не помню я ничего. Как многажды прежде, гигантский ластик поработал надо мной. Сколько их истёрлось об меня… Единственное, что я помню: как меня зовут, потому что кто может забыть такое имя — Барнум? Барнум! За кого принимают себя эти родители, когда приговаривают своих сынов и дочерей пожизненно таскать колодки из букв? А чего ты не сменишь имя, иногда говорят те, кто ничего в этом не смыслит. Разве этим горю поможешь. Имя покроет тебя двойным позором, если ты попытаешься отделаться от него. Барнум! Я прожил с этим имечком полжизни. Ещё немного — и полюблю его. Вот что самое гадостное. Тут я заметил, что сжимаю в другой руке ключ от номера, обычный кусочек пластика с неким количеством дырочек пробитых по шаблону, который даёт доступ к мини-бару и опустошению лимита номера, если он не был выбран предыдущим постояльцем, от которого

остались лишь обрезки ногтей под кроватью да вмятины на матрасе вследствие тяжести ночных раздумий. Я мог быть где угодно. В Осло, на Рёсте, в комнате, из которой ничего не видно. Посреди неё обретался чемодан, старый, молчащий чемодан, так и нераспакованный, тем более что всё равно пустой, чемодан без аплодисментов, лишь со сценарием, несколько наспех набросанных страниц. Я внёс в номер вещи и тут же ушёл. Это на меня похоже. Приехать, уйти и приползти назад. Но читать я ещё могу. На стул у окна брошен белый гостиничный халат. А на нём читается название отеля. «Кемпински». Кемпински! И тут я услышал город. Город Берлин. Я услышал рёв бульдозеров на востоке и колокольный звон на западе. Медленно встал. День начался. Правда, без меня. Теперь я кое-что вспомнил. У меня назначена встреча. Красный глазок на телефоне мигает. Мне оставлено сообщение. Чёрт с ним. Педер перебьётся. Кто ещё станет названивать и оставлять мне сообщения в такой час? Только Педер. А он подождёт. Педер отлично умеет ждать. Я его выдрессировал. Ни один человек с остатками серого вещества в голове не назначает встреч до обеда в первый день Берлинского фестиваля, только мой друг, партнёр и агент, мой дражай-

ший Педер уславливается о встречах до завтрака, потому как он у нас теперь положительно остепенился. Времени двенадцать двадцать восемь. Зеленые, квадратные цифры мерцали под потухшим экраном и высветили половину первого ровно посреди двух случайных ударов сердца. Я стянул с себя одежду, открыл мини-бар и выпил две бутылочки антипохмельного *Jägermieister.* Не вырвало. Выпил ещё одну, дошёл до туалета и потошнился на всякий случай. Я не помнил, когда ел в последний раз. Бумажная полоска поперёк сиденья унитаза цела. Значит, и не отлил ни разу. Почистил зубы, натянул халат, сунул ноги в белые гостиничные тапочки, и уже в дверях мне опять попалась на глаза красная мигающая пипка телефона, но что поделать, Педер обождёт, это его работа. Тем более трепаться он горазд, его и пожар в переговорной не вдруг остановит.

Я спустился вниз, взял напрокат плавки, выпил одно пиво и один *Jägermeister* и проплыл три бассейна, до изнеможения. Лёг на спину на мелководье. Из невидимых мне динамиков струилась классическая музыка, конечно, Бах, оцифрованная версия, которой не коснулась рука человека. Несколько женщин неспешно дрейфовали на спине. Они делали это на американский

манер, всплескивая руками, как крыльями, и беспрерывно поправляя сползавшие на нос тёмные очки, совершенно необходимые им, чтобы лучше видеть и поймать заветный взгляд нарисовавшегося на бортике бассейна Роберта Дауни, Аль Пачино на платформах или моего старинного приятеля Шона Коннери, ему бы я поднёс хороший стаканчик и поблагодарил за последнюю нашу встречу. Но никого из небожителей не наблюдалось, а на меня смотреть смысла не имело. Женщины снова поправили очки, снова медленно взмахнули голубыми руками, чисто ангелы с маленькими вздутыми животиками в растворе хлорки. От этого я внезапно почувствовал себя полностью умиротворённым, уставшим и умиротворённым, почти счастливым. Я тоже лежал на спине. Но делал это, как все норвежцы, вытянув руки вдоль туловища и подгребая растопыренными, как ласты, пальцами, чтоб не пойти ко дну. Я блаженствовал в воде. И тут же меня сковал страх, он всегда обрушивается внезапно, как снег на голову, хотя я жду его. Страх проковырял дырочку в моём спокойствии. Потом высосал его. Не стряслось ли чего ночью? Неужели я должен покупать кому-то цветы, просить прощения, заглаживать вину, бесплатно

отрабатывать, лизать задницу? Может, да. А может, нет. Меня терзали подозрения. Я кувыркнулся, накатив волну на дамочек, ухватился за хлипкую лесенку, вынырнул, как эдакая Афродита с горбом и двойной оснасткой, услышал за спиной приглушённый смех и увидел как раз выходящего из раздевалки Клиффа Ричарда в гостиничных тапках и халате, хотя, возможно, это был не он. Волосы ровной толстой волной обнимали голову, а лицо было чистым и ясным. Он напоминал мумию, сбежавшую из пирамиды Шестидесятых. Иначе говоря, он прекрасно сохранился, и женщины в бассейне встрепенулись и фыркнули, как добродушные дельфины, хотя, возможно, в их списках искомых трофеев Клифф Ричард занимал не первую строку. Но для меня он живой подарок судьбы. Старик отвлёк меня от страха, подарил минутную передышку просто своим присутствием, как и раньше, в той жизни, которая стала этой историей, про меня и Фреда, и которую я буду называть словом тогда, когда я сидел в нашей комнате на Киркевейен, припав ухом к проигрывателю и слушая *Livin' lovin' doll*, а Фред молча лежал в своей кровати, широко распахнув глаза, тогда он молчал уже двадцать два месяца, столько же, сколько слонихи вына-

шивают детёнышей, он не сказал ни единого слова с того дня, когда погибла Пра, и все, и мама, и Болетта, и его классная, и школьный дантист, и Эстер из киоска, и Бог знает кто ещё, все давно отчаялись разговорить его, я во всяком случае. Но когда я поднял иглу, чтобы запустить *Livin' lovin' doll* в двадцатый раз, Фред вскочил с кровати, выдрал лапу с иглой, сбежал во двор, бабахнул граммофон в помойку и заговорил. Только Клифф расколдовал его. И за это я хотел бы сказать ему спасибо. Но сэр Клифф Ричард обогнул меня по большой дуге, уселся на велотренажёр в углу между зеркалами и покатил навстречу своим миражам, ничего вокруг не замечая, как мумия в тенниске. Моя рука прошлёпала по стойке и подняла первое, на что наткнулась: джин-тоник, липкое баловство. Четверо часов показывали время в Берлине, Джакарте, Буэнос-Айресе и Нью-Йорке. Я ограничился Берлином. Без четверти два. С Педера уже семь потов сошло. Он тянул беседу, извинялся, покупал кофе, пиво и сэндвичи, звонил в отель, разыскивал меня, оставлял сообщения, носился по пресс-центру, кивая всем знакомым, кланяясь незнакомым и раздавая визитки тем, кто его не признал. Я явственно слышал, как он говорит: *Барнум появится через*

пару минут, он куда-то заскочил по дороге, сами знаете, как это всегда бывает: гениальные идеи кустятся в самых заполошных головах, а я что — лишь практическая смётка, которая призвана донести эти идеи до мира, выпьем за Барнума! Да уж, пришлось Педеру попотеть, вот и славненько. Я хохотнул, хохотнул в голос на бортике бассейна в отеле «Кемпински», пока сэр Клифф Ричард мчался наперегонки с тремя зеркалами и маслеными взглядами американок, и столь же внезапно, как на меня нападали страх и хохот, душу затопила тень. Что со мной творится? В какой такой вымороченный экстаз я впал, что за чёрная радость пьянила меня? Неужели это тот самый последний смех, смех на пороге того, час чего ещё не пришёл, но чего я заранее боюсь больше всего на свете? Я дрожал. Меня шатнуло на зелёном мраморном полу. Я попробовал смех на вкус. Втянул его обратно. Это было не затишье перед бурей. Это было то безмолвие, которое заставляет кошку ощериваться и ёжиться задолго до того, как упадёт первая капля дождя.

Я ополоснулся в душе, прикидывая, не полежать ли в солярии. Лёгкая бронза лица и свежий вид могут сыграть свою роль во встрече. Но мной владело полное безразличие. Солярию я предпо-

чёл пиво. Официант едва заметно усмехнулся, протягивая мне бутылку. Меня поразила его молодость. Гостиничную униформу он носил с неуклюжим достоинством, почти упрямо, как ребёнок, стащивший отцовский чёрный костюм. Я решил, что он родом из бывшей Восточной Германии, его упрямство заставляло меня думать так. Его многотрудный взлёт начался в баре бассейна отеля «Кемпински». — Мистер Барнум? — спросил он тихо. Очевидно, он считал, что это фамилия. Не он первый. Прощаю. — Да, это я. — Вам послание. — Он протянул мне большой конверт с логотипом отеля. Педер таки нашёл меня. Он находил меня, даже если я прятался за горами, в Рёсте. Если я засыпал в вытрезвителе, будил меня обыкновенно Педер. Если я открывал глаза в пансионе Коха на Бугстадвейен, Педер уже стучался в дверь. Я нагнулся к стойке: — Как вас зовут? — Курт. — Я кивнул в сторону зеркал в углу. — Курт, видите этого человека? Который крутит педали как заведённый. — Да, сэр, вижу. — А вы знаете, кто это? — К сожалению, нет, сэр. — Тут до меня дошло, медленно, но со всей очевидностью, до чего я уже старый. — Не важно, Курт. Отнесите ему, пожалуйста, баночку колы. Диетической. И запишите на мой номер.

Я сложил конверт вчетверо и сунул его в карман халата. Если Педер хотел, чтобы меня прошиб холодный пот, он своего добился. Я прихватил банку пива с собой в сауну и устроился на верхней полке. Там уже парилось несколько человек, которых я вроде бы помнил, но не отчётливо, поэтому я поздоровался, не глядя ни на кого, просто кивнул, как я умею, это моё фирменное приветствие миру. Но они таращились на меня без зазрения совести. Только бы среди них не оказалось соотечественников, сценаристов из всемогущего «Норск-фильма», журналистов светских новостей, законодателей глянцевых тусовок и других бонз. Я тут же пожалел, что предпринял этот манёвр, прельстился окольным банным путём, потому что здесь надлежало находиться нагишом, а были тут и мужчины, и женщины. И тот, кто перепоясал бёдра обычным полотенцем, казался чужаком, покусившимся на их скромность. Я своей одетостью делал их наготу нестерпимо зримой и неуместной, со всеми её выступающими венами, плоскими задницами, обвислыми сиськами, шрамами, складками жира, родинками, вполне может статься, что и злокачественными. Я обязан был снять полотенце. У меня не было выбора. Я не мог повернуться

и уйти, это значило расписаться в своей трусости и прослыть маньяком, который ходит в сауну подглядывать, а до закрытия фестиваля ещё три дня. Я с отвращением развязал полотенце, демонстрируя им, что в любом наряде я сохраняю свою естественность и что нагота лишь одна из моих ипостасей. И вот я сижу по-турецки в общей немецкой сауне и дивлюсь тому, что в этой заорганизованной и чуждой юмора стране мужчина, по сути, обязан сидеть голышом рядом с голыми женщинами, если ему вздумалось немного пропотеть. В кичащейся естественностью Норвегии, едва слезшей с гор, подобное закончилось бы парламентским кризисом и письмами негодующих граждан. Но в непреложности этого правила прослеживалась логика. На весь отель имеется одна сауна, которая в любой момент должна быть доступна всем голым мужчинам и женщинам, одновременно. Вот если бы они по собственной воле собрались в сауне все вместе, тогда возмущению не было бы конца. Это, безусловно, наследие войны. Всё здесь завязано на войну, и я стал думать о концлагерях, о последнем душе узников, перед которым мужчин и женщин разделяли навсегда, ох уж эти педантичные душегубы, у них были отдельные лагеря для женщин, Равенсбрюк,

например, и на долю секунды я возбудился, загорелся что-нибудь вылепить из этой мысли, которая скакнула от лагерей уничтожения к случайной встрече в общей бане отеля «Кемпински» на Берлинском кинофестивале. Но как часто случалось в последнее время, возбуждение потухло. Мысль уплыла, сорвалась с безалаберно закинутого крючка и махнула мне хвостом, а меня оставила терзаться. На что я годен? Какие такие истории мой конёк? Сколько человек может наворовать, пока его не схватят? Сколько должен человек наврать, чтобы ему поверили? И разве я не был всегда межеумком, самым натуральным бесхребетником? Я сомневался почти во всём, и в первую голову у меня не было уверенности в себе, я даже не знал, существует ли то, что называется мной, в минуты отчаяния я склонен был считать себя некими отрезками плоти, слепленными абы как и топчущими землю под именем Барнум. Я сомневался во всём, за исключением Фреда, ибо он в своей неоспоримости был вознесён выше сомнений. Я вспомнил, как отец говорил: *Важно не то, что ты видишь, а то, что ты думаешь, что ты видишь.* Я допил пиво и опознал одну из личностей в парилке. Не зря я боялся — известная критикесса, старинная моя знакомица, не буду

называть фамилии, потому что она всегда и у всех проходит под именем Лосиха, ибо вызывает устойчивые ассоциации с заходом солнца. Она обозвала меня однажды «народным автомобилем среди роллс-ройсов», но я так никогда и не прочитал той статьи, потому что в тот момент выпал из жизни по правилам. Педер собирался подать иск о защите чести и достоинства, дело, по счастью, сорвалось, но если она думала сразить меня метафорой, то не на того напала. Теперь она глядела в мою сторону, приготовившись раздвинуть губы в улыбке, и хотя вид у неё был не столь внушительный, как на печатных страницах, и походила она скорее на перезревший фрукт, попавший под грабли, я всё же не спешил отвечать на её улыбку. Я помнил о моей способности непременно брякнуть что-нибудь непоправимое. Вечно она перебегает мне дорогу, как чёрная кошка. Какие неприятности сулит мне встреча с ней на этот раз? Страшно и подумать. Я улыбнулся ей. И сказал: — Забодай вас всех лягушка! — Уткнулся в колени и закашлялся. Ну что ты будешь делать?! Опять мой язык вытворил невесть что. — У тебя не язык, а помело, — привычно сказал бы Фред. Только я расслышал это. Забодай вас всех лягушка. Лосиха воззрилась на

меня в полнейшем недоумении, я разрывался от кашля и был уже на грани рвоты, но тут в который раз на выручку мне подоспел Клифф Ричард. Он, представьте, вошёл в парилку в эту самую секунду с бутылочкой колы в руке, ни дать ни взять обложка *Livin' lovin' doll,* постоял несколько секунд рядом с песочными часами, в которых струился и наслаивался песок, точно человек не оставляет время за спиной, а складирует под боком. Потом Клифф забрался наверх, где сидел я. Стало тесно. Жар делался невыносимым. Стрелка показывала девяносто. Лосиха спеклась. Она выскользнула вон, прикрывшись полотенцем и напоследок кинув на меня быстрый взгляд через плечо. Она смеялась? Надо мной? Не собралась ли она пересказывать эту историю вечером во всех отельных барах? Кто-то плеснул воду на камни, она зашипела. Влажность обрела вид кипящего пара. Я обернулся к Клиффу. Он не прел. Кожа оставалась сухой. Волосы лежали один к одному. Тело ровного коричневого цвета. Наконец-то я могу высказать ему всё. — Спасибо, — произнёс я. — Вам спасибо, — неожиданно откликнулся он. — За колу. — Нет, это я должен вас поблагодарить. Спасибо! — Клифф поднял колу и улыбнулся: — За что? — Ваша песня вылечила

моего брата от немоты, — сказал я. Он смутился на мгновение, потом прошептал: — Тогда это не моя песня, а Божий промысел.

Стало слишком жарко. Я взял своё полотенце и, пошатываясь, выбрался из парилки, мучимый дурнотой и жаждой, заново сполоснулся под душем и мельком увидел в баре Курта. Он заговорщицки кивнул мне и подмигнул. Мы с ним теперь свои в доску. Я на лифте поднялся наверх. Телефон так и мигал красным. Я поднял трубку и снова опустил её на рычаг, швырнул халат на кровать, оделся в костюм и положил в каждый карман по бутылочке из мини-бара. У этого костюма была прорва карманов. Так что спиртным я затарился. Потом вылил в себя последний *Jägermeister,* который встал огненным столбом враспор между пастью и желудком, зажевал его ложкой зубной пасты и вложил супинаторы в свои новые итальянские ботинки. Я был готов к переговорам.

Что я мог знать обо всём, что происходило там, где меня не было, о событиях вне поля моего зрения? Ничего. Я не знал о них ничегошеньки. По-прежнему пребывал в неведении, во власти предчувствий, более того, стоя в замедленном лифте, сплошь отделанном зеркалами, включая и

потолок, я и не желал ничего знать. А хотел длить данное мгновение, эдакий ультрасовременный человек, живущий одной секундой, зажатый в эту минимальную единицу времени, где места довольно только для него одного. Я скользнул взглядом по своему отражению в зеркале и подумал о ребёнке, который падает, вскакивает, а орать начинает, только увидев перепуганные, серьёзные лица вокруг, как бы эхо шока, отложенную боль. Я успел заглотить одну водку. Тут белобрысый портье распахнул дверь и собрался проводить меня до машины под зонтиком. Я дал ему пять марок, чтоб он не делал этого. Он обалдело уставился на деньги; внезапно они бесследно исчезли в гладких серых пальцах, и я так и не смог понять, не обидел ли я его ненароком, дав то ли чересчур много, то ли до смешного мало. Он был похож на слугу колониальных времён. Это он всем заправляет в «Кемпински». И дезинфицирует унитазы. Я шагнул на красный ковёр, уже обтрепавшийся по краям. У входа стояли четыре огромных лимузина с затемнёнными стёклами. Ни один не дожидался меня. В нашем цеху бытует старинная поговорка: нет лимузина — нет контракта. Ну и плевать. Водка жгла язык. Я закурил сигарету. Две бригады телевизионщиков, CNN и

NDR, караулили сюжетик. Тонкая завеса дождя окутывала Берлин. Запах пепла. Вездесущая пыль со стройплощадки. Башенные краны тихо тыркаются туда-сюда, едва различимые среди низких облаков. Кажется, Господь сел поиграть в конструктор. Подкатил ещё один лимузин, длиннющий белый членовоз с американским флагом, он остановился строго напротив отеля, и из него выпорхнула женщина с самой прямой из всех виденных мною спин. Девятнадцать зонтиков распахнулись для неё. Она рассмеялась, это был смех, выдержанный в виски, просмолённый и ошкуренный наждаком. Смеясь, она пошла вверх по красному ковру, махая публике и с элегантностью карманника лавируя рукой меж капель дождя вне досягаемости чёрных зонтиков. Никто не мог бы пройтись по красному ковру так, как она. Это шла Лорен Бэколл. Лорен Бэколл собственной персоной. В шаге от меня, живая, настоящая, из плоти и крови. Зонтики схлестнулись над её головой, когда она выставила подбородок. Она только что покорила Германию. Я замер, пригвождённый к месту этим пронзительным зрелищем: Лорен Бэколл спокойно и независимо проходит мимо, а я остаюсь стоять в поднятом ею водовороте, это как знамение задним числом,

дежавю в зеркальном отображении: я снова вижу кинотеатр «Розенборг», ряд 14, места 18, 19 и 20, «Вечный сон», Вивиан сидит в серёдке, картинка чёткая и живая, я чувствую даже, как щекочется новая водолазка, я слышу, как Лорен Бэколл шепчет Хамфри Богарту тем голосом, от которого у нас начинало чесаться во рту и покрывалась мурашками спина, она шепчет *A lot depends on who's in the saddle,* и мы с Педером одновременно кладём руку на плечо Вивиан, мои пальцы упираются в его, никто ничего не говорит, Вивиан улыбается, улыбается сама себе и откидывается назад, на наши руки. Но когда я поворачиваюсь к ней, оказывается, что она плачет.

И вот теперь я стою под дождём в Берлине у красного ковра перед отелем «Кемпински». Что-то случилось. Кто-то кричит, но звука я не слышу. Софиты погашены, камеры выключены, лимузины уехали. Давешний портье осторожно трогает меня за руку: — Сэр, всё в порядке? — Что? — Его лицо приблизилось. Вечно все ко мне наклоняются. — Сэр, с вами всё в порядке? — Я кивнул. Огляделся. Краны замерли на месте, похоже, Господу наскучило играть в конструктор или облака снесло в другую сторону, и они занавесили его. — Точно? — Сигарета полетела в водосток.

Кто-то потерял фотоаппарат. Он лежал и отсвечивал. — Вы можете вызвать мне такси? — С удовольствием, сэр. — Он погудел в рожок, который держал в руке. Я нащупал бумажку, я хотел дать ему, он заслужил. Но он помотал головой и отвернулся: — Оставьте, сэр. — Я быстро спрятал деньги в карман. — Большое спасибо, — сказал я.

Подошло такси, портье распахнул передо мной дверцу. Внутри пахло не то специями, не то благовониями. Скатанный коврик для намаза лежал на переднем сиденье. — *Zoo Platz*, — сказал я. Шофёр повернулся ко мне и расплылся в улыбке. Посреди чёрного рта блеснул золотой зуб: — Вам в зоопарк? — Я тоже улыбнулся: — Нет, в фестивальный комплекс. Там звери поинтереснее.

Ехали полчаса. Ходу туда пять минут. Я выпил коньячок и уснул. Во сне я видел сцену: Фред тащит через двор по снегу гроб. Шофёру пришлось расталкивать меня. Мы добрались до места. Он смеялся. Теперь я расслышал его. Он смеялся от чистого сердца. Золотая фикса ослепила меня. Я заплатил гораздо больше счёта, и он подумал, что я ошибся, что я или лопух-турист, не умеющий считать, или набравшийся киноворотила в нарочито дорогом костюме. Этот честный берлинский мусульманин собирался вернуть мне часть де-

нег, но я был уже на тротуаре, между руинами и соборами, между мартышками и небожителями. Ко мне тут же кинулись продавцы кожаных курток. Я отстранил их. Дождь перестал. Башенные краны вновь выписывали свои неторопливые кренделя, небо над Берлином очистилось и стало почти прозрачным. Холодное солнце светило мне строго в глаза, но тут целая стая голубей взмыла вверх и расколола белизну света.

Я вошёл в Фестивальный центр. Двое вооружённых охранников долго изучали мою аккредитацию с надписью «Барнум Нильсен, сценарист» и маленькой фоткой, сделанной накануне, вдумчиво и неспешно сличали её с оригиналом и наконец пропустили меня за зону безопасности, в святые врата, отделяющие званых от избранных. Я попал к избранным. Вокруг сновали толпы безумных людей, мчавшихся куда-то с пивом, буклетами, кассетами, мобильными телефонами, плакатами и визитками. Женщины как на подбор высокие и худые, с начёсанными волосами, очками на шнурке на шее и в серых облегающих юбках словно бы из одного магазина. Мужчины, напротив, сплошь оплывшие и низкорослые, моего примерно возраста, с красными апоплексическими лицами, похожие как близнецы, и

минимум один из нас преставится ещё до заката дня. На большом экране крутили рекламный ролик японского боевика. Эстетское насилие уверенно набирает вес. Убивать с расстановкой, с чувством стало модой. Кто-то протянул мне саке. Я выпил. Мне долили. Устроил я своей печени ковровые бомбардировки. Билле Аугуст давал интервью австралийскому телевидению. Его рубашка сияла белизной. Таких ослепительно-белых рубашек, как у него, нет ни у кого. Вот бы о чём им спросить. Сколько у вас, сэр, белых рубашек? Как часто вы их меняете? Чуть поодаль жестикулировал перед камерой Спайк Ли. Сквозь всё это вихрем прорвался Педер, узел галстука болтался в районе пупка, а рот по-рыбьи хлопал, как будто Педер не то упражнялся в глубоком дыхании, не то замахнулся на новый рекорд в пассивном курении. Не хватало, чтобы именно Педер оказался сегодняшним смертником. Он тормознул передо мной и схватил ртом воздух. — Так — пророкотал он, — развязал. — Я и не завязывал. — Насколько ты пьян? — На пять с половиной. — Педер придвинулся и повёл носом. — Пять с половиной, говоришь? Барнум, это тянет на штрафную пеню. — Ещё чего. У меня всё под контролем. — Я засмеялся. Люблю, когда

Педер балуется нашими старыми шутками. Но он не смеялся. — Где тебя черти носили? — Я был в сауне. — В сауне? Ты знаешь, сколько времени мы тебя дожидаемся? Нет, ты знаешь сколько? — Педер тряс меня за руку. Он был вне себя. — Какого дьявола! Я тут столько о тебе напел, меня сейчас вывернет! — Он схватил меня за рукав и потянул к скандинавскому стенду. — Да расслабься. Вот он я. — Блин, неужели нельзя завести себе мобильник, как все нормальные люди! — Мне не нужен рак мозга, Педер. — Ну так заведи себе пейджер наконец. Ладно, я сам лично куплю тебе такой! — Педер, он не работает в бане. — Он работает даже на Луне! — Не гоношись, Педер, ты и без него меня достанешь! — Тут он запнулся, замер и смерил меня долгим взглядом. — Знаешь, что я тебе скажу? Ты всё больше смахиваешь на своего полоумного сводного братца! — И когда он сказал это, какой-то сосуд времени лопнул, и оно хлынуло на меня со всех сторон. Я схватил Педера за лацкан и вжал в стену: — Не смей никогда так говорить! Ни-ко-гда! — Педер таращился на меня оторопело, саке текло по его брюкам. — Барнум, ты чего? Я не это хотел сказать. На нас уже косились. Я и не знал за собой способности впадать в такое бешенство. А что, даже приятно. И кураж

опять же от него. — Плевать мне, что ты хотел. Не смей сравнивать меня с Фредом! Никогда. Понял? — Педер попробовал улыбнуться: — Да всё я понял, Барнум, отпусти меня. — Я не спешил отпускать его. Но потом пришлось. Педер стоял, притиснувшись к стене, потрясённый и озабоченный. Ярость отлегла от моего сердца, оставив лишь стыд, страх и смущение. — Я не выношу, когда мне напоминают о нём, — сказал я тихо. — Прости, я не подумал, — прошептал Педер. — Всё в порядке. Забыли. Извини. — Я вытащил платок и попробовал промокнуть саке на его брюках. Педер не шевелился. — Может, начнём потихоньку двигаться в сторону встречи? — сказал он. — С кем? — Педер вздохнул: — Два датчанина и англичанин. — Это анекдот? Два датчанина и англичанин… — У них офисы в Лондоне и Копенгагене. Они были порядком задействованы в «Шофёре мисс Дейзи». Я тебе вчера всё это рассказывал. — Ботинки ему я тоже залил. Я стоял на коленях и старательно полировал их. Педер брыкался. — Уймись! — шипел он. Я встал: — А что им надо? — Что им надо? А ты как думаешь? Поговорить с тобой, вот что! Они без ума от «Викинга». — Спасибо, Педер. И теперь нам надлежит охмурять их вдвоём? — Теперь

нам надо идти, Барнум.

Мы пошли. Народу стало поменьше. Норвежский стенд, как водится, расположился на самых задворках, в углу, ибо поскольку мы продолжаем оставаться во власти несравненных «Тягот рыбацкой жизни», этого краеугольного камня всей нордической меланхолии, то наше место на обочине Европы и фестивалей. Добраться до Норвегии — целое путешествие. Педер посмотрел на меня пристальнее некуда: — Ты гремишь, как ходячий мини-бар. — С ним почти покончено, — сказал я, открыл виски и выпил. Педер взял меня за локоть: — Барнум, эта встреча нужна нам. Мы в ней заинтересованы. — Нам? Эта «Мисс Дейзи» не фильм, а говно. — Говно? Ты же знаешь, сколько премий она настригла. Это ушлые ребята, Барнум. Покруче нас. — А чего ж тогда они ждали три часа? — Я ж тебе сказал. Они без ума от «Викинга».

Они сидели за столом в отдельном закутке бара. Тридцать с небольшим, костюмы по индзаказу, тёмные очки в нагрудных карманах, забранные в хвост волосы, кольца в ушах, пуза бочонками и прорези глаз. Герои нашего времени. Победители. Я уже не любил их. Педер выдохнул и затянул галстук: — Барнум, ты адекватный,

трезвый и вежливый, да? — И гениальный. — Я хлопнул Педера по спине. Она оказалась мокрой. Мы вошли в бар. Педер взмахнул руками: — Вот наконец наш пропащий долгожданный друг! Он забрёл в зверинец. Не заметил разницы. — Они встали. Включили улыбки. Педер уже перешёл на плоские шуточки, а ещё и трёх не было. Один из датчан, Турбен, наклонился к пепельнице, в которой угасали две сигареты. — Барнум — это ваш псевдоним или подлинное имя? — спросил он. — Это имя, но я использую его как псевдоним. — Все посмеялись, и Педер попробовал поднять тост, но датчанин не сдавался: — То есть имя, а не фамилия? — И так, и так. Смотря по обстоятельствам. — Турбен улыбнулся: — Барнум был известным американским мошенником, верно? *There's a sucker born every minute.* — Ошибаетесь, это слова банкира. Дэвида Ханнума. А Барнум говорил *Let's get the show on the road.*

Педеру удалось вклиниться с тостом. Мы чокнулись, и второй датчанин в свой черёд приник к столу: — Мы все просто влюбились в «Викинга». Потрясающий сценарий. — Спасибо, — сказал я и выпил. — Жаль, что из него так и не вышло фильма. — Педер перехватил инициативу: — Мы не будем сейчас углубляться в детали. — Бу-

дем, — сказал я. Он стукнул меня под столом по ноге. — Сейчас мы обсуждаем будущее. Новые идеи, новые проекты. — Я хотел встать, но не сумел. — Если все без ума от сценария, почему бы вам не снять по нему фильм? — спросил я. Педер опустил глаза, Турбен заёрзал на стуле, будто сидел на огромной кнопке. — Если б нам удалось заполучить на главную роль Мэла Гибсона, можно было бы попробовать. — Второй датчанин, Пребен, наклонился ко мне: — Остросюжетность вышла из моды. Экшн — позавчерашний день. — А викинги в космосе? — предложил я. Затрезвонил мобильник. Жестом чуть пресыщенных ковбоев все выхватили свои телефоны. Победил англичанин, Тим. В беседе походя мелькали солидные суммы и имена типа Харви Кейтля и Джессики Ланг. Нам оставалось обмениваться улыбками и тянуть выпивку. Я сумел подняться и вышел в туалет. Выпил джин, упёрся лбом в стену и попытался собраться с мыслями. Этим ребятам я, Барнум Нильсен, голоштанный сценарист, которого они терпеливо ждали целых три часа, не продам и самой вшивенькой своей идейки. Перед глазами вдруг возникло отражение в зеркале. Безотрадное зрелище. Увечное веко тяжело набрякло и повисло. Я рылся в памяти в

поисках воспоминания, которое дало бы мне хоть минуту отдохновения, и не находил. Вернувшись к столу и обнаружив, что Педер заменил мой стакан на кофе, я заказал себе двойную водку. Тим держал наизготове ежедневник толще, чем Библия в отеле «Кемпински». — Как ты понял, Барнум, в нашем списке авторов, с которыми мы хотели бы сотрудничать, ты занимаешь одно из первых мест. — Педер улыбнулся до ушей. — У вас есть конкретные предложения? — спросил я. — Сначала мы хотели бы услышать твои предложения. — Вы первые. Чтоб я, так сказать, лучше ориентировался на местности. — Тим медленно перевёл взгляд с меня на датчан. Педер снова покрылся испариной. — Барнум любит перекидывать мячик, — сказал он. Это звучало так нелепо, что невозможно было удержаться от смеха. Я гоготнул. Барнум любит перекидывать мяч. Педер снова двинул меня под столом ногой. Мы с ним прямо как супружеская чета с большим стажем. Передо мной поставили водку. Турбен перехватил инициативу: — Ладно, Барнум. Мяч наш. Мы хотим сделать «Дикую утку». Экшн, как было сказано, не тянет. Публику волнуют простые и понятные вещи. Типа семейной жизни. Вот поэтому «Дикая утка». — Педер сидел и неотрывно

ел меня глазами. Это здорово нервировало. — Барнум, это твоё, — вымолвил он наконец. — За пару месяцев ты сварганишь из этого классное кино, скажи? — Но Педера уже никто не слушал. — Это будет норвежский фильм? — спросил я. — Или скандинавский? — Бери выше, — сказал Турбен и ухмыльнулся. — Американский. Кейтль. Ланг. Роббинс. Можно подключить Макса и Гитту. Но диалог на английском. Иначе не заработать. — Плюс надо немного осовременить, — быстро вставил Пребен. — Действие мы перенесём в наши дни. «Дикая утка» девяностых. — А зачем? — спросил я. — Понятно, что действие надо перенести. Зачем нам костюмированный фильм, да? — пропел Педер. Стало тихо. Я отыскал ещё одну водку. Тим шепнул что-то Пребену, который повернулся в мою сторону и сказал: — Мы думали о чём-то среднем между «Человеком дождя» и «Осенней сонатой». — Мне пришлось податься вперёд, поближе: — Простите, я не понял. Нечто какое? — Коротко говоря, мы хотим показать, что гениальность Ибсена неподвластна времени. — Не подвластна времени? Как и гибрид «Шофёра мисс Дейзи» и «Смерти коммивояжёра»? — Взгляд Турбена дёрнулся. Остальные хихикнули. Педер был на последнем издыхании. И всё никак

не мог попасть в тональность. — Может, кто-нибудь хочет поесть? — спросил он. Никто не ответил. Педер закурил. Он бросил восемь лет назад. Турбен вытянул сцепленные пальцы и посмотрел на меня поверх костяшек — А у тебя какие мысли, Барнум? — Порнофильм, — ответил я. — Порно? — Я всё утро смотрел платный канал. Просто поразительно, до чего эти порнофильмы убоги и бесталанны. Ни намёка на драматургию. Ходульные характеры. Чудовищный монтаж. Поразительно примитивные диалоги. Омерзительная сценография. — Пребен начал терять терпение: — Ты имеешь в виду эротический фильм? — Нет, нет. Порно. Настоящее тяжёлое порно. С занимательным сюжетом, интересно выписанными характерами и непревзойдённой драматургией. Всё, как учил Аристотель, и оргазм в апофеозе. Порно для современного человека. Для женщин, мужчин, ну и нас всех прочих. Нечто среднее между «Кукольным домом» и «Глубоким горлом». Вещь абсолютно на все времена.

Первым поднялся англичанин. Следом встали датчане. Они пожали руку Педеру. Обменялись визитками. — Будем держать связь, — сказал Педер. — Через пару месяцев у Барнума будет готов первый вариант. — Напоминай ему, что это Иб-

сен, а не платный канал, — сказал Турбен. Педер захохотал: — Не бойтесь, я за Барнумом слежу!

Крутые парни ушли. Мы остались сидеть. Педер безмолвствовал. Этим словом я пользуюсь единственно для него. Когда Педер не желает говорить, он именно безмолвствует. Но сегодня он был безмолвен как никогда прежде. Я давно научился с этим жить. Если я что и умею в жизни, так это общаться с хранящими молчание. Нужно просто играть в молчанку и самому тоже и ждать, кто не выдержит первым. Педер сдался. — Ну вот и славненько, — сказал он и взглянул на меня. — Ты опоздал на три часа, потом явился похмельный, нахамил, но ничего не смог предложить. Ничего вообще. Вот что поразительно. За тебя, Барнум. — Мы выпили, и я заговорил: — Ты видишь Мерил Стрип в роли утки? — Педер отвёл глаза. — Барнум, ты ходишь по краю. Порно по Аристотелю! — Что значит «по краю»? — Ты прекрасно знаешь. — Нет, не знаю. — Педер резко обернулся ко мне: — Я вижу это давно, Барнум. Я вижу, как ты опускаешься. И не собираюсь и дальше скатываться с тобой заодно. — Меня вдруг охватила тревога. Я встал. Это вернулось лицо из зеркала, только теперь их был миллион, они выплывали одно за другим

и таращились на меня. — Чёрт побери, Педер, я ненавижу их манеру говорить. Нечто среднее между «Человеком дождя» и «Осенней сонатой»… Весь этот дерьмовый сленг, на котором они щебечут. Ненавижу! — Брось. Я это тоже ненавижу. Но я же не теряю от этого голову. Все так говорят. Так принято. Среднее между «Один дома» и «Выпускниками» или между «В порту» и «Красоткой». Придёт день, мы ещё сами так заговорим. — Он отодвинул водку, подпёр голову руками и снова впал в безмолвие. — Я встретил Лорен Бэколл, — сказал я. Педер поднял на меня глаза: — Что ты сказал? — Я сел. Для такого рассказа мне нужно было сесть. — Я встретил Лорен Бэколл. Я едва не столкнулся с ней. — Педер придвинул стул поближе ко мне и чуть разинул рот: — Ту нашу Лорен Бэколл? — Да, Педер, ту. А разве есть другая? — Конечно нет. Прости. Я не совсем в себе. Всё думаю о тех трёх денежных мешках, которые только что от нас ушли. — Я взял его за руку, она была мягкая и подрагивала. — Как она выглядела? — прошептал он. Я выдержал паузу. — Как сфинкс, — сказал я. — Как голубой сфинкс, удравший с очерченного прожекторами постамента. — Браво, Барнум. — Педер, шёл дождь, а она не мокла. — Я так и вижу это, Бар-

нум. — Думаю, на несколько секунд Педер тоже унёсся мыслями далеко. В его лице появилось что-то детское, и я отчётливо заметил мурашки на загривке между ухом и воротником, как будто они навсегда остались там оттого вечера в четырнадцатом ряду кинотеатра «Розенборг», когда мы разом положили руку Вивиан на плечо под высокий пронзительный голос Лорен Бэколл, говорившей *Nothing you can't fix.*

А потом он точно вернулся и сразу как-то постарел. Глубокая складка, которую я раньше не замечал, пролегла наискосок от левого глаза, рассекая прежние морщины, отчего в лице нарушилось равновесие и голова как-то скособочилась на сторону. Мы с Педером стали похожи. — Вивиан звонила, кстати, — сказал он. — Мне показалось, она тревожится из-за Томаса. — Вивиан вечно тревожится. — Педер покачал головой, печально. — Мне кажется, мы должны купить Томасу что-нибудь особенное, — сказал он. Я попробовал улыбнуться. Вышло криво. — Само собой, — хохотнул я. — Помнишь, что сказали крутые парни: сейчас бум семейных ценностей. — Педер глядел в стакан и долго молчал. — Все считают тебя говном, — сообщил он наконец. — Все? — спросил я. Педер смотрел прямо на меня. — Навскид-

ку я не могу вспомнить никого, кто думал бы иначе, — произнёс он. — И Томас? — Педер отвернулся. — Томас тихий мальчик, Барнум, — сказал он. — Я не знаю, что он понимает. — Я закурил. Во рту саднило. Я накрыл руку Педера своей пятернёй. — Слушай, может, купим для него что-нибудь эдакое. По-настоящему необыкновенное. А? — Замётано, — сказал Педер.

Потом мы переместились в фестивальный бар. Тут клубилось всё кино. Педер считал, что нам настоятельно необходимо засветиться здесь. Как он выразился. Мы должны были быть в обойме, в нужное время в правильном месте со всей тусой. Для поддержания баланса мы сжевали несколько жирных колбасок. Мы пили внутрянку со льдом. Мы были на виду. Речь, конечно, опять зашла о Сигрид Унсет и о том, в какой мере мужчина в принципе в состоянии сделать кино из «Кристин, дочь Лавранса». Тревоги элиты, одно слово. Я не вмешивался в разговор. Только мешал напитки и думал о Томасе. Я говно. И должен купить ему огромаднейший подарок, берлинскую стену, чтобы расписывать её, или башенный кран. А что, привезу ему конструктор от Господа, пусть Томас, сын Вивиан, соберёт из него Царство Небесное на свой вкус. Голоса окружали. Я допился до про-

страции. Стоило мне закрыть глаза, и все звуки пропадали, как если бы глазной нерв замыкался на лабиринт внутреннего уха, но я давно перестал думать, что окружающий мир тоже легко и шутя исчезает, стоит получше закрыть глаза. Более всего мне хотелось, чтобы они пропали оба: и шум, и мир, который его порождал. Но жизнь устроена иначе, и когда я открыл глаза, на меня надвигалась критикесса из сауны, моя проверенная плохая примета. У неё уже фестивально блестели глаза. Циклоп подшофе. Она погладила Педера по спине, куда без этого. — Ну, мальчики, какие новости телеграфируем домой? Помимо того, что Барнум в парилке угостил Клиффа колой? — Педер повернул голову, не поднимая её, будто боясь стукнуться о низкую балку: — Пока не время говорить. Но дела делаются. Напиши, что Миил и Барнум в седле. — Лосиха почти легла на Педера, окутав его своими одеждами. Впору вызывать спасателей, пока он не задохнулся, подумал я. — Вы тоже решили прицепиться к унсетовскому экспрессу? Может, Барнум переведёт сценарий со шведского? — Педер отвёл её руку: — Если «Кристин, дочь Лавранса» переделают в шампанское, мы начнём производство тяжёлой воды. — Лосиха издала короткий смешок и за-

прокинула голову, чтобы выцедить последние остатки с широкого дна коньячного фужера. — Ну, ребятки, скажите ещё что-нибудь. Старых метафор пока довольно. — Представь себе нечто среднее между лосем и закатом, — сказал я. — Она обернулась и сделала вид, будто только что заметила меня. Это не было, конечно, правдой. Она видела, меня всё время. Лосиха обстоятельно состроила гримаску. — Когда будет можно, мы тебе шепнём, — быстро нашёлся Педер. — Тебе одной. Эксклюзив. — Она по-прежнему не отрывала от меня глаз: — Договорились. Передавай привет Клиффу, Барнум. — Она неожиданно качнулась к самому моему уху и прошептала: — Забодай вас всех лягушка!

И скрылась в дыму в направлении туалета. Педер подёргал меня за пиджак: — Она сказала «угостил Клиффа в парилке»? Клифф и Барнум — в парилке? — В Германии, Педер, общие сауны. Как ты считаешь, это наследие войны? — Что ты говоришь? Ты парился в сауне вместе с Клиффом? — И с Лосихой, она нас опередила. Я впервые видел её голой. — Эту часть можешь пропустить, Барнум. — Она похожа на перезревшую грушу. — А что она тебе шепнула? — Мой старый девиз. Забодай вас всех лягушка. — Педер возвёл очи

горе, потом опустил их: — Слушай, не заставляй её писать о тебе новые глупости. Только этого тебе сейчас не хватало.

Когда Педер изредка напивается, у него повисает всё: плечи, волосы, морщины, рот, руки. Алкоголь тянет его вниз, как якорь. Я мог бы сказать ему, что мы уже, считай, старики, и раз уж мы такие не-разлей-вода и всё почти делили в жизни на двоих, то и сидим теперь лишь с половиной всего на свете. И я мог бы улыбнуться и нежно провести пальцем по самой глубокой его морщинке.

— Вот только не надо мне говорить, чего мне сейчас не надо.

— Не надо так не надо. По последней, короче.

Он поднял руку, но она повисла и шмякнулась на стол между пепельницей, бутылками и намокшими салфетками. Кто-то запел по-норвежски за столом, где, по счастью, не было свободных мест. Дело шло к караоке. Принесли по последней. Педер поднял стакан обеими руками: — Твоё здоровье, Барнум. Делать нам в Берлине уже как бы нечего. Только осталось купить подарок Томасу. Или ты уже успел забыть и это тоже? — Я опустил глаза и вдруг вспомнил, что лежит в чемодане в моём гостиничном номере. — Я привёз сцена-

рий, — сказал я. Педер беззвучно отодвинул от себя стакан: — И ты только сейчас говоришь это? Что у тебя, забодай меня лягушка, готовый сценарий? — Ты, что ли, не рад, Педер? — Рад? Барнум, ну давай, рассказывай! Хоть что-нибудь. Какое название? — «Ночной палач», — сказал я. — «Ночной палач», — протянул Педер и улыбнулся. — Ты теперь всё повторяешь по два раза? — спросил я. — А о чём? Барнум, колись! — Я улыбнулся. Вот как мы зачирикали. Колись. Делись. — О семье. О чём же ещё? — Педер сжал голову руками и потряс её: — Но почему ты и словом не обмолвился об этом на переговорах? Почему ты не принёс сценарий с собой? — Из-за того, что ты меня разбудил. — Он разжал руки, и голова брякнулась на плечо. — Я тебя разбудил? — Да, представь себе, разбудил. Ты названиваешь, будишь меня, оставляешь сообщения во всех немыслимых местах. Педер, я насилу могу урвать толику покоя в сауне. Меня это бесит. Как тебе прекрасно известно. — Да, Барнум, известно. — Я ненавижу, когда мною командуют. Чуть не всю жизнь мною помыкают и командуют. Все кому не лень. Педер, у меня лопнуло терпение, понимаешь? Лопнуло! — Из его глаз стёрлось всякое выражение. — Барнум, ты всё сказал? — Не подгоняй, — огрызнулся я.

Педер придвинулся и постарался сесть прямо. Взял было меня за руку, да промахнулся. — Барнум, — прошептал он. — Это не я тебе звонил. И не я оставлял сообщения.

И едва он выговорил это, как я покрылся потом и протрезвел, а всё вокруг меня заплясало, оно было мерзким и сжимало круг. Я знал. Оттягивал миг узнавания, но вот он пробил. Я побрёл к выходу. Педер пытался удержать меня. Да где там. Я вышел в берлинскую ночь. Падал снег, роился мошкой между фонарями и тьмой. Слышно было, как кричат в зоопарке звери. Мимо руин и никогда не закрывающихся ресторанов я доплёлся до отеля «Кемпински», перед которым так же чинно и церемонно маялись давешние лимузины, точно обречённая артель перелицованных катафалков, и тот же пожилой седовласый портье распахнул передо мной дверь, приветственно, приложил пальцы к козырьку и высокомерно улыбнулся, я поднялся на лифте к себе, зашёл в комнату и увидел, что горничная убралась и поменяла полотенца, туфли и халат, но телефон продолжает мигать красным, и я схватил трубку, но услышал лишь непонятные гудки и тут увидел конверт, тот, что я согнул и сунул в карман предыдущего халата, на письменном столе рядом с вазой с

фруктами и бутылкой фестивального вина. Я уронил трубку и пошёл к столу. Открыл конверт и вытянул листок бумаги. Сел на кровать. Это был факс, и сверху читался адрес отправителя: Больница «Гаустад», отделение психиатрии, сегодняшнее число, 7: 44 утра. Мамин почерк, всего две пляшущие строки: *Дорогой Барнум. Ты не поверишь. Фред вернулся. Приезжай немедленно. Мама.*

Я ещё раз перечитал две строчки, потом встал медленно, почти спокойно, руки, держащие листок, не дрожали, руки были спокойны, и я кинул быстрый взгляд через плечо, как я делаю всегда, когда мне кажется, что кто-то стоит в тени у двери и следит за мной.

ЖЕНЩИНЫ

(чердак)

Вторник, 8 мая 1945 года, Вера, наша мать, на чердаке доходного дома на Киркевейен снимает с веревок бельё, за ночь оно высохло и стало мягким на ощупь. Три пары шерстяных носков (их пора убрать), два зеленых ненадёванных купальника на пуговках и завязках на шее, три бюстгальтера, белый носовой платочек, наконец, три летних платья и светлые кофточки из вискозы, они так долго не вынимались из шкафа в спальне, что в темноте уже начали желтеть. Развесить стирку во дворе Вера не решилась, больно много всего произошло в последние дни и годы, не хватало только, чтоб напоследок их ещё и обокрали. Она торопится, от нетерпения суетится, она спешит праздновать мир, победу, весну, одним словом — жизнь, они идут гулять с Болеттой и Пра, втроём, если только не вернулась Рахиль, а вдруг и она вернулась, ведь снова мир, всё позади. И она смеётся про себя, поднимая руки к провисшим верёвкам, грубым, с размахрившейся пенькой, о них легко уколоть-

ся, если не быть осторожной. Вера, наша мама, одна на чердаке, она смеётся, кидает деревянные прищепки в большущий карман передника и аккуратно складывает вещь за вещью в плетёную корзину у ног. Она разгорячена, в голове пусто, и её до краёв переполняет острая неописуемая радость, которой она прежде не знала. Всё с чистого листа. Пять лет тянулась война, через пару месяцев Вере исполнится двадцать, и вот сейчас, сегодня, начнётся наконец жизнь, надо только покончить с этим бельём, она сперва думает оставить носки досыхать, но тут же отвергает предательскую мысль — негоже, чтоб в такой день на сушилке болталось бельё, пусть даже на чердаке. Вера останавливается передохнуть, она прогибает спину, откидывает голову назад и с удовольствием втягивает запах постиранного белья, чистых платьев. Она снова хохочет. Сдувает волосы со лба. В углу под угольной шахтой сидит и курлычет сизарь. Крики, песни и музыка с улицы различимы здесь едва-едва. Вера тянется взять последнее платье, своё собственное, голубое, тоже ни разу не надетое, и в ту секунду, когда она уже сняла одну прищепку и держит платье рукой, чтобы оно не соскользнуло на пыльный пол, она слышит за спиной шаги, они медленно

приближаются, и первая мысль Веры — Рахиль, это она вернулась и уже успела промчаться сквозь все подъезды в поисках подружки, но это, конечно, Болетта, у неё лопнуло терпение, и она пришла помочь, потому что у них нет времени волыниться, война кончилась, мир, и Вера уже собирается крикнуть матери «всё, иду-иду, последнее платье осталось, моё, такое красивое!» или просто засмеяться, засмеяться от радости, прежде чем они, взявшись за ручки, потащат корзину вниз по долгим лестницам, но тут она понимает, что это не мать и не Рахиль, у шагов другой ритм и вес, доски скрипят, а голубь в углу вдруг перестаёт курлыкать. Это несмолкшие шаги войны, и не успевает Вера обернуться, как кто-то хватает её сзади, стискивает, сухая рука зажимает ей лицо, не крикнешь. Она чувствует резкий запах немытого тела, вонь изо рта чужого мужика, язык, корябающий шею. Она догадывается укусить его за руку, зубы впиваются в серую кожу, но он не ослабляет хватки. Ей нечем дышать. Он поднимает её, она отчаянно брыкается, слетает одна туфля, он заставляет её опуститься на колени и нагибает вперёд. Она замечает, что платье болтается криво на одной прищепке, и хватается за него, увлекая с собой в падение. Он

отнимает руку от её рта, она дышит, сейчас она может крикнуть, но всё равно не кричит. Она видит его руку, задирающую юбку, только это она и видит: руки, на одной недостаёт пальца, она рвёт её ногтями, но он не издаёт ни звука. Рука без пальца — вот и весь он. Девятипалый прижимает её лицом к полу, грубые доски дерут щёку, свет падает косо, корзина опрокинулась, голубь распушил перья. Девять пальцев обжимают её бёдра, пропахивают по коже, и он распарывает её, расчленяет, она замкнула слух, запихнула в рот платье и жуёт, жуёт не переставая тонкую материю, солнце в окне крыши толчком откатывается в сторону, он вдавливается в неё — и грохает колокольный звон, хором бьют во все колокола города, голубь шарахается из своего угла под угольной шахтой и пишет над ними бешеные круги, крылья хлопают прямо над ней, но непоправимо поздно, ей нет ещё и двадцати, и это у него вырывается в конце крик.

Потом тишина. Он отпустил её. Она может встать, но лежит. Он кладёт ей на голову руку. От неё разит мочой и рвотой. Потом он убегает. Бесшумное дуновение касается щёк, лица. Он проник в неё, а теперь уносит ноги, убегает длинным прямоугольным коридором чердака дома

на Киркевейен. 8 мая 1945 года. Голубь устроился на окне и скате крыши. Вера, наша мама, лежит, прижавшись щекой к полу, во рту платье, кровь в горсти, луч солнца медленно переползает через неё.

(квартира)

Болетта, мать Веры, не отличалась особой набожностью, скорее наоборот, чудес на свою голову она уже навидалась, но сейчас она распахнула дверь и вышла на узенький балкончик с видом на проулочек Гёрбитцгатен насладиться этим мигом во всей его неповторимости: во всех церквях города разом ударили в колокола — на Майорстюен, Акере и Фагерборге, она слышала даже колокола Сагане и Ураниенборга, неумолчный бархатный звон, как бы вытолкнутый ввысь светом и воздухом, чтобы этот звук навсегда задавил пронзительное белёсое эхо воздушных тревог. — Закрой дверь! Сквозит! — Болетта повернулась в сторону гостиной, со света почти слепая. Мрак в квартире как будто сгустился. Тёмная мебель походила на чёрные тучи, которые невозможно разогнать, потому что они пригвождены к месту тяжёлым тиканьем ходиков в прихожей. Ей пришлось на секунду прикрыть глаза. — Ты что,

вздумала нас простудить? Сегодня? После того, как мы не болели всю войну? — Мама, не надо на меня кричать.

Болетта закрыла балконную дверь и различила Пра у книжных полок. В длинной, по щиколотку, комбинации и красных вельветовых тапочках она выдёргивала из рядов книги и швыряла их в камин, быстро и наставительно бормоча что-то себе под нос. Благовест оседал тихим перезвоном. Болетта осторожно подошла ближе к матери: — Что ты делаешь, а?

Но Пра не ответила — может, не расслышала и потому ничего не ответила. Она ведь была глуха на одно ухо и довольно туга на другое. Она повредила их во время взрыва в Филипстаде в декабре 1943-го. В тот день Пра сидела в столовой и крутила тумблер приёмника, который она отказывалась выпустить из рук на том основании, что является подданной датской короны и не намерена слушать ничего, кроме вещания из Копенгагена. Она утверждала потом, что в динамике взрывы прогремели в многократном усилении, да ещё под аккомпанемент американского джаз-банда, отчего в левом ухе расплющилась наковальня, а в правом сместилось стремечко. Хотя Болетта в глубине души

не сомневалась, что при отличном слухе мать самовольно наделила себя правом слышать исключительно то, что ей угодно. Тут Болетта увидела, что книги, которые Пра выколупывает из полок и бросает в зелёный камин, — Гамсун. — Что ты делаешь? — вскрикнула теперь Болетта и вцепилась в руку матери. — Избавляюсь от Гамсуна! — Но ты же его любишь! — Я не читаю его уже пять лет. И давно надо было очистить от него наш дом! — Она повернулась к дочери и покрутила у неё перед глазами томиком «Соков земли»: — Особенно после того, что он написал в газете. — А что такого он написал?

Отправив «Соки земли» в камин, Пра достала вчерашний вечерний выпуск «Афтенпостен». Она ткнула в первую страницу, чуть не прорвав её. — Дай я прочту тебе слово в слово, что пишет этот низкий человек! *Мы, его близкие сторонники, склоняем головы в час его кончины!* Нет, ты можешь представить себе более удачный момент для некролога Гитлеру? Уж не говоря о том, что он вообще не заслуживает никаких таких слов. Мы должны плясать на его могиле!

Она кинула газету в камин и снова в мрачной злобе набросилась на книги. Длинные и редкие седые волосы развевались вокруг головы, она

истово материлась, доставая каждый новый том из собрания сочинений, и я дорого бы дал, чтобы увидеть это — как Пра, наша прабабушка, 8 мая 1945 года изгоняет из гостиной на Киркевейен все следы присутствия оглохшего нобелевского лауреата. Но вдруг вместо того, чтобы швырнуть в кучу последний роман трилогии об Августе, «А жизнь идёт», она замерла с первым изданием книги в руках, молча наклонилась к самой полке и выудила то, что пряталось за романами предателя, а именно непочатую «Малагу» 1936 года. Старуха осторожненько подняла бутылку, на миг и думать забыв про этого Гамсуна. — И где только я её не искала, — вздохнула она. — В баке с грязным бельём. В электрощитке. В цистерне с водой. А она, ну надо же, стояла здесь, за спиной кособокого Августа! Она чмокнула бутылку и вновь повернулась к полкам: — Ну, Кнут, спасибо за компанию. Теперь наши дороги разошлись.

Для верности она ещё поискала за Германом Бангом и Йоханнесом В. Йенсеном, но нет, ни там, ни за полным собранием Ибсена спиртного не было. Пра заспешила на кухню. Болетта перехватила её. — Это ты спрятала вино за книгами? — спросила она. Пра сделала большие глаза: — Я? Тогда б я нашла её давным-давно и выпи-

ла прежде, чем Гитлер поработил Польшу! Это твоих рук дело, вот что. — Болетта наклонилась к наиздоровейшему уху матери и спросила: — А больше ты ничего не прятала?

Но этого Пра не услышала, а принялась откупоривать пробку своими скрюченными, непослушными пальцами, и Болетта должна была держать бутылку, пока старуха крутила и тянула и дёргала, и так они пыхтели и мучились довольно долго. Но вдруг Пра отвлеклась от пробки и оторопело оглядела себя, будто до неё теперь только дошло, что её наряд не безупречен. Она выхватывает у Болетты бутылку, она оскорблена в лучших чувствах: «Малагу» 1936 года не пьют в исподнем! — Куда там Вера запропастилась? Мне сию секунду нужно моё платье!

Болетта резко обернулась к овальным часам в прихожей, к волшебным ходикам страхового товарищества «Bien», возвышавшийся над ящичком, в который мы каждый месяц, непременно в первую субботу, опускали наш взнос за пожизненную ренту, отчего я долго считал, что время движут деньги. Болетта подошла ближе. Нет, не может быть так поздно. Это ошибка. Вера должна была спуститься давным-давно. Часы спешат, не иначе не вынесли напряжения последних

дней и скакнули на несколько часов вперёд в тот момент, когда из концлагеря «Грини» выпустили заключённых, а генерал Редисе прикрыл за собой дверь на втором этаже Скаугума, засунул дуло поглубже в рот и спустил курок. Болетта слышит, как тихо поскрипывает колёсико разлапистой секундной стрелки и привычно звякают монеты в ящичке под ходиками.

Она быстро смотрит на свои часы. Они показывают то же время. — Пойду посмотрю, чем она там занимается. — Сходи, дорогая. А я пока согрею стаканы. — Болетта остановилась и пристально посмотрела на мать: — Ты не дотронешься до бутылки, пока мы с Верой не вернёмся, да?! — Старуха улыбнулась в ответ. — Я жду не дождусь возвращения короля Хокона. Когда, ты думаешь, он приедет? — Болетта наклонилась к другому уху матери: — Ты не посмеешь пить одна! Без нас с Верой. — Старуха поцеловала дочь в щёку и зябко поёжилась: — Пожалуй, я даже протоплю немного. От войны стены прямо ледяные.

Болетта вздохнула, накинула на плечи шаль, торопливо пересекла квартиру и пошла вверх по крутым ступенькам.

(голубь)

Дверь на чердак открыта. Тишина. Болетта не слышит ни голосов с улицы, ни музыки из города, ни дуновения ветра, вечно раскачивающего стены дома так что при каждом порыве по нему пробегает дрожь. — Вера? — окликает она. Никакого ответа. Она идёт по коридору, мимо чуланов, она поплотнее запахивает шаль. Сквозняк гуляет, но тоже бесшумно. С балок высоко под крышей сеется светлая пыль. — Вера?! — зовёт она опять.

Чего она не отвечает? Сбежала на Майорстюен, что ли. Смешно. Болетта хохочет. Чтобы Вера сбежала! Небось опять замечталась. Сегодня мечтать даже положено. И можно всё забыть, а помнить завтра лишь то, что хочется. И делать в такой день разрешено всё что заблагорассудится. Болетта вздрагивает. Перед ней валяется опрокинутая детская коляска с дровами.

Она останавливается. — Вера?! — Даже голуби не курлыкают. Многослойное безмолвие. Дверь в нашу сушилку ещё ходит на петлях. И вот тогда Болетта всё же слышит звук — ровное утробное гудение, похожее на шмеля, который летит к нам, но не появляется. Этот звук будет преследовать её до смерти. Она отпихивает коляску, пробегает

последние метры и останавливается в дверях, ловя дыхание. Так она находит свою дочь. Вера сидит на корточках рядом с бельевой корзиной. На коленях у неё выстиранное платье, она гладит его рукой, раз за разом, и тихо гудит, как если бы в груди у неё что-то замкнуло на этом гугнивом звуке. Болетта медленно подходит к Вере. Та не поднимает глаз. И не отводит их от своей руки, которая разглаживает тонкую материю, всё быстрее, быстрее, быстрее. — Вера, что с тобой?

Вера лишь отворачивается и тискает синее платье. Болетта опускается на колени перед дочкой и решительно кладёт руку ей на грудь, чтоб прекратить всё это. В ней поднимается раздражение, так и хочется встряхнуть крикунью, да неловко злиться и ругаться в такой день. Лучше смехом. — Пра нашла за Гамсуном бутылку «Малаги». Но не может её попробовать, пока не получит своего платья. Идём? — Вера медленно поворачивает к матери лицо и расплывается в улыбке. Лицо, губы опухшие, заплывшая левая щека висит. На виске ниже волос ссадина. Но хуже всего глаза. Большие, чистые, смотрящие в никуда.

Болетта чуть не вскрикивает. — Доченька, милая, что с тобой? — Вера гундосит. Она наклоняет голову набок и гудит. — Ты упала? Свалилась с

лестницы? Вера, любушка, скажи что-нибудь! — Вера зажмуривается и улыбается. — Только не забудь выпустить голубя, — говорит она.

Тогда Болетта понимает, что ненадёванное ещё платье влажное и липкое. Она тянет руку к себе. Пальцы перепачканы кровью. — Голубя? Какого голубя?

Но Вера, наша мама, не отвечает. Она затворяется в молчании и остаётся нема ещё восемь месяцев и тринадцать дней. «Только не забудь выпустить голубя» были её последними словами. Болетта задирает голову, с руки капает кровь. Солнце давно ушло из окна в крыше. Тень лежит поперёк чердака, как столб чёрной пыли. Но на верёвке прямо над ними недвижно сидит серая птица.

Болетта трясёт рукой: — Господи, кровищи-то откуда столько! — Вера утыкается в мать, которая бережно берёт дочку на руки и несёт по коридору и вниз по лестнице, страх делает Болетту, невеликого человека, сильной и неукротимой. Одна из них плачет, а может, обе, и Вера никак не хочет выпустить из рук окровавленное платье. Прищепки сыплются из её передника с каждой преодолённой матерью ступенью и тянутся за ними дорожкой. Болетте не до них, потом подберёт,

всё равно надо будет забрать с чердака бельевую корзину. И я помню того голубя, что мы однажды ночью нашли в сушилке на чердаке, окаменелого и высохшего, похожего на мумию в перьях, мы с Фредом наткнулись на него, когда Фред приволок гроб и стал тренироваться в умирании, но до того ещё далеко.

(кольцо)

Пра стояла подле белого сервировочного столика и разливала строго поровну вино в три широких фужера, потому что Вера стала уже достаточно взрослой, чтобы пить ««Малагу», и потому что все, пережившие мировую войну, заслужили самое малое по одной «Малаге», а тёмный, расплывчатый цветочный аромат тридцать шестого года напомнил ей гавани Копенгагена, палубы, тросы, паруса, брусчатку, чудесным образом проторив верный путь в её сумеречных воспоминаниях. Старуха постучала по столу и всплакнула от радости. Это была печальная радость. В платье или уж как случилось, но три приличествующих случаю тоста она произнесла как положено: за того, кто сгинул во льдах, за то, чтобы она не забыла его вовек, и наконец, за мир и солнце в день победы. Да, эта радость была пе-

чальна. Но и печаль нечасто искрилась радостью. Жизнь состояла не только из бальных фраков и медленных вальсов. В жизни ещё приходится ждать тех, кто не вернётся никогда. И она осушила фужер за эту печальную радость, наполнила его снова точно, как было, и расслышала наконец возню на кухне. Она заткнула горлышко пробкой и тут увидела, что Болетта тащит Веру, которая заснула у неё на руках, точно уморившийся маленький ребёнок. И выглядела наша мать, на беглый взгляд, тоже совсем по-детски. — Вскипяти воду! — крикнула Болетта. — Неси уксус и вату! — Пра подняла стакан и тут же поставила его: — А что стряслось? — Она истекает кровью! И ничего не говорит.

Болетта отнесла дочь в спальню и положила на широкую кровать. Пра споро поставила на плиту самый большой котёл с водой и побежала за ними. Вера лежала с закрытыми глазами и с окровавленным платьем в сведённых руках. Лицо перекосило хуже прежнего. Одну щёку залила синева. Болетта примостилась на краешке кровати, не зная, куда девать неприкаянные руки. — Я нашла её в таком виде, — прошептала она. — Но она ничего не говорит. Ни словечка! — Она совсем ничего не сказала? — Только чтоб я не

забыла выпустить голубя. Какого голубя? — Там сидел на верёвке. На сушилке. Что она имела в виду? — Чтобы ты выпустила его на волю. Голубя.

Пра устроилась с другой стороны кровати. Она бережно погладила Веру по лбу и выяснила, что он сухой и горячий. Потом положила два пальца на узкую, бледную цыплячью шейку и с трудом прощупала пульс, ровный и вялый. Изо рта Веры доносился прежний звук, глухая, тёмная песня, заставлявшая дрожать губы. Болетта не вытерпела. Заткнула уши. — Она вот так бормочет всё время, как я её нашла. — Она не бормочет. Она курлычет. Спаси, Господи. — Пра попробовала забрать у Веры платье, но не смогла. Пальцы побелели, три ногтя сломались. — Позвоним доктору? — шепнула Болетта. — Докторам сегодня не до нас. У неё месячные? — Столько крови не бывает! — Пра быстро взглянула на дочь: — Бывает! Чего-чего, а крови у нас хоть залейся.

Они услышали, что на кухне закипела вода, и пока Болетта ходила за котлом, Пра достала уксус, камфару, тряпки, йод и бинт. Женщины осторожно приподняли Веру, развязали на спине фартук и боязливо положили её на место, стянули туфли и чулки, расстегнули кофту, но когда попробовали вынуть из рук платье, не смогли. Им

пришлось силой расцеплять палец за пальцем, и всё равно они не справились. Кончилось тем, что Пра принесла ножницы и разрезала одежду: от края юбки, через кровавое платье, до горловины и вдоль обеих рук. Изредка Вера открывала глаза, то ли силясь понять, где она находится, то ли любопытствуя, что они с ней делают. Она очухивалась на миг и тут же с прежним клёкотом проваливалась в свой голубой помрак. Они откинули обрезки одежд и увидели, что бельё тоже в крови. Убрали и его, Вера больше не сопротивлялась. Болетта зарыдала в голос над дочерью, как она лежала теперь, голая в огромной кровати, почти прозрачная в матовом свете люстры над ними, только тянула к чему-то руки, сжимая пальцы в кулаки, точно продолжая цепляться за синее платье, в котором ей так и не привелось пофасонить.

Потом они нежным мылом с пемзой, щёткой и губкой оттёрли Веру, промокнули самым мягким полотенцем, перестелили постель, наложили на щёку масляный компресс, пристроили на груди смоченную уксусом тряпку и сделали из бинта прокладку, для верности трёхслойную. Напоили тёплым чайком и нарядили в китайскую ночную рубашку Пра. Вера больше не клекотала. Она

тихо спала, и даже руки наконец разжались и спокойно лежали на шёлке.

Тогда Пра принесла «Малагу» и два стакана. — Отпразднуем победу дома, — сказала она. — Тоже хорошо. — Они молча выпили у Вериного ложа. Они слышали праздничные крики со всех сторон, народ гулял от Майорстюен до Йёссенлёккен, от Тёртберга до стадиона «Бишлет», в парке Санкт-хансхауген и на горе Блосен. Время от времени пускались ракеты и бились окна. Но Вера оставалась в сонном забытьи.

Пра разлила по второй. Болетта залпом опрокинула стакан. — Как я могла отпустить её одну на чердак? — промямлила она. — Что ты имеешь в виду? — Я должна была пойти с ней. — Пра подалась вперёд, и седые космы упали ей на глаза. Она медленным движением откинула волосы назад. — Но больше там никого не было? С ней? — Болетта покачала головой: — С ней? Ты о чём? — Ты прекрасно понимаешь, о чём я. — Болетта чуть не сорвалась на крик, но сдержалась и тихо ответила: — Она была одна. — Но ведь кто-то мог побывать там до тебя. — Болетта зыркнула на мать и неожиданно заявила: — Завтра мы идём к парикмахерше. Все втроём! — Пра фыркнула: — За всех не решай! Вам хочется — вы идите. Я

не пойду. — Болетта вздохнула: — У тебя волосы очень отросли. Конечно, если тебе нравится выглядеть как бродяжка, дело твоё. — Старуха начала сердиться: — Я не собираюсь по случаю мира бриться, как пугало! — Уж не говоря о том, что у тебя волосы лезут, как у кошки в линьке! — Вера сама меня причешет. К возвращению короля.

В окно щёлкнуло, у женщин снова перехватило сердце. Они были трусихи и паникёрши. Кто-то с улицы кидал камни в их окно. Пра поставила стакан на тумбочку, подошла к окну и чуть приоткрыла его. Дворовые мальчишки. С цветами в петлицах и норвежскими флажками в руках. Ну прямо победители, победители и кавалеры. Вызывают Веру погулять. Но Пра уже подняла руку: тише, Вере нездоровится. К тому же вы целитесь не в то окно. Или вы меня приглашаете?

Мальчишки внизу захохотали и побежали под другие окна, к другим девчонкам. Кое-где между домов на той стороне улицы запалили костры и жгли на них светомаскировку, народ тащил затемняющие шторы отовсюду и кидал в огонь, чёрный дым вздымался к прохладным небесам, и столбы его торчали, как колья, а запах, смрад, сладковатая вонь мешались с тяжёлым ароматом распускавшейся сирени. Асфальт сиял в вечер-

нем солнце, как будто весь город был оттиснут в податливой меди. Вдоль по Киркевейен маршировал отряд юношей в спортивной форме и с ружьями на плече, они распевали песни. Откуда взялись все эти люди? Пра была удивлена. И подумала ещё: война молчалива. А мир громогласен.

Она захлопнула окно и вернулась к кровати. — У меня это вторая мировая война. Дай Бог, последняя, — вздохнула Пра и трижды постучала по деревянной балясине кровати. Болетта смочила тряпку у Веры на груди и осторожно подняла ночнушку посмотреть, не много ли крови натекло, но бинты были сухие и белые. — Что-то я не пойму, как она так умудрилась удариться, — прошептала Пра. — Упала, наверно, — быстро ответила Болетта. — Да, видно, ты права. Она так упала. — Болетта наклонилась пониже и просипела сдавленным голосом: — Ты думаешь, там был кто-то ещё? — Пра долго втягивала в себя аромат из бутылки и глядела вдаль: — Да нет, кто там мог быть. Ты же говоришь, она лежала одна.

Так и разговаривали, тихо и встревоженно, по двадцатому разу перемалывая одно и то же, наша бабушка Болетта и прабабушка Пра, потягивая каждая свою «Малагу», и я убедил себя верить, что им никогда не удалось выветрить дух это-

го тёмного, сладкого креплёного вина, так что много лет спустя, когда я мучился кошмарами или притворялся больным и получал позволение поваляться в этой кровати, я всегда делал глубокий-преглубокий вдох, и у меня тут же шла кругом голова, воспоминание о «Малаге» проникало мне в кровь, и мне снились хмельные сны, я обожал эти фантазии, являвшиеся мне в малаговых сновидениях. Но пока что в кровати в шелку и уксусе лежала Вера, наша мать, а за окном гремел мир. Иногда я ловлю себя на мысли: а что было бы, расскажи она обо всём, что случилось на чердаке, об изнасиловании? Тогда наша история оказалась бы другой. Или вообще не стала бы нашей историей, а потекла по другим рельсам, о которых нам не суждено было бы узнать. Наша история началась с молчания Веры, как все истории должны начинаться с молчания.

Болетта смочила ей губы водой. — Вера, девочка, — прошептала она, — тебя кто-то обидел? — Но Вера не отвечает, она отворачивается, и Болетта переглядывается с Пра. — Я главное не пойму, почему столько крови. Она никогда так не течёт. Тельце-то какое маленькое! — Пра сгорбилась, обхватив двумя руками стакан. — Когда я узнала, что Вильхельм отправляется в Гренландию, я ис-

текала кровью двое суток. — Болетта вздохнула: — Мам, я знаю. — Но старуха вдруг улыбнулась, будто ей напомнили то, о чём она на миг забыла. — Но он пришёл ко мне в ночь накануне отъезда и остановил кровь. Он был чудотворец, Болетта.

Вера неспешно повернулась во сне. Они сняли компресс со щеки и увидели, что отёк почти спал. Лицо выправилось. Пра бережно расчесала ей волосы деревянным гребнем. — Ты права, — сказала Болетта. — Она просто не выдержала. Слишком много всего случилось. Вот она и сорвалась. — И малышка Рахиль, — прошептала Пра. — Вера так тоскует без неё. — Может, она ещё вернётся, — быстро откликнулась Болетта. — Не вернётся. Не верь в это. И не говори так. Хватит нам кого-то ждать.

А я так и не рассказал про Рахиль, потому что её история началась гораздо раньше и уже успела закончиться: мамина любимая подружка, чернявая Рахиль, давно мертва, скинута в общую могилу в Равенсбрюке, и никто никогда не найдёт и не опознает её, она обезличена, умерщвлена мастеровитыми палачами, лощёными корректными убийцами, которые каждое утро, отправляясь в свою душегубскую контору, чмокают в щёчку

супругу и детишек. Малышка Рахиль из угловой квартиры со стороны улицы Юнаса Рейнса, пятнадцати лет от роду, угроза Третьему рейху. Её забрали с родителями в октябре 1942-го, но, будучи милосердными людьми широких взглядов, конвоиры позволили ей под дождём сбегать на ту сторону двора к матери. — Не бойся, Вера, я скоро вернусь, — сказала Рахиль. — Я вернусь, Вера. — Две девчонки, две закадычные подружки посреди войны, одна — наша мама, вторая — её товарка, которую увозят. Что они понимают? Что знает она? Капля дождя ползёт по носу Рахили, Вера смахивает её, и обе хохочут, на секунду кажется, что это самые простые проводы. На Рахили коричневое пальто на вырост, бывшее мамино, а на руках серые варежки, которые она не успела снять. Она ведь торопится. Её ждут родители и полицаи. Ей далеко ехать. На судне «Дунай». Они обнимаются, и Вера думает, твердя, как заклинание, про себя, что Рахиль скоро вернётся, она сама так сказала, не бойся. — Береги себя, — шепчет Рахиль. — И передай привет Болетте и Пра. — Они пошли поискать картошки, — улыбается Вера, и снова обе хохочут. Но вдруг Рахиль размыкает объятия, снимает с правой руки варежку, скручивает со среднего пальца кольцо

и протягивает его Вере. — На, поноси, пока я не вернусь. — Можно? — Но Рахиль уже передумала, столь же порывисто: — Нет! Оно твоё! — Я не хочу! — рывком отстраняется Вера. — Давай бери! — Нет! — говорит Вера твёрдо и почти сердито. — Я не хочу его брать! — Рахиль хватает её руку и надевает кольцо на палец. — Но ты же можешь похранить его, пока меня нет! — Она целует Веру в щёку и убегает, ей некогда, дорога дальняя, ещё опоздает. А Вера остаётся стоять на кухне, ей хочется, чтоб лучше Рахиль не отдавала ей своего кольца. Она слышит быстрые шаги вниз по лестнице, коричневые детские ботинки стучат по ступеням, Рахиль не вернётся. Я помню слова матери, она повторяла их часто: *Я всё ещё слышу, как эти шаги уходят из моей жизни.* Я взял эти слова себе. И иногда играю с мыслью, что Рахиль стоит на полях нашей истории или обретается в глубине тогдашнего Вериного обета молчания и следит за нами оттуда с грустью и смирением.

Пра заткнула бутылку пробкой и сказала: — Значит, по-твоему, я выгляжу как бродяжка, да? — Болетта завернула испорченную одежду в бумагу, увязала и сунула в самый низ шкафа. — Я просто сказала, что мы можем пойти постричься все втроём, — вздохнула она. — Нет, ты сказала,

что я выгляжу как бродяжка! — Мы с Верой сами сходим. Если ты не хочешь. — Идите, идите. Расфуфыривайтесь для мирной жизни.

Близилась ночь, а Пра ещё не успела одеться. Она сидела на кровати в своей линялой комбинации и красных туфлях, и хотел бы я знать наверняка, о чём она думала. Что новое несчастье настигло их? Болетта встала у неё за спиной и обеими руками подняла длинные седые волосы. — Ты выглядишь не как бродяжка, а как ведьма. — Старуха хмыкнула: — К утру Вера наверняка оклемается. Может, ей захочется прогуляться с ведьмой?

И на том они постарались успокоить себя: что у Веры в этот необычный день, 8 мая 1945 года, пришли крови такой необычной, обильной силы, что там наверху, на чердаке в сушилке, они сшибли её с ног. — Всё-таки я позвоню доктору, — шепнула Болетта. — Не до тебя ему сегодня, — повторила Пра так же тихо. И трижды перекрестилась, быстро. Болетта опустила волосы на сгорбленную спину и заглянула матери в лицо: — Что это ты сделала? — А что я сделала? — Что это значит? — Ты отлично знаешь, что это значит. Не притворяйся. А я устала, — сказала Пра раздражённо и собралась встать. Но Болетта

удержала её: — Ты крестилась. Я видела. — Пра отдёрнула руку: — Перекрестилась, и что? Старая ведьма осеняет себя крестом! Это так важно? — Я считала, ты порвала с Богом и больше к нему не обращаешься. Разве нет? — Старуха снова перекрестилась. — Бесед мы с ним давно не ведём. Но изредка я нет-нет, да и подам ему знак. Чтоб он не чувствовал себя одиноко. Всё, я устала!

Пра ушла в гостиную и легла там, а Болетта прикорнула подле Веры, обняв её, как они часто засыпали в минувшие пять лет, иной раз и все втроём, вернувшись из подвала после воздушных налётов и взрывов. Тогда Пра, бывало, читала им вслух, пока они валялись так в ожидании ночи, сна и мирной жизни, письма Вильхельма, и Вера начинала плакать, когда Пра доходила до конца, до последней прекрасной фразы, которую Вильхельм, отец Болетты, написал, прежде чем сгинуть среди льдов и снегов.

Болетта долго лежала без сна. Она думала о матери, которая осенила себя крестом, — сочла, что сегодня ей нужно пообщаться с Богом языком жестов. Болетту била дрожь так сильно, что она, чтоб не разбудить Веру, отняла свои руки. Напугала ли её скоропостижная набожность Пра так же, как подаренное Рахилью кольцо лишило

покоя Веру? О, разве упомнишь все благие намерения, обернувшиеся несчастьями, все поступки, приведшие к прямо противоположному результату: утешение, отозвавшееся болью, награду тяжелее, чем наказание, молитву, прозвучавшую, как проклятье? На улице по-прежнему звенели смех и голоса. Вот она, мирная жизнь. Тербовен скинул труп Редисса в бункер Скаугума и велел охраннику поджечь бикфордов шнур от огромной бочки со взрывчаткой. Ходят легенды, что в последнюю секунду Тербовен пожалел об этом: не о содеянном, а о методе исполнения, и попробовал затоптать бегущий по шнуру на каменном полу огонёк пламени. Да не сумел — слишком был пьян, и никто не обратил внимания на чудовищный взрыв, от которого в окрестных лесах рядом вспорхнули с веток все птицы. Война окончилась. В первый раз Болетте было страшно по-настоящему.

Она всё-таки заснула, хотя и не запомнила этого. Когда она проснулась — подскочила как ужаленная, разбитая и невыспавшаяся — Веры рядом не было. Комнату заливал свет. Болетта села. В кровати рядом пусто, Веры нет. Времени восьмой час. Болетте пора на службу. Сегодня ещё только среда и лишь начало мая. В столовой

кто-то разговаривал. Болетта поспешила туда. Пра заснула под радио. *Говорит Норвежское государственное радиовещание. Действительно объективное вещание.* Болетта выключила приёмник и в наступившей тишине разобрала другой звук — давешнее бормотание, клёкот, но ещё утробнее, чем вчера, как если б кто-то полоскал горло. Звук шёл из ванной, от него стыла кровь. Болетта растолкала Пра и потянула за собой в прихожую. Дверь в ванну была заперта. Внутри гудела Вера.

Болетта постучала: — Вера?! Открой, ладно… — Бульканье сошло на нет, как вздох. Стало тихо-тихо. Но изредка из-за двери доносился звук то ли капающей воды, то ли тряпки, которой возят по полу, он был сродни тому гудению, которое Болетта услышала накануне на чердаке. — Вера, что ты там делаешь? Выходи! — Пра нагнулась и заглянула в замочную скважину. Она почувствовала слабое дуновение, что-то подуло в левый глаз. — Ничего не видно. В замке ключ. — Болетта вдруг кинулась на дверь и стала дёргать её с воплями: — Вера! Открой немедленно! Хватит дурить. Ты меня слышишь? Сейчас же выходи! — Пра пришлось схватить её, чтобы утихомирить. — Держи себя в руках! Так ты весь дом

разнесёшь! — Болетта отпустила ручку, зажала рот рукой и прошептала сквозь пальцы: — Что ж нам делать? — Во-первых, не надо крика. Я этого не выношу. — Болетта хохотнула: — Вот как? Ты теперь так хорошо слышишь, что тебе режет ухо? — Не твоё дело. — Или твои уши промыла победа? — На это Пра нечего было ответить. Вместо пререканий она вытащила шпильку, вставила её в скважину и принялась крутить и тыкать, пока они не услышали, что ключ упал на пол ванной. Болетта дёрнулась распахнуть дверь, но она оставалась запертой. Пра опять заглянула в замочную скважину. — Что-нибудь видно? — прошептала Болетта. — По-моему, она сидит в ванне. Я вижу руку. — Болетта тут же наклонилась к замку. В глаз засквозил холодный ветер, и с тех пор всегда, сколько я помню, Болетта выставляла этот сквозняк единственной причиной того, что один её глаз иногда вдруг краснел, распухал и начинал течь, словно заливался слезами из-за своего одиночества.

Болетта тоже увидела Верину руку, голую руку, свесившуюся через бортик ванны, кисть, тонкие пальцы и тяжёлое кольцо Рахили. — Я приведу домоуправа! Пусть взламывает дверь! — Болетта уже готова была ринуться в кухню, но Пра су-

мела остановить и удержать дочь. — Наверняка у педеля сейчас других дел по горло, — сказала она. — Но кто-то должен открыть дверь! — Ты что, хочешь, чтобы этот любопытный придурок увидел её в таком виде? Голую! — Болетта зарыдала: — И что прикажешь мне делать? — Говори с ней. Говори со своей дочерью! — Болетта набрала воздуха и снова подошла к двери: — Вера? Ты скоро? — Но та не желала отвечать. Они ждали. Они различали лишь ленивый плеск переливающейся воды. Вдруг внимание Болетты привлекли ходики, утекающие из них секунды, её как будто коснулись тени стрелок — Вера, я опаздываю на работу! Мне надо привести себя в порядок! Открой, пока я не опоздала на службу. — Пра схватила её за локоть. — На службу? В такой день? — Ты думаешь, в мирное время люди не перезваниваются? — По правде говоря, я считала, у них нет на это ни сил, ни времени. — Болетта отпихивает Пра в сторону. — Вера, милая, знаешь, что я придумала? У меня завтра выходной, давай сходим в парикмахерскую на Адамстюен? — Теперь Пра отодвигает дочь: — Парикмахерша с Адамстюен! Фи и фу! — Цыц! — Ты думаешь, парикмахерше нечем заняться, кроме как обслуживать клиентов? Ошибаешься! — Это

просто предложение! — Предложение? Да ты ни о чём другом вчера вообще не говорила! — Не выдумывай. — Да, ты сказала, что у меня причёска, как у бродяжки. Я этого не забуду. — Я сказала, что ты старая ведьма, вот и всё.

Тут Вера снова захныкала за дверью, тихо, бессильно, едва слышно. Болетта вздрогнула, дёрнулась, прижалась к матери. — Я так боюсь, — прошептала она. — Только б она с собой ничего не сделала. — Сделала с собой? Что ты несёшь? — Ой, я уже не знаю. — Ещё немного, и мы тут все начнём заговариваться. — Пра повернулась к двери и решительно постучала, три раза. — Вера, это я. Выходи немедленно, я больше не могу терпеть! — Но Вера не открывала и не отвечала. Только бубнила без остановки. Пра ещё трижды стукнула в дверь, не жалея сил. — Послушай, ты ж не хочешь, чтоб твоя несчастная бабка ходила в туалет в мойку на кухне, а?! — Две женщины замерли, щека к щеке, слыша дыхание рядом и ловя каждый звук из ванной, где вдруг всё стихло. Вера не курлыкала, и даже вода не шумела. И вот тогда Пра взяла разбег. Особо разбежаться было негде, но она всё же кинулась на дверь, выставив вперёд плечо. Тщетно, и Пра принялась биться в дверь раз за разом, она выгнула спину, подняла

плечи, втянула голову и стала похожа на быка, быка, разъярённого исступлённой силой горя, и этот бык налетел на дверь и вышиб её с треском; Пра едва не грохнулась об пол, но Болетта успела подхватить её, и они замерли на пороге в ужасе от того, что открылось взору, но успокоенные, у них отлегло от сердца, хоть и тряслись поджилки, потому что Вера была жива.

Она сидела в ванне, свесив одну руку за изогнутый бортик, а в воде чёрного цвета плавала щётка, жёсткая кухонная половая щётка, и Вера не заметила их, а может, не пожелала увидеть, она уставилась в никуда, как накануне на чердаке, и глядела в него безотрывно глазами, слишком большими для лица, ясными и почти чёрными, кожа на шее, груди, плечах и лице была содрана полосами, точно она пыталась смыть её с себя, соскрести и выкинуть. Худенькое тело била дрожь.

Болетта опустилась на колени перед ванной: — Вера, дочка, милая моя, что ж ты натворила?! — Серая, остывшая вода мало-помалу переливается через край. Вера молчит. — Всё уже прошло. Всё позади. Чего теперь бояться. — Старуха села на бак с грязным бельём, в углу, она трёт плечо и вздыхает. Болетта опасливо проводит ладонью по руке дочери. — И Рахиль скоро вернётся. Ты

же не хочешь оказаться тогда больной? А если так лежать, схватишь воспаление лёгких. — Пра вздыхает громче прежнего. — Да вытащи лучше пробку. Наговорились уже. — Вера притянула руку к себе. Болетта хотела было удержать её, но тоненькая, мокрая ручка просто ускользнула сквозь её пальцы. — Ну скажи что-нибудь! — кричит Болетта. — Скажи мне хоть слово!

Но Вера нема, единственное, что она может, — гундосить. Губы синие, дрожат, она курлычет. Пра вскочила, сцепила руки над головой в замок, как в кулак. — Ради всего святого, вытащи уже эту проклятую пробку! Или мне вытащить? — Болетта суёт руку в воду. И тут Вера бьёт её. Она ударяет мать половой щёткой по лицу, и Болетта начинает орать, да так, что сама зажимает уши. Те из старожилов улиц Якоба Ола и Киркевейен, кто зажился настолько, что помнит описываемые дни, рассказывают, что никогда не забудут этого крика, о котором судачили долгие годы, от которого треснула штукатурка, закачались люстры и посыпалась побелка и из-за которого кое-кто решил, что война началась по новой. Дело было не в зверской силе удара, Болетта вопила от страха, от неоспоримости доказательства того, что все как один посходили с ума, что война лишила людей

остатков разума, вот Вера и подняла руку на мать: как сидела в ванне с щёткой, так и звезданула ею матери в лицо.

Пра пришлось силой утихомиривать Болетту, и когда она наконец совладала с ней, когда обе, ловя ртом воздух, повалились на колени на холодный плиточный пол, Вера принялась скоблить себе затылок, она драла его жёсткой, негнущейся щёткой, точно ровнёхонько туда, в затылок, въелось пятно, которое она никак не может убрать. — Я не могу больше, — заплакала Болетта.

В этот момент в дверь позвонили. На миг, но всего лишь на миг, Вера перестала скоблить себя, возможно, она решила, что это Рахиль, мол, Рахиль вернулась и забежала позвать её гулять, и она поверила, наверно, в это на миг между двумя секундами, но тут же с удвоенной силой принялась тереть себя дальше, наклонила голову, шейные позвонки обтянулись кожей, как тугая гирлянда раскалённых костяшек. — Кто там? — прошептала Болетта. Пра опёрлась о бортик и поболтала в воде рукой, пять скрюченных, морщинистых пальцев осторожно потыркались в тёмной воде вокруг Вериного тела. Его бьёт сильная дрожь. — Ну, ну, малышка. Ты уже чистая теперь, отмылась. — В дверь снова позвонили.

Старуха вытащила руку из воды: — Нет, ну что за чёрт, а? Никакого покоя от них. Правда, Вера? — И Вера повернулась к ним, казалось, она готова сдаться, готова покориться Болетте и бабушке, только за немоту свою она цеплялась по-прежнему. Пра снова сунула руку в воду и вытащила пробку. — Ну вот, а теперь пойду спущу с лестницы этого типа.

Вода начала неспешно оголять Веру. Болетта положила ей на плечо руку, Вера приняла это безмятежно. Старуха ринулась на кухню и распахнула дверь. Естественно, Банг собственной персоной, кто ж ещё, домоуправ, обладатель служебной квартирки в нижнем углу двора у помойки, защитник клумб, хранитель уличной сушилки для белья, гроза бродячих котов, поборник регламента и порядка. Сорока двух лет, холостой, бывший чемпион в тройном прыжке, не годный к строевой службе. Он стоял при полном параде: широкий пиджак чёрного костюма висел мешком на тощей фигуре, а на просвечивающих коленках слишком коротких брюк сверкал плевок. В петлице бант, накрученный из лент государственных цветов, такой огромный, что держится каким-то чудом. Лицо заливает пот, как будто он сбегал бегом на чердак и обратно, а по-

том обежал двор — или же захаркал слюной и лоб тоже. — Чем обязаны визиту педеля? — начала Пра. Рот Банга перекосило. — Что здесь происходит? — спросил он. За ним, на почтительном расстоянии, маячили соседки, образцово-воспитанные дамы нашего подъезда. Они теснили друг дружку, чтобы рассмотреть получше: прабабушка Пра в одной ночной рубашке, на календаре девятое мая, времени уже восемь с четвертью, а здесь в исподнем, с покрывшим сутулые плечи колтуном седых волос стоит эта пришлая датчанка, которая изъясняется точно так, как выглядит, и которую им никогда не удавалось понять толком, хотя ещё немного — и окажется, что она дольше всех них прожила в этом доме, в квартире углом на Гёрбитцгатен и Киркевейен, где до сего дня не водилось ни одного мужика. — Происходит? — переспросила Пра. — А что должно происходить? — Домоуправ Банг опёрся о косяк — Я слышал крик. Мы все слышали крик — Соседи закивали и поднялись на ступеньку ближе: верно, они тоже слышали чудовищный крик. Пра улыбнулась: — А это я обожглась о плиту. — Она собралась уже закрыть дверь, но нога домоуправа Банга оказалась чуть дальше порога. Он во все глаза смотрел на её мокрую руку. —

Вы уверены, что всё в порядке? — Совершенно уверена, но большое спасибо за заботу. — Банг не собирался сдаваться так легко: — А как дела у Веры? Мальчишки говорили, ей нездоровится? — Что вы сказали? — Они сказали, что вы им сказали, что Вера нездорова. — Пра взглянула на его ногу, ботинок скособочен, шнурок продет не во все дырочки. — Если вы не уберёте ногу и будете кричать, то станете следующим. — Банг молниеносно отпрянул назад, но глаз с неё не сводил: — Я хотел только спросить, фру. В эти дни столько всего происходит. — Я в курсе. Но с обысками вроде покончено?

Пра ещё раз попробовала захлопнуть дверь, но Банг нагнулся к ней, а улыбки он на сегодня все растратил: — Кстати, вы кое-что забыли на лестнице. — Он пошарил по карманам и вручил ей пригоршню прищепок. — Пожалуйста, поосторожнее с этим. Кто-то может поскользнуться и упасть. И желаю, чтоб всё обошлось с вашей рукой. И Верой.

Банг похромал к дамочкам, которые немедленно окружили его. Пра заперла дверь, ссыпала прищепки в шкаф и метнулась в ванную. Вера сидит в пустой ванне, обхватив себя руками, упёршись лбом в острые коленки, на плечи на-

брошено полотенце. Болетта бережно гладит её по спине, Вера позволяет ей это. Болетта и Пра вдвоём уносят Веру назад в спальню. Здесь они укутывают её в плед, одеяла и шёлк, натирают мазями, и она моментально засыпает при ярком свете. — Я посмотрела в грязном. Она больше не кровит, — шепчет Болетта. — Отлично, тогда и врача не надо. — Они уходят в столовую, чтобы не тревожить Веру. Над мебелью, у стен, в абажурах и на картинах тихо дрожит пыль. Окна грязные и закопчённые. Пора приниматься за весеннюю уборку. — Кто это был? — спрашивает Болетта. — Идиот педель! — Мама, не называй его педелем. Его зовут Банг. Домоуправ Банг. — Домоуправ Банг! — Старуха издала короткий басовитый смешок — У него в петлице целый флаг. А что педель делал во время войны? Мародёрствовал на чердаке после евреев! — Тсс! — кричит Болетта. — И не шикай на меня. Что хочу, то и говорю. — А что ему было надо? — Принёс прищепки. Которые ты рассыпала на лестнице. — Он что-нибудь сказал? — Сказал? А что он должен был сказать? — Может, он видел что-то? — Он слишком любопытен, чтоб что-нибудь увидеть. — Старуха опустилась на диван и вздохнула: — Времени девять утра, а позади уже длинный трудный

день. Я утомилась снова. — А ты не можешь лечь с Верой? — Я присмотрю за ней. Иди на работу. И если тебе встретится бутылочка «Малаги», прихвати её домой.

Пра повернулась спиной и заснула. Болетта пошла в ванную привести себя в порядок. Горячая вода вся вышла, но она побрызгалась одеколоном, который долго экономила. Во всяком случае, от неё не будет дурно пахнуть, когда она в первый день мира придёт на Центральный телеграф.

Она заглянула к Вере. Дочь спала и сейчас, в этом свете, действительно была похожа на ту маленькую девочку, которой была чуть ли не вчера.

Пра услышала хлопок двери и быстрые шаги вниз по лестнице. Тогда она сложила руки перед грудью и коротко, стыдливо почти, помолилась, потому как наверняка у Бога, если он существует где-то, среди нас или в нас, в силе слов и мыслей, полно других забот при такой-то жизни. — Присмотри за Верой, — прошептала она. — И за Болеттой. А обо мне не тревожься. — И она впала в сонное забытьё с открытыми глазами, так она часто лежала ночи напролёт с тех пор, как Вильхельм не вернулся из страны холодных льдов и снегов. Для людей, которые ждут, это считается

хорошим сном.

(телеграф)

Восемнадцать женщин сидят рядком вдоль главного пульта на втором этаже Центрального телеграфа, и всё ещё в девять сорок одну не объявилась девятнадцатая из них. Восьмой стул справа пуст, Болетта со всех ног летит к нему через комнату с низкими сводами, она на ходу скидывает пальто у стола сменной и кидается на место, ибо фрекен Штанг в зале. Эта госпожа начальница, прослужившая здесь дольше всех и наработавшая, соответственно, самую больную шею и самые сильные мигрени, скрупулёзно помечает что-то в журнале, не сводя неумолимого взгляда с Болетты, которая плюхается на стул, попутно нахлобучивая наушники и цепляя микрофон. Товарки оглядываются на неё и сокрушённо улыбаются. Всё равно сегодня полный хаос. Телефонная сеть трещит по швам. Больше, чем в их силах, им не сделать, но Норвегией сегодня дирижируют эти девятнадцать женщин во главе с Госпожой начальницей. Это они шлют сигналы на вышки в горах по проложенным под городами кабелям, на правильный номер в нужной квартире в определённом доме, где вдруг

затрезвонит телефон и кто-то поднимет трубку и услышит голос, без которого тосковал, голос любимого человека, который спешит сказать самые нужные сегодня слова. И они соединяют эти голоса для беседы, связывают страну ожерельями фраз, звуковыми волнами, они задают тон языку и решают, кому дать слово. Рыбак из Нюксунду хочет сказать пару слов дочке, она в домработницах на улице Габелсгатен. Женщина из Тёнсберга требует соединить её с номером 204 в «Бристоле». Девчушка из Хамара разыскивает своего парня и, рыдая, просит телефоны тюрем гестапо на Виктория Террасе и Мёллергатен, 19, а также всех городских больниц. Кто-то пытается дозвониться до концлагеря «Грини», учитель из Драммена ищет следы коллеги из Финнмарка, но Финнмарк ещё заблокирован, с ним пока нет связи, и конца-краю этому не видно, на линиях из Стокгольма, Копенгагена и Лондона очереди, всё горит, реле плавятся, несколько раз линии спутываются, и разные звонки попадают на один номер. Но это не беда, сегодня такой день, по случаю наступления мира царит благословенный хаос, и теневой кабинет Норвегии составляют эти девятнадцать женщин, с Болеттой на восьмом месте справа, я видел однажды всю команду

и запомнил в наимельчайших подробностях, потому что это было в тот день, когда одновременно умерли король Хокон и прабабушка Пра. Мне было семь, мама забрала меня из школы и повела на Телеграф, чтобы сообщить Болетте всё это, что Пра насмерть задавила машина, а Фред в больнице «Уллевол», невредимый, но в шоке и потерявший речь. Сперва мы вошли в огромный зал для публики, и я остолбенел при виде колоссальной картины, закрывавшей дальнюю стену почти целиком, но мама потянула меня мимо, на второй этаж, в операторскую, остановилась в дверях, держа меня за руку, мы оба не могли разглядеть Болетту среди женщин в зале, сухоньких и в чёрном, я сразу подумал, что они уже в курсе, что Пра умерла, и поэтому такие мрачные, осунувшиеся, хотя на самом деле им это было невдомёк, только мы с мамой знали, что Пра попала под машину в Дворцовом парке, куда она повела Фреда посмотреть траурный венок, вывешенный на балконе монаршего дворца в день кончины короля Хокона, двадцать первого сентября 1957 года. Я знал, что они здесь слышат все разговоры, обо всём осведомлены, и решил, что они пошли передавать по цепочке про гибель Пра: пока мы высматривали Болетту, женщины

неумолчно говорили что-то в штуки типа мундштука, а уши у женщин были закрыты тяжёлыми наушниками, в которых что-то трещало, но тут к нам подошла совсем старая женщина, тоже в чёрном, но с шеей сказочно кривой, как будто её скособочили и прикрутили так намертво, и она спросила, без всякой любезности, что нам надо, а мама ответила, что мы ищем Эбсен, было так странно слышать, как она произнесла полное имя: Болетта Эбсен, не перерыв ли у неё? Тогда дама улыбнулась столь же криво, как несла свою шею, и смогла нам сообщить, что Болетта Эбсен уже много лет как не работает здесь, в операторской, а искать её следует внизу, неужели маме об этом не известно? Мама покраснела, изменилась в лице, и мы вернулись в зал для публики, где мама попросила меня подождать, пока она приведёт Болетту. Я остался стоять в высоченном зале и рассматривать фреску Альфа Рольфсена. На ней были изображены только мужчины: вот они прокладывают широкие просеки в чаще, тянут кабели по горам и под городами, вкапывают телеграфные столбы, в их позах, ясно мне теперь, Рольфсен запечатлел выверенную пластику тяжёлого труда, крестовоздвиженья, который женщины благословляют тем, что потом доводят

его до ума, стыкуя электрические сигналы и отправляя голоса по назначению. Возможно, я лишь приписываю это моей памяти, приукрашиваю истину, наслаиваю сочинительство на воспоминания по ходу этого серьёзного разговора с самим собой, но тем не менее я скажу: мне было семь, и я решил, что нахожусь в церкви. В тот день, когда преставились прабабушка Пра и король Хокон, а Фред онемел, здание Центрального телеграфа на Толлбюгатен стало для меня храмом, а бесплотные женщины в чёрном обернулись скорбящими душами, взывающими в свои мундштуки к Господу Богу. Я помню, что мама отсутствовала долго. Наконец, она вернулась, одна, так и не отыскав Болетту. — Наверно, обедает, — прошептала мама. И мы спустились в столовую. Мама до боли стиснула мою руку. В столовой Болетта была, но она не обедала. Она стояла за прилавком и подавала кофе. А в такси по дороге в больницу Болетта буркнула, что до чего причудливые бывают совпадения, вот Пра приехала в Норвегию одновременно с Хоконом, в 1905 году, а теперь они умерли в один день. — Повело Господа на шутки, — вздохнула Болетта и закурила, а мама вдруг рассердилась и одёрнула её. Но до этого ещё далеко, и даже я не могу не понимать, что негоже

так прерывать повествование, недаром часто директора фильмов вымарывают *ретроспективу,* не удосужившись хотя бы проглядеть её, говоря, что *flashback* означает ненужное утяжеление, хуже которого только *flashforward,* и место этим метаниям во времени в мусорной корзине монтажёра, а когда я бережно приоткрываю завесу моих воспоминаний и извлекаю на свет поэтичные интригующие моменты из моего прошлого, мне неминуемо приходится выслушивать, что то, чего человек не в силах представить в настоящем времени, в реальной твёрдой валюте, по большей части оказывается дерьмом и пустыми претензиями, так что этот хлам я могу захватить домой и на досуге настрогать из него любительского кино.

Посему я возвращаюсь к Болетте, которая в первый день после войны сидит на восьмом месте справа и принимает звонки со всей страны, а сама думает о Вере. Впрочем, времени подумать о чём-то, кроме абонентов, которых нужно соединить друг с другом, нет, поскольку вся страна болтает взахлёб, а Болетта обретается в настоящем времени, в потоке событий, и она чувствует, как схватило голову и боль ползёт вверх по шее и растекается до лба, точно магнитный ветер,

они *называют морзянкой* эту муку, которая раньше или позже, но настигает всех телефонисток, лишает многих из них сна и превращает в неврастеничек, и когда стрелка наконец доползает до часа, Болетта вместе с половиной смены идёт в комнату отдыха, но разговоры гремят и здесь, в полный голос, только Болетта молчит, она думает о Вере, о кровотечении, но никто не обращает на неё внимания, все привыкли, что Боллетта дичится, она не стала своей в этой компании настоящих сотрудниц Телеграфа, несмотря на разницу в возрасте, они все одного поля ягодки: обитательницы роскошных квартир на аллее Бюгдёй или Парквейен, часто последыши в большой семье, внезапно предоставленные сами себе. За ними числится как минимум один курортный сезон во Франции, и если они отважились выйти на пляж, в Ницце или Биаррице, то лишь прячась под зонтиком, и чем они старше, тем бледнее от всего того уксуса, который втёрли в себя. Они незамужни, бездетны, вряд ли испытали прикосновение мужской руки и бегло говорят на двух языках, одинаково поджимая губы. Болетта хоть не замужем, но растит дочь, что не только необычно, но неслыханно, особенно поскольку им не удалось докопаться до подробностей этой

скандальной истории и они давно отчаялись выпытать что-то сверх того, что они знают, а это, считай, ничего. Им известно лишь, что Болетта Эбсен живёт со своей матерью, датчанкой, бывшей в молодости в некотором роде звездой немого кино, и дочерью Верой, появившейся на свет в 1925 году, и хотя все эти исхудалые барышни с телеграфа ходят по воскресеньям в церковь, читают Библию и богобоязненны до одури, в непорочное зачатие и прочие чудеса они верят слабо. Теперь они гомонят все хором, перебивая друг дружку, рассказывают о своих мужественных отцах, освобождённых из «Грини», братьях, числившихся погибшими, но неожиданно обнаружившихся в укрытии где-то на севере Нурмарка, у каждой в семье по герою и хотя бы одна потрясающая история в запасе, но вдруг все разом смолкают, как будто их отключили, и Болетта замечает, что все взгляды прикованы к двери, она тоже поворачивает голову и видит фрёкен Штанг. Начальницу, не одобряющую болтовню во время обеда и не отказавшуюся бы ввести запрет на разговоры и обет молчания. Она кивает Болетте, склонив голову набок: «Господин директор Эгеде хочет поговорить с вами. Немедленно». И фрекен Штанг удаляется к своему столу

прежде, чем Болетта успевает спросить, в чём дело, и никто в комнате ничего не говорит, возможно, они думают с торжеством и злорадством, что у директора наконец лопнуло терпение, он решил навести порядок и сегодняшнее опоздание Болетты Эбсен станет последним, ибо немало найдётся девушек с незапятнанной репутацией, которые почтут за счастье получить место на Центральном телеграфе. Может, они и думают так про себя, но высказать это вслух им и в голову не приходит, потому что против Эгеде, бонзы с верхнего этажа, они выступают единым фронтом, и Болетте помогают привести в порядок причёску, суют пудреницу, её трогает это сочувствие; поднимаясь по длинной лестнице на начальственный этаж, Болетта вспоминает торопливые слова утешения, а когда она наконец собирается с духом и стучится, то тоже думает, правда, без торжества: сегодняшнее моё опоздание было последним, теперь будем на мели горе мыкать. Она слышит голос Эгеде, говорящий «Войдите», как во сне отворяет дверь, потом прикрывает её за собой. Эгеде сидит в кожаном кресле за огромным столом, Болетта подходит ближе и ловит себя на книксене, она готова лопнуть от досады на себя, что сдуру присела в книксене, как

школьница перед директором, а злость всегда идёт ей на пользу.

Эгеде расплывается в улыбке и указывает ей на стул. Болетта остаётся стоять и глядит прямо на него. Когда-то он, может, и был хорош собой, но теперь поперёк себя шире, и даже мировая война не повлияла на толщину его подбородков, расплывающихся над воротником как жабо из светлого жира, который тянет голову вниз, отчего директор то и дело клюёт носом. Он не торопясь раскуривает трубку. Болетта ждёт. Она держит руки за спиной и сию секунду готова скрестить взгляды с кем угодно. — Так, так, — говорит наконец Эгеде. — Всё, слава Богу, позади. — На это Болетта не отвечает ничего. Хотя её удивляет, что он ходит вокруг да около. Ей это не по нраву. И её благая злость раскаляется пуще прежнего. Но всё же она говорит тихо: — Да, слава Богу. — Эгеде кладёт трубку в пепельницу и отирает уголки рта. — Сейчас, — догадывается Болетта, и сжимает руки за спиной в кулаки. — Сейчас он скажет, что всему есть предел. — Дома всё в порядке? — спрашивает он. Болетта не знает, что отвечать. Она кивает. — Ваша мать играла в кино, так ведь? — Болетта обескуражена. — Да, — говорит она. — Но это было очень давно. — Наверно, ещё

во времена немого кино. Между нами говоря, я преклоняюсь перед Великим немым. — Директор Эгеде встаёт, на то, чтобы выбраться из кресла, уходит определённое время. — И ещё у вас есть дочь, да? — Да, есть. — Болетту опять щекочет злость. Если он решил обидеть и унизить её, прежде чем выставить за дверь, пусть попробует. Ей нечего стыдиться. Смотри, как бы я не выпотрошила трубку тебе в лицо, думает она. — Сколько ей сейчас? — Летом будет двадцать. — Эгеде качает головой и вздыхает. — Печально, когда война отбирает твою молодость. А школу она успела закончить? — Болетта теряется с каждой минутой всё больше. Она не поймёт, куда он клонит, и мучится от этого. Но решает отвечать учтиво и особо не распространяться. — Она закончила среднюю школу. — Это хорошо, — роняет Эгеде, отходя к окну. Он стоит спиной к ней и любуется городом. — А чем ваша дочь думает заняться? — Ей нравится всё, связанное с фотографией. — Эгеде поворачивается к Болетте и вдруг прыскает: — Фотографией? Так молодая леди хочет стать фотографом? — Болетта сглатывает, ей приходится сглотнуть, чтобы ответить хоть как-то, она готова растерзать эту разодетую гору жира, которая позволяет себе смеяться ей в лицо,

но, заговорив, она слышит, что её голос звучит вежливо и смиренно, как будто ей стыдно, что она так завралась. — Она хочет работать в фотомагазине. — Эгеде нетерпеливо машет рукой, ему вдруг наскучили досужие разговоры, хотя он сам их завёл. Он грузно опускается в кресло, Болетта молчит, молчит мрачно, она вообще может рта не открывать. — Вы работаете на Телеграфе много лет, — говорит он неожиданно любезно, почти льстиво. У Болетты перехватывает дыхание, она понимает, что ничего не понимает. Эгеде снова раскуривает трубку, у табака не совсем свежий запах. Болетте хочется повернуться и уйти, но она остаётся стоять. Ну сейчас точно, думает она. Он вознёс её выше некуда и теперь кинет оттуда в грязь. — Этого больше не повторится, — выпаливает она. Эгеде вылупил глаза. Трубка свисает с вывороченных губ, как крючок. — Не повторится? Что не повторится? — Опоздания. Но сегодня все часы посбивались. — Эгеде таращится на неё, а потом вдруг снова начинает хохотать. Он откладывает трубку, хохот переходит в кашель, прокашлявшись, он спрашивает: — Вы не хотели бы подняться на пару этажей повыше? — Болетта думает, что недослышала, и подаётся вперёд. Она чувствует, что лицо растеклось в идиотскую

мину. — На четвёртый этаж? — шепчет она. — Не пугайтесь уж так-то. — Болетта отступает на шаг, силясь привести лицо в порядок — Вы имеете в виду экспедицию? — Да, именно её. Нам требуется несколько операторов в этот отдел. И нам нужны женщины с опытом. Такие, как вы. У вас же огромный опыт. — Эгеде порывисто отворачивается, как будто брякнул что-то лишнее. Ей нравится видеть его таким. Она чувствует даже некоторое превосходство: она-то смогла совладать с собой. Ей должно радоваться и благодарить. У неё есть шанс подняться туда, где нет мигреней. Она улыбается: — У меня опыт только оператора на пульте. — Эгеде чуть поводит жирными плечами. — У нас есть курсы. Это не трудно. Для вас, я имею в виду. — Эгеде выбивает пепел из трубки. Мундштук весь изгрызен. И у директора свои проблемы, с совестью, думает Болетта. Внезапно в ней проклёвывается жалость к нему. У него широкая траурная кайма под ногтем на среднем пальце, которым он утрамбовывает табак в трубке. Белая пыль встаёт нимбом над тонкими, сухими волосами всякий редкий раз, что он делает резкое движение. Как сейчас, когда он поднимается рывком, словно прочитав перемену в её глазах и спеша вернуть себе главенство. — Так

что вы скажете на моё предложение? — Ответ вертится у Болетты на языке, но она не спешит произнести короткое слово, ей хочется потянуть это мгновение в своё удовольствие, а Эгеде, видя, как она мнётся, тяжело оседает в кресло, будто забыв, что только вскочил, упирает локти в стол и говорит. — Конечно, конечно. У вас есть время подумать. Никакого пожара нет. Но все вакансии должны быть заняты к сентябрю.

Эгеде опускает глаза и начинает рыться в бумагах, Болетта откланивается, на этот раз никаких книксенов, она лишь кивает и пятится к выходу. Но когда она кладёт ладонь на золочёную ручку двери кабинета директора того, что народ окрестил Телеграфным дворцом, а я про себя именую Телеграфным собором, тогда Эгеде поднимает руку и вновь устремляет взгляд на Болетту. Она отпускает ручку и стоит молча, терзаясь нарастающим беспокойством, что всё это чудесно до неправдоподобия, а жизнь научила её, что очень многие вещи оказываются слишком хороши, чтобы стать правдой, и что победы неизменно гораздо скоротечнее поражений. — Найти место продавца в фотомагазине, верно, нелегко? — спрашивает он. — Нелегко, — шепчет Болетта. Эгеде снова вылезает из-за стола и подходит

к ней. — Если вы примете моё скромное предложение, в операторской освободится место, да? — спрашивает он. — Освободится, — дакает и Болетта. — И тогда его могла бы занять ваша дочь. Это тем более удачно, что вы научили бы её всем премудростям. — Болетта смотрит на него в упор и улыбается. — Это более чем любезно с вашей стороны. Но ничего не выйдет. — У Эгеде мрачно вспыхивают глаза. — Ничего не выйдет? Как так? — Как я уже сказала, у моей дочери другие планы. Но спасибо ещё раз.

Болетта снова берётся за ручку и в эту секунду чувствует его руку на своём плече. Она медленно поворачивается и видит его пальцы, они висят, как гигантское насекомое, по ошибке заползшее на неё. Теперь ясно, чего ему надобно — взять её за жабры. — Я сообщу вам завтра, — говорит она. — Не спешите. Думайте, сколько вам надо. — Рука Эгеде скользит вниз по её руке, жёлтый ноготь скребёт материю с глухим шуршанием. — Я могу идти? — Директор вынимает часы, откидывает крышку и долго изучает стрелки. Потом хлопает крышкой и прячет часы в карман жилетки. Он смотрит на Болетту, в глазах ни следа тёмного мерцания, директор сер и бесстрастен. — Жаль, — говорит он. — Вашей дочери здесь наверняка

было бы хорошо. Но она хоть не собирается выскочить за первого встречного? — Болетта смеётся. Она смеётся и зажимает рот рукой. Она никак не возьмёт в толк, что он такое несёт. — Нет, не собирается? А то с такими станется! — Теперь хохочет Эгеде, он хохочет, колыша подбородками, но вдруг замолкает, повесив голову, как будто выдохшись. — И то правда — кто возьмёт в жёны незаконнорождённую? — шепчет он. — Что вы сказали? — Можете идти. — Моя дочь рождена по тем же законам, что и все!

Болетта слышит, что за ней захлопывается дверь. Она идёт по кафельному полу под звук собственных шагов, они долетают с опозданием, будто все чувства остались сзади. Из комнаты правления выходят трое мужчин, на неё они не обращают внимания. На лестнице она вцепляется в перила. Между этажами туалетная комната, она заворачивает туда, моет руки, от них разит пеплом, табаком, а из зеркала на неё глядит лицо, в котором она едва узнаёт своё. Её тошнит, но она справляется с рвотой, выпив холодной воды, потом ждёт, пока восстановится дыхание, приглаживает волосы, поправляет платье, одолевает полпролёта до операторской и садится на место, а все косятся на неё, умирая от любопытства:

что она делала у Эгеде *столько* времени? Того гляди, сама Госпожа начальница опустится до расспросов, но Болетта сидит как истукан, вперившись в никуда, не замечая ничьих взглядов, и никогда и никому не станет она рассказывать о беседе с директором Эгеде. Зато она делает то, что делать запрещено, но она уверена, что ей больше терять нечего, и потому набирает свой номер, она вклинивается в очередь и ныряет в паутину хитроумной сети, и в гулких комнатах на Киркевейен начинает трезвонить чёрный телефонный аппарат.

(пуговица)

Вера услышала звонок — где-то далеко, по ту сторону сна и войны звонил телефон, но никто не брал трубку. Она встала, медленно, удивляясь, пошла на звук и тут же очутилась в коридоре, она не заметила пути от кровати сюда, не прожила этих секунд, как будто её вырезали из одной комнаты и вмонтировали в следующую. Телефон не смолкал, а в столовой она увидела бабушку, та лежала на диване спиной к ней, а на плечах серел огромный воротник волос. Думала ли Вера, что это звонит Рахиль, её подружка-еврейка? Когда б Рахиль вернулась, она не стала бы звонить,

она бы опрометью кинулась через двор, взлетела по кухонной лестнице и бросилась подруге на шею, и Вера выложила бы ей всё. Но может, с ней что-то приключилось, ногу сломала, например, и поэтому вынуждена звонить, подумала Вера и сняла трубку с рычага чёрного телефонного аппарата со смещённым циферблатом, где, если сунуть палец в девятку, отвести диск в сторону до упора и отпустить, он, возвращаясь на место, тренькал вместо девяти раз всего лишь один, и импульс на телефонную станцию уходил тоже лишь один, так что девятка получалась единицей, восемь двойкой, семь тройкой и так далее, и когда Вера приложила ухо к трубке этого задом-наперёд-телефона, что тоже случилось внезапно, как по мановению волшебной палочки, словно время распалось на несвязные нити, она услышала только гудки, только дыхание телефона, шелест ветра в электрическом лесу, куда её не пустили, не пустили поговорить, и она тут же бросила трубку. Тишина гуляла по комнатам и оставляла следы в потоках света. Пра по-прежнему лежала на диване. Почему она спит в столовой в такое время? И почему её шёлковая китайская рубашка на Вере? Ходики от страхового общества «Bien» пробили полчаса. Вера резко дёрнулась в

их сторону, и воспоминания заныли, точно она содрала корочку с раны. Она ринулась в ванную, припала к раковине и стала пить из-под крана. Посмотреть в зеркало она не решилась. Но осторожно сунула руку под рубашку и потрогала повязку, сухая, из неё не льётся. Там не больно. Это показалось Вере странным. Её должна раздирать боль. Она бы помогла ей забыть. А так только жажда. В ванне широкая сальная полоса, как будто вода по краю засохла и превратилась в грязь. Вера распахнула шкаф над раковиной, дохнуло тяжёлыми духами Болетты. Ей стало дурно. А вдруг Рахиль звонила из-за границы, издалека, и связь внезапно прервалась, но она позвонит снова, едва окажется рядом с телефоном где-нибудь поближе, в Дании или Швеции, где связь лучше. На миг утешенное этой мыслью сердце скакнуло от радости. Она взяла гребень с бабушкиной полки, закрыла шкаф и всё-таки посмотрелась в зеркало: призвук синевы на щеке, ссадина на лбу. Если запудрить, никто не обратит внимания. А на что обратит? На глаза? На рот, когда она открывает его? На язык? Неужели он залезал и туда, в рот? Вера не помнила. В память врезалось лишь, что на руке недоставало пальца, а на верёвке сидела птица. Она подошла к дивану,

пристроилась рядом с Пра, нежно взяла в руки седые космы и принялась расчёсывать их. Часы в коридоре пробили два раза. Старушечьи волосы пахли сладостью, землёй и листвой. — Ты думала, я сплю? — шепнула Пра. Но Вера не ответила. Она расчёсывала волосы, и губы были стиснуты. — Ты же знаешь, — продолжала старуха, — я никогда не сплю по-настоящему. Мой сон — ещё один способ ждать. — Пра вздохнула и приподняла голову. — Мне так приятно, когда ты расчёсываешь меня. Это напоминает мне море. Песок. Самые мои лучшие воспоминания. А потом я что-нибудь сделаю с твоими волосами. Не нужна нам никакая парикмахерша, правда? — Пра прислушалась — ничего, только снуют Верины пальцы. — Мне ты можешь всё рассказать. Я же ничего не слышу. Я оглохла, ты помнишь, от этого жуткого взрыва ещё в сорок третьем. Правда, я не помню, какое это было ухо, да не важно, с тех пор и другое вышло из строя. Так что ты можешь рассказать мне всё-всё-всё, Вера, я ничего не услышу.

Но Вера молчит. Пра ждёт. Снова бьют часы. Время свернуло на новый круг. — Ну не хочешь — не надо. Тогда я тебе расскажу. Ты хоть и не говоришь, но слышишь вроде хорошо? Телефон же ты услышала. — Пра чувствует рывок за волосы,

гребень застревает, но Вера резко и решительно дёргает его вниз. — Дорогая, так ты снимешь с меня скальп. Кстати, а кто, ты думаешь, это был? Кто звонил? Болетта? Ей нельзя. Но это, конечно, была она. А потом её отсоединили. Ненавижу я телефоны. Глаз собеседника не видишь и вечно брякнешь из-за этого какую-нибудь глупость. Потому что разговаривают не словами, а глазами. Мне ли этого не знать, а, Вера? Было время, я тоже жила в немоте, на экране. В кино я молчала, но за меня говорили глаза. Мы красили веки зелёным, чтобы сильнее сияли. Я могла бы стать звездой первой величины. Больше и Греты, и Сары. Правда! Если б глаза не потухли. В какой-то день они не засияли, и всё, хотя я накрасила их так, что едва могла смотреть.

Пра умолкла. Она почувствовала, что Верины руки застыли на месте. — Ну что, фру парикмахер, я уже хороша, как майский цвет, или тебя просто утомила моя старушечья болтовня? Я и сама от неё устала. Всё, что я говорю, я слышала раньше. И не по одному разу. Ничего нового в голову уже не приходит. Дружок, ты не принесёшь мне бутылочку «Малаги»? Она стоит в полке за Йенсеном.

Вера бросила чесать волосы и пошла в столовую за бутылкой. Пра села. Она сгорбилась больше

обычного, вот-вот носом в землю уткнётся. Утром она улеглась, не сняв красных тапок, и теперь ноги заснули, только они у неё и спали. Она попробовала растереть их, да не дотянулась, как ни пригнуло её к земле. Пра оставалось сидеть и ждать, пока кровь прильёт к ногам. Вот она, старость: дожидаться, пока проснутся твои ноги. Гребень валялся у подушки, весь в длинных серых волосах, похожий на дохлую зверюшку. Она быстренько обобрала волосы с гребня и сунула их за диван. Было зябко, она накинула плед. Она слышала, как Вера двигает тома «Потерянной земли» и «Ледника», наконец она появилась с бутылкой и стаканом, осторожно налила в него вина и протянула старухе. А та подняла стакан и посмотрела вино на свет, как солнце сочится сквозь коричневое зелье и оседает на дно, точно пыль красного дерева. Налюбовавшись, она неторопливо влила его в себя, и спина стала гибкой, как лоза, а маленькие в шишках ноги ожили, готовые вот-вот пуститься в путь. — Посиди со мной, — попросила Пра. — Торопиться нам сегодня некуда. Может, нам сфотографироваться всем втроём, а? Когда Болетта вернётся? — Вера присела к Пра и опять стала расчёсывать её. Волосы, тонкие, пушистые, и так приятно струятся между

пальцев. — Вера, а ты рада, что снова можно ходить в кино? Давай, отведёшь меня в «Пэле». Или в «Колизей». Я ведь не была в кино с тех пор, как оно заговорило. Представляешь? Последнее, что я видела, — «Виктория». С Луизой Ульрих в главной роли. Она ничего, только немка, к сожалению. Нет, зря они кино озвучили. Глаза исчезли. И глаза, и танец пропали, теперь только рот. Знаешь, как они использовали кинотеатр «Пэле» все эти годы? Хранили там картошку! Но у тебя, поди, есть с кем сходить в кино и кроме такой старой клюшки? Да и ноги у меня наверняка заснут.

Старуха вздохнула и положила руку на Верино плечо. — Кстати, твои кавалеры искали тебя вчера. Ты уж перебирай их медленно, одного за одним. Только не спеши. Ради Бога — не спеши! Мужики — они такие фальшивки, на них жалко даже той бумаги, на которой их малюют. За исключением Вильхельма, конечно. Поверь мне, иногда гораздо больше удовольствия ответить «нет», чем «да». Честное слово.

Вера трепыхнулась, и старухе пришлось поддержать её на миг. Она потёрлась щекой об острое внучкино плечо, потрепала её по спине, разгладила складки шёлка. — Эту рубашку подарил мне Вильгельм, как только мы познакомились.

Ты можешь себе представить — подарить девице ночную рубашку ещё до свадьбы?! Стоит ли удивляться, что я каждую ночь запирала дверь на все запоры, чтоб быть уверенной, что никто не проберётся в комнату. Ну ладно. Может, почитаем вечером его письма? Начнём с того, где они завязли во льдах.

Вера наклонила голову, и волосы распались, оголив тонкую дугу шеи. Старуха выпила ещё стакан «Малаги» и подумала: откуда у Веры эта немота? Особенно пугало Пра то, что молчание было знакомым, как будто оно передавалось в семье из поколения в поколение и досталось Вере в тройном размере. Её немота прямо-таки вопиющая. — Ты подумала, что это Рахиль? — шёпотом спросила Пра. Вера закрыла глаза. — Не верь в это, не надо. Ждать напрасно — это просто откладывать жизнь. Я знаю, что говорю. Я ждала столько лет, что теперь поздно отчаиваться. Вот и жду. Это смерть в рассрочку, вот что это такое. Умильные простофили восхищаются моей стойкостью. Но мне-то лучше знать. Надежда дама дряблая, да и крохоборка.

Пра повернулась к Вере и увидела у неё на шее вмятину и сетку сине-красных капилляров вокруг. И едва она заметила это и подняла руку, как

в дверь зазвонили. Вера выпрямилась. Волосы закрыли шею. Старуха грохнула кулаком по дивану: — Если это опять проклятый педель, ужо я затяну ему на горле галстук раз и навсегда! Вера, если услышишь крики, не пугайся!

Старуха босиком прошлёпала на кухню и распахнула дверь. Там стоял-таки Банг, по-прежнему при параде и с безразмерным бантом в петлице, но лыка не вяжущий и с таким амбре изо рта, что мухи дохли на лету. Он качнулся вперёд и попробовал изобразить поклон. У Пра глаза стали как щёлки, и она замахала рукой перед носом, разгоняя запах. — Что теперь? Песчинки в песочнице недосчитались? Или от мирной жизни мозги совсем набекрень съехали?

Домоуправ откачнулся в вертикальное положение, но глаза остались прикованы к босым ногам Пра. — Я хотел просто сказать, что вы забыли на чердаке корзину с бельём. — И? — Я хотел сказать, что я не против сходить за ней и принести вам. — Зато я против. На сегодня вы свободны, молодой человек.

Пра захлопнула дверь перед его носом и не ушла, пока не услышала, что он захромал вниз по лестнице, громко сам с собою разговаривая. А если Банг начинал такой диалог, речь всегда за-

ходила о тройном прыжке и о рекордах, которые он наверняка бы установил, когда б не травмы, козни и судьба-злодейка, и по ходу этих разбирательств Банг обычно распалял себя не на шутку. Пра бегом засеменила к Вере, села рядом, провела гребнем по сухим волосам и снова открыла шею, такую тонкую, что старуха едва не заплакала. Она попробовала засмеяться. — Ну мужики! На всё про всё у них дежурный костюм. Что свадьба, что похороны, мир или война, на них один и тот же заношенный костюм! За исключением Вильхельма, конечно. Он вообще никогда костюмов не носил. Я рассказывала тебе о последней ночи, которую он провёл у меня? Наверняка рассказывала, но всё равно послушай. Я впустила его, хотя, конечно, заперла дверь на три ключа и прочее. Он уплывал на следующий день, на пароходе «Антарктида». Мне исполнилось столько лет, сколько тебе, и крови у меня бывали такие, что я думала: умру, сердце обескровится, и всё. И вот он пробрался ко мне через все запоры, которые, может, я и нескладно заперла, как узнать? Он лёг ко мне, и кровь остановилась. Это был наш с ним первый и последний раз. Первый и последний, Вера.

Старуха замолчала и отпустила Верины волосы.

Метка не от ногтя. Похоже на укус, на синие отпечатки чьих-то зубов. Она похолодела, мороз по коже. — Детонька моя, — прошептала Пра, — что случилось на чердаке? Кто-то плохо поступил с тобой? — Вера уткнулась головой ей в колени и тихо заплакала, она плакала, пока не кончились слёзы, это был весь её ответ, содрогающееся от плача тело. А Пра гладила её и чувствовала, как в ней разгорается ярость, та ярость, что суть оборотная сторона горя, горя, которого она хватила с лихвой, она ведь жила на одном горе, только горе заставляло трепыхаться её сердце. Но теперь к нему добавилась ярость. Гладя Веру по щеке, старуха думала, что, если кто-то позволил себе поднять руку на её Веру, она сживёт его со свету. — Ну, ну, — курлыкала она. — Всё пройдёт. Всё остаётся позади. Даже мировая война. Пойду-ка я схожу на чердак принесу наши вещи.

Вера стиснула её руку. — Ничего опасного, — сказала Пра. — Темноты я давно не боюсь. А то иначе мы не отвяжемся от этого педеля. — Верина рука скользнула на колени. — Ты не хочешь со мной сходить? Нет, не можешь? — Вера сидела, глаза беспокойно дёргались, никуда не глядя. — И не надо. Я одна. Принесу тебе Болеттино платье. Не забудь, мы собирались сфотографироваться.

Старуха надела красные тапки, облачилась поверх рубашки в длинный халат и прикрыла голову широченной шляпой, потому что на чердаке всегда сквозит, будь то хоть майский день. И когда Вера увидела её в таком наряде, она вдруг расхохоталась и быстро зажала руками рот, а Пра на это засмеялась, так-то лучше, девонька моя, думала она, смейся надо мной, наполни эти комнаты смехом. Рубашка вытарчивала из-под халата, шляпа сидела криво, но сейчас было не время наводить лоск да глянец.

— Думаешь, надо взять палку? Будь по-твоему. Палка! Где ты?

На всякий случай она захватила с собой ещё и ключи от ванной и пошла считать неприступные ступеньки вверх. Она видела, что все двери приоткрыты на цепочку, и наверняка из-за каждой кто-то следил за ней, но это Пра не смущало, она не из тех, кто предпочёл бы тихохонько шмыгнуть наверх, нет, она грохала палкой по перилам, извещая о своём приближении, и двери бесшумно захлопывались за её спиной.

Ветер она услышала, едва ступив на чердак, точно дом и двор тихо свистели. Она пошла вдоль по коридору мимо чуланчиков. Валяется опрокинутая коляска, по полу рассыпаны лежавшие в

ней дрова, лыжная резинка цветов норвежского флага, бутылка коричневого стекла откатилась в сторону. Пра остановилась перед сушилкой. Их корзина стояла посреди помещения, под провисшими верёвками, на которых ещё болтался шерстяной носок. Под потолком на балке сидел голубь. Старуха с помощью шеста, лежавшего здесь же для таких надобностей, открыла люк в крыше и громко трижды топнула, но голубь не шелохнулся. Она попробовала согнать его палкой — без пользы, голубь сидел как сидел, возможно, он был мёртвый. Пра замёрзла, кинула носок в корзину, подхватила её, но тут же поставила обратно. Потому что на широких досках, покрытых тонким слоем пыли, она увидела следы ног больше миниатюрных Вериных. Потом она заметила кое-что ещё. Среди одежды в корзине валялась пуговица, блестящая пуговица, явно не их. Она взяла её в руку. Пуговица на чёрной нитяной ножке. Её обронили здесь. На чердаке кто-то побывал, от его куртки оторвали пуговицу. Старуха положила пуговицу в карман халата, закинула за плечо палку, оттащила корзину в квартиру и отсюда немедля позвонила доктору Шульцу с Бишлета, он несколько раз пользовал Веру в детстве, когда она заболевала и плакала сутки

кряду, тогда появлялся доктор Шульц с Бишлета и прописывал свежий воздух, своё излюбленное универсальное лекарство, которого в долине Нурмарка, кою он аттестовал как «аптеку», благо что на своих двоих исследовал её вдоль и поперёк, было в избытке, свежий воздух отпускался здесь и в жару, и в стужу, притом совершенно бесплатно. Поэтому Пра с большой неохотой заставила себя набрать его номер, но кого ещё ей было позвать, а когда Шульц наконец поднял трубку, голос звучал озабоченно и нетерпеливо. Он смог пообещать заглянуть попозже вечером, если не получит других вызовов, поскольку борьба далеко не закончена, это всем надлежит помнить как дважды два, отчаявшиеся немцы и местные предатели могут нанести удар в любую секунду, и столкновения уже идут, и люди гибнут, это агония войны, последние судороги разгромленных перед *rigor mortis*[1] поражения. Доктор Шульц с Бишлета не мог изменить священному долгу в последнюю секунду, он должен быть на посту и принимать раненых героев заключительных боёв войны. Пра вздохнула и положила трубку, спрятала пуговицу в шкатулку со своими драгоценностями в

---

[1] Примечания: 1
Трупное окоченение (лат.).

спальне и вернулась к Вере. Та сидела на диване в прежней позе. Точно та птица с балки на чердаке, подумала старуха и постучала три раза по деревянному косяку, на всякий случай. — Сейчас давай разберёмся с платьями, а потом разложим пасьянс и выпьем «Малаги», — предложила Пра. Вера поплелась за ней на кухню, они погладили платья, и Вера надела на себя зелёное, Болеттино. Оно было широковато, но Пра заколола на талии по булавке с каждой стороны, и женщины пошли к большому зеркалу в прихожей. Вера стояла перед ним и смотрела в пол. Отводила глаза. Не хотела встречаться со своими глазами в зеркале. Пра обняла её. — Смотри-ка, ты переросла меня. А меня к земле тянет. Скоро совсем носом её скрести буду. — Так, в выходных платьях перед зеркалом и застала их бледная и встревоженная Болетта. Она замерла на пороге, рассматривая их, на миг успокоилась. — Ты чудесно выглядишь, Вера, — шепнула она, а Вера подобрала подол и упорхнула в столовую. Болетта проводила её взглядом. — Она говорила что-нибудь? — Надо помыть окна, — ответила Пра. — Скоро солнца видно не будет. — Болетта схватила мать за руку: — Она заговорила? Что она сказала? — Старуха посмотрелась в зеркало. — Мои дни

сочтены, — запричитала она. — Я выгляжу как балаганный клоун. — У Болетты стали сдавать нервы: — Но говорить ты могла бы нормально, а не как в балагане! — Старуха вздохнула: — У тебя опять голова болит. Лучше б тебе не кричать, а прилечь. — Болетта сделала глубокий вдох и закрыла глаза. — Ты можешь ответить на мой вопрос? — А ты принесла что-нибудь вкусненькое? Мне хочется шоколада с маслом! — Болетта привалилась к стене: — Она заговорила? Мне что, пытать тебя? — Пра вздохнула ещё глубже: — Она не сказала ни слова. Зато расчесала мне волосы, если ты не заметила. И вообще, надо вывесить флаг. Мы одни сегодня без флага.

Болетта хотела пойти за Верой. Но Пра удержала её. — Оставь девочку сейчас в покое. — Болетта замерла па месте и быстро отёрла рукою лоб. — Ты уверена, что не надо позвать доктора? — Тсс! — шикнула старуха. — Этому идиоту я уже позвонила.

Доктор Шульц пришёл, когда они пили кофе. А когда доктор Шульц из Бишлета совершал выход, не заметить его было нелегко. В вытянутой руке он держал чёрный саквояж, на голове была приплюснута шляпа с обвислыми полями, на ногах калоши, которые он носил с первого сентября по

семнадцатое мая, не сверяясь с погодой, худое лицо багровело, нос напоминал восклицательный знак, приклёпанный между лбом и ртом, а на конце этого видного собой носа висела капля, которая, видимо, примёрзла к нему навек во время лыжного перехода из Мюллы, который доктор Шульц совершил зимой 1939 года, когда ему и довелось затариться свежим воздухом в последний раз. С тех пор он в основном сидел дома у себя в Бишлете и тратил этот запас. Добираясь к нам в тот вечер, доктор Шульц занял собой весь тротуар и некоторую часть мостовой. Он полз, как чёрный краб, и малышня из Йёссенлёккена ехала за ним на велосипедах всю Уллеволсвейен, они подбадривали его криками, звенели в звонки каждый раз, как его нога сползала в водосточный жёлоб, а время от времени вынуждены были велосипедами заворачивать его на правильный путь, потому что сам он так и норовил свернуть в сторону Нурмарка, как будто огромный магнит притягивал его туда. Другими словами, ни от кого не укрылось то обстоятельство, что доктор Шульц остановился перед домом 127 и позвонил к нам. Я часто думаю, не пошло бы всё совсем по другому сценарию, воздержись доктор Шульц в тот именно день от пятого виски с содовой, не говоря о

шестом, и будь у него твёрже рука, холоднее голова и взгляд поострее, от которого тогда, возможно, не укрылись бы некоторые моменты, что могло бы изменить нашу историю и даже поставить на ней крест. Я говорил и говорю: Фред ходил по краю ещё до рождения. Такие мысли пугают меня и лишают сна, потому что уж больно на тонкой верёвке, сотканной из теней случайностей, мы тут обретаемся. И я вижу патетичного доктора из Бишлета, которого я не знаю, любить мне или ненавидеть: он стоит, упёршись в дверь, так что, когда Болетта отпирает её, он едва не вваливается в прихожую, а с этажа на этаж, из подъезда в подъезд ползёт шепоток, что спившийся доктор Шульц вызван к этим безмужним из угловой квартиры на Гёрбитцгатен, к этим сумасшедшим тёткам, которые живут не как все, и шепотки роятся по двору, а в углу у помойки домоуправ Банг сплетает их в полновесные россказни, часть из которых доживёт и до моих времён.

Болетта зафиксировала доктора на стуле, и пока он собирается с силами, они снимают с него шляпу, калоши и пальто. — Что с пациентом? — спрашивает он. Пра хмыкает: — Это мы хотели бы спросить у вас! Для этого, если вы не догадываетесь, мы вас и позвали. — Болетта протягивает

ему чашку кофе. — У неё было очень обильное кровотечение, — произносит она быстро. — Я нашла её на чердаке. Она могла упасть. — У доктора трясутся руки так что он вынужден сперва отхлебнуть из блюдца, и дребезжит голос. — Ну, в первую голову ей необходим свежий воздух. После стольких лет взаперти. — Пра готова кинуться на Шульца с кулаками, но между ними встаёт Болетта. — Вера лежит в комнате, — говорит она. — Мне кажется, она в шоке. — Доктор Шульц с трудом поднимается на ноги и принимается гнуть пальцы. — Так, так. А что она говорит? — Болетта смотрит в пол: — Ничего. С тех пор, как я её нашла, она не сказала ни слова. — Не говорит? Пожалуй, я посмотрю на неё. И мне бы хотелось побыть с пациентом наедине.

Доктор Шульц берёт чёрный саквояж, заходит к Вере и захлопывает за собой дверь. Он проводит у неё девятнадцать минут. Пра с Болеттой ждут в коридоре и не улавливают ни звука. Но выходит доктор от Веры таким трезвым, каким его давно никто не помнит. Он садится на тот же стул и тоже погружается в молчание.

У старухи лопается терпение. — Не будете ли вы столь любезны сказать нам хоть что-нибудь? Что с Верой? — Доктор Шульц обращается не к

ней, а к Болетте. — Вы правы. У неё своего рода шок. Или психоз. — Болетта тихо оседает на стул: — Психоз? — Если хотите, затмение. Как вам больше нравится. — Пра подходит к нему поближе, размахивая кулаком. — Немедленно скажите, что с ней такое! И прекратите жонглировать словами! — Доктор Шульц достаёт носовой платок и промакивает высокий лоб. Капля на носу дрожит. — Она потеряла много крови и очень ослабла. Видимо, она упала и получила сотрясение мозга. Ей нужно как можно больше отдыхать. Я дал ей успокоительное. — У неё никогда не бывало таких кровотечений, — глухо произносит Болетта. — Мы все проживаем необыкновенные времена.

Доктор Шульц отлепляется от стула, они провожают его в прихожую. И пока Болетта достаёт две купюры из ящичка под буфетом, Пра обводит его в сторону. — Что вы думаете о ссадине у неё на шее? — Доктор Шульц задумывается. — Ссадина на шее? Верно, укус, а она его расчесала. — Он перекидывает через плечо пальто и делается нетерпелив. Но старуха держит его цепко. — Вы осмотрели её по женской части? — спрашивает она тихо. Доктор Шульц с клацаньем захлопывает саквояж — Простите? — Вы прекрасно понимае-

те, о чём я! Она девственница? — В этот момент возвращается Болетта с деньгами. Он проворно суёт их в карман и столь же проворно вытирает пальцем под носом, но капля остаётся видеть. — Я не вижу ничего, кроме того, что Вера потеряла много крови, что, естественно, вызвало слабость и нервозность. Давайте ей утром и вечером по таблетке железа. — Болетта берёт его за руку. — А молчит она почему? — спрашивает она.

Доктор Шульц долго не находит ответа. — Центр речи временно утратил дееспособность. Это может быть следствием кровоизлияния. Я имею в виду сотрясение мозга. Когда гематома спадёт, речь вернётся. — А когда она спадёт? — нетерпеливо спрашивает Пра. — Может, завтра, может, позже. Это лечится только временем.

Болетта отпирает дверь, и доктор выходит на площадку. Он сдвигает шляпу задом наперёд. — Звоните мне, если она не оправится до осени. — И он крепко вцепляется в перила и спускает себя по лестнице вниз, где палкой разгоняет по-прежнему торчащих там мальчишек, а потом медленно ползёт к себе в Бишлет, в квартиру, куда не позвонил в поисках неотложной медицинской помощи ни один из героев последних сражений войны. Пра захлопывает дверь, запирает её и

поворачивается к Болетте: — Ну, что я говорила?! Этот идиот в своём репертуаре. Раньше панацеей служил свежий воздух. Теперь от всего лечит время.

Потом они заглядывают к Вере. Спит. Они не будят её, достают флажок которым пользуются дважды в год: в День независимости и в День тезоименитства — и ставят его на балкон в пустом цветочном горшке. Всё ещё светло. Высокий свод неба туго натянут над городом. Дотлевает костёр из штор затемнения, а посреди Киркевейен валяется соломенная шляпа, и мягкий ветерок с фьорда гонит её вдоль мостовой. Вдруг в гостиной вырастает Вера. Они разом поворачиваются к ней и едва не вскрикивают от испуга и радости тоже, они думают: вот сейчас она заговорит, они надеются, Вера пришла в себя, вместо этого она берёт свой фотоаппарат и щёлкает их, как они стоят на узеньком балконе перед игрушечным норвежским флагом, Болетта в коричневом костюме, бедра грузные, рот открыт, рука тянется заслонить лицо, точно она хочет спрятаться, и прабабушка Пра в длинном жёлтом платье и с развевающимися седыми волосами, а три пальца правой руки неожиданно поджаты при оттопыренных большом и мизинце, это знак дьявола,

она сгорблена, согнута, но смотрит прямо в глаза мне, который пытается раскрасить это фото своими беспомощными описаниями, ибо я проявил снимок, я наткнулся на эту плёнку, разбирая мамины вещи, она затерялась, и я внушил себе, что на фотографии видно и её тоже, ту, которая сделала этот снимок, нашу маму, как если бы вязкий майский вечер за спинами двух женщин на балконе был зеркалом, в котором тень Веры отражается, как чёрная печаль, как боль, никогда мной дотоле не виденная в том, что я называю ручной выдержкой памяти.

(весна)

В день возвращения в Норвегию короля Хокона Пра вскочила ни свет ни заря, воткнула в цветочный горшок вдобавок к норвежскому флагу датский крест, и ещё семи не было, а она уже спешила ко дворцу, чтобы занять на Карл Юхане место в первом ряду и безжалостно гонять всякого, кто посмеет заслонить ей обзор, когда мимо неё будет проезжать её собственный король. Болетта работала в ночную смену и ещё не вернулась, поэтому, когда Вера проснулась в огромной кровати, она была дома одна. Она натянула на себя первое, что под руку попалось, не думая ни

смотреться в зеркало, ни причёсываться. Какая разница. В бабушкиных тапках она спустилась по чёрной лестнице и пересекла двор. Тихо-тихо. Окна открыты. Она остановилась перед подъездом Рахили. Белый кот кралcя между цветами и помойкой. Она шмыгнула на третий этаж. Встала под дверью, прислушалась. И вдруг радость ударила ей в голову: она услышала в квартире голоса! Вера позвонила, никто не открыл. Тут она поняла, что дверь не заперта. Толкнула её и вошла. Голая кухня. Пустые шкафы. Ни чашки, ни стакана, ни блюдца. Чистота. Всё выкинуто. Она едва-едва улавливает запахи странных блюд, которые готовила мама Рахили, особенно по воскресеньям, аромат ванили и специй, дух, среди которого выросла Рахиль, тоже исчез, вымыт и проветрен. Никаких голосов Вера не слышит. Может, она обозналась? Вера идёт в глубь квартиры. Открывает дверь в комнату Рахили. Штор нет. И кровати нет, и стола. На полу валяется вешалка. На окне в гостиной пустой горшок. Это всё. Голые стены. С выцветшими пятнами на месте висевших здесь картин. Но вдруг она опять различает голоса. Кто-то идёт. Она снова поддалась радости, радости и страху, но больше всё же радости, и вихрем пронеслась по квартире в коридор. И

замерла там как вкопанная. Двое рабочих в комбинезонах волокли наверх чёрное пианино, с них лил пот, они матерились через ступеньку, задний заметил Веру и гаркнул: «Прочь с дороги!» Вера притиснулась к двери, и они втащили пианино в гостиную и поставили у камина. Потом грузчики перекинули ремни через плечо и закурили. Время от времени они взглядывали в Верину сторону и улыбались. Тот, что поменьше, сдвинул козырёк на затылок и поскрёб рыжую чёлку. — Ты будешь служить у этих господ? — спросил он. А второй раскурил ещё сигарету, снял с шеи навьюченные на неё ремни и сказал: — Слушай, тогда тебе надо причесаться. У тебя на голове сорочье гнездо прямо. — И они в голос захохотали. — Хочешь мой гребень? — предложил рыжий.

Вера сиганула вниз по лестнице. Грузчики проводили её удивлёнными взглядами. На улице стоял грузовик рядом была составлена мебель. Домоуправ Банг в чёрном костюме беседовал с дамой в светлых перчатках и с зелёным пером на шляпе. Вера видела её впервые. Даме далеко за тридцать, и она в положении: пальто барабаном натянулось на животе, который она несла, клином выставив вперёд, да ещё для верности заложив руки за спину, демонстрируя всей улице

безоговорочную полноту своей беременности. Вера уставилась на барыню. В конце концов дама почувствовала неловкость, указала на неё Бангу, тот обернулся и обнаружил на лестнице Веру. И захромал к ней, улыбаясь и качая головой одновременно. Из подъезда вышли грузчики. Вера припустила бегом, она кинулась за угол, и пока бежала, думала, что просто Рахиль переехала, в другую квартиру, поменьше, наверно, такая огромная, с комнатой для прислуги, им не по карману после всего, что случилось. Уцепившись за эту мысль, она прокручивала её в голове раз за разом. Чтобы снова попасть во двор и к чёрной лестнице, она пошла через подвал. Всё будет как раньше, твердила она, всё будет как раньше, эти слова жили в ней, весомые и осязаемые, она видела их, чувствовала, но вслух произнести не могла, вслух она не могла поговорить хотя бы с собой, словно теперь немота по собственному почину взяла её в плен. Вера поднялась в квартиру. Никого ещё не было. Она прошла в ванную, разделась, достала ножницы и сунула их в рот. Сжав ручки ножниц обеими руками, она вдавливает остриё в язык, зажмуривается и — боль, но тоже безгласая, ещё одно наречие, на котором говорят молча, крик потонул где-то глубоко внутри неё.

Она чувствует, как лезвие входит в податливую мякоть языка и кровь заливает рот. Тогда она достаёт чистую прокладку, пропитывает её в крови, кладёт в корзину с грязным бельём, смывает кровь в раковине и на полу, вставляет новую повязку между ног, идёт в спальню и ложится. Вера улыбалась. Рот перестал быть чужим. Она обратила его в своего, в свойского. Язык разбух во весь рот. Так, с кровью порядок, думает она. Хватит на все месяцы. Пришла Болетта. Вера услышала, как она захлопнула за собой дверь и прошагала через всю квартиру на балкончик. Тут же вернулась и заглянула к Вере, которая притворилась спящей. Хотя мать ей было видно, точно веки сделались прозрачными. Болетта держала в руке датский флаг, она была бледная и разгневанная. Бесшумно обошла кровать, взяла «Руководство сотрудника Центрального телеграфа», которое лежало на её ночном столике, и села в гостиной читать его, услышала Вера. Болетта зачитывала себе вслух, как исчисляются тарифы и как работает экспедиция, было похоже, что только на слух она в состоянии всё это понять. Чтение звучало как поношение. Но было похоже на жалобную мольбу. *Расчёт слов. Одним словом в связном языке считается слово длиной не*

более пятнадцати знаков, а в кодированных и цифровых телеграммах слово или группа знаков размером не более пяти букв или цифр. Противоречащие языку слияния слов не допускаются. Названия административных единиц, площадей, улиц, равно как и морских судов, могут писаться слитно и засчитываться за одно слово при количестве знаков не более пятнадцати. Вера слышала каждое слово, а Болетта перечитывала их раз за разом. В этом тексте, в его строе, названиях было нечто угрожающее, похожее на войну. *Кодированная телеграмма, похоронная телеграмма, радиотелеграмма.* Единственное, что звучало по-человечески, это *поздравительная телеграмма. Посылается на норвежские, шведские, датские и исландские станции, а также североирландские и английские, за дополнительную плату в размере пятьдесят эре вручается также на праздничном бланке.* Под этот бубнеж Вера погружается в фантазии о том, как к ним в дверь стучится почтальон в форме, например, голубой, да, точно, в голубой униформе с блестящими пуговицами, он добрый вестник — гадости не его профиль, и телеграмма на праздничном бланке за дополнителытую плату в размере пятьдесят эре волшебным образом всё меняет, превращает

плохое в хорошее. Это мог быть привет от Рахили, где она коротко, чтоб не тратить слишком много, сообщает, что скоро вернётся домой. Или кто-то нашёл Вильхельма во льдах и снегах, и теперь у Пра появится могилка, куда можно пойти поклониться. Или просто короткий текст: «Всё, что было, тебе приснилось». Но в дверях не почтальон, а Пра, она тоже шваркает дверью и с ходу начинает скандалить: — Где мой флаг? Мой датский флаг где?! — Вера слышит, что Болетта страшно медленно закрывает книгу и встаёт. — Я убрала его, мама. Ты позоришь нас перед всем городом. — Старуха топает ногой: — Что за чушь! Король Хокон датчанин! — Теперь Болеттина очередь срываться на крик. Вера натягивает на голову одеяло, едва сдерживая смех. — Король Хокон норвежец! И не смей говорить ничего другого! — Да, он король Норвегии. Но для меня он датский принц! С какой стати мне запрещают держать датский крест в собственном цветочном горшке? — Я отказываюсь дальше это выслушивать! — Старуха вздыхает: — Это ты из-за этого талмуда яришься. У тебя в голове только тире да точки. — Теперь Болетта топает ногой, а может, они вместе топают, продолжая переругиваться. — И ты оставила Веру одну дома. У тебя совсем

мозгов нет, ведьма старая!

Тогда в гостиной повисает долгая пауза. Потом Болетта идёт в ванную, шаркая ногами, как будто они неподъёмные. И прибегает обратно. — У Веры месячные! — кричит она. Старуха прислушивается: — Что ты сказала? — Что слышала! У Веры пришли месячные! — Болетта держит окровавленную прокладку. Старуха всплескивает руками и садится.

— Спасибо, Господи, — шепчет она. — Король дома, у Веры пришли красные дни. Теперь наконец-то начнутся обычные будни.

(часы)

Но я чувствую, кто-то дышит мне в затылок, потому что это ещё не моя история, мною в ней пока и не пахнет, обо мне речи нет, а когда я появлюсь в повествовании, когда уже выйду на свет, то, скорей всего, то и дело стану сворачивать в сторону, поддаваясь притяжению подробностей, как я тормозил и до сих пор, завязая в деталях: шнурок, лопнувший по дороге в школу танцев; священник, которому я показал язык перед церковью на Майорстюен; бутылка из-под лимонада, которую я сдаю Эстер в киоск, все эти мелочи некоторые считают лишёнными смысла отступлениями и

недисциплинированностью, но на самом деле они суть невидимые, непонятные, но единственные опоры всей конструкции по имени проза, иначе именуемые зарамочной тишиной. Здесь, за кулисами, я и буду пока обретаться невидимкой и подслушивать вас всех. И в этой тишине я слышу, как Пра твердит словно заклинание: «Теперь наконец-то начнутся обычные будни». Потому что они думают, что жизнь вошла в обычную колею. И что с Верой тоже всё в порядке. Как менструация пришла в срок, так и дальше всё пойдёт своим чередом. Красные тапки аккуратно стоят около дивана. Над королевским дворцом развевается флаг. Луна висит точно над Акером, а в сутках опять двадцать четыре часа. Ведь пять лет войны времени не было. Война отобрала его и изломала, секунду за секундой, минуту за минутой. Война живёт одним мгновением. У неё нет за душой ничего. Крохи да секунды — вот что такое война. Но теперь они могут склеить время, завести его, и пусть себе идёт. Пра покупает в «монополькe» на Майорстюен ещё бутылку «Малаги». Болетта читает своё «Руководство», пока мозги не заплывают болью, как жиром. Но на Телеграфе она прячется от директора Эгеде, она всё ещё не решилась подойти к нему и сказать,

что хочет получить новое место. Вера долго не встаёт по утрам. Потом поднимается. Без радости медленно слоняется по квартире. Она одевается в бесформенные свитера и широкие куртки, хотя на улице день ото дня жарче. Поговаривают, что лето будет самым жарким за сто лет, и это справедливо, народ заслужил такое лето. Вера почти не ест, ей хочется ощущать собственную лёгкость, ей хочется расти только внутрь и вписаться в свою тень. С кухни ей видно, что в квартире Рахили новые шторы, бордовые, но людей там она пока не замечала. Сушилка во дворе увешана зимней одеждой и простынями, Банг ковыляет вдоль по дорожке и дёргает сорную траву. Неизвестно чей кот валяется на краю солнцепёка, как меховой крендель, пока Банг не замечает его и не шугает кочергой. Тогда кот лениво поднимается, ставит хвост трубой, неспешно писает на клумбу и лишь потом, сохраняя достоинство, выходит через ворота прочь на улицу Юнаса Рейнса. Мальчишки во дворе драят свои велосипеды, клеят шины и нет-нет да и поднимают глаза на её окно, но там тогда никого уже нет. Вера видит всё это. А всем, что она увидела, она наполняет свою бессловесность, которая мало-помалу начинает действовать Болетте на нервы так, что иной раз

у неё руки чешутся вытрясти из дочери десяток слов, но тогда Пра принимается нашёптывать ей, что *кто не говорит, тот и не врёт.* И ещё раз Вера ночью протыкает себе язык, чувствует, как кровь заливает рот и начинает сочиться наружу и опять пропитывает кровью прокладку, она обманывает беспомощно, надеется без надежды, как на встречу с Рахилью. Время было в плену. Теперь его выпустили на свободу. Вера смотрит в окно: на мальчишках дождевики, они вымахали за лето, их почти не узнать, и они уезжают со двора не оглядываясь.

Как-то утром, когда Болетта уже убегала на Телеграф, чтобы поговорить с директором Эгеде и наконец дать ему ответ, в дверь позвонили. Вера услышала звонок из постели и в секунду проснулась. Кто-то звонил к ним в дверь рано утром в сентябре 1945 года. На миг она решила, совершенно твёрдо, что это Рахиль, что она наконец-то вернулась. Вера вскочила, почти напуганная счастьем, и выглянула в коридор. Болетта открывала дверь. Не Рахили. А какому-то лысому мужчине, которого Вера вроде бы смутно помнила, точно тусклый и невнятный призрак из другой жизни. На нём был длинный пыльник, с узких плеч непрестанно капало на пол,

он держал небольшой квадратный кофр с двумя блестящими язычками с каждой стороны в одной руке и серую шляпу в другой. Этот кофр утвердил Веру в воспоминании, она узнала визитёра, и по коже непрошено поползли мурашки, как бывало всегда прежде, когда он возникал на пороге.

Он сперва потряс кофром, предполагая, видимо, что его опознать легче. — Надеюсь, вы и меня вспомнили, я-то сразу вас признал, будто вчера виделись! — Он растянул улыбку во всё лицо и поклонился. Болетта впустила его в дом: — Конечно, мы вас помним. Правда, с волосами. — Мужчина быстро провёл рукой по лысине, улыбка провалилась в рот и превратилась в натянутую кривую гримасу. — Я сидел в лагере «Грини», — сказал он.

Мужчина опустил кофр на пол. Болетта зарделась и взяла повесить его пальто. Он быстро пробежал взглядом от стены к стене и от двери к двери, всё увидел, всё приметил. Вера попятилась. — А у вас вещи стоят на тех же местах, да? — спросил мужчина. — Да, — ответила Болетта, провожая его в холл. — Отрадно слышать! А то многих, знаете ли, сейчас потянуло на перемены. Мебель меняют. И что толку? — Он ещё раз, медленно, прошёлся взглядом по комнате и наконец

упёрся глазами в овальные ходики и ящичек под ними. Было десять часов двенадцать минут. — Не знаю, достаточно ли у нас денег, — прошептала Болетта. — Боюсь, мы немного сбились со счёта. — А кто не сбился? На то, чтоб всё наладить, уйдёт вся осень. — Мужчина повернулся к Болетте: — Я пью кофе со сливками. Не забыли, нет? — Болетта всплеснула руками: — Ой, помню, помню: со сливками. А могу ли я поискушать вас сахаром? — Если он есть в доме, отчего же нет. Но только три ложки, не больше.

Нежданно в дверях гостиной возникает Пра, в своих красных тапках и ночной рубашке. Она держит ладонь козырьком у лба, словно заслоняясь от слепящего солнца в квартире. — Болетта, ты опять говоришь сама с собой? Или пристаёшь к Вере? — Болетта бросается ей наперерез: — Мама, у нас господин Арнесен. Ты его помнишь?

Потому что утром того дня нас почтил визитом господин Арнесен из страхового товарищества «Bien». Это у него мы застраховали свои жизни. Как почти поголовно весь дом. Арнесен возникал дважды в год, раз осенью и раз весной, строго определённого числа, и только если оно выпадало на воскресенье, он приходил днём позже, в понедельник На этот раз он не появлялся долго,

с сентября 1941 года. Я тоже помню эти овальные часы, которые всегда шли секунда в секунду. Каждый месяц, в последнюю субботу, Болетта или мама опускали в ящичек под циферблатом деньги, как будто он был копилкой. Процедура напоминала священнодействие, и мы с Фредом стояли, спрятав руки за спину, и провожали взглядом каждую монетку, которая скользила в щель и звякала глуше или звонче, смотря по тому, сколько денег уже лежало в ящичке, и тем более каждую бумажку, которую надо было ещё, при благоговейном внимании зрителей, сложить, чтобы пролезла. Больше всего меня восхищали пять крон: голубизна, каким бывает небо утром летнего дня, чуждого заботам, и лицо Нансена. До ста я ещё не умел считать, к тому же сотенные были такие огромные, что их почти невозможно было запихнуть в ящичек. Потом возникал Арнесен и уносил то, что взрослые называли «премией». Я полагал, что премию должны получить мы, что деньги могут превращаться в эту «премию», в подарок. Но Арнесен всегда приходил с пустыми руками, более того, он забирал премию и уходил. Кончилось тем, что он набрал слишком много, сложил премии в свои личные бездонные карманы и попался. Но я долго-долго

думал, что часы идут из-за денег. И если мы опустим в щёлку больше, время побежит быстрее, а если забудем положить, оно будет тянуться еле-еле, пока не замрёт на месте. Если бы! Однажды на Рождество я провёл испытание. Положил две лишние монетки по пять эре, и в ящичке что-то крякнуло. Но больше ничего, не помогло. А Фред, я помню, с помощью булавки опустошил ящик. И время не остановилось.

Пра подошла поближе. — Неужто Арнесен собственной персоной? Теперь-то точно потекут будни. — Он отвесил низкий поклон. — С нами вы в безопасности и в будни, и в праздники. Даже жизнь после этой просчитана в нашем календаре. — Пра пыхнула уголком рта. — Это давайте оставим Всевышнему, дорогуша. Ваш чемоданчик маловат для вечности. — Арнесен коротко вздохнул и вытащил платок с вензелем страховой компании, точно сдаваясь и моля о пощаде. Но старуха подошла ещё на шаг поближе и прищурилась. — Слушайте, а куда подевались все ваши волосы? — Мама, он был узником «Грини», — шикнула Болетта.

Тут Арнесен извлёк трубкообразный ключ, который был только у него, и повернулся к ним спиной, вылитый фокусник, который не хочет

раскрыть свои тайны раньше времени. Он оглянулся через плечо и наткнулся на Верин взгляд, из тени за дверью. Улыбнулся. Потом все услышали щелчок, Арнесен вытянул ящичек, зазвенели и зашуршали деньги, а считать наличность Арнесен из «Bien» умел как никто. Ему не надо было даже дотрагиваться до денег, он считал глазами, самыми натренированными своими органами, потом он складывал вырученное в кожаную торбу на молнии, напоминавшую пенал, убирал торбу в кофр, со всей предосторожностью запирал его с двух сторон, и на этом представление заканчивалось.

Болетта пошла в кухню варить кофе. Арнесен выпрямился. — Пока сумма немного не набирается. Война всё поставила с ног на голову, — сказал он. Пра съёжилась в улыбку. — Да уж, чем дешевле человеческая жизнь, тем дороже премия. Так ведь? — Арнесен не стал улыбаться. — Дело, очевидно, в том, что ценность некоторых вещей не измеряется в кронах и эре, фру Эбсен. — Болтовня! Считай лучше свои деньги. На это ты мастер!

Арнесен собрался было ответить, но передумал. Лишь в отместку потащил свой кофр, который никогда ни упускал из виду, с собой в гостиную. Куда бы Арнесен ни приходил, везде его угощали,

то ли совестясь, то ли подхалимничая. Наверно, они думали, что их жизнь у него в руках. Он медленно шёл вдоль книжных полок и вёл пальцем по кожаным корешкам, но глазами обшаривал комнату: диван в гостиной, разложенный для спанья, стакан «Малаги», пасьянс. Палец задержался на широком зазоре между книгами, откуда поднялась пыль. Тут Арнесен снова улыбнулся. — Хорошо бы его расстрелять, — протянул он. Потом сел на мягкий стул спиной к буфету. Старуха перегнулась через стол: — Кого хорошо бы расстрелять? — Гамсуна. Предателя. — Писателя? — Писателя-предателя. — Старуха откинулась на спинку дивана. — Лично я предпочитаю читать Йоханнеса В. Йенсена, — сообщила она.

Болетта принесла поднос с кофе и молочным шоколадом. Арнесен немедленно отломил от плитки кусок и положил его в рот, а в кофе — четыре ложки сахара. Старуха пошла прочь из комнаты, но Болетта остановила её. — Как вы пережили «Грини»? — спросила она. Арнесен закрыл глаза и сглотнул. — Хуже всего пришлось моей жене. Ждать в неизвестности и страхе. — Арнесен снова смотрел прямо, а голос он прочистил шоколадом. — Но она выдержала. Женщины оказались сильнее, чем думают мужчины. По

крайней мере, этой мудрости война нас научила.

Он стрельнул глазами поверх чашки. Болетта подлила ему кофе. Пра звучно вздохнула: — От привилегии ждать мы бы отказались более чем охотно. — Но Арнесен уже не слушал. Он ещё раз обвёл взглядом всю комнату и сказал: — Она меньше, да? — Болетта поставила кофейник: — Меньше, чем что? — Чем квартиры на той стороне дома. — Пра выхватила у Арнесена из-под руки последний кусочек шоколада. — Может, там они и больше, — сказала она. — Но здесь солнечнее. — Не знаю, не уверен. У нас балкон на южную сторону. — Обе женщины подались вперёд: — У нас? — Арнесен растаял в улыбке и взмахнул рукой, точно давая знак оркестру. — Я въезжаю в квартиру, что углом выходит на Юнаса Рейнса. Ту, где жила эта несчастная еврейская семья.

Старуха встала. Волосы опали на плечи. — Господин Арнесен хочет сказать, что мы стали соседями? — Он приподнял чашку двумя пальцами и озирался в поисках добавки сахара. — Мы должны были перебраться ещё до лета. Но жене хочется сначала всё доделать. Знаете, как это бывает? — Арнесен углядел сахарницу, положил ещё две ложки в кофе, вытянул губы и медленно отхлебнул кофе. Старуха всё стояла. Её трясло. —

Нет, мы не знаем, как это бывает, — отчеканила она громко. — И как? — Он беззвучно поставил чашку, понизил голос и прошелестел доверительно: — Пианино, десертные ложечки и гладильная доска. Да ещё колыбелька. То, что делает дом домом. Жена ждёт нашего первенца. После всех этих лет. — Принести ещё сахара? — спросила Пра. Арнесен поднял на неё глаза: — Нет, спасибо. Я напился.

Болетта схватилась за стол. — А точно, что они не вернутся? — прошептала она. — Кто? — Штейнеры. Рахиль. Их девочка. — Арнесен вздрогнул, будто его ударило кофейной ложечкой. Положил её на блюдце. Потом откинулся на спинку и надулся почти обиженно. — Естественно, не вернутся. Они сгинули там. Это всем известно. Мы даже не смогли никому выплатить страховку. К сожалению.

Пра отвернулась от Арнесена, вольготно рассевшегося на стуле с горестной улыбкой, и углядела Веру, которая неожиданно выросла у двери спальни и таращилась на них. Старуха заметила Веру в тот миг, когда она спрятала лицо в ладонях и между пальцами потекла кровь, Вера осела на пол, Болетта с Арнесеном тоже обернулись и увидели её и кровь у неё изо рта.

Арнесен опрокинул чашку и сахарницу, Болетта прыжком метнулась к дочери, и во второй раз за мирное время Пра пришлось вызванивать доктора Шульца с Бишлета. Арнесен так и стоял у стула, не в силах отвести глаз от Веры, от ничего не скрывающей ночнушки, от крови, толчками выбулькивающейся изо рта, от того, о чём он теперь, обходя клиентов, должен помалкивать, хотя кто же может обещать, что, если на него станут наседать, он не проронит ненароком пары слов о том, как Вера билась на полу в судорогах и заговаривалась, зажимая руками полный крови рот. И те, кто выслушивали его признания, домоуправ Банг, например, тут же навостряли уши и спрашивали: — И что она сказала? Назвала кого-то? — Тогда Арнесен начинал набивать себе цену ложью и держал безмолвную паузу до тех пор, пока и у него, и у слушателей не лопалось терпение. Я услышал эту историю много лет спустя, когда однажды вернулся рано из школы и, сокращая путь, пошёл через подвал, где была постирочная. Домоуправ Банг стоял у сушилок и развлекал женщин историями из жизни дома, потому что он давно присвоил эти истории себе, перенизав россказни на новый лад. — Весь рот был у неё в крови, в пузырящейся кровавой пене,

она колотила кулаками и была как обезумевший зверь. — Но что она сказала? Имя она назвала? — горела нетерпением публика. Но и домоуправ не мог дать ответа на этот вопрос.

Пра повесила трубку. — Доктор Шульц уже идёт, — сказала она. Болетта плакала, Вера тихо лежала у неё в объятиях. — У неё язва желудка оттого, что она морила себя голодом! Я же говорила ей — надо больше есть! — Старуха повернулась к Арнесену: — Так, на сегодня мы закончили. Привет жене. — Но Арнесену хотелось побыть ещё. Он не мог пропустить такое. Он скрупулёзно собрал весь опрокинутый им сахар, поправил чашку, тщательно вытер носовым платком разлитый кофе. Всё это он делал неспешно и основательно. Он рвался отвести Веру в спальню. — Во время службы у нас было санитарное дело, — заявил он. Тогда старуха решительно указала ему в сторону прихожей и входной двери. — Я вижу, ваша одежда всё ещё висит там. Захватите, когда будете выходить.

Но Арнесену потребовалось ещё раз пересчитать деньги. Он открыл кофр и перепроверил выручку, монетка за монеткой, бумажка за бумажкой. Поэтому, когда Вера была уложена в постель и Пра вышла из спальни, Болетта всё

плакала, давным-давно опоздав на работу, а страховщик Арнесен стоял в прихожей, свесив свой пыльник через локоть, и вертел в руках шляпу, точно руль. — Бедная девочка пришла в себя? — прошептал он. — Она спит. Не смею долее вас задерживать. — Арнесен воззрился на старуху. — А у неё часто такие приступы? — Вера перенесла воспаление лёгких, затяжное. Но я давно попрощалась с вами. — Арнесен приоткрыл губы в полуулыбке. — Воспаление лёгких? В некоторых случаях страховая компания желает изучить медицинское заключение прежде, чем определить размер премии. — Пра широко распахнула дверь. — Врач уже в пути. В третий раз говорят вам: прощайте!

Арнесен поклонился, подхватил кофр и попятился на площадку, где принялся тщательно застёгивать пыльник на все пуговицы. Пра собралась уже захлопнуть дверь, но передумала и уцепила его за руку. — А как, собственно говоря, вы можете быть абсолютно уверены, что Штейнеры не вернутся? — Потому что они умерли! Я же сказал. Вы, что ли, газет не читаете? Зачем квартире простаивать? — Пра выпустила Арнесена, и он немедленно принялся шуршать в карманах. И достал газетную вырезку, фотографию с подпи-

сью. — Посмотрите, — сказал он. — Это журнал «Веко». Вот фру Штейнер и Рахиль, видите?

Старуха взяла фотографию и поднесла к глазам. Это были они. Огромная печаль и столь же огромная злость наполнили Пра. На снимке были Рахиль с мамой. Мама, умирающая или уже мёртвая, скелет в отрепьях с обтянутым кожей черепом, огромадные глаза, смотрящие то ли в камеру, то ли на Бога, то ли на палача, и держащая мать за руку Рахиль, почти голая, плечи острые, как крылья из хрящиков, она стоит прямо, она плачет, кричит, рот как рана на лице, на уже старческом лице девочки, без возраста, без времени, покалеченный ребёнок на пороге смерти на фотографии, где умирающий цепляется за мёртвого. Под фото было написано по-шведски: *Страшный концлагерь «Равенсбрюк» переполнен настолько, что узникам не хватает роб.* Всё. Больше ни слова. Старуха припала к стене. — И вы носите это в кармане?! Как же вам не совестно, — сказала она тихо. — Я просто увидел, что это они, — промямлил Арнесен. — И вырезал. Можно фотографию назад? — Нет. Фотография будет у меня. Пока вы живёте в их квартире. — Арнесен покрыл голову шляпой и вырвался, старуха дала ему пройти. — Надеюсь, когда-нибудь мы все

будем спать спокойно, — вымолвила она.

Тут они услышали приближение доктора Шульца, тяжёлые шаги по лестнице, хлопки руки по перилам. Арнесен быстро поднял глаза на Пра. — Спасибо, я сплю превосходно. Только жена мается бессонницей. — И он споро побежал вниз, но, минуя Шульца, который оказался изрядно спавшим с тела и трезвым, всучил ему свою визитную карточку. Доктор Шульц секунду посомневался, пробежал глазами текст и покачал головой. Арнесен остановился на площадку ниже, он держал шляпу в руке и снова улыбался. — Позвоните, когда потребуется, доктор! — Никогда не потребуется. Страховать мне, по счастью, нечего. — Шульц сунул визитку в карман и одолел последние ступеньки до двери, где его нетерпеливо поджидала Пра. Она втянула его в квартиру и захлопнула дверь. — Она в спальне. Идите! И не снимайте ботинки.

Доктор Шульц опять потребовал оставить его наедине с Верой на время осмотра. Пра и Болетта ждали в гостиной. Они молчали. Тихо было так, будто Верино молчание въелось в мебель, стены, абажуры, обои и картины, и все краски стали глуше, а запахи тяжелее. Дуло из-под балконной двери, холодом опоясывая ноги. Ветер обдирал

листья с деревьев на Киркевейен. Первое мирное лето давно осыпалось листвой. Датчане в Копенгагене обыграли сборную Норвегии 2:1. Бомбы упали на Хиросиму и Нагасаки, и тень человека навсегда впечаталась в землю. Доктор Шульц всё пропадал у Веры.

Пра нетерпеливо встала. — Я мёрзну! Говори что хочешь, но я — мёрзну! — Болетта сидела сцепив руки. — Я ничего не говорила. — А я всё равно мёрзну! Заснул там доктор, что ли? Я пойду посмотрю. — Болетта ухватила её: — Не трогай его. — Хорошо, тогда я разожгу камин. Вечером я хочу тёплой «Малаги» и Веру тоже попотчую. И хины туда побольше! — Отлично, мама. Зажги камин.

Старуха запалила спичку, сунула её в прорезь и открыла задвижку. Вскоре они почувствовали, что тепло ползёт вверх, и тогда Пра положила ладони на зелёное шершавое железо и вздохнула. — Я больше у Арнесена не страхуюсь, так и знай, — сказала Пра. — Не дури, — ответила Болетта. — Тогда он отнимет часы. — Всё равно. Я его на дух не выношу! — Теперь вздохнула Болетта: — Ты стала грымза грымзой. Честное слово! — Старуха топнула ногой: — Неправда! Я только Арнесена терпеть не могу! — Ты и доктора

Шульца терпеть не можешь. Ты всем грубишь! — Пра шепнула через плечо: — Нет, всё-таки чем там этот идиот занимается? Вроде он заходил к ней трезвым? — Но Болетта распалилась и не унималась: — Ты и домоуправа Банга терпеть не можешь! — Что за спортом он занимался? Тройной прыжок! Смех да и только! Знаешь, у тебя опять болит голова, и тебе лучше помолчать. — Ты вообще никого не любишь! — крикнула Болетта. — Вот неправда. — Давай, назови, кого ты любишь. Хоть одного человека! — Назову с радостью. Я люблю Йоханнеса В. Йенсена!

Старуха вскрикнула, оборвав себя на полуслове, и прижала распаренные руки к груди, точно обожгла пальцы. Болетта порывисто вскочила на ноги. — Что случилось? — Старуха показала на маленькое, закопчённое оконце, за которым полыхало высокое рыжее пламя. — Мы сожгли Гамсуна, — прошептала она. — Это Гамсун горит!

И в эту секунду из спальни вышел доктор Шульц, он был подавлен. Прикрыл за собой дверь, вошёл в гостиную к женщинам и осторожно опустил на пол свой саквояж. Потом замер, изучая свои галоши. Одну он забыл почистить или вляпался во что-то по дороге к ним, в какую-то грязь.

Наконец доктор Шульц поднял глаза. Говорил он негромко и обстоятельно: — Вера опять потеряла много крови. — Старуха сделала шаг в его сторону, она тяжело дышала: — Это мы заметили! Но у неё кровь шла горлом?! — Доктор Шульц кивнул: — Она, очевидно, прокусила себе язык. — Болетта села на диван и заулыбалась. — Прокусила язык? Так у неё нет язвы?! — Нет, нет. Никакой язвы. Простите, что-то здесь жарко, нет? — Лоб доктора блестел, и он пальцем оттопырил обтрюханный воротник рубашки, чтоб проветриться. Старуха подступила к нему поближе: — Да, здесь жарко. Это потому, что мы жжём Гамсуна. — Что-что вы сказали? — А нельзя ли вернуться к самочувствию Веры?

Доктор Шульц повернулся к Болетте. — С Верой всё в порядке. Ну не считая… Я имею в виду… — Он резко смолк и вновь уставился на свои уморительные галоши. Пра поднялась на цыпочки. — Не считая чего, молодой человек? Говорите, Бога ради!

Доктор Шульц, молодой человек семидесяти примерно лет, выпрямился сообразно возможностям. — Ну, — завёл он медленно и неуверенно. — Как бы сказать… — Старуха чуть не бросилась на него. — Я вам помогу: скажите чётко и прямо всё,

как есть, и не мнитесь тут, как сконфуженный кадет! — Доктор Шульц провёл рукой под носом, где висела вечная капля и не вытиралась. — Так вы не в курсе?

И тогда прабабушка Пра сделала то, о чём долго ещё судачили на Киркевейен, да и сейчас, поди, вспоминают заодно со знаменитым криком Болетты, от которого посыпалась штукатурка, отслоилась побелка и закачались лампы во всех домах от Фагерборга до Адамстюен. Это меня не удивляет. Но меня поражает, что молва об этом вообще разошлась, потому что я не думаю, чтобы доктор Шульц стал кому-нибудь что-то рассказывать, скорее наоборот, он бы наверняка промолчал или отоврался. А из нас тоже никто не болтал. К тому же доктор Шульц умер вскоре после. Когда в ноябре лёг первый снег, он решился на классический переход из Мюллы на лыжах и не вернулся. Туристы наткнулись на него следующей весной, далеко от лыжных маршрутов, между Сандюнгеном и Кикютом. В руках он сжимал палки, а капля под носом наконец-то отвалилась и лежала как матовая жемчужина в развороченном гниением рту, а в карманах не было ни кошелька, ни лыжного скребка, лишь визитка страхового агента, из-за

чего полиция сперва приняла тело за Готфреда Арнесена, сотрудника компании «Bien». И заварилась, конечно, каша, когда они явились к жене с сообщением, что, к их прискорбию, её муж найден мёртвым в Нурмарке. Она чуть не отдала Богу душу, и даже когда Готфред Арнесен вернулся в своё обычное время домой, спеша понянькаться со своим трёхмесячным сынишкой, и недоразумение естественным образом разъяснилось, она в себя не пришла, от ложной трагической вести в мозгах фру Арнесен остался рубец, и она никому не открывала дверь на звонок, ходила в вечном трауре и в конце концов запретила своему мужу Готфреду выходить из квартиры.

Но пока я должен рассказывать не об этом, я опять забегаю вперёд, прельстившись *flashforward.* А в тот момент происходит вот что: Пра отвешивает доктору Шульцу пощёчину. Просто-напросто чувствительно лупит его по щеке растопыренной ладонью со словами: — Говори наконец! — Доктор Шульц нагнулся и стёр грязь с галоши. Потом выпрямился с пылающей щекой и болтающейся под носом каплей и прошептал: — Может, и на моём счету спасённая жизнь. Гиппократ, поди, мною гордится. — Что вы там бормочете? — взревела старуха.

Доктор Шульц сглотнул и прочистил горло.

— Вера беременна, — объявил он.

Болетта ринулась было в спальню, но Пра удержала её и елейно обратилась к доктору: — Любезнейший доктор Шульц. Что Вера в положении, мы и сами знаем. Мы хотим новостей. Нас беспокоит, всё ли в порядке с ней и малышом? — Доктор выдохнул. — О да, всё обстоит наилучшим образом. — У Болетты едва нашёлся голос. — А она что-то сказала? — Доктор Шульц покачал головой. — Пока нет. Но дайте же ей время. А позволено мне спросить об одной вещи? — Пра закивала, не забывая поддерживать Болетту. — А кто счастливый отец? — Он погиб тогда в мае, — быстро ответила Пра. — Они собирались пожениться.

Доктор Шульц отвернулся и посмотрел в другую сторону. — Простите мою бестактность. Я же врач, а не святой отец. Гиппократ был бы мною недоволен. Можете ударить меня ещё раз.

Тогда старуха нежно накрыла своей ладонью его руку и легонько сжала. Он взял свой чёрный саквояж и покинул их. Больше они его не видели. Только услышали, как малышня хохочет и тренькает в звонки велосипедов, провожая его по улице.

Болетта уставилась на мать, которая по-прежнему держала её под локоть, она не знала, кричать ей или выть. — Ты знала? — шепнула она. — Знала, что она в положении? — Старуха убрала свою руку: — Зачем доктору Шульцу знать, что мы не знали. Ложь быстрее на язык, чем правда.

И они вошли к Вере. Та лежала, уставившись в потолок, на огранённый хрусталь люстры, закрытыми глазами. Болетта упала на колени перед дочерью. — Умоляю тебя, расскажи, что случилось тогда на чердаке?

Вера ничего не сказала. Она несла своё безмолвие. Пра принесла бутылку «Малаги», ей пришлось держать её обеими руками, разливая остатки. — Об этом ребёнке надо печься особо, — сказала она тихо.

В тот же день после обеда Пра явилась в полицейский участок на Майорстюен. Ей пришлось прождать сорок пять минут прежде, чем её допустили к молоденькому констеблю, сидевшему за пишущей машинкой. — Я хочу заявить об изнасиловании, — говорит она. Констебль поднимает голову, не в силах удержать улыбку за редкими, светлыми усиками. — Изнасиловании? Вас из-насиловали? — Старуха перегибается через конторку: — Изнасилованию подверглась моя

внучка. Молодой человек, что это вы шутки со мной шутить вздумали? А ещё в форме!

Констебль краснеет и заправляет лист в машинку. — Никоим образом, фру. Когда это произошло? Изнасилование, я имею в виду? — Восьмого мая, — отвечает старуха. Констебль отрывает обе руки от клавиш и снова вперяется в неё взглядом: — Восьмого мая? Это почти четыре месяца назад! — Этого вы могли бы мне и не говорить, — отвечает старуха. — Вы в состоянии провести дознание?

И констебль долго записывает имя, адрес, число и подробности на листке, который он потом подсовывает под самый низ стопки с накопившимися делами. А Пра по дороге домой покупает в «монополькe» бутылку «Малаги», а в аптеке — хины, потому что в смеси они дают бальзам, который помогает от горя, похмелья и ожидания. Никогда прежде Киркевейен не казалась её ногам такой крутой, как в тот день. Она задерживается во дворе дома. Мальчишки играют у лестницы. Лица у них ещё податливые, неоформившиеся, они сидят на корточках у лестницы и бьют чеканку. Но вдруг пугаются её, как будто взгляд Пра слишком тяжёл для их мальчишечьих узких плеч, они встают, молча и серьёзно, и смотрят

на неё. Нет, нет, думает старуха, это не они, они не доросли ещё до таких зверств, они ещё дети, обретающие лицо. Пра улыбается, достаёт монетку и кидает им, и серьёзность превращается в смех и крики, они все тянут руки и пихаются беззлобно. — Привет Вере! — кричат они.

На крыльцо выходит домоуправ Банг с инструментами под мышкой. И подхватывает монетку, которая упала на ступень точно перед ним. Мальчишки стихают и замолкают. — Что здесь происходит? Играть во дворе дома запрещено! — «Нет, не педель», — думает старуха, — «идиотская простота, к тому же его в момент выдала бы хромая нога». — Отдайте им деньги! — кричит Пра.

А ночью Пра не может уснуть. Она идёт и поднимает Болетту, которая тоже лежит без сна и сторожит Веру. Единственного человека, который спит в квартире. — В те дни там кто только не шатался, — шепчет старуха. Болетта вскакивает. — Что ты имеешь в виду? — На чердаке. Тогда в мае там многие прятались. — Болетта зарывается лицом в ладони. — Давай надеяться, что это был солдат, — ещё тише шепчет Пра. — Простой норвежский солдат, который не совладал с войной в своей душе. — Господи, — стонет Болетта. — Как мы могли отпустить её на чердак одну?! — Пра

выпрямляется на кровати. — До сих пор Господь не шибко нам помогал, — говорит она.

(блосен)

Пополудни январского дня нового, 1946 года прабабушка Пра сидит на горе Блосен в верхней точке Стенспарка и смотрит на тихий город внизу. Сидение здесь успокаивает Пра. Это её место. Она видит фьорд, тусклый и свинцовый, ниже промозглого тумана, ползущего мимо Эгеберга. На балконах жухнут новогодние ёлки с обрывками мишуры, свисающей с сухих, бурых ветвей. Старуха печальна, напугана. Вера не заговорила и носит под сердцем ребёнка, живот уже не скроешь. От этого безумия все они тихо подвигаются рассудком. Болетта не спит ночами, сохнет и казнит себя, что отпустила Веру на чердак одну. А Вера стоит всякий день перед зеркалом, потупив голову, чтоб не глядеть себе в глаза. Скоро ей одно зеркало узко станет. Кто надругался над ней в ликующий день победы? Старухе неведомо. Она знает одно: этот тип, отец ребёнка, осквернил Веру, опустил во тьму и не заслуживает теперь ничего, кроме адских мук и совсем кромешной тьмы. И она снова повторяет про себя эту фразу «Об этом ребёнке надо печься особо». А она,

Пра, на горе зубы съела. Горе её сила. Она живёт своим горем, оно движет ею и не даёт дряхлеть. Но теперь ей надо научить Веру нести свою беду как славу, а боль — как букет, который распускается каждую ночь. Пра слышит скрип снега, ей незачем поворачиваться, она знает, кто это идёт. Она говорит себе: я не печальна и не напугана. Я старая и мудрая, потому что кому и быть старой, стойкой и мудрой, как не мне? Пра улыбается, когда Вера присаживается рядом с ней, но долго выжидает, молчит, обе ничего не говорят, и ни одну из молчальниц не тяготит немота другой.

— Ты пришла не говорить, — наконец произносит Пра. — Но ты можешь ко мне приласкаться. — Вера кладёт голову ей на плечо. Старуха вздрагивает. Ей вспоминается, как однажды они снимали три дня без передышки, сделали восемнадцать сцен, это была «Горничная и заезжий гость». Они даже построили студию в поле под Копенгагеном, глаза жгло после стольких часов под софитами, но она была на верху блаженства, потому что фильм станет сенсацией, принесёт успех, они знали это все, и все были счастливы, от рабочего до директора, от тапёра до главного героя. Но вдруг фотограф вскрикнул и заплакал. Он забыл зарядить в камеру плёнку! Такого не

бывает. Но случилось. Все труды впустую. Все до единого взгляды и порывы утрачены, пропали втуне, точно и не бывали, вроде как всё, не намотанное на катушку с плёнкой, выдумка, небыль, ничто. Режиссёр встал, постоял на месте, сел и спрятал лицо в ладонях. Никто не осмеливался ничего сказать. Только Пра, которая была тогда не старухой, а юной и модной красавицей, единственная из всех решилась подать голос. «Мы можем сыграть всё ещё раз», — сказала она. Не вышло. У них не получилось сыграть всё заново. Им пришлось всё переделать, найти другой сюжет и иное название. И что бы они ни делали потом, они всегда сравнивали это с тем несуществующим фильмом, который не был снят, и ни разу не остались довольны. Всё оказывалось слабее того не заснятого легендарного кино. Это было апофеозом конца, думает Пра, дрожа. Самый бесподобный фильм остался не только немым, но и невидимым. Ей приходит в голову рассказать всю историю Вере, но потом она говорит иное: — Я знаю, о чем ты думаешь, Вера, хоть ты и молчишь. Так бывает, когда глохнешь. Слышишь только мысли, мечты и биение сердец.

Пра вздыхает, обнимает её и стряхивает снег с волос внучки. — Кто-то поступил с тобой плохо.

Так плохо, как только можно поступить с человеком. Вера, прости меня и прости Болетту, что мы не поняли твоего молчания.

И так они сидят, обнявшись, Вера и Пра, на вершине Стенспарка, с видом на город, тот самый, в котором заплутал и я, хотя он лежит кучно в теснине между горами, а небо над ним меньше крышки от обувной коробки. — Я рассказывала тебе о Ночном палаче? Его так называли. Ночной палач. Он стаскивал сюда павших лошадей и хоронил их тут. Мы с тобой сидим на кургане из дохлых кобыл. А что он делал днём, никто не знает. Поговаривали, что он спал там, у лошадей. А потом пропал.

Теперь старуха кладёт голову на плечо Веры. — Многовато у нас в семье ночных призраков, — шепчет она.

Они отправляются домой — не ровен час просквозит ещё, — и Веру укутывают в бабушкину шаль. Пересекая улицу Пилестреде чуть ниже аптеки, там, где по сию пору стоят покосившиеся немецкие бараки, в которых теперь детский сад, они натыкаются на Арнесена с супругой, у неё тот же срок, что и у Веры, на ней необъятная шуба, и она с улыбкой оглядывает Верин живот, пока Арнесен приподнимает шляпу. — Я вижу,

счастливое событие уже не скрыть, — говорит он. Пра упирается глазами в его глаза: — Любезный, *нам* нечего скрывать! Прощевайте!

Она берёт Веру под локоть и увлекает прочь. Арнесен возвращает шляпу на место. — Я скоро зайду забрать деньги! — кричит он им вслед. — И не забудьте об увеличении премии. Конечно, если вы оставите ребёнка.

Пра идёт выпрямив спину и цепко держит Веру. — Не оборачивайся, — шепчет она. — Такой радости мы этой мерзкой парочке не доставим!

Старуха видит, что у Веры отлила кровь от губ и они дрожат, по лестнице она взбирается тяжело и нетвёрдо, ловит ртом воздух, а в прихожей вскрикивает и садится на пол. Тут же появляется Болетта. — Час от часу не легче, — шепчет она. — Теперь она простудилась? — Пра опускается на колени перед Верой и отвечает тихо: — Нет, она рожает.

Ну и как мне описывать эту боль, как описать неукротимость и страсть собственно родов, мне, мужчине, обойдённому этим таинством? Я ограничусь вот чем: начинаются ритмичные сокращения мышц матки. Шейка матки раскрывается, образуя туннель для движения ребёнка, который провёл в тёплом убежище, в пузыре с

водой, тридцать восемь недель, иначе говоря, нетерпеливый и настырный ребёнок давит на родовой канал, схватки усиливаются, опоясывая и грудь, и спину, время пришло, плод изгоняется наружу, Болетта ловит такси и вместе с Пра спускает Веру вниз, устраивает на заднем сиденье, и Пра кричит шофёру, юноше в форме и новенькой фуражке, вытаращившемуся на них с ужасом: — В больницу «Уллевол»! В родильное отделение! Срочно!

И он несётся вверх по Киркевейен, превышая скорость, а Вера катается и стонет, с неё градом льёт пот. Потом она смолкает и вытягивается на сиденье. Болетта аккуратно приподнимает край платья и видит головку, сплюснутую, в слизи головку, которая вывинчивается наружу и уже хватает ртом воздух для крика, а следом выпадает тельце, плацента, ошмётки крови и пузыря, это мальчик, шофёр бьёт по тормозам, ребёнок, лёжа у Веры меж ног на сиденье, надсадно орёт — так появляется на свет мой брат, мой сводный брат, рождённый в такси на пересечении Киркевейен и Уллеволсвейен.

И к Вере возвращается речь, не открывая глаз, она произносит свою первую фразу, странные слова: — Сколько у него пальцев? — Болетта смот-

рит на Пра, та наклоняется над разрывающимся от крика младенцем, пересчитывает пальцы на обеих руках и шепчет невозмутимо: — У него ровно десять прекрасных пальчиков.

Вера открывает глаза и улыбается. Шофёр упирается лбом в руль, ему плевать на уделанные кровью, калом и гольём кожаные сиденья, не об этом он думает в миг, когда в его машине родился человек, он отсчитывает недели и месяцы и получает май, мирный май сорок пятого. — Как хотите, но у нас есть только одно имя со значением «мир», — заключает он наконец. — Фред.

Фред так и говорил. Имя, и то мне дал шофёр посреди уличного перекрёстка. Етить, говорил он, имя и то мне дал какой-то сраный шофёр посреди гребаного перекрёстка. Мне кажется, ему нравилось это озвучивать, потому что, сказав так, он всегда начинал улыбаться, пусть нешироко, издавал короткий смешок и быстро проводил рукой по лицу, словно краснея, хотя слушателей было всего-навсего один какой-то я.

(имя)

Вера просыпается. Возле неё сидят Болетта и Пра. За ними ширма. По ту сторону её медленно двигаются тени. Она слышит тихие голоса

и вдруг детский крик — Где он? — спрашивает Вера. Пра осторожно промакивает её потный лоб. — Им занимаются. — Вера садится: — Что-то не так? С ним что-то не в порядке? Скажи правду! — Пра мягко укладывает её назад на подушку. — Всё в полном порядке, Вера. Он здоровый, нормальный мальчик, кричит громче всех. Ты помнишь, какое мирное имя дал ему таксист? — Вера переводит на неё взгляд, на лице мелькает улыбка. — Фред, — шепчет она. — Фред разговорил тебя, — произносит Пра, оборачиваясь к доселе молчащей Болетте, которая теперь наклоняется и берёт дочь за руку. — Вера, им надо кое-что знать, — говорит она. — Мам, я хочу его видеть! — Сейчас ты его получишь. Но сперва они зададут тебе вопрос. Кто его отец? — Вера закрывает глаза. Лицо каменеет. — Не знаю, — говорит она. — Ты его не видела? — Старуха прикладывает палец к губам. — Надо тише говорить. Кругом уши. — За ширмой стоят тени. Вера плачет. — Он напал сзади, — шепчет она. — Я видела только его руки. — Болетта подаётся вперёд. — В те дни по чердакам пряталась куча народу. — Он что-нибудь сказал? — Вера качает головой. — Он молчал. Но у него нет пальца на руке. — Она смеётся. — Да, пальца на руке не хва-

тало! — повторяет, отсмеявшись. — Девятипалый он, вот! — Тени переминаются, потом вздрагивают и отходят от ширмы. Болетта закрывает ей рот рукой, Пра опускает голову: — Вера, прости нас! Прости нас, Вера!

А Фред лежит со всеми новорождёнными — дети мира, белая кость, как на заказ красавцы и баловни судьбы, не нюхавшие войны, они будут расти, не зная нужды, и зажрутся, что аж мозги набекрень, вследствие чего они сперва покроют презрением потребительство, взамен которого прельстятся играми в бедность и опрощение, чтобы позже добрать упущенное в тройном размере на шведском столе бюргерской сытой жизни. Фред спит так беспокойно, будто его, двухдневного, уже донимают кошмары, а бодрствуя, он вопит пронзительнее всех, он сжимает кулачки как красные шары, его ещё ни разу не приложили к материнской груди, а поят подогретым молочком из бутылочки. Когда его вопли заводят остальных детей и они начинают вторить ему столь же оглушительно, его выносят в другую комнату полежать одного, и Фред стихает, замолкает, он не закрывает глаз, а таращит их, словно уже приступив к изучению одиночества, написанного ему, наверно, на роду, но на котором он в конце

концов остановит и свой осознанный выбор.

Когда ширму расставляют в следующий раз, перед Вериной кроватью собираются трое мужчин. Двое — врачи, а третий в чёрном костюме и с папкой под мышкой. Они становятся кругом. — Я хочу увидеть своего ребёнка, — говорит Вера. — Пожалуйста! — Один из врачей берёт стул и присаживается к кровати. — Твоя мама говорит, что ты подверглась изнасилованию. — Вера отворачивается, но они со всех сторон. — И ты не знаешь, кто отец ребёнка, — продолжает второй. — Это мог быть норвежец. Или немец. Ты этого не знаешь. И отца у ребёнка нет. — Они ведут речь неспешно и дружелюбно. Мужчина в тёмном костюме достаёт бланк — Дело было закрыто. В связи с недостатком доказательной базы. Обращение в полицию последовало четыре месяца спустя. — Доктора замолкают. Тот, что сидит, берёт Верину руку. — Как ты себя чувствуешь? — спрашивает он. — Я хочу видеть Фреда. Вы можете его принести? — шепчет она. Доктор улыбается: — Ты уже имя придумала? — Вера кивает. — Я хочу поговорить с доктором Шульцем, — просит она. — Доктора Шульца нет. Он пропал без вести во время лыжного похода. — Врач выпускает её руку и смотрит в по-

толок. — Она пережила глубокий психоз и девять месяцев молчала. — Сестра двигает ширму, и на миг Вера видит в кровати у окна фру Арнесен, под спину подоткнута пышная подушка, у груди ребёнок, господин Арнесен замер со шляпой в одной руке и букетом в другой, они впиваются в неё глазами, всё происходит без звука и без движения, затем ширма возвращается на место, тени растворяются в свете и исчезают. — Почему я не могу понянчить Фреда?! — плачет Вера. Мужчина в тёмном садится. — Ты должна понимать: всё, что мы делаем, мы делаем для твоего же блага. И, соответственно, блага ребёнка. Потому что благо ребёнка превыше всего, правда? — Он кладёт бланк на столик рядом со стаканом воды. — И здесь, в Осло, и в других частях страны есть много прекрасных семей. Наверно, это самое разумное. — Что? — шепчет Вера. — Что лучше, наверно, определить мальчика куда-нибудь подальше. Это самое правильное.

Тут в очередной раз дёргают ширму так резко, что она опрокидывается. Это Пра. Она вне себя, она шипит негромко: — Нас три женщины, вместе нам сто тридцать один год. Мы в состоянии прекрасно позаботиться о Верином мальчике. Вам это понятно или нет? — Она обходит кровать,

берёт со столика бланк, рвёт его на такие мелкие клочки, что на них невозможно прочитать ни буквы. — Может ребёнок наконец увидеться с матерью?

Его приносят вечером того же дня. Он покойно лежит у Вериной груди. Выжидает. Могу я так сказать? Могу я сказать, что он ждёт, что он лежит в тепле, в неге, под сердцем и выжидает? Да, всё так, Фред ждёт. «Он не любит меня», — думает она внезапно. И Вера слышит, как тишина катит от кровати к кровати, когда она двумя днями позже уносит его домой, она замечает взгляды, которыми её провожают по коридору, безмолвно расползающиеся слухи, двери, бесшумно отворяющиеся и закрывающиеся вновь. Идёт снег, и стоит тишина. Она остаётся в кровати три недели, пока не кончаются крови. Фред ждёт. Болетта и Пра удивляются, что он больше не кричит. Они не спят по ночам от его спокойствия. Каждый день после обеда на той стороне двора играют на пианино, кажется, Моцарта. Однажды утром, когда снег уже тает и течёт ручьями вдоль улиц, а с крыш капает, Вера вывозит Фреда в коляске погулять. Он смотрит на неё с мрачной безмятежностью, к которой она уже начала привыкать. Если ему в лицо попадает солнце, он зажму-

ривается, отворачивается и не открывает глаз, пока опять не попадает в тень. Вдруг Вера видит, что из-за угла со своей коляской показалась фру Арнесен. Обе не знают, как себя держать. Но всё же останавливаются. Гордые мамочки. Помалкивают. Смотрят перед собой и долу. Вера хочет быть приветливой. — Вы так хорошо играете на пианино, — говорит она. Фру Арнесен улыбается и поправляет одеяло на сынишке. — Он всегда засыпает задолго до конца пьесы. — Обе хохочут. Матери, одним миром мазаны, стоят общаются вдвоём, пока ещё их не выковырнули из этой непрочной дружбы, мимолётной встречи. — Я не мешаю? — внезапно спрашивает фру Арнесен. Вера поворачивается. Домоуправ Банг стоит у ворот и следит за ними. В руках он держит дохлого кота. Отшвыривает его и возвращается во двор. — Что? — переспрашивает Вера. Фру Арнесен мнётся. — Вам не мешает, когда я играю? — Нет, и Фреду, мне кажется, нравится. Он больше не кричит. — Фру Арнесен снова делает улыбку. — Вы уже имя дали? — Да, вроде. А вы своего как назовёте? — Его будут звать, как свёкра. Мы крестим его в следующую субботу.

На другой день Вера сидит в кабинете настоятеля церкви на Майорстюен. Ему под пятьдесят,

фамилия Сюнде. Лоб как щит. Он надевает очки и углубляется в документы, надолго. Распятие за его спиной висит косо. Огромная Библия в тёмном обрезе притягивает к себе весь свет и собирает его в тёмное, мерцающее пятно посреди стола. Наконец он поднимает на неё глаза. — Отрадно слышать, да? — спрашивает он. Вера прислушивается, но ничего не слышит. — Что слышать? — шепчет она. — Вы не слышите? — Вера снова слушает, но не понимает, о чём он, и почитает за благо помолчать. Пастор наклоняется к ней. — Колокола звонят, — говорит он. — Разве не отрадно слышать благостный колокольный звон после пяти лет безбожия? — Конечно, — шепчет Вера, хотя ничего не слышит, тихо абсолютно. Пастор выжидает. Он смотрит на неё. — Вера, слушать надо в себе, — говорит потом. — Или там тоже тишина? — Вера смотрит в пол, а священник листает документы по новой. Хорошо ещё, в своё время мне выпадет шанс показать ему язык и обозвать его «чёртовым пасторишкой». Вера слышит, как бьётся её сердце, тяжёлые толчки, от которых подрагивают пальцы. — Кто отец? — огорошивает её вдруг пастор. — В документах сказано, что произошло, — отвечает Вера. — Не надо пересказывать мне документы. Читать я

умею. — Священник встаёт и обходит стол. Он останавливается у неё за спиной. — Скажи мне, Вера, не совершала ли ты поступка, в котором раскаиваешься? — Она трясёт головой. — И ты не водила дружбу с немцами? — Вера перестаёт дышать. Потом поднимается. — Я совершила поступок в котором раскаиваюсь, — шепчет она. Пастор ждёт. Он ждёт продолжения, исповеди, и на губах змеится улыбка. — Я раскаиваюсь в том, что пришла сюда, — говорит Вера и поворачивается к двери. Пастор идёт по пятам, бледный и взбешённый. — Я слышал, мальчику уже дали имя, — говорит он. — А ты в курсе, что означает «Фред»? — Вера останавливается. — Оно означает имя моего сына, — говорит она. Пастор снова строит на лице улыбку. — Фред означает «могущественный». Тебе не кажется, что оно не совсем к месту?

Вера стоит на Киркевейен. Она не помнит, как спустилась из церкви. Эстер машет из своего киоска. Вера забывает помахать в ответ. Она бредёт домой. Во дворе останавливается. Какой-то тлетворный запах. Это дохлый кот, всё ещё гниющий в помойке. Вера побыстрей проходит мимо. Фру Арнесен развешивает выстиранное бельё: крестильная рубашечка, белая нарядная простынка,

платье. Коляска стоит в тени высокой берёзы. Всё зелено и тихо. В ворота заходят двое мужчин. Один в форме, другой в длинном тёмном пальто, несмотря на жару. Они направляются к Вере, и она думает сперва, что они из полицейского участка на Майорстюен, они нашли насильника, того, кто надругался над ней, и Веру в равной степени изумляет и пугает то, что в эту секунду, которую она считает моментом истины, она неизвестно чего испытывает больше, облегчения или ужаса, потому что теперь этот злобный призрак, подкравшийся сзади, девятипалая тень, обретёт имя, и она вдруг понимает, что не уверена, что готова к такому обороту: услышать имя призрака и увидеть его лицо. Но они пришли не к Вере, они ищут фру Арнесен, а дома никого нет, и они подумали, нет ли её во дворе. Мужчины строги, суровы, с первого взгляда ясно, что у них дурные, ломающие судьбу вести, и Вера оборачивается к фру Арнесен, которая хлопочет у верёвок, не подозревая о надвигающемся. — Вот она, — говорит Вера, показывая на неё. Мужчины кивают и идут к сушилке. Вера видит, как фру Арнесен здоровается с ними за руку, лицо у неё сперва удивлённое, она будто предвкушает что-то, но враз заходится в хохоте, визгливом, захлёбыва-

ющемся, похожем скорее на истерику, и тут же с её лица стирается всякое выражение, оно стеклеет, делается ломким и хрупким, как высохший лист, ибо эта мистерия — непостижимое и невозможное известие, что её супруг, страховой агент Готфред Арнесен, найден неоспоримо мёртвым между Мюлла и Кикют, в глубине Нурмарка, вдали от проезжих дорог, единственно с визитной карточкой в нагрудном кармане куртки, сохранившейся гораздо лучше заключённого в неё же бренного тела, поскольку по нынешним погодам весна и тёплые ночи смыли снег, до того несколько месяцев сохранявший труп в нетронутом виде, — эта мистерия помрачила рассудок фру Арнесен настолько, что с того дня она почти не бывала на свету, да и тогда видела его лишь как размытые тени, как обломки воспоминаний из другой жизни, и даже когда господин Арнесен, её муж и отец её сына, вернулся к ужину домой живее некуда, будто ничего не случилось, и таким образом, своим осязаемым присутствием разоблачил это вопиющее недоразумение, скорее даже комического, нежели трагического толка, она в себя не пришла. Сумрак в её голове не рассеивался. За несколько часов мнимого вдовства он намертво въелся в её сознание. Его нельзя ни

убрать, ни отменить. Скелет в синей куртке и широких штанах оказался останками доктора Шульца, он отошёл в мир иной с чужой визиткой в кармане. И вечерами весь дом слушает, как фру Арнесен садится за пианино, но репертуар не блещет затейливостью, одна и та же мелодия, раз за разом без вариаций, по нескончаемому монотонному кругу, и Фред принимается вопить, как никогда прежде. Потом выяснилось, что доктор Шульц завещал своим пациентам разные вещицы. Нам достался написанный ещё по-датски «Медицинский справочник для норвежской семьи под редакцией М. С. Греве, директора Национального госпиталя», в котором, например, цинизм определялся как «безразличие, во всём, что касается здоровья (личной гигиены), опасное. Поражает самого носителя. Чревато грозными осложнениями».

ЧЕМОДАН С АПЛОДИСМЕНТАМИ

(ветер)

Зелёное солнце катится по отвесному лесистому склону к женщинам, они ловят его внизу, в отливе, и закидывают в лодку. Следом летит ещё одно солнце. Тучное, зелёное. Солнцепад. Арнольд высоко на склоне, в руках у него коса, ему скоро двенадцать, и она ему не по росту, она чуть не вдвое выше и не косит, — видит Арнольд, — сколько он ни старается, хотя старается он изо всех сил. Узкий нож приминает траву, но она тут же выпрямляется, не успевает он с косой отойти на шаг, он лишь расчёсывает волосы на крутой голове холма, который высунулся из моря, чтобы вглядеться как можно дальше в ветряной мир. Коса увязает в земле, чиркает, зацепивши камень, Арнольд чуть не плачет, но не плачет, а хохочет и смотрит в широкое небо, он слышит быстрый свист чужих кос, мимо скатывается зелёное колесо, ошалевшие чайки галдя кружат над рыбаками, которые сегодня, вместо того чтобы тянуть сети, заделались косарями и как заведённые режут траву, ставшую густой

и сочной на унавоженной гуано плодородной земле между голыми холмами, которые стужа и ветры обсосали да и бросили здесь как крошки мироздания. Арнольд облокотился на рукоятку, ему не надо тянуться, чтобы рассмотреть всё, даже при своём невеликом росте он видит весь мир, и мир больше, чем он думал, мир тянется туда, куда не видно глазу, потому что горизонт висит далеко, туда никому не доплыть, а где-то ещё дальше за ним в голубой дымке лежат горы, а за горами города с аж тысячью жителей, и со шпилями церквей выше мачты на почтовом судне и с электрическим светом. Арнольд садится, потому что и сидя видно отлично. Он не плачет, он смеётся и слышит, как женщины у воды смеются тоже, Аврора, его мама, успевает помахать ему прежде, чем поймать очередное зелёное солнце, перевязанное, как драгоценный подарок, а отец на склоне, рядом, его коса мелькает в траве и режет её низко и споро. Заметив, что сын уже сел, отец тоже кладёт косу и идёт к нему. Тогда и остальные дают себе передышку. Женщины полощут руки в воде, и она сразу зеленеет, кажется Арнольду. Одна Аврора остаётся стоять и машет сыну, он машет в ответ. Но тут отец заслоняет собой всё. Он забирает у Арнольда

косу и говорит: — Возьми лучше грабли. — Арнольд берёт их у мальчишек, они младше его, но больше, некоторым всего лет девять, а он им до плеча не достаёт, грабли оттягивают руки, ему приходится держать их за середину черенка, но тогда они сдирают и землю тоже, впиваются в мягкую кожу головы. Плюнув на грабли, он становится на колени и принимается грести руками. Он сгребает пальцами траву, она влажная, мягкая. Мальчишки на миг прекращают работать, переглядываются, ухмыляются. — Арнольд, а что ты будешь делать, когда вырастешь? — спрашивают они, давясь смехом. Арнольд задумывается и отвечает: — Я стану продавать ветер! — И он выкрикивает это ещё раз, потому что ему кажется, что он сказал чертовски здорово: — Я стану продавать ветер! — Отцы, которые идут плечом к плечу и взмахивают косами в такт, как сыгранный оркестр, тоже оглядываются, и отец снова подходит к Арнольду, он мрачнее прежнего. — Ты можешь вязать, — бросает он жёстко и коротко, едва шевеля губами. Арнольд тащится назад к мальчишкам и принимается увязывать траву обрывками старых сетей, но они не держатся, соскальзывают, это всё равно что ловить неводом свет, опять подступает плач и перехватывает гор-

ло, тогда Арнольд поскорей смеётся, он смеётся в голос, а трава разлетается во все стороны. Зато Арнольд усаживается на самый откос, где могут удержаться лишь собаки и птицы. Он сжимается, как вязанка травы, зажмуривается и падает. Его замечают, когда уже поздно: Арнольд, единственный сын Авроры и Эверта Нильсенов, несётся под гору, как отскочившее колесо, быстрее, быстрее, женщины у воды вскрикивают и роняют вязанки, громче всех голосит Аврора, Эверт швыряет косу и припускает вдогонку, но не настигает, обрыв слишком крут, а Арнольд-колесо разогнался. Эверт останавливается, воздевает руки, как будто цепляясь за падающий свет. И ни звука не слышно на зелёном холме на краю Норвегии в предзакатный миг, когда Арнольд бьётся о валун в отлившей воде, подлетает в воздух, падает в зелёную бухту и скрывается из виду.

Потом Арнольд всегда говорил, что, когда он очнулся на дне и встал на мягком тяжёлом песке, с грузом всего Норвежского моря на плечах, тогда-то он и решил — бежать. Чем скорее, тем лучше. — Косить я не мог, — рассказывал он. — Если я шёл собирать яйца, то оставлял их в гнёздах: мне было жалко птиц. На море меня укачивало. Потроша рыбу, я отхватил себе паль-

цы. — При этих словах он стаскивал с правой руки сшитую на заказ перчатку и демонстрировал кривые обрубки, которые едва шевелились, и я покрывался мурашками и не мог удержаться, чтоб не рассмотреть культю поближе, пощупать зарубцевавшуюся кожу, а он вытирал слёзы и всхлипывал. — Я родился в неправильном месте, — говорил Арнольд. — У меня даже глаза не того цвета!

И он обводил нас карими глазами, взгляд которых столько раз спасал его, и натягивал обратно перчатку, в пальцы которой он вставил пять колышков, чтобы его увечье не мозолило глаза всем и каждому.

Но тем ранним июльским вечером, когда Арнольд, живым колесом пробороздив утёс, стоял под водой на дне и вынашивал свои предательские планы, ему на плечи легли отцовы пятерни, они втянули в лодку его, избитое и притопленное чудище, лилипутского недочеловека, Аврора с рыданиями прижала его к себе, а бабы давай вышвыривать траву из лодки, чтоб легче шла. Отец догрёб до дома так быстро, как никому не удавалось ни до, ни после, вода падала с вёсел, как с водопада, Эверт был взбешён и счастлив, в сердце радость мешалась с отчаянием, другими

словами, Эверт Нильсен пребывал в полнейшем расстройстве чувств, он не знал, как ему быть с Арнольдом, как призвать к порядку и сделать человека из того единственного сына, которым Господь благословил их с Авророй. И Эверт Нильсен не в силах был отделаться от одной мысли: у меня не сын, а только полсына.

Арнольд высушен, забинтован и укутан в шерстяной плед и овчину. В него влили спирта, Арнольд зевает и улыбается — добрый знак, радуются они. Они даже затапливают печь, чтобы не играть в кошки-мышки с коварной июльской ночью, которая может подпустить холода под дверь. Ему под бок подкладывают Жабу, охотничью собаку, похожую, как говорят, на него, она скулит тихо и потрясённо и лижет его в лицо. Аврора и Эверт бдят над ним, они тихо, никому не слышно, перешёптываются, и вдруг Эверт лезет к ней, она отпихивается, но его не унять, в конце концов она уступает его воле, и он грубо, молча кончает в секунду, по ходу с такой силой вжимая её в стену, что у неё на миг перехватывает дыхание, и она лишь молит Всемилостивого, чтоб Арнольд не проснулся сию секунду, пусть подремлет в своей полуяви, куда не проникают ни звуки, ни картинки. Но плачет после не она,

а он, Эверт Нильсен, двужильный, малословный мужик, вдруг сделавшийся чужим, он опускается на стол, прячет лицо в руках, по согнутой спине пробегает дрожь, и Авроре приходится утешать его, она оправляет одежду, медленно поворачивается к мужу и кладёт руки ему на плечи. Она чувствует, как его трясёт. Он отворачивается, стесняясь встретиться с ней глазами. — Теперь уже поздно, — шепчет Аврора. — Нам надо довольствоваться одним Арнольдом.

Наутро Арнольд как бревно, он не шевелит даже пальцем и, лёжа на узкой лежанке, кажется ещё меньше прежнего, как будто его сгорбило в воде или он растерял пару-тройку бесценных сантиметров в падении. Пёс сбежал, они слышат, что он как безумный заливается на кладбище. Они наклоняются к сыну, он смотрит сквозь них коричневыми пустышками глаз. Они посылают за доктором. Он приплывает через два дня. Доктор Паульсен из заполярного Будё сходит с корабля на этот островок, не предназначенный для людей, а лишь для птиц, глупых псов и потерпевших кораблекрушение, которые с глубокой благодарностью и ликованием должны были покинуть эту скалу при первой возможности, а вместо этого зачем-то угнездились тут и болтают-

ся, уцепившись пальцами за тончайшую веточку географии. Сыплет дождь, поджарый немногословный мужик немедленно раскрывает зонтик над головой доктора, но у него уже мокрые плечи, и он догадывается, что, едва жалкое население островка завидит его, тут же вскроется уйма других несчастий и хворей, болящие выстроятся в очередь, а ему придётся проявить жёсткость, неизлечимых он лечить не умеет, чудесами с воскрешением пусть Всемогущий занимается, хватит того, что он месит ногами позабытую им полоску тверди, прикрытый наполовину зонтом и с мечтой о приёмных часах в столичном кабинете, заказанном в ресторане столике и тёплой операционной. — Надеюсь, — ворчит доктор, — дело и впрямь серьёзно. Раз я сюда притащился. — Эверт Нильсен идёт под дождём и крепко держит зонтик над доктором. — Мы не можем привести в себя сына, — мямлит он. — Даже не можем определить, жив он или умер. — А это здесь не всё равно? — злится доктор и протискивается, топая башмаками, в тесную комнату, стряхивает воду с пальто, требует полной тишины раньше, чем кто-нибудь успевает открыть рот, и поворачивается к Арнольду, тот недвижно лежит запеленутый в шерстяные пледы, его не

сразу заметишь. Доктор делает шаг в его сторону и хмурится: — Ну распакуйте его хотя бы! Я что, приехал сюда грязные тряпки трясти? — Аврора, застыдившись, опускает голову и принимается разворачивать Арнольда, теперь он лежит голый на виду у всех. Эверт отводит взгляд, он смотрит в дверь, на косой дождь, море, белым воротником охватившее маяк, собаку, бегущую краем отлива. Мать рыдает над сыном, маленьким мальчиком почти синего цвета, лежащим в кровати так смирно, как вряд ли в состоянии лежать живое существо. Доктор Паульсен на миг поддаётся человечности и сочувствию. — Ничего, ничего, — бормочет он. — Сейчас мы посмотрим. — Он открывает свой кожаный чемоданчик, присаживается к кровати на приготовленный стул, достаёт инструменты и начинает детальный осмотр Арнольдова тела. Мимо окна проплывают лица, мельком заглядывают в комнату и исчезают. Кручина, сосед, всегда богатый на дурные вести и обожающий ими делиться, приклеивается к окну надолго, пока Эверт не прогоняет его. Доктор Паульсен мерит температуру. Осторожно дёргает пациента за правое ухо. Затягивает петлю из верёвки на указательном пальце. Подносит к его губам карманное зеркальце. Наконец вы-

прямляется и обращается к Эверту: — А спирт в этой хибаре имеется? — Эверт немедленно наливает ему, но доктор не торопится выпить. Сперва он ставит стакан Арнольду на грудь, наклоняется и внимательно изучает вид напитка. Потом опрокидывает его в себя и просит повторить. Эверт неохотно наливает, на этот раз полстакана. И снова доктор ставит стакан на Арнольда и надевает очки, чтобы лучше рассмотреть, что уж он там видит. Наконец он поднимает стакан и опорожняет его. — Оцепенение! — восклицает он наконец. — Мальчик всего-навсего впал в спячку! — Аврора валится у кровати на колени и плачет: — Это опасно? — Опасно, не опасно, — отвечает доктор Паульсен. — Я б не советовал всем и каждому цепенеть по любому поводу. Но мальчик скорее жив, чем мёртв, то есть — далёк от смерти. — Слава Богу! — шепчет Аврора. — Спасибо, доктор! — Он вздыхает: — Вы что, не видели, как колыхался спирт? Точно буря в капле моря. Как волна у него в груди. Давайте-ка я вам снова покажу. Если в бутылке ещё что-нибудь осталось. — Эверт молчит и мнётся. Бутылки должно хватить и на Рождество, и на Новый год. Доктор видит его нежелание и морщит лоб: — Мне что, тыкать мальчишку шляпными булавками,

чтобы продемонстрировать, как сокращается сердечная мышца? — И в третий раз Эверт наливает в стакан, доктор ставит его Арнольду на грудь, все наклоняются посмотреть, не замерла ли жидкость, как примёрзшая, и своими глазами видят, как глянцевую поверхность коробит волна, она идёт из Арнольда, как быстрый толчок, и доктор Паульсен, дав всем наглядеться всласть, опрокидывает в себя и эту каплю моря. — Сердце бьётся, — говорит он и поднимается. — А сколько ему лет? — Десять, — мгновенно отвечает Эверт и громко повторяет, не давая встрять Авроре: — Летом исполнилось десять. — Доктор расплывается в улыбке и проводит взглядом по неприкрытому телу Арнольда: — Ростом ваш парень не вышел. Зато оснастка дай Боже! — Доктор поворачивается к Эверту, тот кивает, Аврора заливается краской и аккуратно закрывает сына пледом, отводя глаза.

Всё это Арнольд слышит. Из своего оцепенения он слышит все эти неслыханные загадочные слова. Как отец врёт, преуменьшая его возраст, и незнакомый голос доктора, произносящий непонятное «оснастка дай Боже». Он впал в спячку, хотя оснащён дай Боже. А теперь тот же доктор втирает ему в лоб мазь, говоря: — У мальчика за-

торможено сознание, это результат длительного пребывания под водой. Ему нужен покой, чистота и регулярный стул. Он придёт в себя сам. — У Авроры пресекается голос: — Здесь всегда чисто! Извольте откушать кофе! — С этими словами она уходит, хлопнув дверью, и оставляет доктора наедине с мужем, потому что оцепенелого Арнольда они в расчёт не принимают. — Как вы думаете, доктор, могут ли небеса послать нам с Авророй ещё детей? — спрашивает Эверт, прядя руками. — За темпераментом у неё дело не станет, — отзывается доктор и прибавляет. — А годов ей сколько? — Эверт задумывается: — Женаты мы шестнадцать лет. — Теперь очередь доктора думать, он делает это долго. — Не стройте больших надежд, — говорит он в конце концов. И когда вечером того же дня, раздав весь хинин и глауберову соль, доктор Паульсен вновь ступает на материк, Арнольд всё ещё ощущает давление его большого пальца на глаз, тяжесть стакана на груди, дурманящий запах алкоголя, врезавшуюся в палец нитку и отражение своего лица в слепом зеркальце доктора, которое он запомнил навсегда. — Оцепенение! — шепчет Арнольд. — Я полумёртв и оснащён дай Боже.

Потом Арнольд Нильсен рассказывал, что так

хорошо, как тогда, ему не было никогда. — Я был прям принцем, — говорил он. — Нет, бери выше — королём! А ближе к Богу, пока не умер совсем, не пробраться. Это были самые лучшие недели детства. Честное слово! Я рекомендую мнимую смерть всем, кто хочет покоя. Это было здорово! Как в отеле!

Поэтому Арнольд всё ещё валяется в кровати в оцепенении, когда учитель Холст, раскормленный выпускник университета, что ни сентябрь — истовый оптимист, а к июню опасный даже для самого себя, прибывает в Рёст, дабы четырнадцать дней кряду сеять в головах местных оболтусов разумное и вечное. По истечение этих четырнадцати дней Холст в изнеможении убывает на материк, отлично зная, что все его наставления и премудрости выветриваются из их голов раньше, чем он скрывается из виду, и предоставляя им набираться ума-разума в школе, которую ещё называют жизнью, где из обязательных предметов — море, трава и птичьи скалы. Через две недели он возвращается, ещё более побледневший и ещё более замученный морской болезнью, ибо таков ритм: то книги, то работа, то указка, то перемёт, так что в учительской голове дни тоже делаются короче и короче, и он

всё мрачнее косится на по-прежнему пустующее место Арнольда, который лежит себе дома, а Аврора обихаживает его, тревожась чем дальше, тем больше, ибо ей уже едва удаётся влить ему в рот ложечку пюре или тёплого рыбного супчика. Эверт стоит в тени у двери, смотрит на увечного сына и видит, что ничего не меняется и в Авроре тоже, никакой тяжести в талии, и он думает с возмущением даже: «Сколько можно валяться в оцепенении?» Такой сын выводит Эверта из терпения. И живой, и мёртвый, он — горе семьи, крест, который надо нести, но эту его полусмерть вынести почти невозможно. К тому же уже поползли кривотолки. Он наталкивается на пересуды о своём сыне везде, куда б ни пошёл. И каждый четырнадцатый день учитель Холст переправляет эти сплетни на материк.

Аврора отирает Арнольду рот, бережно чмокает его в лоб и шепчет: — Я всегда буду ухаживать за тобой! — Проходя мимо Эверта с тазом, тряпками, бельём и недоеденной едой, она не глядит в его сторону. Вечером того октябрьского дня Эверт принимает решение. Он посылает за самим пастором.

И как раз той ночью Арнольд начинает скучать. Он не только коронован на постельное

царствование, но и помазан на самое абсолютное из всех одиночеств: он слышит, но не говорит. Что-то в нежных словах матери перепугало его, теперь в душе скребёт неприкаянность, невыносимое беспокойство. Он слышит, что мать плачет в комнате, собака скулит под дверью, отец стучит кулаком по столу. Утром Арнольд различает тяжёлые шлёпки вёсел, ритмичные крики рулевых и псалом, перекрывающий бурю и заглушающий плеск прибоя: *Бог есть Бог, хоть вся земля пустыня.*

Арнольд не может удержаться. Он встаёт. Восстаёт с одра оцепенения и глядит в тёмное окно. К пристани идёт баркас, гребцы взмахивают вёслами в круге белого моря, а на носу стоит, воздев руки, могучая фигура, похожая на огромную скалу, на чёрный парус, это сам пастор, и он поёт *Бог есть Бог, хоть люди все мертвы.* У Арнольда душа отлетает в пятки, и он вопит — Жирный едет! Жирный!

Тогда из тени выходит отец, хватает Арнольда и отвешивает ему оплеуху, пощёчину, которая жжёт щёку сына так же, как ладонь родителя, ведь он бил в гневливом восторге, в оторопи и ужасе, чья-то чужая воля направляла в эту минуту его руку, а он сам смотрит на сына, который

замер на кровати как громом поражённый, мягко, почти сконфуженно: — Дурак! Он не жирный, он пастор! — Затем Эверт хватает обомлевшую Аврору и бегом тянет за собой на пристань — встретить пастора да побыстрей спровадить его назад: Арнольд ожил, заговорил, пастор никому не нужен. — Парень поднялся! — кричит Эверт всем. — Уезжайте, пока не поздно! — Но пастор уже на пристани, он кладёт руки на плечи дрожащего Эверта и говорит — Ну, ну, сын мой. С чудом исцелённым мальчиком я непременно должен поговорить сам.

Когда пастор напрашивается в дом, отказать ему не может никто. И вот уже весь остров направляется к дому Нильсенов. Мужики побросали инструменты, бабы кинули мокнуть стирку, а ребятня счастлива опоздать на первый урок к Холсту, тем более он сам, запыхавшийся, замыкает собой растянутую, снедаемую ожиданием процессию, превратившую обычное октябрьское утро в церковный ход.

Арнольд видит их в окно. Он видит укрупняющиеся лица, красное лицо пастора в обрамлении чёрной бороды, беспокойные руки родителей, быструю ухмылку этого Кручины, мокрую шляпу на жидких волосёнках учителя Холста, все идут,

подавшись вперёд, будто их толкают в спину, и Арнольд сразу и окончательно понимает, что его догнали и обложили, он было потерялся, но теперь Арнольд Нильсен найден, и с этой минуты начинается его вторая жизнь.

Он укладывается, зажмуривается и слышит, как пастор шепчет на крыльце: — Я буду говорить с мальчиком наедине. — Когда Арнольд открывает глаза, пастор наклоняется к нему во всём своём величии и говорит: — Скажи мне, что такое оцепенение? — Арнольд не знает, что ответить, и решает не открывать рта. Большая голова ждёт, нависнув над ним, Арнольд высматривает знак, сигнал, движение лица, чтоб он угадал, что сказать, а о чём промолчать. Из блестящего носа пастора падает могучая капля и прямо Арнольду на лоб. Пастор поднимает полу пальто и отирает увесистую каплю. — Сначала было хорошо, — говорит Арнольд. — Но потом стало скучнее. — Пастор степенно кивает: — Понимаю. Господь и тот выдержал всего три дня. — Арнольд садится в кровати, пастор кладёт руку ему на голову, склоняющуюся под ней. — Смотри мне в глаза, — велит пастор. Арнольд через не могу поднимает глаза и устремляет их на пастора. — Ты должен чтить своих отца и

мать. — Да, — шепчет Арнольд. Ещё ты должен чтить море, прибежище рыб, и небо, пристанище птиц. — Конечно, — бормочет Арнольд. — Истину чти! — И её тоже, — сипит Арнольд. Пастор придвинулся вплотную, они разговаривают нос к носу. — *Как минимум* тоже! — ревёт пастор. Арнольд отстраняется, но и пастор придвигается ещё ближе. — И какова истина? — спрашивает он. Арнольд задумывается. Он не знает. И чувствует себя виноватым. Поэтому отвечает вопросом: — Я не знаю, смеяться или плакать? — Взгляд пастора смягчается, губы изгибает улыбка. Он вздыхает, проводит рукой по глазам и улыбается, а улыбка пастора — та же дуга, натянутая между смехом и плачем. — Вот именно, говорит пастор. Этого-то мы, грешные, и не знаем — смеяться нам или плакать? — Пастор встаёт, он стоит посреди комнаты спиной к мальчику. Затянутый в пальто, как в чёрную колонну. Стук в дверь. Снова тишина. Наконец пастор поворачивается к Арнольду, он хочет сказать ещё что-то, но Арнольд опережает его, ему надо облегчить душу. — Я хотел убежать отсюда прочь, — говорит он. — В этом истина. — Пастор выслушивает признание и ещё раз улыбается. — Ты побывал далеко, Арнольд. Только дорога, мальчик мой, оказалась невер-

ной. — Спасибо, — шепчет Арнольд. И снова на голову ему ложится рука пастора. — Но теперь тебе пора возвращаться к людям, — говорит он. — Здесь наша обитель.

На следующее утро Арнольд возникает на пороге школы, все оборачиваются в его сторону, и кто-то кричит с Камчатки: — Жирный едет! Жирный! — Класс покатывается, Арнольд смеётся тоже, и тут до него доходит, что они знают о нём почти всё: за исключением тайного помысла, доверенного одному пастору, всё остальное знают про него все вокруг, этого более чем достаточно, учитывая, что каждое слово, которое он говорит, сказал или скажет, включая и те, которые он не собирался произносить вслух, передаются из уст в уста и застревают в сплетнях, как рыба в чужом неводе. Хохоча, Арнольд думает: тут слишком тесно, тут кучно. И заливается громче всех. Учитель Холст стукает указкой по кафедре и в выбитой тишине кивает Арнольду: — С возвращением, Нильсен. Поди сядь на место, а то стоишь, будто опять хочешь нас покинуть. — Арнольд идёт между рядов к своей парте. Она также высока, как до каникул. Если не выше. Он не достаёт ногами до пола. Они болтаются в воздухе, тяжёлые, как брёвна. Подходит учитель Холст. Руки он зало-

жил за спину. И улыбается. Улыбается, наверно, в предвкушении предстоящего уже вечером отъезда на Лофотен и четырнадцати благословенных дней отдыха. Учитель останавливается перед Арнольдом. — Значит, ты будешь продавать ветер? — говорит учитель, и смех рассыпается по новой. Смех тоже впадал в спячку, а теперь очнулся. Учитель даёт смеху погулять, сколько считает нужным, и гулко топает ногой, смех смолкает. — Но у меня вопрос: ты собираешься продавать его килограммами или литрами? — Арнольд не успевает открыть рта, учитель Холст нашёл себе потеху, и его несёт: — Знаю, знаю! Ты будешь продавать ветер бочками! Набьёшь его в бочки, пошлёшь на юг, и когда в Осло-фьорде ляжет штиль, а там это обычная беда, и все корабли встанут, тут-то они откупорят бочку, и — ура — ветер раздувает паруса! — Класс гогочет. Они пластаются по партам и ржут. Учитель Холст разглядывает Арнольда с высоты своего роста, просовывает указку ему под подбородок, насильно заставляя поднять глаза, и Арнольд чувствует, как остриё упирается ему в горло, в адамово яблоко, а смех кругами расходится вокруг. — Но как, малютка Арнольд, ты сумеешь заткнуть бочку прежде, чем ветер разлетится, а? — Теперь

Арнольдов черёд, и его хохот перекрывает смех всего класса: — Очень просто — я заткну бочку вашей жирной задницей! — Делается совершенно тихо. Учитель Холст роняет указку. Медленно-медленно наклоняется и поднимает её, дышит он короткими всхлипами. — Что ты сказал, Арнольд Нильсен? — Что я заткну бочку вашей большущей задницей. — Арнольд хохочет, и посреди хохота ему на нос обрушивается указка. Арнольд ошарашенно таращится на учителя, который уже летит к кафедре, открывает толстый кондуит и макает перо в чернильницу. Только тогда Арнольда пронзает боль, отложенная, отсроченная, опоздавшая, но нехорошая, кровь льётся откуда-то изнутри лба и капает в рот и кляксами на пол, он сползает со стула, встаёт как в тумане и бредёт вон из класса, где висит безмерная тишина и учитель Холст не отвлекается удержать его, он слишком занят скрупулёзным описанием обстоятельств происшествия, он спешит оградить потомков от самой возможности превратного истолкования истории и дать им зримое и чёткое, как чернила, которыми он выводит длинные столбцы своего памфлета рядом со столбиками не радующих глаз отметок, представление о том, в каких варварских условиях нёс он эту службу

на краю моря.

Арнольд останавливается на крыльце. Внизу, у пристани, он видит отца и спускается к нему. Тот оборачивается: — Опять упал? — Арнольд качает головой, едва-едва, но кровь снова показывается под носом, и он запрокидывает голову и смотрит в свинцовое небо. — Нет, — шепчет он. — Я не падал. — Отец подходит на шаг ближе и говорит нетерпеливо: — А тогда что случилось? — Учитель Холст заехал указкой. — Отец наклоняется: — Ты хочешь сказать, он тебя ударил? — Арнольд кивает осторожнее некуда, как будто всё в лице держится на соплях и в любую секунду может разъехаться. Отец вынимает из кармана тряпицу, быстро мочит её в воде и протягивает сыну. Арнольд вытирает кровь и начинает плакать, хотя решил крепиться, но жжёт нестерпимо и глубоко, что-то в нём сломалось. — Мне кажется, нос скособочило, — говорит отец, забирает у Арнольда окровавленную тряпку, плюёт на неё и стирает кровавую росу с его подбородка, и Арнольда поражает, что такие огромные лапищи могут касаться так легко. — Ты не плачешь? — Нет, — отвечает Арнольд и сглатывает. — Уже нет. — Ладно. От кривого носа ты не помрёшь. Он правда стукнул тебя указкой? — Да. С размаху. — Отец задумы-

вается на минуту, а потом шагает в сторону от пристани. — Ты куда? — кричит Арнольд. — Не ходи! — Отец не оборачивается. — Потолкую с Холстом, — говорит он.

Арнольд рысит за отцом, прикрыв рукой расшатавшийся и оплывший нос. Отец останавливается только на пороге класса и вперивает взгляд в учителя Холста, как раз захлопывающего кондуит. — Я отец Арнольда Нильсена, — говорит он громко и ясно. Учитель Холст смотрит на него и чуть-чуть теряет уверенность, глаза начинают бегать, но потом он заглядывает в журнал и улыбается. — Как же, как же. Эверт Нильсен. Я знаю отцов моих дорогих учеников. — Учитель Холст встаёт: — Ваш сын получил необходимый урок. Но я, со своей стороны, считаю вопрос исчерпанным и не собираюсь раздувать шум ни здесь, ни по инстанциям. — Эверт Нильсен стоит молча и угрюмо, как будто забывшись, вроде как забыв, зачем он сюда попал. Широкоплечая фигура отбрасывает в комнату длинную, серую тень. Арнольд ждёт, спрятавшись за отцом. Он изо всех сил тянет его за куртку, потому что он знает: отец не выносит так много слов зараз, они его утомляют и заводят. — Так, продолжаем урок, — говорит учитель Холст, глядя мимо Эвер-

та Нильсена. — Арнольд, дорогой, быстренько садись на место. — Но отец останавливает сына. И сам идёт к кафедре меж рядов замерших учеников, уже догадавшихся, что сейчас случится нечто труднозабываемое. Эверт Нильсен ничего не говорит. Всё давно сказано. Учитель Холст глядит на него в изумлении. А Эверт Нильсен берёт указку и бьёт учителя по лбу, удар не особо силён, но Холст всё же оседает с воплем скорее потрясения, чем боли, и закрывает лицо, а Арнольд думает, что сперва его ударил отец, потом — учитель Холст, а теперь отец побил Холста, как если бы одно влекло за собой другое и было проявлением справедливой закономерности, которую Арнольд не в силах уразуметь. Эверт Нильсен ломает указку, швыряет обе половинки в учителя Холста, по-прежнему стоящего на коленях перед всеми, покидает класс и уводит с собой Арнольда вон, на ветродуй, где места полно для всех — В школу больше не пойдёшь, — говорит отец.

Назавтра Арнольд в море. Аврора не желала и слышать об этом, но отец настоял. Парень должен мужать. Парню надо выживать. Других мыслей нет. А эта проста, красива и понятна. В ней вся суть. Поэтому Арнольд сидит на банке, синий нос завязан грубой повязкой, и дышать приходится

ртом. Он сидит и хватает воздух, а отец гребёт мерными, неумолимыми гребками, уносящими их от берега. Море спокойно, по меркам октября, оно лежит чёрное, затенённое, точно тусклое рябое зеркало. Но едва они выходят за мол и видят широкую шею маяка в воротничке пены, как поднимается волнение и ну качать лодку в размеренном невыносимом ритме. Отец улыбается и смотрит на сына, гребёт и не спускает с сына глаз, под ними перекатываются волны, покоя нигде ни в чём, и ни единой точки опоры, даже и отец не опора, он улыбается и гребёт, увозит их дальше, дальше, туда, откуда остров кажется щепкой в тумане. Арнольд закрывает рот, но нечем дышать. Он заперт в себе. Качка надувает его тёплой тошнотой. Он срывает повязку, прикусывает крик, швыряет замурзанную тряпку за борт и хватает воздух короткими, спасительными глотками. Отец смотрит на него, улыбается, гребёт, они ещё не дошли до места. Арнольд осторожно ощупывает нос, мягкая бульба колышется из стороны в сторону. — Ты похож на боксёра, — вдруг говорит отец. Арнольд таращится на него в удивлении: — Я? На боксёра? — На того, которого напечатали в газете. Помнишь? — Нет. А кто это? — Ну тот, что дрался в самой Америке. Отто фон Порат. —

Арнольд на секунду забывает о тошноте из-за небывалой радости. Отец разговаривает с ним. Отец сказал, что он похож на боксёра. Арнольд боксирует в воздух и смеётся. Смеяться больно. Он счастлив, и это делает ему больно. Но едва эта счастливая боль стихает, тут же поднимается тошнота, и Арнольд видит, что отец табанит, словно готовясь пришвартоваться к волне. Потом он кладёт одно весло на колени и указывает на что-то у Арнольда за спиной. — Теперь примечай хорошенько, — говорит он. — Если мачта находит на каменный столб, а маяк стоит на уровне мола, значит, ты на месте. — Арнольд оборачивается и смотрит, а отец продолжает объяснять, так много Эверт Нильсен не говорил давно, видно, он тоже счастлив в эту минуту общения с сыном наедине. — Это наши привязки: флагшток, каменный столб, маяк и мол. Путеводные звёзды. Когда кругом хаос и водоворот, — они на своём месте. Запомни их. — Арнольд прищуривается и смотрит, смотрит на засеки, образующие диковинное созвездие, которое исказится, стоит им отойти на взмах весла в любую сторону. И чем больше Арнольд вглядывается в вехи, тем ему хуже, потому что до него доходит, что в целом свете один он не может спокойно стоять на месте. — Что

ты сказал учителю Холсту? — вдруг спрашивает отец. — Что у него жопа толще, чем квашня! — Отец заливисто смеётся. — Жопа толще, чем квашня! И ты сказал так в морду этому жирному тюленю? — Да, сказал! — кричит Арнольд. — Два раза! — Арнольд смотрит на отца. Здесь законы не писаны. Они вдвоём. Полная свобода, когда б не тошнота и качка. Отец вновь замолкает, и Арнольд сидит неподвижно, он боится испортить этот миг. Тогда отец спрашивает: — А пастор что говорил? — Арнольд задумывается. — Что я должен чтить отца с матерью. — Пастор правда такое сказал? — Да. Он сказал, что я должен почитать тебя и Аврору. — Едва он произносит эти слова, как его рвёт. Блевотина летит прямо на колени отцу, тот матерится и вскидывает руку, как для удара, но тут Арнольда выворачивает по новой, он скулит, тошнится и сквозь завесу слёз видит, что вехи пропали. Слились. Он выпал из строя. Арнольд валится на дно лодки и закрывает глаза. — Не похож я больше на боксёра, — шепчет он.

Отец гребёт домой. Остаток дня он молчит. Аврора накрывает поесть. Арнольд не может. Он укладывается пораньше. Всё качается. Он привёз волны домой. Кровать — лодка. Она уносит Ар-

нольда прочь, к вехам мечтаний.

На другое утро отец будит его спозаранку. — Найдёшь привязки, — говорит он. Они выходят в море. Миновав мол, отец меняется местами с Арнольдом и отдаёт ему вёсла. Арнольд гребёт. Волны напирают. Арнольд гребёт и смотрит. Отец не отрывает от него глаз. Вёсла ковыряют поверхность воды, как огромные, гладкие ложки. Арнольд оглядывается и смотрит на сушу. Вехи стоят абы как. Они поменялись местами. Столб заслонил флагшток, маяк ушёл в воду, волны стёсывают мол, камень за камнем. Все незыблемые приметы развезло по сторонам. Арнольд думает «Моя вешка везде! Мир вокруг моя привязка! Мой кривой нос укажет мне направление». Отец встряхивает его за плечо: — Дальше! — И Арнольд гребёт дальше. Он принимает решение. На этот раз он сдюжит. Он — гребец, Арнольд-загребало! Он гребёт наперекор течению. Через волны. Он гребёт в шторм. Вёсла не ложки, нет, они деревья! А их крона — лопасти, которые откидывают небо назад. Но вех он не видит. Их нет. Значит, спокойно стоять на месте не может никто и ничто? Ветер точит их скалы, и скоро останется только пыль на воде, вроде мушиных какашек на стекле. Отец что-то кричит, но не слышно. Он тычет во что-то,

но ничего не видно. Арнольц гребёт сквозь дождь и пену. Он гребёт с открытым ртом, хлебает моря и извергает его обратно, того моря, на дне которого он стоял и где выносил свои планы. Отец спихивает его с банки, отнимает вёсла и снова сам гребет к дому. Арнольд валяется под его чёрными сапогами. Он обдулся. Всхлипывает. Отец толкает его ногой: — Ты что, белены объелся? Хочешь разнести мою лодку в щепы? — Арнольд ничего не может выговорить. Отец гребёт затяжными взмахами. Гребёт и матерится. Арнольд поднимается и в удивлении видит, что на море штиль. Аврора ждёт на молу. Тёмная, терпеливая фигура. Арнольд сходит на берег навсегда. Он идёт за матерью к дому и слышит смех мальчишек у школы. — Плюнь, — шепчет мама. — Я и плюю, — говорит Арнольд, стискивал зубы. — Опять развезло? — спрашивает мать. Арнольд молчит. Он сухопутный краб среди воды. Островитянин с морской болезнью. — Точь-в-точь мой отец, — говорит Аврора. — Его каждый раз укачивало до рвоты. — Она хохочет, смех необычный, и берёт его за руку. Арнольд молчит, поскольку не понимает, угроза это или утешение. Нет, не угроза, но утешение слабое.

Как-то Арнольд потрошит на пристани рыбу.

Отец в море. Арнольд поднимает нож. Тяжёлый, оттягивает руку. Время тянется безотрадно. Старики сидят глазеют на Арнольда. Шепчутся об этом недоделке Нильсенов. В сотый раз рассказывают те же истории, что всегда. Но скоро они смогут разбавить их россказнями про Арнольда. А происходит вот что: они на секунду отворачиваются, может, в сторону досужего шептуна Кручины, который спешит попотчевать их свежими гадостями, и в этот миг Арнольд роняет нож, тот входит в палец по кость, так что палец повисает на тонкой ниточке, на волоске мяса, мальчик не кричит, он молчит и в ужасе смотрит на кисть, на указательный палец, из которого толчками бьёт кровь, большими плюхами, и слышит, как нож входит в мостки, все вскакивают, Кручина орёт так, что слышно всему острову: — Колесо отхватил себе палец! Колесо отхватил себе палец!

В себя Арнольд приходит с воспоминанием, что у него есть кличка: Колесо. Отныне он Колесо, не надо ему другого имени. Всё, что быстро мчит по жизни, движется на колёсах: машины, поезда, автобусы, даже у парохода есть колесо, и в общем-то море — тоже колесо, которое перекатывается от побережья к побережью, как и голубое,

сияющее колесо земного шара, рассекающее темноту космоса. И всё оттого, что никто не в силах забыть, как он живым колесом скатился с самого отвесного утёса, но и Арнольд помнит обещание, которое дал себе в тот день, стоя на дне моря, с грузом волн на плечах он сбежит прочь с этого острова, чего бы это ни стоило. Он не решил, куда подастся, он знает лишь одно: прочь! Он колесо, а оно должно катиться. Его дом — дорога. Так он создан. Однажды ночью он выбирается из дому. Матери оставляется письмо. А отец на промысле во фьорде. Ночи сделались светлыми. Он корпел над этим письмом несколько недель, подбирал правильные слова и расставлял их должным образом. Письмо вышло коротким, потому что Арнольд Нильсен от природы не писатель. Вот что достаётся прочесть матери, когда она на другой день поднимается с рассветом и вдруг поражается огромной тишине в маленькой хибаре. И тут замечает записку на кухонном столе. *Дорогая мама. Я уехал. Вернусь, когда придёт время, или никогда. Лодка будет на той стороне. Кланяйся отцу. С любовным приветом. Арнольд.*

Итак, Арнольд выскальзывает в белёсую ночь. Быстро спускается к причалу. Жаба скачет следом, обалдевшая и счастливая. Погладив псину,

он отсылает её назад. С собой он взял хлеб, монеты, которые копил два года, и глоток отцова спирта. Он озирается. Оглядывает всё, что покидает. Отвязывает канат, ночь молчит, но сердце бухает. Он плачет, от радости и горя. Он подавлен собой. Он сам себя превзошёл. И скоро себя перерастёт. И пока он, девятипалый, идёт под парусом к материку, он распевает, чтоб заглушить свой плач, *Бог есть Бог.* О том, как Арнольд той ночью одолел бешеные и коварные течения, ходят легенды, это была мужская работа, чудо, не иначе Всемогущий подсобил гребцу, и то, что его недомерок сын подмял под себя море, как подобает мужику, и тем прославился, смягчило ярость и отчаяние отца.

Вечером третьего дня Арнольд стоит перед церковью в Сволваре, и все кругом еще огромнее, чем даже он предполагал. Люди живут друг у друга на головах в каменных домах. Фонари теснятся, как деревья в лесу, а в витринах магазинов электрический свет. И поражает Арнольда тишина, то, что в городе может быть так тихо. Может быть, думает он, в городах в такое время уже спят, чтобы отдохнуть к ночи, потому что в городах все иначе и солнце заходит, когда люди встают. Но тут он слышит шаги, шаги многих людей, ибо земля под

ним дрожит. Арнольд оглядывается и видит на другом тротуаре идущую мимо процессию, в ней взрослые и дети, рыбаки и владельцы промыслов, мужчины и женщины, кошки и собаки, всякой твари по паре, но и этого мало: из церкви выходит сам пастор, за ним тяжело хлопает дверь, он подбирает рясу, чтоб не запутаться в ней, и, семеня по-бабьи, нагоняет странное шествие, которое сворачивает главной улицей к пристани. Арнольд прячется за столб, и пастор не замечает его. Потом Арнольд следует за всеми. Они идут на ту сторону пристани. Где на присыпанной щебнем площадке между силосной ямой и лесопилкой стоят будки и карусели, горят лампы всех цветов радуги, скачут кругами механические лошадки, а в центре разбит и привязан к месяцу в небесах огроменный шатер, над раззолоченным порталом которого Арнольд читает: ЦИРК MUNDUS. Он видит, что люди платят деньги господину в униформе с кустистыми усами, топорщащимися под носом, и исчезают внутри, один за одним, причем они пихаются, ругаются и дерутся, чтобы проникнуть внутрь первыми и занять самые выигрышные места. Арнольд торчит снаружи, в грязи на кромке старого футбольного поля. Чуть погодя до него доносится музыка, он слышит, как

ржут кони, трубят слоны, щелкает кнут, и выстрелы, и смех. Арнольд подкрадывается ближе. Вход никто больше не караулит. Господин в форме исчез. Арнольд на секунду замирает под вывеской и напоследок еще раз озирается. На соседнем столбе обнаруживается плакат. На арене прославленный человек-змея Der Rote Teufel. А кроме него — глотатели шпаг, укротители змей, уроды, королевы красоты плюс самый высокий человек в мире, неподражаемый исландец Патурсон. Арнольд набирает в грудь воздуха и просачивается внутрь. Он крадется между будками и повозками. Карусельные лошадки кружат по рельсам сами по себе. Разве не сюда он рвался и стремился? Не об этом мечтал, не так представлял себе «прочь»? Он у цели. Арнольд останавливается перед шатром, на котором начертано: Mundus vult decipi.[2] Звучит загадочно. На таком языке изъясняются на тысячеметровой глубине палтус с пикшей. Арнольд приподнимает занавес, но раньше, чем он успевает разглядеть хоть что-то, чья-то рука оттаскивает его назад и разворачивает рывком. Господин в усах и форме глядит на него сверху вниз. — И куда ж это ты намылился? — Он гово-

[2] Примечания: 2
Мир желает быть обманутым (лат.).

рит по-норвежски. И наклоняется ещё ближе. — Я ищу своих родителей, — отвечает Арнольд без запинки. — Родителей? Вот оно что. Они тебя уж обыскались, поди? — Арнольд улыбается. Страх прошёл. Врать не трудно. Слова сами слетают с языка и делаются правдой. — Наверняка обыскались, — шепчет Арнольд. Но эти слова, которые можно счесть и ложью, и правдой, смотря как понять, приводят совершенно не к тем последствиям, на которые надеялся Арнольд. А именно: господин в форме поднимает его высоко в воздух. — Меня зовут Мундус, — сообщает господин. — А у Мундуса никто никого не теряет! — С этими словами он на руках вносит его в шатёр. Der Rote Teufel как раз просовывает голову между ног, болтаясь под куполом на трапеции, и все взгляды прикованы к нему. Он сложился пополам и выглядывает из-под туловища, а держится он теперь одной рукой, и зрители в страхе отводят глаза. Барабан рассыпает дробь и дробит, дробит, дробит. Вдруг под куполом раздаётся треск, и на трапеции возникает суета. Это расшитое золотом трико Der Rote Teufel лопнуло в самом что ни на есть непрезентабельном месте. Поначалу публика думает, что это часть номера, но через минуту до зрителей доходит, что это — скандал, притом

наискабрезнейшего свойства, и что Красный Дьявол заслужил своё имя, потому что по шатру распространяется густое, хоть святых выноси, амбре, которое невозможно спутать ни с чем, и пока горемычного человека-змею стремительно опускают на арену, его бледные ягодицы белеют как опозоренная луна над пунцовой застывшей физиономией. Зал взрывается свистом, на задних скамьях парни вскакивают и принимаются зашвыривать Дьявола комьями земли и скомканными бумажными кульками, и тогда-то на публике дебютирует Арнольд Нильсен: поняв, что представление вот-вот будет сорвано, Мундус выносит его на манеж и поднимает над собой; шум стихает, буйные, не спускающие никому рыбаки постепенно рассаживаются по местам, и директор цирка громогласно объявляет: — Уважаемые дамы и господа! Это юное создание, которое я держу на руках, потеряло своих родителей! Я прошу его отца и матушку встать; пусть у нас на глазах воссоединится счастливая семья, а затем перед вами выступит самый высокий человек в мире!

Становится довольно тихо. Арнольд видит лица, почти окружившие его. Они таращатся, они пялятся. Те, что поближе, подаются вперёд и

чуть не тянут руки его пощупать. Пастор порывается было встать, но остаётся сидеть на месте, в печали и сомнениях. И кто-то снова думает, что это часть представления, потому что они начинают смеяться, и смех расходится кругами, скоро шатёр уже содрогается от хохота, топота и рукоплесканий. Только пастор сидит окаменев, он всё смотрит на Арнольда, не зная, плакать ему или смеяться. Мундус отвешивает глубокий поклон, обходит круг по манежу под аплодисменты зрителей, наконец выносит Арнольда за кулисы, сажает его там и убегает назад на арену. Здесь почти темно. Только над зеркалом горит тусклая лампа. Арнольд не шевелится. С манежа доносятся фанфары и барабанный бой. Потом он слышит ещё звук. Кто-то ступает так тяжело, что земля гудит, а стул под ним заваливается. Но это не слон. Это идёт человек, и Арнольд вцепляется в сиденье, чтоб не грохнуться при виде ни много ни мало, а самого высокого в мире человека, который идёт пригнувшись из-за нехватки места. Его лошадиное лицо затуманено. Нос затеняет всё. Он одет в чёрное, а галстук у него длиннее, чем лунная дорожка на море. Его сопровождает дама в коротенькой растопыренной юбочке и блестящей шляпке. Нормальная, обычная дама, ему она

с трудом достаёт до пояса. Он останавливается перед тяжёлым вызолоченным занавесом. Нагибается ниже прежнего, и женщина выпускает его необъятную руку. Музыка стихает. В тишине остаётся звучать истеричная барабанная дробь и низкий голос Мундуса: — Уважаемые дамы и господа! Встречайте человека, которого на конгрессе врачей в Копенгагене признали самым высоким человеком в мире! Исландец Патурсон из Акюрейри! Два метра семьдесят три сантиметра! И это босиком! Патурсон выпрямляется и выходит на арену. Одиночные вскрики, смех, вздохи восхищения, но в основном все молчат, потому что таких размеров они не видали никогда. Дама в игривой шляпке тем временем обнаруживает Арнольда. — А ты кто? — Арнольд, — отвечает он. Дама улыбается, склоняет голову набок и подходит ближе. — И что, Арнольд, ты делаешь здесь? — Жду Мундуса. — Прильнув к щёлке в занавесе, дама нетерпеливо манит к себе Арнольда. Он соскакивает со стула и встаёт рядом с ней. Она суёт ему что-то в руку. Конфетка. Он кладёт её в рот, пока не отняли, и не спеша рассасывает, а внутри оказывается что-то совсем мягкое, оно обволакивает язык и у Арнольда дух захватывает. Ему выдаётся ещё одна конфетка. — Я — Шоко-

ладная Девочка, — шепчет она и чмокает его в щёку. — Смотри теперь. — Арнольд видит, что Патурсон стоит на манеже спиной к ним. Мундус мерит его серебряной рулеткой, ему приходится влезть на лестницу, чтобы не потерять последние сантиметры. Наконец он протягивает рулетку зрителям, сидящим ближе всех, чтобы они собственными глазами могли увидеть точный рост Патурсона — 2. 73! Все хлопают, а Мундус снова подходит к Патурсону и стягивает с его указательного пальца кольцо. — Он женат? — ахает Арнольд. Шоколадная Девочка с хохотом качает головой. — Цыц, — шепчет она. Мундус показывает публике кольцо. Потом берёт настоящую серебряную монету в две кроны и просовывает её сквозь кольцо. Все видят, что монета легко проходит через широченное кольцо. Это настоящее чудо, все в восторге, но самое захватывающее Мундус припас на конец. Он вызывает двух девушек из первого ряда, и они, зардевшись, выходят к нему на арену. Им дозволяется потрогать Патурсона, чтоб убедиться: это человек из крови и плоти. Потом он берёт их на руки, и они сидят каждая на своей лапище, как на ветвях векового дерева, и теперь уже Патурсон краснеет и опускает голову, а девчушки егозят, хихикают и

машут всем родным и знакомым. Двое парней с галёрки рвутся выйти на сцену и помериться силой с этим застенчивым великаном, но Мундус пресекает это, во избежание увечий. Вместо поединка он выкатывает на арену стол, покрытый вышитой скатертью. Её он снимает с видом фокусника и выставляет на обозрение публики ужин Патурсона, состоящий из дюжины яиц в мешочек, четырнадцати булочек, свиной отбивной, трёх килограммов картошки, восемнадцати черносливов и двух литров молока. Всё это Патурсон уминает на глазах потрясённых зрителей. Пока Патурсон обжирается, Мундус подходит к бортику и складывает руки на животе. — Дамы и господа, — изрекает он. — Наш исландский друг родом из бедной рыбацкой семьи в Акурейру. Сами видите, сколько проблем создаёт для него гигантский рост. Он мечтает уехать обратно и вместе со своими родственниками ловить рыбу. Но ему не подходит ни обычная одежда, ни снасти. Даже шнурки он вынужден выписывать себе из-за границы. Чтоб помочь ему, мы напечатали эти открытки. Сейчас Патурсон обойдёт вас. Чем больше открыток купите вы, тем больше одежды и снастей сможет купить себе он. Посочувствуйте ему! — Самый высокий человек в мире вытирает

рот простынёй и тихо обходит ряды, но почти никто не хочет покупать красочные открытки, они и так отдали по пятьдесят эре за вход, один пастор вкладывает два медяка в кулак Патурсона. Представление окончено. Оркестр играет туш. Патурсон отступает за кулисы, где его снова берёт в оборот Шоколадная Девочка. Влетает Мундус, он разъярён, он в бешенстве. — Где этот проклятый Дьявол? — орёт он. — Я ему устрою Преисподню! — Мундус несётся дальше, но вдруг тормозит и мрачно смотрит на Арнольда. — Ты всё ещё здесь? — Арнольд кивает. Не признать сего факта нельзя. Он боится, что Мундус вышвырнет его вон, но директор вместо этого вздыхает глубоко и тоскливо, закуривает сигару и подсаживается к нему. — Горе луковое, а не цирк, — говорит он. — Акробат пердит так, что штаны лопаются, открытки никто не покупает. — Пастор купил, — шепчет Арнольд. — Один пастор! А у меня осталось триста сорок восемь открыток. Видно, народ здесь жестокосерден как на подбор. — Мундус выпускает струю голубого дыма под усы и разгоняет его ладонью. Арнольд задумывается. — Наверно, не надо его кормить, — говорит он осторожно. Мундус снова поднимает на него глаза: — Как так? — Раз он

так жирует, чего им его жалеть, — тихо мямлит Арнольд. Мундус поднимается. Вышвыривает сигару в дверь и улыбается: — Как твоё имя, мальчик? — Арнольд. — В эту самую минуту заходит Шоколадная Девочка. Она несёт дымящуюся сигару и ошарашенно смотрит на Мундуса, который тычет в Арнольда. — Арнольд прав! — вопит он. — Чёрт возьми, почему никто раньше не сказал, что Патурсону не надо сжирать на глазах этой голи перекатной целый рождественский обед! До продажи открыток?! — Потом он обращается к Шоколадной Девочке: — Уложила? — Она кивает и затягивается сигарой, которую Мундус тут же вырывает у неё и снова вышвыривает в дверь со словами: — Найди теперь, где Арнольду спать.

Шоколадная Девочка берёт Арнольда за руку и тянет его за собой, они выходят из шатра и идут по протоптанной в грязи между повозок дорожке. — Мне кажется, тебе достался слоновий волос, — шепчет она. Арнольд недопонимает. — Разве у слона есть волосы? — Есть один. На хвосте. — Она ещё раз торопливо целует его, в губы, отчего у Арнольда ум накрепко заходит за разум. — Ты будешь спать с Патурсоном. Но я в соседней повозке. Если что.

Она останавливается перед кибиткой, осто-

рожно отворяет дверь и впускает Арнольда внутрь. Здесь Патурсон и обретается. Сон даётся ему тяжело. Две кровати составлены вместе, чтобы он мог лечь. Арнольдово место на полу подле лежанки. Шоколадная Девочка даёт ему плед. — Я в соседней повозке, здесь рядом. Если что. — И она быстро исчезает. Некоторое время Арнольд стоит и рассматривает в неверном свете самого высокого в мире человека. Лицо на белой подушке огромное и замкнутое. Он укрыт тремя одеялами, но и их недостаточно. Носки в прорехах, и пальцы торчат во все стороны. Они толще Арнольдова бедра и похожи на букеты из плоти с яркими пятнами в виде сбитых жёлтых ногтей. Тут Арнольд замечает куртку Патурсона, она висит на гвозде позади кровати. Он стягивает её вниз и примеряет. Последняя пуговица лежит на башмаках, а рукава такие длинные, что он едва находит свои руки. Он мог бы долго бродить по закоулкам этой куртки. Патурсон поворачивается на другой бок. Арнольд ждёт не дыша. Самому высокому человеку в мире требуется на это не пять минут. Похоже на то, что земной шар крутанулся в обратную сторону. Арнольд выбирается из куртки, пристраивает её на место и вдруг нащупывает что-то в кармане.

Это серебряный сантиметр. Арнольд поворачивается к кровати. Патурсон спит по-прежнему беззвучно. Арнольд начинает с пальца на ноге и растягивает блестящую ленту до самого верхнего волоса на макушке Патурсона. Смотрит на цифру. Он ошибся, и приходится перемерятъ ещё раз, для вящей надёжности обратным макаром, от головы к пятке. Он получает аккурат прежнее число. В Патурсоне не два семьдесят три, а два ноль четыре. Арнольд убирает сантиметр назад в карман. Он удивлён, но не разочарован, по чести говоря. В голове его затеплилось понимание того, что он ещё не уразумел, но уже учуял, вроде тени в мозгу: обман.

Арнольд пробирается в повозку, где спит Шоколадная Девочка. Он будит её. Она садится на кровати и улыбается. — У меня если что, — говорит он. — Что, Арнольд? — В Патурсоне нет двух метров семидесяти трёх сантиметров! — Шоколадная Девочка перестаёт улыбаться. — Что ты такое сказал? — В Патурсоне лишь два ноль четыре. Я его лично измерил! — Шоколадная Девочка вцепляется в Арнольда и больно прижимает палец к его губам. — В Патурсоне два ноль четыре, когда он лежит. А когда он встает, выходит ровно два семьдесят три. Здесь Мундус

решает, какой у Патурсона рост. Тебе ясно? — Но догадки тыркаются в Арнольдовой голове медленно и в мысли не складываются. — Сколько тебе лет? — переводит разговор Шоколадная Девочка. Только тут Арнольд замечает, что она почти голая. — Шестнадцать, — отвечает он быстро. — Шестнадцать? — веселится она. — А когда ты лежишь — сколько? — Шоколадная Девочка валит Арнольда на кровать, стискивает, Арнольд вырастает в её объятиях, и она растолковывает ему в основном всё.

Теперь он знает, что есть слоновий волос.

На другое утро Арнольд посещает директорскую кибитку, самую просторную в цирке, с лестницей, шторами, камином и собственно Мундусом, который завтракает, сидя в двуспальной кровати. На нём халат винного цвета, а усы болтаются под носом, забранные в кожаные футляры. Уголком салфетки он извлекает из уголка рта кусочек желтка. — Откуда ты родом? — спрашивает он. — Ниоткуда. — Мундус смотрит на него: — Ниоткуда? Все люди, Арнольд, родом откуда-то. — А я — нет. — Значит, ты ангелочек и прилетел к нам на крылышках? — Арнольд не отвечает. Может, он и ангел, почему нет? Мундус вздыхает, отставляет поднос с завтраком и доста-

ёт сигару. — Нам ведь ни к чему неприятности с полицией, так? — Пастор в курсе. Я ему всё рассказал, — говорит Арнольд.

Тут он слышит снаружи тяжёлые шаги. Он поворачивается к окну, мимо которого шествует Патурсон на пару с Шоколадной Девочкой, которая перед воротами закрывает его огромным куском брезента. Мундус вылезает из кровати и подходит к Арнольду. — Мы не хотим, чтоб хоть кто-нибудь полюбовался на него бесплатно, — объясняет он, зажигая сигару длинной спичкой. Арнольд провожает глазами самого высокого человека в мире, которого выводят погулять под брезентом, и это зрелище сдвигает что-то в нём. — Ты о Барнуме слышал? — спрашивает вдруг Мундус. Арнольд качает головой, дым застилает глаза. — Барнум был королём Америки. Он был больше Александра Македонского и Наполеона, вместе взятых! — Арнольд подступает ближе — И больше Патурсона? — Мундус смеётся и кашляет. — И Патурсона тоже больше! Барнум превратил весь мир в свой цирк. Земля служила ему манежем, а небо стало шатром, который он раскинул над нами! — Потрясённый собственной речью, Мундус шепчет: — Барнум мечтал сделать людей счастливыми. Он заставлял их смеяться,

вздрагивать, разевать рот и плясать! А к чему ещё во все времена стремится человек? — Шоколадная Девочка ведёт Патурсона обратно. Она машет Арнольду. Мундус кладёт руку Арнольду на плечо. — Ты знаешь, что означает *Mundus vult decipi?* — спрашивает он. Арнольд хмыкает. Теперь он знает в основном всё. — Мир желает быть обманутым. — Мундус ошарашен. — Хорошо. А что значит по-норвежски *Ergo Decipiatur?* — Так пусть и будет обманутым, — отвечает Арнольд. Мундус кладёт сигару. — Ну а теперь ответь — кто выше Патурсона из Исландии? — Арнольд задумывается. — Бог? — предлагает он. — Ой. Бог ниже на четыре сантиметра. — Барнум? — старается угадать Арнольд. Мундус склоняется над ним: — Фантазия, Арнольд! Фантазия превыше всего. Важно не то, что ты видишь. А то, что ты думаешь, что ты видишь! Запомни это навсегда, Арнольд. — Мундус садится на кровать, но глаз от Арнольда не отрывает. — Повернись, — командует он. Арнольда встаёт спиной к нему. — Ещё раз! — Арнольд поворачивается лицом к Мундусу, который уже в очках. — Так, мой маленький друг, а теперь рассказывай, что ты умеешь. — Я могу быть колесом, — отвечает Арнольд, проходится колесом по комнате и выпрямляется.

Мундус недоволен: — У нас тут все колёса. — У меня девять пальцев, — говорит Арнольд, растопыривая руки. Мундус безучастно пожимает плечами: — У меня есть уроды и похуже. — Я могу цепенеть. — Это вышло из моды. — Я оснащён дай Боже, — шепчет наконец Арнольд. У Мундуса глаза лезут на лоб. — Оснащён дай Боже? А кто тебе сказал такое? — Арнольд опускает глаза: — Сам доктор. И Шоколадная Девочка, — добавляет он быстро. Мундус машет рукой. — Оставь меня, — говорит он. — Мне надо подумать.

Арнольд послушно выходит наружу. Озирается. Ещё утро, и он видит, что у всех вокруг есть своё место. И своя работа, которую они делают сообща. Дрессировщики, плотники, музыканты, клоуны, повара и акробаты репетируют и поют, готовятся к вечернему представлению. И Арнольд понимает, что он должен найти своё место среди людей, пота и песен.

Но тут он видит ещё кое-что. А именно Шоколадную Девочку. Она стоит спиной к нему и тянется к бельевой верёвке, натянутой между двумя вагончиками. Она развешивает на ней расшитое золотом трико *Der Rote Teufel,* оно блестит и переливается на солнце. Только Арнольд собирается подойти к ней, как появляется *Der*

Rote Teufel собственной персоной. Он обнимает Шоколадную Девочку и целует её в затылок. Она отпихивает его, но этот отпор не многого стоит, потому что она тут же начинает смеяться. *Der Rote Teufel* целует её снова и увлекает за собой в глубокую тень за вагончиками. Арнольд слышит, как смех тает в смехе. Арнольд съёживается. И делается ещё меньше. Слоны, они на самом деле безволосые. На его долю радости не оставлено. Пути смеха неисповедимы, думает Арнольд. Он всегда разный и не повторяется дважды. Арнольд решает завести себе поминальник смехов. Откроет этот регистр смех матери, робкий смех матери, стоящей на солёном ветру, будто ветер щекочет её. А вот кого записать под вторым номером, он не знает, потому что внезапно до него доходит, что он никогда не видел отца смеющимся.

Арнольд подкрадывается к верёвке. Трико Der Rote Teufel залатано на заднице большим куском кожи. Арнольд затаил дыхание. Он быстро протягивает руку, подцепляет нитку и выдёргивает её.

Тем же вечером Мундус стоит посреди манежа у широкой, чёрной шёлковой занавеси, в шатре плотная тишина, зрители затаили дыхание: сейчас он покажет свой знаменитый паноптикум. Директор вещает тихо, но слышно каждое

слово: — Я прошу, чтобы дети, женщины в тягости, ипохондрики, мучимые страхом темноты и морской болезнью и все ранимые натуры сию секунду покинули шатёр. Вас ждёт Колесо удачи и несравненная в своей щедрости Шоколадная Девочка. — Публика приходит в движение, матери прижимают к себе детей, отцы обнимают матерей, и даже самые отъявленные храбрецы из рыбаков на последних рядах проникаются неопровержимой серьёзностью момента. Но все остаются на своих местах, только сдвигаются теснее, и глубокий вздох пролетает по рядам, когда свет сменяется голубоватой полутьмой и оркестр выдувает тишину. Арнольд наблюдает за всем этим из-за кулис. Потом он будет кое-что замалчивать, присочиняя взамен другое, отдельные моменты раздувать, прочие вырезать, и всё сливается в одно: Мундус, Красный Дьявол, Арнардо, лилипуты, самый высокий человек в мире, Шоколадная Девочка, слоны, небо и опилки, ибо это первое представление Арнольда Нильсена и начало его *лжи*. Но на самом деле Мундус взялся рукой за шёлковую занавесь и пророкотал тёмным калёным голосом: — Дамы и господа! Сейчас я покажу вам ошибки Творца. Если кто-то не вынесет зрелища неудавшихся творений Созда-

теля, я готов помочь ему советом и нюхательной солью. — Мундус достаёт коричневую бутылку, скручивает крышку и даёт зрителям в первом ряду дыхнуть раздражающий запах. Затем он прячет пузырёк в карман и выжидает ещё пару секунд в тишине, точно передумал и решил оградить зрителей оттого отвратного зрелища, которое собрался было им явить. Ветер бьёт в шатёр, и тяжёлый шёлковый занавес колеблется. Вскрикивает женщина, но родные приходят ей на помощь. Мундус склоняется в поклоне и рывком отдёргивает-таки занавес. Египетская мумия обнажает в ухмылке зубы, которым пять тысяч лет. Скелет кровожадного викинга встаёт из могилы и медленно крутит в воздухе ржавым мечом. Первый ряд ахает и наваливается на задних, те ропщут. Мундус призывает к порядку. Это только начало. Он поднимает руки: — История ведёт свою печальную беседу с нами через этих мёртвых свидетелей, — шепчет он. — Не забудьте помянуть их в вечерней молитве. — Он замолкает, предоставляя трупам говорить самим за себя. Выждав, он подходит ближе к зрителям, он учуял будто нетерпеливое недовольство, возможно, кому-то уже доводилось видеть эти призраки и раньше. — А сейчас, дамы и господа, — говорит он

ещё глуше, — сейчас вы увидите отбракованное Создателем творение, недоделанный ангелами ребус или злую шутку Дьявола. Дамы и господа, встречайте — Адриан Еффичефф с Кавказа, наш молчаливый, внушающий трепет родственник, монстр, недочеловек, *недостающее звено эволюции!* Не дразните его! — Открывается следующая витрина, и публика визжит. Адриан Еффичефф стоит недвижно, оцепенело и тупо смотрит на зрителей, которые продолжают вопить, потому что лицо его заросло густым волосом, чёрным мехом, в котором глаза и рот едва различимы. Столь же волосаты и руки с длинными грязными ногтями, а когда Мундус расстёгивает на нём рубашку, выясняется, что от подбородка до штанов всё колосится шерстью. — Он не родственник старого пастора? — вопят с галёрки. — Тот тоже был дюже волосат! — Шатёр наполняется смехом, отпускающим, дающим выход страху. Мундус, тихо чертыхаясь, быстро убирает Адриана Еффичеффа с глаз долой и выкатывает из темноты стул, на котором сидит кто-то, закутанный в красный плед, только бедро заголилось. Перебравшие рыбаки умолкают, матери закрывают ладонями округлившиеся глаза сыновей. — Да будет мне позволено представить, — начинает

Мундус, — представить вас мисс Ослиной Голове, уроженке Нового Орлеана, крещённой под именем, представьте себе, Помилуй и признанной в 1911 году в Коннектикуте самой уродливой женщиной мира. Увидев её, вы станете благодарить Бога каждое утро и каждый вечер, мало того, ещё и в обед, что вам не приходится нести бремя такой рожи! — Мундус срывает плед, и рыбаки не только теряют дар речи, они трезвеют, потому что такого страшилища они не встречали нигде, она отвратнее, чем потроха морского воробья. Женщины исторгают вопль ужаса и бросаются на грудь мужчинам, которые хотят, но не могут оторвать взгляд от мисс Ослиной Головы, наречённой Помилуй, из Нового Орлеана. Лицо напоминает кусок сырого мяса. Раздутые, как огромные мешки, щёки прижимают исполинский, весь в дырах пор шнобель вниз, так что он закрывает рот полностью. Кажется, уродка хочет съесть свой нос, а глаза посажены глубоко и близко между шмотками ярко-красной кожи. Ужас нагнетён до предела. Арнольд ощущает это, стоя за кулисами и глядя на манеж, это вроде как верёвка, которой все в зале повязаны, и она натягивается и натягивается, но Мундус не тормозит, нет, он затягивает верёвку, дёргает за

неё, и зрители сливаются в единстве боли. Он вынимает скальпель, поднимает его в нарастающем свете и говорит своим самым утробным голосом: — Будем ли мы судить по наружности или проникнем в святая святых души и тела этой несчастной женщины? — Он не ждёт ответа. Он даёт его сам. Скальпелем он взрезает кожу от брюха до горла, откидывает её в стороны, суёт внутрь руку и извлекает на свет плод с двумя головами, четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя шеями, сросшимися в морщинистый узел, при виде которого лишаются чувств пять дам и один господин, а Арнольд стремительно отворачивается, на него накатывает тошнота, как на море, внутри всё дрожит и вздымается волной, он сам — волна, от которой его мутит, и ему кажется, что он слышит шаги Патурсона, может, поэтому всё и ходит ходуном. Арнольд старается удержаться, но слабеет, валится на чумазый пол, где и отдаёт назад шоколад, которым всю ночь объедался, пока внезапно чьи-то руки не выдёргивают его наверх, это портниха, она что-то говорит, но он не понимает, у неё полон рот булавок, она похожа на морского ежа с заскорузлыми руками, которыми она умывает Арнольда, оттирает ему рот, вытряхивает из его одежонки и наряжает нано-

во, что-то делает с его губами, пока паноптикум увозят со сцены, и наконец Арнольд разбирает её слова: — Сейчас твой выход. — Мой? — сипит он. Портниха ставит перед ним зеркало с длинной трещиной, и Арнольд видит, что она одела его как девочку, в платье, гольфики и узкие белые туфли, на губах что-то алое и вязкое, а на голове парик, он кусает лоб. Арнольд не узнаёт себя. В голове мелькает странная мысль. Сбежать ещё дальше было невозможно, думает он, дальше некуда. За кривым зеркалом стоит и ржёт Der Rote Teufel, он откидывает чёлку назад и выпячивает губки бантиком. Ничего больше Арнольд не успевает заметить, потому что все вокруг начинают суетиться, подталкивают его к занавесу и выпихивают на манеж, где его подхватывает Мундус, прижимает к себе под тихий ох зала и шепчет: — Молчи! Ты — немая исландская дочь Патурсона. — Потом Мундус отстраняется, воздевает руки и обводит взглядом свою публику. — Дамы и господа, уважаемая публика! Случилось чудо! Ущербная дочурка Патурсона переплыла океан, чтобы повидать своего отца! Уста бедняжки немы, только девять пальцев у неё на руках, но что за золотое сердце бьётся в её груди! — Тут только Арнольд замечает, что самый высокий

человек в мире стоит рядом, хлопая глазами с голодным и недоумевающим видом. Мундус берёт Патурсона за руку и что-то шепчет и ему тоже, и когда исландец складывает всю свою длину пополам и обнимает Арнольда, вздохи сменяются всхлипами. Патурсон мычит что-то непонятное Арнольду, он слышит раскаты голоса в ухе и запоминает их навсегда, эти слова, которые сказал ему Патурсон и которых он не понял..

Я развеиваю пыль повествования, чтобы оно расцветало у всех на устах цветами обмана самого изысканного свойства. Арнольд делает книксен, приседает, как благодарная и калечная дочь, оттопыривая руку с недостающим пальцем, и всхлипы переходят в рыдания, и даже Мундус утирает слезу со своей улыбки. — Продавай открытки и молчи! — шипит он. Арнольд берёт всю стопку, он идёт от места к месту, из объятий в объятия, и все покупают открытку, ибо у Арнольда столь исстрадавшийся и замученный вид, что никогда ещё им никого не бывало жальче. Он распродаёт все до единой открытки с раскрашенным вручную портретом Патурсона и неразборчивой закорючкой Конгресса врачей в Копенгагене под его ростом, который обозначен в сантиметрах, дюймах, футах и локтях. Арнольд нагружен мо-

нетами, он тащит их Мундусу, снова вызывая слёзы у него на глазах, по-прежнему голодный и недоумевающий Патурсон обнимает Арнольда, и публика аплодисментами приветствует отца, и девочку его, и себя, и свою щедрость, и безграничную милость Божию. Гремят фанфары в честь одного Арнольда, он кивает, нет, извините, он приседает в книксене, как настоящая дочка, и это первая маска Арнольда Нильсена — дочь самого высокого в мире человека. И ещё раз опускается он в книксене, в восторге и изумлении.

Der Rote Teufel дождался своего часа. Он вскарабкивается на трапецию и рассыпает каскад умопомрачительных трюков, он обязан взять реванш и раз и навсегда похоронить вчерашний позор в книге забвения тем, что сегодня он превзойдёт самого себя. Орудием его отмщения будет бесстрашие. Der Rote Teufel, на самом деле Халворсен из Халдена, решил летать сегодня, как птица. Как орёл парит он в поднебесье. Но когда складывается пополам и высовывает голову между ног, под самым-самым куполом, он слышит не как колотятся сердца и не оглушительную тишину, он слышит смех. Публика хохочет. Халворсен не может постичь этого. Они смеются, и сперва он решает, что ослышался. Но слух не подвёл его. На-

род хохочет. Даже Мундус ошеломлён. Это не тот номер, где ржут. Смертельный акробатический этюд должен вызывать страх и трепет, а в самом конце — вздох облегчения, который делает всех нас равно бессмертными в миг отступления страха. Халворсен — птица, которая, пренебрегши смертью, дразнит её и заигрывает с ней. Сегодня Халворсен собирается попрать смерть и материализовать вечную жизнь. Но публика хохочет. Арнольд сразу понимает почему. Они ждут, когда трико Халворсена лопнет снова. Они предвкушают. Потому что избежать рассказа о вчерашнем, о порвавшихся на заду пердуна-акробата штанах не удалось никому. Над этим они и смеются. Над тем, что ещё не произошло, но, как они надеются, всё же случится. И Арнольд молится про себя, Господи, милый, шепчет он, прости меня, а пальцы перебирают нитку из расшитого золотом трико. Халворсен перешивает ноги над головой и висит, как сдвоенный человек это на грани невозможного, но народ гогочет. Сбитый смехом с толку, Халворсен на долю секунды отвлекается. Этого хватает. С лихвой. Смерть справляется с делами без сверхурочных. Der Rote Teufel срывается вниз, смех тает на лету, но поздно. Он пикирует на манеж, как забарахлившая птица, и приземля-

ется на спину. Тут бессилен волос из слоновьего хвоста. И никакому слону не под силу притащить Халворсена назад. Отныне его имя вычеркнуто из афиши. Номер впредь не демонстрируется. Акробат умер. Арнольд прячется за Патурсоном, самым высоким человеком в мире. — Это не я виноват, — шепчет он. Патурсон не понимает. — Я ни при чём, — повторяет Арнольд. — Он сорвался раньше, чем лопнуло трико.

Цирк начинает сворачиваться той же ночью. Оставаться здесь им нельзя. Одно несчастье всегда тянет за собой другое. Это судьба, а она штука заразная, они все могут заболеть ею. Надо уезжать. Убираться прочь, оставляя несчастье позади. Из шатра всё вынесено. Электрики разбирают освещение. Плотники развинчивают ряды стульев и снимают занавес. Шоколадная Девочка ревёт в голос. Наконец, остаётся сложить саму палатку, шатёр, а солнце, закатывавшееся больше для порядка, уже встаёт над синим фьордом. Мундус всю ночь бодрствовал на сердечных таблетках, отчего глаза у него красные и пустые, как шарики цветного стекла. Для цирка смерть — дурная реклама. Директор уже объяснился с ленсманом и доктором и отбил телеграмму родным Халворсена в Халден. Теперь он подходит

к Арнольду, давно снявшему девчачий наряд, и велит помочь рабочим, велит нетерпеливо, его свербит. Арнольд встаёт рядом со смотрителем шатра. Рабочие стоят кругом и утягивают вниз огромную парусину, которая оседает, как спущенный шар, и у каждого в команде есть своё место и задача. Они перекрикиваются, перекличка звучит почти как песня. — А мне что делать? — спрашивает Арнольд. Смотритель опускает на него глаза. — Принеси тапки Халворсена, — говорит он и показывает. Оказывается, одна тапка, похожая на узкую туфлю, всё ещё лежит на манеже. Арнольд готов сорваться с места, но смотритель придерживает его: — Возьми. — Арнольд получает нож и бежит за туфлей Халворсена, сжимая нож в руке и недоумевая, для чего он может ему пригодиться в таком деле, но поскольку, видит он, все кругом с ножами, то он и не спрашивает, ибо он уже выучил, что не надо спрашивать, если можно обойтись без вопроса. Наоборот, он думает: вот и всё, что осталось от Der Rote Teufel, простая туфля. Когда он наклоняется подобрать её, всё и случается. Он слышит крик рабочих, его сбивает с ног точно ураганом и прижимает к земле. Потому что раз беда грянула, одна она не приходит. Два троса лопнули, и весь

цирк обрушился Арнольду на голову. Те, снаружи, что толпятся в это утро вокруг шатра, видят, что парусина ходит ходуном, какой-то маленький шарик беспокойно тыркается под ней, и кто-то думает, наверно, что там кошка заплутала, но это Арнольд Нильсен. Он ползёт в странной, прозрачной темноте и не может вырваться из неё, тяжёлый, мокрый полог похож на ветер, задубевший вокруг него коконом. Снаружи доносятся истеричные крики, смотритель отдаёт команды, Мундус зовёт его по имени, но помочь ему они не в силах. Вот для чего нож-то, соображает Арнольд, он берёт его двумя руками и со всей силы всаживает его в землю, фонтан грязи залепляет лицо, и Арнольд понимает, что лежит головой не в ту сторону, поворачивается, нацеливает нож на плывущие над ним облака, дышать уже почти нечем, и вспарывает парусину лезвием. Он высвобождает себя, прорезает себе дорогу, встаёт на ноги и высовывает голову в разрез, к воздуху, к солнцу, мужчины подхватывают Арнольда и возвращают к людям. Его обитель здесь.

Вечером они на рейсовом пароходе переплывают Вестфьорд курсом на Будё. Арнольд стоит на палубе рядом со спасательными шлюпками и наблюдает, как горы погружаются в голубой вечер.

На краю, где море и небо сходятся, различимы острова, откуда он родом и которые теперь покидает, они разбросаны, как камешки среди волн. Арнольд улыбается. Его не укачивает. Он чувствует себя сильным. Поднимает четырёхпалую руку и машет. Потом спускается к остальным. Все молчат. Думают о своём. Тело Халворсена лежит в морозильнике ниже всех кают, но в Халден ему не вернуться: погода теплеет, лёд тает, и скоро тело начнёт тухнуть.

Арнольд присаживается за стол к Мундусу. На коленях тот держит перевязанный бечёвкой коричневый чемодан. — Что это? — спрашивает Арнольд. Мундус вперяет в него налитые кровью глаза. — А тебе надо знать, да? — Арнольд казнит себя, что сунулся с вопросом. Но Мундус кладёт руки на крышку и придвигается к Арнольду. — В него, — шепчет он, — я собрал все аплодисменты. Можешь взять его у меня на хранение.

Цирк сходит в Будё. Они хоронят Der Rote Teufel на церковном погосте у самого моря, на узкой полоске земли между воротами и каменной оградой. Могила такая маленькая, что и в свой последний и самый затяжной прыжок акробат уходит сгруппировавшись. Ещё раз попадается Арнольду на глаза Шоколадная Девочка. И снова

мы теряем его из виду. Он стоял на дне моря. Впадал в оцепенение. Пластался под шатром цирка. И наконец добрался до мрачной большой земли. Неся чемодан с аплодисментами, он пропадает вдали за углом.

(смех)

Я нашел кое-какие отцовы записи того времени, когда нам пришлось разбирать его вещи после «несчастного случая», как мы говорим. Ему угодил в голову диск, и он умер. Я понял в тот момент не всё, наверно, из этих заметок, нацарапанных им бессонной ночью в дешёвом отельчике в некой точке мира на листке, должно быть выдранном из Библии. Листок лежал в кармане светлого льняного костюма, в который отец давно перестал влезать. Я сохранил этот листок. И храню по сей день. Почерк детский, буквы сплошь большие, и я вижу, как отец медленно выводит их в такт мыслям, которые оформляются у него в мозгу и перетекают в синие чернила, хотя, может, объяснение в том, что из-за недостающего пальца ему трудно было удержать ручку. На листке своего рода список. Опись смехов: *Смех Авроры — застенчивый; смех отца — неслышный; смех учителя Холста — злобный; смех пастора — пе-*

чальный; смех доктора Паульсена — пьяный; смех Мундуса — чёрный; смех публики — злорадный. Последнее слово, *злорадный,* он перечеркнул, не удовлетворясь, и вывел поверху *беспомощный.* В самом низу он приписал, очевидно, гораздо позже, наткнувшись как-то случайно на давно позабытую в кармане бумажку, наверно, летом, отдыхая на скамейке в парке в чужом городе, и в голову ему пришла новая мысль, вопрос, ответа на него он не знал, но ему так важно показалось застолбить сам вопрос, что он начёркал его, как курица лапой, заставляя меня думать, что приписка появилась уже после того, как он докромсал руку и держал ручку полупеньком большого пальца, раскорячивая на тонкой, ячеистой бумаге пляшущие буквы: *Бывает ли смех милосердный?*

Мать часто повторяла: я взяла его за то, что он заставил меня смеяться.

Арнольд Нильсен, оставленный нами на мрачной большой земле, в следующий раз возникает в повествовании, рассекая вдоль по Киркевейен в жёлтом, отполированном до блеска кабриолете «бьюик-роудмастер». Дело происходит весной сорок девятого года, скоро май, солнце сияет, в приснопамятном небе над Мариенлюст ни

облачка, и все, случившиеся в этот момент на улице, за исключением только Веры, останавливаются поглазеть на потрясающий автомобиль с откидным верхом и красным кожаным салоном: таких средств передвижения на Майорстюен не видали сроду, вот почему фру Арнесен столбом застывает на перекрёстке, а её избалованный сынок дёргает мать, намереваясь погнаться за «бьюиком», пастора сие явление принуждает промедлить десяток лишних секунд на лестнице храма, домоуправ Банг, надраивающий тротуары к Дню конституции, в глубоком потрясении роняет метлу, и сама Эстер высовывается из своего киоска, глядя с прищуром против слепящего света, и различает за рулём коротышку на пухлой подушке, чтоб добрать необходимой высоты, чёрные волосы облегают его голову, как шлем, нос косо приделан к широкому лицу мужчины, одетого в костюм в полоску и белые перчатки, он рулит в летних перчатках и выглядит как заблудившийся инопланетянин. Одна Вера, наша мать, не удостаивает его вниманием. У неё тяжёлые кошёлки в обеих руках, она ходила затовариваться к Маслёнке-Петерсону, и чтобы вывести её из раздумий, открытого американского кабриолета явно недостаточно. Она шагает быстро,

глядит себе под ноги, на пыльный тротуар и свои туфли, по укоренившейся в ней привычке ни с кем не встречаться взглядом, ибо смотрят на неё всегда зло и высокомерно или отворачиваются в сторону, предоставляя ей проходить мимо в тишине, вдруг повисающей между ухмылок. Она читает их мысли. Все они думают так же, как пастор, что она понесла от немца и поэтому не признается, кто отец её незаконыша. Находятся и такие, кто утверждает, что своими глазами видел её во время войны у метро и даже в лесу на музейном острове в компании немцев за непристойностями, которые язык не поворачивается описать. Пра, когда ей доводится услышать этот шепоток, выпрямляется и, не дрогнув ни единым мускулом, поправляет наушника: — Вот тут вы глубоко заблуждаетесь! Но я правильно поняла, сами вы бывали и там, и там?! — И неправда, что время лечит. Оно лишь превращает раны в неприглядные рубцы. Скоро здороваться с ней будет одна Эстер. — Вот мартышка, — говорит она, качая головой. — Разрази меня гром, если он сунул под зад подушку не для того, чтоб его виднее было! — Вера ставит кошёлки на землю. — Кто? — Он, конечно! — Эстер тычет пальцем, и Вера наконец замечает «бьюик», припаркован-

ный на углу Сумсгатен, и чёрную гладкую голову, чуть видную над сиденьем, сочетание довольно комичное. Эстер тянет Веру поближе. — Наверняка ездит незаконно, — шепчет она. — Если только он не коммивояжёр. — У него бензин кончился, — отвечает Вера так же тихо. — Поделом ему! — отрезает Эстер. — Думает, бриолин да авто — и весь Фагерборг у его ног? Нет, если он продаёт нейлоновые чулки, тогда ладно, пусть остаётся! — Они хохочут, Эстер складывает пакетик ирисок и протягивает его Вере. — Как Фред? — спрашивает она. Вера вздыхает. — Хоть кричать перестал.

Арнольд Нильсен видит в зеркало, что девушка убрала в карман маленький коричневый пакетик, взяла сумки и медленно приближается к перекрёстку, где стоит «бьюик». Глаз не поднимает, думает он. Так и смотрит вниз на свои старые туфли и толстые чулки. Склонённая шея белая и тонкая. Он дрожит, он утирает со лба испарину, приглаживает прядь и перегибается через пассажирское место, когда она оказывается вровень с машиной. — Могу ли я помочь юной даме с этими неподъёмными сумками? — спрашивает Арнольд Нильсен. Вера не отвечает. Идёт дальше мимо поворота и домоуправа Банга, который

провожает её взглядом, ничего не говоря. Но у Арнольда Нильсена бензин не кончился. Так что он медленно катит вдоль тротуара и настигает её. — Не могли бы вы хотя бы посмотреть в мою сторону? — говорит он. Вера как кремень, она не реагирует, смотрит вниз, идёт прямо, дом уже близко. Тогда Арнольд Нильсен топит клаксон, а гудит тот как противотуманная сирена, приправленная фанфарами, Вера дёргается, роняет одну сумку и не успевает ещё нагнуться за ней, как Арнольд Нильсен выскакивает из машины и поднимает кошёлку. — Я увидел вас ещё на Майорстюен. И не смог оторвать от вас глаз. Позвольте теперь подвезти вас? — Вера сердита и огорошена, огорошена больше, такие речи она слышит впервые, зато знает, что на них смотрит вся Киркевейен, а те, кто не смог увидеть их сейчас, своевременно получат исчерпывающий отчёт от домоуправа Банга, что стоит, опершись о метлу, улыбается и планирует вечером же добавить новую главу к своим сплетням. — Я живу здесь, — быстро отвечает Вера. — Поздновато я спохватился, — смеётся Арнольд Нильсен, вынимает у неё из рук и вторую сумку и следом за ней сворачивает за угол. Вера останавливается у подъезда. — Большое спасибо, — говорит она

и намеревается забрать у него кошёлки, но на этом рубеже Арнольд Нильсен не сдаётся. Он отвешивает глубокий поклон и поднимается за ней на второй этаж, к дверям квартиры. — Большое спасибо, — снова говорит Вера, поражаясь сама себе, и маленький мужчина с чёрными блестящими волосами ставит набитые сумки на коврик, снимает перчатку с левой руки, но протягивает ей правую, в перчатке. — Боевое ранение препятствует мне обнажить руку, — объясняет он. — Меня зовут Арнольд Нильсен. — Вера берёт протянутую руку, перчатка тонкая и гладкая, а внутри что-то твёрдое, несгибаемое, квадратные деревянные пальцы, она вздрагивает, наткнувшись на них. — Прошу простить мою настырность, — продолжает он, — но ваша красота не позволила мне проехать мимо. — Вера заливается краской и отпускает его неживую руку. Она слышит шаги по лестнице. Это поднимаются Болетта с Фредом. Они останавливаются на площадке чуть ниже, и, едва увидев Арнольда Нильсена, Фред исторгает вопль, он орёт ещё более жутко, чем всегда, уму непостижимо, откуда в этом тощем мальчонке такая сокрушительная крикливость и визгливость, правда, и знаменитый Верин крик не истирается из памяти старожилов,

так что, может статься, ребёнок, которого она носила тогда во чреве, пошёл в мать. Фред надсаживается, пока наконец Болетта не зажимает ему рот рукой, он кусает её, и теперь вскрикивает Болетта. Столь же резко всё стихает. Болетта прячет руку за спину, у Фреда потемнели глаза, губы ниточкой, а по подбородку стекает капля крови. Дверь за Вериной спиной решительно распахивается, и высовывается седая всклокоченная голова прабабушки Пра. — Так, что тут творится? — Вера оборачивается к Арнольду Нильсену. — Познакомьтесь, моя бабушка, — говорит она. — А внизу — мой сын Фред. С бабушкой. — Арнольд Нильсен раскланивается со всем подобающим уважением и на минуту задумывается, натягивая перчатку, ему надо выиграть время, чтобы собраться с мыслями. — Для меня большая радость познакомиться с вашей семьёй. Если я не ошибаюсь, тут у нас три матери, две бабушки, две дочери и один сын, и все родные! — Вера ловит его взгляд и тоже задумывается, а потом — смеётся. Болетта переглядывается с Пра, они уж забыли, когда слышали Верин смех, а Арнольд Нильсен целует ей ручку и начинает спускаться по лестнице. Он останавливается перед Фредом, сжавшимся и мрачным. Болетта прижимает внука к себе. Фред

зыркает глазами. — Видел машину на улице? — спрашивает Арнольд Нильсен. Фред молчит. — У неё есть откидной верх, его поднимают во время дождя. — Фред молчит. — Она срывается с места, как самолёт, и приехала аж из Америки. — Фред проводит рукой по подбородку и стирает кровь. — Ты можешь на ней прокатиться, если мама разрешит, — говорит Арнольд Нильсен и уходит. Они слышат, как хлопает дверь, и вскоре газует машина. Болетта бросается к Вере. — Кто он такой? — шепчет она. То же желает знать и Пра: — Это ещё что, прости Господи, за творение? — Он лишь помог мне донести сумки. Зовут Арнольд Нильсен. — Вера поворачивается к Фреду, всё ещё стоящему пролётом ниже. — Мам, ты мне разрешишь? — спрашивает он.

Арнольд Нильсен возвращается через два дня. Он приносит букет. Кладёт его под дверью и уходит, не нажав звонка. Зачем? Букет говорит сам за себя. Обнаруживает цветы Пра, когда возвращается из «монополькы» с бутылкой «Малаги» для празднования четырёхлетия освобождения. Она поднимает букет, насчитывает двадцать одну ветреницу и входит с ним в квартиру. — Кому бы это могло предназначаться? — вопрошает она. Вера снова краснеет, краснеть она не разучилась

и тянется взять букет, но Пра не отдаёт. — Карточки нет. Может, они мои или Болеттины. — Не дури! — хмурится Вера. — Отдавай! — Но Пра не собирается упускать нечастого шанса нежданно поразвлечься. — Болетта! — кричит она. — У тебя завёлся тайный воздыхатель? Это он заваливает половик за дверью цветами? — Болетта качает головой, а Вера обегает бабушку, хватает букет и вырывает его с внезапной яростью, опять наполняя дом колючей тишиной. Цветы Вера ставит на окно в синюю вазу. И замирает там, глядя в окно. Болетту подкосил очередной приступ телеграфной болезни, она лежит. Пра пробует «Малагу», проверяя, можно ли её пить. Выяснив, что вполне, несёт стаканчик Вере. — Теперь твой черёд ждать? — вздыхает она. — Я никого не жду, — отрезает Вера. — Вот это самое правильное. — Старуха целует её в щёку. — Цветы неказистые, зато он точно нарвал их своими руками.

Однажды, уже когда Эстер перебралась в комнату с одним соседом в «Мемориал» Принца Августа на Стургатен, уступив свой киоск в подворотне напротив церкви нам с матерью, я попробовал выпытать у неё, что всё-таки произошло в тот день, когда Арнольд Нильсен покорил на своём

авто подъём от Майорстюен до Киркевейен. — Произошло? — переспросила Эстер. — Разве что-то произошло? — Ну да. Он встретил маму. — Эстер огорошила меня быстрым и ясным взглядом. — Любовь — дело случая, ведь правда? — сказала она. Я улыбнулся: — Да ну? — Она пожала плечами, и я понял, что она вернулась в свои потёмки. — Отец твой оказался нехорошим человеком, — прошептала она. — Хотя чулки эти окаянные у него были взаправду.

Ибо когда Арнольд Нильсен в третий раз нарисовался на Киркевейен, непосредственно в праздник, 8 мая, в кармане костюма у него лежал плоский пакетик, но он не кладёт его под дверь, а решительно звонит в надежде, что безыскусные цветы проторили ему дорогу. Открывает Пра. — Однако, — говорит она и даёт ему войти. Арнольд Нильсен кланяется. — Невзирая на всю чрезмерность обращения к вам именно сегодня, всё же позволю себе спросить без обиняков: ваша внучка дома? — У нас все дома, — отвечает старуха. Арнольд поворачивает голову: двери между комнатами распахнуты, и в глубине, в гостиной, он видит Болетту, Фреда и Веру за праздничным столом, пламя зажжённых свечей едва различимо в свете солнца, падающего в высокие окна

с таким напором, что стёкла подрагивают. Все смотрят на Арнольда Нильсена, а у него при виде этого зрелища — Веры, её сынишки, её мамы, цветов, которые он сам нарвал, падает сердце, он прижимает к глазам ладонь и плачет, если только это не солнце и кипенная накрахмаленная скатерть ослепили его. Затем Пра провожает его в гостиную, и ему дают место за их столом.

Сперва висит тишина. Фред опрокидывает стакан и вот-вот сорвётся в крик. Болетта прикрывает лужу своей салфеткой, но Вера всё же уходит на кухню за тряпкой. Тогда Пра открывает рот: — И что привело вас сюда? — На секунду Арнольд Нильсен теряет дар речи, ему неловко, он смущён. Кое-как справившись с собой, он ответствует: — Вы сами привели меня сюда. — Пра морщит лоб и обдумывает чудной ответ. Тем временем Болетта спрашивает: — Почему вы не снимаете перчатки? — Арнольд Нильсен вздыхает. — Мне не хотелось бы испортить вам аппетит. Немецкая мина в Финнмарке разнесла мою руку, как камень в каменоломне. — Покажи, — выпаливает Фред. Но тут возвращается Вера и принимается подтирать на полу лужу сока, накапавшую со стола. Пра теряет терпение: — Генеральную уборку оставим на потом! У нас гости! — Нако-

нец Вера возвращается за стол, она дышит как паровоз и едва не задувает свечи. — Спасибо за цветы, — говорит она. — Они лишь затеняли землю без пользы дела, и я сорвал их, — отвечает он. Прабабка оборачивается к Болетте и шепчет, громко, чтоб все услышали: — Он разговаривает, как в том романе, которым мы растопили камин однажды. — Вера вешает голову и едва не опрокидывает и свой стакан, но Арнольд Нильсен заливается хохотом. — Золотые слова. Дело в том, что я бегло говорю параллельно на трёх языках. На норвежском, американском и рёстском. — Они выкатывают глаза. — Рёстском? — переспрашивает Вера. Арнольд Нильсен нимало не торопится с ответом. — Если перевести ветер в человеческую речь, наполнить его музыкой и расцветить красками, вы услышите, насколько это вам дано, мой родной язык. — Арнольд Нильсен погружается в меланхолию и задумчивость. — Я родился на краю моря в местечке под названием Рёст, — говорит он тихим обезжиренным голосом. И тут вспоминает, что явился не с пустыми руками. Он извлекает пакет из кармана и кладёт его перед Верой на скатерть. — Подарки женщинам этого дома! — возвещает он, оглядывая стол. Вера бережно разрывает бумагу, даже Пра подвигается

ближе, и они замолкают при виде подношения, пристыженные. — Что это? — спрашивает Фред. Это три пары нейлоновых чулок из Дании. Вера щупает их, они мягкие, приятно пальцем погладить. — Большое спасибо, — только и может сказать Вера. И смотрит на Арнольда Нильсена, а тот купается в такой глубокой и такой детской благодарности. Болетта хочет потрогать тоже, а прабабушка Пра наливает стакан «Малаги» и двигает его через стол. — А живёте вы с чего? — спрашивает она. — Вряд ли с одних цветов и чулок? — Я живу с жизни, — отвечает Арнольд Нильсен. Этим ответом Пра довольна не больше, чем прежним. — Живёте с жизни? И как? — Арнольд Нильсен опускает глаза. Перед ним полный стакан. — Спасибо, — говорит он. — Но я и сегодня за рулём. — Не притронувшись к «Малаге», он поворачивается к Фреду, тот не кричит, а встречает его взгляд с мрачной решимостью. — Ты маму спросил? — Фред кивает. Арнольд Нильсен кладёт ему на плечо изувеченную руку: — И тебе разрешили?

И вот они едут в горку в сторону заказника Фрогнерсетер, Арнольд Нильсен сидит на подушке и внимательно следит за приборами, потому что уезжать от дома можно максимум на двадцать

пять километров, сегодня его дом — Киркевейен в Осло, а законы Арнольд Нильсен чтит. Но сегодня двадцати пяти километров довольно с лихвой, это сказка, кругосветка, верх опущен, и Вера с Фредом сидят сзади на ветру, на солнце, на скорости. Арнольд Нильсен тормозит у знаменитой смотровой площадки, огибает машину, галантно распахивает перед Верой дверцу, и они присаживаются на скамейку, а Фред оккупирует заднее сиденье. Они прогуливаются, сперва молча. Потом смотрят далеко вниз на город, который лежит под ними в солнечном мареве. Все дома утыканы флагами. Четыре года, как кончилась война. — Жизнь налаживается, — заявляет Арнольд Нильсен и придвигается к Вере. Она отодвигается, но он повторяет манёвр, и в конце концов она уступает ему, теперь они сидят, тесно прижавшись, он жалеет только, что сел не с той стороны, а то мог бы снять перчатку со здоровой руки и, не исключено, погладить её по волосам. — Спасибо, — кстати говорит он. Ещё движение, и скамейка бы кончилась. И Вера хохочет, она сдалась, и мне нравится думать, что этот смех был своего рода влюблённостью или облегчением, смех повязал её с этим малого роста мужчиной, родом с островка на краю моря, смех

заглушил всё, задавил мрак в её душе, и она снова стала смеяться, возможно, тем как раз смехом, который Арнольд Нильсен искал все эти годы, смехом милосердия.

Перед ними вырос Фред. — Покажи руку, — требует он. Арнольд Нильсен чуть отстраняется от Веры и смотрит на худущего, своенравного пацанёнка. Потом очень осторожно и очень медленно стягивает с руки перчатку. Колышки, которыми он набил её, топорщатся сами по себе, и кажется, что он снял и положил на колени всю руку, а на культяпке остался лишь серый вспученный шмоток мяса, подрубленный грубыми стёжками, и обрубок большого пальца без ногтя, совершенно бесполезный. Вера закрывает глаза руками. Фред наклоняется поближе и уже собирается потрогать изувеченную конечность, но Вера вскакивает, резко и нетерпеливо, и решительно тянет его за собой назад к машине. Арнольд Нильсен стремительно водворяет перчатку на место и бежит следом. — Приношу глубочайшие извинения за мою несообразительность, — шепчет он и склоняет голову. — Я не хочу пугать его кошмарами, — быстро отзывается Вера. — Это моя ошибка. — Ни в коем случае, — настаивает Арнольд Нильсен. — Что ни говори, а жалкие

остатки бывшей руки показал я. Чем я могу загладить? — На это Вера не отвечает. Но она поднимает на него глаза и улыбается. Что даёт ему храбрости спросить ещё кое о чём, пока Фред устраивается на переднем сиденье. — Я не заметил в доме ни одного мужчины, — говорит он. — Зрение вас не подвело, — отвечает Вера. — То есть отца у мальчика нет? — Теперь Вера порывисто отворачивается. Фред вертит руль и издаёт звуки, напоминающие скорее рычание зверя, чем мотора. — Простите меня ещё раз, — умоляет Арнольд Нильсен.

Они спускаются назад в город. Небо затягивает. Наползают тучи. Вера зябнет. Фред сидит впереди и следит за спидометром. И тут им встречается ещё одна машина, чёрный «шевроле-флитлайн-делюкс», автомобили медленно расходятся и тормозят. Арнольд Нильсен выходит, навстречу появляется второй водитель, высокий молодой блондин с платком на шее, мужчины здороваются, они ходят вокруг своих американских коней и нахваливают их, оглаживают надраенные бока, заглядывают им в капоты, слов им не нужно, достаточно кивка, и всё понятно, они из одного братства, и внезапно Арнольд Нильсен глубоко и полно ощущает, что они связаны одной нитью,

это чувство сопричастности общей судьбе он испытал прежде лишь единожды, когда переступил порог цирка «Mundus». Он замечает, что и в «шевроле» сидит красивая молодая женщина, она улыбается ему в боковое окно устало и блаженно, она в положении, и ей едва хватает места впереди. Потом машины разъезжаются, чтобы не встретиться больше никогда, хотя все четверо останутся жить в одном городе и проживут здесь свои жизни, свои корявые, искалеченные жизни, в которых обе пары постигнет трагическое несчастье. Незнакомцы на «шевроле» встретят свой злой рок уже за поворотом, Арнольду Нильсену предстоит ждать много лет, пока его, как говорится, настигнет то, что называют судьбой, хотя с таким же успехом её можно назвать математикой или, как я в своё время сказал Педеру, пытаясь обрисовать идеальную, в моём понимании, драматургию: *простая симметрия тройного прыжка.*

Дождь начинается, как только Арнольд Нильсен вновь садится за руль. Можно сказать, вода льёт на его мельницу. Теперь он вправе со всей непринуждённостью явить основное чудо. Он взмахивает неживой рукой, привлекая внимание, а другой рукой нажимает на кнопку на

панели. Верх медленно растягивается над их головами. Фред сидит не дыша. Вера хлопает в ладоши. Арнольд Нильсен доволен тем, как прошло представление, и публикой тоже доволен. — Теперь мы домчимся в сухости, — возвещает он и переключает передачу. Вера быстро оглядывается и видит красные задние огни второй машины, которая прочерчивает два следа на мокром асфальте и скрывается в дожде у них за спиной. — Езжай осторожно, — шепчет она. — Дорога скользкая.

Арнольд Нильсен осторожно довозит их до дома. Пра и Болетта стоят у окна, когда машина тормозит на углу. Они видят, что Фред выпрыгивает с переднего сиденья и хлопает дверцей, а остальные остаются в машине. — Он спрашивает, увидятся ли они завтра, — констатирует Пра. — Ты думаешь, это так серьёзно? — поворачивается к ней Болетта. Старуха вздыхает. — Она не может теперь привередничать. И он тоже. — Тсс! — шикает Болетта, между тем как Арнольд Нильсен раскуривает сигарету с помощью электрозажигалки и тихо говорит: — Смею надеяться, я напугал тебя не насмерть своей рукой. — Вера качает головой. Арнольд молча докуривает сигарету. Табак сухой и дерёт горло. — Я был бы

счастлив прокатиться и завтра, — заявляет он, докурив. — Я тоже, — молниеносно откликается Вера. — Как ни жаль, я не могу пригласить тебя к себе. Временно я квартирую в пансионе, не самом лучшем. — Вера подаётся вперёд: — В пансионе? — Арнольд Нильсен смотрит в окно. Фред прижимается к стеклу носом. Льёт дождь. — Пансион Коха. Пока не найду себе чего-нибудь. Но в наши дни свободное жильё не предлагают на каждом углу. — Он вздыхает. — Я прочесал весь город. Не пропустил ни одного объявления с тех пор, как вернулся из Америки. Но даже в гостиницах нет мест! Представь, в Нью-Йорке я жил в «Астерии». «Астерию» знаешь? — Нет, — отвечает Вера. — Там твои чемоданы доносят до дверей, а в номере аж по четыре комнаты! — Он бахает здоровым кулаком по рулю. — В этом Кохе живут по трое в комнате! Один каждую ночь напивается и не даёт нам спать. — Он замолкает и смотрит смущённо на свою руку. Вера сидит молча, думает. — Я поговорю с мамой, — произносит она наконец. Арнольд Нильсен поднимает голову и смотрит на неё: — Что ты сказала? — И с бабушкой тоже поговорю, — добавляет она. Его лицо расползается в широчайшую улыбку, он совершенно теряет контроль и кладёт ей на руку

свою руку. — Хорошо, что я такой компактный! Могу спать на окне на подушке!

Перебирается на Киркевейен Арнольд Нильсен в июне. Это производит фурор: «бьюик» на углу и мужик в женском царстве. Для начала его помещают на узкий матрас в прихожей. Он поднимается в семь утра, пьёт кофе, спускается в машину и возвращается домой в половине шестого. Чем он занят, они не знают, а он не говорит. — Живёт с жизни, — язвит Пра и качает головой, но в глубине души не может уж совсем не любить его. Он не путается под ногами. Опрятен и чистоплотен. Во сне никаких звуков не издаёт. Каждую неделю кладёт деньги в хозяйственную коробочку. Выносит мусор. По воскресеньям возит их на прогулки, в Несодден и к фьорду, или в обратном направлении, в лес, к озёрам, Фред тогда сидит впереди, и женщинам сзади не приходится тесниться. С собой у них кофе и венские булочки, и куда бы они ни заехали, везде народ останавливается и глядит вслед шикарному «бьюику», а Арнольд Нильсен машет всем рукой. А по вечерам, его стараниями, Вера смеётся. Болетта тайком навела справки у себя на Телеграфе. Он не наврал. Родом действительно с Рёста на Лофотенских островах, отец его был

рыбаком, телефонный номер им не ставили. В июле его повышают до дивана в гостиной. Пра собачится с Болеттой в комнате прислуги, а Фред спит с матерью. Как-то ночью Арнольд Нильсен просыпается оттого, что мальчишка буравит его взглядом. Возможно, он простоял так уже долго. Худосочная тень в темноте полна решимости и гонора. Он молчит. Это уж совсем плохо. Арнольд Нильсен приподнимается. — Тебе чего? — спрашивает он. Фред не отвечает. Арнольду Нильсену не по себе. — Не надо бояться, — шепчет он. Но тут же понимает, что мальчик не напуган. Тогда б он не стал торчать тут, в темноте у дивана. Скорее он злится, угрожает. Арнольд Нильсен не может найти нужных слов, этот балабол, способный уболтать кого угодно, ищет во всех доступных ему языках верную фразу, чтобы совладать с пятилетним мальчишкой. Он совсем понижает голос: — Я не отберу у тебя маму, Фред! — Он вытягивает беспалую руку. Фред не шевелится. Он стоит и смотрит, молча, сосредоточенно, а потом бесшумно уходит в спальню к матери.

Остаток той ночи Арнольд Нильсен не спит. И не встает по звонку будильника, а продолжает валяться. Вскоре он слышит возню за дверью, волнение, они переговариваются быстро и встре-

воженно, не зная, на что решиться, наконец заходит Вера. — Ты заболел? — спрашивает она. Арнольд Нильсен утыкается в стену, чтоб не показать ей, что у него глаза на мокром месте, так его тронуло, что о нём заботятся, тревожатся, от такого внимания к его персоне он совсем забывается и шепчет: — Сегодня я выходной.

Вера осторожно затворяет дверь и передаёт новость дальше. Арнольд Нильсен здоров. Просто сегодня у него выходной. От чего такого он собрался отдыхать, им ясно не до конца. Тем не менее он лежит за закрытой дверью на диване и отдыхает. Болетта уходит на Телеграф. Фред убегает во двор. Пра с Верой стирают скатерти. — Коль скоро он живёт с жизни, выходит, от неё же и отдыхает, — философствует старуха. Вера шипит на неё. — Не затыкай мне рот! Это его собственные слова! Тебе он что-нибудь говорил? — Пра с такой силой дёргает скатерть, что Вера налетает на бабушку. — Что говорил? — Чем он занимается. Чем занимался. И чем думает заняться. Или он нашёптывает тебе на ушко исключительно стихи и поэмы? — Вера опускается на край ванны. — Я его не расспрашиваю. Как и он меня. — Старуха вздыхает и суёт скатерть Вере в руки. — Остаётся надеяться, хоть этот не

окажется ночной химерой.

Когда Арнольд Нильсен выползает на кухню, там его ждёт завтрак. В квартире тихо. Он один. В первый раз он один в квартире. На душе снова зудит. Взяв кофе, он идёт к окну и выглядывает во двор. Старуха и Вера развешивают внизу бельё, огромные белые скатерти, они растягивают их, встряхивают, перекидывают через верёвки и прищемляют прищепками, мешочки с которыми болтаются у них на поясе. Всё это впитывает взор Арнольда Нильсена. Рядовой майский день пятидесятого года, солнце скоро зальёт всю коробку двора, у ворот мальчишки чинят велосипед, колченогий домоуправ, стоя спиной, наполняет бочку водой, и кто-то стучит на пианино простенькую мелодию, одну и ту же раз за разом. Вера со старухой заливаются хохотом, когда порыв ветра, шмыгнув к ним вниз, лихо вздувает скатерть, которую они растянули между собой, и чуть не уносит их в небо. Арнольд Нильсен замечает все-все подробности. Сегодня утром он превратился в глаза. Глаза созерцателя, заворожённого такими человечными бочками с водой, велосипедами, скатертями, которые повешены сушиться. Первоначальное беспокойство отпустило его, уступив место удивлению, но тоже

свербящему, зачарованному каждым зёрнышком той жизни, что скоро станет его. Тридцатник не за горами, молодость на излёте, вот-вот Арнольд Нильсен распрощается с ней, проскочит её, мир вокруг него уже начал ужиматься. Это его мир, а он свидетель ему. И должен забыть всё, что было, и начать запоминать сначала. Вдруг он обнаруживает, что в единственном всё ещё тёмном углу двора сидит Фред. Сидит и таращится. Таращится и таращится. Он разбивает это утро на части. Вера окликает сына. Фред ноль внимания. Она кричит ему снова. Фред сидит как сидел, в тёмном углу, а когда солнце медленно озаряет угол, закрывает лицо руками.

В дверь звонят. Арнольд Нильсен в нерешительности отставляет кофе. Он здесь не живёт. На табличке на дверях его имя пока не значится. Опять раздаётся звонок. Нильсен выглядывает во двор, где старуха обнимает Фреда, сидя перед ним на корточках. Арнольд Нильсен идёт в прихожую и открывает дверь. На площадке Арнесен, изображающий страшное удивление. — Никого из дам нет дома? — Они внизу развешивают бельё. Я могу их позвать. — Но Арнесен отмахивается от него и шмыгает внутрь: — Я здесь ориентируюсь. — Он ставит свой кофр на пол

перед часами, достаёт ключ и поворачивается к Арнольду Нильсену: — Говорят, вы хозяин нового автомобиля. — Арнольд Нильсен кивает. Арнесен улыбается: — Сколько в нём лошадиных сил? — Сто пятьдесят. — Сто пятьдесят? Ничего себе! Ездит, значит, гораздо быстрее разрешённой скорости. — Арнольд Нильсен смеётся. — Быстрое авто умеет ездить медленно. — Умеет, конечно. Если водитель совладает с искушением. А оно любого одолеет. Когда нет свидетелей, я имею в виду. — На это Арнольд Нильсен ничего не отвечает. Зато Арнесен рассыпается в похохушки: — Ну хорош! Стою, болтаю при исполнении, даже не представившись. Страховой агент Арнесен. — Он протягивает руку, хватает угловатую перчатку и, вздрогнув всем телом, отдёргивает руку. — Несчастный случай? — спрашивает он. — Война, — отвечает Арнольд Нильсен. Арнесен зажигает улыбку, поворачивается спиной, вытягивает ящичек из-под часов, сгребает деньги в кожаную торбочку и прячет её в кофр. Арнольд Нильсен видит, до чего ловкие и быстрые пальцы у агента, но Нильсен стреляный воробей, он-то знает, что каким ловкачом ни будь, всегда найдётся на тебя изобличитель, так что раньше ли, позже, но ты допустишь промах, всё посыплет-

ся на пол, а ты вздрогнешь и лишишься руки. Он спрашивает: — Это ваша супруга музицирует? — Арнесен задвигает на место ящичек и смотрит на него, теперь без улыбки: — Вам мешает? — Ни в коей мере. — Вам было бы приятнее, если б она сменила репертуар? — Об этом я не думал. — Поживёте здесь, подумаете. — Арнольд Нильсен вынимает из кармана купюру и кладёт её в кофр. — Я теперь тоже застрахован, идёт? — Арнесен захлопывает замочки. — Да, вам это необходимо.

Арнесен откланивается, но руку для пожатия не протягивает, искусственные пальцы он уже пощупал. Арнольд Нильсен остаётся стоять у овальных часов, показывающих шесть минут десятого. Потом слышит на кухне шум — все вернулись. Он идёт к ним. — Арнесен приходил забрать премию, — говорит он. Старуха оборачивается. — То-то я чувствую, холодом повеяло, — шепчет она.

Фред пулей летит в прихожую, забирается на стул и принимается трясти ходики. От них ни звука, только хохот, почти крик Фреда, который всё трясёт и трясёт часы, пока наконец старуха не вырывает их у него и не ставит стрелки как надо. Арнольд Нильсен выуживает из кармана ещё од-

ну купюру и протягивает Фреду: — На, положи в ящик. — Фред морщится на голубую, сложенную бумажку. — Я деньги хочу! — Арнольд Нильсен смеётся, достаёт монету и пробует её на зуб, прежде чем отдать Фреду. — Кидай, услышишь, как упадёт! — Фред долго трёт монету о штанину и суёт в карман. — Тебе дали положить в часы. Чтоб с нами ничего не случилось, — встревает Вера. Фред качает головой и хочет убежать. Вера ловит его. — По крайней мере, надо сказать спасибо. Фред, говори: спасибо! — Ерунда, — заверяет Арнольд Нильсен. Но Вера уже взяла в голову, что Фред должен поблагодарить. — Скажи: *большое* спасибо! — орёт она. — Или отдавай деньги назад! — Фред сжимает губы, складывает руку в кармане в кулак и вырывается. — Говори: большое спасибо! — шумит Вера и отпускает его. Между ними встаёт прабабушка Пра. — Отпусти его, — говорит она и сама опускает в ящик деньги за них за всех.

Вечером Болетта с Верой идут снять бельё. Низкое солнце перелегло на другой бок, задрав полосу света выше двора. Женщины спускают корзину с высохшим бельём в подвал, заправляют первую скатерть между валиков гладильного пресса и вдвоём крутят ручку. Когда и вторая ска-

терть отглажена и сложена, Болетта спрашивает: — С Фредом ничего не случилось? — Вера переводит дух, притулясь к ручке. — Я не могу с ним разговаривать. Он меня не слушает. — Болетта складывает скатерть и убирает её в корзину. — Он немного сбит с толку. Поэтому легко срывается на злость. — Вера чуть не плачет, зажимает рот. — Видно, лучше Арнольду уехать, — шепчет она. Болетта улыбается. — Я-то думала совершенно о другом. — Она обнимает дочку. — Просто Фреду удивительно слышать, как ты смеёшься.

Кто-то спускается вниз, они без труда опознают походку по тому, как один башмак каждый шаг запаздывает, ломая ритм, и шаркает по каменному полу. Он останавливается в дверях. Домоуправ Банг. Проводит взглядом по стопке скатертей. — Скатертей всегда мало, — говорит он для начала, и всё. Болетта поворачивается спиной и сбрызгивает водой последнюю скатерть, предназначенную для глажки. Домоуправ переводит взгляд на Веру. — Может, надо помочь? — Вера качает головой: — Нет, спасибо. — Он улыбается и подходит ближе: — Ну конечно, теперь у вас есть кому помочь. — Вера что есть мочи дёргает полотно, и скатерть исчезает между валиков. — Наконец-то мужчина в доме, — продолжает Банг

с растяжкой. — Всё-таки поспокойнее. — Болетта порывисто снова поворачивается к нему, и они сходятся лицом к лицу. — Так! — говорит она. — Проваливай, и шаркалку не забудь! — И домоуправ Банг молча и оскорблённо пятится, хромая, и ныряет в недра подвала. Болетта переглядывается с Верой, они не дышат сколько только могут, а потом прыскают. — Ну ты отбрила! Не хуже бабушки! — хохочет Вера. — Фуф! — отдувается Болетта, прижимаясь к дочери. Голос у неё пресекается: — Скоро стану вылитая мать!

Когда они поднимаются в квартиру, Пра уже в постели. Она утверждает, что ей дурно, у неё нет сил и она желает немедленно видеть доктора Санда, преемника Шульца и полную его противоположность: обстоятельного положительного трезвенника, практикующего истории болезней и марлевые повязки. У неё спазм в руках. Она кричит, что это всё Болетта заразила её своими мигренями и синюшными локтями, и требует оставить её в покое. Эта воля болящей исполняется, но на другое утро прабабушка Пра поднимается раньше всех, заказывает такси и не позволяет Болетте с Верой, услыхавшим телефонные переговоры и примчавшимся на подмогу, вмешаться: она не желает ни чтобы кто-нибудь

сопровождал её, ни тем более чтоб Арнольд Нильсен довёз её до врача. Нет. Она в одиночестве проделает остаток пути, как преисполненный достоинства слон делает шаг в сторону прежде, чем замертво рухнуть на землю, чтоб не тревожить своим уходом соплеменников. — Что за цирк! — шипит Болетта. — Ничего у тебя не болит! — Старуха награждает её злобным взглядом, спускается вниз и забирается на заднее сиденье такси. — Завернёте за угол улицы Якоба Ола и остановитесь, — велит она шофёру. — Да это же сто метров, — говорит шофёр. — Я плачу! — отвечает прабабушка Пра. Шофёр повинуется. Как бы мне хотелось думать, что это тот самый таксист, в машине которого родился Фред, но нет, так не бывает, а если б, паче чаяния, шофёр оказался тем же, то и повествование могло бы завернуть другим маршрутом или слушатель решил бы, что это ложь, дешёвая уловка, и усомнился бы в дальнейшем, а то и вовсе отложил бы в сторону нашу историю и переметнулся бы к другим повествованиям, вызывающим больше веры. Конечно, мне всё равно хочется, чтоб шофёр оказался тем самым, потому что я мечтал бы услышать их с Пра разговор, наверно, она пригласила бы его зайти к ним вечерком на чашечку чаю или кофе,

они бы пошушукались о том, что произошло в их жизни с момента последней встречи, когда на перекрёстке между Киркевейен и Уллеволсвейен на заднем сиденье его машины появился на свет окровавленный человеческий детёныш, и таксист познакомился бы с мальчиком, наречённым им Фредом, потому что неужели он мог сомневаться в том, что они не сберегли первого имени, данного в незабвенном автомобиле? Конечно, мальчик стал Фредом. Да, но таксист другой, мужчина в возрасте, то и дело приглаживающий пальцем спутанные, к тому же не идеально чистые усы. — Мы чего-то ждём? — спрашивает он. — Пока это вас не касается, — сообщает Пра, наблюдая за «бьюиком», припаркованным на противоположном углу. Арнольд Нильсен не показывается. На секунду она впадает в замешательство. А если у него снова выходной? Счётчик щёлкает. Наконец Арнольд появляется, садится за руль и выворачивает на Киркевейен. — Пожалуйста, следуйте за этой машиной! — распоряжается Пра, сползая как можно ниже на сиденье, чтоб её, не дай Бог, никто не засёк.

Арнольд Нильсен проезжает Майорстюен и Бугстадвейен. Моросит, он поднял верх Перед «монополькой», потупив головы и сунув руки в

карманы, ждут открытия какие-то личности. На Валькириен голуби гуртом взмывают в воздух, а уж потом разлетаются по своим карнизам. Пекарь грузит в машину хлеб, по улице несёт поджаристой корочкой. Город не спит, хлопочет в тёплом дождичке. Ничего не подозревающий Арнольд Нильсен едет обычным утренним маршрутом. Он ставит машину во дворе дома на Грённегатен и пешком доходит до пансиона Коха. Старуха притормозила такси на Парквейен, отсюда ей видно, как он звонит в дверь и скрывается внутри. Она ждёт. Ей не к спеху. Таксометр нащёлкал баснословную сумму. Но деньги у неё есть. Таксист возит пальцем туда-сюда под носом. Вот с терпением у прабабки беда. Она расплачивается и перебегает на ту сторону к страшненькой двери. Это запасной аэродром Арнольда Нильсена, уверена она, или вообще фикция и декорация. А может, у этого недоделанного мужчинки есть зазноба на стороне. Что бы там ни оказалось, парню придётся жарко. Пра звонит в дверь пансиона не сразу, но дверь приоткрывается, и в неё выглядывает разжиревшая тётка с набрякшими веками. — Я к Арнольду Нильсену, — говорит Пра. — Не знаю такого, — отвечает толстуха, кривя лицо. И начинает захлопывать дверь, но

Пра собирается покинуть пансион не ранее, чем выполнит свою миссию. Поэтому она ставит ногу на порог, берёт тётку за ухо и выкручивает его. — Как вы смеете врать старшим! — шипит она. — Сейчас же покажите мне комнату Нильсена! — Старуху впускают. По крутой лесенке они поднимаются к своего рода стойке — прилавку, где стоит пепельница, доска с двумя ключами и валяется старая газета. Пахнет табаком и слежавшимися матрасами. Рядом, в комнате без окон, трое мужчин играют под пивко в карты. Они стыдливо оглядываются на Пра, но потом возвращаются к оставленным бутылкам, также молча. — Комната 502, — говорит толстуха, растирая ухо. — Ну и что вы темнили? — мягко спрашивает Пра. — Наши клиенты рассчитывают на полнейшую доверительность, — отвечает та, разлепляя веки. Картёжники хмыкают. — Да уж, по всему видать, — буркает старуха. Будет Арнольду Нильсену его доверительность! Она карабкается ещё выше, на пятый этаж, и попадает в узкий длинный коридор с высокими окнами по одну руку и дверями по другую. Перед одной стоит пара башмаков. Пра медленно проходит весь коридор и останавливается у номера 502. Сперва она прислушивается и различает в ком-

нате странный шум, он крепчает и нарастает. Она заглядывает в замочную скважину и видит проплывающие тени. Старуха выпрямляется и барабанит в дверь. — Я просил не мешать! — кричит Арнольд Нильсен. — Сколько раз повторять! — Ещё разок! — отзывается Пра. В комнате 502 делается тихо, то есть совершенно тихо. Затем дверь открывает Арнольд Нильсен, бледный и растрёпанный, и смотрит на неё. — Заходите, — роняет он. Старуха шествует мимо него в комнату и останавливается. Кровать заправлена. По полу разбросан всяческий инструмент. Чертежи и схемы скатаны на столе у окна, занавески на котором задёрнуты. С торшера снят абажур, и голая лампочка отбрасывает золотой свет во все стороны. Никого больше в комнате нет. Но посреди комнаты высится штатив с пропеллером, похожим на покосившуюся звезду, и приставной лесенкой. Арнольд Нильсен захлопывает дверь. — Ну вот вы и увидели мою ветряную мельницу, — шепчет он. Пра поворачивается к нему: — Ветряная мельница? Ты прячешь в пансионе Коха ветряную мельницу? — Он возвращает абажур на место и встаёт у окна: — Это не быстрое дело — достроить её. — С одной-то рукой. — Старуха обходит ветряк. Что она испытывает больше, облегчение

или разочарование, она сама не может понять, а потому в замешательстве усаживается на кровать. — Это ты сам построил? — спрашивает она. Арнольд Нильсен живо вытаскивает чертежи, но ей вся эта геометрия недоступна, и она отмахивается от его объяснений. — Вы, южане, ничего в ветре не смыслите, — говорит он. — Вы просто не знаете, что это такое — ветер. Вы думаете, это то, что шумит в листве во Фрогнер-парке. Как бы не так! — Арнольд забирается на ступеньку, запускает колесо, и что-то свищет так, что Пра пригибается, спасая голову. Арнольд Нильсен хохочет: — Ветер — он как шахта. Поднебесная шахта! Кладезь чистейшего, легкокрылого золота. — Внезапно он серьёзнеет и спускается вниз. — Так вы не больны? — шепчет он. — И следили за мной? — Само собой! — отвечает Пра. — Я должна знать, что ты за гусь! — Вы думали, у меня другая женщина? — говорит Нильсен. Пра молчит. Арнольд Нильсен подсаживается к ней. — А нашли тут только мою ветряную мельницу. Ну и что вы теперь думаете обо мне? — Старуха поднимается и отходит к окну. — Ты слышал о слонах на горных перевалах Деккана? — спрашивает она. Арнольд Нильсен качает головой. — Это в Индии, в горах. Поезд там переезжает несколь-

ко границ, попутно пересекая облюбованное слонами пастбище. Однажды локомотив сбил слонёнка. Ты слушаешь меня, Арнольд Нильсен? — Он кивает, на лбу поблёскивает пот — Да, слушаю более чем внимательно. — Это хорошо. Потому что когда поезд шёл назад, на том месте его поджидала слониха-мать. Когда поезд подъехал, она бросилась на локомотив. Атаковала состав из паровоза и двадцати пяти вагонов. Она хотела перевернуть его и отомстить за смерть своего ребёнка. — Старуха снова садится рядом с Арнольдом Нильсеном. — Как ты думаешь, Арнольд, чья взяла? — Он отвечает не сразу. И говорит о другом. — Может, поэтому слоновий волос означает удачу? — шепчет он. Старуха долго молчит. — Я не знаю, что ты за человек, Арнольд Нильсен. Но одно я знаю наверняка — береги Веру и Фреда береги. Они оба страшно хрупкие. Ты меня понял?

В спальню Веры Арнольд Нильсен перебирается в августе и вешает в шкаф свои костюмы позади её платьев. Он тихо лежит рядом с ней в двуспальной кровати. Он смотрит в потолок. Он улыбается. И думает, вполне возможно, что зелёное солнце наконец-то взошло достаточно высоко, чтоб светить и ему тоже. Он втягивает

воздух, удивляясь и перепроверяя, и чувствует сладкий, терпкий вкус во рту. — По-моему, это вкус «Малаги», — шепчет он. И поворачивается к Вере, которая принимает его.

В сентябре они венчаются, в церкви на Майорстюен. Вера предпочла бы иной храм, потому что здесь несёт своё служение прежний пастор. Но Арнольд Нильсен спокойно возражает на это: — Пусть только этот сквалыга, который погнушался крестить Фреда, попробует отказать нам в венчании! Да я нажалуюсь на него в церковную общину, королю, в парламент и куда повыше! — В ту субботу шёл дождь. Присутствовали прабабушка Пра, Болетта, Фред, Эстер, домоуправ Банг, Арнесен и три подержанные личности со стороны пансиона Коха. Пастор оттарабанил текст невнятной скороговоркой, с неприязнью поглядывая на белое платье Веры, которая отвечала ему упрямой улыбкой, но когда Арнольд Нильсен надел ей на палец кольцо, то самое кольцо, отданное ей Рахилью на хранение, Вера опустила голову и, к вящему удовлетворению пастора, заплакала от мысли, что никакая радость не бывает совсем чистой, поэтому-то мы и смеёмся.

Я родился в марте. Я вышел в мир вперёд ногами, причинив своей матери сильнейшие

страдания.

БАРНУМ

(крестины)

— Барнум? — Пастор отложил ручку и взглянул на мать, сидевшую по другую сторону письменного стола со мной на руках. — Барнум? — переспросил пастор. Мать не ответила. Она повернулась к отцу, медленно крутившему в руках шляпу. — Точно так, — сказал отец. — Вы всё правильно поняли. Мальчика будут звать Барнум. Так мы решили. — Пожалуй, в этот момент я вполне мог заплакать. Мать стала меня утешать. И запела прямо в кабинете пастора. А тот в раздражении снова схватил ручку и что-то записал на бумаге. — Разве есть такое имя — *Барнум?* — спросил он. Отец беззлобно вздохнул над такой непросвещённостью. — Имя *Барнум* ничуть не хуже прочих, — сказал он. Пастор улыбнулся: — Вы с севера, да, Арнольд Нильсен? — Отец кивнул: — С острова Рёст, господин Сюнде. Крайней точки Норвегии. — Я смолк, мать оборвала песню. — Возможно, у вас там к имянаречению относятся проще. Но у нас тут, на юге, установлены определённые границы. — Дорогой пастор,

что вы, — оживился отец. — Имя Барнум — не выдумка северян. Оно американское. — Пастор снял книгу с полки у себя за спиной. И стал листать её, ища что-то. Мать пихнула отца ногой и кивнула на дверь. Отец покачал головой. Пастор сел и положил книгу на стол. Отец подался вперёд: — Вы ищете ответа в Библии? — Пропустив вопрос мимо ушей, пастор стал зачитывать вслух: — «Не допускается выбирать имена, ношение которых может обременить их обладателя». — Я раскричался. Мать стала баюкать и укачивать меня. Пастор захлопнул книгу и поднял глаза, играя желваками. — Закон об имянаречении от 9 февраля 1923 года. — Шляпа в руках отца перестала прокручиваться. — Имена сраму не имут, разве нет, господин пастор? — вопрошает он. Пастор не находит что ответить. И говорит тогда: — Я прошу вас придумать бедному мальчику другое имя. — Мать уже встала и шагает к двери. — Он отнюдь не бедный мальчик! — чеканит она. — Довольно! Мы уходим! — Отец задерживается ещё на минутку. — Второй раз пастор отказывает моим детям, — шипит он. Пастор улыбается: — Вашим детям? Обоим отец вы? — Отец водружает шляпу на голову. Он дышит с прерывистым сипением и мысленно проклинает свой кривой нос. — Най-

дутся и другие пасторы, — гундосит он. — Но Бог, как и закон, один, — ответствует пастор. Отец в сердцах с грохотом шваркает дверью, но теперь, в коридоре, мать раскисает. — Неужели нельзя назвать его по-другому?! — рыдает она. Отец и слышать не желает. — Его *будут звать Барнум,* бес меня задери! — Я заливаюсь уже в голос. Отец ногой снова распахивает дверь, просовывает в кабинет голову и шляпу и кричит: — У нас дома был сосед Кручина. Точно по вам имечко!

Ночью отец не спал. Бдел и думал. Шагал взад-вперёд по гостиной, не давая никому из нас сомкнуть глаз. Громко пререкался сам с собой, несколько раз грохнул кулаком по чему-то там. Потом всё стихло до утра. На кухню к завтраку он вышел изможднный, но исполненный решимости. Присесть к столу отказался. — Уезжая, — сказал он, — я уведомил родителей, что вернусь, когда придёт время. Или никогда. Время пришло. — Мать застыла с ложкой каши, которую пыталась впихнуть в меня. Она взметнула глаза на отца. Болетта отставила чашку, а Пра прижала к себе Фреда, чтоб он сидел тихо. — Что ты имеешь в виду? — спросила мать. Отец глубоко вздохнул. Крестить будем в Рёсте! — ответил он.

Отец отсутствовал два дня. Надо было всё

уладить. На третье утро он возник на пороге в чёрном, сшитом по индзаказу костюме, светлом пальто, неотразимо сияющих туфлях и со стрижкой, ниспадавшей на лоб столь же неотразимой волной. Он расцеловал мать и потряс стопкой билетов. — Собирайся! Едем сегодня вечером, ночным поездом на Тронхейм!

Болетта, Пра и Фред провожали нас на Восточный вокзал. На перроне мама плакала. Фред получил от отца молочную шоколадку и немедля вышвырнул её на рельсы. Господи, ну почему они не могли назвать меня хоть Арне, Арнольдом-младшим, или Вильхельмом-вторым! Но нет, мне выпало обзываться Барнумом, и мы должны были тащиться аж в Рёст, чтобы вписать такое имечко в церковные книги. Кондуктор отнёс наши чемоданы в спальный вагон. Локомотив дёрнулся, мать прильнула к окну и замахала, меня держал на руках отец. Я помню тот запах, как заправский химик, я могу у себя в лаборатории воспоминаний разложить его на составные части, снимая слой за слоем: средство для волос, мешающееся со сладким парфюмом выскобленных щёк, тяжёлая табачная вонь перчаток, кисловатый душок тугого взопревшего воротничка, всё это возгоняется и превращается в терпкую

вокзальную пряность — расставание. Но в тот день я спал себе, ни о чём не ведая, ибо существовал ещё вне воспоминаний. Положили меня с матерью на нижней полке, на краешке которой сидел отец и свинчивал крышку с карманной фляги. Он наполнил стаканчик для чистки зубов и протянул матери, у которой хватило сил только понюхать. Что ж, отец выпил всё сам, выдохнул: — Ну вот, парень получит причитающееся ему имя. А я склепаю разорванные связи. — Он налил ещё и опять выпил: — Твоё здоровье, любимая. Пусть это станет нашим запоздалым свадебным путешествием. — Мать взяла его увечную руку и зашептала, чтоб не разбудить по-прежнему спавшего меня: — Они знают, что мы едем? — У отца пронзило болью ампутированные пальцы. — Они? — Твои родители. — Я даже не уверен, живы ли они, — прошептал он. Отец сполз на пол и застыл, стоя на коленях и уткнувшись лицом матери в грудь. — Вера, я боюсь. Боже, как я боюсь!

В Тронхейме льёт дождь. Мать выносит из вагона меня, а кондуктор — коляску, в которую меня и кладут. Отец стряхнул с себя страх. Он деятельно суёт кондуктору купюру и хлопает его по плечу. — Я могу отнести чемодан и остальное, — говорит кондуктор, молниеносно пряча

деньги в фуражку. — Отлично, — отвечает отец, подталкивая его (давай, давай!), вслед за чем выменивает у некоего субъекта, ожидающего открытия вокзальной забегаловки, зонтик на пустую фляжку. — Что это? — спрашивает мама. — Так, небольшой подарочек! — хохочет отец, раскрывая над нами чёрный зонтик, под которым они и довозят меня до пристани. Почтовый пароходик уже стоит у причала. Мать бледнеет. Теперь страшно делается ей. — Мы поплывём не на этой посудине, нет? — шепчет она. Но отцу недосуг ответить, потому что огромную деревянную коробищу, самое малое четыре на четыре метра, которую поднимают на борт, заваливает порывами ветра набок, и она едва не выскальзывает из ремней. — Осторожнее, черти! — вскрикивает отец. Наконец груз удаётся невредимым опустить на палубу, осевший пароходик ходит ходуном, стоящие вдоль поручня пассажиры аплодируют, а отец отвешивает глубокий поклон, точно это он перенёс на борт драгоценный груз мановением своей одной целой и одной ополовиненной руки. В каюту нас провожает лично сам капитан. Каюта тесная, низкая, за иллюминатором перекатываются волны. — Сколько мы стоим в Сволвере? — спрашивает отец — Час, — от-

вечает капитан. — Отлично! — радуется отец. Засим капитан приглашает семейство Нильсенов отужинать за его столом вечером в шесть. Но морская болезнь укладывает мать прежде, чем мы успеваем выйти из Тронхеймского фьорда, обогнуть Фоселандет и лечь наконец курсом на север. Отец стоит на палубе, в тени огромной деревянной коробки, на которой красной краской выведено его имя. Он хохлится под чёрным зонтом. Страх, от которого он было отделался, снова лижет пятки. Можно сойти на следующем причале и сбежать. Ему не впервой исчезать. Но — нет: поздно. У него в прошлом тёмный период, его полярная ночь. Он не забывает то время. Но теперь он из тени вышел. Теперь июнь, белые ночи. Пароход держит курс к солнцу. Они плывут из дождя в солнце. Вдруг отец заходится в хохоте. И… раз — вышвыривает за борт зонтик, тот падает на воду, как вспоротый баклан, и исчезает за волнами, а то была бы ржачка, когда б Арнольд Нильсен заявился домой на Рёст с зонтиком-тростью, как последний придурок, как гость с того света, которому невдомёк, что против рёстского ветра устоит зонт одной только конструкции: кости палтуса, обтянутые кожей четырёх рыб зубаток. Отец прикладывает ухо к коробу, прислу-

шивается и вроде бы различает внутри слабый шум. Тогда он спускается в каюту. Мать лежит на узкой койке. Она купается в поту. — В шесть часов мы ужинаем с капитаном, — говорит отец. Мать рвёт. Когда её выворачивает во второй раз, то же проделываю и я, точно мы ещё связаны пуповиной. Мы тошнимся наперегонки, и отцу приходится туго. Он вызывает горничную, которая перестилает бельё, оттирает пол и ставит возле койки два ведра. Мать вымотана и обессилена. У неё едва хватает сил держать меня. — Пойдём наверх, — зовёт отец. — Тебя стены укачивают. — Молчи, — шепчет мать. Отец вытирает ей лицо своим носовым платком. — Чтобы привыкнуть к волнам, надо на них смотреть, — уговаривает он. Мать стонет. — Почему мы не поехали на машине? — Отец заводится, промакивает пот со своего взопревшего лба. — Машине не хватило бы бензина, тем более она в починке, а стремнину в Москене ещё не заасфальтировали. — Мать делает попытку улыбнуться. — У тебя наготове три отговорки, Арнольд. Из этого я делаю вывод, что ты просто морочишь мне голову. — Отец смеётся: — Из чего я делаю вывод, что ты идёшь на поправку! — Он встаёт и смотрит на маму и на меня. И видит, я думаю, до чего я похож на

него, за исключением только цвета глаз: у меня — синих. Это открытие ошеломляет его радостью и тревогой, восторгом и печалью. — Я попрошу капитана прислать ужин сюда, — шепчет он. — Нет, нет, — просит мама. — Иди к ним туда, пожалуйста! — Отец подчиняется. Он ужинает за столом капитана. Запивает палтуса в сливочном соусе бутылочкой пива. Громко переговаривается по-американски с какими-то туристами и чокается направо и налево. — У вас какое-то дело на севере? — интересуется капитан. — Да, я еду крестить сына, — отвечает отец. Капитан раскуривает сигарету и косится на руку в перчатке: — А в коробке вы, часом, везёте с собой не церковь? — Отец усмехается: — Можно сказать и так, — но никакими подробностями всеобщего любопытства не удостаивает. В день довольно одного правдивого ответа. Ему по вкусу роль человека-загадки, таинственного, с иголочки одетого, болтающего на всех языках. Вот он и наводит тень на ясный день. Подают кофе. Стол ходит ходуном. Блюдца съезжают к краю. Опрокидывается бутылка. Мигают лампы. Капитан недоволен, как пошла беседа. — А ваша супруга не пожелала отобедать с нами? — спрашивает он. — Она не выносит качки, — говорит отец. И

в мозгу у него тотчас мелькает мысль, что это уже второй правдивый ответ за ужин. А из двух правд одна часто оказывается лишней, особенно если они сыплются с такой частотой. Лучше б он отоврался, промолчал, хоть нахамил бы. И точно, капитан задумывается. — На борту есть врач, пожалуй, он мог бы осмотреть вашу жену. — В этом нет нужды, — умоляет отец. Но капитан уже бьёт в ладоши. — Доктор Паульсен! — кричит он. За столом, в самом углу, измождённый старик, в рубашке с заношенным воротничком, трещиной поперёк стекла на очках и двумя пока уцелевшими пуговицами на жилетке медленно оборачивается, отодвигая стул, встаёт, точно восстаёт из другой жизни, и выглядывает из-за непрозрачной завесы часов и дней. — Кто? — лепечет он. Капитан машет ему: идите сюда. Отец наклоняет голову. Сколько он ни увещевает себя, страх сковывает его снова, от него не увильнёшь, такой он борзый. Этого отец и боялся, и ждал всё время: узнавания. Но не так же жалко и позорно обставленного! Он мечтал о триумфе, чтоб у них глаза повылезли на лоб от изумления. Доктор Паульсен подходит к ним, шатаясь на качающемся полу. Останавливается. Капитан манит его ближе: — На борту женщина с грудным младенцем,

у неё морская болезнь. Что лучше предпринять в такой ситуации? — Нежданно доктора разбирает хохот. Абсолютно некстати прорезавшийся пьяненький смешок, который начинается хихиканьем непонятно над чем, а заканчивается всегда гоготом над самим собой. Арнольд Нильсен решается поднять глаза. — Вас смешит недуг моей жены? — Доктор закашливается и вытирает влажный рот рукавом. — Скажу вам, господа, что от морской болезни ещё никто не умер. Из человеческих невзгод она одна из самых крошечных. И проходит по мере того, как человек приспосабливается к движению корабля. — Арнольд Нильсен надувается заносчивостью. — А не стоит потыкать её шляпной иголкой в сердце, а? — спрашивает он. Доктор Паульсен выкатывает на него глаза, снимает очки, таращится, наконец возвращает очки на место. — Нет, тогда уж лучше сухари и полстакана вина. — Он кланяется и бредёт к своему месту. Победа осталась за моим отцом, Арнольдом Нильсеном, он по-прежнему не узнан. — Это был господин судовой врач? — спрашивает он. — Нет, — качает головой капитан и шепчет: — Доктор Паульсенсам смертельно болен. Его обследовали в Тронхейме, он безнадёжен, к несчастью. — И вдруг доктор Паульсен остано-

вился между столов, обернулся и ещё раз поглядел на Арнольда Нильсена, словно тоже различил сквозь треснувшее стекло мутный призрак, тень, расплетшийся узелок времени. — С вашей женой всё наладится, — говорит он. — Но малыша я на всякий случай, пожалуй, должен посмотреть. — Отец с грохотом ставит чашку: — Мальчик в порядке. Ему не нужен доктор! — Капитан обходит стол. — Лучше послушать доктора. Качка будет усиливаться. — Вместе они спускаются в каюту. При виде незнакомого мужчины мать садится в койке, она удивлена и разгневана. У отца в руках сухарики и полстакана вина. Он бросается к матери. — Это судовой врач, он посмотрит, не навредила ли качка Барнуму. — Мать проводит рукой по колтуну растрёпанных волос и закрывает плечи. — С ним всё в порядке, — шепчет она. Но доктор Паульсен уже нагнулся над моей коляской. Откинул в сторону плед. Он надавливает пальцем мне на живот, затем убирает руку и долго молча стоит так, глядя на меня. Мать начинает тревожиться. Отец открывает рот. И тут доктор Паульсен разражается рыданиями. Он стоит, наклонившись над детской коляской, и трясётся от плача. Отец берёт старика за плечо и уводит в коридор, а когда возвращается, мать сидит ни

жива ни мертва и прижимает меня к себе. — Почему он плакал? — шепчет она. — Доктор пьян. И очень извиняется, — объясняет отец. — Ты его знаешь? — допытывается мать. Отец обмакивает сухарь в вино и протягивает ей. — Нет, — отвечает он. Мать принимается сосать хлеб и сосёт до тех пор, пока её снова не рвёт. Отец обнимает её. — Когда я был мальчишкой, мне в море выворачивало все кишки каждый божий день. А потом кишки приноровились, хотя ощущение своей неполноценности осталось навек. — Отец смахивает с глаза слезу. — Ещё доктор сказал, что редко увидишь такого ладного младенца. — Мать молчит. Волны катят в иллюминатор. Мы на один ночной переход приблизились к северу, ночь развиднелась, пропустила свет. Мы забываемся полусном. — Полярный круг — это мысленная граница, — шепчет отец. — Ты почувствовала, как мы его пересекли? — Но мать не чувствует ничего, кроме великой усталости, она в отрешении, в ступоре, кровь отлила от мыслительного аппарата, а я, я ещё не дорос до таких масштабов, я вне сетки координат, сам себе куцая линеечка, пока безымянная, плывущая на собственные крестины. Когда пароход швартуется в Будё, отец поднимается на палубу. На причале сходит

доктор Паульсен, поникший, трясущийся. Он вскидывает руку. Потом в последний раз поворачивается и растворяется и свете, подпирающем город.

Раннее утро, солнце. Вестфьорд переливается, дышит, он — широкая неторопливая волна, гоняющая сама себя. По другую сторону в голубом тумане торчат горы, и кажется, что земля ушла из-под них и они парят между небом и водой. Однажды он уже видел всё это, когда плыл в другую сторону. Он крепится из последних сил. Но того гляди расклеится, сломается. Поворачивать поздно. Наступившее было облегчение сменилось апатией, похожей на своего рода опьянение. Капитан окликает его с мостика: — Как супруга и малыш? — Приноравливаются! — кричит отец. Рассмеявшись, капитан уходит к себе в рубку. Стена Лофотенских скал надвигается. Чайки висят над пароходом крикливой тучей. В Сволваре отец убегает на берег. Час проходит, его нет. Пароходный колокол отбивает третий удар. Нервничает капитан. На пристани толпится народ, недоумевая, почему задерживают отправление. Двоих шустрых мальчишек отряжают на поиски Арнольда Нильсена, коротышки с чёрными блестящими волосами, волной падающими на

лоб, в светлом пальто и перчатках. Тщетно: его нет ни в одном питейном заведении, ни в отеле, ни в рыболовной лавке. Прошло уже лишних полчаса. Капитан распоряжается убрать трап и отдать концы. Он в бешенстве сыплет проклятиями. Что ему теперь, нянькаться до конца рейса с брошенной, лежащей пластом бабой и её сосунком или ссадить их на берег, пока не поздно? Он мечет громы и молнии, но тут в толпе на пристани возникает шевеление. Народ расступается, освобождая проход. Голоса делаются тише. Крики смокают. Картузы и шляпы снимаются. Это наконец-то появился Арнольд Нильсен. И не один. Он ведёт с собой старого пастора. Тот давно не выглядит как раздутый штормом чёрный парус, а напоминает маленький освещённый солнцем флажок и едва поспевает за Арнольдом Нильсеном, который останавливается и берёт пастора на буксир. Стремительно спускается трап, капитан лично препровождает пастора на борт и усаживает на ближайший к трапу стул. Потом он улыбается Арнольду Нильсену: — Ваша жена настолько плоха? — В ответ Арнольд Нильсен посмеивается и подпускает туману: — Раз со мной церковь, то нужен и пастор. — Потом он спускается в каюту за матерью, которая выносит

меня на воздух. — Познакомься, — представляет отец, — с моим старинным другом. Он самый лучший пастор этого края и этой страны! — Мать в смущении разглядывает тщедушного старика, который встаёт со стула, медленно выпрастывает руку и касается её. Клянусь, прикосновение шарахнуло меня, как током, причём удар отдался матери, и она, покрепче прижимая меня к груди, опускается в реверансе перед этим старцем, почти безголосым, но с ясными работящими глазами и крестом на шее. — Я слишком много пел, — сипит он. — Пытался заглушить шторм. — И сумели? — спрашивает мать. — Нет, — отвечает пастор. И тетива, растянутая между смехом и плачем, складывается в улыбку на губах старика, когда он говорит: — Радостно будет крестить вашего малыша.

Они остаются стоять на палубе парохода, идущего мимо отвесной стены скал. Мать распрямила плечи, она полна сил, а я сплю, вымотанный ветром и наэлектризованный прикосновением пастора. Мать не дрогнула, даже когда пароход вспарывал крутые волны Москена. Приноровилась, одно слово. Зато ей на смену раскис отец. Он видит маяк. И Нюкене. Он обучает мать названиям всех-всех птиц, лишь бы отвлечься от

сиюминутного страха. Он видит белые холмы, похожие на помёт бакланов. Они всё ближе. Арнольд не был дома восемнадцать лет. Он не знает, что ждёт его там. Зато на Рёсте его ждут не дождутся. Когда пароход швартуется к берегу плоского островка, состругáнного штормами и солёной водой заподлицо с краем моря, на тесной пристани яблоку упасть негде. Слухи доплыли быстрее корабля. Их принесли волны. И ветер отбил телеграммы. Арнольд Нильсен притягивает к себе мою мать. — Чем это воняет? — спрашивает она. Отец с радостью ухватывается за вопрос, он выгадывает время, чтобы совладать с собой, чтоб всё узнать. — Пресносушеной рыбой, моя милая, — отвечает он. — Аромат сетей. — Куда мать ни бросала взор, везде торчали сушилы, увешенные рыбой, это напоминало странный сад, где на больных ветках усыхают неведомые фрукты. Мать говорила потом, что этот запах въелся в неё навсегда, в волосы, кожу, одежду, забился под ногти, она увезла его с собой с Рёста, и он то вдруг доводил её до рвоты, то пробуждал фантазии, неслыханные и необузданные. Но пока встречающие начинают терять терпение: Арнольд Нильсен будет сходить на берег, или что? Неужели он прикатил, чтобы развернуться

и уехать, оставив их в дураках? И вдруг кто-то как закричит: — Колесо вернулся! Колесо вернулся домой! — Поднимается гвалт. Колесо кличут на все лады. Они уже видят, что вверх он так и не дёрнул, но вширь своё взял. Арнольд Нильсен зажмуривается, сглатывает, сглатывает колючий свет, ядрёный ветер, берёт мать за руку, и они сходят по трапу. Я просыпаюсь. Чую тот же запах, навсегда отбивший у меня способность проглотить хоть кусочек рыбы. И реву. Мать успокаивает меня. Отец здоровается со всеми, кому-то жмёт руки, лица сливаются, их не меньше занимает и городская дамочка, они во все глаза таращатся на молоденькую городскую фру в тонких ботиночках и с плачущим малышом. Отец замирает, озираясь. — Аврора и Эверт, — шепчет отец. — Где Аврора с Эвертом? — Но ответить ему никому недосуг: на берег спускают огромную коробищу, и выясняется, что Арнольд Нильсен привёз с собой не только жену и младенца, но ещё и ящик размером с рыбацкий сарай. — А ты его не откроешь? — спрашивают самые любопытные, коих большинство. Арнольд Нильсен смеётся. — Ещё не Рождество, — отшучивается он и тянет мать за собой, к дому, он хочет домой, он откладывал это восемнадцать лет, а теперь

спешит повидаться с родителями, Эвертом и Авророй, чтоб уже покончить с этим. Но дорогу ему заступает улыбающийся старик, его Арнольд знает, это сосед по прозвищу Кручина, неизменный вестник всех крушений, болезней, гибели овец, задержки почты и ураганов. Не постарел ничуть, думает Арнольд, он всегда был таким же старым. — Так ты не знал? — спрашивает Кручина и снимает шляпу. Арнольд Нильсен догадывается, что скажет сейчас Кручина, но качает головой: пока он этого не знает. — И Аврора, и Эверт оба умерли.

И приходится моему отцу, полсыну Нильсенов, возвращаться в отчий дом через кладбище. Он идёт между матерью и старым пастором, толкая перед собой коляску со мной, по натоптанной тропинке через весь остров, мимо вышки. За нами, с Кручиной в первых рядах, тянутся все, кто не хочет выпустить Арнольда Нильсена из поля зрения. Служка выбегает из часовни и показывает нужную могилу, если так можно назвать покосившийся, крашенный белой краской крест, воткнутый в неподатливую землю среди сорняков у каменной ограды. На доске выведены два имени: *Аврора и Эверт Нильсены.* Отец опускается на колени, снимает перчатки и скла-

дывает руки. Старый пастор преклоняет колени, и даже он, повидавший за годы служения почти всё, содрогается при взгляде на развороченную руку Арнольда. — Смерть и крестины, — шепчет пастор. — Ты приехал на горе и на радость. — Отец не слышит. Он смотрит на два имени, написанные одной рукой. Потом поднимается, спрашивает: — Они умерли вместе? — Кручина тут как тут. — Аврора отошла в конце зимы сорок шестого, — говорит он. — А Эверт догнал её на Троицу. Земля как раз оттаяла, чтоб принять их обоих. — Арнольд Нильсен кивает. — Мы следуем за теми, кого любим, — говорит он и заливается слезами. Кручина опустил глаза, он рассматривает в отдельности каждый палец, которого недостаёт на Арнольдовой руке. — Никто не мог найти тебя, чтобы сообщить, — говорит он. Арнольд уже повернулся к служке. Его он узнал тоже, это один из тех мальчишек, с которыми они косили траву в тот день, когда коса оказалась непомерно высокой, а обрыв слишком крутым, мальчишка ещё потешался над ним громче всех. — Я хочу поставить своим родителям достойный памятник, — говорит он громко, чтоб все услышали, и натягивает перчатку с деревянными пальцами. — Мне нужен сарко-

фаг размером не меньше, чем самые большие плиты на погосте. Я хочу, чтоб его наполнили речным песком, а их имена выбили в мраморе! — Служка кивает. И все кивают. Так и должно быть. Колесо хочет отдать родителям сыновний долг. Порыв ветра проносится средь могил. Он выдирает цветы, и они ложатся на надгробия колышущимися букетами. — Такой мавзолей, он дорогонько встанет, — замечает служка. — Да хоть сколько! — кричит отец. — Счёт перешлёте Арнольду Нильсену, в Осло! — Народ начинает мало-помалу расходиться с кладбища, но нехотя, ноги не несут их, покуда они не выяснят, где собрался квартировать Арнольд Нильсен: заночует ли он за ради отпущения грехов вместе со старым пастором в Доме рыбака или всё-таки в этом загадочном коробе, стоящем на пристани, у него там что, вагон на колёсах с занавесками на окнах? Проникнувшись моментом, даже Кручина в первый и последний раз изменяет своей привычке говорить гадости. — Вы можете остановиться у меня! — говорит он во всю мощь своего голоса. Остальные тоже не желают отставать. Колесо с семьёй может пожить у каждого из них! Арнольд Нильсен берёт мать за руку, он тронут, он удручён и растроган одновременно. — Нет,

дорогие мои! Мы остановимся у себя! — говорит он и оказывается в круге тишины, люди стоят, глядя под ноги, они качают головами, а потом медленно разбредаются восвояси.

Это суббота. Вечереет, но вечером светло как днём и страшно ветрено. Утром меня в новой церкви окрестит Старый пастор. Меня нарекут именем Барнум. Отец ведёт нас назад, дорогой, хоженой-перехоженой столько раз, что он не сбился бы с пути и с закрытыми глазами, единственно появились телеграфные столбы, в которые можно ткнуться ненароком, если идти только на запах вывяленной, усохшей до хребта рыбы, которую снимут с сушил и отошлют на юг прежде, чем затрещат костры Иванова дня, но вонь никуда не денется и потом, как не проходит боль в его оторванных пальцах. Рядом с рыбхозяйством они сворачивают на тропку вдоль низкого берега. У Арнольда Нильсена стискивает сердце. Здесь давно никто не ходил. Они оставляют коляску у покосившейся калитки, и мать несёт меня дальше на руках. На правом ботинке отлетел каблук, она не подаёт виду. Негде спрятаться от ветра. Отец тащит за собой чемодан. — Почему не могут сделать чемоданы на колёсиках? — бурчит он. Мать не слышит. У неё в ушах ветер и крики

неуёмных птиц, они падают с неба и пишут круги так близко над ними, что углы крыльев чиркают её по лицу. Она ступает в ямку и оставляет там второй каблук. У неё два желания: убежать и расплакаться, но она не делает ни того, ни другого. Куда бежать-то на этом острове Рёст? Нет, ей дорога с Арнольдом Нильсеном домой к нему. А он остановился. Поодаль на низком валуне притулился домишко. Вернее, развалины, чтоб не сказать — воспоминание о бывшем доме. Они подходят ближе. Трава разрослась буйно и привольно. Окна разбиты. Дверь хлопает на ветру. Какая-то челюсть на крыльце. Арнольд Нильсен ставит чемодан, мнётся. Потом догадывается: собака. Жаба. Они входят внутрь. Матери приходится пригнуться. Она озирается. На печи стоит кофейник. Часы свалились. Арнольд поднимает их и снова вешает на тот крюк, что его отец вбил в одно из брёвен, которые они вылавливали из прибоя. Стрелки отлепляются и повисают остриём к цифре «шесть», под которой за тусклым стеклом валяется муха. Отец поднимает стул. Подбирает какие-то черепки и не знает, куда их девать. — Но ночевать мы здесь не будем? — шепчет мать. — Всё устроится, — отвечает отец. — Всё будет хорошо. — С этими словами он выходит

во двор, отыскивает за домом косу, наводит её и принимается резать траву. Мать стоит в дверях со мной на руках и наблюдает за этим мужчиной, Арнольдом Нильсеном, который в чёрном костюме и кожаных перчатках косит траву, косит как одержимый, точно это вопрос жизни и смерти, хотя с длинной косой управляться ему по-прежнему несподручно, но он не сдаётся, и мать не встревает, пусть он и поганит свой завтрашний крестинный костюм, и она думает, наверно, что его не узнать и что вообще она его не знает, но этот вечер она проживает вчуже, не он. Арнольд Нильсен знай себе вжикает по траве ржавой косой, он запыхался, он то смеётся, то плачет, но вот весь пятачок выкошен, острижен, и отец притаскивает из тайника сухие обрывки сетей, увязывает жухлую траву, и зелёное солнце превращается в жёлтое.

Ночь наступает раньше, чем он возвращается. С ведром дождевой, но всё равно солёной воды. Здесь даже дождь солёный. И ветер. Я сплю на жёсткой скамейке. Совесть у меня всё-таки есть. Они ложатся в родительскую кровать. Еле помещаются. Мать не спит. Она показывает на странную дверь, удивившую её: широкая дверь на внешней стороне тамбура, у крыльца. — Для

чего она? — спрашивает мать. — Это покойницкая дверь, Вера, — улыбается отец. — Чтоб уважить покойника и вынести гроб без суеты, не крутить туда-сюда. — Некоторое время они молчат. Наверно, прислушиваются, сплю ли я. — Я б хотела познакомиться с ними, с Эвертом и Авророй, — шепчет мать. Отец находит её руку. — Вот они б удивились, что я заполучил тебя! — Мать тоже улыбается и говорит: — Я б им ответила, что просто ты заставил меня смеяться. — Вдруг у отца пресекается дыхание, он до боли стискивает её руку своими самоструганными пальцами, она вскрикивает, но он не замечает. Он стонет. — Я должен что-то сказать тебе, Вера! — Отец выкрикивает это и тут же ослабляет хватку. Но дальше не продолжает. — Скажи, Арнольд. Что? — Мать ждёт. Отец молчит. Цену себе набивает, думает мать. Она, хихи-хаха, оборачивается к нему и видит, что Арнольд лежит рядом, откинувшись навзничь, как в судороге, по лицу течёт пот, чёрными полосами от волос, на губах что-то белое, пена, а глаза как коричневые стекляшки с разбитым донцем. Мать вскрикивает: — Арнольд, что с тобой! — И тогда он будто приходит в себя, начинает дышать, отряхивает мрак и снова видит, видит мать в глубоком потрясении. — Ни-

чего, — шепчет он. — Ничего. — Отец не может знать в тот момент, на сколько он выпадал из жизни, может, и всего-то на секунду. Он встаёт, ему надо на воздух, побыть одному. Он садится на крыльце, поднимает серую, гладкую собачью челюсть, обнюхивает её, швыряет. Спустя мгновение встаёт и мать. Подходит к нему со спины. Он ждёт. Может статься, он говорил во сне и оговорил себя, выложил всё. В своём ожидании он не забывает, что, возможно, его песенка уже спета. — Так что ты хотел мне сказать? — наконец заговаривает мать. Отец вздыхает. Обычный вздох облегчения, и всё. — Тебе нужно отдохнуть к завтрашнему дню, — шепчет отец. Она закрывает лицо ладонями. Кругом всё, включая море, блестит и сияет. — Какой сон в белые ночи! — отвечает она. — Вера, надо просто зажмуриться. — Она не отрывает ладоней от глаз: — Не помогает. Свет слишком резкий. — Но всё же уходит в дом: наверно, я завозился. Арнольд Нильсен остаётся сидеть. Он смотрит на ветер. Ветер всегда разный. Он как широкая река, протекающая через его Вселенную. Их лодка валяется у сарая, волглая, опрокинутая набок, прямо дохлый смердящий зверь. Дрожь не утихла, эхом торкается в теле. Пройдёт. В доме должен быть

спирт, от Рождества не могло не остаться ну хоть капли. Арнольд Нильсен встаёт. Прямо перед ним покойницкая дверь. Нет, нет, думает он, в этот раз таким путём входить не будем. Он обходит дом и забирается на кухню. Открывает шкаф, где вперемешку свалены тарелки, приборы, чашки и инструменты, Эверту не давался порядок, когда Аврора отошла первая. Всё покрыто пылью и солью, вытравляющей все цвета и стесывающей остров, чтобы однажды море затопило его. Нежданно Арнольд Нильсен натыкается на то, чего не искал. В нижнем ящике под скатертью, рядом с запиской, которую он в своё время написал матери на бумажке, вырванной из книги для ведения расходов, лежит открытка. Он берёт её в руки. Это расписанное вручную изображение Патурсона, самого высокого человека в мире. На обратной стороне великан в 1945 году написал слова привета своему другу, Арнольду Нильсену. Он сообщает, что Шоколадная Девочка умерла. У Арнольда снова темнеет в глазах. Открытка, отправленная из Акюрейри в Исландии, обошла множество адресов, и в Норвегии, и за границей, пока наконец не обрела пристанища здесь, на Рёсте, у его родителей. Арнольд Нильсен прячет её в старый коричневый чемодан и ничего, кроме

неё, не забирает с собой с острова Рёст, когда мы покидаем его.

Наступило утро. Незаметно. Сутки не делятся никак. Время течёт без задорин. Мать всё-таки заснула, он оставляет её спать, со мной под боком. Выходит наружу. Он видит, что со всех окрестных островов идут к Рёсту лодки, огромная армада, даже жители и работники из Скумвара спешат в это воскресенье сюда. Арнольд Нильсен улыбается. Он снова в седле. Руки не дрожат. Никто не в силах усидеть дома, когда Колесо и его городская фря будут крестить своего мальца в новой церкви. Лодки идут против ветра. Волны лижут маяк белыми языками и перехлестывают через мол. Арнольд Нильсен гогочет. Ветер как раз кстати, да ещё такой. Он умывается солёной дождевой водой, бреется и будит поцелуем нас с матерью. — В нашей церкви жёсткие скамьи, — говорит он. — Захвати подушку.

Сесть в церкви уже негде. Народ стоит вдоль стен, все наглаженные, при параде, снедаемые любопытством, даже псалтырей в это воскресенье не хватает на всех, а когда надо петь *Бог есть Бог,* они выпаливают псалом скороговоркой, органист пытается поспеть за ними, но отстаёт на втором куплете, а им надо поскорее покончить с

пением и перейти к главному, то есть выяснить, как Колесо собрался назвать сына, наверняка с закавыкой, раз он после стольких лет цирка, молчания и заграниц вернулся, чтобы отставной пастор здесь окрестил его мальчишку. Будь их воля, они бы отменили и проповедь с миропомазаньем, и общую молитву, чтоб поскорее увидеть уже, что скрыто в огромной коробке, всё ещё в полной таинственности загромождающей пристань. Наконец мать выносит меня к алтарю, отец поспешает следом, больше крещаемых нет. На задних скамьях встают, чтобы лучше видеть. Падает псалтырь. Служка наливает в купель воду. Шум стихает. Старый пастор, в облачении и с белым воротником, вновь стал похож на чёрный парус, только не раздутый ветром, а туго обмотанный вокруг мачты. И также шелестит его голос, когда он обмакивает пальцы в солёную, понятно, воду, кропит мне голову и читает моё отныне законное имя так тихонько, что даже мать не слышит. Приход начинает нервничать. Шептаться. Лощить подмётками пол. Наконец, как мне рассказывали, когда Старый пастор промокнул мне голову тугим полотенцем, кто-то (это был Кручина) крикнул: — Так как, чёрт возьми, парня назвали? — Арнольд Нильсен оборачива-

ется к ним, к этим знакомым лицам, — мужикам, зачесавшим волосы с незагорелых лбов назад, бабам с прямыми спинами и робкими улыбками, круглым глазам ребятни, к воскресным лицам, знакомым ему по каждому выходу на манеж, — и понимает, что если их он не сможет полюбить, то и других тем более, особенно же — себя самого. Арнольд Нильсен вскидывает руки. — Имя мальчика — Барнум! — кричит он. — А теперь я приглашаю всех отпраздновать это! — Я записан. Взят в расчёт. Под бой часов на церкви Рёста начинается моя жизнь под именем Барнум, а праздник продолжается на первом этаже Дома рыбака. На могилу родителей Арнольд Нильсен заказал саркофаг. Теперь он не менее расточительно привечает живых, выставляя всё, что положено, и ещё бутерброды, а островитянам не надо повторять приглашение дважды. В медицинском отчёте за этот, 1950-й, год, составленном районным врачом Эмилем Му, говорится, что в смысле трезвости дела на Рёсте обстоят благополучно, так как денег покупать горячительное ни у кого нет, за единственным исключением одного июньского воскресенья, когда крестины превратились в затяжную гулянку, по счастью не приведшую к более тяжёлым неприятностям,

чем вывих руки, ссадины и две сломанные вставные челюсти, хотя всю следующую неделю в ходе многочисленных повторных обращений к сестре за остатками апельсинового сока из американской гумпомощи явно выявлялись следы злоупотребления алкоголем. Женщины теснятся вокруг Веры, самые младшие просят подержать меня и получают разрешение, а отец стоит в кругу мужчин, они расстегнули тугие воротнички, натирающие в такую жару шею, и провожают глазами все вносимые бутылки, а Кручина торчит посерёдке между бабами и мужиками, чтоб слышать всё, что говорится и там, и там, и ничего не упустить. Стаканы налиты, мужчины выпили. — Ты хорошо устроился, Арнольд Нильсен, — говорит смотритель маяка. Отец опускает глаза с деланой скромностью: — Не могу пожаловаться, — шепчет он и снова наполняет стаканы, ибо, пустые, они выглядят несерьёзно в здоровенных кулачищах островитян. — Но что ты делаешь? — спрашивает церковный служка. Арнольд улыбается: — Я переделал столько всего, что и половины назвать времени не хватит. — К вину у мужчин никаких претензий нет, но ответом они совершенно недовольны. — Времени у нас полно, — разъясняет браковщик. С каждой

минутой Арнольд Нильсен узнаёт их ещё лучше, вспоминает по тому покосу, по школе, выуживает из памяти их имена, смех. — Скоро вы увидите кое-что из того, что я сделал, — отвечает он мягко. На том мужики и унимаются, в надежде вскоре увидеть, что же в этом ящике на пристани. Они чокаются. Арнольд с неприязнью замечает, что Кручина подбирается всё ближе к женскому кружку. — Тебе и пить уже нельзя? — окликает он любопытного старика, тот шустрит на зов, и Арнольд определяет его на свободное место рядом с собой. — Если ты будешь так дрожать, я смогу налить лишь половину, — говорит он. Кручина ухмыляется: — Дак у тебя с детства рука нетверда. Смотрю, пальцев ещё порастерял. — Кручина опрокидывает стакан и протягивает его снова. Арнольд Нильсен отставляет бутылку. — Ни к чему напоминать мне о былых катастрофах в такой день, как этот, — тихо говорит он. Кручина ждёт с пустым стаканом. — Как мне помнится, первый палец ты потерял без всякой катастрофы, — говорит он. — Остальных я лишился в войну, — шепчет Арнольд Нильсен и до краёв наполняет стакан Кручины, чтоб только он замолчал. Но нет, вино совсем развязывает ему язык. — Да, по крайней мере, для нашей братии

война таки обернулась катастрофой, — вздыхает он. — А чего ты не привёз своего второго парня? — Арнольд Нильсен закрывает глаза. Тут все знают в основном всё. Он прислушивается к ветру. Пугается: неужто стихает? Нет, вон как полощет флаги, ветра не занимать, он им покажет. Он дружески обнимает Кручину за плечи: — Первый — сын моей жены. И за ним отлично присматривает моя дражайшая тёща. — Так твоя жена уже ходила замуж? — уточняет Кручина. Арнольд Нильсен качает головой: — Должен тебе сказать, сосед, что тёща моя, она не так просто тёща. Она командует главным телеграфом в Осло, и только благодаря ей вы можете чесать языками по телефону. — Он хохочет над собственными словами, а мужики уже поснимали пиджаки и потянулись в сторону женской компании. Вера встаёт и укладывает меня в коляску. Я измучен девчонками, которым непременно надо сунуть руку в мои локоны, уже тогда кудрявившиеся от уха до уха, как скромный нимб. — Я думал, дамы из благородных в городе не работают, — настырничает Кручина. Арнольду Нильсену даже жалко его. — Век живи, век учись, соседушка, — говорит он. Но Кручина не думает сдаваться. От вина у его любопытства открылось второе дыхание, а в

голове ожила энциклопедия сплетен. — Наверно, и тесть твой большая шишка? — спрашивает он. Вера поворачивается к ним, и Арнольд Нильсен не успевает упредить её. Она со своей честностью опережает его. — Отца у меня нет, — громко, во всеуслышанье говорит Вера. Сколько-то секунд висит тишина. Стаканы снова пусты. Арнольд Нильсен наполняет их и разбивает тишину. — Я в доме — единственный мужчина, — смеётся он. Кручина скрючивается над стаканом: — Пустили козла в огород! — Видно, у отца потемнело в глазах. И он сжатым кулаком саданул Кручину в висок, раздался треск, но раскрошилась не бедная голова докучного старика, а деревянные пальцы Арнольда Нильсена, они разломились внутри, в перчатке, и прежде, чем Кручина упал на пол, отец успел подхватить его, точно и не было никакого удара, точно рука отвела удар обратно, и женщины даже не успели закричать. — А Верина бабушка была знаменитой актрисой, родом из Дании, — продолжает Арнольд Нильсен, посильнее натягивая перчатку. — Но вы-то, наверно, её не знаете. — Никто не отвечает, все потрясены и молчат. Арнольд Нильсен протяжно вздыхает. — Так я и думал. Во времена немого кино она была звездой вселенского масштаба, неподражаемая

на экране, её лицо говорило на всех языках! — Он щедро наливает Кручине, кладёт руку ему на плечо и обводит всех взглядом. — Она была замужем за знаменитым датским первооткрывателем и спасателем Вильхельмом Эбсеном. Ну его-то вы знаете? — Мужики переглядываются и на всякий случай кивают. Но потом служка всё же прочищает горло и спрашивает: — А открыл он чего? — Арнольд Нильсен отстраняется от Кручины. — Не стану утверждать, что он прямо открыл Гренландию. Но его отправили туда, во льды, на выручку Андре. Обратно из белого безмолвия он не вернулся, погиб там, надо полагать. — Арнольд Нильсен обнимает маму и долго целует её. А потом выходит наружу, садится отдохнуть у флагштока и возится там со своими пальцами, приводит их в порядок. Старый пастор, на которого немедленно тоже нападает неодолимая охота подышать воздухом, пристраивается рядом. — Возвращаться всегда нелегко, — говорит он. — Нелегко, — откликается Арнольд. — Или ты приезжаешь слишком рано. Или слишком поздно. — Старый пастор кивает. — Лучше так, чем никак, — шепчет он. Они замолкают. В Доме рыбака гудит праздник. Доносится музыка и топот. Две женщины несут пироги, каждая свой.

За ними увязывается малышня и клянчит кусок на всех. Вдруг все флаги опадают. Но вскоре ветер снова раздувает их. — Вы добрый человек, — говорит Арнольд Нильсен. — Вы были добры и ко мне, и к остальным. — Я не хуже других и не лучше, — мямлит Старый пастор. — Я считаю, что вы лучше многих. Вы купили открытку у Патурсона и не удерживали меня, когда я захотел сбежать отсюда. И вы окрестили моего сына. — Пастор опускает глаза. — Хорошие поступки не всегда кончаются добром, — бормочет он. Арнольду Нильсену некогда подумать над сказанным. Он выпаливает: — Я хочу попросить вас о новом одолжении. — Старый пастор кивает выжидающе. Арнольд Нильсен закрывает глаза. — Отпустите мне грехи, пастор, — шепчет он. — Какие? — Арнольд Нильсен молча отворачивается. Старый пастор вздыхает и спрашивает: — Тебя гнетёт, что ты покинул родителей? — Арнольд Нильсен качает головой. — Отпустите мне всё, в чём я виноват. — Старый пастор подвигается ближе: — Я обязан знать, какие прегрешения Богу предстоит простить тебе. Он очень скрупулёзен в таких вещах. — Такой оборот разговора повергает Арнольда в возмущение, чуть не в ярость. Он кричит: — Ответьте мне тогда, Бог

прощает всё? — Старый пастор берёт Арнольда за руку и вздрагивает, почувствовав, как болтаются обломки пальцев. — Да, — шепчет он. — Бог прощает всё. — Арнольд Нильсен отнимает руку. — Спасибо. Это я и хотел знать. — Тут на лестнице появляется Вера с коляской и смотрит на них. За ней маячит насупленный Кручина. Арнольд машет им: иду. Но Старый пастор задерживает его: — Помни, Богу любо, когда мы для начала просим прощения у людей! — шепчет он. Отец подходит к заждавшейся матери. От ветра, спирта, моего имени и всего, что сказал Старый пастор, он стоит перед ней как пьяный. — Что стряслось? — спрашивает мать и проводит рукой по его рубашке. Отец мнётся, её пальцы гладят рубашку, он чувствует их, он колеблется, набирает воздуха — и отворачивается к Кручине: — Прости, что я ударил тебя, — говорит он. — Не знаю, чего рука потянулась. — Кручина косится в сторону и трёт лоб. — Хорошо, у тебя пальцы деревянные, — бурчит он. — А то повесил бы грех на душу. — Нильсен засмеивает последние слова. — Давай сюда самых крепких мужиков! — распоряжается он. — Мою коробку надо переправить на остров Веддёй! — Кручина мгновенно забывает, что избит почти до смерти,

бегом кидается к мужикам, расторопно вербует заказанную команду, и вот все уже сгрудились на причале и наблюдают, как таинственный короб перегружают на почтовое судно и везут через пролив к отвесной зелёной горе, выставившей хребет из прибоя. Всё население острова устремляется следом, такого оживлённого движения в проливе не было с пятнадцатого года, с того знаменитого зимнего лова. Но Арнольд Нильсен нервничает, стоя на носу. Ветер слабеет. Мельчает. Можно раскурить сигарету, и спичка не погаснет. Наконец они пристают к берегу, и пятеро здоровяков прут короб на самый верх, и когда они наконец доставляют его туда, солнце лежит у самого горизонта в патине облаков и света. Трава мягкая и тяжёлая. Птицы взмывают со скал с белым криком. Женщины со Старым пастором остаются стоять внизу, в отливе и с тревогой следят за своими не твёрдыми на ноги мужчинами. Но меня мать поднимает на вершину, она карабкается на самую верхотуру со мной на руках, и даже Кручина другими глазами смотрит сейчас на эту горожанку, избалованную тротуарами да перилами, а Арнольд Нильсен гордится ею, и в этой редкостной гордости такое любование, хоть плачь от счастья, но нет, вместо плача он залива-

ется громким хохотом. Ветер снова на его стороне. Просто он играет с ним в кошки-мышки, дразнит того, кто однажды на этом самом месте поклялся стать продавцом этого самого ветра, который дует сейчас прямо в лицо. Восхождение окончено. Мужчины чокаются. Час настал. Арнольд Нильсен подходит к ящику, он наслаждается этими секундами, он смотрит вниз, на женщин, они машут ему, всё те же женщины за вычетом Авроры, и тёмное межвременье словно тонет в мягкости и примирительности момента, вслед за которым Арнольд Нильсен отваливает одну стенку и являет взору островитян конструкцию, подобную которой никто не видывал сроду. Это нечто вроде лесов с крыльями или пугала с колесом лопастей наверху. Мужчины подходят ближе. Они молчат. Дивятся. К ним поворачивается Арнольд Нильсен. Никто по-прежнему не издаёт ни звука. Поодаль, в траве, сидит мать, и думать позабыв о том, что портит платье. Она тоже молчит и качает меня на руках, я не сплю, я одурел, всё это слишком велико для моих глаз, но я часто задаюсь вопросом, не могло ли это видение отца, стоящего на кромке зелёного плато подле загадочного уродца, отпечататься тенью на радужке воспоминаний, иначе почему отца я неизменно

представляю себе застывшим на вершине Веддёй в предвкушении победы, которую он так и не сорвал? В дело вступает Кручина: — А чего это за голубятня? — Отец обводит всех взглядом, одного за одним. — Это ветряк, — сообщает он. И снова мучительно вглядывается в горизонт и солнце, вбившее в воду столб, но это не обман зрения и не белая горячка: воздух не колышется. На море ни морщинки. Даже птицы недоумевают. Впервые на людской памяти на Рёсте безветренно. Арнольд Нильсен ждёт, что ветер вот-вот переменится. А он и не думает. Крылья ветряка стоят как влитые. Заскучав, спускаются вниз мужики. Только мать остаётся с отцом, она да я. Она сидит, притулившись к отцу, над обрывом на острове Веддёй рядом с замершей ветряной мельницей. Они видят, как отходят лодки: мужики в пустом свете ночи развозят по домам своих баб. А двое на юру сидят не разговаривая. Ждут ветра. Он не поднимается. Мать кладёт голову на плечо Арнольда Нильсена, и я тешу себя мыслью, что она счастлива в этот миг, она в другом мире, а я у неё на руках пускаю пузыри и мечтаю.

(имя молчания)

Я расскажу про один незабываемый день. Я проснулся от плача прабабушки Пра. Сначала я ещё полежал, вслушиваясь. Она плакала тихо, медленно, и более всего меня напугало, что плакала она на моей памяти впервые. Выждав, я вылез из кровати. Собрал ранец (я уже дорос до школы). Теперь заплакала и мама. Я слышал, как они плачут вдвоём в гостиной, утешая друг дружку. Почти новенький ранец был битком набит расписаниями, которые я набрал в книжных на Бугстадвейен. По-хорошему мне нужен был один такой бланк, но мне нравилось, когда их уйма. Тогда можно было выдумывать собственное расписание и вписывать первым урок сновидения, чтоб подольше поспать. Может, Фред что-то натворил и заставил их плакать? Я пошёл в ванную. Он торчал там перед зеркалом, причёсывался. Покосился на мой ранец и спросил: — В школу собрался? — Я кивнул и уточнил: — А ты нет? — Пряча расчёску в задний карман, Фред бросил: — Что мне там делать, когда король умер? — А король умер? — Фред вздохнул: — Скончался сегодня в пять часов пять минут утра. — Я улыбнулся. Я чуть не рассмеялся от облегчения, что

причина слёз всего-навсего смерть короля. Хотел было побежать к ним, но Фред перехватил меня: — Барнум, сегодня смеяться и лыбиться не в кайф, усёк? — Напутствованный таким образом, я одолевал долгий путь от ванной в гостиную с думой о том, как зло с моей стороны было смеяться над смертью короля и какой я, выходит, паршивый человек, я еле переставлял ноги, чтоб улыбка успела стереться с лица, но она, как нарочно, приросла к губам, и пришлось мне пугать себя страшными фантазиями о другом: что умер как раз отец — не вписался в поворот или погиб под поездом, раздавленный восемью колёсами, и мне предстоит сейчас рассказать пребывающей в неведении матери о том, что отец мёртв, но что перед смертью он ещё успел прошептать её имя и половину моего. В гостиную я вошёл, глотая слёзы. Пра сидела на диване подле матери и рыдала в носовой платок. Болетта стояла у балкона, в чёрном платье, с побледневшим лицом. Пила кофе, сжав чашку руками. На столе лежала газета — «Афтенпостен» — с единственным заголовком *КОРОЛЬ УМЕР.* Выговорить я не сумел ничего. По щекам потекло. Мать встала, всё же улыбнулась и обняла меня за плечи: — Ну, ну, мой мальчик, ну, ну. — Я уткнулся головой ей в живот, так и

плакал. — Ты можешь не идти сегодня в школу, — сказала она. — Когда умирает король, все дела отменяются. — Моя работа — нет, — донёсся до меня голос Болетты. Тут заговорила Пра. — Подойди, — прошептала она. Мать отпустила меня, и я подошёл к дивану. Старуха вытерла мне слёзы своим платком, от него шёл сладкий запах, как будто его сбрызнули сахаром, наверно, искренние слёзы и должны быть такими, похожими на сироп, а не кислыми и тяжкими, как мои. У неё на коленях лежал портрет короля Хокона, я знал его как свои пять пальцев, столько раз прабабушка Пра показывала нам эту фотографию монарха, который в открытом лимузине «А-1» въезжает в Осло и ровно в семнадцать минут второго проезжает под сенью флагов парфюмерный магазин, «Лотос» на Торггатен, где в толпе слева можно заметить нашу Пра, она восторженно машет своему королю. Теперь фотография закапана тёмными пятнами, они медленно испаряются вместе с радостью. — Теперь ты мой маленький король, — прошептала Пра и поцеловала меня в лоб.

В школу я решил всё-таки сходить. До Майорстюен мы дошли вместе с Болеттой. Осень едва началась. Домоуправ Банг в чёрном костюме сгребал листья с тротуара. Над лилипутским городом

накрапывало. Флаги приспущены. Эстер обрамила окно киоска траурной лентой и плакала над газетами. Машины тянулись еле-еле, а трамваи всех ждали. Болетта вела меня за руку, пока наши пути не разошлись. — Сегодня наверняка мало кто будет говорить по телефону, — сказал я. Болетта утёрла слезу, настоящую, не то что мои давленые. — Мир не всегда такой, как бы нам хотелось, — прошептала она.

В школе взрослые тоже плакали. Классные дамы и училки ходили в слезах. Сперва они старались крепиться, но быстро сдались. Плачущие училки — зрелище ещё то. Я подумал, что как прежде уже не будет, раз я видел их такими. Девчонки нюнились, стоя в обнимку у фонтана. Я завидовал всем плакальщикам и плакальщицам. Они хорошие. А я нет. Я неправильный. Такой тишины на школьном дворе я никогда не слыхал. Никто не смеялся. Не пулялся в меня каштанами. Не чалился к моему имени. Всё было просто чудесно. Вот бы так каждый божий день! Я всегда мечтал о так устроенном мире вокруг — негромком, несуетном, без острых углов. Плач ласкал мне слух слаще смеха. Даже звонка не дали. Нас просто завели в физкультурный зал, где рядами стояли стулья, а шведская стенка

была заткнута лапником и цветами. Вот бы зал выглядел так во время физры, подумал я. Почему бы королю не помирать каждую ночь? Для начала седьмые классы спели «*Между гор и утёсов*» Осена, а когда нас наконец рассадили, я отбился от класса и оказался рядом с девочкой, мне вообще незнакомой. У неё на щеке горела родинка. Я не мог оторвать от неё глаз. Тогда девчонка пересела на свободное место впереди и что-то нашептала товарке, а та обернулась и уставилась на меня. У меня стянуло внизу живота, как будто приспичило пописать. Потом завуч произнёс длинную речь, из которой я запомнил немного, только первое предложение: *В годы оккупации мы писали имя Хокона Седьмого на снегу,* так как на второй фразе обнаружилось, что за мной сели Аслак, Пребен и Хомяк, одноклассники Фреда. Сейчас они ничего не могли мне сделать. Король же умер. Но когда завуч попросил всех встать для минуты молчания, Пребен прошептал: — А сводный твой где? — Я не ответил. Хомяк подался вперёд: — Побоялся прийти? — Минута молчания ещё не прошла. Аслак приник к самому моему уху. — Король не для всех король, — сказал он. Когда молчание кончилось, завуч вызвал Аслака. Я думал, чтобы отчитать. Оказалось, для декла-

мации. Аслак был лучшим учеником прошлого года, победителем в конкурсе поделок и вторым номером в школьной спартакиаде, где его обошёл Пребен. А лучших учеников года не ругают. Наоборот, они громко и с выражением читают «*Короля*» Нурдала Грига:[3] *Глубокие морщины на усталом лице его. Но боль в нём чужая: Таково оно, лицо мира.* Аслак поклонился в пояс, мы пропели гимн и разошлись по классам. Тут Шкелета велела нам достать рабочие тетради и нарисовать короля. А сама уселась за кафедрой, и её лицо получилось в чёрной рамке доски. Я не мог отделаться от слов, которые Аслак надышал мне в ухо, хотя потом ярче всего мне помнилась родинка на щеке отсевшей от меня девочки. Я поднял руку. Все воззрились на меня. Шкелета кивнула. — А король был королём для всех? — спросил я. С печальной улыбкой она ответила: да, Барнум, король Хокон был королём больших и маленьких, высоких и не очень. Но я хотел знать не это, а то, был ли он королём и сводных, и единоутробных. Неожиданно поднялся лес рук, особенно лез из кожи вон Мыша на задней парте, он задрал обе руки. Шкелета указала на него. — А

[3] Примечания: 3

Норвежский поэт и драматург, антифашист, погиб в борьбе с гитлеризмом.

матч со сборной Швеции не отменят из-за короля? — выпалил Мыша. Шкелета встала, прошла между рядов, остановилась рядом с Мышей, ухватила его за ухо и трижды покрутила. — Когда умирает король, мы думаем не о футболе, — отрезала она. — Наши мысли должны быть чисты и благородны. — Она расцепила пальцы. Мышино ухо торчало, как пропеллер. Желание задавать вопросы оставило всех. Шкелета вывела на доске: *Всё для Норвегии.* Я скрючился над тетрадкой и нарисовал высокого человека в красном и с короной. Внизу подписал: *Король Барнум.* Тут распахнулась дверь. Вошёл завуч. Мы вскочили. Он пошептался со Шкелетой, и оба посмотрели в мою сторону. Мне нравится имя Шкелета. Я хотел бы знать, можно ли так называться мужчине. Она подошла к моей парте и велела идти с ней. Впереди шёл директор. В конце коридора, у вешалок, ждала мама. Прозрачная, как чёрная бумажка. Она стояла тихо-тихо. Я бросился к ней бегом. Одному мне было дозволено бегать в такой день. Вот я остановился перед ней, мама присела на корточки, взяла меня за руки и заглянула мне в глаза. Лицо у неё заплаканное. По щекам полосы. От неё пахло духами, тяжёлыми и резкими, будто она пыталась навести на слёзы марафет. — У

нас горе, — прошептала мама. Я зажмурил глаза. Мама потёрлась щекой о мою щёку. — Пра умерла, Барнум. — Шкелета нацепила на меня ранец. Следом за мамой я вышел на школьный двор. Кроме нас ни души. Фонтан с питьевой водой выключен. И тут забухала пушка крепости Акерсхюс, двадцать один залп, и разом забили колокола всех норвежских церквей. Умерла Пра.

Мы пошли на Телеграф рассказать Болетте, что стряслось. Мама молчала всю дорогу. Ей нужно было время. А сам я не решался спросить ни о чём больше. Тем более лучше и не знать. Пра умерла. Чего же больше? Это я виноват. Если б не эти мои ужасные мысли о смерти отца, с Пра бы ничего не случилось. Плакать и то я не мог. Слёзы будто застыли во мне и не изливались наружу. В огромный зал на Толлбюгатен я вступил, держа маму за руку. Разговоры велись вполголоса. — Тише, — шикнула мама. Хотя я рта не открывал. По широкой лестнице мы поднялись на второй этаж Здесь в комнате рядами сидели женщины с наушниками и вставляли пипки в доски, утыканные проводами. Болетту мы не высмотрели. Некоторые оглядывались на нас и тут же отворачивались. У меня заболела голова. Слёзы тёрлись в голове, как льдины о ледоход.

Мать переговорила с женщиной, которая сидела за отдельной партой и листала толстую книгу, и вернулась от неё в большом удивлении. — Болетта внизу, ест, наверно, — прошептала она. Нам пришлось спуститься вниз по той же лестнице. В столовой в подвале мы отыскали Болетту. Она стояла за прилавком и отпускала кофе. На ней был белый передник. Когда Болетта увидела нас, она сперва сконфузилась и отвернулась, как если б её застукали с поличным за тем, что она выуживает деньги из ящика под часами, но тут же лицо у неё стало сердитым, и я подумал, что она уже всё знает и, может быть, сердится на Пра, что та умерла. — Что ты здесь делаешь? — тихо спросила мама. Болетта стала резкой и порывистой в движениях. — Что делаю, то делаю. — Матери уже пора было говорить то, с чем мы пришли, но её будто заело. — Почему ты не в переговорной, не наверху? — Потому что я здесь, внизу, — огрызнулась Болетта и пролила кофе. Мать стояла как громом поражённая и не могла собраться с мыслями. — Но ты работаешь телефонисткой? Не подавальщицей? — Болетта взяла маму за руку: — Я не могу больше работать телефонисткой. Я плохо слышу на правое ухо. Твоя душенька довольна? — Нет, мама не была довольна. На-

против, она казалась огорошенной и говорила будто в прострации: — И тебя сослали сюда? — Болетта вздохнула: — Да, теперь я тут. Ниже всех на Телеграфе. — Мама покачала головой. — И давно? — Двенадцать лет. — Двенадцать лет! — вскрикнула мама. А Болетта потупилась. — Да, как война кончилась, так меня и перевели. — У меня в голове не помещалось, что они могут так препираться в такой день и говорить о чём-то кроме того, что случилось сегодня. — И ты не сказала нам ни слова, — прошептала мама. Болетта наставила пирамиду из чашек. — Свои поражения я переживаю сама, — ответила она. Я взял мать за руку. — Ты не хочешь рассказать? — спросил я. Болетта повернулась: — Что рассказать? — Что Пра умерла, — ответил я. Болетта положила руку мне на голову. — Ты перепутал, Барнум, это король умер. — Мама набрала воздуха. — Болетта, Пра умерла тоже. — Болетта не заплакала. Лишь уронила чашки на пол. Они разбивались одна за одной. Потом она сорвала с себя передник и швырнула его на стойку. А ещё потом такси довезло нас до больницы «Уллевол». Пройдя множеством смердящих коридоров, мы отыскали Фреда. Он сидел на кровати в комнате без окон. Он смотрел на нас, но глаза у него были оловян-

ные, как две ложки. Мама бросилась к нему. Фред отвернулся. Меня Болетта к ним не пустила. Мы стояли в дверях и наблюдали, как мать пытается обнять Фреда, а он не даётся и отталкивает её. Почти сразу появился доктор и прошептал что-то маме на ухо, точно как директор Шкелете. Взрослые уединились с доктором, а меня оставили с Фредом. Помню, Болетта бросила что-то насчёт того, что Пра тоже отослали в подвал, но мама строго одёрнула её. Я сидел рядом с Фредом на его кровати. Мы просидели так долго. Кровать оказалась высокой, жёсткой, наверняка неудобной. На куртке Фреда, в самом низу, на рукаве, бурело кровяное пятно. Неужели он ранен? — У тебя кровь? — спросил я. Он не ответил. К больнице подъехала «скорая помощь». Пробежал санитар. На серой стене висела картина: люди тянут сеть из моря. — Почему Пра умерла? — шёпотом спросил я. Фред и на это не ответил. Он вступил в своё долгое молчание. Глаза у него были как горбики ложек, и он смотрел прямо перед собой, то ли на дверь, то ли на ничто. Я попробовал взять его руку. Фред сжал её в кулак и сунул в карман. Мне не улыбалось сидеть так долго. Я спрыгнул на пол. Фред не удерживал меня. Выбравшись в коридор, я отправился на поиски мамы с Болеттой. Кори-

доры напоминали школьные, только не хватало крючков для одежды. Сначала я побежал вниз. Там в комнате звучали голоса. Я заглянул внутрь и увидел мужчину, он рыдал, заслонясь букетом. Я скользнул дальше, нашёл ещё одну лестницу и спустился ниже. Здесь было холодно. Я озяб и жалел, что Фред не остановил меня. Видно, я попал в подвал, потому что дальше лестницы не было. Я побрёл по коридору. На потолке светилась длинная трубка. Старик в белом халате вёз кровать в другую сторону. Он помешкал секунду, но дал мне дорогу. Кровать была накрыта белой простынёй, под ней кто-то лежал. Одна нога торчала. Я добрался до угла. На стене было написано несколько букв, я их не знал. Наверно, они иностранные. Немного по-иностранному я уже знал, но только на слух. Это меня отец научил: *Mundus vult decipi.* Я понял, что заплутал и теперь никогда, верно, не выберусь назад, на надземные этажи. Мне захотелось плакать по-настоящему, льдинки растаяли в голове и потекли к глазам. Вдруг повеяло нездешний сладостью. Я учуял терпкий аромат маминого парфюма и бросился на запах, на душистый запах мамы, он сгущался, точно она сама вела меня эти последние метры и вывела к широким распахнутым дверям. Я

заглянул внутрь. Болетта и мама стояли по бокам стола с бортиками и на колёсах, а доктор нагнулся к шкафу прямо под лампой, залившей мои ботинки густой чёрной тенью. Мама подняла глаза и увидела меня. Я подошёл к ним. Пра лежала раздетая догола. У меня хватило духу посмотреть только на лицо. Поперёк лба прорвана глубокая рана. Я поднял руку и положил палец на её губы, они оказались холодные, пластилиновые и ввалились ей в рот.

Несчастье случилось на улице Вергеланна, на углу Дворцового парка. Пра спешила к дворцу посмотреть, как гвардейцы до середины флагштока поднимут на балконе увитое траурной лентой знамя Королевского дома. Она хотела проститься со своим датским принцем, с которым они столько лет шли след в след. Водитель грузовика, который вёз скамейки на склад в порту, оправдывался тем, что пожилая женщина внезапно бросилась ему наперерез и затормозить он уже не мог. Свидетели происшествия, продавщица из газетного киоска и несколько покупателей, заглянувших к ней посмотреть последние новости, подтвердили его слова и добавили, что он просто чудом объехал мальчика, который тоже сиганул прямо под колёса. Пра ударилась о капот, и её

отбросило на несколько метров. Правда, никто не мог достоверно объяснить, что же стряслось в ту секунду, когда Пра отпустила руку Фреда и шагнула на мостовую, споткнулась ли она, помутилось ли у неё сознание, или просто она тем мрачным утром с головой ушла в свои тяжёлые думы. Потом я часто раздумывал над тем, что приключилось за секунды до наезда, до того, как Пра на углу Дворцового парка потеряла равновесие и угодила под грузовик. Дело против шофёра не завели, ибо, по мнению полиции, пешеход допустил «преступную неосмотрительность». Когда приехала карета «Скорой помощи», Пра уже скончалась, а Фред молча сидел на бордюре с гребнем в руках, и ещё двадцать два месяца потом никто не слышал от него ни слова.

Каждый божий день до похорон Пра от полудня до часу звонили колокола всех церквей, по радио передавали лишь серьёзную музыку, флаги висели приспущенные, и даже наша сборная играла с траурными повязками на руках и сумела, получив благословение епископа, устоять против Швеции 2:2. На слёзы у мамы с Болеттой времени сейчас не хватало. Столько свалилось забот с венками, объявлениями, псалмами, бутербродами, пирожными и бумагами. Оказалось, смерть

чрезвычайно утомительна, во всяком случае, для оставшихся в живых. Да плюс они пытались разыскать отца, уехавшего по делам, но его нигде не было, и знать о себе он не давал. Они не успели даже заметить, что Фред ничего не говорит. Но я обратил на это внимание. Обратил потому, что каждый вечер, когда мы отправлялись в постель, он лежал молча и всю ночь не смыкал своих замороженных глаз.

Отец появился посреди похорон. Пастор с Майорстюен уже отвитийствовал, мы, горстка всё тех же лиц, спели, стараясь изо всех сил, и тут дверь позади нас хлопнула с грохотом, все обернулись и увидели его, со шляпой в одной руке и белыми цветами в другой. — Королева умерла! — крикнул отец. — Да здравствует королева! — Потом он прошёл по проходу, положил цветы на гроб, поклонился в пояс, сел рядом с мамой, которая залилась краской до самого выреза платья, поцеловал её и ткнул в сторону пастора. — Можете продолжать! — распорядился он. Я обернулся к Фреду. Он изучал свои ботинки. Болетта спрятала лицо за носовым платком. Пастор сошёл вниз, подошёл к отцу и взял его за перчатку. — Нильсен, вы вечно приходите к шапочному разбору, — прошипел он. Отец смотрел на него с ненавистью и

улыбался. — Последние будут первыми. — Пастор отпустил отцову руку, засеменил к гробу и бросил на него горсть земли. Меня это рассердило. Пусть хоть Фред его остановит, думал я. Но Фред ничего не предпринимал. Он не шевелился. Руки узлом белели на Библии, лежавшей у него на коленях. Я рванулся вскочить, я собирался лягнуть пастора по ноге и выхватить у него лопату, но отец взял меня за плечи, а потом мы на «бьюике» поехали вниз, на Майорстюен. Мать была в ярости. — Где ты пропадал? — кричала она. Отец поправил подушку, всегда лежавшую на его сиденье, посмотрел поверх руля, и его ослепило низкое солнце. — Что значит «пропадал»? Я работал. — Две недели?! — Я разглядел серый столб дыма, поднимавшийся из высокой трубы крематория, и подумал, что вот каким путём Пра перебирается на небо. Отец усмехнулся: — Вышло чуть дольше, чем я рассчитывал. Когда траур по королевской семье, быстро не поездишь. — Ты мог позвонить — по крайней мере! — Я вернулся так быстро, как сумел, — прошептал отец. — Едва я прочёл сообщение, сразу помчался сюда. — Теперь рассмеялась мама, но нехорошим смехом. — И пожалте: явился не запылился, посреди похорон, записным клоуном! — Отец тяжело вздохнул, и

руки в туго натянутых перчатках перехватили руль. — Мне казалось, Пра умеет ждать. А ты сегодня на подпевках у пастора? — Замолчите! — крикнула Болетта и зажала уши. — У меня голова раскалывается. — Мама повернулась к нам, потому что Болетта сидела сзади между мной и Фредом. — Голова заболела! Скажите! Неужто от работы в буфете? — Болетта заплакала, у матери кончился запал, и она зарыдала тоже, а отец прижал машину к тротуару и остановился. — Ну, ну, — сказал он. — Сегодня все должны выплакаться, чтобы освободить место смеху. Но, может, кто-нибудь скажет мне, куда мы направляемся? — Мы направлялись на второй этаж, к Ларсену. Я запомнил, как мы с Фредом сидим на стульях у стены в коричневой комнате, внизу в углу стоит чёрное пианино, на нём горят стеариновые свечи, взрослые пьют из крохотных стаканчиков и закусывают такими же махонькими бутербродами. Присутствуют Арнесен с женой, не упускающий таких случаев домоуправ Банг и киоскёрша Эстер с конфетами для всех. Больше никого, так что пустуют многие стулья. Это были первые мои похороны, и я впервые задумался о том, чувствовала ли Пра себя одиноко при жизни. — Почему все говорят так тихо? —

шёпотом спросил я у Фреда. Он не ответил. Но поднялся отец, и говорок смолк. — Я счастлив, что успел на похороны нашей Пра. Она сумела-таки выбрать, когда умереть. В день её ухода вся страна оделась в траур, скорбят королевские дома Европы, палят пушки на Акерсхюс. Она заслужила это. Пра любили. И, не побоюсь сказать это, иногда побаивались. Но любовь, конечно, побеждала. И нам уже не хватает нашей Пра! — Отец отпил из стаканчика и остался стоять. Фред возил ботинками по полу. Отец улыбнулся, налил себе ещё и снова не сел, он держал паузу, тянул и тянул её, пока тишина не сделалась невыносимой, а Болетта готова была сдёрнуть скатерть со стола. Тут отец заговорил снова: — Но я должен сказать… По-моему, это позор, что Пра позволила задавить себя какому-то грузовику! Ей бы пристало кинуться под «шевроле» или уж «мерседес»! Помянем её! — Молчание продлилось ещё секунду, а потом мы все, кроме Фреда, грохнули — этого у отца было не отнять, смешить он умел, горе не впитывалось в него, а стекало, как вода с зеркала, потому-то, наверно, никто и не мог совсем не любить этого Арнольда Нильсена в перчатке с деревянными пальцами. Мать заключила его в объятия и расхохоталась, они

расцеловались, и на сердце у меня стало ужасно хорошо и спокойно, и шёпот в комнате отменился. — Отец всегда всё может разрулить, — громко заявил я Фреду. Но он по-прежнему не поднимал глаз от ботинок и долго-предолго возился со шнурками. Мать отпустила отца, и он подошёл к нам с двумя располовиненными бутербродами с яйцом. Я проголодался. Фред есть не стал. Отец смотрел на него сверху вниз. — Как это случилось? — спросил он. Фред молчал, вздрагивал и не включался. — Фто слуфилось? — переспросил я с полным ртом. Отец вздохнул. — Что бабушку задавило, Барнум, — ответил он и откусил от второго бутерброда. — Ты не уследил за ней, да, Фред? — Фред поднял глаза, рывком, и мне показалось, собрался ответить, потому что он открыл рот и струйка слюны вытекла сквозь зубы, но тут в другом конце комнаты фру Арнесен заиграла ту единственную пьесу, которую знала и неутомимо исполняла все годы, прошедшие со дня, когда вследствие путаницы и причудливого стечения обстоятельств она два часа и пятнадцать минут пробыла вдовой. Страховой агент Готфред Арнесен, в тот злополучный день нашедший по возвращении домой жену в трауре по себе, опускает голову от стыда и смущения и

порывается немедленно прервать музицирование, но отец удерживает его. — Ну вот, пришёл час расплаты, — говорит отец. Арнесен озабочен: — Что ты имеешь в виду? — Отец улыбается: — Деньги, которые мы складывали под часы. Страховка жизни. — Страховщик стряхивает с себя отцову руку. — Сейчас неподходящий момент для этих разбирательств, — шепчет он. Отец улыбается шире прежнего. — Неподходящий? Лады. Дождёмся, пока она отыграет своё. — На это уходит время, а пианино на втором этаже заведения Ларсена не отличалось красотой звучания. Мы сидели потупив глаза. Но на долгожданном последнем аккорде она с такой силой ударила по клавишам, что обе свечи по бокам над ними потухли, и стало тихо, поскольку никто не знал, что тут сказать или сделать, а сама фру Арнесен так и сидела перед инструментом как приклеенная, в обрамлении двух сизых столбиков дыма, пока отец не поднял руки и не гаркнул: — Браво! Браво! Мне бы десять таких пальчиков! — Теперь мы все могли похлопать, все, кроме Фреда, и Арнесен откланялся и увёл жену. Вскоре меня сморило, и домой отец меня нёс. Мне снилось, как я думаю, что Пра стоит на балконе Королевского дворца и машет рукой, на ней почти нет

одежды, и все цвета с неё словно слиняли. Когда я проснулся, колокола больше не звонили, отец пошёл забрать «бьюик», оставленный напротив Ларсена, а Фред спал с открытыми глазами. Я шмыгнул, переступив белую черту, к его кровати и растолкал его. — Что тебе снится? — шепнул я. Но Фред не ответил, тогда нет, а когда он сделал это много позже, я успел забыть, о чём спрашивал. Пришлось идти к маме и Болетте. Я хотел выяснить, изменился ли мир со смертью Пра, и очень на это надеялся, потому что нелегко вынести, если человек умер, а всё продолжается своим чередом, будто и не было его. Я остановился у спальни. Мама с Болеттой наводили порядок в вещах Пра. Мне полегчало. Жизнь явно изменилась и прежней уже не станет, во всяком случае, тут, у нас, в квартире на Киркевейен. — Теперь станет больше места, — заявил я, и мама порывисто обернулась ко мне, строго сжав губы, зато Болетта бросила длинное платье с цветком на животе, которое держала в руках, обняла меня и улыбнулась, обостряя морщинки. — Верно, Барнум. Для того мы, люди, и умираем. Чтобы освободить место. — Разве? — Болетта опустилась на кровать. — Честное слово, — сказала она. — Иначе людей развелось бы слишком мно-

го, и как бы мы все тут поместились? — Болетта помрачнела и замолчала. А я был разочарован. Что это за смерть, которая всего лишь чистка и прореживание людей, если их стало многовато? Получается, смерть гоняет нас, точь-в-точь как злющий сторож шугает ребятню со школьного двора? Болетта встала. — Теперь я следующая в очереди, — сказала она. Мама топнула ногой. — Я запрещаю тебе такое говорить! — прошипела она. А Болетта рассмеялась: — Я говорю, что думаю. Моё право! — Она подобрала с полу платье, узкое длинное платье с цветком на животе и, держа его перед собой, протанцевала несколько па, напевая незнакомую мне медленную мелодию, и тут мама обернулась и стала подтягивать этот мотив, который казался таким печальным и не норвежским, и вот уже я сам готов подсвистеть им, а всё вокруг источает сладкий запах «Малаги», и я неожиданно набираю побольше воздуха и давай свистеть, шальной, сбитый с толку и весёлый, на другой день после похорон Пра. Вдруг мама оборвала песню. Болетта умолкла. Только я продолжал свистеть. — Фред? — прошептала мама. Я обернулся. У меня в прямом смысле слова отвалилась челюсть. На пороге стоял Фред. Во вчерашнем наряде: чёрном костюме на вырост и белой рубашке.

Я подумал, что теперь он заговорит. Но он повернулся и пошёл. Мама кинулась за ним. А меня Болетта удержала. Потом хлопнула дверь. Вернулась мама и стала дрожащими руками дальше рыться в ящиках, коробках, шкатулках, во всех заветных местечках Пра. — Он говорил? — спросила Болетта. Не встречаясь с ней глазами, мама покачала головой. Болетта вздохнула и открыла следующий шкаф. Стук плечиков друг о друга — этого звука я не смог вынести и заткнул уши, а почему выше моих сил оказался как раз стук вешалок под пальцами перебиравшей тонкие платья Болетты, я не знаю, но с тех и до сих пор я никогда уже не мог его слышать, и в гостиницах мне приходится вешать одежду на стул, кидать на пол или раскладывать на кровати, потому что стоит вешалке звякнуть в тесном шкафу, как я физически чувствую прикосновение холодных пластилиновых губ Пра к моим пальцам и точно касаюсь великого безмолвия. Я бросился к окну. Фред скрылся за домами на той стороне, ни разу не обернувшись. Ночью прошёл дождь. Тротуар блестел. Водостоки забились листвой. Несмелый свет висел в воздухе, как флёр, и подрагивал. Какой в очереди я? Наверно, моё место в этом длинном ряду за Фредом, впереди которого ма-

ма, отец и Болетта, и все мы не стоим на месте, а движемся к обрыву, да кого-то выдернут ещё раньше, чем подойдёт его очередь, а сзади суетятся и напирают глупцы, которым надо поскорее прорваться вперёд. Я устал от этих мыслей и спросил маму, не надо ли ей помочь. Она прислонилась к спинке кровати и ответила кивком. Мне достался ночной столик. Меня смутил протез, плававший в стакане с водой: вот и всё, что осталось от Пра, её зубы, изнанка рта, улыбка. Горшок под кроватью, к счастью, был пуст. Но когда я, на всякий случай, взял в руки Библию, которую она тоже держала на столике, из неё что-то выпало — снимок, вырезанный наверняка из газеты или журнала, поскольку бумага была тонкая и мятая. Я медленно прочитал подпись: *Страшный лагерь Равенсбрюк переполнен настолько, что узникам не хватает роб.* Девочка, худая до прозрачности, одна тень, сидит рядом с, видимо, мёртвой женщиной. — Что там у тебя, Барнум? — Мама подошла ко мне. Я протянул ей фото, а она вдруг осела на кровать, у неё затряслись руки. Болетта тоже взглянула на фото и закрыла лицо ладонями. — Почему она не показала мне этого? — прошептала мама. Болетта подсела к ней. — Есть много способов заботиться о чело-

веке, — сказала она так же тихо. Мама уронила голову и заплакала. — Я понимала, понимала всё время. Но узнала только сейчас. — Болетта обняла её. Фотография выскользнула из маминых рук, и я подобрал её. Я смотрел на мёртвую в в объятиях умирающей, на измождённые, замученные лица и непомерно большие глаза, глядевшие прямо на меня, темноволосая девочка не отвела их, может, не отвела за секунду до смерти, возможно, фотографировал сам палач, он держал в одной руке фотоаппарат, а в другой — меч или пистолет. Я знал, что не смогу спать ещё много ночей после. У меня даже мелькнула страшная мысль, что я вообще никогда больше не засну, потому что эти лица будут смотреть на меня отовсюду из темноты, а даже если я закрою глаза, они никуда не денутся, раз я видел их. — Кто это? — спросил я и едва расслышал собственный голос. Болетта взяла мою руку. — Это лучшая мамина подружка, — сказала она тихо. Очень странно. — А у мамы была подружка? — Конечно же, Барнум. Её звали Рахиль. Она была красавица и жила в соседнем подъезде. — Я ещё раз посмотрел на фото. Я не хотел смотреть, но не мог устоять. Меня как будто притягивала эта фотография мёртвой на руках умирающей, простой девчонки из сосед-

него подъезда, закадычной маминой подружки, впившейся глазами в палача. — За что с ней так? — прошептал я. Болетта задумалась надолго. Мама снова занялась бабушкиными вещами, она перебирала тапки, флаконы, украшения, очки и копошилась с такой медлительностью, точно лунатик, пытающийся навести порядок во сне, разобраться в котором ему не суждено никогда. — Люди и злы тоже, — сказала Болетта. Я не понял, но не переспросил. *Я слышу, как эти шаги уходят из моей жизни.* Мамин припев. Но сейчас она вдруг повернулась к нам, игриво, на грани улыбки, показать, что Пра хранила в шкатулке с драгоценностями. Привычный ритм маминых раздумий — шараханье туда-сюда. Это была пуговица, блестящая пуговица на ножке из чёрной нитки. — А это откуда? — прошептала мама, отдавая находку Болетте. Та тоже не знала, и они обе сели и молча уставились на пуговицу размером больше крышки от лимонада. — Можно мне её взять? — спросил я. Мама подняла голову. Щёки ввалились, она побледнела и стала, на миг показалось мне, похожа на свою подружку, на Рахиль. Я отвернулся. — Возьми, конечно, малыш. Тем более ты так замечательно помогал, — позволила Болетта. И она отдала мне пуговицу. Та оказалась

тяжёлой и холодной на ощупь. — Спасибо, — шепнул я. Пошёл в нашу комнату. Убрал пуговицу в пенал. Попробовал заняться уроками. Надо бы закончить рисунок короля. Но нет сил собраться с мыслями. Всё, что мне удалось: стереть подпись *Король Барнум* под худой скособоченной фигурой. Вот оно, наше наследство, ну, вещи, которые Пра оставила нам: фотография мёртвой маминой подруги и блестящая пуговица с чёрной ниткой в ушке. Я заплакал. Не смог сдержаться. И плакал, пока не пришёл отец и нас не позвали обедать. Место Фреда пустовало. Мама была молчалива и едва ковыряла еду. Рыбные фрикадельки в белом соусе. Отец мял картошку вилкой и был не разговорчивее матери. Болетта пила пиво, и обед тянулся невесело. Под конец отец сообщил: — Я поговорил с Арнесеном. — Все молчали. Отец завёлся и капнул на скатерть. — Вам что, неинтересно, о чём я с ним говорил? — Болетта перегнулась через стол. — Арнольд, о чём ты говорил с Арнесеном? — спросила она. Отец вытер губы салфеткой. — О страховке, — ответил он. — Нам причитается всего две тысячи, и привет. — Болетта отпихнула фрикадельки. — Не рановато ли ты взялся подсчитывать, на что потянула Пра, а, Арнольд Нильсен? — Отец вскочил, едва не опро-

кинув стул. — И ты туда же, Болетта? Просто, на мой взгляд, Пра стоила больше, чем пара тыщ. — Сядь, — внезапно сказала мама. Отец сел. Стало тихо. И было слышно, как чмокают фрикадельки, скользя по гладким тарелкам. — Мы делали недостаточные взносы, — прошептал отец. — Мы всегда платили столько, сколько от нас требовали, — заметила мама. Отец покачал головой и повернулся ко мне. — Кто-то мог поживиться денежками из ящика под часами, — сказал он. Я потупил голову. И тоже капнул на скатерть. — Я — нет, — шепнул я. — Ты-то нет, но вдруг ты видел Фреда за этим? — Болетта стукнула кулаком по столу. С такой силой, что опрокинула стаканы. Мама вскрикнула, отец сделался белее салфетки. А я с облегчением подумал, что, может, не придётся отвечать. — Не смей вечно обвинять Фреда во всех грехах, — отчеканила Болетта. Отец заёрзал на стуле. — Я никого не обвиняю. Просто пытаюсь разобраться, что случилось. — Болетта улыбнулась: — А если Арнесен нас надувает? — Отец обдумывал это несколько минут. Потом накрыл своей рукой изящные пальчики Болетты. — Эти деньги не были бы лишними, — сказал он. — Теперь, когда ты ушла с Телеграфа. — Я получаю пенсию, — ответила Болетта. — Могу и

тебе ссудить, если нуждаешься. — Отец медленно встал и вышел из-за стола, ни слова не сказав. Мама застонала. — Последнюю фразу ты могла и не говорить, — прошептала она. Болетта подпёрла голову руками. — Арнольд Нильсен — торгаш до мозга костей. Я ненавижу всю эту суету вокруг денег. — В ответ мама тоже ушла из-за стола. А я остался. Рыбные фрикадельки остыли. Белый соус облепил вилку. — Не слушай нас, взрослых, — обратилась Болетта ко мне. — Не буду. — Она тоненько засмеялась: — Но ты слушай меня, когда я говорю, чтоб ты не слушал всё, что мы, взрослые, несём. — Болетта выпила уже два стакана пива. Из-за него она так и выражалась, наверно. — Ладно. — Болетта придвинула свой стул поближе к моему. — А тебе Фред что-нибудь говорил? — Нет. А о чём? — Мне так хочется узнать, о чём они разговаривали с Пра перед её смертью, понимаешь, Барнум? — Мне он ничего не рассказывал, — прошептал я. Потом я помогал убирать со стола. Затем Болетта взялась мыть посуду, а я вытирал, а ещё потом я ждал Фреда. Он явился, когда я задремал. Вдруг присел на край моей кровати. В темноте я едва видел его. Отчётливее всего блестели глаза. Зажечь свет я побоялся. — О чём вы с Пра говорили? — спросил я. Глаза исчезли. Он

не ответил. Я нащупал в ранце пенал и вложил Фреду в руку тяжёлую пуговицу. Глаза блеснули снова. — Это пуговица от Пра, — шепнул я. Фред включил свет. Он рассмотрел пуговицу и сжал кулак. — Бери, пожалуйста, — предложил я. Но он не ответил, как я надеялся, а просто уронил пуговицу на пол. Пришлось мне лезть под кровать её искать, а свет Фред выключил. Его долгое молчание уже началось. Поначалу-то оно никому, кроме меня, глаз не мозолило, потому что говоруном Фред не числился никогда, скорее наоборот, молчуном, из которого слова не вытянешь. Слова вообще ему не давались. Топорщились в нём сикось-накось, а буквы часто путались местами. Его школьные сочинения были самыми короткими в мире, но писал он их через два раза на третий, всё равно по норвежскому у него была твёрдая двойка, а однажды ему вообще поставили прочерк. На переменах он подпирал стену. К нему никто не подходил, но даже я замечал, как исподтишка поглядывают на него девчонки или ходят взад-вперёд мимо него парочками с игривыми улыбочками. Я мечтал гордиться Фредом. Однажды кто-то написал «выблядок» на стене под навесом. Сторож убил два часа на то, чтобы смыть надпись, поднялся шум, но никого

не нашли. В понедельник Аслак явился в школу в тёмных очках, хотя лил дождь. Один глаз у него был иссиня-черным и расплывался из-подо лба набрякшим мешком. Аслак объяснил, что он налетел на дверь и ударился о ручку. Кроме учителей, поверили ему немногие. Фред всё так же молча стоял у стены. Я подошёл к нему. Он не обернулся. Аслак, Хомяк и Пребен следили за нами, сидя на поручнях на трамвайной остановке. — Давай пойдём домой вместе? — предложил я. Мы пошли вместе. Фред шёл по одной стороне улицы, а я по другой. Эстер высунулась из киоска и запихнула мне в карман тугой, шуршащий бумажный кулёк с ирисками. — Поделись с братцем, — сказала она и запустила руку мне в кудри. Тем временем Фред, он сроду не ждал, исчез, скрылся за углом или свернул за церковь, поди угадай, он часто растворялся вот так, и я охнуть не успевал, как оказывался один. Всего вроде бы и оставалась от Фреда жидкая тень на тротуаре, которую домоуправ Банг должен был сковырнуть своей могучей метлой да и вышвырнуть в помойку. Домой Фред возвращался не раньше, чем я засыпал. Но несколько раз Болетта заявлялась ещё позже его. Она долго топала, отыскивая ванну и постель, а на другой день маялась голо-

вой и лежала с тряпкой на лбу, а мама злилась и пилила её. — Опять ходила на свой Северный полюс? — шипела она и стискивала губы в линеечку. Она говорила именно так, «ходила на свой Северный полюс», и я каждый раз пугался, представляя себе, как Болетта пробивается сквозь лёд, холод и пургу, рискуя навечно остаться там, куда её понесло незнамо зачем, если только не на поиски? — Зачем Болетта ходит на Северный полюс? — тем же вечером спросил я у Фреда. Но он не ответил. Снег выпал в середине ноября, в пятницу. Я лежал и вслушивался в тишину, она нарастала. И вдруг резко оборвалась: фру Арнесен заиграла на пианино, заиграла новую пьесу, мало того, несколько разных, получился настоящий концерт, по завершении которого в доме распахнулись все окна и фру Арнесен устроили овацию, даже сам домоуправ Банг разогнул спину, облокотился о скребок и хлопнул пару раз, а она стояла у окна третьего этажа и кланялась. А в воскресенье мы увидели, что Готфред Арнесен шествует вниз по Киркевейен в церковь под ручку с женой в такой богатой и шикарной шубе, что все провожали её восхищёнными, недоуменными и завистливыми взглядами, особенно дамы с Фагерборга, они качали головами, и долго ещё потом все

только и шушукались, что об этой шубе, а мужья чуть не поголовно вынуждены были заняться расчётами, сколько будет стоить такая шуба в рассрочку на два года. — Что тебе подарить на Рождество? — спросил отец. — Шубу, — ответила мама. Отец вскочил и пошёл к дверям, при этом стараясь сжать в кулак покалеченную руку. — Видно, нашему дражайшему Арнесену грехи совсем покоя не дают, что он попёрся в церковь в такую холодрыгу, в минус восемь! — Мать и слушать не желала: — Вот поэтому фру Арнесен и надела шубу. Чтоб не мёрзнуть! — Но в церкви тепло! — крикнул отец. Мама вздохнула: — Ты завидуешь, вот и всё. — Отец засмеялся, слишком громко. — Увольте, я б не стал рядиться в шкуру с пуговицами. — Теперь смехом ответила мама: — Ты завидуешь тому, что Арнесен может делать своей жене такие подарки! — Отец стукнул по двери увечной рукой: — Я боюсь, что с нашими страховками дела обстоят не так блестяще, как с шубой! — И пропал на два дня. Мама повернулась к Фреду. Он сидел перед камином, положив руки на колени. — А ты чего хочешь? — спросила она. Фред не ответил. Мама повторила вопрос. Фред повторил молчание. — Раз ты ничего не хочешь, ничего и не получишь, — сказала мама. — Оставь

ребёнка в покое, — прошептала Болетта и отправилась на Северный полюс. Мама зарылась лицом в ладони и расплакалась. У меня свело живот. И перехватило горло. Я положил руку ей на спину. Она была горячая, как камин. — Может, почитаем письмо? — спросил я робко. Мама кивнула: — Да, Барнум, давай. — Я достал из шкатулки письмо, сел на диван под лампу и стал читать, медленно и старательно одолевая трудные слова, хоть я знал их почти наизусть. Фред не отрывал от меня глаз, что-то творилось в них, что-то тёмное росло и ширилось, и то, как он на меня смотрел, и улыбка — он точно менялся от предложения к предложению, и я едва не утратил нить прадедушкиного письма.

…Решено было, что мы заберём с собой овцебыка, и уже когда в первый день нашего нахождения в Анкере мы обнаружили стадо этих быков и они щипали полярные ивы, чуть не единственную здесь растительность, то капитан, я и ещё пятеро сошли на берег словить одного бычка. Телок в стаде был, да к нему не подступишься, нас как быки заметили, а их там 15 или 16, так сбились в кучу, бычка в серёдку затолкали и ну фыркать да копытами скресть, как бешеные. Пришлось нам вертаться на борт, не выполнивши дела, к потехе

всей команды, но потом заловили мы всё ж двух овцебыков, так один уж помер, хоть заплачено за них жизнями двадцати двух быков оттого, что пришлось отстрелить два стада, пока тех бычков-то добывали.

Внезапно Фред хохотнул, и это был единственный звук, исторгнутый им со смерти Пра. Но только когда после каникул маме позвонил классный наставник, до неё дошло, что Фред не просто замкнулся и стал несносен, но и перестал разговаривать. — Я прошу вас прийти на собрание в следующую среду, — сказал классный. У мамы подкосились ноги. — Он что-то натворил? — прошептала она. На том конце помолчали. Потом классный спросил: — Так вы не заметили? — Не заметили чего? — Ваш сын за последние три месяца и шестнадцать дней не проронил ни слова! — Мама повесила трубку и метнулась к Фреду. — Что за фокусы! — закричала она. Фред валялся на кровати. Он не шелохнулся. Я делал уроки. Во всяком случае, пытался. На Рождество мне подарили линейку, которая с одной стороны была расчерчена на сантиметры, а с другой на дюймы. Когда я поворачивал её, она оказывалась другой длины. И вот этой линейкой я наносил чёрточки, призванные изображать улицы и

перекрёстки, поскольку к нам в класс ожидался полицейский, чтобы научить нас правилам безопасного движения. — Фред, изволь со мной говорить! — Мама вопила. Орала. Но Фред не отвечал. Стало тихо. Мама присела на кровать. Фред изучал потолок. — Фред, ну ты же можешь поговорить со мной, — шептала она. Без всякой пользы. Мама разрыдалась, стала трясти его, впала в такую ярость, которая даже и Фреда подняла на ноги. Но повёл он себя странно. Обнял маму и поцеловал в лоб. А потом ушёл. Мама осталась сидеть в полном недоумении и только гладила пальцем то место на лбу, куда чмокнул её Фред. Можно было подумать, она стирает со лба пятно. Потом она медленно повернулась ко мне: — А с тобой он говорит, Барнум? — Я покачал головой. — Ты не обманываешь меня, Барнум? — Нет, мам, правда. — Она тяжело положила руки мне на плечи. — Ты врать не умеешь, верно, Барнум, — шепнула она. — Ты трижды подряд сказала *Барнум*, — заметил я. Мама посмеялась, но очень коротко. Назавтра была папина очередь. Он сидел в гостиной и поджидал Фреда. — Иди сюда, — позвал отец. Фред прошёл прямиком в нашу комнату. Я подумал, что он, наверно, не слышит и проблема в том, что у него уши отказали.

Тут в дверях возник отец. — Говорят, ты потерял голос. — Фред не соизволил и головы повернуть. Он разглядывал потолок. Отец подошёл ближе. — Лучше б тебе найти его, пока он не пропал бесповоротно. — И я живо увидел голос Фреда, завалившийся куда-то, упавший в водосток и взывающий оттуда к хозяину. Отец не отступался: — Если ты вздумал разыгрывать оцепенение, то роль тебе не удалась. — После этих слов тишина длилась самое малое три минуты. Пока отец не взорвался. — Отвечай мне! — завопил он и топнул ногой с такой силой, что все строчки у меня в тетрадке заплясали. — Оставьте ребёнка, — вмешалась Болетта. Но не тут-то было. Все наперебой старались разговорить Фреда. Тщетно. Молчание Фреда делалось всё весомее, значимее, оно вынимало из нас душу, как в своё время Болетту с Пра едва не свела с ума немота Веры, пока та ходила с Фредом. И теперь он унаследовал эту немотность. Превратил в свою. И в конце концов превзошёл мать. Когда весна подошла к Пасхе, а с губ Фреда так и не сорвалось ни полслова, ни ползвука ни дома, ни в школе, ни во сне, его отправили в Национальный госпиталь к специалисту по немоте. Тот оплёл всю его голову датчиками и померил давление внутри черепа. Специалист по

немоте сделал заключение, что в дорожном происшествии, погубившем Пра, Фред тоже ударился головой, то ли о грузовик, то ли при падении, результатом чего стала гематома в мозгу, которая давит на центр речи, лишая Фреда возможности говорить. Но во всех показаниях единодушно утверждалось, что Фред был далеко от машины в момент наезда, и это выглядело странно, что Пра неожиданно выскочила на дорогу, а Фред остался кричать на тротуаре. Специалист второй раз исследовал череп, накрутив ещё больше датчиков и проводов. Фред лежал на скамейке марсианин марсианином. Болетта лишь фыркала от этой науки. — Фред так напугался, когда Пра погибла, что потерял голос, — объясняла она. — Это же так просто. Придёт время, он снова заговорит. — Но теперь, по крайней мере, Фредово молчание обрело название. Специалист окрестил его афазией. И в тот же самый день, когда Фреду в госпитале накачивают электричеством голову, к нам в класс приходит полицейский в форме, чтобы научить нас правилам движения. *Безопасное движение — требование дня* написали мы на доске цветными мелками, чтобы сделать гостю приятно. У полицейского с собой дорожные знаки, и он растолковывает, какой что обозначает, ибо кто

этого не запомнит, тот пропал. Мы узнаём, как он регулирует потоки на перекрёстке и что велосипед должен быть оснащён двумя тормозами, звонком и фонарём, а переключатель скоростей, набор инструментов и багажник правилами не требуются, хотя очень практичны. На следующем уроке мы все отправляемся на Мариенлюст, в лилипутский городок, где есть улицы, тротуары, мостовые и светофоры, как в настоящем городе, только много меньше, как будто всё здесь долго мокло под дождём и от этого съёжилось. Тут мы съедаем свои завтраки, а Эстер машет нам из киоска, на миг пробуждая в одноклассниках зависть ко мне как к знакомому продавщицы этого крохотного магазинчика, забитого ирисками, мороженым и журналами. Но делу время, и мы переходим к делам серьёзным. Теперь мы должны продемонстрировать всё, чему научились на предыдущем уроке. Класс вытягивается в длинную линейку, а полицейский ходит от одного к другому, пока не останавливается передо мной. Он улыбается и кладёт руку мне на плечо: я должен выйти с ним на перекрёсток. Возможно, он слышал о гибели Пра и поэтому выбрал меня. Я знаю, что, переходя улицу, надо два раза посмотреть налево и направо. Это то, что

забыла сделать Пра. Красный цвет — опасность, жёлтый предупреждает, что светофор меняется, а на зелёный можно идти. Как бы мы ни спешили, дождаться зелёного нужно непременно. Короче, я готов ответить на любой вопрос. Но вместо вопроса полицейский говорит, хлопая меня по спине и улыбаясь: — Ты мог бы здесь жить! — Становится тихо. Я таращусь на полицейского. Я не хочу здесь жить. — Почему это? — спрашиваю я. Полицейский наклоняется: — Почему? — Да, почему? — Он выпрямляется. Шкелета нетерпеливо топчется на тротуаре. Класс подступает на шаг ближе. — Потому что здесь всё такое крохотное, как раз тебе по росту. — Полицейский говорит это так, будто мне и тут всё не по росту, и гогочет. И все начинают смеяться. Я стою в круге смеха, а полицейский гладит меня по кудрям. — Ну, скажи-ка нам, что нужно помнить, когда собираешься перейти дорогу? — Я не отвечаю. Я вижу, как смотрят на меня одноклассники. И понимаю, что судьба моя изменилась полностью. Отныне и навек я коротышка. Единственный житель лилипутского городка. Мой рост, мой малый рост вдруг сделался зримым. Полицейский превратил его в общеизвестный факт. Я уже чувствую тяжесть неудобоносимого бремени моей

недостаточности. — Барнум, отвечай! — кричит Шкелета. Вместо ответа я через газон ухожу от полицейского, от Шкелеты, от класса, прочь из лилипутского города, и никто не останавливает меня. Это хуже всего. Что меня не удерживают. Я не оглядываюсь. Прихожу домой, где никого в этот час нет. Замеряю свой рост на косяке двери и провожу черту там, где заканчиваюсь. Забираюсь на табуретку и рассматриваю себя в зеркале. Мне не требуется зеркала огромного размера. Карманное зеркальце вмещает меня почти целиком. Возможно, я впервые беспристрастно разглядел себя. Долго любоваться тут не на что. Я ухожу в нашу комнату, задёргиваю занавески, тушу свет, забираюсь под одеяло и закрываю глаза. Воистину, одно тянет за собой другое, в этом вся жизнь: события, не имеющие друг к другу касательства, всё же связаны вместе в причудливую последовательность, обусловленную случайностями, смертями и счастливыми встречами, сообразно чему задавивший Пра грузовик запустил цепную реакцию во времени, начавшуюся молчанием Фреда и обернувшуюся фотографией маминой подружки в концлагере, блестящей пуговицей, роковыми словами полицейского и породившую затем пропажу «бьюика», курс откормки на ху-

торе, граммофон и Клиффа Ричарда, о которых я пока не знаю, так что в силу своего неведения бессилен их предотвратить. Хотя на самом деле всё началось с кончины короля Хокона VII. Это мой фильм. В нём нет сцен, взятых из жизни целиком. Лишь сшитые вместе моменты, как перекидной календарь, который можно быстро пролистнуть и увидеть, как дожди сменяются снегом. Но в этом месте я меняю бобину: итак, Фред возвращается из госпиталя с афазией, его молчание получило название и регистрацию, но не излечилось. Прямо в дверях он разворачивается и снова уходит, мы не знаем куда, но я думаю, что на кладбище Вестре Гравлюнд, где похоронена Пра. Вечером у моей кровати возникает мама. — Где пуговица? — спрашивает она. Я не отвечаю. Чем я хуже Фреда? Мне тоже положена своя афазия, думаю я. Мама наклоняется ко мне: — Барнум?! — Я сжимаю зубы. От этого больно во рту. — Ты спишь? — спрашивает она. Пусть думает так. Она выскальзывает из комнаты. Я молчу остаток ночи. И ничего не говорю утром. В школе я продолжаю хранить молчание. На первом уроке Шкелета велит мне пересесть. Она показывает на первую парту: — Те, у кого проблемы с ростом, должны сидеть впереди. Я

хочу видеть тебя, Барнум. — Я собираю ранец и тащу его по бесконечному проходу. Быстро же меня утвердили в роли недомерка. Я слышу свои новые имена, их шепчут тишком, как раз чтоб мне разобрать, *клоп, пигмей, гном,* их мне теперь слушать не переслушать и обрастать новыми, точно неприятностей с законным имечком мне мало. Я сажусь за новую парту. Фрекен Шкелета улыбается. Она так близко, что я чувствую её запах. Неприятный. Здесь предстоит мне просидеть остаток жизни, пока все они сзади будут идти в рост, выше и выше, и забивать меня своими тенями. — Ну вот, Барнум, теперь ты сидишь хорошо. — Я молчу. Потом молча иду домой. Рот немеет. Затем обедаю, не проронив ни слова. Слёзы подступают к глазам. Наконец я укладываюсь, молчаливее прежнего, свет гаснет, и тогда я с глубоким стоном разеваю рот и хватаю воздух, будто последние сутки просидел под водой. Меня обескураживает предположение, что никто не заметил, что я замолчал. Моё безмолвие проходит втуне. Афазия Барнума никого нимало не занимает. С таким же успехом я мог бы помереть. Меня хватает на два дня. Я сижу в гостиной. Мама курит, стоя у открытой балконной двери. — Пенал, — говорю я. Мама переспрашивает: — Что ты

сказал, Барнум? — Пуговица лежит в пенале, — говорю я и засовываю палец в рот. Мама выходит на балкон и машет кому-то. Я бреду следом. Внизу, на улице отец полирует «бьюик». В колпаки скоро можно будет смотреться. На капоте сияет небо. Весна, май, прекрасное, по сути, время года, пора гербариев, атласов дорог и прочих планов. Мама тушит окурок в цветочном горшке и обнимает меня. — Что ты думаешь насчёт автомобильного путешествия летом? — спрашивает она. — Куда? — Куда? Это ты мог бы решить сам, а, Барнум? — Чур не один, думаю я и отвечаю: — Мы с Фредом решим. — Мама улыбается: — Отлично! Вы с Фредом решаете. — Подумав, я предлагаю: — Гренландия. — Мама разжимает объятия и раскуривает новую сигарету: — В Гренландию нет дорог. Придумай что-нибудь другое. — Может, Дания? — Теперь задумывается мама. А отец стоит, облокотясь на сияющий автомобиль, и кричит: — Барнум, ты едешь? — В эту секунду на дорогу ступает Фред, и я оглядываюсь на маму. — Беги давай! — говорит она. И у неё весёлое лицо, впервые со смерти Пра. Я бегу вниз, Фред уже уселся сзади. Я устраиваюсь впереди, рядом с отцом, который драит перчатками руль и смотрится в зеркало. — Фред, куда ты хочешь ехать? — Фред молчит. Он

сидит, забившись в угол и скрестив руки на груди. Отец ждёт, но это средство не действует. Тогда он поворачивается ко мне и вдруг заливается хохотом. Потом вылезает, достаёт что-то из багажника и возвращается, неся подушку, ещё толще той, на которой сидит сам. — Держи, Барнум. Тоже небось хочешь что-нибудь видеть? — Он подсовывает подушку под меня, но я становлюсь не выше, нет, ниже, подушка не приподнимает меня, а опускает ниже красного кожаного сиденья, отец же треплет меня по макушке: — Так-то лучше видно, Барнум? — Я киваю. Видно мне только край щитка и небо, оно синее с белыми расплывшимися наискось полосами. Отец спускается к Майорстюен и там сворачивает направо, опускает верх и несётся, придерживая шляпу, в сторону трамплина Холменколлён, за город. Прохожие провожают нас взглядами, что всегда доставляет отцу непреходящее удовольствие. Тёплый крепкий ветер бьёт в лицо. Я щурюсь. Сейчас мне видно почти все. Солнце заливает во все щели. Букашка шмякается о лобовое стекло и припечатывается к нему. Отец стирает её. Но полкрылышка остаётся. Сзади к нам пристраивается авто. Такси. Отец переключает скорость, и за следующим поворотом машина пропадает. — То-то

же, — удовлетворённо роняет отец. Дорога идёт круче. Мы одни. И вот уже мы видим трамплин и синее озерцо нижней арены. Отец притормаживает и оборачивается: — Ты здесь уже катался, Фред, помнишь? — Фред молчит. Отец вздыхает мечтательно: — Хорошо мы в тот раз съездили, только дождь пошёл. — Он задумывается. — Наверно, тогда мама в меня и влюбилась, Барнум. — Несмотря на дождь? — спрашиваю я. Отец смеётся: — Подумаешь, дождь. Поднял верх и поехал себе дальше в тёплое местечко! Верно, Фред? — Ответа нет. Во Фреде отключены все звуки. Внизу на дороге появляется медленно ползущее такси. — По-моему, нас преследуют, — шепчу я. — Ты большой выдумщик, — говорит отец, бросает быстрый взгляд в зеркало, трогает с места, уже без остановок добирается до последнего поворота и тормозит на самом краю обрыва: город, фьорд, лес лежат под нами, как будто мы запарковались на облаке. Отец вылезает, стирает рыхлое пятнышко с лобового стекла носовым платком и возвращается за руль. — Загляни-ка в бардачок, — говорит он мне. Я открываю ящик. Там припасена бутылка колы. Я достаю её с великой осторожностью. У отца имеется открывашка, он подцепляет крышку, первым делает большой

глоток и передаёт бутылку Фреду. Тот не желает пить. Сидит в углу, скрестив руки на груди, а ветер зачесал ему волосы назад высокой, вздыбленной волной. Тогда отец вручает бутылку мне, я делаю глоток, а потом мы долго молчим, над нами плывёт гладкое синее небо, подгоняемое тёплым ветром, который заодно раскачивает кроны деревьев словно зелёные факелы. Отец раскуривает сигарету и откидывается на подголовник — Парни, сомнений нет, сейчас нам здорово. Что скажете? — Да, — отвечаю один я. Отец кладёт перчатку мне на плечо. — Нам, мужикам, надо иногда побыть в своём кругу. Женщин нам никогда на все сто не понять. — А на сколько? — Что «на сколько», Барнум? — На сколько понять, пап. — Он долго тянет колу из бутылки, прежде чем вернуть её мне. — На два процента, — отвечает он. — Если не меньше. — Фред перелезает через дверь, отходит за дерево и писает. Отец курит. — С тобой он тоже так и не говорит? — шепчет он. — Нет, пап. — Я втягиваю голубой духовитый дым, и голова начинает чуть кружиться. Это приятно. Отец помалкивает. Потом запихивает окурок в пепельницу между нами. Когда он отворачивается к Фреду, всё ещё поливающему дерево, я выковыриваю

окурок. — Как дела в школе? — Я ниже всех в классе. — Это ещё не беда. — Я б хотел быть повыше. — Отцу смешно. — Я тоже был вполовину всех, Барнум. И посмотри, каков теперь. — Как на такие слова реагировать, непонятно: утешение это или предостережение? — Ясно, — шепчу я. Мы сидим каждый на своей подушке. Отцов живот подпирает руль. Его пышное бедро оплыло мне на коленку. — В своё время я был знаком с самым высоким человеком в мире, Барнум. Рост не принёс ему счастья. Даже наоборот. — А какой у него был рост? — Отец улыбается: — Его рост был предметом научных разбирательств. Но он был такой длинный, что не доставал до своих ботинок. — Я смеюсь. Вот это номер — не доставать до своих же ботинок. По лицу отца пробегает тень. Он закрывает глаза и нацепляет солнечные очки. И говорит слова, которые будет часто повторять за те несколько лет, что отделяют его от смерти. — Важно, Барнум, не то, что ты видишь, а то, что ты думаешь, ты видишь. — Фред наконец излил всё до конца и возвращается в свой угол сзади. От него буквально веет холодом, как будто его молчание морозит зубы. — Мы тут разговариваем о жизни. Ты ничего не хочешь сказать, Фред? — Нет ответа. И нет смысла ждать

его. Фред не включается. Отец вздыхает, на сей раз глубоко. — А тебе твоя афазия мешает? Или ты её не замечаешь? — И отец смеётся над своими словами. А Фред не смеётся. В нём не созрело ни звука, и отец сдаётся. — Однажды я в одиночку переплыл Москен. Это самая бешеная морская стремнина, какая только бывает. Болтаешься, как в зенках у дьявола. — Теперь и я молчу. Слушаю. Отец медленно оглаживает руль. — Но я всё равно доплыл, парни. В этом вся соль: доплыть. — Куда? — осторожно уточняю я. Отец снимает руки с руля. — Сюда, например. Вы — моя гавань. — И в этот момент появляются те два мужика. Они выходят из леса. Останавливаются на миг, оглядываются, точнее, переглядываются и идут к нам. Одеты в чёрное и шагают в такт. Я успеваю заметить, как отец тянется вынуть ключ зажигания, но с этим он опоздал и отводит руку, быстро вытягивает из-под меня подушку и суёт под себя, выпрямляется и поворачивается к тем двоим, ещё на одну подушку выше обычного. — Чудесная погода! — громко говорит он. — Арнольд Нильсен? — спрашивает один. Услышав своё имя, отец как будто удивляется. — Арнольд Нильсен? Вроде… да. — Второй распахивает дверцу. — Нам надо поговорить. — Отец сидит. Он буквально

цепляется за руль. С опрокинутым лицом. Потом выходит к ним, и все трое исчезают за деревьями. Я не понимаю, что к чему. Но чувствую, что дело неладно, раз у отца такое лицо. И мне как-то не по себе. Я жду, что Фред заговорит хоть сейчас. — Скажи что-нибудь, — шепчу я. Он молчит. Тоже напугался? Я оборачиваюсь к нему. Фред как Фред, только губы оттопырены в подобие улыбки. Всё страшнее и страшнее. Только б сейчас и не обделаться, и не расплакаться. Если вдавить ручник между сиденьями вниз, машина покатится вперёд и, наверно, остановится, только когда завязнет передними колёсами во фьорде. Я берусь за ручку, она горячая и подрагивает в кулаке. И пусть я нарушу все *правила движения.* Руки все в мурашках. Вдруг Фред отвешивает мне подзатыльник. Это такое счастье. Я отпускаю ручник и хочу сказать ему спасибо. Но не успеваю. Возвращается отец с теми двумя. Подходит к распахнутой дверце и смотрит на нас сверху вниз. Брюки замызганы. Шляпы нет. Волосы зачёсаны не на ту сторону. Он пытается посмеяться, но дальше попытки дело не идёт. — Похоже, вам надо выйти из машины, мальчики, — говорит он. Я подхожу к нему. Фред остаётся сидеть на заднем сиденье. — Выходи, — повторяет отец. А ну как

Фред сейчас заговорит? И сказанёт такое, что эти громилы рванут отсюда, мы рассмеёмся, и всё станет как прежде? Я так надеюсь на это! Что в последнюю секунду всё обойдётся. И по сию пору верю в это всегда, хотя неизменно обманываюсь. Фред молчит. Тянет резину. Отец наклоняется к нему. — Выйди, я прошу, — шепчет он. Фред передёргивает плечами, как будто ему наскучило, и наконец вылезает из машины. Те двое отпихивают отца и усаживаются в «бьюик». Тот, кому не досталось руля, вышвыривает подушки и заливисто хохочет. И они уезжают. Уезжают на отцовской машине и пропадают за поворотом. А мы остаёмся стоять. Это непостижимо. Пригоревший запах солнца с бензином. Отец снова отходит в лес и возвращается со шляпой. Она пошла волной. — Подушки, — шепчет он. Я подбираю их, и мы пешком отправляемся вниз, в город. Никто ничего не говорит. Первым идёт отец, он тяжело дышит, затылок лоснится потом, и в тёплом свете отец смахивает на кубик. Посерёдке иду я. С подушками. И, шагая так, в каждой руке с тяжёлой подушкой, я решаю ничего не есть. Фред перестал разговаривать, так я хотя бы перестану есть. Другого не дано. Как я раньше не докумекал. Если я не буду есть, я дёрну в высоту. Вместо того чтоб

расти в ширину, как, видно, делал все эти годы отец, прижатый к земле своей тяжестью, я махну вверх, худой и невесомый, меня поднимет голод. Отец хочет заглянуть и заведение под название «Горная хижина». Он берёт пиво. Но прежде чем приступить к нему, скрывается в туалете. Мы с Фредом садимся за столик у окна. На скатерти, между нами, букет чахлых цветов. Я сижу на подушках. Скоро они мне не понадобятся. Отец возвращается причёсанный, в вычищенных брюках, отполированных ботинках и со шляпой нормальной формы. За исключением синевы под глазами, которую ему не удалось замаскировать, вид у него обычный. — Бутерброд хотите? — спрашивает он. Я отказываюсь. Я уже перестал есть. И мне кажется, я чувствую, что уже расту. Отец залпом выпивает чёрное пиво и аккуратно ставит кружку, точно малейший звук может всё разрушить, ну не всё, конечно, а ту малость, что ещё осталась непорушенной. Отец устремляет на меня глаза: — Маме мы про это не скажем! — Я часто-часто качаю головой. Отец кивает и поворачивается к Фреду: — Если ты вздумал заговорить сейчас, то ты выбрал неподходящий момент. Продолжай свою афазию! — Потом мы идём домой. Мама заждалась. — Ну, вы и долго! — говорит

она. Отец забирает у меня подушки, уходит в гостиную и ложится на диван. Мама удивлённо глядит ему вслед. Фред переобувается и исчезает. Я стою один. — Хорошо прогулялись? — спрашивает мама. — Да, мам. — Я напрягаю голову изо всех сил, чтоб не брякнуть чего не надо. Главное, не проговориться. — А куда вы ездили? — На то место, где ты влюбилась в отца. — Она вытаращивается на меня и тоже задумывается. Потом подходит ближе. — Барнум, в твоём пенале пуговицы нет. — Нет? — Нет, Барнум, её нет. — Мама поворачивается к отцу, он лежит, положив голову на подушки и прикрыв лицо газетой, которая шуршит. — А на что тебе пуговица? — спрашиваю я. — Иди, мой руки! — отвечает мама и убегает на кухню, где что-то пригорает. Я иду в комнату и достаю пенал. Мама права — пуговицы нет. Или я посеял её в школе, или я знаю, кто её стянул. Пройдёт ещё много-много лет, прежде чем в следующий раз блеснёт эта пуговица, точно маленькое колесо, переехавшее наши жизни. — Еда стынет! — зовёт мама. Отец отсиживается в гостиной. В нашей комнате мешкаю я. Прислоняюсь к косяку и ставлю ладонь дощечкой поверх головы: всё на прежней отметке, хотя я меряю с кудрями. Но я ведь только начал го-

лодать, вряд ли можно дёрнуть вверх за счёт одного-единственного не съеденного в «Горной хижине» куска хлеба с сыром. Для этого надо не есть много больше. Мама теряет терпение и зовёт нас громче. Мы усаживаемся за стол на кухне. На обед опять рыбные фрикадельки. Места Фреда и Болетты пустуют. Мама наливает в стаканы воду. — А где ты поставил машину? — спрашивает она. Отец вдумчиво жуёт… нет, он давит фрикадельку зубами. — Болетта не в «монополькe», часом? — спрашивает он. Мама не отвечает. Отец набивает рот фрикадельками. — Тебе не кажется, что для её возраста она наведывается туда слишком часто? — Мама нахмуривается. — Я спросила, куда ты поставил машину, — повторяет она. И я осознаю вдруг, что ни один из них не отвечает на поставленный вопрос, а вместо этого сам задаёт новый. Отца я в таком положении ни разу не видел. Ему не удаётся хотя бы обратить всё в шутку. И глаза будто шатаются на лице. — Она в починке, — мямлит он. Мама ложится грудью на стол: — Что-что? — В починке машина, чёрт побери! — Он перешёл с шёпота на крик. Мама чуть съёживается. — В починке? У вас отказал мотор? — Отец быстро взглядывает на меня, похоже, его заклинило. — Ручник прощелкивает, — от-

вечаю я. Мама пожимает плечами и пускает по кругу кастрюлю. Я передаю её дальше. — Барнум, а ты что не ешь? — Мы перехватили бутербродов в «Горной хижине», рядом с мастерской, — отвечает отец. Повисает тишина. Похоже, на нас снизошёл покой. Но ненадолго. — Прощелкивает ручник? — желает уточнить мама. У отца лопается терпение. — Давно ты стала разбираться в автомобилях? — говорит он мрачно. — Я не сказала, что разбираюсь в них, — отвечает мама. — Ну так помалкивай! — Мама откладывает нож с вилкой и молча устремляет на отца глаза. Он сидит, низко повесив голову на пригнутой шее. — Мне не следовало так говорить, — бормочет он тихо. — Не следовало, — бросает мама и запирается в спальне на ключ. До утра она дверь не открывает. Всю эту ночь отец выискивает, что б сказать. — Я продал машину, — говорит он утром. Мать таращится на отца. Он смотрит на меня. Болетта встаёт с дивана. Фред выходит из ванной. — Продал машину? — переспрашивает мама. Отец кивает. Мать не может уложить новость в голове. — Мы же собирались летом в путешествие? — говорит она. Отец смотрит в пол. — Дорогая, может быть, на следующее лето? — Мать снова хлопает дверью, но тут же

распахивает её: — На следующее лето? Но я пообещала Барнуму путешествие в этом году! — Отец оборачивается ко мне. — Ничего страшного, — шепчу я. Отец раздвигает закаменевшие губы в улыбку: — Вот видишь. — А зачем ты продал машину? — спрашивает Болетта. Отец делает вдох. — Нам нужны деньги, — говорит он. Мать топает ногами, она крепко закусила удила. — Ты лжёшь! — кричит она. — Врёшь мне прямо в глаза! — Отец не знает ни что сказать, ни куда девать взгляд. Поэтому разыгрывает оскорблённую невинность, и мама звереет окончательно. Я встаю между ними. — Важно не то, что ты видишь, — говорю я. — А то, что ты думаешь, что ты видишь. — Отец благодарно кладёт мне на плечо свою гладкую, негнущуюся руку, мама качает головой, мама ещё месяц будет ходить мрачнее тучи, а пока она громыхает на кухне и делает мне с собой бутерброды, которые я всегда могу украдкой выкинуть в помойку. Вообще моя голодовка привлекла к себе столь же мало внимания, как до этого моя афазия. Но держался я долго. Голодал тайно. Это была моя персональная, желудочно-кишечная афазия. Я подошёл к проблеме с умом. Если Эстер угощала меня ирисками, я прятал пакет под камнем за телебашней. В школе, за

обедом для нуждающихся, я делал вид, что ем и морковь, и хлебцы, намазанные икрой, а потом бежал в туалет и совал два пальца в рот. Дома я просто передавал дальше блюда, и никто ничего не говорил. Я жил невидимкой. Голод сделал меня прозрачным и неуловимым. Ежевечерне я мерил свой рост у косяка, но изменений пока не наблюдалось. Отметка оставалась на прежнем уровне. Ничто не двигало с места мою неколебимую кучерявую недорослость. Я советовал себе набраться терпения. Расти — дело небыстрое. К счастью, всем хватало своих забот. Мама продолжала злобствовать по поводу машины, отец из кожи лез, чтоб умаслить её, таскал цветы, проводил все вечера дома, мыл окна и твердил, что она хороша как никогда, да всё без пользы дела — мамин гнев на полпути не остановить, он кипит, пока сам не выдохнется. Болетта пила пиво в «монопольке», а Фреда занимала лишь собственная афазия. Хотя однажды вечером мне показалось, что он посмотрел на меня, посмотрел новыми глазами, я даже подумал, что он скажет что-нибудь: как я изменился, стал сам на себя не похож, но не тут-то было. Я похудел на несколько килограммов. И жаждал обменять их на сантиметры. Но вот они-то и не спешили нарастать.

Поначалу меня одолевала слабость. Я едва поднимался по утрам. Все силы уходили на то, чтоб не есть. Думал я исключительно о голоде. И то и дело приходилось бегать в туалет. Но это скоро пришло в норму. Поскольку нечего было отдавать. Это понятно, это простое уравнение. Единственное, выше я пока не стал. Но я не сдавался. Не ел с утроенной силой. И превратился в тень глисты на весеннем солнце. Никто не видел моего голодания, пока я в последнюю пятницу перед летними каникулами не бухнулся без сознания на уроке по истории религии Шкелете на руки и меня не отнесли в школьный медпункт. Я пришёл в себя на тамошнем матрасе. Голод звенел в голове диковинной песней. Одежды на мне не было, и врач большими озабоченными глазами рассматривал моё исхудалое костлявое тело. — Как давно ты ел в последний раз? — спрашивает он. — Давно, — отвечаю я. Школьный врач качает головой. — Но почему ты не ел? — На этот вопрос я не могу ответить. Не могу выложить всё начистоту. Он мне не поверит. — Не знаю, — тяну я чуть слышно. Врач кладёт мне палец на запястье и громко считает вслух. — Тебя дома не кормят? — спрашивает он, покончив с этим. И вот тут я ошибся с ответом. Я понял это в ту же секунду, как выговорил слова.

Уста мои обременили себя ложью, и эта ложь повлекла за собой разные последствия. — Не особенно, — вот что ответил я. Школьный врач переглянулся со школьной медсестрой, которая стояла у двери, скрестив руки на груди. И тут же позвонила матери. Меня взвесили и разрешили одеться. Мама пришла через час. Сперва у неё был долгий разговор с врачом и директором школы. Я ждал на матрасе. Караулила меня медсестра. Может, боялась, что я сбегу? Она знала наверняка, что этого не надо опасаться. У меня сил не было. Я едва смог поднять руку и почесать снизу нос. — Значит, дома тебя не кормят, да? — сказала она. Я собрался было ответить, что это неправда, еды у нас завались, квартира ломится от пищи, тут тебе и рыбные тефтели, и котлеты, и жаркое, и супчик из цветной капусты с маринованными огурчиками, но мама помешала, она выскочила от директора красная, как свёкла, горбясь от стыда. Она — мать не только молчуна-придурка с афазией, у неё есть и второй сын, уморённый голодом недомерок. Вдруг она выпрямилась, сдула чёлку со лба, глаза волевые и ясные. — Барнум, что вчера было у нас на ужин? — Остатки, — шепчу я. Она взяла меня за руку и потащила за собой. Но, дойдя до парка, пала духом, села на скамейку

и заплакала. — Как ты можешь такое говорить? Что тебя не кормят? — Меня не так поняли, — шепчу я. Мама ломает пальцы. — Ну чем, чем я провинилась? — Я подхожу ближе. — Мама, ты ни в чём не виновата. — Она поднимает на меня глаза и словно впервые видит меня, замечает, как я тощ, и обнимает. А рёбра-то выпирают под рубашкой, как костяшки счётов. Мама заходится в плаче горше прежнего: — Ну что нам с тобой делать, Барнум? — Ответ на этот вопрос получается безотлагательно. В письме школьного доктора. Он пишет, что меня отправляют в деревню, где я в течение двенадцати дней буду проходить курс откормки. Теперь свирепеет отец. Он стучит кулаком по столу, он говорит «нет», но выбора им не оставлено. Больше я пока ничего рассказывать не буду, упомяну лишь название: курс реабилитации Вейера Митчела и что на вокзал меня проводила мама, со мной ехал рюкзак, в котором лежала одежда, зубная щётка и линейка, на станции Дал меня встретил лично хозяин хутора, и мы на его грузовике добрались до места, на берег озера под названием Хюрдал. Вечером его было видно в моё окно. Там на лунной дорожке играла рыба. У хозяина была жена с большими руками. Кроме меня на хуторе откармливались

ещё двое мальчиков. Я был самым худым. Домой я вернулся как кубышка. Но ещё до начала нового школьного года стал собой прежним, не выше и не ниже, не шире и не уже, вечный Барнум, словно ничего и не было, словно курс Вейера Митчела в Хюрдале мне привиделся. Меня вызвали к школьному доктору и исследовали вдоль и поперёк, от зада до зоба, по результатам чего было выяснено, что я поправился, курс пошёл мне на пользу, жир распределён по телу равномерно, кишки всасывают и испражняются бесперебойно, всем бы так. — На хуторе хорошо было? — спросил врач. Я не нашёлся с ответом, просто кивнул. Мать с отцом вздохнули с облегчением, Эстер смогла сунуть пальцы мне в волосы, а весь класс животики понадорвал, потешаясь надо мной, потому что за это лето девчонки все как одна повырастали, они ужасно прибавили в росте, обставили меня, а я остался один в низине, на диком холоде, я и держал себя ниже травы, потому что на всех мне приходилось смотреть снизу вверх и не на кого мне было глянуть свысока. Меня подмывало рассказать Фреду про жизнь на хуторе. Что хорошо там не было. Но и на это духу не хватало. Фред был молчаливее прежнего. От его молчания пустели улицы и города. Мо-

жет, есть курс реабилитации и для онемелых? Эта мысль меня привлекала. Я представлял себе хутор за городом или парк, где под деревьями рассажены немые, они должны разговаривать друг с другом, словечко в первый день, четыре во второй, а к последнему, двенадцатому, дню они доходят до целого предложения. Я окрестил программу *курсом Барнума.* Но для Фреда программ не придумали. В сентябре полили дожди. Отец отсутствовал оба выходных дня. Появился он в понедельник. Он не удосужился снять пальто или хоть мокрые ботинки. А прямиком прошагал в гостиную и водрузил на стол огромную картонную коробку. Решил обрадовать маму раз и по гроб жизни. — Идите смотреть! — крикнул он. Мы все собрались вокруг коробки. Отец между тем решил потянуть время. Он тщательно вытер перчатки носовым платком, причесал волосы, сунул в рот сигарету и оглянулся в поисках спичек. — Сгораете от нетерпения? — поинтересовался он. Но обманулся в своих ожиданиях. Отсрочка не вывела нас из себя. Мы не стали топать, не накинулись на коробку со всех сторон, раздирая её на части. Короче говоря, вели себя как жалкие неблагодарные зрители. Возможно, всех утомили события, обрушившиеся на нас вслед за тем, как

король Хокон и прабабушка Пра ушли из жизни с разницей в несколько часов, новые порывы были нам не под силу, малейшая капля грозила переполнить чашу плюс отец затянул представление сверх предела наших притупившихся чувств. На миг отец растерялся, он вынул сигарету изо рта и сунул её обратно в портсигар, точно решил перенести время назад и начать номер сначала. Этот трюк не возымел действия, отец был глубочайше недоволен нами, оскорблён и вынужденно принялся импровизировать. Точнее говоря, он подхватил коробку и понёс её из комнаты. Может, он подумал войти с ней ещё раз, другим манером, сняв пальто и следящие ботинки: дубль сам по себе даже вселял надежду, что иногда человеку всё же позволено переделывать свои поступки второй раз, набело. — Ты куда? — спросила мама. Отец остановился и медленно обернулся с наигранным удивлением. — О, а я не заметил, что вы тут, — сказал он. — Тут мы, Арнольд, тут, — улыбнулась мама. Мы все были в гостиной, я, Болетта, мама, даже Фред. Отец переводил взгляд с одного на другого и делал вид, будто сейчас только нас заметил. — Вот только мусор выброшу, — ершисто ответил он. Пришлось матери подластиться: — Не ерунди. Давай посмотрим, что там у те-

бя. — Отец ещё покочевряжился, но вернулся к столу с коробкой, понимая, что теперь перевес на его стороне и он надёжно держит нас в своих умелых руках трюкача. — Не знаю, — вздохнул он, — заинтересует ли вас мой скромный презент. — И с этими словами он разорвал верёвку, откинул крышку, втянул воздух, и мы выкатили глаза, когда он извлёк на свет граммофон, самый настоящий граммофон с радио, двумя скоростями — на тридцать три и сорок пять оборотов, и автоматической головкой. Мы подошли ближе. Потрогали чудо руками. Отец достал сигарету и закурил, довольный представлением, несмотря на некоторые накладки. — Жаль, пластинок у нас нет, — огорчилась Болетта. Как будто отец сам не подумал об этом! Это мгновение он и предвкушал. Сдувая дым с верхней губы и оттого улыбаясь криво, он сказал: — Во исправление этого, я представляю сему дому новую звезду, сказочно ярко воссиявшую на музыкальном небосклоне. — Неизвестно откуда в руках у отца вдруг оказывается жёлтый диск. Теперь охнули мы все, кроме Фреда. Отец шепнул: — Клифф Ричард. — Потом он бережно положил пластинку на диск, нажал кнопку, головка самостоятельно скользнула вниз на место, иголка встала в бороздку, что-то зашур-

шало, затрещало, и сперва прорезались тёмные студенистые звуки, потом низкий мужской голос медленно запел, это было похоже на похороны короля Хокона в обратной перемотке. Отец засуетился, сунул сигарету Болетте в рот и трижды прокрутил кругляшку. Пластинка завертелась быстрее, игла скакнула через пару бороздок, но наконец мы услышали, так чисто и ясно, как если б он пел тут у нас в гостиной: Клифф Ричард затянул свою *Livin' Lovin' Doll.* И пел её непрестанно. Едва песня заканчивалась, головку переставляли на начало. Уже лёжа в кроватях, мы продолжали слышать *Livin' Lovin' Doll.* Мама с отцом танцевали в гостиной, а Клифф Ричард пел. Потом их возбуждённые голоса послышались из спальни. То же повторилось на следующий день. Клифф Ричард пел *Livin' Lovin' Doll,* мама с отцом танцевали в гостиной, а остаток ночи шумели в спальне. Фред не возвращался, пока всё не угомонится. Болетта эвакуировалась в «монопольку». Один я лежал, накрыв лицо подушкой, и вечер за вечером слушал эти затяжные концерты — Клифф Ричард, L*ivin' Lovin' Doll,* диковинная возня, после которой всё непременно умолкало. Мама с отцом вновь обрели друг друга и оба на пару — Клиффа Ричарда. В таком режиме всё тянулось до осени.

Мне бы радоваться. А я не радовался. Пра умерла, Фред молчал, я не рос. Метка на дверном косяке замерла на месте. И долго-долго, стоило мне услышать Клиффа Ричарда, его сухой, но глянцевый голос, голос без изъянов, красивый и невидимый, услышать случайно, по радио в лифте или у стойки бара, как у меня начинало саднить сердце и появлялся привкус горя, мгновенно увлекающий в стыд или панику; так я реагировал вплоть до того мига, как своими глазами увидел Клиффа на бортике бассейна берлинского отеля «Кемпински»: тут только чары развеялись, вид Клиффа залечил рану в сердце, горе превратилось в смех, как и Фред в свой срок оборвал затянувшееся молчание. Потому что однажды вечером из гостиной не донеслось ни звука, и продолжения тоже не последовало. Я долго лежал без сна и ничего не слышал. Граммофон молчал. Я ждал напрасно. На следующее утро ко мне зашла мама. С граммофоном в руках. — Вот, пожалуйста, — сказала она. Хотел я спросить, что случилось, но не спросил. Она поставила граммофон на стол и вышла. Отец не показывался дома несколько дней. Болетта маялась головной болью. Вернулся Фред, по-прежнему немой. Выпал снег. Мы жили в немом кино. Текста в нём не было даже между

сценами. Снег шёл. Как снега в рот набрать. И тут у меня лопнуло терпение. Причём в самый что ни на есть обычный вечер. Весенний, уже весна началась. Я слышал, как пронеслись наперегонки вниз по Киркевейен велосипедные звонки. Комнату переполняли тишина и солнце. Я стоял у дверного косяка и замерял свой рост. Ни сантиметра вверх. Хоть бы звук тогда. Мне надо было услышать звук. Я нажал кнопку на граммофоне. Головка поднялась. Легла в бороздку. Я сдул пыль с иглы. Никогда ещё в голове моей не было так тихо. И в ту же секунду или мгновением позже, на излёте секунды, Клифф Ричард снова, в последний уже раз, запел в стенах нашего дома *Livin' Lovin' Doll.* Затем Фред встал, сорвал головку, запустил пластинкой в стену и выпучил на меня глаза. Стало вдвое тише. — Прикажешь мне убить твоего отца? — спросил он. Фред заговорил. Это первое, что он сказал. Я так обрадовался! Засмеялся и переспросил: — Что ты сказал? — Фред подошёл ближе: — *Прикажешь мне убить твоего отца, Барнум?* — Я подавился смехом. А Фред подхватил граммофон, снёс его во двор и выкинул в мусорный ящик. Я думаю, его прибрал к рукам домоуправ Банг, у него была привычка копаться в мусоре прежде, чем его уве-

зут, но починить граммофон он, видно, не сумел. Я побежал в гостиную. Мама сидела у открытой балконной двери и дремала. — Фред заговорил, — зашептал я. Она медленно проснулась, подняла голову и согнала с глаз сон. — Ты что-то сказал, Барнум? — Фред заговорил! — Мама вскочила на ноги: — Заговорил? — Да, мам! Фред заговорил. — А что он сказал? — спросила мама. Я замолчал. Мама взяла меня за локоть и потрясла: — Барнум! Что Фред сказал? — Я глядел в пол. — Он сказал, что не любит Клиффа Ричарда, — ответил я.

(некролог)

Однажды утром раздался мамин крик. Мы завтракали на кухне. Фред давным-давно начал разговаривать, но ничего не говорил. Теперь помалкивал отец. Он оплакивал потерю граммофона. И тем более «бьюика». Да и нас всех не тянуло на болтовню. Мы скорбели о прабабушке Пра. Иногда я даже думал, что хорошо бы мы все вправду онемели, заразились афазией, раз набралось столько вещей, о которых всё равно не стоит говорить. И тут раздался мамин крик. Она пошла за газетой. И бегом ворвалась к нам, в сползшей на одно плечо ночной рубашке, с колтуном на голове и зажатой в руке, как флаг,

газетой «Афтенпостен». — О нас написали в газете! — кричала она. Никогда, ни до, ни после, не доводилось мне видеть её в таком возбуждении. Она смела еду в сторону и разложила газету на столе. Теперь мы увидели это своими глазами. Статью о Пра. Некролог, опоздавший на два года. Мама села между нами, уже плача. Болетта, которая обретала способность видеть чётко не ранее вечернего выпуска, склонилась над столом, бледная и потрясённая. — Читай, — прошептала она. И мама взяла газету в руки и стала читать вслух, на языке своей бабушки, и так я и запомнил эти нескладные, размякшие датские слова в мамином исполнении.

НЕЗРИМАЯ ЗВЕЗДА

Великолепная Эллен Эбсен отыграла свою земную роль и покинула шаткие кулисы современности. Сердца нас, знавших её, полны глубокой печали, она вряд ли оставит нас прежде, чем мы последуем за Эллен во мрак. Она родилась в 1880 году в Кёге. Её отец был уважаемым седельных дел мастером и обивщиком, но Эллен пошла в мать, от неё она ещё в нежном возрасте, вслушиваясь в мамины истории

в сумерках гостиной, которую наполнял будоражащий фантазию дух томящихся в печке-голландке яблок, переняла любовь к искусству рассказывания.

Но лишь когда Эллен познакомилась со своим Вильхельмом, молодым бравым моряком, судьба её сделала первый крутой поворот, положивший начало столь многому. Они встретились в Копенгагене, куда семейство Эбсенов приехало погулять, на катке у Морского павильона, и упустить такую красавицу моряк не смог. Нет смысла скрывать, даже в этих, посмертных, строках, что родители Эллен не были в восторге от этого альянса и сделали всё, чтобы расстроить его. Я пишу это не с целью бросить тень на их память, напротив, лишь для того, чтобы показать, в каких горнилах закалялась любовь молодых. Но, как сказал поэт: «Великая любовь приводит к роковым несчастьям». Они так и не стали мужем и женой. В июне 1900 года Вильхельм нанялся на парусник «Антарктика», который вышел из Копенгагена в Гренландию, дабы привезти для зоосада

овцебыка. Домой Вильхельм не вернулся. Он сгинул во льдах. Он не возвратился на корабль из рейда на другую сторону фьорда, куда они с помощником заряжающего отправились в поисках овцебыка. Следы Вильхельма обрываются у скалы, а тело так и не найдено. Мир памяти его. Но в Кёге его ждала она. Ждала напрасно. И в тот же год она произвела на свет их с Вильхельмом дочку, которую окрестили Болеттой. Умолчу о неслыханности, по тем временам, такого поступка, скажу лишь коротко, что она порвала с семьёй и перебралась в Копенгаген, где вскоре заняла место в кассе первого датского кинотеатра, на Виммельскафтет. Это была заря кинематографа, самое начало эры живых картин, когда фильмы назывались «Сюзанна в ванне» и «Проделки эмигрантов, или Пропавший кошель с деньгами», и многие зрители, и зрелые господа, и необузданные юнцы, охотнее глазели на Эллен Эбсен, чем на загадочных экранных барышень. Одним из тех, кто не смог оторвать от неё глаз, был легендарный Уле Ульсен, комик и кино-

режиссёр. Он обнаружил Эллен Эбсен в кассе кинотеатра на Виммельскафтет и понял, что это лицо создано для немого кино, ибо, когда её возлюбленный, отец её дочери, пропал, красота Эллен стала глубже, на её лице была написана сама трагедия, а в глазах — закон любви. Она убеждала без слов. И Уле Ульсен тут же пригласил её в свою, как он выражался, «артистическую конюшню». Летом они с малышкой Болеттой уже в садовом товариществе на Висбю, где павильоном служила ветхая избушка, позднее превратившаяся в студию «Нурдиск-фильм». Наступило божественное время! Мы бесстрашно хватались и за комедии, и за ужасы, нимало не прозревая будущего, которое тем временем творили, и Висбю тогда был могущественнее Голливуда. Здесь был и прославленный комик Сторм-П, и настоящие китайцы, дикие львы, дёревья с пририсованными пальмовыми листьями, убийства и романтика. А в центре этой художественной вакханалии стояла Эллен Эбсен как столп печальной красоты. Она могла бы стать

Астой Нильсен и Гретой Гарбо могла бы. Тем более позорно и нелепо, что будущие поколения не увидят её. Снятое тогда в Висбю пропало, а из поздних фильмов её вырезали. Мгновение Эллен Эбсен в электрическом театре стёрлось начисто. Она — первопроходец, которого затмили тени тех, кто шёл за ней.

Она недолго пробыла с нами на Висбю. Два события и глубокая тоска увели её в 1905 году на север, в Норвегию: датский принц Карл должен был короноваться на норвежский престол, а сама Эллен получила предложение сыграть в первом норвежском художественном фильме «Тяготы рыбацкой жизни». К тому же в Норвегии она чувствовала себя ближе к своему суженому, которого не переставала ждать, такое уж у неё было сердце: верное до конца наперекор пресной рассудочности. Но когда судьба делает крутой поворот, нельзя знать наверное, что ждёт тебя за ним. Роль Эллен Эбсен в «Тяготах рыбацкой жизни» вычеркнули из фильма по финансовым или превратно истолкованным художественным со-

ображениям. В фильме осталось всего три персонажа: родители и их сын, по ходу действия тонущий во Фрогнеркиле, призванном изображать бушующее безжалостное море. Давайте так прямо и скажем, что эта не сыгранная Эллен Эбсен роль стала не столько разочарованием для неё лично, сколько трагедией для норвежской кинематографии, которая с трудом пережила свой столь «блистательный» дебют. Сыграй Эллен Эбсен главную роль — возлюбленной погибшего сына, — фильм зазвучал бы совершенно иначе и мог бы потрясти зрителя. А разве не это наипервейшая задача кино — всколыхнуть публику, заставить её смеяться и плакать, впадать в отчаяние и с облегчением переводить дух? После этого скандального недоразумения Эллен Эбсен отказалась от карьеры в кино и поступила служить на Центральный телеграф, куда позже пришла работать и её дочь Болетта. Эллен Эбсен осталась в Осло и прожила там до самой своей смерти, настигшей её в тот день, когда ушёл из жизни и её принц, король Хокон.

Её судьба была подчинена той логике, что превыше искусства и опровергает веру в случайности.

Я пишу это сейчас, спустя два года после её смерти, о чём я только узнал, в уверенности, что никогда не поздно вспомнить настоящего человека и воздать ему должное. Эллен Эбсен мы проморгали. И я хочу, чтобы эти простые слова, написанные с печалью и благодарностью, увековечили её и подняли на тот небосклон, где ей пристало сиять.

С уважением,
Флеминг Брант, Белладжо, Италия

Когда мама дочитала некролог и отложила газету, плакали все. Газетные слова пухли в нас, слова, которые приходят, когда всё уже позади, как письмо из Гренландии: когда оно дошло, отправитель давно сгинул во льдах. Наконец мама вздохнула: — Жаль, Пра этого не прочла. — Отец вскочил рывком: — Кто такой, чёрт побери, этот Флеминг Брант? — Мама посмотрела на Болетту, но та, бледнее прежнего, лишь покачала головой и отвела взгляд туда, где мы не могли встретиться с ней глазами. — Понятия не имею, — прошеп-

тала она. Фред открыл рот: — Белладжо — это где? — спросил он тихо. — В Италии, — молниеносно ответил я. Фред перегнулся через стол и ткнул меня в висок — Моська, ты думаешь, я читать не умею, а? — Мама вмешалась раньше, чем я заплакал: — Мальчики, не ссорьтесь хоть сейчас. — Она достала из кухонного ящика ножницы и аккуратно вырезала некролог, и я слышу, ясно и свежо, как будто я не ушёл из-за стола тем утром, а так и сижу там, звук тупых ножниц, прорывающих бумагу, маме приходится резать в два движения, с нажимом, а потом остальные сообщения о смерти летят в помойку, потрескивая точно искры, эти чёрные колонки с именами, похожие на титры никем не увиденного фильма. В этот день мы не идём в школу. Мама пишет нам записки. У нас хором прихватило живот. Я смеюсь над этим, а мама на меня шикает. Потом мы отправляемся на кладбище. Все, кого мы встречаем, спускаясь по Киркевейен, здороваются не так, как обычно, они кивают, оборачиваются и глядят нам вслед долго после того, как мы проходим мимо. Они читали «Афтенпостен» и знают, от какой звезды мы ведём свой род. Это чёрным по белому напечатано рядом с извещениями о смерти, тут не поспоришь. Эстер открывает окошко своего

киоска и машет нам перчатками без пальцев. — Поздравляю! — кричит она. Мама машет в ответ: — Спасибо! — Но когда мы останавливаемся у могилы Пра, Фреда среди нас нет. Он мелькает среди деревьев Фрогнерпарка. Мама окликает его. Фред не слышит. Камень, на котором высечено прославленное имя *Эллен Эбсен 1880–1957,* покосился. Отец думает выправить его, он упирается в чёрный камень плечом и давит, а я встаю позади отца и подпихиваю, но у нас ничего не выходит. Камень вытолкнула мерзлота. Вода смёрзлась в почве. Мёртвым холодно в их ледяных постелях. Отец тем временем не собирается сдаваться. Он сердит на этот камень. И полон решимости поставить его на место. Мама пытается остановить его, но отцово упрямство тоже смёрзлось, и его не проломишь. Отец изо всех сил налегает на этот строптивый камень, торчащий косо и богомерзко, отец ругается, мама зажимает уши, Болетта хватает меня за руку, но камень сильнее, в конце концов он опрокидывает отца, опрокидывает навзничь и побеждает, потому что внезапно отец синеет и начинает биться в судорогах на могиле Пра. Мама падает на колени с криком: — Арнольд! Арнольд! — Отец шарит по траве рукой. А потом затихает и остаётся лежать совершенно

неподвижно, прижавшись щекой к холодной земле, точно он прилёг поспать тут, у подножия кривого надгробия. Болетта бежит в часовню позвать на помощь. У меня мёрзнут ноги. Я слышу орган. Мама трясёт отца. Наконец он медленно садится, удивлённо смотрит на меня, отряхивает землю с пальто и поворачивается к маме. — Не сердись, — шепчет он. Мама с плачем обнимает его. — Я не сержусь, что ты. Чего сердиться?! — И она, наоборот, заливается смехом. Отец отдыхает в её объятиях. И так они сидят на могиле Пра, пока не прибегает Болетта. — Звонарь вызовет «скорую», — кричит она. Отец отстраняет мать и устремляет глаза на Болетту, та стоит, задыхаясь в облаке пара. — «Скорую»? — переспрашивает он. — Болетта, ты нездорова? — Мама гладит его по щеке. — У тебя, наверно, удар, Арнольд, тебе нужно в больницу. — Отец было встаёт, но ноги подкашиваются. Он рухает, как мешок, и матерится ещё злее прежнего. — Я не поеду в больницу! Слышите? Не поеду! — Он старается встать, но как будто огромная рука прижимает его к земле. — Помогите же мне, чёрт побери! — кричит отец. — Ну! — Общими усилиями мы поднимаем его. Он едва держится на ногах. Его трясёт. Мы слышим приближающуюся сирену.

Отец поглубже надвигает шляпу на голову. — Прощевайте, — говорит он. Мама вцепляется ему в пальто. Но отца не остановить. Он идёт страшно медленно, словно предваряет каждый шаг мучительными раздумьями. «Скорая» задом въезжает в ворота, и двое мужчин в белых халатах бегом направляются в нашу сторону. Мама показывает на отца, которого шатает от могилы к могиле. Халаты бросаются за ним. Но отец не собирается в больницу. Он отгоняет врача, и сперва кажется, что сейчас они его арестуют. Но потом они отступаются: пусть его, и мама неловко и долго извиняется. Болетта замечает, что Пра запретила бы ровнять свой камень. Он так и должен стоять, нарушителем порядка и покоя кладбища Вестре Гравлюнд, косым напоминанием о её самобытности. Но весной, когда солнце развозит почву у нас под ногами, камень встаёт ровнёхонько, как линеечка из чёрного камня, точно Пра приподнялась во сне, в самый последний раз, и поправила подушку.

Тем вечером сон не шёл никак. Мама не ложилась, она ждала отца и нервно вышагивала взад-вперёд, выглядывала в окно, присаживалась на диван, но усидеть не могла. Болетта спрятала некролог в тот же ящик, что и письмо из Грен-

ландии. От внезапного навязчивого страха, как бы мамин ложный звонок в «скорую» не обернулся теперь правдой, у меня скрутило живот, содержимое желудка забродило и запросилось наружу. Но тут я получил удар в лоб. Это оказался тугой катышек обёрточной бумаги, запущенный Фредом. А когда Фред что-нибудь кидал, он обычно не промахивался. От него разило табаком, запах доносился даже туда, где без сна лежал я. — Он чуть не помер? — спросил Фред. — Так нам показалось, — прошептал я. — Как он выглядел? — У него посинело лицо, — сообщил я тихо. — Насколько? — Что ты имеешь в виду? — Фред запустил в меня новым катышком. — Он стал слегка синим или очень синим? — Я задумался. — Он был совсем синий, — ответил я. Фред хмыкнул в темноте. — Он чего-нибудь сказал? — Да, — прошелестел я. Фред потерял терпение и больше не хмыкал. — Барнум, ты разговариваешь только из-под палки? — Не сердись, — сказал я. Фред застонал: — Барнум, я не сержусь. Теперь отвечай — что он сказал? — Это он и сказал: «не сердись». — Фред долго лежал молча. Потом спросил: — А мама что? — Сказала, что не сердится, — ответил я. Фред ругнулся. И тут пришёл отец. Он не стал крадучись пробираться

вдоль стеночки. О нет, он пришёл в полный рост, не стараясь казаться меньше, чем всё же был. Так он был устроен: сию секунду повержен, а через минуту вновь на коне, удары сыпались на него — и отскакивали, то, как он, весь синий, жалко бился на могиле Пра, уже быльём поросло, теперь — снова-здорово! — триумф и громогласность. Я побежал в гостиную. Ползая на коленях, отец разворачивал на полу огромную карту. Я встал между мамой и Болеттой. Он разворачивал Европу, она оказалась размером почти с наш ковёр. Отец звонко хлопнул кулаком по карте. — Вот! — крикнул он. — Белладжо здесь! — Мы нагнулись посмотреть. Белладжо нашлось в самом верху Италии, рядом с маленьким синим озером под названием Комо. — Далеко от нас, — прошептал я. — Далеко? — вскинулся отец. — Да это не дальше, чем до Рёста. — Отец покачал головой и упёр второй кулак в Рёст. — Тоже мне, огромная Европа — этой картой только нос подтереть! — Ишь развоевался, — сказала мама и засмеялась. Но отец и не думал униматься. Он лицедействовал. Упивался моментом. — Вот если б мы собрались в Америку, тогда уместно было бы говорить о расстояниях — А где Гренландия? — Все обернулись к Фреду. Он стоял, подперев стену, с перекошен-

ным лицом. — Хороший вопрос, Фред. Здесь на карте Гренландии нет. Но если ты посмотришь под диваном, там она должна найтись. — Фред не шелохнулся. — Я думал, ты умер, — сказал он. Стало очень тихо. Фред повернулся и ушёл спать прежде, чем кто-нибудь успел открыть рот. Отец засмеялся, но с опозданием, причём смех как-то не подходил к выражению лица. Я заполз под кровать поискать Гренландию, но нашёл лишь облепленную пылью пастилку и винную пробку, от которой шёл тяжёлый и сладкий запах. Отцу пришлось вытаскивать меня наружу. — Смотри внимательно! На этой машине можно объехать всю Европу, — сказал он и протянул мне спичечный коробок. Я долго разглядывал его. — Это не машина, — шепнул я. — Машина, Барнум. — Это — спичечный коробок, — сказал я. Отец испустил вздох. — Нет, — ответил он чуть более колючим голосом. — Присмотрись получше. Ты увидишь, что это, конечно, машина, более того, кабриолет «бьюик-роудмастер». — Я присмотрелся изо всех сил. — Теперь вижу, — выдохнул я. Отец положил руку мне на плечо. — Но если ты решишь плыть, то она может превратиться и в судно тоже. — Он вытащил спичку и воткнул её в крышку. — Видишь? Теперь ты можешь пройти вдоль берега,

например, в Рёсте. — Пап, мне больше нравится ездить на машине. — Отлично, Барнум. Только не забывай о левостороннем движении в Швеции. — Отец прикурил сигарету от мачты, и коробок снова превратился в машину, в «бьюик», просторный для нас всех. Я лёг животом на карту и начал своё путешествие из Осло на юг. Растрясло меня раньше, чем я добрался до Свинесюнда, а Скагерак вообще доконал. Я не заметил, как мама относила меня в постель. Я думал лишь об одном — как бы не вырвало. Больно крутыми оказались повороты. И скорость запредельная. Луна висит в заднем стекле, как золотой руль. Я паркуюсь. Ночь — это гараж. Фред спит беспокойно. Каждый раз, когда ты закрываешь глаза, ты делаешь скачок вперёд. Одно моргание равноценно одному кадру фильма о твоей жизни. Во сне я склеиваю куски плёнки, сращиваю время так, чтобы у водянистого студня получился крепенький срез. Я маленький божок, который вырезает всё, чего не было в сценарии. А когда отец будит нас, комната залита светом, лето и у мамы день рождения.

(божественная комедия)

И мы крадёмся к маме. Первым идёт отец, он несёт зажжённую свечу, но её пламя едва раз-

личимо в свете солнца, затопившего комнату. Болетта напекла, как она утверждает, плюшек, но я думаю, что она вчера купила их на Майорстюен, а сегодня погрела в печке и понатыкала лишних изюмок. У нас с Фредом готово по подарку для мамы. Мы останавливаемся в дверях и поём именинную песню *Happy Birthday!* Отец старается громче всех. У него узел на халате расплёлся. Мы выводим второй куплет. Мама тихо лежит в кровати спиной к нам и головы не поворачивает. Мы тоже замолкаем. Отец приходит в нетерпение и тихо окликает: — Вера! С днём рождения! — Никакого ответа. Она или спит, или не желает нас слышать. Болетта хмурится. — Пожалуй, оставим её на время одну, — говорит она. Фред бледен, плоский пакетик с подарком он сжимает обеими руками. Отец принимается спорить: — Так не пойдёт. У неё день рождения! — Его голос задувает свечку, и тут наконец мама поворачивается. Лицо серое, изможднное, я едва узнаю её. Волосы висят космами, как будто она ни разу в жизни не наведывалась в парикмахерскую. Она смотрит на нас огромными сухими глазами. Может, не узнаёт нас? И принимает за чужаков, нагло вломившихся в спальню? Мне страшно так, как не было, наверно, ещё никогда в жизни.

На глаза наворачиваются слёзы, но я не решаюсь зареветь, лишь всхлипываю. Фред лягает меня по ноге. Отец идёт к кровати. Болетта удерживает его за плечо, но он стряхивает её руку. Он озадачен и обижен. — Вера, ты не заболела? — Мама отлепляется от подушки. — Сколько мне лет сегодня? — спрашивает она. Отец останавливается. Издаёт смешок. — Так, так, ты и это забыла, — говорит он. — Сколько мне лет? — настырно повторяет мама. Я было открывают рот, но Фред лягает меня ещё больнее. Поэтому отвечает отец. — Дорогая, — говорит он, — сегодня тебе ровно тридцать пять лет. Ни днём меньше и ни часом больше. — Мама сползает опять лицом в подушку, она пластается по кровати, как тень. — И что я получила от жизни? — спрашивает она. И сама же отвечает — Ничего! — и лупит по матрасу. Мне хочется, чтоб она перестала так говорить. Как выжить, если твоя мама несчастна и всё ей безразлично? Она сердится на нас, это понятно, хотя чем мы провинились? Я сжимаю зубы так, что сводит скулы. Болетта отставляет поднос с кофе и булочками. — Ну, ну, — шепчет она. Отец стоит как в воду опущенный и пытается изобразить улыбку. — Ничего? Ты чуточку преувеличиваешь, верно? — Мама вперяет в него

глаза, в которых горит такая ненависть, какой я сроду не видел. — Преувеличиваю?! Ну, Арнольд Нильсен, расскажи мне — что я получила от жизни?! — Отец задумывается. — Во-первых, ты получила двух отличных парней, — говорит он. Мама заливается слезами. Фред подходит к ней и кладёт на одеяло свой подарок. — Поздравляю с днём рождения, мама, — говорит он громко. Помешкав, мама нерасторопными руками медленно вскрывает обёртку. Это хлебница. Фред сделал её на труде. Сверху он выжег МАМЕ ОТ ФРЕДА оплывшими коричневыми буквами, они ещё пахнут жжёным, и нет ни одной ошибочки. Но мама едва ли замечает всё это. — Спасибо, — только и буркает она чуть слышно. На лице Фреда проштамповано «разочарование», он сглатывает, чтобы скрыть его, да где там. Отец хлопает его по плечу. Фред фыркает и вырывается. Настаёт моя очередь. Я вручаю маме свой подарок. Она разворачивает его, так же устало: мол, всё пустое. Это кольцо для салфетки. — Спасибо, — бормочет она, не глядя на меня. Потом она запихивает хлебницу и кольцо в тумбочку и прячется под одеяло. Отец в растерянности. — Ну вот, — говорит он, — теперь нам не хватает лишь хлеба и салфетки. — Из кровати ни звука. — Раз ты получила хлебницу и

кольцо для салфетки, — растолковываю я. Отец громко смеётся. В одиночку. Мама смотрит на него самыми узкими на весь Фагерборг глазами. — Если тебе нечего дать мне, кроме твоего фальшивого смеха, убирайся! — Отец не уходит. Он оскорблён. До глубины души. Но он не уходит. Он потуже затягивает ослабший пояс халата. Болетта приносит «Малагу» и щедро наливает полный стакан, но мама не желает пить. Тогда Болетта выпивает его сама, а я втягиваю сладкий и жаркий аромат, и на пьянящее мгновение он заставляет меня отвлечься и забыть, что у мамы день рождения, что она несчастна и не радуется подаркам, которые мы ей сделали. — Я даю тебе не свой смех, — дрожащим голосом говорит отец. — А что ж тогда? — спрашивает мама, не глядя на него. Болетта подливает «Малаги» в стакан. Но маму она по-прежнему не прельщает. Я оглядываюсь на Фреда. Он сжал кулаки. Отец подходит поближе к кровати. — Я даю тебе не свой смех, — повторяет он, — а твой. Я заставляю тебя смеяться. — Давно уж нет, — шепчет мама. В ответ на такое несуразное заявление отец долго качает головой. — Это что же, я пересёк всю Европу с чемоданом, полным аплодисментов, а не могу рассмешить Веру Нильсен с Киркевей-

ен? — Мама вздыхает и отгоняет его взмахом узкой руки, пальцы болтаются, как неживые. Вот я и узнал. Мы ей надоели. Мы ей больше не нужны. У меня сводит болью внизу живота. И жжёт где-то пониже сердца. И вот тогда отец откалывает-таки коленце в коронных своих традициях. Вернее всего, он выжидал именно этот момент, поставил всё на одну карту. Молча, сгорбившись, он плетётся к двери. Вдруг — останавливается. Поворачивается к нам. Расправляет плечи и щёлкает пальцами, словно вспомнив, что забыл сказать ещё кое-что. А затем он переиначивает ситуацию. Выворачивает тягостный момент наизнанку — и завоёвывает публику. Он превращает невыносимое в нечто, с чем можно жить. Выжимает смех из уныния. Я так жалею, что он не сказал этого сразу, с самого начала! — Если я теперь не могу рассмешить тебя, может, мне позволено будет пригласить тебя в поездку по Италии? — В спальне делается совершенно тихо. Мы все выкатываем глаза на отца. Он качается на носках своих старых тапок, нащупывает в кармане халата половину сигары и вставляет её в рот. Даже лежащая в кровати мама теряет безразличие и недолго удерживается от того, чтобы не повернуться к нам. — О чём ты

говоришь? — спрашивает Болетта. — Я говорю о прославленной Италии, — отвечает отец. Болетта громко прочищает нос и добавляет себе «Малаги». Медленно приподнимается мама. — Италии? — шепчет она. Вот он — триумф. Отец заставил-таки разрумяниться мамины щёки и распушиться её волосы. Он завоевал её, в очередной раз. Отец бросает на меня быстрый взгляд через плечо, как будто мы сделали это сообща, как будто с помощью хлебницы, кольца для салфетки и мечты об Италии мы вместе вернули мамино расположение августовским утром 1960 года, в день её тридцатипятилетия. Отец прячет сигару на место в карман и присаживается на кровать. Он невозмутим и спокоен. Ловко повязав нас по рукам и ногам, он затягивает путы, затягивает до предела, пока они не начинают лопаться, пока мама не поднимает руку, чтобы вытрясти из него подробности. В эту последнюю секунду он упреждает её словами: — Однажды ты поехала со мной на остров на Крайнем Севере, чтобы окрестить Барнума. На этот раз я хочу позвать тебя далеко на юг. — Мама снова замолкает. Глаза как два вопросительных знака. Теперь отцова очередь вздыхать, не тяжело, нет, добродушно и покровительственно. — Чем плоха идея прове-

дать Флеминга Бранта, дружка-некрофила Пра из Белладжо? — Болетта топочет ногами: — Он лишь написал некролог, Арнольд Нильсен! И спасибо ему, не надо его трогать! — Отец смеётся: — Сказавши «А», говори «Б». Ну, ты едешь? — Нам это не по карману, — шепчет мама. Отец лишь пожимает плечами, смакуя удовольствие. — Смотря что у кого в кармане, — говорит он и движением фокусника вынимает из халата пакет, снимает с него коричневую обёртку, и мы видим, что это деньги, пачки купюр, мы перестаём дышать и подаёмся ближе. Я беру Фреда за руку, он не вырывает её. — Итальянские лиры, — шепчет отец. Болетта сморкается оглушительнее прежнего и заявляет, что этому богатству цена пол-эре. Но отец пропускает её слова мимо ушей. Ему более любо смотреть на маму, она берёт одну бумажку и тут же роняет её, быстро и недоверчиво, и становится собой обычной. — Где ты взял деньги? — спрашивает она. Отец понимает, что так он сдаст отвоёванные позиции, что нужно идти в наступление и раздавить сомнение и недоверие в зародыше. Ответ у него наготове. — Это окончательный расчёт за «бьюик», дорогая, — говорит он. И чмокает маму в щёку. Не вызывая сопротивления. Болетта почти что вклинивается между

ними. — И как же мы, по-твоему, отправимся в Италию? Пешком, на своих двоих? — Отец смотрит на неё с бесконечно терпеливым выражением лица. Сейчас он увенчает возведённую конструкцию своего триумфа шпилем: он решил превзойти самого себя. Сегодня он точно на равных с Всемогущим. — Я думал, проще поехать на машине, — говорит он. И машет в сторону окна. Мы кидаемся к нему, рывком сдвигая занавески. Там внизу, на углу стоит единственный на всю улицу автомобиль. Не «бьюик-роудмастер», конечно. Скорее чёрный ящик на колёсах. «Вольво-дуэт». А себе отец купил новые шофёрские перчатки из чёрной кожи. Он обнимает маму. — С днём рождения, любимая! — говорит он.

Тем же вечером мама спрашивает, понизив голос — Где ты взял машину? — Я лежу в кровати и прислушиваюсь. Мне слышно, как отец прокашливается, вышагивая круг по комнате. — Я расскажу самое главное, — говорит он. — Сделай милость! — Это гремит голос Болетты. — Шш, — шипит мама. — Один друг был мне должен, — говорит отец. — Что за друг? — спрашивает мама. Раскатывается отцов смех. — У меня много друзей, — отвечает он.

Ночью я не могу заснуть. Радость лишает меня

сна. Мы поедем в отпуск. В заграничное путешествие. Я получил от отца итальянскую монетку — привыкать. Лира невесомая на ощупь и стоит меньше одного эре. Легковесная монетка зримо напоминает мне, как мрачна и печальна была утром мама, мажет дёгтем мою радость. Что же я смогу купить на эту денежку? И что стану делать с покупкой? Я роняю монетку на пол, но не слышу удара об пол. — Чего мама так огорчалась? — осторожно спрашиваю я. Но Фреда нет, и ответа нет.

Выехали мы через два дня. Отец вёл, мама была штурманом, а мы с Фредом помещались по бокам от Болетты, она куксилась и расселась так, что мы оба впечатались щеками в окна. Часа в четыре утра, не позже, мы спустились по улице Якоба Ола и, покинув сонный, безлюдный — ещё и почтальоны не проснулись — город, на чёрной таратайке, забитой чемоданами, сумками, термосами, канистрами с бензином, спальниками, кремом от солнца, покатили вдоль фьорда, походившего на натёртый воском линолеум, ибо дорогу на Мосс сумела отыскать даже мама. Но на подъезде к нему маму укачало, отцу пришлось съехать на обочину, мама стала коленями в грязь, и её долго рвало. Причина могла быть и в том,

что рессор в «вольво-дуэте» меньше, чем даже в санях. Голова у неё закружилась от необходимости сверяться с картой на скорости шестьдесят километров в час, поставил диагноз отец. — Это плохо кончится! — сказала Болетта с прежней непримиримостью. — Плохо? — спросил отец. Мы ждали, выйдя из машины. Отличное утро, если не считать мамы. Она по-прежнему стояла на четвереньках. Болетта указала на неё: — Ты не видишь, что от такой езды люди заболевают? — Отец закурил. — Понятно, что у человека нет привычки ездить, если он всю жизнь сидит на одном месте, — сказал он. Болетта придвинулась к нему. — Помолчи! — крикнула она. Отец только засмеялся. — Насколько я помню, морская болезнь настигает её ещё на суше. — Но Болетта не сдавалась. — Тревожить покой мёртвых большой грех, — прошептала она. Отец вытаращил глаза: — Мёртвых? Разве Флеминг Брант умер? — Болетта завелась не на шутку. — Об этом мне, Арнольд Нильсен, ничего не известно. Но Пра преставилась, и мы не должны тревожить её покой! — Мама поднялась на ноги и втянула воздух — Поедемте, — сказала она. Отец хлопнул в ладоши, секунду подумал и потом показал на меня: — Барнум, теперь ты следишь по карте!

Я поменялся местами с мамой. Я стал штурманом. И сидел рядом с отцом. Ему пришлось подложить три подушки, чтобы рулить на должной высоте. А под меня подсунули спальник Фреда. Обзор прекрасный. Я разложил на коленях карту Европы и пальцем вёл по красным линиям. Мы снова пустились в дорогу. Одно время я думал, что до Италии можно докатиться, дорога всё время под горку, важно не проехать на красный на Майорстюен, а там дело сделано. Но теперь я осведомлён больше. Дорога идёт то вверх, то вниз, а срезать нигде нельзя. Штурман обязан помнить про это. — Далеко до Хельсинкборга? — спрашивает отец. — От Осло до Хельсинкборга 565 километров, но шесть норвежских миль мы уже проехали, — рапортую я. — Тогда мы погрузимся на паром ещё до обеда, — удовлетворённо кивает отец. — Паром идёт до Хельсингёра 25 минут, — докладываю я. — Молодчина, Барнум! — Отец потрепал меня по ляжке. — Моська, а до луны сколько? — спросил Фред. Даже Болетта засмеялась. Мы опустили окна и ели подсушенные булочки. Кроме нашей, машин на дороге не было. По бездорожью прошумел поезд. Нам помахали из последнего вагона. Мы ответили тем же. Солнце выкатилось на провисшее небо и

пролило свет на всё, воздух был ясным и мягким. Попадись мы сейчас на глаза Господу, он мог бы принять машину, внутри которой тряслись мы, за спичечный коробок, который гонит ветром вдоль по земному шарику, расстелившемуся во Вселенной.

В Свинесюнде мы заправились бензином и купили в киоске минералку и шоколадные вафли «Быстрый завтрак». Мама с Болеттой стояли в очереди в туалет, а отцу пришлось предъявить на посту ворох бумаг. И вот нас пропустили через границу. Я не почувствовал разницы, кроме левостороннего движения. В том месте, где Норвегия превращалась в Швецию, не было даже надолба на дороге, и небо осталось прежним. — Сколько до Хельсинкборга, сынок? — спросил отец по-шведски. В этом, наверно, и фокус пребывания за границей. Что сразу начинаешь говорить на шведском. А когда мы пересечём границу Италии, наверно, по-итальянски заговорим? Я старательно сосчитал по карте: — 425 километров, папа. — Сам я говорил всё ещё по-норвежски, если слух меня не обманывал. — А до Гётеборга? — Я стал складывать маленькие циферки, написанные вдоль дорог, я складывал и складывал. Глаза замылились. С ними приключилась

морская болезнь, но шоколада вафельного я тоже наелся зря. — Одиннадцать миль, — прошептал я. — Тогда мы, пожалуй, можем туда заскочить? — В желудке у меня гукался барабан. Я сглатывал, сглатывал. Границы, дороги, города и озёра слились воедино в страну с неизвестным мне названием. А если я не выношу левостороннего движения? Отец кинул на меня быстрый взгляд: — Ты в порядке? — Полном, — ответил я. Наконец и я заговорил по-шведски. И тут же меня вырвало. Вырвало ровнёхонько на карту, щиток, руль и ветровое стекло тоже. Отец ударил по тормозам, мама вскрикнула, Фред заржал, Болетта не проснулась, а автобус объехал нас и погудел. Я вывалился в кювет и изверг остатки. Рвота била изо рта, носа, ушей. Из всех щелей. С тех пор меня начинает мутить при одной мысли о циферках или взгляде на карту. Я завалил экзамен по географии и не получил прав. Моя карьера автомобильного штурмана закончилась там, в Швеции, в кювете, в трёх километрах от границы. Мама повесила карту просушиться. Болетта достала мне чистую одежду. Отец отмывал машину, а Фред забрался на дерево и отказался слезать. Но когда я проснулся в следующий раз, он сидел впереди рядом с отцом, а я валялся, как куль, сзади

между Болеттой и мамой. Пахло морем. Я сел. На той стороне виднелась Дания. Мы простояли час в очереди. Наконец заехали на паром. И бегом припустили на верхнюю палубу, потому что если видишь горизонт, то не укачивает. Посредине пролива Эресунн отец перешёл на датский. — Как насчёт датского пива, Болетта? — спросил он. Но она не удостоила его ответом, она повернулась спиной и ушла в салон. Чем дальше мы продвигались на юг, тем несговорчивее делалась она. Она не желала заехать в Кёге взглянуть на дом, в котором родилась Пра, и отказывалась пойти в зоосад посмотреть на овцебыков, прямых потомков тех парнокопытных, которых невзирая ни на что доставил-таки в столицу королевства в декабре 1900 года парусник «Антарктика». — Тревожить покой мёртвых большой грех, — продолжала твердить она.

Когда мы выкатили на «большую землю» в Хельсингёре, был уже поздний вечер. Данию окутывал мрак. Фред светил себе фонариком, читая карту. Мы поели жареной камбалы в придорожном трактирчике. Отец наконец смог позволить себе датского пива. На мамин вопрос нам ответили, что свободных комнат нет, но если у нас есть палатка, мы можем поставить её в саду за домом.

Палатки у нас не оказалось, тем более в машине спать приятнее. Когда мы привязали весь скарб к багажнику на крыше и откинули сиденья, всем почти хватило места. Кстати, Фред решил спать на улице. Во сне Болетта разговаривала. Я не понял ни слова. Был ли то её ночной язык, внятный ей одной? Мама мягко увещевала её. Отец гулко дышал носом, как духовой оркестр. Я приоткрыл дверь и шмыгнул к Фреду. Он не спал тоже. Я уселся рядом с ним. Небо здесь было выше, чем в Норвегии. Наверняка оттого, что Дания такая утюгом приглаженная. Датская букашка прозвенела мимо и сгустила тишину. — Почему Болетта такая чудная? — шепнул я. — Она не чудная, — сказал Фред. — А какая? — Она старая, Барнум. — Я был счастлив, что Фред так разговаривает со мной. И я положил голову ему на плечо. — Радуешься? — спросил я. — Чему? — Ну, Италии. — Фред помолчал немного. — Я бы лучше в Гренландию рванул, — сказал он. И тут мы услышали странный звук, гул в темноте, набегающую волну, она ударила в нас, но не намочила. Фред встал и пошёл прочь от машины. Я за ним. Мы вступили в самую волну и замерли. Огромное колесо катилось сквозь ночь, но с места не трогалось, ещё это могла быть птица, которая

безуспешно силилась взлететь. Оказалась ветряная мельница. И когда мы стояли там, в чаще датского леса, во мне проснулось воспоминание, весомое и незримое, оно было выше моего понимания, лежало за пределами сознания и не цепляло мою коротенькую память, но оно процарапало сновидения, отпечаталось в них и впервые всплыло, когда я, как беглец, вернулся на Рёст много лет спустя и обнаружил на вершине Веддёй печальные обломки отцова изобретения.

На следующий день мы добрались до Фленсбурга, и два молодца в подогнанной по фигуре форме махнули нам, пропуская через границу. За штурмана сидела Болетта, она давно сложила по сгибам всю Европу и запихала в бардачок. Думаю, она надеялась, что отец собьётся с дороги. Я пестовал надежду, что он с ходу зашпрехает по-немецки, но он был мрачен и молчалив. Он рвался поскорее вперёд и съехал на автобан на Гамбург. Там мы думали заночевать. Я ничего не видел, кроме стрелки спидометра, кренившейся к сотке. «Вольво-дуэт» трясло. Мы вцепились кто во что. Но нас всё время обгоняли. Приземистые спортивные машины просвистывали мимо, точно мы стояли на месте. Мы тащились медленнее всех. Отец дожал до ста десяти, но всё

тщетно. Новые перчатки скользили по рулю, с отца лил пот, а все-все кругом летели быстрее нас. Я чувствовал себя глубоко несчастным. Как так? Разве мы можем оказаться последними, когда несёмся на такой бешеной скорости? Отец рассказывал мне как-то об ослеплении скоростью, о гонщиках, шагающих вон из машины, потому что им кажется, что она стоит, хотя она мчит аж все шестьдесят, я ещё думал потом, после его рассказа, что Фред не дислексик, а такой гонщик, на ходу выпрыгнувший из словесного общения. Потом всему потоку машин пришлось всё же сбросить газ, потому что впереди замаячил синий огонёк, что-то случилось, авария, может, шофёр-дислексик неверно прочитал знак. Я успел разглядеть обломки, части тел, руку, кровь на асфальте, одежду, женщину на коленях, носилки, мёртвого пса, сплющенную детскую коляску, потом мама закрыла мне глаза рукой и цепко держала меня до самого Гамбурга, где мы съехали не туда с круговушки, и к отцу вернулся дар речи, хотя выматерился он по-норвежски. Ибо неожиданно нам под колёса бросился человек, он махал руками, показывая на что-то, и мы решили, что у нас спустило колесо. Отец вильнул к тротуару и опустил окно. Незнакомец загля-

нул в машину и с улыбкой оглядел нас. Улыбка у него продолжалась в уголке рта шрамом. — Норвегия? — спросил он взволнованно. Отец кивнул. — Норвегия? — переспросил незнакомец — Да, мы из Норвегии, — сказал отец. — Что вам угодно? — Теперь немец запустил в машину всю лапу, желая поздороваться за ручку с каждым. — Я был в Норвегии во время войны! Очень красивый фатерланд. — Отец обомлел. Болетта оттолкнула руку, как грязную заразу. Мама прижала к себе нас с Фредом. Улыбчивый немец со шрамом на лице был растроган. Он стёр слезинку. — Я мечтаю когда-нибудь вернуться в Норвегию, — пропел он. Это добило отца. Он сдёрнул перчатку и обнажил уродливую культяпку, причём казалось, будто в кулак, дёргавшийся у самой челюсти немца, он как-то собрал оторванные пальцы. Неожиданно отец передумал. Возможно, вспомнил, что мы съехали с круговушки не туда и в Гамбурге уже поздний вечер, мы ещё не устроились на ночлег, а спать вторую ночь в «вольво-дуэте» желающих нет. Уродливый обрубок преобразился в жест доверительности, немец взял его в свои руки и заплакал. — Мы, выходит, оба солдаты калечные. Оба двое, — шептал он. Отец не знал, куда деваться. — Вы не посоветуете нам гостиницу по-

близости? — спросил он, выдёргивая руку. — Вам годится лишь самое лучшее, — пропел немец и указал в противоположную сторону. — По правую руку, у самого нижнего озера есть «Четыре сезона». — Отец со свистом поднял окно и поехал. Я обернулся и увидел немецкого солдата, вежливого побеждённого, он стоял на перекрёстке, подняв шляпу в приветствии. — Да, этот бой ты выиграл блестяще, — сказала Болетта. — А чего ты не задавил его, Арнольд Нильсен? — Отец не отвечал. Бледный, сосредоточенный, он приник к рулю, натянул обратно перчатку с набитыми пальцами. Нам гудели сзади. Поток машин со всех сторон. Со всеми вместе, как загребаемую колесом воду, нас вынесло в нижнюю часть Гамбурга, а здесь, на берегу крохотного озера, огороженный тонкой полосой деревьев, виднелся отель «Четыре сезона». Отец замешкался у широкой лестницы. Мальчик-посыльный застыл на изготовку на красной дорожке. — На вид дорогущий, — шепнула мама. Отец только улыбался, пригладил волосы, протёр ботинки носовым платком, раскурил сигарету и пошёл вверх по лестнице, походя суетливо сунув денег маленькому посыльному, поскольку другой служка уже распахивал перед ним наверху золочёную дверь.

Мы ждали. Время шло. — А нельзя просто повернуть домой? — спросила Болетта. Мама завелась с полоборота, оскорбилась и нагнулась в проём между передними сиденьями. — Даже не думай портить мне этот отпуск! — Болетта повернулась и проговорила в самый последний раз: — Нельзя тревожить покой мёртвых! — На этих словах посыльный прижался лицом к ветровому стеклу и заглянул в машину. Своими блестящими губами и белыми щеками он походил на клоуна. Болетта подняла кулак, он, кланяясь, попятился к красной дорожке. — Может, у них и номера с душем, — вздохнула мама. Мы сидели молча, ждали. Внутри в фойе нам были видны гости, они неспешно фланировали с бокалами и сигарами в руках, сияя бриллиантами. В какой-то момент появился отец. Он отпихнул посыльного, плюхнулся за руль и выжал газ. Из-за чего-то он был в бешенстве. У него тряслись руки так, что он едва удерживал руль. — У них всё занято, — буркнул отец. Мама улыбнулась на пробу. — Всё-всё? — Отец фыркнул. — Твоё счастье, что всё занято! — рявкнул он. — У этой халабуды, представьте, пять звёзд! — Болетта посмотрела на него: — Пять звёзд? Это не многовато? — Теперь захохотал отец: — Я живал в десятизвездных отелях, они как два таких! — Бо-

летта хмыкнула: — Может, мы рылом не вышли для этих «Сезонов»? — Отец замолк и остановил машину на углу. Он снова стал мрачнее тучи. Мама промокнула ему лоб платком, потом его можно было отжимать. — Что будем делать? — спросила она ненавязчиво. Отец вытащил из кармана карту Гамбурга. Посреди скомканного листа стоял крестик. — Они любезнейше порекомендовали отель на Гроссе Фрайхайт, — пояснил отец. — Гроссе Фрайхайт? — переспросила мама. — Это знаменитая улица, милая. Следите, там слон на вывеске. — И мы поехали, не дальше вниз, а назад, в Гамбург, в шум и огни, быстро облепившие нас, пока мы не очутились в самом чреве неправедного сердца города, которое колотилось бешено и судорожно, от этой гигантской систолии корпус машины дрожал, а под конец мы завязли в тромбе, закупорившем узкую улочку, где окна были замазаны красным. Я выглянул наружу. Увидел девиц с голыми ляжками, матросов, глушащих пиво, тени, похожие на псов в тёмных подворотнях, мужчин на шпильках и вахтёров у дверей. Мама снова решительно закрыла мне глаза рукой, я чуть дышал.

— Слон? — прошептала она. Отец показал пальцем. — Вон! — закричал он. Мама ослабила

хватку, и я вполглаза увидел в тесном проулке вывеску со слоном. Хобот висел колечком, переливался всеми цветами радуги. Заведение называлось «Клуб Индра». Здесь не было ни красных дорожек, ни посыльных, ни звёздности. — Ты нас в цирк завёз? — поинтересовалась Болетта. Отец не ответил. Он сидел, мозговал и принял наконец решение. Мы все должны были сразу пойти с ним, захватив багаж. Фред и я втащили в «Клуб Индра» по чемодану. За дверью оказался гардероб. Лысый мужчина удивлённо глазел на нас из-за стойки. Отец наконец перешёл на немецкий. Он говорил долго, бегло, не знаю что, но лысый слушал внимательно, тыкал пальцем в потолок и называл нечто, звучавшее как цифры. Отец повернулся к нам, воодушевлённый. — Я только что сговорился на комнату на втором этаже! — сообщил он. Нас провели через прокуренный зал, где считаные гости за круглым столом пили пиво из широких кружек с ручками. Они глядели нам вслед с ухмылками, качая головами, на губах пенные усы. В глубине сцены, у стены стояли барабаны и три усилителя. Чёрная электрогитара лежала на полу. Потом мы вскарабкались по крутой корявой лестнице и очутились в помещении, сданном нам как комната для ночёвки. Мама

застыла в дверях и таращилась во все глаза. Не было даже рукомойника. Двуспальная кровать провисла по центру, на белье спали до нас, и не раз. На подоконнике мерцала лампа под красным абажуром, засиженном мухами. На подушке валялось полрулона туалетной бумаги. Даже отец вздохнул. — Чем богаты, — промямлил он. Болетта присела на единственный стул: — Хоть на том спасибо. — Фред раскатал спальники. Мама шмыгнула в коридор поискать душ. Она вернулась через секунду с белым лицом. — Что стряслось? — спросил отец. Мама уже запихивала вещи обратно в чемодан. — Так мы в борделе будем ночевать? — закричала она. Отец захлопал глазами. — Борделе? — Мама взвилась: — Да! Это бордель! Там женщины в комнатах! — Отец попробовал её обнять, да где там, сейчас даже смех не работал. — Я ни секунды здесь не останусь! — шипела мама. В результате мы с поспешностью, но без шумихи оставили комнату, оплаченный счёт и «Клуб Индра». Мама вела меня за затылок и неустанно шептала: — Барнум, смотри только под ноги! Только прямо перед собой! — Спустившись на первый этаж, мы отыскали запасную дверь. Как раз когда мы выходили, пятеро ребят в фиолетовых рубахах и брюках в облипку выско-

чили на сцену и разобрали гитары и барабанные палочки. Я задержался на мгновение, я хотел услышать этот звук. Самый высокий наклонился к микрофону, повернул его, сосчитал по-английски *one, two, one, two, three, four* и собрался петь. Я видел, как его губы сложились в крик. Я видел пальцы на гитарах, палочки, тяжело падающие на барабаны, остроносые чёрные туфли, которые вот-вот начнут отстукивать такт. И тут, раньше, чем все началось, раньше, чем пятёрка запела, в странной вязкой тишине мгновения между громом и молнией мама дёрнула меня за собой, и дверь за нами захлопнулась. Мы обежали отель, покидали в багажник чемоданы и спальники, втиснулись в машину, и отец рванул прочь в сиянии неона и звёзд. Последнее, что я увидел в Гамбурге, была горящая на стене вывеска «*The Beatles.* Англия. Ливерпуль».

До Белладжо мы добрались на следующий вечер и, описав величественный полукруг, встали перед въездом в город. Здесь мы вылезли из машины. Все, кроме Болетты, сидевшей, скрестив руки на груди. Солнце садилось за зелёные горы, и косые крыши мерцали, как чёрные щербатые зеркала. Точь-в-точь закат моря, из синевы в черноту. Воздух переполнен мягким жарким

ветром. Шеренга узких, островерхих деревьев торчала как тёмные, уткнувшиеся в небо ножи на холме над погостом. Отец, певший арии от самой Австрии, чтоб не заснуть за рулём, и едва сумевший разогнуться, притянул нас к себе. И так мы стояли в шамкающих ломбардийских сумерках. Мы добрались до цели. — Что будем делать? — прошептала мама.

Для начала мы отыскали полицию. Она была у рыночной площади. Мы припарковались рядом с ней. Трое в форме сразу вышли и с интересом взялись рассматривать номера. Отец опустил окно и поздоровался. Он говорил по-итальянски. Просто в голове не укладывается, что в одном человеке может умещаться столько языков. Они разговаривали долго. Гордая мама следила за переговорами и то и дело прижимала палец к губам, боясь, как бы мы не помешали отцу. Но мы онемели от восторга. Даже Болетта вынуждена была приподнять веки. Я приучил себя видеть в этой сцене звёздный час отца, высочайший пик его непубличной карьеры: он на итальянском объясняется с работниками рынка в Белладжо. Вокруг нас собралась небольшая толпа. Похоже, «вольво-дуэт» никто в Италии прежде не видел. Отец закончил беседу и закрыл окно. — Они

прекрасно знают Флеминга Бранта, — сказал он и замолк, набивая себе цену. Болетта смежила веки, мама стала умолять его рассказать всё толком. Отец улыбнулся. — Здесь его зовут Краснокожим. — Краснокожим? Почему? — Откуда мне знать. Он служит на вилле Сербеллони.

Стайка худых, обветренных мальчишек бежала впереди нас, указывая дорогу. Вилла Сербеллони оказалась гостиницей. Она устроилась на самой оконечности скалы, вдававшейся в глубокое озеро Комо, и со своими башенками, колоннами и террасами походила на замок. Несомненно, здесь останавливались лишь гости наиголубых кровей. Мальчишки не решились сопроводить нас дальше и растворились в тени пальм. Отец плавно затормозил и встал у теннисного корта, казавшегося брошенным в свете прожекторов, заставлявшем гореть огнём красный гравий. Мы выбрались из машины. Глаза лезли на лоб. Ничего похожего мы не видали сроду. Нам навстречу спешил мужчина во фраке. Отец спросил Флеминга Бранта. Едва он произнёс имя Флеминга Бранта, как обращаться с нами стали точно с королями. Армия посыльных унесла наш багаж. Шофёр в серой униформе отогнал «вольво» в гараж с другой стороны гостиницы, а самих нас

едва не на руках пронесли по широким лестницам. — Я сказался его родственником, — шепнул отец. В холле были такие высоченные потолки, что у меня голова пошла кругом, и я уцепился за Фреда. Болетта хотела уйти, но мама держала её крепко. Отец положил на конторку пачку денег.

Дежурный улыбнулся и снял с доски огромадный ключ. Подоспел метрдотель. Он отвесил нам поклон и проводил в ресторан. Гости подняли глаза от тарелок. Официанты выкатили тележки со сластями и диковинными фруктами. В дальнем углу одиноко сидел господин. Далеко от всех. Болетта пыталась свернуть с полпути, но мама не выпускала её. Господин был старый-престарый. В белых перчатках и чёрных очках. Он читал книгу, прихлёбывая кофе из миниатюрной зелёной чашечки. Кожа на лице у него была зернистая и багровая, точно он пережарился на солнце, волосы — как белый пух. Флеминг Брант. Нас он заметил не раньше, чем мы сгрудились у его столика. Он отложил книгу, *Божественную комедию,* и встал, он казался ошарашен, сбит с толку ещё секунду, пока не опознал нас, то есть не узнал в нас Пра. Мне не было дано узреть всего, что вобрал в себя этот миг встречи, но и я понимал: он не исчисляется секундами, в нём

преломляются времена. Хотя я увидел скорбное спокойствие Флеминга Бранта, мрачную радость, когда он медленно снял с себя очки и опустил страдальческий взгляд. Мама протянула руку. — Мы приехали поблагодарить вас, — сказала она. — Поблагодарить? Меня? — Старик смотрел не на маму. Он не отрывал глаз от Болетты. — За те чудесные слова, которые вы написали о моей маме, Эллен Эбсен. — Флеминг Брант безмолвно стоял перед Болеттой, а она тоже онемела. Потом он медленно повернулся снова к маме. — Садитесь, — прошептал он. Говорил он тоже небыстро. Тут же примчались официанты со стульями. Прикатили тележку со сластями и фруктами. Выставили на стол вино и фужеры. Мы сели за стол. Что Флеминг Брант владелец гостиницы, я не сомневался, но, наверно, и озеро тоже его, и весь городок. Он поднял книгу, которую читал. — Я мечтал, что Эллен Эбсен когда-нибудь сыграет дантовскую Беатриче. — Это смешная комедия? — спросил я. Флеминг Брант задумался. Поразмыслив, ответил: — Да. А тебя как зовут? — Барнум, — ответил я. Флеминг Брант снова надел очки. — Я в высшей степени тронут, — тихо проговорил он. Отец протянул руку: — Арнольд Нильсен. — Две перчатки, чёрная и белая, обме-

нялись рукопожатием. Флеминг первым убрал руку и принялся извиняться: — У меня появилась эта сыпь. Экзема. От фильмов. — Да, вас называют Краснокожим, — засмеялся отец. Флеминг Брант потупился. Повисла тишина. — Мой организм не выносил света и химических реактивов. Я медленно разлагался. — Мама подняла на него глаза: — Вы тоже были актёром? — Флеминг Брант покачал головой и грустно улыбнулся: — О нет, я работал монтажёром, — сказал он.

Потом мы поднялись в номер. Он был больше нашей квартиры на Киркевейен. С пологом над двуспальной кроватью, ванной, душем и балконом. Мама так долго лежала в ванной, что я даже решил пойти глянуть, как там дела. Она лежала в облаке пены и смеялась. Отец сидел на бортике. Мама обнимала его голой мокрой рукой. Мы добрались до цели. Повидали Флеминга Бранта. Скоро пора поворачивать обратно. Тут Фред, молчавший весь вечер, спросил: — А где Болетта? — Мама молчала. Отец закатал рукав, снял перчатку со здоровой руки и погрузил её в воду. — Здесь никого нет, — сказал он. Но мама не смеялась. Она порывисто встала, я отвернулся. Фред торчал у окна. Я подошёл к нему. Болетта сидела внизу, на веранде, вместе с Флемингом

Брантом, кроме них не было никого, столы стояли пустые, светильники вдоль балюстрады роняли свои тёмные тени мимо них. Официант принёс плед, Флеминг Брант накинул его Болетте на плечи. И я подумал, что вот она и растревожила мёртвых. — Один вариант, — прогудел отец, — старик должен быть чертовски богат.

Флеминга Бранта я увидел наутро. Проснулся раньше всех и вышел на балкон. Он стоит внизу, на пляже. Увядшее лицо. Кожа облезает клочьями. Опирается на грабли. Взявшись за руки, на пляж выбегают первые гости, мужчины и женщины. Они боязливо заходят в воду и плывут. Флеминг Брант тщательно заравнивает их следы на песке, от лестницы до самого прибоя, где перекатываются маленькие волночки. А когда гости вылезают из воды и убегают, торопясь на веранду, к завтраку, Флемингу Бранту полагается опять разровнять за ними песок, чтобы он лёг гладким и нетронутым перед очередными купальщиками тоже.

Вот мои воспоминания: ветряки в ночи, не услышанные мною музыканты и монтажёр, граблями разравнивающий следы на песке, разравнивающий скрупулёзно, методично, чтоб ничего не осталось, и когда я вскоре спущусь

на тот же пляж, монтажёр побредёт за мной по пятам стирать и мои следы с холодного, лёгкого песка, осыпающегося под ногами.

(линейка барнума)

Я не скажу, сколько во мне сантиметров. Это записано в картотеке школьного врача. Отчёркнуто на косяке нашей комнаты. Вписано в мой паспорт. Но глаза у меня голубые, не карие. Отцов только рост. Его я не обогнал. До того дня, когда в лилипутском городке на глазах у всего класса полицейский предал меня проклятию, я ничем особенно не выделялся, за вычетом разве кудрей: их вечно норовили взъерошить пожилые дамы в трамвае или магазине, но с того дня я отстал, забуксовал на месте, а все вокруг меня рванули вверх, они росли и росли, вытягивались, как корабельный лес, а я прел во мху и хвое, заложник своих смехотворных сантиметров. Учитывая, что особенно быстро человек прибавляет в росте в первые годы жизни, потом темп падает, годам к тридцати доходит до долей сантиметра в год, и тут же начинается обратный отсчёт, уповать мне было не на что. Мало утешало знание, что сердце растёт не переставая до последней секунды. Не успокаивало и то, что лет за двести до

Рождества Христова я одолел бы минимальный ценз призыва в римское войско. Нижняя граница составляла 1,51. Даже девчонки обошли меня, длинноногие, горделивые, я не стоил их взгляда. Если же они изредка бросали на меня взор, то смотрели сверху вниз, строго вниз, я думаю, они наслаждались, глядя, как я задираю к ним лицо. И то — какой прок с заоблачного роста, если не эти взгляды свысока? Как если б горя жить просто с именем Барнум мне отчего-то показалось мало, я звался ещё клопом, карликом, пигмеем, малявкой, кнопкой, варежкой, пуговицей, недомерком, недорослком, моськой, полвершка, гномом и метром с кепкой. Всего не перечесть. Вот вам такая, например, история. Я возвращался из школы. Октябрь. Шёл дождь, ясное дело, шёл. От высоких сапог, слава Богу, удалось отвертеться, они доходили мне чуть не до живота. Зонтик и зюйдвестку я отверг наотрез. На мне был только короткий жёлтый плащ, промок я, короче. Ну промок и промок. Мои ненавистные кудри, состричь которые рука, однако, не поднималась, распрямились и лежали, чувствовал я, ровно, как все нормальные волосы. Хорошая штука дождь. Я его всегда любил. С солнцем морока. Оно допекает. А в дожде предусмотрена передышка от

капли до капли. Я брёл через парк Ураниенборг. Мне нравилось дойти до церкви, прислониться к деревянному ограждению и смотреть вниз на проезжающие трамваи. Иногда с самой задней площадки кто-нибудь махал мне. Тогда и я махал в ответ. Здорово было смотреть вниз — сверху вниз — на кого-то и ещё махать ему. Но сегодня на задней площадке не было ни души. Я всё равно помахал и стал вспоминать, как много человек делает того, чего никто не видит. Вот закрываешь глаза — и как проверить наверняка, что всё вокруг не пропало в тот же миг, чтоб возникнуть вновь, едва ты их распахнёшь? Не так ли Бог создал мир, моргнув два раза? А если он устал и решил больше глаз не разлеплять, или заскучал, или задремал? Так я стоял, облокотясь о деревянное заграждение, мок под дождём и думал о своём. Если Господь решит, что пошутили и хватит? Тогда как ни расшибайся, ничего не попишешь, всё пойдёт по предначертанному. Фред, кстати, перешёл в новую школу Бог знает где. Учителя заявили, что он такой придурок, что ему одна дорога — в спецкласс мужской школы на Стенерсгатен (это на линии «F», представляете, да?), туда попадают все такие, кто не осилил программу обычной школы, и говорят, там у народа

такая помойка в голове, что они не смогли даже отыскать девчачью школу на Остерхаусгатен, хотя их снабдили картой, компасом, да ещё и проводили. О Фреде можно сказать много всякого, но с мозгами у него порядок, уж это Всемогущий обязан знать. Единственно, буквы Фреду отчего-то не подчинялись. То есть говорил он чисто, а на бумаге всё путалось. Своё имя он запросто мог написать как *Ферд,* и поначалу все над ним весело потешались. Однажды на подарке мне он вывел: *Брануму.* Мне страшно понравилось. Бранум. Я б не отказался от Бранума. Фред мог звать меня так сколько ему угодно, тем более такого чудесного подарка, как его тогдашний, мне не дарили никогда — это была настоящая пишущая машинка. Но веселье быстро улетучилось, никто, кроме меня, больше не смеялся, Фред продолжал писать *Ферд,* а когда он прочитал «Пер Гюнт» Ибсена как «Реп Гнют», классный влепил ему пощёчину, звон которой добрался даже до школьного двора, и все, кто там стоял, схватились за щёку, унимая не коснувшуюся их боль. Школа сочла Фреда глупым ровно настолько, чтобы теперь он сидел в этом отстойнике на Стенерсгатен вместе с идиотами со справками о том, что они отсталые, необучаемые и неисправимые. Я сплюнул на брусчатку внизу и

услышал, задолго до того, как плевок шмякнулся на камень, что сквозь струи дождя кто-то приближается ко мне. Я открыл глаза и обернулся. Хотя уже знал. Шатия из седьмого: Аслак, Пребен и Хомяк. Они улыбались плотоядно, зубастыми улыбками, а у меня не шла из головы мысль, что, не закрой я глаз, ничего никогда б не случилось.

Выключился звук, пропал лязг трамвая на крутом повороте за школой, шелест дождя по листьям, осклизлое шуршание шин по мокрому асфальту, словно город с шумом втягивает в себя воздух, пропал хлопок, с которым шмякнулся на Холтегатен плевок — Куда намылился? — Домой, — просипел я. — Точно? — Я кивнул. — Точно-преточно? — Я снова кивнул. — Так мы тебя проводим, что ли?

Вдруг ударили церковные колокола, зазвонили в неурочный час по странной какой-то причине. Может, кто из-за дождя позабыл про похороны? Птицы снялись с крыши. Я мёрз, как тюльпан. Аслак, Пребен и Хомяк подступили ближе, нависли надо мной, они сопели у самого моего лица, как больные бешенством собаки, так что я зажмурился опять и стал ждать: одно из двух, или свора сейчас загрызёт меня, или мир немедля сгинет и пропадёт пропадом. Второе гораздо лучше. — Что

я говорил, у него от рожи пахнет, как от манды. — Я медленно открыл глаза. Звон стих. Они пятились от меня, зажимая носы. — Изношенной мандой. Вот чем от его рожи воняет. Фу, паскудство. — Аслак резко дёрнулся в мою сторону, чуть не врезавшись в меня лбом, и тут же отшатнулся. — Хуем точно не пахнет. По-моему, от него несёт педерасовой мандой и пиписечкой. — Да не мучайся. Конечно, этот мандоворот пахнет и пиздой, и хуем.

Они вылупились на меня и стояли так. Ограда больно вгрызалась в спину. Насмотревшись, они переглянулись и зашушукались. Хуже не придумаешь. Теперь сразу не отцепятся. Аслак заржал: — Мандоворот, а что у тебя в ранце? Шомпол или трусы? — Умнее не отвечать. Они содрали с меня ранец, раскрыли его и вытряхнули содержимое за ограду: пенал, тетрадка по географии, ластик, половина завтрака, с сосиской, учебник физиологии, всё посыпалось в дождь и разлетелось по булыжникам меж блестящих трамвайных путей на Холтегатен. Потом они водрузили ранец обратно мне на спину, каждый погладил меня по головке. — А чего домой не идёшь, штырь? — Штырём я раньше не был. Они пошли за мной. И ничего не говорили, главное. Плохой знак. Они

дышали в спину, что мне оставалось, вот я и шёл, по Бугстадвейен, мимо кинотеатра «Розенборг», где как раз снимали афиши прошедшего фильма, *Дни вина и роз,* а новые ещё не наклеили, так сказать, пересменок между картинами, билетёр тащил рулон с поблекшими фотографиями Джека Леммона и Ли Ремик к себе в каморку, междувременье, я бреду впотьмах, Аслак, Пребен и Хомяк наступают на пятки, капля протекла за шиворот и приклеилась внизу спины, как марка. Думаете, я это забыл? Думаете, я не помню, сколько шагов от церкви Ураниенборг до Стенспарка, в дождь, в октябре, когда сгущается вечер и кто-то преследует тебя, а твой брат учится в школе на другом краю города? Шестьсот тридцать четыре шага. Мне нужен был Фред. Не путайся он в этих буквах и пиши он своё имя без ошибок, я б так не влип. И Фред появился. Он вышел из писсуара под горкой. В одной руке он сжимал сигарету, другой застёгивал брюки, высокий, поджарый, в стильной замшевой куртке, почерневшей от воды. Я услышал шаги, остановившиеся у меня за спиной. Фред сунул сигарету в рот и долго втягивал дым, огонь приблизился к губам, тогда он выплюнул окурок, тот продолжал тлеть под дождём. Фред ни слова не говорил. Просто смотрел на меня. Все

молчали. Я стоял между ними. Потом он поднял — приподнял — взгляд и посмотрел на что-то у меня за плечом, он смотрел мимо меня, это длилось секунду, не дольше, но секунда раздувалась как капля, дрожащая на ржавом кране, дело могло принять любой оборот, я замер между Фредом и шатией из седьмого класса и услышал, что они повернулись и пошли прочь, ни один человек не в силах выдержать взгляд Фреда сколь-нибудь долго, в нём было такое мрачное, что ли, спокойствие, невыносимое ни для кого; Аслак, Пребен и Хомяк трусили вдоль дома на противоположной стороне, собаки и есть, уже издали Аслак обернулся, погрозил кулаком и что-то сказал, но тем они и умылись. — Собаки! — заорал я им вслед. И вот ведь странное дело: когда я начал заглядывать в страницы с некрологами, из которых теперь уже мог выяснить кое-что о старых знакомых, то меня глубоко задело за живое обнаружившееся там однажды утром полное имя Пребена. Всего 41 год. Я помню это своё тяжёлое, горестное чувство, хотя всю школу он ел меня поедом и вымотал все кишки. Некролог написал Аслак. Он превозносил свойственные Пребену чувство справедливости, его верность и, не забудем, обезоруживающий юмор. Пребен преуспел в туристическом бизне-

се, занимаясь так называемыми «коллекциями приключений», и глупо погиб, ныряя в Ослофьорде. В эти трудные дни Аслак был мыслями с женой покойного Перниллой и их дочкой. Сам он работал юрисконсультом той же турфирмы, после смерти Пребена она разорилась, а Хомяк пустился в одиночное приключение, в лабиринты своей же башки, заплутал там и уже не оправился полностью после последней передозы. Мне случалось напороться на него в городе. Он стрелял денег на еду. Я старался обойти его по другой стороне улицы. — Собаки! — крикнул я ещё раз. — Просчитались!

Фред втоптал огонёк в мокрую траву и подошёл ближе. — Барнум, всё в порядке? — Угу. А ты знал, что они шли за мной? — Нет, я отлить заскочил. Тебе повезло, моська. — Я сглотнул. Горло сжимало. — Они вытряхнули всё из ранца, — пискнул я. — Могло кончиться хуже, — ответил Фред, начиная уставать. Я взял его за руку. — Они сказали, у меня мандоворот. — Мандоворот. Тоже не повод для слёз. Да? — Я кивнул. — Ты не плачешь? — Я помотал головой. — А то я и не подумаю стоять с тобой рядом. — Фред, я не плачу. — Молодец. — Он отнял у меня руку. — А что б ты сделал, если б они меня отходили? — Не

скажу. А то ночью не уснёшь. — Я засмеялся, громко, Фред отвернулся и закурил новую сигарету. Мой смех его разозлил, подумал я, надо исправить дело, сказать что-нибудь, что вдруг да понравится ему. — У самих теперь рожи как три манды воняют, — сказал я. — Здорово ты их уделал. То есть я хочу сказать, тебе и уделывать не пришлось. — Фред пожал плечами. Да нет, он вовсе не сердился, просто повернулся спиной, загораживая огонь от ветра. — Где они выкинули всё из ранца? — У церкви, — ответил я. Фред ещё раз посмотрел на меня. — И вытри слюни, пока я тебе не помог. У тебя вид дурацкий. — Я быстро мазнул по губам рукой. Фред выпустил дым мне в физиономию. Он готов был взорваться в любую секунду, я видел это по глазам, чёрная бестрепетность колыхнулась, словно масляная плёнка на воде, и от меня требовалось быстро сказать то, что ему понравится наверняка. — Почитаем вечером письмо? — спросил я тихо. Фред отвернулся. — Хочешь, я вслух почитаю, — добавил я чуть слышно. В ответ он положил руку мне на плечо, это было до того неожиданно, что я едва не застонал от радости, но он не услышал, сужу я по тому, что он вернулся вместе со мной на Холтегатен подбирать жалкие остатки моего школьного

имущества. Тетрадь по географии разорвалась на листочки, и дождь уносил их один за одним, Турция, Египет, Япония, Америка, Полярные страны, части света разлетались кто куда, я подобрал страницу с контрольной по Гренландии, за которую мне поставили «пять». Чернила почти смыло, но я помнил текст. *Ледяные горы могут быть высотой в сто метров. Но части, которые под водой, бывают и в девять раз огромнее.* Из-за половины моего завтрака уже сцепились сороки. Трамвай проехался по пеналу раза три, не меньше. Линейка сломалась. — Когда-нибудь я свой портфель так же вычищу, — сказал Фред и пошёл в сторону дома, я побежал следом. Фред вечно уходил вперёд, а мне, на моих плоскостопых ногах, приходилось бежать, чтоб не отстать. Так мы ходили вместе: он шагал, я бежал рядом. — Как тебе в новой школе? — спросил я. — Восхитительно. Все придурки в одном классе. — Ты не такой, я знаю. — Не какой? — Не как они, Фред. Не из придурков. — Он стал перед кинотеатром «Розенборг», перед пустыми стеклянными нишами, в которых скоро должны были появиться портреты очередных звёзд. Он упёрся в меня взглядом. Но не говорил ничего. Я снова засуетился. — Фред, как думаешь, какой фильм пойдёт? — Такой,

на который тебя не пустят, — ответил Фред. Билетёр торчал в фойе и посматривал на дверь. Наверно, пытался понять, не прекратился ли дождь, потому что вдруг он раскрыл зонтик и уронил на пол рулон с афишами, зажатый под мышкой. — А из кого я? — спросил Фред. — Что ты говоришь? — Фред нагнулся вплотную ко мне: — Я не из придурков, а из кого? — Я не знал, что отвечать. А в глазах опять эта плёнка, совсем чёрная. — С буквами я тебе помогу, — выдохнул я. Фред так толкнул меня на стекло афиши, что оно звякнуло. И вдруг заорал: — Я вообще не из кого и не из каких! Понял?! Да?! — Он мазнул пальцем мне по лбу, потом вниз по щеке. — Ёмоё, да у тебя от рожи воняет, как из манды! — С этими словами он зашагал прочь, он срезал тротуар наискось, точно играя с дождём в салки, и в этот же миг выскочил билетёр. — Это что ещё? — начал он. — Решили разнести мой кинотеатр? — Нет, нет, — шепнул я. Мне не терпелось уйти, но билетёр поймал меня. — С тобой всё в порядке? — спросил он. — Да, — кивнул я. Но он наклонился пониже. — Перекусить не хочешь? — Нет, спасибо. — Однако в порыве добросердечия он втолкнул меня в фойе, где навощённый линолеум скользил так, что я едва не загремел по

ступенькам, но билетёр подхватил меня и повёл за собой, пока мы не очутились в тесной каморке за зрительным залом, здесь громоздилась огромная штуковина, притиснутая к дырке в стене, а на полу штабелем лежали круглые коробки с надписями по-английски. *Days of Wine and Roses.* Здесь было жарко и пахло не совсем хорошо. То есть билетёр, оказывается, на самом деле был механиком, это он крутил кино, без него экран висел бы в темноте, как тяжёлая широкая роликовая штора на окне посреди ночи. — Вот моя берлога, — сказал он. Потом достал свой завтрак — Тебе с чем: с козьим сыром или салями? — Есть мне не хотелось. Вечная история: пожилые дамы теребили мои кудри, а мужчины в возрасте пичкали меня едой. И достали меня своей заботой выше крыши. — Салями, — ответил я. Мне дали кусок. Его надо было съесть. Мы приступили к еде. — Накостылял он тебе? — любопытствует машинист. Мотаю головой. Жуём дальше. И ни с того ни с сего кинотеатр показался мне кораблём, огромным американским лайнером, бороздящим моря, а внизу машинист, его трудами крутится гребной винт и зажигаются звёзды, и пока я себе это воображал, в голове застучала новая мысль, хотя мне и не верится, что такое могло родиться

у меня в мозгах, наверняка мысль перешла ко мне от того, кто сумел подумать так же раньше: по этим морям немые фильмы ходили под парусами, а ветер был машинным отделением без машиниста. — Тебя сильно достают? — спросил он. Я не сразу включился. — Что? — переспросил я. Он повторил вопрос: — Тебя многие достают? Из-за росточка. — Я ничего не ответил. Он не хотел меня обидеть. Я знаю. Но вот что я вам скажу. Тем, кто не хочет меня задеть, это удаётся лучше всех. «Многие, — мог бы ответить я. — В первую голову ты». Но я промолчал. Лишь опустил глаза в пол. Он положил ладонь мне на колено: — Раньше киномеханики были не выше пяти футов. Иначе они просто не влезали в установку. Была б тебе работёнка! — Да, — шепнул я. — Да-да. — Он проводил меня до выхода. Я бросился догонять Фреда, но его и след простыл. Поднимаясь по Нурабаккен, я высчитывал пять футов, фут — ступня, если в моих мерить, результат получится не ахти, хотя опять же как считают, в обуви или без, у тех, кто носит лыжи 48-го размера, пять футов не в пример длиннее. Я остановился перед Киркевейен. Деревья стояли чёрные и тихие. Эстер прихватила прищепками газеты на верёвке в киоске, словно собралась сушить, а не прода-

вать. Она поманила меня издали плиткой ириса, я мог получить её в обмен на то, что сперва она запустит свои артритные пальцы мне в кудри. Но кудри размыло дождём, как чернила из тетради по географии, и я сделал вид, что не замечаю Эстер, и остался стоять, где стоял. Она свесила голову набок в глубоком удручении, как у неё повелось с тех пор, как я перестал одаривать её «спасибами», и с горя запихнула всю плитку себе в рот, темно-коричневый, кристаллизовавшийся сахар захрустел, размалываясь, у неё на зубах, я вздрогнул от этого звука. Я заткнул уши. Где Фред? Катафалк медленно ехал вниз по другой стороне дороги в сопровождении одного-единственного тянувшегося за ним «фольксвагена» с серым крестом на крыше, и меня пронзило странное, но ясное чувство, что однажды я эту сцену уже видел, а теперь у меня на глазах она прокручивалась по новой, не точно как запомнилось, с вариациями, но и катафалк, и шофёр, и белый гроб сзади, и аккуратные светлые шторки на окнах до того потрясли меня, что я прислонился к дереву, у которого стоял, в ужасе от новой мысли: это воспоминание не о прошлом, а о том, что мне вскоре предстоит увидеть ещё раз. Мужчина в «фольксвагене» хохотал. Он припал к рулю и за-

ливался хохотом. Возможно, я обознался. Может статься, он рыдал. Или смех похож на плач, когда его не слышно. Они уехали. Я придавил ладонь к лицу и понюхал. Мандоворот?

Мама натушила жидкого жаркого с мясом, но есть не хотелось ни мне, ни ей. Болетта не появлялась с тех пор, как накануне вечером вышла из дому в вуали и чёрных перчатках. Это означало всем известный маршрут. Болетта отправилась на Северный полюс охолонить своё сердце пивком. Так она поступала, когда на неё накатывало. Это мама так выражалась. *Когда на неё снова накатило.* Фред ещё тоже не вернулся, а отец ездил по делам. Что это означает, мы толком не знали. Он редко что-нибудь рассказывал. Нам было известно лишь, что он продаёт вещи, несколько раз он приезжал с деньгами. Их никогда не хватало надолго. Я ковырял жаркое. И мама ковыряла. Мы сидели на кухне и молча ковыряли каждый в своей тарелке. На улице уже стемнело. Сильный ветер ломился в окна. В прихожей тикали ходики. У мамы был талант к молчанию. Она могла бы стать чемпионом мира по молчанию среди женщин, если б ввели такую дисциплину, а Фред победил бы среди мужчин. Мне кажется, из-за этого молчания, длившегося иной раз неделями,

отец окончательно терял голову. Он заставил маму смеяться, но дальше этого дело не пошло. И вдруг она зачерпнула пригоршню жаркого и запустила им в стену. Звук вышел примерно такой, как когда грузовик переезжает ежа. Засим она осталась сидеть, глядя в пустоту, но не на меня и не на мясо с жидкой картошкой, а оно текло на пол и складывалось уже в картину, напомнившую мне ту фотографию русского офицера, где его прошивают очередями на углу улицы в Будапеште, только цветную. Причём я как раз собирался спросить маму о чём-то, что меня давно занимало, но теперь передумал. С мамы хватит, её я оставил сидеть глядеть. Глаза у неё были чернее мужского зонтика. А сам пошёл в ванную мыть лицо. Я оттирал его едким хозяйственым зелёным мылом с пемзой, а закончил йодом. Физиономия моя стала похожа на кровавый апельсин, который кто-то взялся чистить в варежках. Я прокрался в комнату и шмыгнул под одеяло. Мандоворот. Тиканье ходиков. Мокрый асфальт на Киркевейен. Мама прошаркала через всю квартиру, постояла у телефона, пошла дальше в гостиную, вернулась к телефону, подняла трубку и опять её уронила. Я прислушался. Маленький шпион с мандоворотом. Никто не звонил. Кого

она ждала сильнее всего — Фреда, Болетту или отца? Или совсем другого человека? Может, она продолжала надеяться, что Рахиль вернётся? Я не знал. И вслушивался в мамины шаги, они звучали всё тяжелее и тяжелее. В мамино молчание, скоро оно станет неподъёмным даже для неё. Она толкнула дверь и заглянула ко мне: — Ты уже лёг? — Я сел. Сейчас вполне можно было задать вопрос, но когда я уже открыл рот, то неожиданно спросил невпопад: — Мама, а в какой машине родился Фред? — Она прислонилась к косяку, вздохнула и ответила: — В такси, Барнум. — А марка? — Мама почти улыбнулась. — Ну, этого я не помню. Не до того было. — И снова замолчала. Как если б она зашила себе рот, взяла и тайком застрочила на машинке *Зингер.* Плечом она упиралась в мою последнюю отметку на косяке. Та давно стояла на этой высоте. Фредова маячила многими насечками выше. — Почему я не расту вверх? — спросил я. Мама растянула стёжки на губах. — Барнум, ты же ещё растёшь, верно? — Я посмотрел в пол. — Похоже, уже нет.

Мама тихо прикрыла дверь, а я достал из ранца обломки линейки и попробовал склеить её. Куски совпадали, но чего-то не хватало, какой-то микродоли миллиметра недоставало на стыке.

Линейка стала меньше себя самой, она не дотягивала до своих двадцати сантиметров, и я подумал о метре, хранящемся в Париже, в свинцовом коробе, о метре метров, о метре-патриархе, том, что без похода и зазора, но с эталонной плотницкой точностью насчитывает свою длину. Я вытянулся в кровати, насколько мог, и порешил с этого часа ввести свою меру длины — *линейку Барнума.* Мне нравился сладкий запах клея.

Кто-то пришёл домой. Но не Болетта. Я представляю себе, как она сидит сейчас за коричневым столиком на Северном полюсе и глушит пиво огромными кружками в компании суровых мужиков, слушая, чтобы забыться, их исповеди, пока хмель затуманивает голову и успокаивает зуд воспоминания, выжженного в памяти тем майским днём 1945 года, когда она увидела на чердаке свою дочку Веру, нашу мать. Я был тому зрителем. Наблюдал своими глазами сквозь жёлтые окна «Северного полюса», как один из суровых мужиков медленно стягивал с Болетты чёрные перчатки.

Это вернулся Фред. Он хохотал. Мама прикрикнула на него. Но он продолжал хохотать. Она заплакала, что-то полетело на пол и разбилось. Я отказывался слушать. Я спал, вытянувшись

во всю длину *линейки Барнума.* Вскоре улёгся и Фред. Его быстрое дыхание. Мамин плач в углу дальней комнаты. Осколки в совке. Как далеко в сон можно зайти прежде, чем станет поздно поворачивать? — Болетта пляшет, — сказал Фред. — Отплясывает в «Северном полюсе». — Я проснулся. — Нам надо сходить за ней? — Фред не ответил. А я вдруг забыл, о чём спрашивал. Кто может поднять бабушкину вуаль? Об этом? Или кто Фредов отец? Было слышно, что мама одевается, потом её быстрые шаги по лестнице. Она пошла привести Болетту. Уже ночь. Я взглянул на Фреда. Он не разулся, очевидно желая в любую секунду быть готовым к бегству. — А я знаю, — сказал я. — Что знаешь? — Ты один из нас. — Помолчи! — Я молчал. В комнате пахло клеем от моих пальцев. У меня закружилась голова. И захотелось влезть постоять на подоконнике. Фредовы ботинки сияли в темноте. Если полыхнёт, он выскочит сразу. — Почитаем письмо? — спросил я. Фред не ответил. Но я думаю, повернулся спиной. Лампу зажигать мне было ни к чему. Письмо я помнил наизусть. Без сучка и задоринки. Я набрал воздуха. — *Вам всем, здравствующим дома, шлю я из страны полуночного солнца любовный поклон, а иже с ним коротко*

пишу о том, как проходила экспедиция до сего дня, ибо я думаю, вы любопытствуете узнать, как мы живы и чем заняты посреди льда и снега…

Посреди льда и снега. Я ничего не мог с собой поделать. Каждый раз мурашки снова бежали у меня по спине, в горле застревал комок и подкатывали сладкие слёзы горячего горя. — Фред, ты слышишь? — шепнул я. С его кровати не донеслось ни звука. Я закрыл глаза и увидел посреди льда и снега корабль. *Сначала о судне. Оно деревянное, но очень крепкое, сработано на славу, добротно, основательно и имеет дополнительную ледовую обшивку.* — Заткнись, — сказал Фред. — *Строилось оно как китобойное и ходило до Северного мыса.* — Заткни пасть, окурок! — Я читаю медленно, потому что по-датски. Что-то стукает в стену у самой моей головы. Фредов ботинок. — Ты знаешь, почему они сказали, что у тебя рожа воняет мандой? — Нет. — Рассказать? — Нет. Не надо, Фред. — Потому что ты дышишь девчонкам аккурат в срамное место, тугодум недоделанный.

Тень Фреда вытянулась на кровати. Я поставил его ботинок на пол. В ту ночь я не заснул. Зато думал о Томе Пальце, американском карлике высотой 89 сантиметров и весом 24 килограмма,

который лет сто назад сперва исколесил всю Америку, показывая себя людям, потом поехал в Европу, встретился с королевой Викторией и заблудился в её многочисленных юбках. Когда он ел, на стол никогда не выставляли кувшина с водой, боялись, как бы не утонул. О нём рассказывали, что Господь наложил вето на его будущность, когда Тому Пальцу было два года, и с тех пор он больше не рос. Такими вот рассуждениями тешил я себя. Может, Господь рассердился или постепенно разочаровался. В Средние века учёные раввины пытались доказать, что от Сотворения рост людей был не менее пятидесяти метров, но с тех пор они неуклонно мельчали. В 1718 году француз Анрион подхватил эстафету и составил математическую таблицу, фиксировавшую, как скукоживалась человеческая раса. Согласно его измерениям, в Адаме было 40 метров, но в Еве уже 38, и пошло-поехало: Ной — 33 с половиной, Авраам — какие-то жалкие 9 метров, Моисей дотянул до 4, 22, Геркулес — до 3, Александр Македонский — ещё 1, 92, но у Создателя зашалили нервишки, и он послал на землю Иисуса покончить со всем, а Иисус был не выше 162 сантиметров, это видно по кресту.

Мне снится, что Господь меня забыл.

Я просыпаюсь, не поспав. Ботинок Фреда нет. Я вылез из кровати и прислонился к косяку. Мне хотелось знать, не подрос ли я за ночь, но нет, я перестал расти, перестал навсегда и думал теперь о том, чтобы удержать эту высоту, не горбиться, как Болетта, когда она возвращается из «Северного полюса» со спиной круглее, чем месяц над церковью на Майорстюен в октябре. Теперь я дрожал над своими кудрями, они увеличивали рост, буквально вытягивал рост за волосы, я первым на Фагерборге сделал африканское гнездо на голове, да к тому же белокурое, мне это казалось в порядке вещей, я ходил как белый пудель, но, скажем так, африканщина не прижилась. Зимой я носил огромную медвежью шапку, как русский пленный, я нашёл её в вещах Пра. Я пытался подрасти за счёт голодания и не пренебрегал двойными стельками и пробковыми каблуками. На гребне моды на бедность я круглый год таскал толстенные сапоги-говнодавы, моим звёздным часом стали платформы, это я говорю не для того, чтобы забежать вперёд, всякое событие будет рассказано в свой час, а просто чтобы моя жизнь склеилась в нужную, хотя и невообразимую картинку: мандоворот и платформы. В общем, трогательно, что в эти годы одиночества, в эпоху

слонопотамов, я чувствовал себя в самом деле выше, хотя на платформах ходили вокруг все. Разрыв между нами оставался прежним, сантиметр в сантиметр. Но я как бы переполз нижнюю границу. Голова показалась над водой, я коротал время по преимуществу один, те, с кем я дружил и кого любил, уехали из Норвегии, и я шлёпал вперевалку по дальним боковым улочкам города в своих блестящих ботинках. Тем болезненнее ощущалось низвержение с высоты, когда платформы заклеймили как посмешище, судьба которому пылиться во мраке шкафа, дожидаясь карнавала или сбора вещей в пользу бедных. В Осло я последним отказался от платформ и теперь понимаю, что это и был мой золотой век, смутное время на излёте смены мод, я приобрёл власть и, кум королю, вышагивал на высоких каблуках, а вокруг уже шмыгали в старых сандаликах ни на чём. Но долго так продолжаться не могло. От престола я отрёкся. Пал. Короля платформ сместили, и я грезил о том, как однажды, проснувшись утром, Бог найдёт шестьдесят сантиметров, вспомнит, что забыл отдать их людям, и скажет так: тридцать из них числятся за *линейкой Барнума.* Отец однажды под настроение хлопнул меня по спине и сказал, чего, мол,

упираться в эти сантиметры человеку, которого природа оснастила так щедро, как нас с тобой, так во всеуслышанье заявил сам осмотревший нильсеновское тело господин доктор с Большой земли. Спроси маму, сказал отец. Спрашивать я не стал, но одно время носился с идеей надставить позвоночник. В одной газетёнке я прочитал, что такие операции делают лишь в Америке. Одного американца норвежского происхождения они там удлинили на шесть сантиметров, вшив ему сочленение между бёдрами и коленными чашечками. Но ходить после этого он почти не мог и всё больше сидел, а какой тогда смысл? Да в довершение умер от апоплексического удара, нагнулся завязать шнурки и не разогнулся, писали в газете. Как потешался надо мной Фред, если у него было настроение! Однажды он на плечах отнёс меня через всю Киркевейен и Майорстюен до кинотеатра «Колизей». И я позволил ему это. Но так же легко он мог спустить меня с плеч и спросить: — Махнемся, Барнум? — Я немедленно пугался, не зная, чем именно он хочет меняться, но не успевал спросить, как его уже не было рядом. Если кому-то хотелось поострить, он мог ляпнуть, что я с трудом достаю до собственной головы. Потом шутник чуть не лопался от смеха. Или они

заявляли, что от меня несёт мандой. Сам я смеялся редко. Однажды, между прочим, я встретил Джеймса Бонда, но и он мало чем мог мне помочь. На Шона Коннери, как его по-настоящему звали, я натолкнулся в табачной лавке на Фрогнервейен, куда пришёл за *Coctail*, которым, как известно, торговали из-под прилавка вместе с *Weekend Sex, Pinup* и прочей клубничкой, но я не смел отовариваться на родном Фагерборге, приходилось тащиться куда подальше. Чуть не час проторчал я на улице, пока собрался с духом и вошёл. Я думал, там никого, а тут раз — Джеймс Бонд, который к тому же тоже смутился. У него оказались жидкие волосы почти морковного цвета, которые он не расчёсывал месяца три самое малое. Он только что купил сигару и раскуривал её. Я чуть не дунул с порога назад, я решил, что у меня глюки, и перепугался до смерти. Но на самом деле в магазине на Фрогнервейен (Университетский городок, Осло, Норвегия, Европа, Земля) стоял Шон Коннери собственной персоной. Продавщица, наверняка его не признавшая, перекладывала шоколадки и спросила, что я хочу. Я неотрывно таращился на Джеймса Бонда. Наконец сигара зажглась. Он улыбнулся мне. Зубы у него тоже были неважнецкие. Продавщица повторила свой вопрос. Я

не мог вымолвить ни слова. В памяти осталось страшное разочарование, что Бонд такая тютя. Когда он протянул руку погладить мои кудри, я пулей вылетел оттуда и бежал до дома не останавливаясь. Вечером, когда мы легли, я рассказал про встречу Фреду. — Видел сегодня Джеймса Бонда, — шепнул я. Он повернулся: — В кино ходил? — Нет. Я видел его на Фрогнервейен. — На Фрогнервейен, говоришь? — переспросил Фред неприятным тоном. Я кивнул. — У него жидкие волосы и плохие зубы, — сказал я. Фред помолчал минуту. — Не видел ты никакого Джеймса Бонда на Фрогнервейен, — отрезал он наконец — Видел, — возмутился я. — В табачной лавке. — А что ты делал в табачной лавке? — Я потупился. — Хотел купить *Coctail,* — шепнул я. Фред засмеялся и снова откинулся на кровати. — Спокойной ночи, Барнум. И не пыхти, когда будешь кончать. — Правда! — сказал я. — Что правда? — спросил Фред. — Я видел Джеймса Бонда. Вернее, Шона Коннери! — Фред вскочил, он кипел от ярости. — Заткнись немедленно, карлик! — Я видел его! Видел Джеймса Бонда! — крикнул я. Фред шагнул ближе и ударил меня в лицо, впечатав в подушку. И пока из носа шла кровь с тяжёлыми сгустками, я думал, что, когда я говорю правду,

мне никто не верит, а верят, только если я вру. Начав, я не успокаиваюсь, пока не помяну всю обойму: Тулуз Лотрек, Джеймс Кагни, Эдвард Григ, этот вообще в силу совсем малого роста мог дотянуться до клавиш, только сидя на полном собрании творений Бетховена, и Микки Руни, вот кого нельзя забыть, несносного коротышку Микки Руни, который, однако, был женат пять раз на красавицах одна другой обольстительнее, мы все родня, кричу я, низкорослое племя, да, мы ближе всех к отстойнику. Тут Педер кладёт руку мне на плечо, умеряя мой пыл, женщины исподтишка переглядываются, а мужчины выходят на балкон подышать свежим воздухом. — В другой раз не поминай Грига, — шепчет Педер. Бывает, ненароком прислонясь к дверному косяку, то ли в ожидании кого-то, то ли скучая или нервничая, я совершенно непроизвольно вытягиваю ладонь, приставляю дощечкой к голове и нетерпеливо оборачиваюсь посмотреть, не подрос ли. Но на этом косяке нет никаких меток, он чист, и сравнить мне не с чем, поэтому я тихо прикрываю дверь и отхожу. Сколько тянется фантазия? Кто может во сне проговорить алфавит задом наперёд? Я делаю нарезку из своей, то есть нашей, жизни. Вот вломился в монтажную и раз-раз,

чикаю серебряными ножницами. А потом своими маленькими ручками склеиваю фрагменты в другом порядке. Если я где приврал, простите, приходится уж капнуть толику лжи, чтобы крепче держалась склеенная из обломков линейка повествования. То, что я рассказываю, всё время оказывается короче того, что мы пережили, замечаю я. Таким образом я возвращаюсь к тому утру, когда я прислонился к косяку, опухший ещё со сна, в надежде увидеть плоды ночной прибавки в росте. Фредовых ботинок не было. Звенела тишина. Первые слова прадедушкиного письма *Вам всем, здравствующим дома, шлю я…* беззвучно крутились на языке. Это не флешбэк. Это ты сам, ты стоишь в комнате и мало-помалу начинаешь смутно вспоминать. Ты различаешь неясный звук у себя за спиной, обернувшись, видишь ребёнка, и этот ребёнок — ты.

Я заглянул в гостиную. Болетта спала на диване, шторы задёрнуты. При каждом вздохе с её губ срывался тонкий звук. Чёрные перчатки валялись на полу. Будить её мне не хотелось. Я подкрался на цыпочках, поднял вуаль и чмокнул её в лоб. И не успел уйти, как появилась мама. — Ты молодец, Барнум, — сказала она. На маме синий передник, он туго затянут на талии и

подчёркивает её стройность. В руках она держала серую тряпку с кислым запахом, ошмётками жаркого и другой еды. Неожиданно меня затошнило. Я вспомнил, как однажды в воскресенье отец высказался по поводу бифштекса, он был пережарен или наоборот, и тогда она швырнула на сковороду такую тряпку, поджарила и подала ему с соусом и прочим. Самое ужасное, что отец её съел, уж не знаю, как он на это сподобился, но он ножом и вилкой нашинковал её на мелкие кусочки и заглотил их, больше тряпку никто не видел. — Наша мама как Рёст, — любил повторять отец, — никогда не угадаешь, какая погода тебя завтра ждёт. — Она спит, — тихо сказал я. Мама устало улыбнулась. — Теперь она не проснётся, пока с неё не сойдёт. — Так это было устроено. То, что накатывало на Болетту, должно было потом ещё сойти с неё. Хотел бы я знать, что это такое на неё накатывает. — На днях открывается школа танцев, — сказала мама внезапно. — Нет, спасибо. — Что значит «спасибо»? Пойдёшь без разговоров. Ты потом сам спасибо скажешь! — Она бросила тряпку на пол, обхватила меня и протанцевала со мной, одетым в пижаму, круг по комнате, мимо дивана, до камина, чуть не опрокинула лампу и засмеялась,

она пахла духами и стиркой, я чувствовал сквозь передник её худобу и пытался высвободиться, но тогда мама пристально заглянула мне в лицо, и мысли её приняли другой оборот. — Что ты с собой сделал? — спросила она. — Ничего не сделал. — Ты весь опух и красный. — Мне в школу пора, — прошептал я. — С таким лицом? — Она провела пальцем мне по щеке. — Надеюсь, это не свинка? Свинка у тебя была. Что ж такое… Дай-ка посмотрю, нет ли сыпи. — Я вырвался: — Я здоров. Просто помыл лицо. — Мама засмеялась: — Это видно. Довольно основательно. Хлоркой, нет? — Нет, зелёным мылом и йодом с пемзой. Чтоб мандой не воняло. — Мама выпустила мою пижаму, подбородок у неё дрожал, словно её ударило и тряхнуло. — Барнум, повтори, *что* ты сказал?

И в этот момент вернулся отец. Я увидел его позади матери, он закрыл локтем дверь и, в убеждении, что утром в октябре в пятницу дома никого и никто за ним не следит, поставил на пол блестящий чемодан, повесил шляпу на крючок между бра, сунул зонтик в зонтечницу, выпутался из плаща, со вздохом сбросил ботинки, отстегнул подвязки на носках, всё это единым движением, почесал белую ногу и, наконец, при-

тулился к стене, а я видел поникшую шею, спину колесом, натянувшийся, едва не лопавшийся на ней пиджак, платок в нагрудном кармане с вензелем «АН», горошины пота на лбу, руку, она берёт платок, не безупречно чистый, и проводит им по широкому лбу, но пот въелся, как плесень, отец трёт, оттирает, сердится, злится, хлопает себя кулаком по лбу, точно это может помочь, и тогда мама тоже поворачивается в его сторону, но она пропустила всё, чему я стал свидетелем: отцово возвращение домой, и я кашляю, отец пружинисто вскидывается, зажав платок в горсти, и сей же миг на лице включается улыбка, и он идёт к нам, расставив руки, словно сцена секунду назад, когда он стоял, привалясь к стене, и лупил себя кулаком по лбу, была обманом, обманом зрения. — Я думала, ты не приедешь раньше завтра, — говорит мама. — И я не думал. Взял и приехал! — Отец складывает платок и прячет, я не успеваю заметить куда, смеётся и целует маму в обе щеки. Отец опять потолстел. С каждой поездкой его разносит всё больше. Складки кожи натекали на воротничок как сливки на края слишком полной чашки. Ремнём он уже не пользовался, перешёл на подтяжки. Даже колени у него заплыли жиром. Вот-вот станет поперёк

себя шире в прямом смысле слова. Наконец он отпустил маму, посмотрел на меня и прищурился: — Барнум, что у тебя с лицом? Фред учился ставить ударения? — Он снова захохотал как безумный. Мама вздрогнула. — Барнум простужен, — выпалила она. — Поэтому и в школу не пошёл.

Но отец уже заинтересовался Болеттой. Она свернулась калачиком на диване. То, что накатило, сойти ещё неуспело. — Вот оно что, — хмыкнул отец — *Lit de parade.* — Мама схватила его за руку: — Тише. Не говори так. — А что это значит? — спросил я. Отец в очередной раз промокнул лоб платком. — *Lit de parade?* Это французское выражение означает всего-навсего «похмелье». Нам не надо поставить ей на грудь стаканчик водки и проверить, жива ли старушка? — Мама грубо дёрнула его за пиджак, отчего тот собрался колбасками на спине, а средняя пуговица повисла на честном слове. — Почему ты вернулся раньше? — вспомнила она опять. Отец вдохнул. Поднял калечную руку. И попробовал было улыбнуться. — Мне уйти? — спросил он. Мама вздохнула: — Арнольд, я всего-навсего спросила. — Отец вдруг распсиховался. Терпение у него лопнуло. — Я должен отчитываться, почему вер-

нулся домой днём раньше? — едва не кричал он. Мама попробовала призвать его к порядку, но поздно. — Потому что машина гикнулась! Она не вынесла путешествия в Италию! — Отец сел. — Она разбита? — осторожно поинтересовалась мама. — Она на свалке в Клёфте. Я выручил за неё аж две с половиной кроны! — Отец снова вскочил. — Одно можно сказать наверняка — эта проклятая поездка принесла нам убытки. У Флеминга Бранта нечем было разжиться. — Глаза у мамы сузились в щёлки. — Так вот зачем ты нас туда потащил. Проверить, нет ли у него мошны с деньгами? — Отец знал, что уже наговорил лишнего, но не мог остановиться. — Да, чёрт побери! Вдруг бы он оказался королём Белладжо. Кто ж знал, что он жалкий смотритель пляжа! — Стало совершенно тихо. Отец держал в руке свой платок, как белый мятый флаг. Он искал, чего бы такого быстро сказать. Он промокнул шею, а глубоко под испариной, под складками жира таилась его улыбка, про которую даже говорили, что я её унаследовал и что должен благодарить судьбу за это. И хотя откопать отцову улыбку становилось всё труднее и труднее, я видел, что она не утратила своей магии, от неё мы также замираем в предвкушении, мама делается терпеливее

и мягче, а сам отец краше и неотразимее, как если бы улыбка высвобождала его из тела и поднимала над банальными неурядицами будней. И он вновь превращался в мальчишку, решившего продавать ветер. — А кто из вас догадается, о чём я подумал по дороге домой, сидя в одиночестве в убогом купе? — спросил отец. Догадаться возможности не было, ибо отцова мысль обыкновенно так долго блуждала вокруг да около, что редко добиралась до цели, а гораздо чаще сбивалась с пути, связавшись с дурной компанией. Он скрестил руки на груди. Они едва поместились там. Отец ждал. Он хотел слышать фанфары и барабанную дробь. — Пап, ну говори. О чём ты подумал? — Спокойно, Барнум. Не суетись. Всему своё время. — Он ещё немного постоял. Мама дала мне руку. Покуражившись, отец вышел в прихожую и вернулся с маленьким чемоданчиком. Он бережно положил его на обеденный стол, а мы встали слева и справа, чтобы лучше видеть.

Отец размял руки в перчатках. — Помимо вас, — а о вас я, да будет вам известно, думаю непрестанно, что естественно, — мысли мои вертелись вокруг Олимпиады! Я чувствовал в себе олимпийский задор, я думал об Олимпиаде в Токио и решил: надо поддерживать себя в форме!

Я начинаю новую жизнь! И с этой целью я заехал на стадион Бишлет и произвёл выгодный обмен с тамошним завхозом. Он получил пластинку Енса Бук-Енсена с автографом. Мне же, любезные дамы и господа, досталось это чудо.

Отец открыл чемоданчик, но загораживал его собой, мешая нам увидеть, что там внутри. Но вот он вытащил кругляшку с вспученной сердцевиной, похожую на засохшую коровью лепёшку, которую ему вполне могло прийти в голову захватить с собой из района Остфолд. Он держал её перед нами. Мы молчали. Мама отвела взгляд. Отец хлопал-хлопал глазами и как закричит: — Ну что вы молчите?! — Это что? — спросила мама. И тут отец громко засмеялся в третий раз за это утро своего возвращения домой. — Моя дражайшая, любимая и невежественная супруга! Что бы делала ты без меня, человека, несущего в этот дом любовь и просвещённость? Барнум, объясни своей матери, что за предмет я держу в руках. — Диск для метания, — прошептал я. — Браво, Барнум! Это самый что ни на есть настоящий диск! — Мама шумно выдохнула. — Диск? Это всё, с чем ты явился домой? — Отцов лоб перерезала глубокая морщина, она пролегла через весь широкий лоб, как дренажная канава для отвода испарины.

Но и улыбка оставалась на лице, она словно приросла, всё в отце менялось не вдруг, тело не поспевало за головой, поэтому иногда он продолжал улыбаться уже разозлившись, а другой раз отвешивал оплеухи в прекрасном расположении духа. Он долго смотрел на маму. — Всё? Диск — это знак цивилизованности человечества. Первый предмет, который метали не для того, чтобы поразить или убить. — С этими словами он выпутался из пиджака, положил диск в больную руку и стал раскручиваться на ковре. — Тамара Пресс! — стонал отец. Мама закрыла лицо руками и придушенно кричала там внутри, а я сел, не в силах устоять на ногах. Я хохотал как заведённый, потому что отец был похож на одноногого слона в помраке, который пытается поймать свой хобот, и тут проснулась Болетта. Она встала с дивана, сдула с лица вуаль и показала на отца: — Чем занят этот мужчина? — Он собирается метнуть диск, — заверещал я. — В моём доме никто и ничего метать не будет. Понятно? — Отец сбавил обороты, он кружился медленнее и медленнее и наконец стал ровно, пот лился из ушей, как будто трубу в голове прорвало. — Ты права, крошка Болетта. Для этого спорта нужен простор. Подождём-ка мы до весны. — Он убрал диск в ящик

комода. Потом обнял нас, втянув в круг и Болетту, и сжал его. — Как здорово возвращаться к вам домой! — сказал он. — Как чертовски здорово возвращаться к вам, домой…

Так мы и стояли, тесно прижавшись, одной семьёй, в пятницу в октябре. И вот тогда отец шепнул мне слова, которые один я расслышал: — Барнум, ври и сей сомнения. — Зачем? — удивился я. — Потому что тебя всё равно никто всерьёз не принимает. — Отец засмеялся. — Тем более что правда скучна, — добавил он, а я в эту секунду встретил взгляд Фреда, он глядел на нас из тени между дверью и комодом. Сколько времени он простоял так? Не знаю. Может, он был здесь всё время. А теперь улыбнулся. Он улыбнулся, и мне захотелось протянуть к нему руку. Но он помотал головой, закрыл глаза и отклонился в темноту. И мне подумалось: больше нас нет. Теперь мы тоже сгинем.

(родинка)

Я играл с мыслями. В основном с ними. Больше играть мне было не с кем. Мысли, которыми я забавлял себя, касались катастроф, болезней, смерти и других непоправимых несчастий. Они очень поддерживали меня. Ведь утешительно

знать, что жизнь могла сложиться и хуже, неизмеримо хуже. Если б в нашей квартире начался, скажем, пожар, ну, например, в рождественскую ночь, ёлка занялась бы как спичка и рухнула бы на подарки, и меня, единственного, оставшегося в живых, нашли бы среди обгоревших останков мамы, Фреда и Болетты, а потом я ещё три месяца дышал бы через кислородную маску и лишь чудом восемнадцать хирургов сумели бы вырвать из лап смерти то, что от меня осталось, — вот тогда бы все кругом запели по-другому. Тогда б они поняли!!! Моих мучителей загрызла бы совесть, они на коленях приползли бы вымаливать прощение, и вот я, снедаемый болью, но по-прежнему великодушный, дарую им его, и обо мне взахлёб пишут газеты, сочиняют книги, ставят оперы и называют моим именем пароходы. Потому что все мои мечты сводились единственно к этому, к переменам: жизнь закладывает крутой вираж, и всё идёт совсем не так, как шло раньше. Я представлял себе, как хожу с обожжённым лицом, в бинтах, одинокий и прославленный. Так я грезил. Потому что по ходу игры мысли превращались в грёзы, а грезил я наяву, когда не спал, но ночью — никогда, ночью я не отваживался, зато днём я часами мог ходить, погружённый в эти фантазии,

пока в изнеможении не опускался где-нибудь посидеть и выплакаться, часто на камне на вершине Стенспарка. Сила этих фантазий загоняла меня в странное безумие, я заливался слезами, я рыдал, грубая, насильственная драматургия моих грёз растравляла душу. Ради фантазий я себя не щадил. Воображение рисовало картину (болезни, неизлечимой, причиняющей нечеловеческие страдания, изматывающей, я на пороге смерти. И вот ко мне устремляются они, чтобы помириться, извиниться, подружиться, но — время вышло, я умираю и лишь напоследок выпрастываю руку, словно отпуская грехи всем, кто стоит в этот час у моего одра. Однако дальше этого я ни в мечтах, ни в мыслях не продвигался. К моему раздражению. У меня не получалось представить себя мёртвым, нет, то есть представить я мог, но никакой радости, ни на гран, я при этом не испытывал. Видение меня-покойника (в скромном ли гробу в крематории Вестре или в церкви Майорстюен), неизменно мимолётное, не удавалось зафиксировать, оно вело себя по собственному разумению и мгновенно пропадало, уходило, словно вода в песок. Фантазии на тему собственной смерти мне не давались, и всё. Как если бы я в глубине души отказывался в неё верить. Так что я предпочитал

сюжеты про несчастья и катастрофы, в которых мне чудом, но удавалось выжить и стать центром всеобщего восторженного и сочувственного внимания. Я грезил, как сам, вместо Фреда, сижу на тротуаре неподалёку от погибшей под колёсами грузовика Пра, только, в отличие от Фреда, на мне не было живого места, поскольку я пытался спасти её, я сделал всё, что в человеческих силах, даже рискнул жизнью, но — тщетно, моим усилиям вопреки Пра умерла, её смерть делает мой горький жребий бесконечно жалким, и я как куль сползаю в водосточную канаву. У меня сломана нога, из глубокой раны на лбу хлещет кровь, и наружу выдавливается краешек мозга, похожий на тонкий картофельный оладушек, и все хлопочут надо мной, окружают почётом, я герой, я не жалел своей жизни ради чужой и тем самым проявил себя благородным человеком, настоящим. Меня точил, правда, страх, не есть ли фантазии уже грех. Пусть они удерживаются под спудом. Равноценна ли мысль злодеянию, если она живёт в голове, в дальнем закоулке, в тишине, невостребованная и не высказанная вслух? Так я размышлял. И доразмышлялся. Настал день, когда мне пришлось вытащить мысли из-под спуда. И поверить фантазии жизнью, которая

оказалась чудовищно мала даже для меня.

Она училась в параллельном классе. Я долго наблюдал за тем, как она, по обыкновению, стоит во дворе под навесом, всегда одна, всегда отвернувшись. И наконец счёл её такой же одинокой, как я сам. Раскусить-то я её раскусил, но это ни на шаг не приблизило меня к ней. Да и что я себе вообразил? Что у Барнума появится подружка? Звучит дико, но именно это я втемяшил себе в голову: у меня заведётся подружка, а станет ей та, что вечно стоит в одиночестве под навесом, отвернувшись. У неё были светлые короткие волосы и родинка на левой щеке под самым глазом. В особенности родинка вдохновляла меня, изъян сокращал пропасть между мной и суженой, давал мне надежду и мужество, коли на то пошло, родинка и привлекла меня в ней, её клеймо, а моим был малый рост, недостаток сантиметров, тоже поневоле бросающийся в глаза каждому.

После уроков я пустился за ней следом. Я крался в некотором отдалении. Перебегал от угла к углу. Она не замечала меня. Она брела одна, ранец, видно, был пудовый, потому что она то и дело останавливалась передохнуть. Меня подмывало предложить ей помощь, я мог бы донести ей ранец до дому, для меня это плёвое дело. Ничем я

ей не помог. Лишь выжидал, тайком наблюдая за ней из затенённой подворотни, где из всех замочных скважин и щелястых дверей пёрли густые обеденные запахи, они сползали по лестницам вниз и вызывали во мне тягучую серую тошноту, так что в конце концов меня вывернуло наизнанку под почтовыми ящиками, ломившимися от запоздалых открыток с пляжами и яхтами (дело было в сентябре). Когда я прочухался, Тале ушла. Её звали Тале. Поскольку я ещё загодя разведал, где она живёт, то теперь припустил туда, на улицу Нобеля, но увидел в окне третьего этажа только задёрнутые шторы.

Я долго проторчал там. Да без толку. Она больше не вышла. И я тихо побрёл домой, дорогой сочиняя, как самолёт разбился где-то в дебрях Африки и никто, кроме меня, не выжил. В этой истории был один скользкий моментик. Как я очутился в самолёте, летящем над Африкой? Надо было найти достойный ответ, потому что иначе история не считается. Наконец придумалось. Я победил в школьном конкурсе сочинений и летел на Мадагаскар, куда съезжались ребята со всего мира писать новые сочинения. Значит, по дороге самолёт разбивается, я волшебным образом спасаюсь, меня подбирает местное первобыт-

ное племя, никогда прежде не видевшее белого человека, и я провожу с ними три года. Дома, в Норвегии, когда надежд уже не остаётся, меня заочно отпевают в церкви на Майорстюен, и народу набивается столько, что череда желающих отдать мне последнюю дань растягивается до винной «монополь ки». Пастор раздавлен горем и раскаянием и говорит с кафедры, что отныне все, наречённые именем Барнум, будут нести его с гордостью, а таких среди новорождённых мальчиков ещё долгие годы остаётся каждый второй. Фред произносит поминальную речь, он собственноручно написал её без единой ошибки, потому что безутешная тоска по мне излечила его от дислексии, он видит слова ясно и правильно, а меня он сохранит в своём сердце как преданного и одинокого сводного брата, хотя я был для него просто братом, самым лучшим, а рядом с мамой, отцом и Болеттой сидит Тале и горько рыдает, от меня ведь не осталось даже гроба, на который можно было бы положить цветы и упасть перед ним на колени, но пусть теперь сами выкручиваются, пусть управляются как хотят, я-то лежу в хижине в сердце Африки, и надо мной склонился знахарь ста примерно лет с продетой в нос стрелой. Он трясёт головой и бормочет что-то на ему

одному понятном языке. И так я лежу из недели в неделю и из месяца в месяц, пью дождевую воду и питаюсь вываренными обезьяньими почками, пока однажды знахарь не потчует меня супом, который он приготовил из растений, растущих под землёй, отыскать их почти невозможно. И этот суп, густой, синий и пахнущий кошачьей мочой, совершает чудо, раны немедленно затягиваются, ко мне возвращается память, мало того, я начинаю расти, я лежу и чувствую, что удлиняюсь, ступни отдаляются, я едва могу их разглядеть, а когда я поднимаюсь на ноги, то оказываюсь выше всех, но продолжаю сомневаться, ведь вокруг пигмеи, и вдруг всё это оптическая иллюзия. Наконец, меня находит миссионер, прибывший с чемоданом библий (их он раздаёт первобытному племени) и зелёной войлочной доской (на ней он лоскутными куклами разыгрывает истории из жизни Иисуса). Я спрашиваю, какого он роста. Господь даровал мне сто семьдесят четыре сантиметра, отвечает он. Тогда я понимаю, что воистину подрос, потому что этот несчастный миссионер дышит мне в подмышку. Значит, во мне все метр восемьдесят. Он укладывает свой лоскутный вертеп, и я ухожу вместе с ним через джунгли, а в день, когда я приземляюсь в Форне-

бю, три месяца спустя, меня встречают тысячные толпы, они усеяли всё лётное поле, у них флаги и плакаты «Добро пожаловать к нам, Барнум!». В первом ряду стоит Тале с родинкой, но я прохожу мимо, а толпа хором ахает при виде моих ста восьмидесяти, они едва узнают меня, хотя в душе я остался прежним, добрым стариной Барнумом, у меня ведь золотое сердце. Фотографы сцепляются за право щёлкнуть меня, я иду мимо Тале, она пытается удержать меня, но я вырываюсь и бегу к Фреду, он кидается мне на шею (со дня поминальной речи он оставался безутешен и не мог прочесть ни буквы) и рыдает у меня на плече.

Мне пришлось остановиться у фонтана на Гюльденлёвесгатен. Ноги едва держали меня. Воду отключили, в луже на дне прели листья и каштаны. Зато я, уткнувшись в своё же плечо, рыдал, как каскад фонтанов. Заливался в три ручья. История про Африку нашла выход в слезах, они тяжело капали на мокрый асфальт и распугивали червяков, заскользивших кто куда. Дальше я не придумал, история остановилась на том, что Фред кинулся мне на шею. Продолжение у неё скучное и медленное, мне с ним возиться неохота. А лучшая часть этой истории — заочное отпевание меня, когда я лежу в африканской

хижине, а остальное человечество собирается на Майорстюен, на похороны в отсутствие покойника. Я опять разрыдался. Тут кто-то склонился надо мной, чуть не коснувшись моего лица. — Ну что ж ты так расстроился, — произнёс голос. И кто-то стёр мне слёзы платком с запахом рыбных фрикаделек и сиропа от кашля. — Что же могло так расстроить такого славного хорошего мальчика, а? — Я открыл глаза и прямо перед собой увидел старческий рот. Помада смазалась на передние зубы, похожие теперь на розоватые раковины, а язык выгнулся, точно улитка. Я отшатнулся. Она убрала платок в сумку и придвинулась. — Ты не ударился? — Я помотал головой. Она была так близко, что её улитка вот-вот могла меня лизнуть, а отступать дальше некуда, тогда я свалюсь в фонтан. — У меня брат умер, — сказал я. Она остановилась, и глаза у неё словно вспучились. — У тебя умер брат? — Да, — зарыдал я и вытер щёку рукой. Она положила ладонь мне на голову и заговорила медовейшим голосом, двигая языком: — Давно он умер? — Вчера. — У тебя вчера умер брат? — Да, вчера. Послезавтра похороны. — И меня потрясло, сильнее даже, чем африканская история, то, как я умертвил Фреда, не просто *подумал* так, а *произнёс вслух,* и внимавшая мне

старушка приняла эту смерть за чистую монету. Получалось так, что эта трагедия действительно стряслась, я поверил в это сам и ловил каждое своё слово, слетавшее с моих же губ. — Он утонул, — сказал я. — В реке в Гаустаде. Я пытался спасти его, но… — И меня затрясло от рыданий. Я не мог больше говорить. Старушка тоже зачиналась слезами и опять вытерла мне лицо. — Ты замечательный, храбрый мальчик, — всхлипывала она. А потом дала мне пять крон, украдкой потрогала мои кудри, спрятала платок и пошаркала прочь по жёлтой листве. И тут случилось странное. Когда я открыл рот поблагодарить, сказать «спасибо», с языка сорвались совсем иные слова. — Улитка пизданутая! — заорал я. Старуха остановилась, обернулась, морду аж перекосило. Я пулей сорвался с места и рванул во весь дух к пожарному депо, я б не стал расстраиваться, если б прямо сейчас заполыхал пожар. Неплохой вариант, если б город сгорел дотла, а заняться пожарище могло хоть в Королевском дворце (монарх мечется по балкону в языках пламени). Но машины стояли в депо, сирена не ревела, каски висели на стене. А пожар бушевал лишь у меня в голове, костёр занялся на небе, а такое возгорание пожарники не тушат. Я побежал дальше. Я нёсся

сам с собой наперегонки и притормозил уже на Бугстадвейен. Встал перед парфюмерным магазином на углу, где заворачивают трамвайные пути, и посмотрелся в зеркало за стеклом. Дым не валил из ушей, кудри не опалились. Я почти не изменился, только щёки раскраснелись и зрачки стали круглее на одну лишнюю мысль, точно они слишком многое повидали. Но руку мне жгла пятёрка. И я зашёл в магазин. Здесь были одни женщины, они обернулись как по команде, и насупленные лица расцвели улыбками, как будто мой вид вывел их из тяжёлого забытья в нижних слоях пахучей дрёмы — запахи ведь, как мокрые листья, они скучиваются под деревьями, и не знаю почему, мне некстати вспомнился ёжик, улёгшийся спать внутри лиственного кокона. Сейчас кто-нибудь полезет мне в волосы, подумал я, то есть я даже подумать не успел, как продавщица в голубом платье погрузила пальцы мне в кудри, ухватила локон и стала, хихикая, наматывать его на палец. — Улитка пизданутая, — бросил я и прикусил язык Но она лишь нагнулась ещё ниже, улыбнулась ещё шире, а парфюмерные продавщицы захихикали хором: «Видели такого вежливого мальчика?!» Похоже, такого вежливого мальчика они не видали сроду,

ибо ни одна не смогла устоять перед соблазном изучить мои кудри на ощупь, и только по завершении этой процедуры меня спросили, чего мне угодно: может, духов № 4711 для мамы или стальной гребешок? — Мне нужно кольцо, — прошептал я. Продавщица пригнулась пониже: — Что ты сказал, дружок? — Я сказал — кольцо, — повторил я. — С буквой. — Тогда она лукаво улыбнулась и увлекла меня в глубь магазина, а там выдвинула ящичек, полный колец. — Какая буква тебе нужна? — Я бы с удовольствием купил весь алфавит, чтоб точно не промахнуться, но на это у меня не было денег, а если начать с «А», их хватит до «Е», а знакомых с таким именем у меня не имелось. — «Т», — сказал я быстро. Продавщица извлекла кольцо с «Т». — И как зовут твою подружку? Турил? — Я покачал головой. — Значит, Туне. — Нет, — не согласился я. Она уже чуть не в ногах у меня валялась: — Трине, да? — И тут меня озарила мысль, вполне мне приглянувшаяся. — Тишина, — сказал я. — С «Т» начинается «тишина». — Продавщица ещё раз запустила руку в мои кудри и выпрямилась. — Ах ты маленький хитрец, — сказала она. «Улитка пизданутая», — думал я так отчаянно, что ломило голову, но мои мысли не выдали себя ни звуком.

«Т» — как *тишина.* Надо запомнить.

Кольцо запаковали в вату и бумагу, я отдал пятёрку и получил три шестьдесят сдачи. Если всё пойдёт по-намеченному, на эти деньги я приглашу Тале куда-нибудь, можем посидеть в «Студенте», попить молочно-малинового коктейля или купить у Эстер ирисок и лакрицы и спокойно полакомиться ими в Стенспарке, нет же, лучше всего доехать до речки в Гаустаде и расположиться на берегу на пледе, потому что там нас никто не потревожит. «Спасибо» я на этот раз вслух не сказал, только про себя, и унёс подарок домой. Мама с Болеттой уже пообедали, и мама спросила, где я был. — Нигде, — ответил я. — И есть не хочу. — Я ушёл к себе в комнату и спрятал кольцо на самое дно пенала, подсунул под ластик, точилку и линейку. Как вырос у меня за спиной Фред, я не заметил. — Чего делаешь? — Ничего, — ответил я и прикрыл собой пенал. — Ничего?! — Фред засмеялся. Мне не хотелось, чтоб он так смеялся. — Правда, — сказал я. Фред положил руки мне на плечи. — «Ничего» не существует. Так что врёшь ты. — Нет, не вру. Честно. — Фред не поддался на мольбы. Он наклонился, вырвал у меня пенал и расстегнул молнию, словно твёрдо зная, что кольцо лежит внутри. Он

сжал пальцами блестящий свёрточек — А это что? *Ничего?* — Я опустил голову. — Кольцо, — буркнул я. Фред улыбнулся. Сел на кровать и открыл упаковку. Я едва не плакал. Но сдерживался. Он ещё не знает, что я уготовил ему произносить поминальную речь над моей пустой могилой, когда я исчезну. — «Т», — прочитал Фред. — Это кто? — Девочка из параллельного класса. — Ты собрался подарить кольцо ей? — Я кивнул. Фред помолчал немного. Я тоже ничего не говорил. Прикидывал про себя, что он сейчас сделает: спустит кольцо в унитаз, проглотит или лишь отломает «Т». Ничуть не бывало. Он упаковал кольцо, как было, и протянул мне. — Молодец, Барнум. — Я не решался произнести ни звука. Бережно запихнул кольцо поглубже в пенал. Фред стоял у окна спиной ко мне. Уже стемнело. С медленным, мокрым гулом проезжали автобусы, на ветру неподвижно висели фонари. — Она тебе очень нравится? — тихо спросил Фред. Я похолодел. — Да, — шепнул я. — А что в ней тебе нравится? — У неё родинка на лице, — сказал я. Фред повернулся ко мне: — Барнум, могу я дать тебе совет? — Да, — кивнул я. Фред подошёл ближе: — Не говори ей, что тебе больше всего нравится родинка. — Фред провёл рукой по моим кудрям, мне кажется, впервые в

жизни. Потом он ушёл, ничего больше не сказав.

Этой ночью я придумал новую историю, хотя и спал. Я отправился в дальний путь. В ледовый холод и мрак, на поиски Вильхельма, моего прадеда, один. Сутки напролёт, а может, и месяцы, ведь время здесь не отмеряется ударами часов, я шёл, ничего на пути не встречая. Пока не увидел рядом с камнем коробку, мне пришлось вырубать её изо льда. Коробку я запомнил отчётливо. Чёрная, по бокам от покоробленного язычка два заржавленных замка. Мне удалось отомкнуть коробку, внутри лежала покрытая пылью бутылка «Малаги», три банки сардин и четыре кило гуталина. Я присел у камня, выпил жаркого вина за здоровье нашего короля, закусил сардинами и почистил ботинки. Потом заснул, а когда проснулся (всё в том же сне и том же холоде), то увидел вокруг медведей. Двух я пристрелили из ружья, внезапно оказавшегося у меня в руках, остальные разбежались. Не мешкая, я снова пустился в путь, но больше ничего живого мне не встретилось. Ботинки отяжелели и вязли в снегу. Вскоре я умер. Странно, но сон продолжался. Я провалился в снег и остался лежать в нём, под крышкой холода, в гробу из безмолвного льда. А когда прошло столько же лет, сколько минуло с

исчезновения Вильхельма во льдах и снегах Гренландии, ну, во всяком случае, никак не меньше недели, на время нельзя было полагаться, меня нашли. Незнакомые люди вырезали ледяную глыбу, в которую я вморозился, и переправили её в Норвегию. А там меня выставили в музыкальном павильоне на Карле Юхане («Барнум, вмёрзший в глыбу льда») — в своём прозрачном ледяном гробу я сохранился прекрасно. Но вот выглянуло солнце, лёд потёк ледяная глыба, под восторженные крики публики, тает, а я разлагаюсь в тот же миг, что выныриваю из сна, сжимая в руке узкую коробочку с кольцом.

Дождь лил все перемены, она простояла под навесом, одна. Я ждал у фонтана. Она не видела меня. Родинка походила на чёрную каплю, застывшую на щеке. Последним уроком была физкультура. Я сидел в раздевалке и слышал, как в зале бегают по кругу. Потом стало тихо и в дверях появился Козёл. Я непроизвольно вспомнил давешний сон, казалось, Козла разморозили и тело потекло, разлагаясь. Мощные мускулы колыхались от плеч до пяток, как волны светлого жира. Когда он мылся вместе с нами в душе, то вставал под три крана, и вода всё равно не попадала на ноги. — Почему не переодеваешься? — спросил

он. — Плохо себя чувствую, — мяукнул я. — И что с тобой сегодня? — Простужен, — ответил я ещё тише. — Забыл закрыть форточку на ночь, дождь кровать залил. — Козёл протяжно вздохнул: — Так, так. Только не уходи до звонка. — Он вернулся к мальчишкам в зал и дунул в свисток. Раздался смех. Потом отвязали канаты. Я слышал, как сдвигают спортивные снаряды, потом кто-то прошёлся колесом от стенки до стенки. Я сидел на скамейке под плащами. Гардероб — место одинокое. Все раздевалки как под копирку сведены. Неистребимый запах. Неизменная история. Здесь висят горести и печали, пылятся, точно забытые за ненадобностью, вещи, за которыми никто не хочет возвращаться. Победы ты уносишь с собой, домой, а поражения оставляешь. Из крана в душе капала вода. Сосчитаю до пятисот, и зазвонит звонок, загадал я. Досчитал до четырёхсот тридцати, но тут у меня появилась идея, рассиживаться стало недосуг. До магазина Пелснера на улице Гренсен, где мама обычно покупала для меня стельки и вкладыши в туфли, я домчал бегом. Это был единственный на весь город магазин, в витрине которого красовались скелеты, а также отдельные руки-ноги. Я зашёл, женщина за прилавком, в своём белом халате и сабо более

похожая на медсестру, немедленно узнала меня. Но на этот раз я пришёл не надставлять парой сантиметров свой коротковатый рост. Я попросил перевязь. — Перевязь? — переспросила она. — Да, — сказал я. — Брат вывихнул руку. — Что ты говоришь… Как же он умудрился? — Он хотел сделать колесо в комнате, а места мало. — Она посмотрела на меня пристально. Потом ушла в подсобку и вернулась с плечиком, увешанным перевязями. По-хорошему могли бы выпускать перевязи с буквами, как колечки, с огромным «Б», например, «Б» как *Барнум* и как *Беда,* но это повышенные требования. Душа у меня пела! Наконец-то моя фантазия увидит свет, воплотится в жизнь, с бесплодными мечтаниями покончено. Сперва я выбрал зелёную перевязь, чтобы увечье казалось серьёзнее. Но тут же передумал, потому что зелёный почти сливался цветом со свитером, и взял белую, это цвет боли, страдание бело как снег и как лёд, белое всем видно. Я заплатил три десять, и у меня ещё осталось пятьдесят эре. Не разгуляешься, прямо скажем, едва хватает на два пакетика замороженного сока, а кто его в сентябре пьёт, замороженный сок? Значит, просто посидим в её комнате, и я обниму её здоровой рукой. Женщина за прилавком собралась

упаковать мою перевязь, но я зажал её в руке и выбежал вон. Укрылся в ближайшей подворотне и попробовал приладить. Для начала требовалось решить, какая рука у меня будет сломана. Об этом я раньше не подумал. Вот растяпа: продумать всё в мельчайших подробностях и не выбрать, какую руку! Я прикинул так, эдак и решил — правую. Так оно жалостливее будет. Изрядно помучившись, я завязал узел, перекинул перевязь через голову и вложил в неё руку. Всё, теперь она была сломана во всех местах, при самых драматических обстоятельствах, понятное дело. Я застонал. И пошёл вниз по Карлу Юхану. Я едва переставлял ноги и вынужден был то и дело останавливаться от боли. Мимо в обоих направлениях скользили люди, нахохлившись, закрывшись чёрными зонтами. Меня они не замечали. К моему вящему раздражению. Могли бы и внимание обратить, и пожалеть, и предложить перевести через улицу или понести мой ранец. Я бы отказался, конечно, но дорого участие. Из университетского садика вывозили на грузовике скамейки. Осень, одно слово. И деревья теряют листья. Я пошёл кружным путём, надо было потренироваться с рукой. Остановился перед Ратушей. От Западного вокзала шёл поезд, локомотив тянул за собой

грузовые вагоны, штуки двадцать три, не меньше, а когда проехал последний, открылся вид на Механический, и в ту же секунду из дока выплыл огромный корабль: высокая чёрная махина, бесшумно рассекая дождь, уходила вдаль по чёрной воде, впечатляющее зрелище, под стать моим грёзам, которые оставалось спустить со стапелей и — полный вперёд под всеми парусами.

Я пошёл прямиком на улицу Нобеля. Шторы на третьем этаже были задёрнуты. Времени без десяти четыре. Она наверняка уже вернулась из школы. Я вытащил кольцо из пенала, положил его в карман, спрятал ранец под лестницей, поднялся на третий этаж и позвонил. Не сразу, но дверь открылась. Её мама посмотрела на меня сверху вниз. — Здравствуй, — сказала она. — Тале дома? — спросил я. — Дома, — ответила мама, не трогаясь с места. Не зная, что бы ещё сказать, я вместо слов привалился к косяку и застонал негромко. — Как тебя зовут? — спросила она. — Барнум, — прошептал я. — Барнум?! — Да. Передайте привет Тале от Барнума. — Мама нагнулась ко мне. — Что у тебя с рукой, Барнум? — Я открыл глаза. — Сломал, — простонал я. Мама запустила меня в прихожую и велела подождать. Вид у неё был встревоженный. Морщинки собрались в узел

посреди лица. Она исчезла в глубине квартиры. Пахло мылом и карболкой, как в кабинете школьного врача. В гостиной виднелось пианино, но крышка была закрыта. Никаких цветов. Очки лежали на комоде, уткнувшись в стену. Я предполагал, что мать вернётся и проводит меня к Тале. Но вместо этого она сама вышла в прихожую. И ошарашенно вытаращилась на меня. Родинка сияла под глазом. Мне пришлось опереться о стул. Я всхлипнул. Ноги подкашивались. — Барнум, — только и выговорила она. Я ни разу не слышал, как она говорит. Голос оказался низким и сухим. Я выпрямился. В глубине гостиной маячила мама. Потом исчезла. — Да, — просипел я в ответ. Мне только теперь внезапно пришло в голову, что Тале может и не знать, кто я такой, она меня ни разу не видела, это я глаз с неё не сводил. А если ей что про меня вдруг известно, то лишь пересуды об этом недомерке из параллельного класса, вечном троечнике и самом мелком ученике всей школы и всего города, таком коротышке, что он достаёт девчонкам аккурат до срамного места, отчего его всегда и повсюду преследуют насмешки. Мужество изменило мне. — Я учусь в параллельном классе, — сказал я. — Знаю. А чего тебе надо? — Теперь в ней говорило не столько

удивление, сколько нетерпение. Вокруг моих башмаков стояли грязные лужи. Болью дёргало руку. — Я сломал руку, — ответил я. Видимого впечатления это на неё не произвело. Она не дотронулась украдкой до перевязи и не спросила, очень ли мне больно. Не поцеловала меня в щёку, чтобы утешить и унять мою боль. — Откуда ты узнал, где я живу? — спросила она. — Ты за мной следил? — Я кивнул. — Да, — сказал я. Стало тихо. Потом на лице её появилась несмелая улыбка, неширокая, как если бы губы были коротковаты для настоящей улыбки, но мне хватило, мне этой полуулыбки было с лихвой достаточно. — А руку где сломал? — спросила она. — На физкультуре, ответил я и сразу пожалел о своей лжи, она вскроется мгновенно, но менять легенду теперь было поздно. — Прыгнул через козла и упал неудачно, — продолжал я. — Кости вылезли наружу. — На лестничной площадке кто-то завозился с замком, и Тале повернулась к двери, вскоре распахнувшейся: пришёл её отец. — Я ничего не вижу, — сказал он. — Очки забыл. Где они? — Тут же появилась мать, протянула ему очки, лежавшие на комоде и таращившиеся в стену, он водрузил их на нос, облегчённо выдохнул, притянул к себе Тале и

поцеловал её. — Как дела, малышка? — шепнул он, а она отстранилась от его объятий. — Это Барнум, — скороговоркой выдала мама, и он повернулся в мою сторону и сощурился близоруко. — Барнум? Ну здравствуй, Барнум. А что у тебя с рукой? — Ответить я не успел. — Сломал, когда прыгал через козла, — доложила Тале. — Вот беда. Давай-ка посмотрим. — Нет! — крикнул я. Отец засмеялся: — Спокойно, парень. Я врач. — И он взялся разматывать мою перевязь. — А гипс почему не наложили? — спросил он. Я обратился к Тале. — Мне нравится твоя родинка, — сказал я. Отец отпустил мою руку. Тале силилась удержать улыбку, но губам это оказалось не под силу, рот раскис, как дорога весной, и вдруг я понял, что она страшна как смертный грех, да ещё родинка эта уродская. — Мне кажется, тебе пора, — сказала мама. Я помню, что очутился на улице. За плечами висел ранец, в кармане лежало кольцо. Напрасные хлопоты. Я не решался хотя бы посмотреть на окна третьего этажа. Моя игра сыграна. С Барнумом покончено навсегда. Осталось одно: пойти и лечь. Дождь всё лил. Я брёл через Фрогнерпарк. Перевязь я содрал и отдал побирушке, сидевшему под кустом, трясясь от холода. Пусть он теперь жалость выжимает.

Дома я, конченый человек, прямиком ушёл к себе и лёг. Чуть погодя в дверях показалась мама. — Я заболел, — шепнул я. — Уходи. — Заболел? Чем, Барнум? — Заболел, и всё. Это страшно заразно. В школу мне завтра нельзя. — Мама вздохнула: — Барнум, завтра школы нет, каникулы начинаются. — Закрывая дверь, мама вздохнула снова, и я догадался, что Болетта снова в «Северном полюсе» наливается пивом.

Я валялся в кровати. Время грёз минуло. Свою последнюю фантазию я уже отфантазировал. Я натянул на голову одеяло и разрыдался. Меня спустили со стапелей на чёрную воду, и я затонул. Махина не выдержала. Разошлись швы в днище, и я пошёл ко дну. Как я мог сказать о родинке то, что я сказал?! И зачем было разыгрывать перелом? Лучше б притворился немым. Тогда б я просто молча протянул ей кольцо, а буква на нём сама сказала бы всё яснее ясного! А так я не сумел вручить ей кольца вообще, теперь уж всё, поздно.

Мама принесла завтрак. Я не притронулся к еде. Мама померила мне температуру и ушла. Потом появился Фред. Он лёг и некоторое время лежал, прислушиваясь. Я ничего не говорил. От него несло табаком и пивом. — И ты не счита-

ешь нужным поделиться с братом? — прошипел он. — Или ты сводный, не больше? — Фред, ты о чём? — Он застонал. — О кольце, конечно. Как всё прошло? — Я задумался. — Я не сумел отдать ей кольцо, — сказал я наконец. Фред сел в кровати: — Духу не хватило, хочешь сказать? Дрогнул, как трус вонючий?! — Нет! — почти выкрикнул я. — Я был у неё дома! — Фред снова откинулся на подушку и уставился в потолок — Ты ляпнул про родинку, так? — Я сжался под одеялом. — Да, — шепнул я. На улице кто-то горланил давно всем приевшиеся шлягеры. Это возвращалась Болетта. Мама стремглав кинулась вниз завести Болетту в дом, пока соседи не стали скандалить и не проснулся домоуправ Банг. Затем все успокоилось, не считая моего сердца. — Я ж велел тебе не упоминать родинку, — шепнул Фред. — Или ты меня больше не слушаешь? — Слушаю, Фред. — Барнум, подумай сам, ты ведь мог упомянуть её глаза. Или рот. Волосы, уши. Вот о чём девчонки обожают слушать. — И нос? — спросил я осторожно. — Да, и нос тоже годится. И шея, и руки, и ноги. Но не торопись с попой и сиськами. Не рискуй раньше времени. — Торопиться не буду, — буркнул я. Фред покачал в темноте головой. — Она красивая? — Да, — ответил я. — Красивее не

видел. — А ты умудрился с ходу ляпнуть про родинку. Барнум, ты должен попробовать ещё раз. А то обосрался по полной.

И Фред заснул, я думаю. Это был наш с ним самый лучший разговор по душам. Мне захотелось залезть к нему в кровать, устроиться под бочком. К счастью, я удержался. Я лежал и составлял в уме список всего, что легко можно попробовать сделать ещё раз. В этой мысли были надежда и спокойствие. Мне представлялся корабль, вышедший из дока Механического и затонувший в чёрной воде. Но беде можно помочь. Поднять корабль со дна, отбуксировать назад в док, заварить швы и спустить на воду по новой. Так я думал. Постель была моим доком. И там я провёл остаток каникул, пока остальные копали картошку у родни в Ниттендале или сгребали листву у белых дачных домиков у фьорда. Стоило мне подумать, чем занята в эту минуту Тале, и столбик термометра зашкаливал так угрожающе высоко, что ещё бы чуть-чуть, и мама бросилась бы вызывать такси — ехать в больницу. Но я выдюжил. А в понедельник объявил себя здоровым, встал с постели и с кольцом в кармане пошёл в школу.

На первой перемене я не высмотрел её. Но заметил другое. Девчонки из её класса собрались

под навесом и плакали. На следующем уроке я не думал о занятиях. Что-то стряслось. Шкелета выглядела зеленее обычного и попросила Барнума, например, рассказать, как он провёл картошкины каникулы. Все захохотали, и Мыша успел только сострить, мол, это не Барнум, а картофелина-синеглазка, перепутали случайно, как ему так досталось указкой по затылку, что он буквально проглотил язык, а по внезапной тишине не сразу осело меловое облачко. И на большой перемене Тале не появилась. И под навесом никого не было, даже её одноклассниц. Пребен с Хомяком и Аслаком торчали у питьевого фонтана и наблюдали за мной. Воду сторож уже отключил. Я дал кругаля, зашёл с заднего хода, через первый класс, мимо столовой и дунул на четвёртый этаж. Полная тишина. На большой-то перемене. Кто-то уронил бутерброд с колбасой и не поднял. Голые крючки вешалки торчали из стены, как ряд блестящих вопросительных знаков. Кольцо оттягивало карман. Стряслось что-то ужасное. Я медленно плёлся по коридору. Дверь в её класс была распахнута. На доске было выведено огромными буквами: *Тале, мы тебя помним.* Я отпрянул назад. Проскользнул под крючками. Из-за угла вышла Шкелета, и я

врезался в неё. Она придавила рукой моё плечо. — А что ты здесь делаешь? — спросила она. Но по какой-то причине вид у неё был не очень сердитый. Я решил выложить всё начистоту. Терять было уже нечего. — Я хотел отдать Тале кое-что, — шепнул я. Она подняла руку, ладонь коснулась моей щеки. Пальцы были холодные. Шкелета присела на корточки. — Тале больше нет, — сказала она тихо. — Она ушла в другую школу? — спросил я. Шкелета стала крутить пальцы, аж до хруста, правду про неё говорили, пахло от неё просроченными лекарствами, не лицо, а старая закрытая аптека. — Тале, видишь ли, умерла, — прошептала она наконец. «Тале, видишь ли, умерла», — аукнулось во мне. Видишь ли, умерла. Умерла. — Этого не может быть, — сказал я. Шкелета чуть улыбнулась и взяла меня за руку. Хоть бы отпустила, подумал я. — Тале умерла во время школьных каникул, Барнум, — сказала она. Я отдёрнул руку. — Как так? — У неё была страшная болезнь. Рак. — Шкелета нагнулась ещё ближе и просвистела: — Родинка. Она оказалась злокачественной. — Я пойду, — сказал я, — скоро звонок. — Я шёл по коридору. Вёл пальцем по крючкам вешалки. И думал: теперь Тале не разболтает. Я спасён. Она

никому не скажет, как я приходил к ней с рукой на перевязи и нёс небылицы. Я спасён. Ещё я думал, что ничего ужаснее этой мысли никогда не думал. — Что ты хотел ей отдать? — окликнула меня Шкелета. Я остановился и посмотрел назад. Шкелета стояла у класса, несколько девчонок выглянули в коридор, бледные, насупленные лица. Я подобрал с пола бутерброд и медленно сжевал его. А потом ответил, и эти мои слова были ещё ужаснее мыслей. — Ничего, — сказал я. Скатился по лестнице, ринулся в туалет, брякнулся на колени, и меня вывернуло наизнанку, до донца, всё, что выжигало меня изнутри, вывалилось наружу. Потом я кинул в это кольцо и дёрнул верёвку. И раскаялся в ту же секунду. По счастью, туалет был давно засорён. Я запустил руку по плечо в коричневую жижу и не сразу, но нащупал кольцо среди мягких комков и размокших бумажек Я как мог тщательно вытер кольцо о куртку и сунул в карман. «Т» — как *Тале.* «Т» — как *тишина.*

Прозвенел звонок. Но я убежал домой. В квартире никого не было. Я взял ключи от чердака и пробрался туда. Я дурной человек, я знал это. И низкий, единственное, чего у меня хоть отбавляй, низости. Я стоял на чердаке под провисшими верёвками. Из люка в крыше капало. От сквозня-

ка по луже шла рябь. Мои мысли были похожи на чёрный барабан, натянутый позади зрачков. Как она могла умереть, если отец — врач? Единственное, что мои глаза видели, была родинка, она растекалась на всё лицо, росла, покрывала всё тело целиком. Потом я угомонился. Потом замёрз и почувствовал опустошённость. Пошёл в угольную и спрятал там кольцо в ржавом люке. А взамен нашёл кое-что. Под мешком была припрятана бутылка. Початая и с надписью *Eau de vie* на этикетке. Я отвинтил крышку и глотнул. Засаднило зубы. Но после в голове запузырился смех. Он мне понравился. Я отхлебнул несколько глотков, а потом положил бутылку назад под мешок. В голове приятно похохатывало. Я подставил стремянку к люку в крыше, вскарабкался, открыл его, насколько сумел, и, с трудом удерживая крышку, оглядел город. Город двигался. Не стоял на месте. Петухи-флюгеры поднялись в воздух и заслонили небо над фьордом. Но на кладбище на западе горизонта мокрые деревья стояли на месте, чернели, как нацеленные в серое небо мечи, и вереница людей в чёрном несла белый гроб между камней, а потом встала в месте, где земля была снята, как свежая ссадина. Я стянул с себя куртку, положил правую руку на

край, сделал глубокий вдох и отпустил крышку. Я успел услышать хруст, затем стих смех в голове. Я потерял опору, но болтался, зажатый в люке, пока не сверзился с лестницы локтем вперёд, увлекая за собой стёкла и раму, и не покатился под верёвками. Вполглаза увидел Болетту. Она сидела на корточках около угольного люка и шарила под мешком в поисках бутылки. Наконец нашла. Присосалась. Это мне не пригрезилось, так всё и происходило на самом деле. Я отключился на время. Не знаю, как надолго, это было просто время. Но в разбитом люке между осколков стемнело. Из руки, косо висевшей вдоль тела, шла кровь. Кожа содралась длинными ремнями, и внутри в ране белело что-то гладкое. Я снова ненадолго потерял сознание. Тогда Болетта обернулась. Она вскрикнула, я услышал, как выпала у неё из рук бутылка и крик пошёл в мою сторону. Потом Болетта снесла меня вниз, и сколько шла по лестнице, столько разговаривала с собой, с людьми, с Богом. — Я сожгу этот чердак! Помяните моё слово. Сожгу его к чёртовой матери!

Очнулся я в больнице. Рядом сидела мама и гладила меня по голове. Вид у неё был заплаканный. Левую руку мне зашили. Потом отвезли в другую комнату и наложили гипс. Я пошевелил руку,

но она оказалась неподъёмно тяжела. — Как мы здесь оказались? — спросил я. Мама улыбнулась и поцеловала меня в лоб. — Мы приехали на такси. Ты разве не помнишь? — Я покачал головой. — Нет, забодай меня лягушка, — сказал я. И меня ещё раз прокатили на такси: на следующее утро я вернулся на нём домой, с рукой в перевязи, в белой перевязи. Медленно всё вспомнилось. Всё, что я мечтал забыть, неспешно, но ясно развернулось перед глазами. Притворяться сделалось излишним. Я стал настоящим калекой. Маме с Болеттой пришлось помочь мне подняться по лестнице. Дома я выпил какао, проглотил круглую таблетку, полежал и уснул. Когда проснулся, у окна, руки в брюки, стоял Фред. — Здорово, малявка, — поприветствовал меня он. — Расшибся? — Тут в комнату вошла мама и выпроводила меня в школу. Я упирался, как лев. Но куда там. Она помогла мне надеть перевязь и прихватила её булавкой на плече, а Болетта настрогала мне бутербродов с яйцом и селёдкой, хотя я вообще ничего не хотел, не то что есть. И в этой своей второй очереди жизни, которую я назвал бы жизнью после Тале, я потащился вдоль по Киркевейен в низком белесом осеннем солнце. Эстер высунулась в окошко и всучила мне пакет ирисок. Мне

не пришлось покупать билет в трамвае. Взрослая женщина вскочила и уступила мне место. Кондуктор помог спуститься по ступенькам. Об этом я мечтал в своих снах наяву, грезил, что будет так, но теперь из этого не проистекало никакой радости, даже печали, чтобы радоваться ей вопреки, и той не было, а лишь большая и глухая пустота.

На школьном дворе никого. Звонок уже прозвонил. Я, как черепаха, потащился вверх по лестнице. Отзвуки моих шагов раздавались далеко позади, причём пару раз мне показалось, будто эхо сорвалось прежде, чем нога шаркнула о ступеньку. Вот я остановился перед классом. Было тихо. Было мерзко. Перевязь врезалась в шею. Я постучал. Ещё мгновение тишины, затем голос Шкелеты: «Войдите!» Я распахнул дверь. Все мальчишки стояли за партами и глядели на меня, а на доске было выведено огромными буквами: *Нам не хватало тебя, Барнум!* Мне отчаянно захотелось повернуть назад, но Шкелета вытянула меня к кафедре, чтоб я откусил первый кусок от кренделя, испечённого девчонками с нашей параллели в школьной столовой, и пока я стоял жевал тесто с толстым слоем серой глазури и жёсткими изюмками, Шкелета сама сняла с меня ранец, а потом довела до парты. *Нам не хва-*

тало тебя, Барнум! Я жевал, жевал, но крендель не проглатывался, а когда на блюде ничего не осталось, Шкелета повесила на доску цветной плакат с изображением руки в разрезе и указала на меня. — Ну, расскажи нам, Барнум, что случилось. — Но мне нечего было сказать. У меня был полон рот кренделя и *лжи*. Шкелета улыбнулась и показала на плакат: — Ну что ж, Барнум. Руки — наши важнейшие рабочие инструменты. В стоячем положении кончик большого пальца доходит человеку примерно до середины бедра. Причём правая рука на полсантиметра длиннее левой, ибо в основном все пользуются правой рукой… — Она оборвала себя на полуслове. — И что смешного я сказала? — спросила она, поскольку весь класс за единственным исключением, меня, лежал пластом на партах с красными рожами и ржал, а я тихо радовался, что всё вернулось на круги своя. Шкелета спустилась с кафедры, держа указку на изготовку. Я проглотил остатки кренделя, Шкелета внезапно обернулась ко мне и опустила указку. — Что ты сказал, Барнум? — Я ничего не говорил, не слышал от себя ничего и перепугался, что с языка неслышно сорвалось ненароком словечко, *Шкелета сручая*, и теперь все смотрят на меня и надо что-то говорить,

безопаснее всего спросить, вопрос же не бывает лживым. — А вы не хотите расписаться на моём гипсе? — спросил я. Шкелета помешкала минуту, начисто сбитая с толку. Потом взяла ручку, подошла ко мне, медленно вывела на гипсе своё имя мелкими пляшущими буковками, *адъюнкт К. Харалдсен,* и тут раздался звонок.

На перемене весь класс выстроился в очередь, чтобы расписаться на моей руке. Потом потянулись девочки из параллельного класса, за ними остальная школа, последним дошла очередь до Пребена, а парни стояли вокруг и хмыкали, потому что на школьном дворе все знают всё, любое слово достигает каждого уха, здесь нет никаких тайн, здесь курсируют слухи. Места для росписей почти не осталось. — Ты знаешь, почему правая рука длиннее? — спросил Пребен. И сам же и ответил: — Потому что ты дрочишь правой. — Он поставил свою подпись рядом со Шкелетой. — Но теперь у тебя и левая станет той же длины, — заключил он и отшагнул к корешам в круг смеха. Они хохотали и хохотали. Я тоже засмеялся. — Не станет, если ты мне отсосёшь, — сказал я. Стало тихо. Круг сжался. Весь школьный двор смотрел на нас. Но они не могли отметелить меня сейчас. И знали это. И я знал. Я записался на тёмную

когда-то в неопределённом будущем.

Когда я вернулся, Фред так и стоял у окна, руки в брюки. Я сел на кровать. — Отец не возвращался? — спросил я. Фред повернулся ко мне: — Кто? — Отец, — повторил я. — Он опять уехал? — Барнум, ты о ком? — В глазах у него снова появилась мрачность, она колыхалась в глубине его глаз. — Арнольд, — шепнул я. — Арнольд Нильсен, что ли? Жирный придурок с напомаженными волосами? Который является сюда пожрать и потрахать нашу маман? — Я сгорбился, отвернулся и кивнул. Фред посмотрел в окно. Он передёрнул плечами, повесил голову. — Понятия не имею. — Я выложил на стол пакет ирисок и осторожно сказал стоявшему у стола Фреду: — Вот. — Молчание. Потом он сказал: — Спасибо. — Кстати ли будет засмеяться, я не знал, хотя меня разбирало, но Фред к ирису не притронулся, и я решил не смеяться. — Спасибо, — повторил он. — Пожалуйста, — снова сказал я. Коричневый пакетик лежал невскрытый. — Фред, если меня будут бить, ты мне поможешь? — Он пожал плечами: — Если за дело, нет. Если ты заслужил, чтоб тебя проучили. Вот и он. — Кто? — Кто? Жирный придурок, который здесь жрёт и трахает нашу маман. — Я чуть не плакал. — Фред, не надо так

говорить. — Ириски Эстер подарила, да? — Но я не успел ответить, как отец влетел в комнату, подхватил меня и чуть не сломал гипс. — Сумасшедший мальчишка! — заорал он. — Цирк на чердаке устроил? — Он выпустил меня и резко повернулся к Фреду: — Ты затащил Барнума на чердак? — Фред глядел в окно. — Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю! — взвизгнул отец и положил здоровую руку ему на плечо. Фреда передёрнуло. — Убери пальцы, — тихо прошипел он. — Сейчас же. — Отец помедлил, но снял руку и взглянул на меня. — Я хотел посмотреть на город, — объяснил я. — И выглянул в люк на крыше. И упал. Фреда там и близко не было. — Отец заулыбался, провёл по лицу платком и погладил пальцем росписи на гипсе. — Гляди-ка, Барнум, сколько у тебя друзей. У меня столько сроду не было! — Фред тихо гыкнул у окна. Отец вынул из кармана ручки, выбрал самую толстую, открутил колпачок и написал вокруг всего локтя *Поправляйся! Привет от папы.* — Где ты был? — спросил я. Отец завинтил ручку и положил в нагрудный карман. — Где я был? Я работал, Барнум. Добывал нам хлеб насущный. — Фред снова засмеялся. Отец сжал кулаки, но тут же и разжал их. — Ну ладно, пойду удивлю маму

тоже! — прощебетал он, хлопнул в ладоши и пошёл к дверям. — Ты ничего не привёз? — спросил я. Отец резко затормозил, широкое, гладкое лицо перекосилось было, но он поспешно навёл порядок и собрал его в улыбку. — Не привёз? Да я побросал всё, что в руках было, и бегом к тебе, Барнум. — И он исчез, оставив по себе сладкий запашок одеколона, бриолина и пастилок. Мы молчали. — Может, он торчит дни напролёт в «Валке» и пиво пьёт, — предположил наконец Фред. — Ряха стала ещё шире. — Фред с усталым видом сел на свою кровать. — А ты распишешься на моём гипсе? — спросил я. — Зачем? — Затем, что все расписались. — Все? Дай посмотреть. — Он подошёл ко мне и стал читать имена. На это ему требовалось время. Я ждал. — Я не вижу, где расписался Клифф Ричард, — сказал он. И посмотрел на меня. Я не знал, смеяться или плакать. Я никогда этого не знал, когда Фред так смотрел на меня. — Он не расписывался, — прошелестел я. — А король Улав? Он что-нибудь написал? — Нет, конечно. — Ты же сказал — все? — Я имел в виду всех из школы, Фред. — Он снова склонился над гипсом, на этот раз он вчитывался в имена ещё дольше. В конце концов он всё же отпустил мою руку со словами: — «Т» тоже не расписалась. — Я

и не подозревал, что слова ранят настолько болезненно. Но больно стало до того, что я почти обрадовался. Фред поднял глаза и, наверно, заметил перемену во мне, потому что мрачность в его глазах осела как масло. — Она умерла, — прошептал я. Фред задумался. — Если кто-нибудь полезет к тебе, дай ему гипсом в морду. Договорились? Да, Барнум? — Я кивнул. Почти успокоился. И решил, что можно поканючить. — Ну распишись. Пожалуйста. — И Фред взял ручку. Видеть его с этим инструментом было чудно, ручка в самом деле как-то не вязалась с его жменей. Она уверенно держала что угодно: нож, отвёртку, молоток, пилу, теннисный мяч, камни, гребень, копьё, но сейчас рука дрожала. Он снова присел ко мне, скрючился и стал писать на последнем пустом клочке. Дело продвигалось небыстро. Я украдкой положил руку ему на макушку. Она была горячая и неспокойная. Я слышал его дыхание и стук сердца под тонкой рубашкой. Потом он стряхнул мою ладонь. И мрачность снова проступила в глазах. Он написал *Ферд.* — Не страшно, — сказал я тихо. — Чёрт тебя дери, — ругнулся Фред. — Правда ничего страшного, — повторил я. Он стал чёркать неправильные буквы, перо обломалось, и чернила залили всю руку, закрывая имена

синими пятнами, с дикой скоростью стекавшимися в сплошную тень. Фред вскочил и запустил сломанной ручкой в стену. — Об заклад бьюсь, ты это нарочно! — крикнул он. — Что? — прошептал я. — Руку сломал! Ты нарочно её сломал, чтобы все тебя жалели! Чёрт подери, какое ты говно! — Да, — согласился я. Фред перестал бушевать. Он смотрел на меня сверху вниз и более всего казался удивлённым. — Что ты сказал? — Я сказал «да», я сделал это нарочно. — Фред боднул меня головой. Я опрокинулся в кровать. Он тихо положил свою мягкую ладонь мне на щёку. — Барнум, как я смогу уследить за тобой, если ты откалываешь такие коленца, а? — Он спрятал руку в карман, намереваясь сказать ещё пару слов, но не сказал. А лишь схватил пакет ирисок и рванул дверь, за ней посерёдке между отцом и Болеттой стояла мама, держа поднос с гигантским кренделем, который Фред прихватил на бегу и пропал до понедельника, а дело было в пятницу.

Но спустя много времени, когда гипс давно был снят с тонкой серой руки, перепаханной коряВыми синими стёжками, и я поступил в школу танцев и познакомился с Педером и Вивиан, Фред захотел сводить меня на кладбище Вестре. Я не рвался идти, к кладбищам у меня душа не

лежит, погосты лишают меня сна и аппетита, но Фред уже своровал два тюльпана с клумбы домоуправа Банга и настроился прогуляться со мной и потолковать, так что выбора у меня не осталось. Тем более он дал мне поносить свою замшевую куртку, а я бы не отказался попасться в ней кому-нибудь на глаза, той же Вивиан. Но дорогой мы не встретили никого. Я думал, мы идём на могилу Пра, но когда мы пришли туда, на красивое и ухоженное кладбище, а дело, забыл сказать, происходило в мае, и деревья исходили зеленью, Фред прямиком свернул в заброшенный и неухоженный угол кладбища на задворках царства мёртвых. Он положил цветы к рассохшемуся скособоченному деревянному кресту. Чтоб прочесть имя, мне пришлось нагнуться к нему. *К. Шульц 1885–1945.* — Кто это? — спросил я. — Мой доктор, — ответил Фред. Я ещё раз посмотрел на могилу. Мне было неуютно. И хотелось домой. — Сядь, — сказал Фред. Мы сели на жухлую, жёлтую траву. Фред озирался по сторонам. Тоскливое место. — Лучшие сгнивают первыми, — сказал он. Я молчал. — Что? — Лучшие сгнивают первыми, — повторил он и как будто улыбнулся. Потом лёг навзничь на траву, и я вслед за ним. Мы глядели в небо, медленно дрейфовавшее над нами в свете

солнца. — К. спас мне жизнь, — сказал Фред. Я едва осмеливался дышать, только прошептал: — Как спас? — Я не должен был родиться, — сказал Фред. Я, как мышка, лежал рядом с Фредом на прелой траве кладбища Вестре. Ветер гулял в кронах. Плыло солнце. Муравей полз по травинке, самолёт вынырнул из неба. Я воображал, что Фреда нет, что я один, единственный ребёнок в семье. Но у меня не получалось. Фантазии были безжизненные, как будто их тоже передержали в гипсе и теперь они висели, как такие же иссохшие плети вдоль утомлённого тела сна. Мира без Фреда нельзя было себе представить, хотя я частенько мечтал об этом: как отделаюсь от него навек. — Что? — спросил я. — Я не должен был родиться, — повторил Фред. Я ждал продолжения, но надеялся, что он всё-таки умолкнет. — Меня насильно заделали матери, — сказал он тихо. — Меня должны были выковырять. Извлечь и раздавить. Но мама молчала, пока время не ушло, а доктор Шульц с пьяных глаз меня просмотрел. — Откуда ты узнал? — прошептал я. Фред улыбнулся: — Я слушаю. Прислушиваюсь к дому. К чердаку. Истории живут повсюду, Барнум. Только кто мой отец, не знает никто. Кто овладел матерью. Кто надругался над ней. — Фред выра-

жался чудно. Прежде я никогда не слышал, чтобы он говорил так. Словно он выучил новый язык или изобрёл его. Он сорвал травинку, сунул её в рот и повернулся ко мне: — Лучше всего, если б он оказался мёртвым, правда? Барнум, скажи?

Мы полежали так, помолчали. Я продрог. Мне хотелось бы не знать того, что рассказал Фред. Многих вещей я не желал слышать вообще. Наконец он поднялся, отряхнул траву и землю с рубашки, постоял, глядя на два тюльпана и могилку, на которую никто не приходил, она зарастала и вот-вот должна была исчезнуть, пропасть, кануть в небытие, и я, помню, подумал: «Может ли человек исчезнуть без следа?» — Скоро места не хватит, — сказал я. — Кому не хватит? — Мёртвым. — Фред передёрнул плечами. — Одному найдётся, — ответил он, закурил и прибавил шаг. Я старался идти с ним вровень, но отстал. Он бросил меня на кладбище, тёмная, худая фигура исчезла за деревьями Фрогнерпарка, а я остался ловить ртом воздух на узкой, присыпанной гравием дорожке, в слабом запахе табака, посреди высоких сияющих мраморных плит и поникших букетов. И ещё одна мысль пришла мне в голову, хотя в неё ничего уже почти не помещалось. Есть разница и между мёртвыми, подумал я и увидел

её. Могилу Тале. На чёрном камне выгравировано было её имя, день рождения и когда она умерла. *Навеки наша* написано было на камне. Навеки-то навеки, да не с нами. И до меня дошло вдруг, что Фред привёл меня сюда, на могилу Тале, он просто покружил сперва. И я почувствовал к нему безмерную симпатию, я возлюбил его в эту минуту от всего сердца, высоко и чисто, так что даже по-настоящему всплакнул о нём, о моём сводном брате. Я вернулся к доктору Шульцу, забрал у него один цветок и положил к её камню. Подумал, надо ли принести кольцо, но оставил затею. Оно пусть лежит там, куда я его убрал. А потом я забыл и о кольце, и о себе самом, слишком о многом болела голова. Но когда Вивиан ждала Томаса, она переехала на чердак на Киркевейен, перестроенный в квартиры в момент, когда в город хлынули деньги, и однажды вечером я сидел там, под скошенной крышей, и пил, без вдохновения, но упорно, желая забыться, и вдруг вспомнил это кольцо, скорее всего оставшееся где-то в перегородке, замурованное в стену, и я вспомнил его с радостью, кольцо с буквой «Т», с которой начинается имя девочки, никогда не получившей колечка, для неё купленного. Снег струился в косое окно. И я подумал, подливая

себе спиртного и заливая зенки: бесследно мы не уходим. Вспененный форватер тянется за нами и никогда не разглаживается полностью, это прореха на времени, которую мы сперва старательно протираем, а потом оставляем в память о себе.

(северный полюс)

Фред растолкал меня. — Пошли на Северный полюс, — шепнул он. Сон как рукой сняло. — Сейчас? — Фред кивнул: — Болетта там уже танцует, Барнум. Пошевеливайся. — Сам он был одет в свитер, куртку, сапоги, две пары штанов, шапку, шарф и варежки. Я собрался так же, только сапоги у меня были с рантами. Экспедиция к Северному полюсу дело серьёзное. На авось тут не пронесёт. Да и ночь на дворе. Фред успел собрать рюкзак, в него он положил овсяное печенье, сигареты, фонарик, термос с кофе и спички. Мы не стали тревожить мамин сон. Она спала позади отца, который громко сопел носом, всякий раз издавая протяжный дребезжащий звук, от чего волной коробилась штора и вздрагивала комната, и походил на кита, вынырнувшего из белой постельной толщи, чтобы в последний раз глотнуть воздуха. Мы на цыпочках спустились во двор. Санки стояли наготове. Фред верёвкой прикрутил к

ним рюкзак, мы выкатили их за ворота и начали трудное восхождение по Киркевейен.

Было поразительно тихо. Безмолвное небо, безветренно. Снег искрился сам по себе, хотя, возможно, сугробы вдоль дороги отражали сияние луны, висевшей над городом, точно блестящий замёрзший циферблат. Сначала холода не чувствовалось вовсе. Я ещё удивился. И подумал: не перекутался ли? Но когда мы добрались до того перекрёстка, где в своё время на сиденье такси родился Фред, холод закупорил дыхалку, точно железным скребком ошкрябал лицо и стянул кожу в узел на переносице. Фред шёл первым и тянул санки. Я замыкал шествие и подталкивал их сзади. Мы двигались проверенным путём вдоль ограды больницы, где в нижних окнах горели синие лампы. Тишину перестало быть слышно, лишь скрип полозьев, ломающих жёсткий снег, и мои сапоги, хлюпающие на каждом шагу, причём скоро я уже не мог пошевелить ни одним пальцем. Фред обернулся. — Всё нормально, — крикнул я. Мы потащились дальше и у Школьных садов, где на самом кончике чёрной ветки каплей краснело яблоко, едва не совершили роковой ошибки, не пошли направо, потому что тогда мы упёрлись бы в ледяные турусы за Торсхов и, не

исключено, не вернулись бы домой никогда. Но Фред выправил курс. Луна светила нам в спину. Мы шли через кладбище Нордре Гравлюнд, хотя многим до нас такая прогулка стоила жизни. Надгробные памятники отбрасывали густые тени в сумраке ночи. — Не сдавайтесь! — шептали изо всех могил. Не сдавайтесь! Я толкал. Фред тянул. Он снова обернулся. — Твои сапоги скрипят чудовищно, — сказал он. — Зато медведей белых отпугиваем, — парировал я. — Помалкивай, — велел Фред. Впереди легло открытое пространство, пришлось форсировать его, ветер задувал со всех сторон, срезая шапки с сугробов и пуская их волнами толкаться в воздухе, нас едва не снесло вниз, к площади Александра Хьелланда с её грязной речкой, а пока мы чудом перебрались на противоположную сторону, снег успел набиться в каждую дырочку и щёлочку. Надо было отыскать место для привала. Мы пристроились на лестнице с тыльной стороны церкви. Она защищала нас от ветра. Итак, мы сидели в районе Сагане. До Северного полюса было ещё идти и идти. А между этими точками пролегли крутые обрывы, глубокие расщелины и реки с неукротимыми стремнинами и высоченными водопадами, вспарывающими лёд, как консервную банку. Стёртые

ноги кровили. Я не заговаривал об этом. Фред закурил, дал мне затянуться. Туча загородила луну. Темнота сгустилась. Мы были одни в Сагане на подступах к Северному полюсу. — Помнишь Андре, о котором дедушка писал? — спросил Фред. — Которого они искали? — Помню. — Фред протянул мне печенье. — Знаешь, что он взял с собой в экспедицию? — Этого я не знал. Помнил лишь, что он летел на шаре и что этот шар, к несчастью, прибило к земле. — Двадцать килограммов гуталина, — сообщил Фред. — Двадцать килограммов? — Именно двадцать, Барнум. — Но зачем ему понадобилось столько гуталина? — Фред вздохнул. Мне не следовало спрашивать. Сам должен был докумекать. Наверно, он собирался мазать им белых медведей. Или хотел отметить чёрную дорожку на снегу, чтоб найти путь назад. Фред ткнул пальцем в мои задубевшие сапоги с рантом. — Андре потащил с собой двадцать килограммов гуталина потому, что думал о своих ногах. — Умно, — шепнул я. — Дважды в день, утром и вечером, он непременно жирил сапоги. Самое лучшее снаряжение не спасёт, если обувка ни к чёрту не годится. — Так и они не спасли, — шепнул я. — Те двадцать килограммов гуталина. — Фред замолчал. Луна

пробила брешь в туче и на миг ослепила нас ярко, как солнце, луна резанула нам глаза, и прошла секунда, прежде чем они снова свыклись с темнотой той ночи в Сагане. — Да уж не спасли, — сказал Фред. — Сколько крема с собой ни возьми, гарантий нет. — Я сжевал ещё одно печенье и отпил кофе из термоса. — А этого Андре всё-таки нашли? — спросил я. Фред кивнул и принялся увязывать рюкзак. — Нашли. Через сорок лет. Под каменным селем на острове. От него осталась пара костей. Звери сожрали. — По спине побежали мурашки. Мне немедленно захотелось вернуться, пойти назад той же дорогой, если её ещё возможно отыскать, если её не занесло вместе с нашими следами, поскольку по луне тоже не сориентируешься, она съехала на другой бок и светит оттуда голым ломтиком, не вызывая доверия. Я сидел на ледяной лестнице, как приморожденный к месту. — Ты думаешь, дедушку тоже съели? — пробормотал я так тихо, что сам едва расслышал. Фред смерил меня взглядом: — Дед сгинул во льдах. И до сих пор лежит там. Целый и невредимый. — Целый и невредимый? — Фред туго притянул рюкзак к санкам. — Барнум, ледник это как бы огромный морозильник. Там всё сохраняется. — Это я мог себе представить, но при-

шлось зажмуриться: прадедушка в толще льда, скрытый от скоропортящегося времени, ничуть не постаревший с того дня, как он пропал и умер. Руку он, наверно, вытянул, надеялся, что ухватятся за неё, вытащат, ну и закоченел так. — А если лёд растает? — спросил я. — Он не растает. — Но *если?* — Барнум, всё. Заткнись. — Фред потянул санки в сторону полюса. Я потрусил за ним. Сапоги чавкали. Нам пришлось форсировать реку, по которой стремительно и неостановимо неслись льдины. Лопнула верёвка, державшая рюкзак. И мы, несчастные, обречены были бы лишиться провианта в этом бурном потоке где-то посреди между Сагане и Северным полюсом, когда б не Фред: он лёг на живот и ухватил одну лямку прежде, чем рюкзак ушёл в тёмные быстрые воды стремнины рядом с Мельницами. Мы перелезли через снежную насыпь и отыскали скамейку у подножия последней и решающей горы. Матерясь, Фред взвалил рюкзак на спину. — А что они делали, когда приспичит в туалет? — спросил я. Фред посмотрел на меня мрачно: — Барнум, ты что, срать собрался? — Я быстро замотал головой: — Нет, нет, я только спросил. — Фред натянул шапку пониже на лоб. — Где приспичит, там и срали, — сказал Фред. — Там, где приспичит? — А

ты думал, они с собой личный толчок таскали, что ли? — Что именно я думал, я не знаю, но меня постоянно преследовала забота о том, как же астронавты, альпинисты, подводники, йоги и полярники справляют нужду. — И Нансен?! — Что Нансен? — Он тоже какал так, походя? — В лице Фреда появилась усталость. Зря я спросил. Лучше б силы поберёг. Ветер усилился. Ночь остервенело сжимала белый круг. — Нансен оправлялся, где приспичило. И Роальд Амундсен делал так же. Причём какашки замерзали, ещё не долетев до земли, так что парням приходилось управляться быстро. Чертовски быстро, Барнум. — Быстро? — Ещё как, иначе какашки приморозило бы к жопе. — Фу, паскудство. — Можно сказать и так. Вот для чего они брили себе задницы. — И Нансен? — прошептал я. — Барнум, у тебя самого есть волосы на заднице? — Я не ответил. Не проверял я толком, по правде говоря. Только порадовался, что мне пока в туалет не надо. Мы с Фредом давно не вели таких приятных бесед, да он давно и не произносил таких длинных тирад. А сейчас, вставая и уже пригнув от ветра голову, он добавил ещё фразу: — Они нашли от Андре не только кости, кое-что ещё. — Я тоже встал, цепляясь за Фреда, чтоб не грохнуться. — И что

же? — Часы. Такие старинные часы с крышкой. А внутри лежала фотография его невесты и прядь волос. — Они шли? — шепнул я. — Шли? Барнум, ты дурак. Кто бы их заводил? — Фред встряхнул рюкзак, прилаживая его поудобнее, и мы полезли штурмовать последний перевал, я толкал, он тянул, сквозь лёд и снег, вперёд, вперёд, к вершине, здесь на бескрайнем плато желтели высокие освещённые окна, а в них я различал людей, они воздевали руки, словно махали друг другу. Вот тебе и Северный полюс, надо понимать. Мы дошли не первыми. — Нас обставили! — закричал я. — Мы дошли не первыми! — Барнум, сейчас ты закрываешь рот накрепко. — Фред потянул санки. Я побежал следом. — Почему это называется Северным полюсом? — выдохнул я. Фред не ответил. Он остановился на тротуаре там, где дорога круто заворачивает обратно вниз, так что мы оказались в тени между луной и фонарём. Мы всматривались в людей за жёлтыми окнами, они смеялись и болтали, хотя слов было не разобрать, немое представление, и лица — как красные лампы, горящие ярко и безмолвно. В основном там были мужчины, едва стоящие на ватных ногах, а если женщины, то в белых передниках и чёрных юбках — они приносили подносы, заставленные

кружками с чем-то коричневым и пенящимся, а уносили их пустыми. Показалась Болетта. Она шла между столиков. Мужики дёргались ухватить её, но попусту. Они пытались усадить её рядом, но она увёртывалась. Болетта хохотала. Потом взобралась на стол, должно быть, там играла музыка, потому что она пустилась в пляс, а мужики били и ладоши, и чем быстрее она двигалась, тем медленнее плыло всё у меня перед глазами. — По-моему, Болетте весело, — прошептал я. Фред ничего не ответил. Болетта плясала, пока силы не вышли, и повалилась в протянутые к ней руки, на колышущийся ковёр манящих дланей, её поймали и усадили за стол, где наготове стояла кружка. Внезапно мне расхотелось смотреть дальше. — Пойдём? — сказал я. Но Фред не пустил меня. Да и поздно было сматываться. Нас уже увидели. Лица за стеклом обернулись в нашу сторону. Луна дёрнулась, залив нас холодным светом и явив взору тех, кто ещё был в состоянии видеть. Самому мне до сих пор не удалось забыть эту сцену, немую и стремительную, разыгравшуюся по ту сторону окна, словно оно было экраном, а мы с Фредом — мёрзнущими на холоде зрителями, и, наверно, одна из нитей Болеттиной жизни, тонкая и красивая, тянулась

сюда, нить вибрировала, когда она танцевала на столе, и лопнула в день, когда «Северный полюс» закрыли и заколотили, точно вырезали спутавшийся узелок. Но пока к нам вышел мужчина в белой тужурке. Он ткнул в нас пальцем. — Вам чего? — Болетту, — ответил Фред. — Мы ждём её отвезти домой, — добавил я. Белая тужурка пропала за дверью, и скоро Болетту вывели под руки два тоже некрепко держащихся на ногах мужичка. На одном было подобие формы. Он мог быть дирижёром оркестра, растерявшего все инструменты. Распаренные широкие лица заиндевели прямо на глазах. — Никак нам не удаётся проводить Болетту домой! — крикнул пьяненький дирижёр и захохотал. Второй, чтоб в грязь лицом не ударить, захохотал ещё громче дирижёра и сострил ещё смешнее: — Болетта — последняя девственница на Северном полюсе! Она не подпускает к себе мужиков ближе, чем Снегурочка Деда Мороза! — Фред сделал шаг в их сторону, в глазах всплыла эта его мрачность. — Быстро отпустили мою бабушку, — сказал он. Мужики онемели, протрезвели и присмирели. — Вызвать вам такси? — предложил первый. — У нас санки, — отрезал Фред. Они отпустили Болетту. Она осела нам на руки, мы устроили её на санках.

Она была сонная и тяжёлая. Фред накинул на неё свою куртку, я отдал ей шарф — подложить на сиденье. Мужики тоже захотели поучаствовать в укутывании и стали стягивать с себя пальто. Фред лишь посмотрел на них. — Этого довольно, — сказал он. Мужики снова застегнулись. А внутри к стеклу прилипли подавальщицы и посетители и таращились на нас, точно как на заре немого синематографа, когда экран вешали посреди зала и мазали маслом, чтоб он стал прозрачным и можно было смотреть фильм с обеих сторон. Второй мужик, в форме, нагнулся и положил руку Фреду на плечо. Фред стряхнул её. — Болетта — наш ангел, — шепнул мужик. — Берегите её! — Во исполнение чего мы привязали её верёвкой к санкам и повезли домой. Мы с Фредом впряглись тянуть вдвоём, Болетта дрыхла. И мы совладали с непогодой. Нашли дорогу. Ночка выдалась ещё та. По-хорошему, нас должны были бы встречать с фанфарами и флагами, фейерверками и факелами народ на трибунах и король на балконе дворца! Нет, правда, хоть кто-нибудь мог бы увидеть нас в эту минуту возвращения с Северного полюса с Болеттой, прикрученной к санкам. Хотя полностью незамеченным возвращение не прошло. Пока Фред поднимал по

лестнице Болетту, а она, не просыпаясь, цеплялась за перила, мне следовало тихо — насколько это возможно сделать негнущимися пальцами, с трудом удерживающими ключ более-менее вертикально — отпереть дверь, но, опередив меня, её внезапно распахнула изнутри бледная и едва дышащая мама, а за её спиной поворачивался лицом к нам отец, с телефонной трубкой в руке, в халате наизнанку, и церемония встречи продлилась не дольше времени, ушедшего у отца на то, чтобы с силой брякнуть трубку на рычаг. Мама притянула меня носом в свой халат. — Где ты был? — прошелестела она. — Да на Северном полюсе, — ответил я. И тут только она увидела Болетту, Фред как раз впихивал её на лестничную клетку, отец присвистнул, мама дёрнула её в квартиру, чуть не завалив набок, и захлопнула дверь, не заехав Фреду по морде потому только, что он секундой раньше ужом скользнул в квартиру; снег на наших волосах и одежде начал таять и потёк ручьями. Отец прекратил свистеть. — В полицию, выходит, можно не звонить, — сказал он. — Молчи, — велела мама. Она шагнула к Болетте. Та проснулась. И стояла, таяла. — Как тебе не стыдно! — прошипела мама. Болетта молчала. Но мама не сдавалась: — В твоём возрасте! Да

как же тебе не стыдно! — Болетта уронила голову, скорей всего, не от стыда, а не найдя в себе сил держать её прямо столь продолжительное время. — Ну, ну, — сказал отец. Мама крутанулась в его сторону: — Не смей мне нукать! — Ну, ну, — повторил отец — Так всю Киркевейен перебудим. — Он обнял маму, и у неё вдруг точно завод кончился. Это есть и будет её жизнь, ничего не попишешь. Так всё обернулось. Отцов нос торчал кривее обычного, отвернувшись от лица в другую сторону. — Давай-ка отправим полярников по кроватям, пока потоп не начался, — шепнул отец. В ответ Болетта подняла голову и огляделась в изумлении, будто впервые обнаружив наше присутствие. — Гренландия сейчас неподходящая страна для пеших прогулок, — сказала она. Думаете, мы не засмеялись? Ещё как! Отец хохотал в нос, как простуженный кларнет в ночи. Все заткнули уши. И так мы гоготали и затыкали уши. Мама надсаживалась вместе с нами и не могла уняться. А что ещё ей оставалось, плакать? И Фред хохотал, даже Фред, он притулился к стене и зашёлся в хохоте, и, глядя на его худое мокрое лицо, лопнувшее в улыбке, я поразился мысли, что не могу припомнить, чтоб хоть раз прежде видел его смеющимся, открытие напугало меня,

и обрадовало тоже. И я подумал, что сам мог бы составить поминальник смехов, как сделал в своё время сию секунду громче всех заливающийся отец, и выглядел бы мой перечень примерно так: *мамин смех — альбатрос; отцов смех — кукушка; смех Болетты — голубь; смех Фреда — баклан; смех Барнума — чистик.* — А над чем мы смеёмся? — внезапно спросила Болетта. И после её слов сделалось удивительно тихо.

Я провалялся с простудой две недели. Фред отморозил мочки обоих ушей. Хмель сходил с Болетты семь дней. Но тем не менее назавтра она спозаранку притопала к нам в комнату, хлопнула дверью и запустила тапкой в каждого. — Где письмо? — прошептала она. Фред спихнул с себя тапку и сел в кровати. — У меня в портфеле, — буркнул он. Его изношенный портфель с разошедшейся молнией стоял под стулом. Болетта выдернула его оттуда и вытрясла содержимое на пол. Набралось прилично: четыре камня, нож, три свёртка с завтраками, сломанный карандаш, бумага для самокруток, плоскогубцы, значок «мерседеса», пустая банка из-под колы, гандон, спички, пакет жевалок «Хобби», велосипедный замок, две пробки для раковины, тетрадка для сочинений и, наконец, конверт, его Болетта тут же

схватила в руки и вытащила из него письмо, чтоб убедиться наверняка. Письмо оказалось на месте. Она повернулась к Фреду, сидевшему в кровати с поникшей головой и красными ушами. — Зачем ты носил его в школу? — Надо было сочинение написать, — пробормотал он тихо. — Прости, бабуль. — Фред произнёс «прости, бабуль» и, мне показалось, покраснел! Болетта подошла поближе к кровати. — Хорошо. Фред, говори ясно. Голова раскалывается. — Фред искал слова. Но они попрятались, не найдёшь. Прилипли к нёбу, завалились в глотку, застряли в гортани. — Я списал с письма, — прошептал он наконец. Болетта медлила в нерешительности. Похоже, соображала. — Про что сочинение? — спросила она. — Рассказ о герое. — Фред говорил всё тише и тише. Болетта улыбнулась и потрепала его по щеке. Фред отвернулся. Уши у него горели. — И что ты получил? — «Хорошо», — быстро ответил Фред. — «Хорошо»?! Кто бы сомневался! — Болетта пошла к дверям, но остановилась на пороге. — Фред, никогда не выноси это письмо из дому. Барнум, и ты тоже. Никогда! Понятно? — Понятно, — сказал я. — Угу, — шепнул Фред. Ещё постояв, Болетта произнесла нечто непонятное и незабываемое. — Потому что всё с нами родом

оттуда, — сказала она и помахала конвертом. После мы долго лежали молча. Я потел. Фред горел. — У тебя по сочинению «хорошо»? — спросил я. — Прочерк, — ответил Фред. — Прочерк? Тебе поставили прочерк? — Прочерк был меньше двойки. Он находился по ту сторону шкалы. Прочерк был не оценкой, а смертным приговором. Фред таращился в потолок. Казалось, подушка вот-вот заполыхает под ним. — Я даже списать не смог, — шепнул он. Отвернулся и уставился теперь в стену. Прочерка я не получал ни разу. Единственная, кажется, отметка, которой у меня не было. А вот жар был. И я сказал: — Давай, я буду писать сочинения за тебя. — Заткнись, — сказал он. Вдруг сел на кровати и принялся натягивать на себя рубашку. — Давай, я буду писать сочинения, а ты в обмен меня охранять. — Фред глянул на меня поверх воротничка. — Как я могу охранять тебя, если я учусь в этой гребаной школе для УО?! — Я тоже вылез из кровати. — Фред, а почему ты попал туда? — Заправляя рубашку, Фред шагнул ко мне: — Ты правда не знаешь или притворяешься? — Знаю, — просипел я. Он ухватил меня за плечо и пихнул в кровать. — Тогда скажи, идиотина! — Сам скажи, — прошептал я. — Потому что я родился в этом проклятом такси! — Фред

зарделся, хапнул, что ещё оставалось надеть, и пошёл к двери. — Достал ты меня, — сказал он. И ушёл. Дело было в воскресенье, наверно. Везде всё тихо, у меня нос заложен. Наши следы на улице давно запорошило. Птица обтрясла снег с проводов. Я подобрал Фредово хозяйство. Убрал в портфель. Но заглянул в его тетрадку с сочинениями, одним глазком. В ней не было ничего. Пустые страницы. Я закрыл глаза. Потом пробрался к Болетте. Она лежала на диване со льдом на лбу, подтаивая, лёд ручейками стекал вдоль по морщинкам, прорезавшим лицо сверху вниз. Письмо, откуда мы все родом, лежало у неё под рукой. Я осторожненько высвободил его. И прочитал. *Нам предстояло пересечь полуостров, дабы нанести на карту фьорд на другой стороне, закованный в лёд, отчего добраться туда на лодке возможности не было. Идти надо было 5–6 датских миль в одну сторону и столько же назад, а Гренландия сейчас неподходящая страна для пеших прогулок…* Болетта разлепила глаза. Наверно, она плакала. Во всяком случае, мокротень вылилась из морщинок и потекла по щекам. — Гренландия это же «зелёная земля», да. Почему её так назвали, когда там один лёд? — Потому что тем, кто приплыли туда первыми, более всего

запомнился красивый цветок — ландыш. — Я вложил письмо ей в руку. — А Северный полюс почему так называется? — Болетта улыбнулась: — Потому, Барнум, что пиво там жуть какое холодное.

(школа танцев)

А записала меня в школу танцев Болетта, кстати говоря. Она зашла к нам в комнату, дело было в начале сентября, прямо-таки даже в среду, остатки лета догорали на ветвях деревьев вдоль Киркевейен, редея с каждым днём, скоро последние всполохи загаснут, ветки оголятся, осень зальёт печку и вычешет город своим безразмерным железным гребнем. Я корпел над уроками, учил физиологию, выводил буковки не торопясь, одну к одной, даже Фред смог бы их прочитать, снизойди он до этого. *Где начинается процесс переваривания пищи? Во рту.* Фреда, к слову сказать, в комнате не было, он где-то шатался, как с неизменным вздохом говорила мама: Фред ушёл пошататься по городу, говорила она, и я представлял себе тощую неприкаянную тень Фреда, бочком пробирающуюся вдоль улиц, парков, мостов и подворотен. Болетта присела на краешек кровати и положила руку мне на

колени: — Завтра у тебя первое занятие у Свае, на Драмменсвейен. — Я уронил всё, что держал в руках: карандаш, ручку, ластик, линейку, цветные карандаши, стеклянный шарик, переводные картинки, и повернулся к ней: — У Свае? В школе танцев? — Болетта захохотала и придвинулась ко мне. — Так-то бояться не надо, — сказала она. — Тебя ж не в армию забривают! — Но до меня доходили кой-какие разговоры о зале на Драмменсвейен, на последнем этаже Торгового дома, и о Свае, тощей, как скрипка, дылде ростом под два метра, которая заставляла мальчиков танцевать с собой, дак ещё, чтоб раз и навсегда научить их держать спину прямо, она всовывала между собой и жертвой пластинку Эдди Калверта, а когда та падала на пол, не скупясь, отсыпала на орехи увальню и нескладёхе. Но не это страшило меня. С пожилыми дамами я обходиться умел. Пугали меня девчонки, красивые нарядные девочки, ну и мальчишки. — Бабуль, а мне туда обязательно? — Болетта покачала головой, словно не веря своим ушам. — Ты же не собираешься прожить жизнь, не умея танцевать, а? Румба. Ча-ча-ча. Танго! Только подумай — танго! И этого ты хочешь лишиться? — Я счастлив был бы лишиться не только этого, подумал я,

но и много чего ещё, а на поверку, подумал я, лишаемся мы как раз практически всего, что есть в жизни мало-мальски интересного, оно обходит всех нас стороной, и я почувствовал утешение, хоть и слабое. — А Фред почему не ходил в школу танцев? — задал я вопрос. Болетта подняла глаза к потолку и вздохнула. Кожа у неё на шее обмякла и свисала расплющенной скукоженной лепёшкой с подбородка на грудь, гладкую и плоскую под цветастым летним платьем, в котором Болетта пока продолжала ходить. Скоро осень снимет и с неё цветастый наряд и спрячет лето куда подальше. — Фред совсем другое дело, — только и ответила она. — Что это значит? — Он не создан для танцев. Короче, Барнум: завтра в шесть. — Она собралась уходить, но я не пустил, ухватил её тонкую руку, удивительно, но на ощупь она оказалась увесистой. — Что с тобой, Барнум? — Солнце заливало окно почти красным светом, в нашей — моей и Фреда — комнате это было самое, пожалуй, лучшее время дня, когда солнечный мячик скатываясь за холмы, заваливался за дома и попадал точнёхонько к нам в окно. Это длилось недолго, несколько секунд всего, но стоило внимания. Потом нас снова обступила тень. — Разучивать шаги ведь очень

трудно? — спросил я. — Шаги? — Болетта снова засмеялась, и её дыхание ударило мне в нос. Затхлый старческий запах, словно я распахнул дверь в непроветренную комнату, где давно никто не живёт. Видно, в Болетте, в складках да морщинах, слежалось немало пыли. Я сделал шаг назад, будто бы уже танцуя. Думаю, она не заметила моего манёвра. — Дело не в шагах, — заявила Болетта. — Надо научиться вести. — Вести? — Да, Барнум, вести. Попросту говоря, обхватить, решительно и доброжелательно, женщину и вести её в танце. Женщины обожают кавалеров, которые умеют правильно вести. Но по ходу танца ты должен иногда ослаблять напор, чтобы партнёрше казалось, будто верховодит она. Ты наверняка постепенно научишься этому. — Ты думаешь? — Конечно, Барнум. Как только тело усвоит, в чём тут фокус. Руки должны быть крепкие и сухие. Могу отсыпать тебе талька. А то представь себе — безвольная, потная рука на спине партнёрши или на бедре, уж не говоря об остальном? — Я долго вздрагивал, глядел в пол. — Бабуль, ты думаешь, кто-нибудь захочет танцевать со мной в паре? — Она подсунула палец мне под подбородок и медленно подняла мою голову. — А почему они не захотят, Барнум? Почему женщи-

ны не будут стоять в очереди на танец с тобой, а? — Лицо у меня исказилось, но Болетта держала мою голову прямо. От её глаз шёл некрепкий сладковатый аромат, или от волос — наверное, от волос, стянутых на затылке в серый пучок, и он, единственный из её запахов, мне нравился, он сервировался на десерт. — Потому что я ниже их, — пролепетал я. Она отпустила меня, и я отвернулся к окну. Уличные фонари отбрасывали узкие тени. Я по-прежнему чувствовал её пальцы, они словно примяли кожу. — Что за ерунда! Думаешь, это важно для женщин? Несколько сантиметров роста? Барнум, просто держи их по-хозяйски и веди, куда пожелаешь. Но я должна сказать тебе ещё одну вещь. — Поднялся ветер, я не видел его, но слышал, как гнутся деревья и лес наваливается на город, заливая его своей темнотой. — Какую? — прошептал я. Болетта снова вздёрнула мою голову. — Никогда не смотри под ноги! Гляди им прямо в глаза, Барнум. Иначе ты их в оборот не возьмёшь. — Я посмотрел ей прямо в глаза, она улыбнулась и вскользь чмокнула меня в лоб. — Не забудь! Завтра, в шесть, у Свае! И вычисти до тех пор траур под ногтями!

Болетта исполнила несколько косолапых па, покружилась на месте и исчезла со смехом, будто

смех пригласил её на танец и увёл, кружа. Может, с Северного полюса завсегдатаи расходятся таким манером, но в школе танцев Свае эти номера точно не пройдут. Если кто и пригласит меня, то один лишь плач, он склонится ко мне и занавесит меня своими патлами. За физиологию я в тот вечер больше не взялся. *Сколько раз следует пережёвывать пищу? 26 раз. Пищу необходимо пережёвывать 26 раз, в противном случае вас ждёт язва, запор, гастрит, воспаление дёсен, гнилые зубы, грыжа и горб.* Я продержался ужин, но ещё десяти не было, улёгся в кровать, хотя в сон не клонило, и я ненавидел этот зыбкий промежуток времени, переход ко сну, когда человек тупо лежит, а время прирастает расширениями, скобками и тире вводных предложений, надувается, точно голубой шарик, пока не лопается, порождая апатичный треск в голове да искры в глазах, словно перегоревшая лампочка, схрумканная темнотой. В голове у меня было слишком высокое напряжение. Свет давно погас, а мысли всё думали свою думу. Болетта велела мне смотреть девчонкам в глаза. Тогда я должен или танцевать на ходулях, или так запрокинуть голову, что шея сломается. Кто станет танцевать с таким клопом? Я ощупал свою руку. Потная, склизкая,

хоть отвинчивай, выжимай да, прежде чем кого обнимать, вешай на просушку, пришпилив прищепкой, среди исподнего, шнурков и чёрных чулок. Лёжа в узкой кровати и настраиваясь на самое худшее, я завидовал ушедшему скитаться Фреду (когда шляешься, думать-то недосуг, голова занята бродяжничеством) и вдруг услышал стрекот швейной машинки в гостиной, мамин старенький «Зингер», а это всегда неспроста. Я любил этот звук, и он успокоил меня, зашил прорехи во мраке, мягко и ловко приметал веки, гладенько обтачал швы ночи, я сомлел, и снилось мне, что я скитаюсь по свету со швейной машинкой: это был прекрасный сон, я занимался тем, что латал Божий мир, а потом, выводя стежок за стежком за длинным синим столом, заснул и вдруг проснулся оттого, что Фред вернулся домой, или он сам нарочно меня разбудил, короче, я проснулся. Он сидел на своей кровати и стягивал с себя башмаки, как обычно, не развязав шнурков, горел верхний свет. — Мутер подшивает мои брюки, — сообщил он. — Я натянул одеяло повыше — Правда? — Ага. Мои серые позапрошлогодние брюки. Укорачивает на полметра, если не больше. — Я не шевелился. Вслушивался. Машинка больше не стрекотала. Я слышал

только, как лязгают блестящие ножницы у меня в голове, распарывают швы, режут мир. Фред хохотнул и в одежде улёгся на кровать. — Такого манжета я ещё не видел. Думаю, это мировой рекорд. По классу брюк.

В голову лезли завтрашние уроки. Где начинается процесс переваривания пищи? Во рту. На языке. В пальцах, берущих вилку с тарелки, в руках, несущих домой авоську с едой. Вспомнилась Тале, я ни разу не станцевал с ней и не знаю, успела ли она потанцевать хоть с кем. — Барнум, ты спишь? — Нет, — прошептал я. — Так скажи что-нибудь. — Я долго лежал молча. Потом спросил: — Где ты был? — Нигде. — Фред тоже надолго замолк. Думаю, он посмеивался. Но взглянуть на него я не решался. И свет погасить не отваживался. — Барнум, ты поступаешь в школу танцев? — Не знаю, — шепнул я. — Может быть. — Не знаешь? Не строй из себя дурачка. — Болетта меня записала. — Фред надрывался от хохота, расползавшегося по комнате. Скоро он вытеснит весь воздух. — Проще тебе было взять поносить мои спортивные трусы. Отличный наряд: лакированные туфли и трусы. Палки лыжные не забудь. — Фред, не говори так. — А если девчонки вздумают тянуть на тебя, ты сможешь

ответить, мол, это трусы моего брательника. Одолжил штаны у брата, так и скажешь. Идёт? — Ну, пожалуйста, Фред. — Он помолчал. — Барнум, ты плачешь? — Я не плачу. — Нет, плачешь, я слышу. — Никто не плачет, — ответил я. Фред сел на кровати. — Барнум, ты рыдаешь по любому поводу. Ты трус, Барнум. — Не плачу я! — крикнул я. Фред вздохнул. Поднялся на ноги. — Барнум, ты можешь ответить мне на один вопрос? Если ты не хочешь ходить в школу танцев, почему ты не можешь просто сказать «нет»? — Я не ответил. Фред подошёл к двери и погасил свет, но, положив палец на выключатель, он повернулся ко мне и медленно покачал головой, вид у него был не сердитый, а огорчённый, да, огорчённый. — Не могу понять, какого чёрта я тебя собираю? — Так и сказал. Он употребил именно это слово: *собираю,* как будто я был маркой, эмблемой машины, автографом или крышкой от лимонада. Он лёг и скоро заснул. Сам я не спал, думал. Сперва о брюках; я представлял себе Фредовы брюки с манжетами рекордной ширины плюс висящий мешком блейзер и себя в этом наряде: лакированные туфли снизу и незабвенные пшеничные кудри сверху, Барнум с Фагерборга во всей красе, картинка светилась в голове резко и ослепитель-

но, а кругом виднелись девочки, жительницы благородных Скилебека, Скарпсну и Бюгдёй, они наверняка ещё не блестяще воспитаны, поэтому недостаточно стервозны, чтобы прятать смех, они будут щуриться и таращиться, даже рты разинут, презрительный смех, улыбочки, прикрываемые тонкими руками, унизанными колечками, они собьются в кружок и ну шептаться тихо, но чтоб я услышал: *этого колобка видели, им только коллекцию испортишь, пришлось встать на коленки, чтоб с ним познакомиться,* так они поговорят и повернутся ко мне спиной, точно я пустое место, воздух, с которым смешивать свои духи и то много чести, так что волей-неволей придётся мне танцевать со Свае, с пластинкой, упёртой в пузо, и пока мы с ней выделываем па, у меня рвётся шов на манжете, штанина разворачивается, закрывает туфли и ложится на пол, все-все пары встают как вкопанные посреди вальса, вылупив на меня глаза, а я отползаю к дверям, волоча за собой полметра брюк, и кричу, что они не мои, а моего брательника Фреда, моего сводного, придурка, не умеющего читать, это его штаны и его вина, и от таких мыслей, прокрутившихся в голове мгновенно и разом, бешеным вихрем слайдов, прощёлкавших перед глазами в чёрных

рамках, живот сжало… как иногда случалось, я расслабился и не сдержался. *Расскажи, каким образом пища проталкивается дальше. Мускулы кишечника сокращаются, сжимаясь и разжимаясь. Тем самым они толкают пищу вперёд и опорожняют кишечник.* Задница усвоила сегодняшний урок на пять с плюсом. Опорожнилась как по писаному. Я зажмурился в темноте. Из меня лило. Если б я мог выбирать сам, то предпочёл бы умереть. Пижама прилипла к ляжкам. Это дело было тёплое и мягкое. Уму непостижимо. Фред проснулся. Я слышал его глаза. И лежал не дыша. Сколько может пролежать так? И сколько в мире швейных машинок? А ножниц? Тень Фреда беспокойно заворочалась. — Барнум, и что ты теперь натворил? — Ничего. — Ничего? Ты ничего не натворил, да? — Честное слово, Фред. Спи. — Если я пролежу достаточно долго, всё пройдёт, всё в жизни — вопрос времени, кто может вытерпеть столько, сколько нужно, тот и выходит победителем, если не помирает со скуки до победы; эта мысль почти утешила меня, я лежу, время идёт, секунды работают на меня, как ходики от Арнесена, а если я долежусь до смерти, то выдвину ящичек, полный туалетной бумаги, и секунды подотрут за мной. Решено. Больше я с кровати

не встану. Останусь здесь валяться, и кровать превратится в мою могилу. Фред зажёг лампу и посмотрел на меня. — Нет, не может быть, — сказал он. — Чего? — Не может быть, — повторил он. Это дело капало на пол, жидкое, коричневое, я чувствовал себя выгребной ямой, сливной канавой, толчком, который забыли спустить, и я сдался, куда мне было деваться? — Помоги, — прошептал я. — Фред, помоги мне. — Фред стоял, зажав нос руками. Потом открыл окно, подошёл к моей кровати. Замер и долго буравил меня глазами. — Ну и что нам с этим делать, а? — Я только качнул головой, едва, для меня всё было едино. — Не знаю. Фред, помогай. — Он надолго задумался. Даже холодный воздух из окна не разгонял вони, шедшей от меня. — Позвать мутер? — Лучше не надо, — выдохнул я. — Или твоего отца? — Фред заржал раньше, чем я успел ответить. — Ах да, чёрт побери, его же дома нет. Барнум, где твой папаша? Где человек с бриолином? — Не знаю, — ответил я по-прежнему шёпотом. — На работе, наверно. — Ясное дело. Он, конечно, на работе. А где же мой-то отец? Может, его позовём? — Не знаю, — прошептал я. — Чего не знаешь? — Где твой отец. — Фред улыбнулся. — Ошибочка, Барнум. Ты не знаешь, кто мой отец. Если не знаешь,

как же я его позову? — Я промолчал. В конце концов Фред нагнулся ко мне: — Ладно, сами уберём. — Как? — спросил я осторожно. Фред тяжело вздохнул и отошёл к окну. — Дерьмо выкинем, бельё поменяем. Могу и тебя выкинуть заодно. — Думаешь, мама не заметит? — Что я тебя выкинул? Да она мне спасибо скажет, Барнум. — Фред, ну не говори так. — Ты такая мелочовка, что всё одно тебя никто не замечает. Ну и выкину тебя. Скажу, в слив затянуло. — Наверно, в этом месте я снова захлюпал носом. Фред подошёл поближе. — У тебя есть идея получше, да? — Идеи получше у меня не было. Я поднялся на ноги, медленно, как паралитик. Из-под пижамы потекла коричневая морилка. Фред смотрел на меня во все глаза. Этого зрелища он не забудет до конца своих дней. Потом он вышел, бесшумно прикрыв дверь. Никто не умел двигаться так бесшумно, как Фред. Я стоял у кровати. Не зная, вернётся ли он. Вполне в его духе: оставить меня стоять по уши в собственном дерьме. Я озяб. Но не плакал. Фред вернулся. Принёс чистое постельное бельё и здоровый пук серой обёрточной бумаги. Вопросов я больше не задавал. Уточнять ничего не хотел. Пусть поступает, как знает. Он стянул пододеяльник и простыню, сложил их и завернул

в бумагу. Потом повернулся ко мне: — Снимай пижаму. — Я снял пижаму. И остался стоять голым. Было немного холодно. Фред смерил меня взглядом и улыбнулся: — Можно я спрошу тебя кое о чём? — Я кивнул. — А каково это, быть таким чертовски маленьким? — Я опустил глаза. Кожа сплошь покрылась мурашками, под коричневой морилкой всё чесалось и жгло. И у меня сорвались с языка слова, которые я не думал никогда говорить вслух. — Немного одиноко, — ответил я. Фред вскинул голову и посмотрел на меня, глаза в глаза, продолжалось это недолго, секунду или полсекунды, внезапный порыв, он был поражён не меньше моего и, возможно, почувствовал что-то знакомое, родное, уловил в моих глазах тень своей мрачности и почувствовал, что мы всерьёз братья. — Потанцуем, Барнум? — Фред положил руку мне на плечо. Оно опустилось. Фред засмеялся, тихо-тихо, едва слышно, у самого моего лица, стремительным движением убрал руку, увязал узел с бельём, взял его под мышку и выскользнул из комнаты. Вроде бы его быстрые шаги прошелестели вниз по чёрной лестнице. Я крадучись пробрался в ванную и, стараясь не шуметь, отмылся под душем. Коричневая взвесь забила слив и скопилась в устье, меня

замутило, затрясло от страха, я стал втаптывать коричневую жижу внутрь, в сток, наконец она просочилась внутрь и ушла вниз, в трубы, в клоаку под городским чревом, а оттуда вытекла во фьорд в районе набережной Фреда Ульсена, где по брюхо в вонючем месиве стоят, лоснятся жирные чистики. Я прислушался. Всё спит. Ни звука, только журчание сливающейся воды. Из шкафчика над ванной достал тальк. И запорошил себя всего, сухой снежный шторм, а потом надушил пузо, ляжки и горло. Никто ничего не услышал. Бездонное сонное царство. Посреди чужих снов я мог делать, что пожелаю. Казалось, я просто пригрезился спящим. Я повернулся к зеркалу и увидел своё бескровное лицо, оно едва попало в зеркало, кудри опали, как надломленные спирали. Значит, я не сон, видения в зеркале не отражаются, это давно известно. Чистой пижамы я в ванной не нашёл, зато в ящике лежали мамины трусы. Я взял одни. Хотя мама и худышка, трусы оказались мне непомерно широки — я мог натянуть их до подмышек, — и такие мягкие и нежные на теле, как будто на мне и не было ничего. В таком виде: в маминых трусах, убелённый тальком и политый духами № 4711, я прошмыгнул назад в комнату. Постелил чистое бельё и лёг.

Стал прикидывать, удастся ли назавтра заболеть. До завтра осталось несколько часов всего. Уже начало мало-помалу светать. Можно, к примеру, отрезать себе палец Фредовым ножом. Это у нас в роду. Вот у отца с пальцами просто беда, ибо то, что осталось от большого пальца на левой руке, правильнее назвать пеньком искорёженного мяса. Короче, я мог бы отчикнуть мизинец. Всё равно пользуюсь им редко. Он сам по себе лишний, ясно понял я, обдумав всё хорошенько и не вспомнив ни одного дела, которое нельзя сделать без мизинца. Кстати, о ноже — куда Фред запропастился? Я снова вылез из кровати и подошёл к открытому окну. Стоя там в маминых трусах, я испытывал странное, загадочное почти ощущение, будто мне подменили тело, у меня даже засосало под ложечкой, не заныло, как обычно, а скрутило мрачно, подрагивая. Пришлось упереться в оконную раму. Может, Фред стирает в подвале простыню и пододеяльник? Если я ещё постою здесь, то простуда обеспечена. А если повезёт, то и воспаление лёгких схлопочу. «А о чём бывают у людей сны?» — подумал я вдруг. И снюсь ли я кому-нибудь? Наверняка Фред пошёл выкинуть всю пакость на помойку. Я закрыл окно и надел Фредов халат, он вонял молью и

потом и волочился по полу. Теперь я походил на боксёра, выставленного не в том весе. Муха в халате супертяжа. Я пробрался в гостиную. Скользил крадучись, как Фред, известный мастер скитаться и красться. На обеденном столе стояла мамина швейная машинка. На спинке стула висели старые брюки Фреда. Они были подшиты. И походили на шорты, серые шорты со стрелкой. Я подсунул мизинец под иглу. Если начать шить, палец раздерёт в клочья. Тут рядом возникла мама. Я не слышал её шагов. И рывком убрал руку за спину. Мама улыбнулась и туго запахнула ночную рубашку. — Волнуешься? — спросила она. Я отвернулся. — Не спится? — Встал в туалет. — Барнум, тут не из-за чего переживать. — А я и не переживаю. Волнуюсь немного. — Ещё бы. Хочешь померить брюки?

Я помотал головой. Вроде у мамы за спиной, в глубине коридора, сгустилась тень Фреда. Этажом ниже спустили воду, этак мы скоро перебудим весь двор, подумал я, сердце колотится в груди с таким грохотом, что, наверно, разбудит всех и в городе, и в мире. — Завтра купим тебе новые туфли, — сказала мама. — Ты ж не можешь идти в школу танцев без туфель. — А не лучше взять Фредовы? — Они тебе очень велики, даже на двое

носков. — Мама резко шагнула ко мне, и глаза у неё сузились. — Барнум, ты опять надушился? — Чуточку, — шепнул я. Мама глубоко вдохнула и выдохнула. — Сколько можно повторять? Брать духи не разрешается. Ну что подумают девочки, если от тебя будет разить духами? — На это мне нечего было ответить, потому что так далеко я как-то не заглядывал. Мне нелегко было себе представить, как девочкам взбредёт в голову мысль подойти ко мне настолько близко, чтобы учуять запах, да мало того, ещё и наклониться, нет-нет, это совершенно невозможно, это всё равно что долго думать о космосе, тогда мысль как бы растворяется в сильном синем ветре, а когда она уже совсем думать не думается, то отлепляется и медленно оседает на дно черепушки, но никогда его не достигает. — Папа душится, — прошептал я. — Нет, Барнум, он пользуется лосьоном после бритья, — быстро возразила мама. — А Фред сердится, когда ты трогаешь его халат. — Извини, — сказал я. — Ты мёрзнешь? — Да нет. — Мама скользнула рукой к моим волосам. Я отклонил голову. Она засмеялась — Барнум, иди ложись. Умойся только сперва. — Я сбегал в ванную, сунул голову под кран и нырнул в кровать, не забыв повесить халат на место в шкаф. Было слышно,

как мама ходит по комнатам, то ли ищет вещь, которую давно куда-то сунула и позабыла куда, то ли тщится развеять беспокойство, из-за которого ей неймётся и не спится, а ушить его никакая машинка не в силах. Пометавшись, мамины шаги стихли, и тогда я разобрал другой звук — смех Фреда, он лежал в постели и тихо посмеивался, и не знаю даже, что раздражало меньше: мамино мельтешение или Фредов смех, когда он смеялся так, как сейчас. — Что такое? — прошептал я. — Ничего. — А что ты сделал с пижамой и бельём? — Не твоя печаль, Барнум. Ими займутся. — Фред оборвал смех и сел. — Ты меня слышишь? — Да, Фред, слышу. — Ты согласился пойти в школу танцев, хотя тебе этого не хочется. Так? — Да, — шепнул я. — Тогда тебе остаётся лишь одно. — Я тоже сел. — Что? Говори, Фред. — Постарайся, чтобы тебя выгнали. Как можно быстрее. — А как это делается? Ну чтоб тебя выгнали? — Фред зарылся лицом в ладони, можно было подумать, он плачет или у него схватило голову, как бывает у Болетты во время грозы, если она накануне прошлась по пиву на Северном полюсе. Только бы Фред снова не ощерился. Лучше повторить уроки. *Как часто нужно опорожнять кишечник? Не реже одного раза в*

сутки. Что помогает нам избегать запоров? Физические упражнения, употребление в пищу хлеба грубого помола, фруктов и овощей, гигиена и хорошее настроение. — Так как сделать, чтоб тебя выгнали? — повторил я. Фред поднял голову. — Внимательно выслушай, что вы должны делать. И сделай с точностью до наоборот. Плёвое дело. — Фред выговорился, лёг и отвернулся к стенке. Я услышал почтальона на улице, звякала его толстенная связка ключей, и скрипели колёса голубой тележки, наверняка просевшей под тяжестью дурных вестей. Правда, плёвое дело: когда все делают шаг вперёд, я — назад, и лучше два шага, для надёжности. Когда мальчики кланяются, я приседаю в книксене. От одной этой мысли я почувствовал почти счастье, она озарила ночь, сдёрнула с плеч неподъёмную ношу, и Вселенная перестала распирать голову изнутри. Меня как будто освободили и развязали руки: валяй вытворяй чего в голову взбредёт. Ну и жох этот Фред! Пока все переобуваются в гардеробе, я прямиком в зал и ну впечатывать в натёртый паркет сапоги, тяжеленные от грязи, мокрых листьев, слизняков и собачьих какашек, с таким грохотом, что игла проигрывателя принимается скакать по бороздкам чёрного кругляша с дыркой посе-

рёдке, в которые утрамбованы звуки трубы Эдди Калверта. Но стоило мне ненароком вспомнить о туфлях, в животе опять забурчало, и я свернулся в клубок в коконе из маминых трусов, стараясь отделаться от любой мысли. Стать бездумным, загасить, одну за одной, всякую тлеющую во мне мыслишку, как сходят по ночам на нет уличные фонари, чтоб под конец остался лишь полный покой и неспешная тишина. Почтальон взбежал по лестнице. Я не услышал, чтобы он спустился вниз. Фред храпел где-то далеко, а когда меня разбудил стук дождя в окно, он уже ушёл. Меня ждал великий день, может быть, величайший в моей жизни. Мама приоткрыла дверь: — Барнум, тебе пора. А то опоздаешь.

Я тихо засмеялся. Опоздать — тоже идея. Хотя мелковатая. Я могу не только опоздать в школу танцев, я могу такого там натворить! Перебирая в уме (его отключить так и не получилось) разные варианты, я подумал, что в мире не меньше возможностей делать пакости, чем совершать правильные поступки, если не больше, потому что едва решишь похулиганить, как откуда ни возьмись просыпается изобретательность, оживает фантазия и нисходит вдохновение, я, например, ощущал такой прилив сил, что сам, не

испытав даже тошноты, вывел формулу количество добрых дел, на которые человек способен, относится к количеству дурных поступков, которые его тянет совершить, как один к трём. Едва я, дабы не забыть, записал формулу, названную мною *равенством Барнума,* на обороте тетради по физиологии, как дверь широко распахнулась и показалась мама. Я спрятался за рюкзак — Чем ты занимаешься? — Уроки делаю. А что? — Молодец. Но поторапливайся. И чистые носки не забудь.

Мама исчезла, а верёвки в животе стали стягиваться в большой узел. Чтобы как-то отвлечься от слизистой оболочки, панкреатина и желудочного сока, я сконцентрировался на голове, на проводках, которые соединяют мысли, точно линии на Центральном телеграфе, где Болетта раньше работала, я вспомнил о больших полушариях, мозжечке, основании черепа и позвоночном столбе, оставив напоследок самое своё любимое, продолговатый мозг, он ведь может, наверно, и ещё удлиниться: в один прекрасный день, нет, скорее — ночь, продолговатый мозг продолжится дальше вниз вдоль спины и тем самым растянет меня, но тут подступила тошнота, пришлось мне присесть на кровать перевести дух: думать о собственных мыслях довольно-таки утомительно,

это почти как если бы все на Телеграфе позвонили сами себе и получился бы такой сигналите «занято», хоть в Книгу рекордов, или каждый услышал бы свой голос, эхом раз за разом ходящий по кругу, и всё это вдруг сложилось в картинку, возникшую на радужной оболочке ума, словно всё это время о ней исключительно я и думал: американец Уолтер, шесть раз обогнувший земной шар, оставивший за спиной 256 тысяч километров, приводняется с плеском восточнее атолла Мидуэй, он на две минуты превысил график и, качаясь в тесной капсуле, глядя на Землю, исчезающую, как голубая монетка в черноте колодца, он думает, мол, вот, один я не дома.

Когда мама в третий раз постучалась в дверь, намереваясь войти, я спустил ноги. Решение принято: немедленно, сию секунду, я начинаю делать всё наперекор. Поэтому я натянул не чистые носки, а, наоборот, ношеные и вонючие, лицо и подмышки хоть и сполоснул, но зубы не почистил. Лиха беда начало! Видел бы меня Фред! Теперь пойдут другие пляски. Теперь пойдут другие пляски, сказал я, вытянулся на мысочках перед зеркалом и увидел кудри, торчащие во все стороны, как взъерошенные перья, словно я сам себя оттаскал за волосы. Превосходно!

Мама ждала на кухне, в глазах нетерпение, на губах — улыбка, этакое приключившееся на лице лобовое столкновение, избороздившее его вдоль и поперёк следами торможения. Я присел к узкому столику у стены. Болетта читала «Афтенпостен» и показывалась всякий раз, как переворачивала страницы. Не знаю, заметили ли они перемену во мне. Я-то явственно ощущал её внутри себя, хотя внешне всё оставалось почти как раньше. Но Барнум точно был не тот, что вчера. Фредовы слова изменили меня. Отныне я заделался поперечной душой. Ответил «спасибо, не хочу», когда мама подвинула ко мне сладкое тёмное смородиновое варенье, она закатила глаза, убирая нетерпение подальше, но снова упёрла глаза в потолок, увидев, что я отрезаю себе кусок датского сыра времён ещё, кажется, похорон Пра, до того вонючего, что его держали в отдельном холодильнике, и Фред сказал как-то раз, когда был в хорошем настроении (не вспомню сейчас, по какому такому случаю оно на него снизошло), что я мог бы водить сыр в Стенспарк проветриваться, только на поводке, а то даст дёру. Я смеялся над его словами несколько дней кряду. А сейчас взялся съесть здоровенный кусок этого самого сыра. В голове стучало, кишки сводило, но я не сдавался:

надеялся, что с таким благоуханием меня вообще не впустят в Торговый дом на Драмменсвейен, а то и вытурят из города или даже из страны. То-то было б облегчение! Я жевал, жевал, жевал, но казалось, что весь имевшийся в Дании сыр налип на небо, а язычок висит, как маятник, слепленный из кровяного пудинга, и раскачивается в слюне, ход его тяжелел, а всё вокруг замедлилось и сгустилось, мамин взгляд, шелест страниц под пальцами Болетты, стекающие по окну капли, я сижу с набитым ртом в замедленном кино и вспоминаю учебник физиологии, пытаясь понять, когда вся эта жвачка пойдёт наружу. *Почему не следует пить, когда пища во рту? Тогда она не смачивается слюной в должной мере. Почему не надо смеяться или разговаривать с полным ртом? Пища может попасть в нос или дыхательное горло.* Смеяться мне было не с чего, а говорить не о чём. Сыр вогнал меня в немоту. Болетта опустила «Афтенпостен» и обратилась к маме: — Барнум наконец распробовал сыр с носком? — Я быстро закивал, хотя спрашивали маму, а в её лице сохранялась прежняя двоякость: глаза следили за мной с подозрением, но губы улыбались. Болетта повернулась ко мне: — Девчонки любят мужчин с крепким запахом. Твёрдый взгляд и

крепкий запах. Только не перестарайся, Барнум. — Мать захихикала. — Если дело и дальше пойдёт с той же скоростью, придётся мне писать записку фрекен Харалдсен, что ты опоздал из-за датского сыра! — Её зовут Шкелета, — ответил я.

Не следовало маме пережимать. В учебнике по физиологии ни слова не говорилось о том, что с пищей во рту нельзя ходить или даже бегать. Я подхватил ранец и дунул вниз по Киркевейен раньше, чем они успели кинуть мне в окно дождевик. Эстер открывала свой киоск и держала в охапке журналы, но исхитрилась и помахала мне, все всегда приветствовали Эстер взмахом руки, значит, я не стал, а поглубже засунул кулаки в карманы и пошагал вниз к Майорстюен, сутулый, с полным ртом сыра, эдакий пеликан, который тащит в клюве корма на целый год, а думал я о том, что так меня вытурят не только из страны и школы танцев, но из мира, как говорится, сживут во свету, что и решит все проблемы разом, но посреди этой мысли мне резанула глаза своей белизной церковная стена, она ослепила меня сквозь сетку дождя, я даже зажмурился, а потом остановился перед храмом, перегрузил запас сыра в сточную канаву и вывалил язык наружу, чтоб дождь его промыл. За этим наблюдал муж-

чина, стоявший на лестнице, ведущей к широким дверям, и таращившийся на меня из-под зонтика. Размытые дождём, белели его лицо и пальцы, и улыбка до ушей, а на шее у него был воротник, белый же воротник, сливавшийся воедино с оплывшим подбородком, и мне подумалось, что всё в этом человеке, стоявшем на третьей ступеньке лестницы церкви на Майорстюен, было чёрно-белым: лицо, зонт, руки, воротник, зубы — так выглядел пастор, не соизволивший окрестить ни Фреда, ни меня. — Что это у нас здесь за благовоспитанный молодой человек? — спросил он, спускаясь на одну ступеньку, вроде бы желая рассмотреть меня получше. — Как тебя зовут? — Часы над его головой, на высокой белой оштукатуренной стене, увитой, как тонкими раскалёнными проводками, диким виноградом, показывали уже половину девятого. До опоздания в школу осталось потянуть всего ничего. Пастор перегнулся через перила. Он возвысил голос, но слышал я его и так прекрасно. — Это ты мне язык показываешь? — Зонтик рвался у него из рук, норовя завернуться вверх и превратиться в чёрную чашу для сбора дождя. Теперь пастор не улыбался. Стиснутые губы скрывали зубы. — Нет, ты действительно показываешь мне язык?! — Он

сложил зонтик и, сам уже весь мокрый, стал тыкать им в мою сторону. Теперь он кричал сквозь дождь: — Ну-ка убери язык! — Но язык не втягивался. Наоборот, он вывалился ещё дальше. Я и не подозревал даже, что у меня язычище такого размера. А сейчас я даже видел свой собственный язык, удивительное зрелище, без которого я легко мог бы обойтись. — Меня зовут Барнум, — сказал я настолько чётко, насколько позволял вывалившийся язык — Барнум! Ты что, забыл? — Пастор вцепился в перила, чтоб не упасть. — Не думай, что я тебя не узнал. Я помню и тебя, и твоего несчастного брата! — Я постарался сделать улыбку и подошёл на шаг поближе. — Чёрт бы тебя подрал, — сказал я и рванул во все лопатки в сторону Валькирией и только где-то у рынка Вестканторгет сумел-таки втянуть язык за зубы. Здесь мне пришлось сесть на скамейку, перевести дух. Я показал язык пастору! Не то что кончик, а вывалил весь до корня — прямо в морду настоятелю церкви на Майорстюен! Да ещё охаял его. Чёрт бы тебя подрал, пастор! Жалко, Фред не видел. Он бы не поверил своим глазам. А это правда, я не приврал ни слова. Ну я ему расскажу! Опаздывать в школу после *такого* — проступок слишком мелкий. Ещё немного, и я сделаюсь смутьяном

самого крупного калибра. Даже Господь вынужден будет обратить на меня внимание. Поэтому я бегом побежал в школу и ворвался на линейку в ту секунду, когда прозвенел звонок и полыхнула молния, и тут же — я до четырёх досчитать не успел — на школьном дворе разорвался гром и ходуном заходили шпили на церквях. Я встревожился. Ну как я ненароком наступил Господу на любимую мозоль? Да если ещё он обидчив по натуре? Девчонки завизжали, парни загоготали, и вдруг у меня за спиной очутились мои мучители, с души воротит называть их имена, но те же личности, что и в прошлый раз, и одновременно со вторым раскатом до меня долетели слова: — Шутки в сторону, это становится опасно. Слушай, нам нужен громоотвод, — А один из подельников ответил словами, прозвучавшими как заученный текст, как будто они заранее расписали роли, на всякий случай, причём я знал, что сейчас последует, я мог бы сам произнести следующую реплику, но вместо этого я взялся считать в уме раскаты и едва досчитал до трёх, когда раздалось: — Барнум, пожалуй, сгодится? На громоотвод, я имею в виду. — Стоя спиной, я безошибочно ясно видел, как они переглядываются и кивают, в восторге от замечательной идеи, едва ли хуже

их предыдущей выдумки, когда на горке Бундебаккен я послужил им снегокатом. Вдосталь накивавшись и наподмигивавшись — я мешать не стал, — они подняли меня вместе с ранцем и всеми причиндалами и под вспышки и раскаты понесли к входу «В». Господь осерчал, я наэлектризовался. Локоны торчали перпендикулярно голове, как застывшие штопоры, но тут прибежал Козёл и попробовал перекрыть Господний гнев своим свистком, а когда не вышло, повалил нашу пирамиду. Гром отдалился, между раскатами я досчитывал уже до девяти, волосы размагнитились и улеглись на голове как обычно, как то случается с шестимесячной завивкой, и мне вдруг захотелось что-нибудь брякнуть. На языке вертелось *Парикмахер ваш Бог никудышный,* но вслух я сказал другое. — Это моя идея, — сказал я. Козёл наклонился пониже, стараясь двумя руками удержать и Аслака, и Пребена, и Хомяка, брови сошлись на переносице в большой чёрный куст, а вокруг нас, учуяв, что запахло жареным, кольцом сгрудилась вся школа. — Что ты говоришь, Барнум? — Это я предложил им понести меня. — После непродолжительной, но самоотверженной умственной работы Козёл отпустил всю троицу, стряхнул дождь с бровей и наклонился ещё

ближе. — С молнией шутки плохи, Барнум. Мы обязаны относиться к силам природы с уважением. Так, всё — быстро по классам! — Спасибо! — Я глубоко поклонился и побежал вверх по лестнице. Остаток дня я тихохонько просидел за своей партой, первой в среднем ряду, отлучившись лишь на урок физры, где мне дозволялось заниматься чем захочу, в этом отношении с Козлом было легко, он меня списал и даже не заставлял переодеваться, так что я весь урок кувыркался колесом, неспешно, чтобы не пришлось потом идти в душ, с душем я завязал раз и навсегда после того случая, когда мальчишки схватили меня за ноги, развели их в стороны, как цыплёнку, и принялись вытворять бог знает что с мылом. Хотя мучить меня почти никто больше не мучил. Ничего нового из меня было уже не вымучить. А побыть, если так сойдётся, громоотводом, которого в дождь таскают по двору на руках, я был не против. Нет, случалось, конечно, кто-то начинал вязаться, например, когда я пил из фонтана: чтобы дотянуться до струи, мне приходилось или вставать на цыпочки, или влезать на бортик, и неизменно находились умники похвалиться своей молодецкой удалью за мой счёт — мне лили воду за пояс, кунали меня мордой в сливную

канаву, награждали свежезаученными титулами: штырь, заноза, макака. Пусть их. Меня это не волновало. Я чувствовал себя выше этого. Выше. А они пускай захлебнутся своим идиотским смехом, он будет душить их долго и мучительно, подохнут они в бездне слёз — с камнем на шее и бетонными кандалами на ногах. Дело оборачивалось кошмаром, только если кто-нибудь из девчонок начинал меня защищать и увещевать этих умников, что они могли бы вести себя по-взрослому, что за детство такое — дразнить Барнума из-за его роста, он же не виноват, что Господь так скупо отмерил ему сантиметров, да? После такого я исходил ненавистью неделями, даже месяцами, и ненависть гудела во мне, как мотор, как огромная динамо-машина, которая работает на палубе грёз и поддерживает внутри меня чёрный свет, эдакое солнце наизнанку, льющее вокруг черноту, и я представлял себе, что так же была устроена печаль Пра, так же крутилось колесо её тоскливого ожидания. Эта ненависть питала меня, я перерастал сам себя и становился почти в состоянии понять, что имел в виду Фред, говоря, что начало в нём — злое. Из фонтанов я, впрочем, с тех пор не пью. К полудню того дня, дня открытия школы танцев и моего превраще-

ния в поперечную душу, Господь сменил гнев на милость, гроза ушла в другие пределы, тучи рассеялись, и небо засияло во всей красе и голубизне. Но только миролюбия Господа хватило ненадолго. Божья тишь да благодать скоротечны. На последнем уроке у нас была физиология со Шкелетой, прозванной так за несколько поколений до нас по той причине, что она имела обыкновение приносить на урок показать ученикам настоящую берцовую кость, которую слухи приписывали её родному папаше, — якобы Шкелета сохранила её как последнюю память о родителе, причём вдобавок к этой сплетне, довольно гнусной самой по себе, некоторые утверждали, что, дабы завладеть этой самой берцовой костью, Шкелете пришлось папашу самолично отравить. Мало кому доставляло удовольствие находиться рядом со Шкелетой, от неё пахло лекарствами, она то и дело отсутствовала по болезни, наверно, рахит, следствие нехватки в детстве солнца и калорийной пищи, почему она и убила отца и покусилась на его берцовую кость. Если Шкелеты не было в школе более двух дней, нам присылали замену. Тот день был третьим без Шкелеты. Я заранее приготовился к худшему и впал в тоску. Подменщица влетела в класс на всех парах, сго-

рая от энтузиазма. Пыша отменным здоровьем, она села и, пока усаживались мы, растянула губы в широченную улыбку, чем напугала меня всерьёз: по опыту я знал, что такие улыбки редко приводят к добру. Про злых людей хотя бы всё понятно. А от добрячков можно ждать любого подвоха. Она представилась и написала своё имя на доске, но я давно забыл его, если вообще помнил. Давайте, что ли, назову её Пиявкой. Пиявка, заменяющая Шкелету. Так и устроен мир. Она ходила между рядов и распространялась о гигиене в прошлые века (как будто это нам зачем-то нужно) и о том, что черника улучшает зрение, а потом понесла про горячее и холодное питьё, корни зубов, школьные завтраки, мел, плоскостопие, горб и искривление позвоночника, я не отваживался повернуться, но видел краем глаза, что Мыша с Хансеном уже приготовили линейки и наслюнили пулек из бумаги и козьего сыра, но тут она вернулась за кафедру, открыла учебник, приставила ладонь козырьком ко лбу и оглядела класс. Затем Пиявка указала на Мышу: — Как тебя зовут? — Она оказалась из тех, кто сразу лезет с вопросом про имя, не дав человеку рта раскрыть. В животе возникла тяжесть, точно мне сунули туда мешок с мокрым песком. — Халвор, — отве-

тил Мыша. — Халвор, скажи нам, пожалуйста, что такое селезёнка? — Мыша думал долго, потом ответил: — Американский конькобежец. — Пиявка изменилась в лице, засмеялась и ткнула в Хансена. Мне пришла в голову одна мысль. Если все ответят неверно, я могу дать правильный ответ. Я запомнил, что говорил Фред. — А тебя как зовут? — Ханс, но можете называть меня Хансен. — Отлично. Так скажи нам, что же это такое — селезёнка? — Казалось, Хансен задумался над ответом. На самом-то деле он закемарил: думать Хансен не думал никогда, но время умел тянуть, как никто (однажды он продержался целый урок), и вот уже Пиявка начала терять терпение, улыбка стала отклеиваться с её губ. — Что ты говоришь, Ханс? — Хансен очнулся, Пиявка подалась вперёд, точно предвкушая гениальный ответ. — Селезёнка, — начал Хансен медленно, — селезёнка — это мелодия, которую в радиопрограмме «По вашим заявкам» исполняет на барабане Финн Эриксен. — Пиявка, присланная к нам в класс на замену, натурально сползла под кафедру, и, естественно, взгляд её упёрся в меня, куда ж ещё? Я уже знал, что произойдёт. — А как же нас зовут? — Со мной она говорила совершенно другим голоском, сюсюкала, будто язык у неё во рту был

криво подвешен. В классе сделалось тихо-тихо. Все млели в предвкушении удовольствия, сравнимого разве что со счастьем последнего урока перед летними каникулами. — Барнум, — ответил я. — Что ты сказал? — Барнум. — Лицо Пиявки на глазах наливалось кровью. — На те дни, что я заменяю фрекен Харалдсен, извольте пользоваться вашими настоящими именами. Пока я не рассердилась, немедленно скажи, как тебя зовут? — Барнум — моё настоящее имя, — ответил я. Пиявка дёрнула на себя ящик, вытащила журнал, шваркнула им о кафедру и уткнула нос в страницы. Неожиданно она размякла от лба до подошв, взглянула на меня со значением и засюсюкала пуще прежнего. Что я и говорил: души добрячков потёмки, но хватка у них мёртвая. — Барнум?! Что ж, Барнум, скажи-ка нам, Барнум, что в нашем организме называется селезёнкой? — Это был не абсолютный рекорд. В прошлом году у нас заменяли труд, так там человек умудрился втиснуть пять Барнумов в одно предложение, просто передавая мне рубанок. Я и бровью не повёл. — Селезёнка, — ответил я, — помогает очищать кровь. Кроме того, когда у нас колет в боку от бега, это тоже селезёнка. — Пиявка захлопала в ладоши. О чём её никто не просил. — Совершенно верно,

Барнум. Подойди-ка сюда, Барнум. — Я остался на месте. — Зачем? — шепнул я. — Затем, что ты такой умница, Барнум. — Я не могу, — сказал я. — У меня в боку колет. — В ответ Пиявка захохотала и написала на доске большими буквами «селезёнка». — Барнум! Иди-иди сюда, Барнум. — Я сполз со скамейки и побрёл к кафедре. Я глядел на Пиявку и видел, как ей хочется потрепать мои кудри. Но она устояла. И взамен положила руку мне на спину. Я уже чувствовал, что дело кончится невесело. Мне бы сломать указку, раскрошить мел или опрокинуть чернильницу, как учил Фред. Но вместо того я стоял столбом. Весь класс лёг животами на парты и не сводил с нас глаз, некоторые и рты разинули, будто самое страшное уже произошло. Меня замутило. Господь сочинил шутку и поставил меня на одну из ролей. — Где находится селезёнка? — спросила Пиявка. — Слева, — прошелестел я. — Под диафрагмой. — Снова порхнула рука Пиявки, и на этот раз опустилась на мои волосы. Не устояла добрая душа перед искушением. Не совладала с собой. — Молодец, Барнум! Всё верно — селезёнка находится ниже диафрагмы. Покажи-ка нам, Барнум. — Я повесил голову. — Показать что? — Где находится селезёнка, Барнум. — Ниже диафраг-

мы, — повторил я. — Барнум, это мы слышали. А теперь покажи. — Я ткнул в левый бок. Но Пиявка не унималась. Она вцепилась в мой свитер и стала задирать его. — Барнум, ну давай, покажи, чтоб все запомнили. — Я сдался. Задрал свитер и рубашку. И тут же по классу пронёсся вздох, стон, и сама Пиявка пошатнулась и вцепилась в кафедру. Я посмотрел туда, где у меня селезёнка. Вот в чём дело — мамины трусы. Мамины тонкие розовые трусы. Они свисали на бёдра, и кружева лежали, как незастроченный ремень. Я дёрнул вниз рубашку и свитер. Но поздно. Все всё видели. Весь класс видел, что я ношу безразмерные мамины трусы, и вряд ли кто теперь забудет, где у нас селезёнка. Прозвенел звонок. Все кинулись вон из класса. Я медленно вернулся на своё место. Неспешно собрался. Если только заставить время идти медленно, всё пройдёт. Медленно, но верно всё пройдёт, уйдёт, забудется и исчезнет. Время — как гигантский ластик, подтирающий огрехи жизни. Такова была моя единственная надежда. Хрупкая, конечно. Из класса я вышел предпоследним. Пиявка всё тёрла доску. Сухой и жёсткой губкой. Она повернулась ко мне, печальная и оторопевшая, в свой черёд преобразившаяся донельзя. Буквы осыпались ей на пальцы белой

мукой. Она ничего не сказала. Я попрощался.

Я спустился на школьный двор, весь класс ждал меня у трамвайных путей. Я резко остановился и бросился в другие ворота. Там стояла мама. Беда не приходит одна: в других воротах действительно стояла мама и махала мне. Я так и слышал смех за своей спиной, он звенел за каждым углом, на любой улице и улочке, во всякой подворотне, дворе, водосточной трубе, сливе и клоаке. Я решительно прошел мимо мамы. Она догнала меня: — Привет, Барнум! Это я. — Можно подумать, я не догадался. И можно подумать, кому-нибудь в школе еще неизвестно, что Барнума встречает мамочка, а он ходит в ее трусах. Мама засмеялась. — Нам надо купить тебе новые туфли, — сказала она, кладя руку мне на плечо, пока мы огибали церковь, шурша листьями. Я скуксился совсем. — Обязательно надо? — шепнул я. — Конечно надо. Ты же не собираешься оттоптать девочкам все ноги? — Мама снова засмеялась, у нее, кажется, было хорошее настроение. Оттого, наверно, что на Валькириен нас поджидал отец. На нем было длинное светло-коричневое пальто, едва сошедшееся в поясе. — Потрогай, — сказал он. Я коснулся его руки. — Выше, — шепнул он. Я положил руку на его локоть. — Веди влево. — Я

провел пальцами до верхней пуговицы, но выше дотянуться не смог. — Теперь вниз. — Я исполнил указание и почувствовал, что внутренний карман оттопыривается, он оттопыривается, а отец ухмыляется. — Верблюжья шерсть, — сказал отец и вытащил толстенный бумажник. — А теперь вперед, за туфлями для танцев! — И мы, я посередке, между отцом и матерью, пошли, как Святое семейство, в обувной магазин на Валькириен. Я постараюсь быть краток, насколько это возможно. Ибо подобрать для меня туфли, в которых мне к тому же предстояло танцевать, было задачей непростой. Дело в том, что я родился ножками вперед. Врачам пришлось залезать в маму с огромными щипцами и прижимать мои руки к телу, чтобы голова прошла спокойно и не стянулась пуповиной. Отсюда мои pes valgus.[4] Поскольку дело легко могло кончиться pes varus,[5] я должен быть благодарен судьбе, но pes valgus тоже удовольствие небольшое. У таких, как я, стопа выгнута наружу и всегда касается земли, по который мы ступаем. Поэтому нас слышат издали. И узнают по походке. Пер-

[4] Примечания: 4
Наружное отклонение стопы от нормы.

[5] Примечания: 5
Внутреннее отклонение стопы от нормы.

вым в обувной магазин на Валькириен зашел отец. — Туфли для этого господина! — крикнул он во всеуслышанье. Тут же подбежал продавец и впился взглядом в раздутый отцов бумажник, а я сел на низенький стул и снял с себя старые ботинки. Мама зажала нос и долго качала головой. Носки собрались на пальцах в мокрые складки, а вокруг повисло тяжелое облако кислого пота. Но отец только заржал и дал продавцу пять крон аванса. Я перемерил девятнадцать пар. И девятнадцать раз должен был пройтись перед зеркалом, стоявшим на полу под наклоном. Танцевальных па я тоже сделал девятнадцать. Всё без пользы дела. Туфли были или тесны, или велики, или узки, или широки. Мне вспомнился Андре, погрузивший сорок пять килограммов гуталина в воздушный шар, который таки упал. Вскоре моими ногами заинтересовался весь магазин, и продавцы, и покупатели, более того, за стеклом собрался народ посмотреть на плоскостопого Барнума, вокруг ног которого вращалась сейчас вся жизнь на Валькирией. Продавец взопрел и хватал ртом воздух. Отец добавил ещё пять крон. И тогда продавец представился по всей форме и заявил: — Надо подгонять ботинок под ногу, а не наоборот! Да здравствует кривая колодка! — И

повёл нас на склад позади магазина. Здесь всё до потолка было заставлено коробками. Столько обуви я не видал сроду. Сколько ни ходи, а столько обуви за одну жизнь никому не сносить. Эта мысль и согревала, и огорчала. Продавец взобрался на лесенку, спустился с парой чёрных ботинок и с великой церемонностью надел их на мою ногу, ему не понадобился даже рожок они сели по ноге, как мягкие и разношенные перчатки. — Эта пара с ноги Оскара Матиесена, — прошептал продавец. — Он надевал их на банкет, когда в 1916 году выиграл мировое первенство. Но они стоят недёшево. — Мама взглянула на отца. Он на меня. — Ну как? — Как перчатки, — ответил я. Отец улыбнулся, отвёл продавца в угол, и они сошлись в цене, а когда мы наконец вышли из обувного магазина на Валькирией с коробкой, в которой лежали ботинки с ноги самого Оскара Матиесена, следы прошедшего дождя текли ручьями по трамвайным рельсам, и я грешным делом подумал, что худшее уже позади — не считая, конечно, собственно школы танцев, где я намеревался оставить по себе незабываемую память, — но тут отец вскинул руку и крикнул: — А теперь к Плеснеру! — Туда мы помчались на такси. Сидя впереди и слушая перешёптывания

родителей и смех отца, который словно булькал и пузырился в нём, когда он бывал в таком настроении, я вспомнил Тале и почувствовал себя одной большой пустой дырой, и она, эта пустая полость внутри меня, стала медленно заполняться тревогой. И как в воду глядел: за прилавком стояла та самая продавщица. Завидев нас, она взяла меня за руку и спросила: — Как себя чувствует твой брат? — Отлично, — поспешил ответить я. — Ну слава Богу, — пропела она, отпустила мою руку и взяла мамину. — Какой славный у вас мальчик, — сказала она. И я понял, что ложь рано или поздно настигает нас, они возвращаются — и обманы, и фантазии, и встречают тебя в дверях под видом заботы, утешения и правды, потому что мир недостаточно велик, чтобы спрятать враньё. Ложь колупается на ходулях. А фантазии сходят во сне с катушек. Мама изумлённо вытаращилась на меня. Я с тем же изумлением уставился на отца, который, по счастью, уже успел найти самые дорогие стельки, сделанные вручную, отполированные и залаченные, ювелирное изделие для ступней, так что мы могли ехать домой. Этот путь мы тоже проделали на такси, я снова сидел впереди. — Ты голодный? — спросил отец. — Нет, — ответил

я. — А не очень сытый? — Да нет. — Отец расстегнул пальто. — Отлично, — сказал он. — Чтобы танцевать, нужен баланс. Я рассказывал тебе о Халворсене из Халдена? — Да, — ответил я. — По прозвищу *Der Rote Teufel.* — Точно так. Он потерял баланс, сверзился с трапеции и расшибся в лепёшку. — Ты пугаешь Барнума, — сказала мама. Но отец только засмеялся: — Я тебя напугал, Барнум? — Нет, — ответил я. Отец наклонился в проём между сиденьями, едва не толкнув таксиста. — Танец, Барнум, это почти что номер на трапеции. Ты кидаешься из объятий в объятия. И тут самое главное — не пролететь мимо и не сломать шеи. — Мама вздохнула, отец откинулся назад и обнял её. — Сегодня ты станешь учеником второй по важности школы, — сказал он. — А какая же первая? — поинтересовался я. — Школа жизни. И на третьем месте обычная школа. Пахота, танцы и математика, такова иерархия значимости для человека.

В душе я мылся, пока не слил всю горячую воду, потом убрал мамины трусы на место в шкаф, измазал половину себя дезодорантом, а когда уже стоял перед зеркалом в прихожей в старых Фредовых брюках, блейзере и туфлях Оскара Матиесена (удивительно, кстати, что у чемпиона мира по

конькам была такая маленькая нога), пришла мама и стала причёсывать меня размеренными, почти замедленными движениями. Мы смотрели друг на дружку в зеркале. Я слышал раскатистый храп отца, спавшего в гостиной на диване. Болетта отправилась на Северный полюс выпить за меня тёмного пива, а Фред скитался, считал фонари. Мама улыбнулась неуверенно. — Барнум, ты отлично выглядишь. — Правда? — Лучше не бывает. — Да, лучше не бывает, — повторил я и ужаснулся однозначности фразы: лучше не бывает и не будет, я достиг верха своего совершенства, но верх этот куда как невысок. Мама положила расчёску мне в карман и нагнулась к самому моему уху: — Что ты наговорил у Плеснера о Фреде, а? — Ничего. — Не темни. Почему она спросила, как он? — Я задумался. Вспомнил Фредово указание делать всё наперекор, как поперечная душа. И соврал маме, хотя, может, то враньё и правда. — Да просто что он родился в такси этом паскудном. С такого и взятки гладки, чёрт возьми. — Мама отпрянула от меня. Жалко, Фред меня не видит. Ещё потренируюсь и буду наглец хоть куда. — Повтори, что ты сказал? — просипела мама. — Что ему дал имя какой-то отмороженный шофёр. Поэтому он такой псих и

вырос. Думаешь, я не знаю, да? — В ответ мама ударила меня, смазала пальцами по щеке и тут же бережно повела их вдоль воротничка, как будто два движения были моментами одного, побои и ласка, нежность как продолжение наказания, пощёчины. Часы у неё за спиной остановились, заметил я, потому что никто давно не клал в ящик монеток, и стрелки висели на половине шестого, как два тонких, мёртвых крыла. Отец приподнялся на своём диване в гостиной, казалось, усесться ему не удастся, как ни повернись, везде мешался живот, между пуговицами рубашки выпирал жир. Он выпростал руку и замахал, будто мне предстояло самое малое сесть в Бергене на корабль, чистить на камбузе картошку всю дорогу до Америки да и сгинуть там за океаном. Если б на самом деле всё было так просто! — Удачи тебе, Барнум, — напутствовал отец. — И поклон от меня барышням! — «Заткнись уже, мудозвон раскормленный», — беззвучно крикнул я. Мама поцеловала меня в ту щёку, по которой ударила, и выпроводила. Бредя вниз по Киркевейен, я думал о том, в какую секунду медленная ходьба вперёд превращается в топтание на месте. Раз свет звёзд, потухших примерно восемь миллионов лет назад, всё ещё не дошёл до нас, то на

дорогу до Торгового дома я, безусловно, сумею потратить несколько недель. Мне почудился в тени на лестнице церкви Фред, с огоньком в зубах и мрачным мерцанием в глазах. Я притормозил и поднял руку, не знаю, заметил ли он меня или просто сидел улыбался, ведь нельзя исключить, что молва о моих сегодняшних «подвигах» со знаком минус уже дошла до него. Я даже Господа успел подразнить. От этих мыслей я пришёл в боевой задор и полетел дальше бегом, чтоб меня успели ещё изгнать из школы танцев, но у перекрёстка на площади Риддерволда меня вдруг втянули в кусты за памятником Вельхавена, вжали в листву, и надо мной склонились Хомяк, Аслак и Пребен. — Мы только глянем, что у тебя под брюками, кнопка. — Я замолотил руками, да где там. Только сильнее насмешил их. — Жаль, братец твой далеко, да? Может, свистнем его? Или его уже упекли в дурку? — Они стянули с меня Фредовы брюки. Их ждало разочарование. Никаких трусов с кружевной отстрочкой — обычное белое трико с ширинкой. — Бегал домой трусы менять, а, пиздюк? — рыкнул Хомяк — Ты о чём? — как будто не понял я. Они попинали меня, но без настроения, так, несколько тупых тычков в живот. Это был лучший выход из си-

туации: теперь я мог говорить, что про трусы всем привиделось, видно, Пиявка их заморочила до дури. Даже если эти трое разойдутся и отделают меня под орех, тоже хорошо — придётся мне забыть о танцах на ближайшее будущее и отправляться в травмопункт. — Общий привет, пиздонюхи, — сказал я и застегнул брюки. Пребен, Аслак и Хомяк переглянулись, покачали головами, закидали меня листвой и исчезли в направлении Урра-парка. Я ещё повалялся, пофилософствовал. Всё-таки загадочно устроен мир. Одно тянет за собой другое, но ничто ни с чем не состыкуется. *Сформулируй, в чём состоит разница между произвольными и непроизвольными мышцами. Непроизвольные: крепятся к костям. Произвольные: подчиняются сознанию.* И тогда, наверно, сердце — это непроизвольная мышца, а вот руки-ноги — произвольные, хотя и они то и дело делают совершенно незапланированные вещи. Я выбрался из прелого могильника, вытряхнул листья и червяков из карманов и пошёл на танцы к Свае. Лифт распирал настолько тяжёлый аромат духов и геля для волос, что кабина едва карабкалась вверх. Я стоял спиной к зеркалу и не дышал. В раздевалке одно к одному висели полупальто с капюшонами. Кто-то явился в гало-

шах. Из соседней комнаты доносился чёрствый голос, но слов было не разобрать. Я переоделся и незаметно скользнул в ту комнату. Но никому не удаётся остаться незамеченным в первый день занятий в школе танцев. Свае стояла у столика с проигрывателем и замолкла, едва завидела меня, то есть сразу. Она оказалась похожа не на скрипку, а на флагшток, обмотанный чёрной простынёй. Вдоль одной стены на жёстких стульях, как приговорённые к расстрелу, сидели мальчики, вдоль другой — девочки с потерянными, накрашенными лицами, похожими на отражавшиеся в зеркалах у них за спинами полотна маслом, друг на друга ряды не глядели, поскольку все смотрели на меня. — Вот и последний, — громко сказала Свае. — Наконец-то. Как тебя зовут? — Я не заметил ни одного знакомого лица. Поклонился и представился. — Нильсен, — сказал я громко. От стула к стулу покатилась волна смеха, но резко стихла, едва Свае подняла руку. — Нильсен, садись. И больше никогда не опаздывай. — Она начала мне нравиться. Она не спросила, как меня зовут по имени. А запросто обратилась «Нильсен». — Так точно, Свае, — ответил я и сел на единственный свободный стул у самого выхода. Свае вышла на середину зала

и набрала полную грудь воздуха. Было ясно, что она приготовилась произнести речь, против этого я ничего не имел. — В цивилизованном обществе, — заговорила она, — танец выражает весёлое, праздничное настроение, это форма общения, позволяющая людям, особенно молодым, заводить новые знакомства. Танец бодрит душу, укрепляет тело, у танцора развивается чувство равновесия, а также умение красиво ходить и держать спину. — Свае медленно шла вдоль ряда девочек, а мальчишки сидели, опустив головы и не решаясь поднять глаза, ибо каждому было ясно: один смешок, и тебя вытурят из школы Свае окончательно и бесповоротно. Я как раз подумывал захохотать в голос и покончить с этим делом одним махом, но, опередив меня, Свае резко повернулась к нам: она вытянула указательный палец и взметнула его над головой, как крюк, словно услышав не сорвавшийся с губ смех и готовая нанизать на этот крюк наши бренные тела. Речь её гремела теперь оглушительно громко. — Но притягательность танца таит в себе опасности! Я говорю о безрассудности. Усвойте себе следующее: бал должен начинаться и заканчиваться медленными танцами. Между приёмом пищи и танцами должно пройти не менее часа.

После напряжённого танца самым разумным будет походить спокойно, пока не уймётся сердце и не вернётся нормальный цвет лица. Если вы разгорячены танцем, не подходите к окну и не стойте на сквозняке, а лучше накиньте что-то сверху, особенно если платье с вырезом. — Теперь она обернулась к девочкам и осмотрела платья. Некоторые попытались спрятать голые плечи, вдруг показавшиеся тонкими и прозрачными, как острые маленькие крылышки. Я раньше не думал, что танцы сопряжены с опасностями. Болетта ничего не говорила об этом. Свае продолжала наступление. — Идеальны лёгкие платья, не стягивающие горло, но не страшно, я повторяю, *не страшно,* если платье имеет и такое декольте, которое, к сожалению, стало теперь нормой. — Свае выждала несколько минут, чтобы смысл её слов дошёл до слушателей. Он дошёл, девчонки задрожали, и Свае вышла на середину зала. — Должна вам сказать, и это я подчёркиваю особо, что чем дольше за полночь вы танцуете, тем больше портите удовольствие. Запомните: есть граница, роковая черта, после которой танец превращается в свою полнейшую противоположность и ничего, кроме вреда, не приносит. — Мы были уже на грани нервного срыва. Свае ударила

в ладоши. Звук был такой, будто захлопнули каменные скрижали. — Но это всё вы знали и раньше. А теперь мальчики встанут, спокойно, с достоинством найдут себе пару, и мы приступим к простейшим движениям и захватам. Прошу вас! — Ну вот, битва сейчас грянет. Это был момент истины, мерзостное мгновение, прошедшее в полном безмолвии, девчонки опустили глаза долу, мальчишки изготовились и застыли в поту и ужасе, в холоде воздушных замков, внезапно обернувшихся кошмарами. Мир ждал. Я собрал в кулак все силы и мысли для последнего и решающего подвига непослушания. Вот мальчишки вскочили и бросились через зал. Некоторые нацелились на одних и тех же девочек, и эти самые хорошенькие, самые красивые наслаждались каждым мигом баталии, улыбались, когда перед их стулом завязывалась потасовка, но Свае безжалостно пресекала драки в зародыше. Скоро почти все нашли себе пары. Мальчиков было меньше, и девочки, которых не пригласили, остались неприкаянно и одиноко сидеть на своих стульях, гадкие утята, что не вышли лицом, толстухи, дурнушки и дурынды, они наклонили головы ещё ниже, сгорая от стыда и отчаяния, они поправляли платья, будто это могло помочь,

но помочь им не могло уже ничто, они мозолили всем глаза, зияли, как открытые раны, как трупы на поле боя, первые жертвы кровавой мясорубки танцевальной школы. Я узнал в них себя.

Тут я увидел мальчика, который медленно лавировал между парами в направлении одной из лишних девочек. Вид у него был целеустремлённый, хотя двигался он с ленцой, может, так казалось, поскольку этот увалень шаркал ногами, не желая хоть чуть-чуть приподнять их. На нём был мятый блейзер, волосы расчёсаны на пробор. А девочка, к которой он направлялся, выпрямилась, и я увидел, что и в ней есть некая миловидность неброского, ускользающего свойства, хотя, может, мне кажется так теперь, с расстояния минувших лет, облагородивших воспоминания антикварным флёром. Я так и вижу эту очаровательную, незамеченную неприглашенку, как она поднимает глаза и видит нас обоих — стоящего перед ней мальчика и меня на подходе. Но я бежал не к ней. Я пригласил на танец его, и толстый медлительный мальчик, уже собравшийся поклониться девочке, ошарашенно повернулся ко мне и прищурился. — Чего? — прошептал он. — Потанцуем? — повторил я, обхватил его и потянул к парам. — Отстань, —

завопил он. — Ещё чего! — Цепко обнимая его, я протанцевал пару шагов. — Отвянь, недомерок вонючий! — Он кричал. Девочка вскочила на ноги. Стало тихо, все смотрели на нас. И тогда я увенчал свою выходку, этот прекрасный образчик возмутительного поведения, последним блистательным штрихом. Я потянулся и поцеловал его в щёку. Он дал мне в глаз. И в ту же секунду в затылок мне упёрся крюк госпожи Свае, а в ухо, как гвоздь, вошли её слова: — Вон отсюда! Вон из школы и не смей возвращаться!

Так я познакомился с Вивиан. И с Педером. Так мы встретились.

(дерево)

Я помню ещё другую ночь. Фред присел на краешек моей кровати. Лицо безлико серело в темноте, так, пятно над коленями. — Я был у Пра, — сообщил он. Я не шелохнулся, не пикнул. Фред вгляделся в меня в темноте. Голос звучал незнакомо. И сам он был чужой, словно в комнату проник незнакомец пострашать меня. — Я был у Пра, — повторил он. Фред откинулся назад и чуть покачивался. — У Пра? Ты ходил на кладбище? Сейчас? — Фред качнул головой. Чёлка упала на глаза, он едва не рассмеялся; вдруг тёмной

прорехой мелькнул его рот, наверно, машина проехала и осветила дом фарами. — Я поговорил с ней, — сказал он. Я медленно привстал в кровати. — Поговорил? — Фред откинул чёлку и кивнул: — Рассказал ей, что остался жив. Ну что я не погиб тогда. — Я не мог вымолвить ни слова. А Фред вдруг взял меня за ногу. — Барнум, она страшно обрадовалась. Она считала, что меня тоже задавило. И сказала, что прощает меня. — Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел, что Фред белого цвета и совсем спал с лица, зато улыбается, причём такой улыбки я у него сроду не видел: от уха до уха, как малюют себе клоуны для выхода на манеж. Я засмеялся. — Не скалься, — буркнул Фред, и улыбка сбежала с его губ.

Он пригнулся ближе ко мне. Сейчас укусит, подумал я. — Тебе привет. — От кого? — Ты что, не слушаешь? От Пра, конечно. Она просила тебя не расстраиваться из-за роста. — Я тихо откинулся на подушку. Фред не уходил, сидел надо мной, как крючковатая тень. — Где ты её встретил? — спросил я. — Барнум, ты дурак? — Я только спрашиваю, где ты её встретил? — Фред снова улыбнулся, и лицо у него размякло. — На небесах, где ж ещё? — Наконец он убрался на свою кровать. Лёг и долго потом ничего не гово-

рил. Из-за этого я тоже не мог спать. — Представь, если б она никогда не узнала, что произошло? А?! — прошептал он. Я не нашёлся что ответить. Мне вспомнилась Пра, как она лежала на столе в подвале больницы, руки сложены на животе, вид умиротворённый, только веки огромные, как раковины. Продолжают ли думаться наши мысли после нашей смерти? И остаются ли наши тайны? — Почему она сказала, что прощает тебя? — Фред присел в кровати. — А ты сможешь сохранить тайну, Барнум? — Да, Фред. Смогу. — Он снова лёг. — Это наша тайна.

Я хранил её всегда.

Но, шагая тем «всё назло» вечером по Драмменсвейен и слушая негромкий вальс, доносившийся с верхнего этажа Торгового дома, я готов был выдать нашу страшную тайну первому встречному: кондуктору трамвая, присевшему на площадке покурить, таксисту, с закрытыми глазами высунувшемуся в окно, учителю музыки, появившемуся из-за угла с набитой нотной папкой, любому и каждому я готов был выложить, что Фред, мой сводный брат, побывал на небесах и разговаривал с Пра, а в обмен на донос пусть время повернёт вспять и всё, что я натворил за день, забудется, никакого поперечного поведе-

ния не станет в природе, ибо меня вдруг одолели острые и глубокие сомнения, они свербили, как дырка в голове. Я уже не помнил, как очутился на улице, пешком ли я одолел все этажи вниз или спустился на лифте. Мой триумф померк. Я добился своего, из школы танцев меня выгнали. Но какой ценой? И к чему это приведёт? Ведь в жизни как чуть шелохнулся — жди последствий, каких, не предугадаешь: цепная реакция событий, как в бессвязном сне. Но что ничего не проходит безнаказанно, я давно понял твёрдо. В глазах, в обоих, всё плыло, словно бы я смотрел сквозь кривые очки на моросящий дождь. Мне пришлось опереться о столб. Если б кто-нибудь увидел меня сейчас, он мог бы принять меня за собаку, диковинной, конечно, породы, но самую настоящую, которая щёлкала, щёлкала зубами, хватала пустоту, но в конце цапнула-таки себя за хвост, а это оказалось пребольно. Скорей всего, меня попросят из школы тоже, пошлют куда подальше, да и сошлют, как не поддающегося воспитанию, в колонию для трудных подростков на Бастёй, а там запрут в чулан в подвале и станут лупить по пять раз на дню. Или насмешки отныне и всю жизнь будут преследовать меня по пятам, как тень, и куда б я ни пришёл, она уже

там: встречает меня издёвками и хихиканьем. Каждый мой шаг будет сопровождаться криками: «Извращенец!» Короче, на меня пало проклятие. Виноват в первую голову Фред, это он подучил меня поступать назло. Но и Болетта виновата тем, что записала меня на танцы. И мама — она пришла за мной в школу. И отец — он купил мне туфли Оскара Матиесена, а продал их продавец, его тоже вносим в список. Пиявкина вина в том, что она задрала на мне рубашку и выставила напоказ мамины трусы. Не забыть пастора с Майорстюен, он отказался крестить меня. Плюс Пребен, Аслак и Хомяк, избившие меня в кустах за Вельхавеном. Все они — злые. И я их ненавижу. Я чувствовал себя словесным сортиром. Слова журчали во мне и утекали в слив. Я мог бы помочиться ими на столб. Или выкакать их на мостовую.

И тут я услышал, что кто-то гонится за мной. Хочет меня поймать, надо понимать. Я тоже припустил во все лопатки. Но преследователь был тем ещё бегуном, я оторвался, и нагнать меня он не мог, а чтоб меня да не обставить, надо бегать, как черепаха. — Постой! — крикнул он. Я рискнул и остановился. Всё равно я рванул не в ту сторону, и если ещё немного углубиться в этом

направлении, попадёшь во вражеский район за Мюнкедамсвейен, а по сравнению с тамошними громилами Пребен, Аслак и Хомяк покажутся просто шоколадными мальчиками в кисейных перчатках. Остановился я аккурат под реликтовым красным буком в Гидропарке, под багряным лиственным дождём. Обернулся. Жирная тень, пыхтя, трюхала по листьям. Это был тот толстяк, которого я пригласил на танец и облобызал. Он встал передо мной. Я прикидывал, с ходу ли он съездит мне и в другой глаз тоже, но он пока ловил ртом воздух и ни на что другое был не годен. Наконец он поднял глаза. Мне померещилось, что он улыбается, но в парке стояла такая темень, что я легко мог обознаться. — Меня тоже вышибли, — сообщил он. — Тебя? За что? — За то, что я обозвал тебя вонючим недомерком. — Только я собрался перепугаться снова, как он засмеялся: — Шутка! Я сам не захотел танцевать с кем-нибудь, кроме тебя. — Он подошёл поближе: — Прости, что дал тебе в глаз. Болит? — Не очень, — ответил я. — Я не сразу просёк твою гениальность. — Гениальность? — опешил я. — Самый хитрожопый способ откосить от танцев, о котором я когда-либо слышал, — сказал он. Вдруг лицо его исказилось тревожной гримасой, и лоб сморщился, как бу-

мажка. — Ведь ты хотел, чтоб тебя исключили? Или нет? — Ясное дело, — ответил я. Лицо его снова разгладилось, и он протянул мне руку. — Как тебя зовут? Нильсен… кто? — Барнум, — выдохнул я тихо. — Барнум? Стильно! А я Педер. — И, стоя под красным буком, посыпавшим нас листьями, мы сцепили руки в пожатии. Сколько мы так простояли, не разнимая рук, не скажу, но могу поклясться, что видел, как луна наискось поднялась над городом и устроилась на небе, как апельсин в глубокой чёрной вазе. Наконец Педер выпустил мою пятерню. Я тут же сунул её в карман. — Ты где живёшь? — спросил он. — На Киркевейен, вверху, — ответил я. — Здоровско, — ответил он, — нам по пути.

Мы свернули в сторону аллеи Бюгдёй. Я поднял было каштан, но тотчас бросил его. Я ж здесь не каштаны собираю. Я был растерян и счастлив, счастлив и смущён, напуган и рад. Дело шло к тому, что я обзаведусь другом. Сперва мы молчали. Педер насвистывал мелодию из радиоконцерта по заявкам, я её не знал, однако тоже принялся свистеть за компанию. Так мы дотерпели до угла улицы Нильса Юле, но тут хором прыснули, а разом свистеть и смеяться ещё никому не удавалось. Мне пришлось восемь раз хлопнуть Педера

по спине, пока он не просмеялся и тоненьким голосом спросил: — Ну и что будем делать? — Ты о чём? — Что родителям скажем? Что тебя выперли с танцев потому, что ты полез ко мне целоваться? — У меня мгновенно пересохло во рту. Об этом я и не подумал. — По-твоему, Свае позвонит им? — Педер выпрямился и передёрнул плечами. — Может, да. А может, нет. — Он обернулся и вперился взглядом в противоположный тротуар. — Гляди-ка, — шепнул он. Это была та девочка. Наша девочка из школы танцев, самая красивая из всех неприглашённых некрасавиц. — Эй! — крикнул Педер. Она остановилась между деревьями и посмотрела на нас. Педер глянул на часы, схватил меня под локоть и потащил на ту сторону. Она ждала на лунной дорожке. Её красный плащ поблёскивал. Наверно, она зябла. И дула на пальцы, как будто держала птенчика в ладонях. — Тебя тоже выгнали с танцев? — спросил Педер. Она опустила руки. — Никто не хотел танцевать со мной. Я ушла. — Так она и сказала: «никто не хотел танцевать со мной». Педер кинул на меня быстрый заговорщицкий взгляд и с улыбкой повернулся к ней опять. — Никто? А что, ты думаешь, я собирался сделать, когда это чучело пристало ко мне? — Он притянул меня

поближе. Я поклонился. Она снова поднесла руки к лицу и чуть раздвинула губы в улыбке. — Вы серьёзно думаете, что я стала бы с вами танцевать? — Педер помолчал немного, потом пожал плечами: — Может, да. А может, нет. Ты как считаешь, Барнум? — Может, да. А может, нет, — с лёгкостью ответил я. Она сделала шаг в мою сторону. — Как-как тебе зовут? — спросила она. Я протянул ей руку, и она взяла её. — Барнум, — решительно ответил я. Она ещё подержала свою руку в моей, или я её не сразу выпустил. — А я Педер, — так же громко представился Педер. Новое рукопожатие. Наконец очередь дошла до неё. — Вивиан, — сказала она. — Может, я и согласилась бы потанцевать с вами.

Мы пошли вверх по аллее Бюгдёй, все втроём, Вивиан шла посерёдке, между мной и Педером. Не знаю, как уж вышло, но чувство было такое, будто мы знакомы с пелёнок и всю жизнь только то и делали, что гуляли втроём под каштанами в волглых сумерках, хотя друг о друге мы не знали ровным счётом ничего помимо того, что первый день в школе Свае оказался для нас и последним. — Придумал, — вдруг сказал Педер. — Будем надеяться, что Свае не станет звонить родителям. И сделаем вид, что ходим на танцы. Идёт? — Он

нагнулся, подхватил с земли каштан и сунул его в карман. — Идёт? Тогда мы сможем каждый вторник встречаться и делать что заблагорассудится.

Так и повелось. Всю осень каждый вторник мы, экипированные, как на танцы, встречались под красным буком в Гидропарке. Спрятавшись за деревом, мы смотрели, как несчастные танцоры ныряют в Торговый дом. И от души потешались над ними. Мальчишки походили на пингвинов. А девчонки на павлинов. Налюбовавшись, мы что-нибудь придумывали. Шли в кино, если было на что, обычно Педер бывал при деньгах, или спускались в туннель на Скёйене и стояли обнявшись, пока поезд грохотал у нас по головам, сидели в «Студенте» с одним молочным коктейлем на троих или слушали радио в комнате Педера. Но в тот первый вечер мы просто пошли вместе домой. На взгорке аллеи Бюгдёй Вивиан свернула в ворота у церкви Фрогнер, она сбежала от нас, не сказав ни слова, правда, обернулась в темноте подворотни, подняла руку, приложила палец к губам и была такова. Педер посмотрел на меня: — Ни черта себе. Жить попа к попе с церковью. Скучная история, однако. — Может, у неё отец пастор, — ответил я. Мы побрели дальше к Фрогнеру. — Стильно: просыпаться каждое бо-

жье воскресенье оттого, что над головой бухают в колокол, — сказал Педер. — Стильнее некуда, — поддакнул я. Педер рассмеялся: — Точно, папаша у неё пастор. Значит, мы её спасём. — Я не совсем понял его, но заранее был готов на всё. — Знамо дело, — сказал я. — А твой отец чем занимается? — спросил Педер. Я задумался. — Всем понемногу, — шепнул я. — Повезло. Мой всем сразу.

У дома, обнесённого оградой, с иллюминацией во всех комнатах, Педер притормозил. Вот как он живёт — собственный дом с садом и флагштоком. На воротах табличка *Осторожно, собака.* — У вас есть собака? — спросил я и услышал собственную глупость. — Два года как умерла. Но надпись мы оставили. — В проулок свернул автомобиль, возможно бывший прежде «воксхоллом». Колпаки на колёсах дребезжали, бампер держался на честном слове. Авто, оставлявшее за собой фейерверк искр по всей улице, вкатило в гараж у дома Педера и с грохотом стало там. Из него выкарабкался мужчина в огромной шляпе и с плоской сумкой под мышкой; утирая чумазое лицо, он двинулся к нам. — В этом гараже не повернёшься, щель да и только. Опять немножко не рассчитал, — простонал он. — Похоже, придётся ехать в ремонт. —

Привет, пап, — поздоровался Педер. Так, это его папа. Он остановился и улыбнулся нам: — Ну и как вам понравилось на танцах? — Педер неопределённо пожал плечами. — Скукотища. — Папа засмеялся и повернулся ко мне: — А вы думали?! Вот тебе на кой чёрт фокстрот? Фехтовать и то лучше. Ты кто? — Это Барнум, — ответил Педер. — Здорово, Барнум. Останешься с нами ужинать? Если, конечно, собаку не боишься. — Я поклонился и сказал «спасибо, нет». Это был бы перебор впечатлений. Я хотел домой: мне надо было отдохнуть и уложить в душе этот вечер. Я буду беречь его, тратить с умом. На прощание я схватил Педера за руку, точно боясь упустить, хотя он стоял совершенно спокойно. — Ты можешь пообедать завтра у нас, — выпалил я. — Барнум, прекрасная идея. Да, Педер? Тем более нам с мамой надо уехать. — Педер улыбнулся: — Когда приходить? — В пять! — выдохнул я и выскочил за ворота. Впервые в жизни меня пригласили на ужин, и сам я первый раз позвал товарища домой, а это ли не триумф, не апофеоз дружбы: твой кореш обедает у тебя дома. Я ликовал всю дорогу до дома, в чемпионских туфлях Матиесена я чувствовал себя чемпионом мира: я завоевал друга, я теперь кому-то приятель, мне надо было

немедленно поделиться сногсшибательной новостью, одному мне она была не по силам, у меня же плечи узкие и сердце небольшое. Но когда я ворвался домой, там никого не было, мама пошла на Северный полюс за Болеттой, а отец уехал, вечная история, всё время он что-то улаживал, не мог усидеть на месте, заедет ненадолго, кум королю или мокрая курица, покуролесит, оставит грязную рубашку и несколько купюр и ищи-свищи. На самом деле хорошо, подумалось мне, что я один в такую минуту, у меня ведь за душой ещё и обман, столь же грандиозный, как и правда. А язык пока плохо поворачивается, чтобы в объяснения пускаться. Как я скажу маме и Болетте, что я завязал с танцами, что меня выгнали, они ж наверняка заплатили Свае вперёд и деньги им вряд ли вернут? Я поставил туфли на полку в коридоре. Повесил блейзер на плечики и снял галстук. Выпил на кухне стакан молока, пошёл в ванную и погляделся в зеркало. Левый глаз по краю чуть подёрнулся словно ржавчиной. Ерунда. Я готов был плакать от радости. Да, сейчас самое дело побыть одному: я буду мусолить своё счастье, как ириску. Но, войдя в комнату, я увидел Фреда, он лежал на моей кровати, подложив под голову руки, и смотрел в потолок. — Привет, малявка, — сказал

он. Я присел на его кровать. Страшно мне не было. Наоборот, было что ему рассказать. — Я сделал, как ты советовал, — прошептал я. — Знаю, — ответил он. — Откуда? — спросил я ещё тише. — Как зовут эту тётку на танцах? — Свае, — ответил я. — Точно. Она и звонила. — У меня упало сердце. — Звонила сюда? — Фред вздохнул и снова устремил глаза в потолок. — Куда ж ещё? — Язык прилип к гортани, жёсткий и шершавый, как наждак. — Она разговаривала с мамой? — Нет. Она разговаривала со мной. Скажи, повезло, что я был дома один? — Фред замолчал. Меня жгло нетерпение. — И что Свае сказала? — Фред закрыл глаза: — Барнум, эта кровать слишком длинна для тебя. Если отрезать от неё половину, у нас будет больше места. — Ради Бога, — прошептал я. — Фред, что Свае сказала? — Он улыбнулся. — Что ты вёл себя безнравственно, Барнум. — Безнравственно? — Да, Барнум. И это ты должен объяснить мне попонятнее. — Я отвёл глаза. На столе лежала «Физиология». Возможно, он листал её. И наткнулся на формулу Барнума. — Я поцеловал девочку. — Ты поцеловал девочку? — Да, Фред. — И тебе хватило роста? — Она сидела, — ответил я и в свою очередь прикрыл глаза. Но услышал, что Фред поднялся с кровати. — Я сказал, что я твой

отец. И что я накажу тебя. — Фред засмеялся. И сел рядом со мной. Глаз открыть я не решался. — Мне бы быть твоим отцом, — сказал он. — Вместо этого говнюка, который так представляется. — Фред положил руку мне на плечо. — Мне удалось всё-таки добиться исключения, — пропищал я. Фред похлопал меня по спине и долго молчал. Мне б хотелось, чтоб он так и молчал и хлопал меня по спине. Я готов был сидеть так всю ночь. — Как же мне тебя наказать, Барнум? — Наказать? Фред, ты чего? — Он потянул на себя руку и с силой провёл ногтями мне по шее. — Как чего? Я же обещал Свае наказать тебя?! — Он отошёл к окну и встал там. Я всё ещё чувствовал его руку на своей шее. — Мама сказала, что они купили тебе туфли Матиесена. — Купили, — шепнул я. — Удобные? — Очень. — Фред засмеялся. У него дёргалась спина. — Ты знаешь, что случилось с Оскаром Матиесеном? — Он стал чемпионом мира по бегу на коньках. — Я имел в виду после этой победы. — Не знаю. А что случилось? — Он застрелил сперва свою жену. А потом себя. Чемпион мира. — Фред порывисто развернулся в мою сторону. — Я придумал, как тебя накажу. — Как? — Отныне ты не смеешь со мной финтить. — Я никогда тебя не обманываю. — Фред ухмыльнулся и покачал

головой: — Что я говорил? Опять финтишь.

(посылка)

Открыв глаза, я оказался в своей кровати, Фред ушёл, надо мной в нетерпении нависла мама. — Ну как? — спросила она. — Как всё прошло в школе танцев? — Я сел и сразу вспомнил. — Педер придёт на обед, — ответил я. — Кто? — Педер. — Мама присела на кровать. — Кто такой Педер? — И я смог ответить словами, которые никогда к себе даже не примерял: — Мой новый друг, — прошептал я. Мама странно улыбнулась и машинально потянулась потрепать мои волосы, но опомнилась. — Ты познакомился с ним вчера? — Да. Мы вместе возвращались домой. — Мама замолкла, но продолжала улыбаться во весь рот. — И ты пригласил его на обед? — Да. Друзей всегда приглашают. — Помешкав минутку, мама вскочила и хлопнула в ладоши: — Тогда займёмся столом! — Она выпорхнула из комнаты, а я лёг обратно. Было слышно, как она кричит Болетте: — Иди помогать, тютя! У нас гости к обеду! — Я лежал и вслушивался в мерное бряцанье кастрюль и сковородок, захлопали дверцы шкафов, упала на пол крышка, включился пылесос, зафырчал утюг, и чем дальше, тем больше эта суета удруча-

ла меня; что и сводило с ума от радости, и пугало, и я вдруг задумался над тем, что теперь представляется мне вещью абсолютно естественной, как снег или дождь, а тогда впервые проклюнулось во мне как предощущение, как подозрение, что нет в мире ничего идеального, всё всегда с изъяном, в счастье, радости, красоте непременно или таится подвох, или чего-то для безупречной полноты не хватает, а всеобъемлюща одна лишь бесполезная мысль о невозможности совершенства.

Мама распахнула дверь. Вид у неё был безумный. — Бог мой, ты что, не идёшь в школу? — Я бы лучше дома остался, — пролепетал я из-под одеяла. Мама откинула волосы со лба. Она была в чёрных резиновых перчатках и большом белом переднике. — Ты заболел? — Нет. Но ты же можешь написать, что заболел. — За маминой спиной возникла Болетта, она смотрела перед собой красными глазами, сжав рот гармошкой. — Да пусть побудет дома. Напишешь, что температурил. — Терпеть не могу врать, — сказала мама. Болетта присела на краешек и положила руку мне на лоб. — Это не ложь, Вера. Барнум ходил на танцы, от них в жар бросает. К тому же у него глаз заплывший. Наверно, чересчур пристально смотрел на девчонок! — Я был уже на ногах. — Я

могу сбегать в магазин! — почти прокричал я. Мама ткнула пальцем в мою сторону. — Так, если ты остаёшься, сиди дома. Приберись в комнате и не путайся под ногами! — Она скрылась в кухне, а Болетта задержалась ещё. — Мама очень рада, что к тебе придёт друг, — шепнула она. — Просто мама не умеет показывать свою радость. — И она погладила меня по загривку, где ещё не истёрлось прикосновение Фредовых ногтей. — Как тебе понравилось в школе танцев? — так же тихо спросила она. — Ничего. Здорово. — Болетта засмеялась, но чему-то своему. — Молчи, молчи. Я просто глупая старуха, меня любопытство грызёт разузнать, что проходит мимо меня. — Я взглянул на неё: — Болетта, не такая уж ты глупая. — Спасибо, Барнум, на добром слове. Ты меня успокоил.

Она потрусила догонять маму, а я взялся за уборку. Застелил кровати. Сложил все учебники в ранец а карандаши — в пенал, спрятал старые вкладыши для ботинок в нижний ящик, стёр пыль с «Медицинского справочника норвежской семьи» доктора Греве, открыл окно и проветрил. На улице светило солнце. Оно роняло тонкие тени. Время шло. Оно шло, хотя стояло на месте. Даже время несовершенно. Болетта уже возвращалась домой по Киркевейен. Она едва тянула

за собой сумку на колёсиках, туго набитую покупками. Я закрыл окно. Я нервничал и взялся наводить порядок во Фредовых вещах. Спрятал нож, сигареты и все ключи ему под подушку. Убрал в шкаф коричневые остроносые башмаки, соскрёб с кровати катышки старой жвачки и выкинул. Хотя знал, что зарвался. Что трогать вещи Фреда нельзя. Он провёл через комнату границу. Я не мог заходить за неё без разрешения. К Фреду запрет не относился. Сам он лез, куда ему вздумается. Я очень надеялся, что к обеду Фред не явится. И вместе с тем мечтал, как он придёт и сядет с нами за стол, настоящий старший брат, и пусть действительно уж просто молча сидит, как и подобает загадочным и непостижимым старшим братьям. Хотя, если нарисуется отец, лучше обойтись без Фреда, одного из них хватит за глаза. Я слышал, как мама в гостиной сервирует стол: стелит белую скатерть, ставит высокие фужеры, раскладывает кольца для салфеток, серебряные приборы, китайский сервиз — выставляет напоказ богатое фамильное прошлое, не обретшее будущего. Я помчался к маме: — А мы не можем поесть по-простому, на кухне? — На кухне? Точно, у тебя температура. — Мамочка, ну пожалуйста! Давай сделаем самый обычный

обед! — Она повернулась ко мне с тарелкой в руках, и первое мгновение не было ясно, собирается ли она грохнуть её об пол или аккуратно поставить на стол. — Барнум, что ты имеешь в виду? — Что всё должно быть как обычно. В этом весь смысл! — Мама смотрела на меня долго и пристально. — Нет, Барнум, по-моему, ты говоришь о другом, — сказала она. А затем бережно и нежно поставила тарелку на скатерть.

Отец вернулся без четверти пять, как будто у него нормальный рабочий день и мы самая нормальная семья. Он стоял в прихожей и отдышивался, сутулый, грузный, возможно, он шёл пешком от Майорстюен, если не дальше. Потом наклонился и каким-то чудом дотянулся до ботинок. Наконец выпрямился и вытаращил глаза, отфыркиваясь. В изумлении посмотрел на меня, замершего у часов в ожидании не его, а Педера. И медленно перевёл взгляд с пуговиц на моём блейзере на накрытый стол и гостиной, свечи уже были зажжены, и пламя колыхалось на сквозняке, тянувшем из углов. Лицо у отца разъехалось, невидимая улыбка растянула его так, что глаза ушли в складки кожи. — Ты смотри-ка, — присвистнул он. — Вот это дела! — Проходившая мимо нас с блюдом картошки мама стремитель-

но обернулась к нему: — У Барнума гости. Пойди приведи себя в порядок — Отцово лицо сдулось, как мячик, и снова показались глаза, он-то решил, что весь сыр-бор в его честь: как признание заслуг и нежданная награда — эдакий сюрприз. Из кухни растекались бесподобно соблазнительные запахи специй, ванили и вкусного мяса, там пошли в ход рецепты на иностранных языках, и Болетта распевала шлягеры, колдуя над кастрюлями. Отец снова сделал на лице улыбку и повернулся ко мне: — Барнум, ты завёл себе подружку? Уже? — Педер придёт, — ответил я. Отец подошёл к горке и смешал себе в самом тонком бокале виски с содовой. Не суетясь выпил в три глотка и сказал: — Ну вот я и в порядке.

Пять часов. Педера нет. Мама накрыла картошку полотенцем. Болетта подогревала кастрюльки. Отец намешал себе ещё стакан виски с содовой и теперь сидел, качая головой. Взгляд его упал на мои туфли. — А что ты не в новых? — Спасибо, не хочу. — Всё-таки оказались неудобными? — спросил он. — *Я не люблю донашивать туфли за покойниками!* — Слова сами выскочили из меня, я и подумать не успел. Я не люблю донашивать туфли за покойниками. Отец поморгал глазами, допил виски и топнул ногой. — К столу! — крик-

нул он. Мы сели. Отец закрепил салфетку между двумя верхними пуговицами и собрался взять еды, но мама накрыла его руку ладонью. — Подождём, — сказала она тихо. Отец убрал руки на колени, огляделся в нетерпении и узрел меня. — Как зовут мальчика? — Педер, — ответил я. — А фамилия? — Он не придёт, подумал я. А согласился из одолжения, чтоб не ссориться, тем более отец стоял рядом и слушал, может, пожалел меня, недомерка, но сам и не думал приходить. Меня выгнали из школы танцев в туфлях покойника и бросили в одиночестве, такие дела. — Педер, — повторил я. — Педер. — Болетта наклонилась в мою сторону: — Да придёт он, придёт. — И в эту секунду пришёл Фред. Он дёрнул головой, убирая чёлку, и подошёл ближе. Хоть он улыбался, но губы были как спички. — Кто умер? — спросил он и сел на последнее свободное место. — Здесь занято, — ответил отец. — И никто не умер. — Теперь место занято. А покойник ты, — ответил Фред, наложил полную тарелку и принялся за еду. — Могли меня не ждать, — добавил он, передавая блюдо Болетте, которая только головой покачала. — Должен прийти друг Барнума, — быстро сказала мама. — Друг? Барнума? — переспросил Фред и уставился на меня. Мама накрыла его

руку своей. — Я не рассчитывала, что ты придёшь обедать. — Отец захохотал: — Да кто ж на это рассчитывает? На то, что Фред придёт к обеду? — Болетта уже поставила ещё прибор и тарелку между мной и мамой и пододвинула стул. Фред буравил отца взглядом: — На тебя вообще никто не рассчитывает, квашня. — У отца дрожали руки. — Я давно пришёл, — ответил он. — А говорить с полным ртом не стоит. — Фред тщательно прожевал пищу, а потом повернулся ко мне. Я изо всех сил надеялся, что Педер не придёт. Что он сболтнул это из жалости и не придёт. — Ну и где он? — спросил Фред, — Приятель твой? — Сейчас придёт, — ответила Болетта и налила себе вина. Отец забрал у неё бутылку и тоже наполнил свой бокал до краёв. — Наверно, трамвая долго нет, — шепнул я. — Да, конечно, — пропела мама. — Сейчас придёт, вот увидишь. — Фред хмыкнул. Отец поднял бокал. — Во всём мире опоздавших на представление ждут четверть часа — и ни секундой больше. Сейчас ровно пять пятнадцать! — Он наполнил тарелку до краёв и едва собрался отправить первый кусок в рот, как в дверь позвонили. В гостиной стало тихо, даже Фред будто застыл на месте. Раздался второй звонок, я сорвался с места, чуть не

опрокинув стул, ринулся в прихожую и открыл дверь. Вошёл Педер. Он едва дышал. — Конец Киркевейен, — простонал он. — Лучше сразу застрелиться. — Крутой подъём, — сказал я. — И ты номер дома не сказал. — Педер рассмеялся. Я подхватил. — А как же ты нашёл? — Спросил, где живёт Барнум Нильсен. — Мы повернулись лицом к гостиной. Там сидела моя семья. Все сияли улыбками. Отец ссыпал ужин обратно на блюдо, и даже Фред улыбался. В отблесках свечей и бокалов они выглядели такими счастливыми, как будто были не иначе как счастливы. Я попробовал взглянуть на них глазами Педера. Человека, узревшего их впервые в жизни. И вот что я увидел: отец, слезая с необычно высокого стула, успевает ещё провести рукой по гладким волосам, прежде чем приветить дорогого гостя. Болетта отставляет бутылку, чтоб не загораживала обзор, ни дать ни взять седая улыбчивая бабушка в кругу большой семьи. Мама встаёт и кажется вдруг слишком молодой для матери, она разводит руки, словно намереваясь обнять и притянуть к себе Педера, и только Фред продолжает есть, независимый старший брат, который не отвлекается на мелочи. Нормальная семья. — Ого, — шепнул Педер.

Сперва он поздоровался с отцом, который не отпустил его так просто. — Педер Миил, — сказал Педер и поклонился. — Миил? С одной «и» или с двумя? — С двумя, — сказал Педер. — Миил. — Затем он обошёл стол, поздоровался со всеми, даже Фред откликнулся, и мы наконец расселись. — Спасибо за приглашение прийти, — сказал Педер. Мама с Болеттой переглянулись. Такого приличного мальчика они сроду не видали. — Хотя ты опоздал, — сказал Фред. — Какие пустяки, — заулыбалась мама, Болетта передала ему блюдо, а отец до краёв налил сока в его стакан. — Дорогой гость всегда вовремя, как говорили у нас в Америке, — сказал отец. — Тем более уместны эти слова на родине! — Педер кивнул и положил себе мяса. — Готов поклясться, Барнум не сказал, где он живёт, — сказал Фред. Педер передал ему блюдо. — К сожалению, трамвая долго не было, — посетовал он. Фред смерил его проницательным взглядом: — Кстати, к Барнуму в гости никто не ходит. Ты первый. — Педер повернулся ко мне: — Выходит, я пришёл очень вовремя, хоть и с опозданием. — Все засмеялись, исключая Фреда и, кажется, меня. Стало тихо. Все жевали. Вот бы всегда так. Чтоб мы сидели, ели отварную свинину, обменивались друже-

любными взглядами, цедили понемножку из бокалов, роняли изредка фразу о погоде, если без разговоров уж никак нельзя. Всё шло расчудесно. — Чем занимается твой отец? — спросил мой отец. — Марками, — ответил Педер. Снова стало тихо. Отец подцепил зубочистку и сунул её в рот. — Марками? — выговорил он наконец — Ну да. Он их продаёт. Но сперва покупает. — И на это можно прожить? — спросил Фред. — Одну марку Маврикия отец в прошлом году продал за 21 734 кроны. — Отец помахал у Фреда перед носом своей зубочисткой, как игрушечной указкой. — Это называется «филателист». Если тебе неизвестно, запомни — *филателист!* — Отец убрал зубочистку в карман и снова принялся за еду. — Я вижу, ты рассматриваешь мои обрубки, — вдруг сказал он. Тогда только я обратил внимание, что отец без перчатки, мы-то уже привыкли к его серого цвета отбивной. — Я не нарочно, — прошептал Педер. Отец поднял руку. — Ничего страшного, Педер. Мои драгоценные пальцы остались в Финнмарке, я там после войны мины обезвреживал. — Фред зевнул. — Видишь ли, немцы, конечно, большие аккуратисты в военном деле. Но и хитрованы тоже. Одну мину они нежданно положили вкось, и я на неё напоролся. Вот тебе

почти полная история моей правой руки. — А вы и в Америке были? — поинтересовался Педер. Тут он отцу вмастил. Отец готов был встать и разразиться длинной речью, но ограничился тем, что отложил нож с вилкой и переспросил: — Ты спрашиваешь, бывал ли я в Америке? Это моя вторая родина, Педер. Осмелюсь сказать, меня там лучше знают, чем здесь. — Я не чаял, когда наконец разрешат встать из-за стола. Взял блюдо, подвинул Болетте. — Ну как, мальчики, понравилось вам у Свае? — спросила она вдруг. Педер быстро оглянулся на меня. — Да так, — сказал я. — Она в основном говорила, — добавил Педер. Болетта отложила прибор. — Говорила? Да кто ж разговаривает в танцевальной школе? Там танцуют! — Она сказала, что мы должны менять исподнее, если вспотеем во время танца, — уточнил Педер. Как же мы хохотали! Даже Фред. А отцу пришлось встать и постоять, а потом и походить вокруг стола, чтоб унять смех. Вечер имел все шансы пройти хорошо. Наконец, отец вернулся за стол. — В Америке мы танцевали сутками напролёт! И уж потели так потели, доложу я вам. — Арнольд, — одёрнула мама, но отца понесло. — Выигрывал тот, кто продержится дольше всех. Когда там было думать о

потных подштанниках?! — Всё это время Фред не сводил с меня глаз. — Как зовут эту бабу на танцах? — спросил он вдруг. — Следи за своей речью, — сказал отец. — Сам следи, — огрызнулся Фред. — Свае, — прошептал я. Фред повернулся к маме: — Она звонила вчера. — Педер пригнул голову. Я уставился в никуда. Зажмурился. Было темно. — Звонила? Зачем? — Фред не спеша разминал вилкой картофелину. — Она сказала, что в следующий четверг начало в половине шестого. Не в шесть, а в половину.

Я открыл глаза. Фред улыбался. И тут раздался звонок в дверь. На лице его отразилось лишь мне видное беспокойство. Он взглянул на меня: — У тебя теперь толпы друзей, Барнум? — Я покачал головой. Позвонили ещё раз. Долго и требовательно. Мама побежала открывать. В дверях стоял домоуправ Банг. Он прошагал мимо неё, держа в вытянутой руке посылку. — Это слишком! — крикнул он и швырнул посылку в центр стола. — Я получил это сегодня по почте! — За Бангом семенила мама. Отец вскочил, уронив стул. — Что это? — Откройте и посмотрите! — Банг почти перешёл на ор. Он как с цепи сорвался. Я узнал посылку. Отец разорвал бумагу и отпрянул. Внутри лежала моя пижама. И смердела нещадно.

Мама закрыла лицо руками. — Бог мой, — только и простонала она. Болетта со своим стаканом переместилась на кухню. Педер сидел, как мышка. Я смотрел на Фреда. Что он отчебучил? — Я не желаю мириться с таким свинством, — бушевал Банг. — Не желаю, и всё! — И он топнул своей хромой ногой. — Чья пижама? — спросил отец на диво вкрадчиво. — Моя, — шепнул я. Отец отвесил мне оплеуху. Мама вскрикнула. Я чуть не слетел со стула. Потом отец обежал стол, встал за Фредом и положил изуродованную руку ему на плечо. — А ты что скажешь? — Ничего. — Ничего? Ты к этому свинству не имеешь никакого отношения? — Никакого. Барнум обосрался, и я выкинул его пижаму в помойку. — Отец давил Фреду на шею культяпкой пальца. — И оттуда пижама сама собой пришлёпала к господину Бангу? — Не знаю, — ответил Фред. — И уберите отсюда это говно. Я ем. — Тут Банг перевернул посылку, на ней корявыми пляшущими буквами были выведены его имя и адрес. — Не отвертишься, шельмец! Даже не сумел правильно написать моё имя! — Банг постучал ногтем по посылке, чуть не прорвав бумагу. *Бнагу* написано было на ней. Фред написал *Бнаг,* домоуправ *Бнаг.* Это было равносильно тому, что подписаться полным

именем, указать адрес и приложить отпечатки пальцев. И я увидел, как Фред втянул голову, красный, взбешённый, а отец хлещет его по затылку, раз, другой, третий, пока мама не повисла на нём и не остановила. Отец отпихнул её. — Проси прощения! — прошипел он. — Немедленно проси прощения, идиот! — Фред сидел. Лицо было залито чем-то. Слезами, кровью, слюной, не знаю. Наконец он встал, медленно и с улыбочкой. Страшнее этой улыбки я не видел никогда и ничего. Он вытянулся перед Бантом. — Извиняюсь. Я думал, вы у нас тут пижамы стираете, *Бнаг.* — Отец дёрнулся врезать ему ещё, но Фред перехватил руку, подержал несколько мгновений, с той же улыбочкой озираясь вокруг глазами, истекавшими маслом. Это пахло жареным. Наконец он отпустил отцову руку и ушёл в нашу комнату. Никто ничего не сказал, но аппетит както пропал. Моя пижама красовалась на столе как зловонный десерт. Маму била такая дрожь, что она сочла за благо сесть. Отец обнял Банга, увлёк его в угол, достал сигары и предложил выбрать, какие пожелает. Я вдруг испугался, *что* скажет Фред, когда обнаружит, что я трогал его вещи. Но из нашей комнаты не доносилась ни звука.

Внезапно мама вскочила, скомкала посылку,

кинула её в камин и запалила огонь. Я пошёл проводить Педера. Он молчал всю Киркевейен. Всё пропало. Стало даже хуже, чем было. Я задыхался от стыда при одной мысли об этом — моя пижама, посреди стола, народу на потеху. Убью всех, кто проболтается и кто прознает. Педера вот тоже. Я шёл на три шага позади него. Конец всему. Я почти плакал. Когда мы дошли до Майорстюен, он остановился, повернулся ко мне и улыбнулся. — В другой раз лучше ты приходи к нам обедать, — сказал Педер.

(ню)

Посреди Педеровой гостиной стоял голый мужик. Он стоял неподвижно, скрестив руки на груди, то ли целиком уйдя в напряжённые размышления, то ли впав в прострацию. Кожа золотистая и гладкая, мускулы обрисованы рельефно, жёстко, ниже глянуть я не решился. Повторюсь: он торчал посреди гостиной Педера, в чём мама родила. Брат, подумал я сперва, но, во-первых, такового у Педера не было, во-вторых, мужику было самое малое лет тридцать, так что братом он быть не мог. — Тсс, — шепнул Педер и дёрнул меня за локоть раньше, чем я успел открыть рот. Мы стояли в прихожей за вешалкой, погребённой

под шарфами, пальто и шляпами. — Мама работает, — сказал он ещё тише. И тогда я увидел её. Она сидела в глубоком кресле у окна с задёрнутыми шторами и рисовала. Время от времени она поднимала глаза, прищуривалась и вытягивала перед собой карандаш, точно мерила высоту потолка. А потом снова склонялась над бумагой. Кресло, в котором она сидела, было необычным. С колёсами. Инвалидная коляска. За всё это время голый не шелохнулся ни разу. Я перестал дышать. Он вёл себя как неживой, представляете: мёртвый, красивый и стоит на своих ногах. Педер ткнулся носом мне в ухо. — По-моему, матушка в него влюбилась. Она угробила три месяца только на его рожу. — Педер хихикнул, и она обратила на нас внимание. — Привет, ребята! — крикнула она, сунула карандаш в рот и подъехала к нам. Протянула мне руку, я пожал её. Мама была укутана большим пледом, скрывавшим её почти полностью. Но волосы, красно-рыжие, как медь, оставались на свободе, я живо помню, как они всегда отсвечивали и переливались, будто на голове у неё неизменно сияла мягкая корона. — Ты, наверно, Барнум, — сказала она. Я кивнул. — А ты успела забыть, что он обедает с нами, — ответил Педер и вынул карандаш у неё изо рта. — А

вот и не забыла, — засмеялась она. — Чем-нибудь да перекусим. Взгляни-ка, Барнум. — Она протянула мне рисунок. — Он ещё не готов, но как он тебе? — Быстрые, тонкие линии мне понравились. Если закрыть один глаз, рисунок вдруг менялся, словно линии поворачивались в другую сторону и складывались в совсем иную картинку. Но *что* она рисовала, было вполне очевидно. Лицо похожестью не отличалось, зато к остальному не придерёшься. Педер вздохнул: — Не мучай Барнума. — Мама вздохнула тоже: — Педер, я его не мучаю, я спрашиваю, как ему рисунок. — Мне кажется, он готов, — сказал я. Она удивлённо подняла на меня глаза (коляска была совсем низкой). — Готов? Да я едва начала! — Всё равно готов, по-моему, — прошептал я. Мама Педера уставилась на рисунок и долго рассматривала его, качая головой. Я стал бояться, что сморозил глупость и обидел её. — Простите, — сказал я. Мама снова посмотрела на меня: — А вот ты и прав, Барнум. Возможно, рисунок и в самом деле готов. — Она обернулась к голому человеку, по-прежнему стоявшему в той же позе. — Алан, мы закончили. Но иди, поздоровайся с Барнумом перед уходом. — Алан отлепился от пола, как будто он был приморожен к месту, а

теперь по маминому велению отклеился. Вразвалочку подошёл к нам и вскользь коснулся моей руки. Я поклонился, глубоко, но торопливо и побыстрей поднял голову. Впервые в жизни я здоровался с голым человеком. Педер отвернулся и насвистывал, а потом потянул меня за собой через гостиную на второй этаж. Двигались мы не быстро, так как приходилось прокладывать путь сквозь завалы недописанных холстов, штабелей книг, газет, чемоданов и одёжных вешалок. Однако в самой комнате Педера всё выглядело иначе. Я замер в дверях. И подумал, что нельзя стать закадычными приятелями, пока не побываешь в комнатах друг друга, а Педер мою так и не увидел пока, тем более она не только моя, но и Фредова, наша общая комната, разделённая чертой на полу, за которую нельзя соваться. Педер рухнул на кровать и застонал: — Бляха-муха. Спасибо, что назвал рисунок готовым. А то бы это никогда не кончилось! — На стене над письменным столом висела огромная карта, а рядом четверо часов, и на всех разное время. На первых было без четверти пять. А на вторых аж без четверти восемь. — Какие правильные? — спросил я. — Все, — с хохотом ответил Педер. — Ложись рядом, недомерок. — Я лёг. Кровать была широкая. Педер

махнул рукой на часы. — Первые показывают время в Осло, в районе Фрогнера. Вторые — в Рио-де-Жанейро. Третьи — в Нью-Йорке, а четвёртые — в Токио. — Ловко, — оценил я. — Да, — согласился Педер. — Если позвонят из Нью-Йорка, я сразу увижу, который у них час. — А тебе звонят из Нью-Йорка? — удивился я. — Ни разу не звонили, — ответил Педер и снова засмеялся. — Всё равно удобно знать, — сказал я. Мы полежали молча. Странно. Странно, чтобы время так разнилось, что в Рио народ уже возвращается домой после школы, а остальные плетутся на много часов позади и где-нибудь в Токио едва приступили к первому уроку. Кто-то обгоняет, кто-то догоняет. Довольно несправедливо, на самом деле. И что происходит, когда человек прилетает в Нью-Йорк из Осло? Становится ли он внезапно восемью часами старше или, наоборот, моложе? Голову сломать можно. А если обогнуть земной шар и вернуться домой, тогда что, время отмотается назад и все почти твои поступки и проступки окажутся ещё не совершёнными? Так что ты сможешь прожить это время наново, с чистого листа, второй раз совершая свои красивые поступки, но в более безупречной форме, и не делая того, о чём сожалеешь теперь? — Спишь? — спросил

Педер. — Думаю. — О чём? — О времени. — Его просто выдумали люди. Как деньги. — Мы услышали шаги в саду и кинулись к окну. Это уходил тот голый мужик, Алан. По счастью, он был одет. В длинное пальто и чёрный шарф, обмотанный вокруг его шеи никак не менее восемнадцати раз. На улице он оглянулся и помахал: чуть приподнял руку, растопырил пальцы, и хорош. Махал он не нам. — А чем страдает твоя мама? — спросил я. Педер ответил не раньше, чем человек по имени Алан пропал из виду, за это время я успел сто раз пожалеть о своём вопросе, менее всего я хотел исковеркать да испортить всё теперь, когда меня допустили к Педеру в комнату. — Она разве страдает? — Я сглотнул. — Она не встает с коляски, — прошептал я. — Может, ей нравится сидеть, — пожал плечами Педер. — Ты прав, — сказал я. Педер опустил плечи. Мне бы следовало сменить тему, но я не стал. Мы молча постояли, глядя в окно. Время тикало в Нью-Йорке, Токио и Рио-де-Жанейро. Но в районе Фрогнер оно замерло на месте. Впечатление было такое, будто мы тоже стали натурщиками и стоим столбом, пока нас рисуют, причём не знаем ни кто этим занимается, ни когда он закончит своё рисование. Наконец Педер заговорил: — Ты знаешь, сколько хуев на-

ваял Густав Вигеланд в своём парке? — спросил он. — Хуев? — Да. Членов. — Нет, — промямлил я. — Сто двадцать один, — ответил Педер. — А откуда ты знаешь? — Сосчитал. Плюс сам «Монолит», итого сто двадцать два. — Плюс сто двадцать третий там, в гостиной. — Золотые слова, бляха-муха. Только одно в жизни ещё хуже, чем жить рядом с парком Фрогнер. — Что? — Жить впритирку к церкви, как Вивиан. Только представь себе весь этот гомон по воскресеньям. — Или на Рождество, — поддакнул я. — Страшное дело. — Педер посмотрел на меня. — Говорят, у её матери есть потайная дверца из спальни прямо в церковь. — Кто говорит? — Педер пожал плечами: — Люди. Наверняка враки. — Тут вернулся папа. Его приближение было слышно за полгорода. Ржавый «воксхолл» ревел не хуже разбомблённого локомотива, и последние перепуганные птицы вспорхнули с черёмухи в глубине сада, ещё когда папа только огибал Соллипласс. Примерно полчаса спустя машина наконец заехала задом в гараж, нет, заехала — это преувеличение, машина ломанулась в гараж, словно папа не умел пользоваться педалями и крутил их, как велосипедные, или как будто мотор барахлил, хотя, наверно, дело было и в том, и в другом. — Папа учился на

права три года и пять месяцев. Двести восемь уроков вождения. Вышло только немногим дороже машины. — Из гаража донёсся звук удара. Потом показался папа со шляпой в руке и папкой под мышкой, он улыбался нам как ни в чём не бывало. Педер распахнул окно. — Привет! — завопил папа. — Как поживают короли танца? — Сколько раз тебя тормознули сегодня? — крикнул в ответ Педер. Папа загоготал и показал на меня: — Барнум, ты любишь кровяной пудинг с луком? — Я не успел ответить, но он заметил, наверно, что я изменился в лице. — Вот и я не люблю, Барнум! — С этим криком он исчез в доме, а мы скатились вниз в столовую, где уже был накрыт стол и пахло отнюдь не кровяным пудингом с луком, а чем-то мне неведомым, но не ставшим по этой причине менее аппетитным, и вскоре прикатила, везя гигантское блюдо, мама, и тут же появился папа, он наклонился и поцеловал маму долгим поцелуем, после чего мы смогли наконец сесть к столу. Меня не отпускала мысль, что мы едим в комнате, где только что стоял совершенно голый мужчина. Еду первым под пристальным взглядом папы пришлось брать мне. — Кушай, кушай, это не смертельно, — сказал он. — Не мучай Барнума, — вступился Педер. — Я не мучаю, просто говорю,

что еда не последняя и её действительно можно есть. — Я положил на тарелку полупрозрачный ломтик мяса и передал блюдо Педеру, тут же сообразив, что, как в трамвае, где надо уступать место старикам и инвалидам, так и теперь мне следовало начать с мамы, и немедленно душа ухнула в пятки от самого страшного опасения: сюда меня больше не позовут, на порог не пустят, я опять всё испортил, но исправлять что-нибудь было уже поздно, Педер обстоятельно перегрузил к себе две несиротские порции и залил их соусом до краёв тарелки. Но сразу меня не выгнали. Вооружившись ножом, вилкой и салфеткой, Педер обернулся ко мне. — Утка! — сообщил он. — Из парка Фрогнер! — Прекрати! — засмеялась мама и пульнула в него салфеткой, а папа проявил ловкость и успел спасти блюдо с остатками еды. Но Педер не унимался. — Честное слово, Барнум. Матушка охотится на уток. Сперва она их прикармливает, а потом скручивает им головы. Вкусно? — Не слушай ты его, — увещевала мама и не скупясь подливала мне в стакан яблочный сок. — Точно-точно, — вступил папа. — Наша мама всю еду добывает во Фрогнере. В пруду — рыбу, в фонтане — лебедей. — Не ври! — А зимой кроликов. Барнум, тебе известно, что в парке

водятся кролики? — Не слушай их! — задыхалась от хохота мама. — Раньше она охотилась вместе с собакой. Та тащила коляску, ну, как санки. — И так они перешучивались ещё долго, пока не выдохлись. Педер поглощал пищи примерно вдвое больше нас троих, вместе взятых, но с той же скоростью. Ближе к десерту повисла тишина, сонная, сытая, ленивая. Мы смотрели друг на друга и улыбались. Я едва верил своему счастью. Я дома у Педера, мы вместе ужинаем. Я побывал в его комнате. Лежал с ним рядышком на его кровати. И Фреду нет сюда хода. Это — моё, только моё, *личное.*

Папа погладил мамины пышные медные волосы. — Порисовала сегодня? — спросил он. Она кивнула и переложила его руку на грудь. — Барнум говорит, работа готова, — сказала она. Папа повернулся ко мне в большом удивлении: — А ты в этом петришь, Барнум? — Педер встал и ответил, опередив меня, что было наверняка лучше всего: — Если Барнум сказал «готова», так тому и быть. Вы всё? — Мы кивнули, Педер унёс посуду на кухню и надолго задержался там. Хоть мне хотелось пойти с ним, я остался за столом, потому что выйти мне никто не разрешал, а показаться наглым, невоспитанным неучем мне не хотелось.

Мне хотелось расположить их к себе, чтоб им понравилось во мне всё. Папа раскурил трубку, и над столом повисло облако. — Барнум, — сказал он. — Да, — ответил я. — Барнум, — повторил он. — Да, — снова сказал я и подумал, что теперь он всё портит, раз он собрался шутки ради поиздеваться над моим именем, как все вечно делают. — Барнум, — в третий раз повторил он. — У меня есть марка с Барнумом. Очень редкая американская марка. — Тут Педер принёс десерт. — А это улов с собачьей площадки, — заявил он. — Угощайтесь: уши пуделя в сливках! — Уши оказались персиками, но я едва клевал их, погружённый в мысли о марке, марке с Барнумом, можно сказать, моей именной марке, и когда я разбогатею, я смогу скупить их все, сколько осталось, и разослать открытки с такой маркой тем, кто изводил меня моим именем, особенно пастору, этому причитается толстая пачка открыток, я его завалю такими приветами от Барнума, он только и будет знать, что бегать к почтовому ящику. — Барнум, ешь давай. Пока Педер всё не слопал, — сказала мама. Я взял ещё одно ухо, а папа пыхнул, заново раскуривая трубку, и выдул новое облако. — Сегодня в магазин приходила старушка, — сказал он, — предлагала марку. Я

спросил, сколько она за неё хочет. Оказалось, пятьдесят крон. А ей цена самое малое восемьсот. — Отцу пришлось зажечь новую спичку, и его едва было видно в дыму. Педер потерял терпение. — Значит, ты заработал семьсот пятьдесят крон? — сказал он. Папа покачал головой: — Нет, так я не могу. Стариков обманывать. — Педер дёрнулся, как будто хотел вскочить с места, но он так налопался, что не получилось. — Кто обманывает? — закричал он. — Она сама назвала цену! — Но она же не разбирается в марках, Педер. — И сколько ты ей дал? — прошептал Педер. — Сколько марка, по моему разумению, стоит, столько и дал. Восемьсот крон. — Педер закрыл лицо руками и застонал. — Я надеюсь перепродать её одному шведу почти за девять сотен, — сказал папа и повернулся к маме. — Всё-таки сотня выручки. — Она погладила его руку. — Ты слишком великодушен, — сказала она. — Он слишком глуп! — выкрикнул Педер. Папа отложил трубку и взглянул на меня со странной улыбкой: — Барнум, я не великодушен и не глуп. А просто порядочен.

Педер пошёл проводить меня. Ему надо было подышать воздухом. Мама тоже захотела с нами. Мы перевезли её через Киркевейен и свернули

на дорожку вокруг слитого бассейна с вышкой, похожей на белую тень на фоне чёрного неба, на котором в недвижном кольце холода круглела полная луна. Скоро ляжет снег. Педер укрыл маму своим шарфом. А я нежданно сказал загадочную фразу: — Вы под стать снегу, — сказал я. Мама откинулась назад и взглянула на меня, запрокинув голову. Я думал, она посмеётся надо мной, но она лишь улыбнулась удивлённо: — Спасибо, Барнум. Красиво сказано. — Я был счастлив, что не пришлось ничего объяснять. Потому что смысла этих слов я и сам точно не понимал. Я лишь увидел, не мудрствуя, что она сочетается со снегом. Её волосы. Медь и снег. — Спасибо, — повторила она. Педер положил руку мне на плечо.

Дальше по Киркевейен я шёл один. Едва переставляя ноги, чтобы как можно больше растянуть этот вечер. У киоска Эстер я вроде бы заметил тень Фреда, нырнувшего в подъезд, и замер на месте не дыша. А это просто луна меня напугала. Но я всё равно постоял так, прячась за деревом, пока опасность не миновала. Шершавый ствол холодил щёку. Страха во мне не было.

Когда я вернулся домой, мама уже легла. Отцовы пальто и чемодан отсутствовали, значит, он уехал по делам. Фреда в комнате не оказалось

— шатается где-то, Болетта на Северном полюсе, понятное дело. Я открыл дверь на балкон и стал смотреть на луну. Круглее, чем сегодняшний шар в скорлупе из ветра и холода, она ещё не бывала сроду. И её сейчас видят и на Рёсте, и в Гренландии, может, и в самом Рио-де-Жанейро, если хорошенько присмотрятся. Болетта рассказывала как-то о лунной болезни, это когда свет полной луны, словно сварка, спаивает воедино в сознании человека реальность и фантазии, они обретают железную мощь и превращают людей в сомнамбул. Кстати, в войне мы победили благодаря тому, что лунная болезнь временно исчезла, поскольку на окнах висело затемнение и выходить ночью из дому запрещалось. Может, лунная болезнь и есть то самое, что *находит* на Болетту и гонит её на Северный полюс, а сходит с неё этот недуг не раньше, чем солнце задвинет луну и законопатит все щели в железном чреве темноты. Я закрыл дверь, задёрнул занавески и прокрался к маме. И забрался к ней в кровать, хотя знал, что вышел из возраста, когда это позволяется. Сперва мама долго лежала молча ко мне спиной. — Что такое, Барнум? — Я счастлив, — прошептал я. Мама повернулась: — Ты счастлив? — Да. Я был у Педера. — Барнум, я очень рада. Очень-очень. — Я

закрыл глаза. — Думаешь, Фред тоже обрадуется? — Теперь и мама закрыла глаза. — Барнум, во Фреде много злости. Слишком много. А сейчас давай спать, ладно?

Но ко мне сон не шёл. Его не было ни в одном глазу. Выжидая, пока минувший день уляжется во мне, я набрал побольше воздуха и почувствовал вкус, всё ещё не выветрившийся из комнаты, вкус тёмного приторного вина, его дух ударил мне в голову, вспенил кровь, я засмеялся, мама шикнула на меня, и я, смеясь, погрузился в сон. На этом я заканчиваю воспоминание, светлое ночное воспоминание, залитое луной и «Малагой».

(лабиринт)

Педер спросил, какое у меня *реально* самое первое воспоминание о Фреде. С чего было начать? Какую картинку извлечь из толстой пачки воспоминаний, задвинутых мною в самый дальний, самый тёмный закоулок, куда я ой как нечасто отваживаюсь заглянуть? И не слиплись ли все воспоминания в кучу, не истёрлись ли в моём взгляде на прошлое зазоры между эпизодами — разделявшие их годы, так что теперь отдельные истории не имеют ни конца, ни начала, а намертво склеены в ложной последовательно-

сти, сообразно совсем иной логике, и сама эта извращённая хронология тоже есть плод воспоминаний (всегда, увы, нестерильных), как следы мальчика в лабиринте в фильме «Сияние», который мы многим позже все втроём посмотрели в кинотеатре «Сага»? Сначала меня отказывались пускать, пришлось показывать документ, подтверждающий возраст, и Педер, продолжавший хронически бояться ужасов в кино (но только в кино), на каждой кровавой сцене с убитыми близнецами хватал за руку меня, только, по-моему, в кино ничего и не боявшегося. Правильнее было бы спросить, какие у Фреда первые воспоминания обо мне. Что он подумал, когда склонился над коляской и увидел крошечного, спокойного мальчика, протягивавшего ему маленькие сжатые кулачки? Не это ли и есть наше первое, общее, воспоминание — как он трясёт коляску, желая то ли убаюкать меня, то ли напугать? Не с этого ли всё началось? Педер поднял стакан и чокнулся. — Не помнишь, значит, — заявил он. Я выпил. — Я ненавижу слово «реально». И ты это знаешь. — Хорошо, — согласился Педер. — Это слово изымаем. Какое у тебя самое первое воспоминание о Фреде? — И я подумал: конечно, не то, что я знаю с чужих слов, пусть оно врезалось мне в память и

я пересказываю эти истории другим людям как очевидец, но эти события происходили до меня или без меня, на заднем сиденье такси, на углу улицы Вергеланна, месте гибели Пра, это не мои воспоминания о Фреде, а мои начинаются вот с чего: шесть нейлоновых чулок, аромат «Малаги» и ровный голос Болетты, читающей вслух письмо от нашего прадеда, датированное как *Борт, парусного судна «Антарктика»*, 17-8-1900, и сколько бы раз они ни перечитывали письмо, до какой прозрачности ни истончилась бы от прикосновений бережно переворачивающих страницы пальцев бумага, на которой оно написано, и ни обтрепался по краям конверт, из которого они со всеми предосторожностями достают письмо, но чтение его неизменно обставляется как таинство, торжественно, словно в первый раз, и так же неизменно пресекается вдруг голос Болетты, и мы слышим тогда, как наполняются бокалы, сыплются крошки сухого печенья — это три женщины устраивают себе небольшую передышку. А мы с Фредом сидим под столом в гостиной. Вокруг шесть чулок, два с латками на коленях — это мама, Пра скинула тапки и на одной ноге большой палец вытарчивает из тонкого чулка, а Болетта отбивает ногой такт, когда читает. Фред

сидит скрючившись, зато мне места довольно, я вольготно устроился, притулясь к Фредовой тёплой спине, и мы стараемся сидеть тихо-тихо, мы не дышим, лишь бы ничего не пропустить, но вот Болетта продолжает. *Путешествие сюда прошло хорошо, мы посетили необитаемый остров Ян-Майен и два дня стояли подле него на рейде, естествоиспытатели же высадились на берег. Солнце перестало заходить за горизонт ещё прежде, чем мы достигли острова. Покинув остров, мы вскоре попали во льды и с тяжким трудом продвигались вперёд, но поскольку лёд делался всё крепче и неприступнее, то по прошествии двух суток мы повернули вспять, вышли изо льдов и двинулись курсом на север, неизменно же пробиваясь сквозь более-менее плотный лёд, но по временам, в хорошую ли погоду или завязнув, мы останавливались подле какой-нибудь льдины, дабы провести температурный расчёт, т. е. замерить температуру океана на разной глубине, равно же саму глубину, ибо у нас на борту такие навигационные лоты, что возможно промерить океан вглубь до 4 ООО морских саженей. Насколько мне помнится, самым глубоким нашим успехом были 1 600 саженей.* — Подумать только, — прошептала Пра. — Как у них духу хва-

тило! Тысяча шестьсот саженей! — Тсс, — громко шикнул Фред. Стало совсем тихо. И внезапно Болетта стала читать дальше, громко и внятно: *Я не строю опасений, что вы станете якшаться с щелкопёрами, ибо я не желаю, чтобы хоть слово из этого письма попало в газеты.* Затем скатерть уползает наверх и появляется мамино лицо, она смотрит на нас в изумлении, но я думаю, притворяется, наверняка она прекрасно знала, что мы тут сидим. — Угадайте-ка, кто здесь прячется под столом? — шепчет мама. Наступает очередь Болетты с Пра заглянуть под стол, их головы будто бы висят вверх тормашками, я пугаюсь, но Фред сохраняет серьёзность. — Дальше, — говорит он. — Ещё. — Мама вздыхает — Нет, довольно. Мальчику это вредно. — Меня она имеет в виду или Фреда? Нам вредно слушать, что дальше, или ей не нравится, что мы прячемся под столом? Как бы то ни было, чтение на этот вечер закончилось. Болетта убрала письмо в конверт, перехватила его синей резинкой, чтоб ни одна страница не выскользнула, и спрятала сокровище в нижний ящик комода. Мы выбрались из нашего убежища под столом. Но вечер ещё продолжался, потому что Пра пробило на воспоминания, как будто они теснились в ней рядами и шеренгами и ждали

своего выхода. Она взяла меня на колени, обняла, а я прижался головой к её груди и в эту секунду поймал на себе взгляд Фреда, я увидел в его глазах зависть с чем-то ещё, насмешкой, да, другого слова не подберу — зависть с насмешкой, но он не ушёл, остался в комнате и сел в углу, ибо мы знали, что ожидается. Болетта погасила лампы, задёрнула шторы и запалила стеариновые свечи. Мама взялась на кухне печь яблоки, скоро их аромат расплылся в темноте, и Пра довольно вздохнула: — Вот и сумерки опять. И что вы хотите услышать? — О письме, — шепнул я. — О письме. — Не канючь, — приказал Фред из угла. Рассказы свои Пра всегда начинала издалека, чтобы исподволь, не в лоб, перейти к собственно истории, она делала обстоятельные отступления, испытывая наше терпение и подогревая ожидания рассказами о своём родном городишке Кёге, описанном у сказочника Андерсена, и как они из хребтов вяленой рыбы делали кружки, сахарницы и молочники да лепили фигурки из тресковых жабр и наклеивали их на коробочки с детскими секретиками. Я ел печёные яблоки и клевал носом, темнота и обстоятельность Пра навевали дремоту. Но вдруг, неожиданно, она вышла на финишную прямую и приготовилась

к рывку. — И случилось так, что молоденький морячок втрескался в меня. — Я очнулся. — Втрескался? — переспросил я. Фред рыкнул, Пра хмыкнула. — Да, Барнум, а я ответила ему тем же. И мы до того втрескались друг в дружку, что треск был слышен аж в Копенгагене, на другом конце страны. — Не хвастай, — укорила Болетта. Пра отхлебнула «Малаги». — Не столь и велика Дания, чтобы слух о таком романе не облетел её всю. — Дальше, — шепнул я. — Это было в те дни, когда я была ещё молодой, в прошлом веке, — продолжила Пра. — Но счастье наше не было долгим. В июне 1900 года он нанялся на парусник «Антарктика», следовавший к берегам Гренландии. Оттуда этот моряк, Вильхельм, который доводится вам прадедом, не вернулся ко мне назад, он навсегда остался там, во льдах. — Пра замолчала. Я чувствовал, как под платьем бьётся её сердце, медленно, гулко, до дрожи в руках. Я давился слезами. — Не заканчивай на этом, — прошептал я. Пра провела рукой по моим кудрям. — Может, тут только всё и начинается, а, Барнум? Год спустя, когда уже родилась малышка Болетта, меня навестил господин из пароходства и принёс письмо, которое они нашли в куртке Вильхельма в день его исчезновения. Это оно

хранится теперь в комоде. — Пра требовалась передышка. Она молча ковыряла тёплое яблоко. Мы ждали. Где-то играла на рояле фру Арнесен, одну и ту же мелодию. — Продолжай. Ну! — шепнул я. — Не приставай! — одёрнул меня Фред. Пра заговорила снова: — Читая письмо, я слышала голос моего Вильхельма. Он пропал без вести, но он разговаривал со мной. Это было так странно! Я различала его голос в каждом слове, в поблёкших чернилах, в том, сколько сил он там, на холоде, вложил в это письмо. Но я не могла отделаться от мысли, что, надень он ту куртку на себя, глядишь, и остался бы жив. — Болетта вздохнула. — Или наоборот, даже письма бы не осталось, — сказала она. Мы задумались над таким исходом. Фред вскочил, но тут же плюхнулся обратно. И этот знаменитый духовитый запах печёных яблок в тёмной комнате. Он держал нас крепко-прекрепко. И эта кожура печёного яблока, сладкая и жёсткая на укус. Пра высморкала нос. — А потом я ушла в кино. Потому что мне твердили, что я самая смазливая барышня во всей Дании. — Я поднял на неё глаза. Её лицо висело надо мной как большая, сморщенная изюмина. — Что значит «смазливая»? — спросил я. — Красивая, — шепнула Пра. Я присмотрелся

повнимательнее. — Да они наврали тебе! — заявил я. Пра рассмеялась и отнесла меня в кровать. Фред разозлился, что его отправили спать тоже, но скандала по какой-то причине не устроил. Мы лежали в темноте без сна. — Нельзя было этого говорить, — заявил Фред. Я струхнул. — Чего нельзя было говорить? — Что они наврали. — Я не хотел, Фред. — Не хотел, а сказал. Больше никогда не говори. — Я уткнулся головой в подушку и заплакал. — Хочешь, я тебе почитаю? — пролепетал я. Фред уронил дольку яблока на пол. — Что почитаешь, малявка? — Я задумался. — Если мы добудем письмо, я могу почитать дальше. — Теперь Фред надолго задумался. — Дотрагиваться до письма нельзя никому, — вымолвил он наконец, — кроме Пра и Болетты. И мамы. — Фред снова замолчал. И мне нечего было возразить. — К тому же ты не умеешь читать. — Я сел в кровати. — Умею. — Нет, — отрезал Фред. — Правда умею. — Нет, ты слишком мал, — сказал Фред. Я снова откинулся на подушку. Я готовился разрыдаться. — А, б, в, — зашептал я. — Что ты мямлишь? — А, б, в, г, д, е, — перечислял я. Теперь поднялся Фред. — Что ты несёшь? — Он перешёл на крик. — Я читаю! Ё, ж, з, и, к, л, м, н, — скороговоркой сыпал я. — О, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч! — Фред выпрыгнул из кровати

и шагнул ко мне, я не знал, что у него на уме, но увидел сжатую в кулак руку и проворно юркнул под одеяло, в надежде, что он не отыщет меня в темноте. Дойдя до окна, Фред, неожиданно замер. И не пошёл дальше. Выждав, я рискнул выглянуть и посмотреть на него. Фред зажал обеими руками карандаш, согнулся и вёл по полу жирную черту между нашими кроватями. Каждый раз, как мама смывала черту, он рисовал её заново, пока мама не сдалась и не оставила всё как есть — комната, разделённая надвое чертой на полу. А вот принёс ли отец, Арнольд Нильсен, стиральную машину той же самой ночью или другой, я не помню. Но не суть важно. Пусть это будет та самая ночь. Итак, Фред не возвращается в кровать, а подходит к двери комнаты и прислушивается. На лестнице чудовищный трам-тарарам. Это отец тащит машину на собственном горбу. Он перебудил уже весь двор, но сегодня это ерунда. Сегодня он вправе шуметь сколько ему влезет — он осчастливил нас стиральной машиной. Мама отказывается верить собственным глазам; она вцепляется в руку Болетты, ухватившейся за Пра. Отец отфыркивается, как лось, лицо у него пунцового цвета, но он улыбается через силу. — Вот и я, — сипит он. — Дорогу! — Отец затаскивает машину в ван-

ную комнату, ставит её там, а сам забирается в ванну оттереть пот и унять выскакивающее из груди сердце, причём мама приносит ему с кухни пива, посреди ночи, прямо в ванну, с ума сойти. Под нашими немигающими взглядами он выдувает всю бутылку одним глотком. — Отныне вам не придётся гробиться с корытом и стиральной доской, — сообщает он наконец и по очереди обводит взглядом маму, Болетту и Пра. — Моими стараниями в дом пришёл прогресс! — С этими словами он вылезает из ванны, сияя, как Король-Солнце. — Где ты её взял? — шепчет мама. Отцов взгляд подёргивается нетерпением, в уголке глаза сжимается складка, на улыбку набегает тень. Но эта ночь слишком хороша, чтобы поддаваться на подначивания. Поэтому отец, наоборот, обнимает маму и целует её так крепко, что ей приходится отпихивать его. — Это разве проблема, — усмехается он. И начинает возиться с проводами и крепежом, при этом он чудовищно матерится: одной рукой работать несподручно, мама прижимает меня к себе, Болетта затыкает Фреду уши, а Пра только вздыхает и качает головой по поводу всего этого прогресса, который оккупирует нашу микроскопическую ванную. Но наконец отец выпрямляется, он одержал победу

и на этот раз: на крышке наконец-то загорелась лампочка. Отец указывает на неё взмахом здоровой руки: — Если сейчас запустить агрегат, то получим стирку, отжим и слив. В той последовательности, как я называл. В скобках замечу, что машина снабжена автоматическим насосом, регулируемым элементом, индикатором на боковой панели, ну и корпус из нержавеющей стали. — Мы замолкаем. Надолго. Мы сражены наповал и онемели от восхищения. А отец наслаждается каждой секундой триумфа. Он взял нас с потрохами. В руках новоявленного фокусника возникает пачка порошка «Бленда». — Ну, что стоите таращитесь? — кричит он. — Быстро, тащите всё самое грязное! — Но мы в смущении, мы не знаем, с чего начать великую стирку, что тащить: то ли занавески и постельное бельё, то ли носки и тряпки, а может, собрать по всему дому носовые платки? Мы не трогаемся с места, стоим посреди ванной, сбившись в кучу, даже Фред здесь, а отец беззлобно смеётся над нашей бестолковостью и нерасторопностью, это смех свысока, терпеливый, благодушный смех в ночь принесения даров. — Хорошо, — шепчет он, — тогда я прошу принести самое лучшее, что у вас есть. — Мама отлучается на минуту и возвращает-

ся с нейлоновыми чулками. Болетта порывается запротестовать, но отец ломает её сопротивление ещё одной улыбкой. — Шерсть, шёлк и деликатные изделия стираются в тёплой воде одну минуту, — говорит он тихо. Потом роняет чулки, один за одним, в барабан, хлопает крышкой, насыпает порошок в ящичек, отвинчивает кран и берётся за тумблер. Мы подаёмся вперёд. Отец поворачивает тумблер. Скоро мы различаем звук тихое жужжание, оно медленно, но верно нарастает, машина начинает дрожать, потом трястись, потом подпрыгивать. Мама белеет, Болетта прячет глаза, Пра вздыхает: не прогресс пришёл в наш дом, а умопомешательство. На секунду в отцову душу закрадывается лёгкое беспокойство, улыбка повисает на ниточке, он ложится животом на машину, чтоб она не опрокинулась, здесь задействованы силы повыше нас, такая машинка дотянет рейсовый пароход от Бергена до Сволвара и вернётся обратно быстрее, чем включится цикл полоскания. Я стою позади Фреда, ухохотавшегося до слёз, ещё миг — и отец съездит ему по затылку, но машина внезапно утихает, замирает, из-под крышки выползает пар, отец с довольным видом смотрит на часы и отсчитывает последние секунды одной минуты. Лишь тогда он откиды-

вает крышку, вынимает чулки и развешивает их на своей покалеченной руке. Они ослепительно сияют, мало того, даже штопки на коленях затянулись, клянусь вам, и три пары чулок висят, как новенькие, чистые, вкусно пахнущие, они гораздо лучше новых; женщины — мама, Болетта и Пра — натягивают на себя эти преображённые чулки и совершают мокрыми ногами круг почёта по квартире. Отец отводит меня и Фреда в сторону. — Видели, как это делается, — шепчет он. Да, эта ночь незабываема. Я прямо вижу, как затем он срывает с себя рубашку и кидает её в машину, он хочет отправить туда же наши пижамы, но приходит мама и отсылает нас спать, мы лежим без сна и слушаем рулады стиральной машины, а когда всё смолкает, ближе к утру, мы пробираемся в ванную, где сушится белая отцова рубашка, и опускаемся на корточки. Фред ведёт пальцем по надписи под тумблером, а я сижу так близко от него, как только осмелился. Он серьёзен, он стиснул зубы и переставляет палец с буквы на букву. — СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА, — читает он медленно, вслух выговаривая каждую букву. Написано там совсем другое — «Эвалия». Потом Фред с улыбкой оборачивается ко мне. Я улыбаюсь в ответ. И ничего не говорю, ведь он

так редко смотрит на меня с улыбкой. А сейчас он горд, хоть и смущён. И я не сообщаю ему, что машина называется «Эвалия», а не «Стиральная машина». И так мы сидим на холодном полу в ванной, под отцовой рубашкой, и Фред снова и снова проводит пальцем по буквам и шепчет СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА.

Я подумал о ленточках с именами, метках, которые мама нашивала на нашу одежду, чтобы она не перепуталась на физре, в бане, на танцах или у зубного. С тех пор как мы обзавелись машиной, мама на метках вовсе помешалась. Вся наша одежда была помечена, рубашки, свитера, носки, шорты, знаменитая замшевая куртка, шапки, варежки и даже трусы она снабжала надписями: *Фред Нильсен. Барнум Нильсен.* Наша одежда не могла нигде заплутать.

И вот теперь, когда всё давным-давно произошло и быльём поросло, я думаю о лабиринте, о мальчике из «Сияния», как он мечется меж засыпанных снегом кустов изгороди и в зале кинотеатра «Сага» Педер в страхе вцепляется мне в руку, пусть нам уже по тридцатнику, но мы оба страшно пугливы, каждый по-своему. Внутри уха, там, где прикрепляется нерв, тоже лабиринт. Он заполнен прозрачной, немного

студенистой жидкостью, лимфой, и похож на улитку, которую летом можно найти у воды и использовать как наживку. И в глазу тоже должен бы быть лабиринт, в недрах глаза, но там лишь слёзы и мышцы, и я вижу, как Фред вытягивает палец и медленно ведёт им по пыли под столом в гостиной, вдоль письма, мимо нейлоновых чулок, через линию в нашей комнате и дальше, к стиральной машине, и он бормочет себе под нос, по буквам складывая писание дня. — Нельзя было этого говорить, Барнум. — Мне страшно: — Чего? Чего нельзя было говорить? — Что они наврали Пра, — отвечает Фред.

(гроб)

Фред принёс домой гроб. Притащил он его посреди ночи. Я дремал в полусне. И проснулся от его возни во дворе, он волок по снегу что-то тяжёлое; наконец, приглушив голос, кликнул меня. Из постели я вылез тихо-тихо, дрожа как лист: что он там ещё отчумил? Открыл окно и посмотрел вниз. Фред был уже рядом с бельевыми верёвками, придавленными мокрым снегом чуть не до земли. Он тащил за собой санки, на которых стоял гроб, белый гроб. Дойдя до чёрного хода, он поднял голову и посмотрел на окно, в котором

мёрз я. Пар изо рта расплылся вокруг его лица, как серое облако. — Ну, идёшь помогать?

Я в секунду оделся и шмыгнул к выходу. Все спали. Из замочной скважины, в которую я походя заглянул, сквозило. Маму было не увидать за отцом, он распластался на животе и походил на мёртвого кита. Ляг он на маму, ей каюк. Из отцова свороченного набок, заложенного носа вырывался резкий, визгливый храп. Всё это бредни, я обознался, не мог Фред притащить гроб. Хотя с ним что только не оказывалось правдой. Уж как мне хотелось пойти досыпать, а утром сделать вид, что всё это мне приснилось! Но я не пошёл спать, а заглянул к Болетте и поправил на ней одеяло, чтобы не простудилась. Параллельно тому, что отец раздувался и пух, Болетта ссыхалась. Если так и дальше пойдёт и она проживёт долго, под конец от неё ничего не останется. Тоже способ уйти из жизни. Лицо её напоминало мумию, которую я видел в *National Geographic*, ту, что пролежала в пирамиде пару тысяч лет. Я бережно положил руку Болетте на лоб, сморщенный, как грецкий орех, но целовать её я давно оставил, она на вкус как рыбий жир. Болетта улыбалась во сне. Ясное дело, мне примерещилось со страху. Где бы, интересно, Фред добыл гроб? И

я припустил вниз по чёрной лестнице. Фред был уже в лёгком нетерпении. Он курил. Подушечки пальцев желтели. — Ты сперва ванну принял, нет? — Я лишь во все глаза таращился на санки. На них таки лежал гроб. Я не ошибся. — Это что? — спросил я тихо. Фред покрутил пальцем мой висок, с нажимом. — А ты как думаешь? — Это что, гроб? — Нет, Барнум. Санки. Я готовлюсь к Олимпийским играм, одиночный бобслей. Ты не рехнулся, часом? — Но где ты его раздобыл? — Поменьше тревожься об этом.

Он убрал руку с моего виска и дал мне затянуться. Это оказалась папироса без фильтра из наследства Пра, они были зверской силы, сухие, как сено, и набиты наверняка примерно в то же время, когда король Хокон ступил на норвежскую землю. Я зашёлся в надсадном кашле. Фред вывинтил бычок из моих губ и вышвырнул его в снег. Но он продолжал тлеть и там. Потом Фред хлопнул меня по спине: — Барнум, ты как хочешь: будем будить весь дом или ну его?

Я проглотил табачный дым и поднял глаза. Все окна над нами чернели. За ними спали соседи, не ведая, что творится рядом с ними. И я подумал, что примерно половину жизни, если не больше, ведь многие дрыхнут чуть не всё воскресенье,

мы ничего не видим и не слышим, полжизни мы спим мертвецким сном, а оставшееся время убиваем на застилание кроватей. Я забыл закрыть окно в нашей комнате. Теперь простужусь ночью. И помру сегодня же. Фред подтолкнул меня к санкам: — Впрягайся! Будет от тебя хоть какой толк, недотёпа?

Красный глаз мерцавшего окурка прогорел и ушёл под снег. Мы взялись за гроб с двух сторон и потащили его вверх по чёрной лестнице. На каждой площадке мы останавливались и ничего не говорили, чтобы не перебудить жильцов. Я шёл первым, на чердаке шкарябнул лицо сухой и колючий холод, потому что все печи уже забили или разобрали и чердаком почти не пользовались. Стены скрипели под ветром. Меня пошатывало. Всё ходило ходуном, как на море в качку, и я тоже. Лампа на потолке разбилась, но Фред предусмотрел и это. У него оказался фонарик, который он взял в рот, чтобы нести и светить одновременно. Я бы, конечно, о свете не подумал. Зато я и не являюсь домой за полночь с гробом на саночках. На провисших верёвках кто-то позабыл пару длинных подштанников жёлтого цвета, они свисали до полу, словно изготовясь спрыгнуть вниз и сбежать отсюда. Луч света дёрнулся в другую

сторону: паутина, ржавый ключ, пустая бутылка, газета — лежит на полу и сама перелистывает страницы. Мы занесли гроб в самый дальний чулан и осторожно поставили его там. В люке крыши висела луна. От пустых мешков из-под угля, лежавших вдоль стены, поднималась чёрная пыль. Я бывал здесь раньше, но сейчас казалось, что с тех пор утекло полжизни и всё выглядело незнакомым. Я пришёл не ломать руку. Просто гроб принёс, на пару с Фредом. Мама не велит нам ходить на чердак. Фред выплюнул фонарь и направил луч на меня. Я закрыл глаза руками. — Не очень тяжёлый, — прошептал я. Фред расхохотался. — Ты думал, в нём кто-то лежит?

Я не ответил. Без предупреждения Фред кинул фонарь мне, жёлтая дуга прочертила темноту, я еле поймал его. Посветил на дверь — вдруг там стоит кто-то, а мы не знаем? Я хотел вычерпать темноту и наполнить её светом. Мне нужно было видеть. — Тут мама и сушила бельё, — сказал он. И я увидел её, мёртвую птицу, она лежала прямо под луной в люке, осталось от неё всего ничего, остов одного крыла, приставшего к чёрной пыли и похожего на отпечаток ноги. Я подошёл ближе. И обнаружил ещё глаз, сморщенную горошину, похожую на изюмину. Фред дёрнул меня за ло-

коть. — Свети-ка, — шепнул он.

Я должен был держать фонарь обеими руками и светить в гроб. Фред откинул крышку. Внутри гроб был обит красной материей, типа шёлка, присборенной по краям в складки. Даже подушка имелась, и на вид казалось, лежать в нём вполне приятно. Меня неожиданно пробрала дрожь, спина от затылка и ниже покрылась мурашками. Фред повернулся ко мне и улыбнулся. — Стильно, — сказал он.

Потом снял куртку и лёг в гроб. Он сложил руки на груди и лежал совершенно тихо с широко открытыми глазами. Мне показалось, он стал бледнее и худее, точно щёки сдулись и ввалились. Я вцепился в фонарь, чтоб он не дёргался, это в его блеклом свете и в матовом свете луны Фред так выглядел: мёртвым, краски словно отхлынули от лица, и он лежал не шелохнувшись. — Фред, не дури, а? — прошептал я.

Из люка в крыше тянуло холодом. Вокруг листов железа намёрз снег и лёд. Было слышно, как снег, глыбы снега отваливаются и сползают вниз по крыше. Я прикидывал, сколько времени могло пройти, который теперь час, но взглянуть не решался. Луна скрылась. Моя тень слилась с остальной чернотой.

— Фред, а Фред? Пожалуйста! — Но он по-прежнему лежал со склеенными руками и застывшим взглядом, словно бы пустым, точно ничего, что он повидал в жизни, больше не существовало, включая и меня, и фонарь в моих руках, и бьющий из него на Фреда свет, и вдруг я перестал узнавать Фреда, было полное ощущение, что рядом в гробу лежит чужой мёртвый человек.

В эту секунду он наконец-то заговорил, тихо и не глядя на меня: — Закрой меня крышкой. — Я отпрянул. — Нет, — сказал я. — Делай, что говорят. Закрывай крышкой. — Зачем, Фред? Не буду. — Закрывай давай, Барнум. А потом иди домой, ложись и помалкивай. — Я подошёл на шаг поближе. — Фред, ты что, здесь останешься? — Да, я так планировал. — А что я скажу, если мама спросит о тебе? — Я уже сказал. Помалкивай. Неси крышку, чёрт тебя подери. — Я не хочу, Фред. — Так ты сам хочешь тут полежать? Изволь. — Нет. — А то могу устроить тебе детский гробик. Больший-то тебе ни к чему.

Я положил фонарь на пол и поднял крышку. Глаза у меня, надо думать, были на мокром месте, но я прикрыл их от Фреда. Я его ненавидел. Хоть бы он остался в этом гробу. Я забью крышку, чтоб он не выбрался. И никому не скажу, где он. Пусть

умрёт от голода, как только околеет от жажды, хотя задохнётся, наверно, ещё раньше, один чёрт, главное, он умрёт и найдут его слишком поздно. Кому придёт в голову искать его здесь? Я пристроил крышку на место, нагнулся поднять фонарик и вдруг услышал два звука: смех Фреда в гробу и второй — слабый треск, но пока я разгибался, лампочка перегорела, меня сжала темнота, причём Фред всё смеялся внутри гроба, и в память картинка врезалась именно так: смех и за ним — темнота, в этой последовательности, но шло время, я прокручивал в памяти эту ночь на чердаке, и исподволь, мало-помалу смех и темнота сплавились воедино, из двух последовательных происшествий — смеха Фреда и погасшего затем фонаря — они превратились в одномоментное нераздельное воспоминание, отчего я теперь не могу слышать смеха без того, чтобы не почувствовать тяжести столь же глухой темноты, разбухающей в моих дрожащих руках.

Я выронил фонарь. Он с грохотом шмякнулся об пол. Стало тихо, и в гробу тоже. — Барнум, что там? — Света больше нет, — шепнул я. — Мне всё равно. — Вылезай, я ничего не вижу, — попросил я. Фред застонал и, по-моему, стукнул изнутри по крышке кулаком. — Всё, Барнум. Проваливай. Ты

мне больше не нужен.

Я нащупал дверь чулана. Дальше крался по стеночке. Мне показалось, захлопали крылья, птичьи крылья в темноте, возможно, пролетела летучая мышь, или это Фред смеялся. Наконец я выбрался на лестницу. Внизу горел свет, и я бросился на него.

Все спали. Я лёг не раздевшись. И не уснул. Я не спал, окружённый сном домашних. Всё в жизни — как китайская коробочка, одно в одном. Поскорей бы наступил день, думал я, и своим светом-ластиком стёр бы все ночные каракули. И этого Фреда, который не может написать «гроб» без ошибки. Я прокрался в гостиную, выдвинул ящик комода и вытащил письмо от Вильхельма. Попробовал почитать, но не нашёл успокоения даже в письме. *Команда парусника состоит из поручика Г. Амдрупа, унтер-офицера от артиллерии Якобсена, кузнеца Нильсена, штурмана Лёта, кандидата Гарца, геолога и ботаника, доктора Дейхмана, судового врача, бывшего естествоиспытателя, геолога кандидата Йенсена, зоолога и живописца Дитлевсена, а также ассистента Мадсена из Зоологического сада, коему поручено поймать овцебыка и доставить его в Копенгаген.* Если б мне предложили выбор, я б стал артил-

лерийским унтер-офицером, ну или Мадсеном, отряженным за овцебыком. Но может, и они не вернулись назад, а тоже остались *посреди снегов и льдов,* в бесконечной белой тишине, вдавившей их в вечную смерть.

Болетта следила за мной. Я почувствовал это, пуговичные глазки мозолили затылок. Я убрал письмо в ящик, задвинул его на место и повернулся к ней. Болетта улыбалась. И сказала нечто странное: — А сколько тебе сейчас лет? — Я ответил, хотя она наверняка сама отлично знала. Болетта заулыбалась всеми своими морщинками. — Через семь лет тебе станет столько же, сколько было моему отцу. — Я подошёл поближе: — Что ты говоришь, бабуль? — Я-то его никогда не видела. Встреться мы теперь, я бы оказалась втрое старше. Представь себе эту картину: гадкая старуха встречает своего молодого красавца-отца. — Ты это долго высчитывала? — прошептал я. Болетта взяла меня за руку: — Барнум, я высчитываю это наново каждый божий день. Это даёт мне сил. — Она выпустила мою руку, и я пошёл к двери. Было слышно, что она села в кровати. Наверно, примется за расчёты для нового дня. — Как там твой новый друг? — спросила Болетта. Я оглянулся. — Педер? Отлично. Мы увидимся ве-

чером. То есть утром. Ну сегодня. — Болетта снова улыбнулась, очень печально теперь, рот казался очередной складкой на спёкшемся лице. — Ты должен присматривать за Фредом, — прошептала она. — Я? За Фредом? Я не могу. — Да, Барнум, ты обязан присматривать за Фредом. Особенно теперь, когда у тебя появляются свои друзья. — Не нужен я ему, — крикнул я. — Теперь ты ему особенно нужен. Фреду нелегко завести друзей.

Я убежал к себе в комнату. В страшной досаде. Но подняться ещё раз на чердак не решился. Просидел у окна, пока первый луч не высветил узкий кант неба в просвете между бледной луной и городом. Фред не спустился. Я ушёл до завтрака, прежде чем домашние встали, раньше чем даже Эстер открыла свой киоск, для чего ей сегодня надо было перекидать лопатой пару тонн снега. Я разгрёб для неё большую часть сапёрной лопаткой, обнаруженной мною в её подворотне, — пусть хоть один человек порадуется сегодняшнему дню. Потому что сам я и радовался, и хандрил. Вечная моя проблема. Я радовался, что выпал снег, но заранее боялся снежков. Предвкушал встречу с Педером, одновременно боясь, как всё будет. То, что было лишь предчувствием, догадкой, предположением, вне-

запно высветилось в голове ясно и отчётливо: за все удовольствия человек расплачивается страхом, смех есть голос темноты. С Фредом я был связан каждой клеточкой, но каким образом я, малыш Барнум, могу присмотреть за ним? Это Фред должен пасти меня!

На школьным дворе я первым делом получил снежком в морду. Он был не очень твёрдый, потому что слеплен из такого мокрого снега, что с ходу растаял, стукнувшись о мою рожу, и потёк за ворот и на рубашку. Я только клацал зубами и хохотал. Дальше рассказывать смысла нет, упомяну лишь, что на последней переменке я сам отличился со снежками. Я нацелился на открытое окно школьной столовой. И бросок удался. Было слышно, как загремели кастрюли и грохнулась сковорода. На следующем уроке директор отправился по классам искать виновника. Я добровольно поднял руку и получил сорок пять минут сидения в классе после уроков. Против этого я как раз ничего не имел. Помимо того, надо было тридцать раз красивым почерком написать *Не кидай снежки.* Управившись с этой писаниной, я достал чистый лист и девятнадцать раз вывел *Не ложись в гроб, пока не умер.* Потом штрафное время вышло, и я отправился

домой. Никто не караулил меня в парке, чтобы ткнуть головой в огромный сугроб за церковью. В этом плюс сидения после уроков. Но домой я всё равно не пошёл. А спустился на угол аллей Бюгдёй и Драмменсвейен и стал ждать Педера под нашим деревом. На нём ещё висели последние листья. Зима накатила неожиданно. Осень не успела свернуть хозяйство. Если запрокинуть голову и глядеть на раскидистую крону, то листья казались похожими на красные кувшинки, плавающие в белом озерце, падавшем на меня. Так я простоял не меньше часа. Потом кто-то потянул меня за куртку. — Бляха-муха, ты, часом, не сынок этой мерзкой снежной бабы, а? — сказал Педер. Это был он. — Давно ждёшь? — спросил он, продолжая отряхивать мою одежду. — Постоял сколько-то. Время перепутал. — Педер привалился к стволу. — Ничего глупее снега на свете нет, — заявил он. — Почему? — Назови хотя одну причину, для чего он нужен? — Я задумался. — На лыжах можно ходить, — предложил я. Педер посмотрел на меня взглядом, в котором сквозило отвращение. — Барнум, ты много ходишь на лыжах? — Не особенно, — быстро ответил я. — То-то и оно. Тоже мне лыжник. Я тебе кое-что скажу. В год в Осло выпадает примерно тысяча милли-

метров снега, и не меньше пятидесяти из них приходится разгребать лично мне. Иначе мама не выйдет из дому. — Педер извлёк зонтик из-под своего шерстяного пальто и распахнул его над нами. Мы постояли молча, укрытые от снега. — Я не понял, — сказал я. — Думаешь, мама может сама раскидать снег? Нет. А отцу дела нет. Хорошо хоть, мне за это платят. Это единственное доброе, что можно сказать о снеге. Что я на нём зарабатываю. Я беру десятку за каждый миллиметр. — Ты сказал, «тоже мне лыжник», — прошептал я. — Это как понять? — Педер расхохотался: — Тебе кажется, я похож на бегуна на лыжах? — Я покачал головой. — Нисколечко! — Та же история с тобой! — Мы захохотали разом. Ни один из нас не прославит своё имя на лыжне. Не для этого мы созданы. Это и так ясно. Мы оставим свой след на других вершинах. Тут мне пришла на ум одна мысль. — Похоже, одну причину я назову, — сказал я. — Какую такую? — Мама твоя может его рисовать. Снег то есть. — Педер застонал: — И у матери та же песня. Мне кажется, ты ей понравился. Одного я в толк не возьму. — Педер стоял под чёрным зонтиком в глубоком молчании. — Чего именно? — поинтересовался я. — Что нельзя рисовать снег так, чтоб мне не приходилось его

разгребать.

На этих словах Педера болтовня иссякла. Нам было о чём подумать. Мы стояли позади красного бука, чтобы не попасться никому на глаза. В первый раз я вместе с кем-то ждал кого-то. Занятия начинались через четверть часа, и первые танцорки уже стекались в здание Торгового дома, как будто рассчитывая, что, раз они пришли первыми, кавалеры их выберут. — Она не придёт, — сказал я наконец. — Обязательно придёт, — спокойно ответил Педер. — Спорим? — На сколько? — Сколько у тебя есть? — Я пощупал монетки в кармане. — Два двадцать. — Хорошо. Спорим на два двадцать. — Замазано, — ответил я. Педер хлопнул меня по спине: — Продул ты свои два двадцать! — И правда, к нам по аллее Бюгдёй спешила в огромной красной шапке Вивиан, она пробежала по снегу, перепрыгнула через бордюр и потрюхала в нашу сторону. Лицо у неё взмокло, она быстро отёрла лоб рукой и шагнула под зонтик. Стало довольно тесно. Мы дышали в лицо друг дружке. — Барнум не верил, что ты придёшь, — сказал Педер. Вивиан взглянула на меня: — Я пришла. — Наверно, Барнум привык к разочарованиям, — продолжал неуёмный Педер. — Наверно, — согласилась Вивиан и

сняла шапку. — Ты дома сказала? — спросил я, переводя беседу на другое. Она помотала головой, разбрызгивая капли с волос мокрым кольцом вокруг себя. — О чём они не знают, о том и не расстраиваются, — хмыкнул Педер. — Блаженны дурни, короче говоря. — Теперь появились остальные ученики школы танцев, в тёмных нарядах и с мешками, в которых лежали слишком тесные туфли, они были похожи как минимум на траурную процессию, но больше на стадо, которое гонят на бойню, где им дадут по башке молотком и повесят на крюк размякать под звуки *Oh Heidetröslein*, снова и снова наигрываемой Свае, пока она не приступится к ним и не начнёт свежевать их своими когтищами. Вид у спешивших на урок был не только понурый, но и вполне дурацкий. Мы хохотали. Показывали на них пальцами и заходились от смеха. Пробил наш час. Мы издевались над ними с полным сознанием своего превосходства. Мы были вместе. Мы — против них, этих агнцев для заклания, и сила на нашей стороне. Тогда, наверно, стоя за красным буком под чёрным зонтиком, я впервые испытал чувство братства, *со-общности*, укоренённой не в семье и не во мне, но которая упраздняет беспокойство, скрывающееся в самых

глубоких закоулках моей души, и даёт твёрдую точку опоры, и вот это чувство *со-общности* я впервые, остро и ясно, испытал тем вечером с Педером и Вивиан. И были только снег да следы на нём от фонаря к фонарю вдоль по Драмменсвейен, музыка из окна на последнем этаже и шаги на раз-два-три, топавшие по залу, покинутому нами навсегда.

Некоторое время мы ничего не говорили. Переглядывались и улыбались. Бояться было нечего. Захотим, вон на верхушку дерева залезем и весь вечер там просидим. Педер сложил зонтик. Снег перестал. — Пошли к отцу, — бросил он и зашагал прочь. Мы потянулись за ним. Он спускался в сторону порта. Углубляться в этот район считалось неосмотрительным. Там и улицы не расчищены, и даже снег коричневого цвета. Но страшно мне не было. Нас трое. Ещё немного — и Вивиан возьмёт меня за руки, хотя никто и никогда, не считая родных, так не делал. Наконец, Педер остановился перед магазином на улице Хютфельдтсгатен. На окне, забранном решёткой, значилось: *МАРКИ МИИЛА — ПОКУПКА И ПРОДАЖА.* Педер вытащил огромную связку ключей и отпер замок. Мы зашли внутрь, и он повернул за нами ключ в двери. В магазине никого не было. Педер зажёг люстру,

дававшую резкий белый свет. Такого количества марок я не видел никогда. Стеклянный прилавок оказался под завязку забит старыми письмами. Пахло табаком, клеем и чем-то ещё, наверно, специальным паром, которым отпаривают марки с конвертов, чтоб не повредить их. — Резиной воняет, — сказал Педер. — Привыкнете постепенно. — Вивиан с любопытством озиралась по сторонам. — Неужели можно жить продажей марок? — спросила она. — Ещё бы. Марка Маврикия стоит 21 734 кроны, — ответил я. Педер хмыкнул и повёл нас вглубь, в заднюю комнату. Здесь стояли диван, холодильник и стол, заваленный непонятными блестящими инструментами, лупами, микроскопами, примерно как в операционной. Педер взял из холодильника бутылку колы и бутылку пива, открыл их пинцетом, смешал в стакане колу с пивом, отхлебнул глоток и пустил по кругу. Напиток оказался кисло-сладким. От коктейля зашумело в одном ухе. Мы сели на диван. Вивиан посерёдке. — Тебе разрешается здесь быть? — спросила она. Педер долил в стакан пива. — Папаша говорит, богодельня всё равно ко мне отойдёт. И гроши-барыши я считаю! — Педер захохотал и достал марку из глубины ящика, который он отпер двумя разными ключами. — Больше

всего мне нравится в марках, что дороже всех ценятся экземпляры с изъяном. — Он показал нам марку из ящика и дал по очереди подержать её. Она была шведская, жёлтая и выпущенная, похоже, при царе Горохе. — Трёхшиллинговая, 1855 года, — прошептал Педер. — Должна быть зелёной. Румынский король купил в 1938 году такую же за пять тысяч фунтов. Только за то, что она не зелёная, а жёлтая. — Педер убрал марку на место и повернулся к нам. Но смотрел только на Вивиан. — Я жирный. Барнум недоросток. А с тобой что не так, Вивиан? — Я не осмеливался ни вздохнуть, ни выдохнуть. Вивиан молчала так долго, что я решил, что Педер всё испортил. Но потом она всё-таки ответила, подняв глаза и улыбнувшись: — Я родилась от аварии, — сказала она.

Всю дорогу домой я думал над её словами, что она родилась от аварии, я так углубился в размышления об этом, что даже позабыл произнести вслух уже приготовленную мною реплику: — Раз мы с изъянами, мы тоже ценимся дороже? — Мама бросилась ко мне с порога, отец дремал на стуле в гостиной. Болетты нигде не прослеживалось, наверняка на неё нашло обычное и она на Северном полюсе. — Тебя оставили после

уроков? — спросила мама дрожащими губами. — Угу. — Хорошо хоть, не врёшь. Директор позвонил нам и всё рассказал. Как ты посмел?! — Отец поднялся на ноги, на это ушло время. — Ну, ну, полно, — пробубнил он. — Барнум, ты попал снежком в форточку? — Да, — пролепетал я. — Многообещающе! Весной начнём метать диск. От него польза ещё в том, что тренируется хватка, она и на девчонок сгодится. — Замолчи! — прикрикнула мама. Отец тыкнул и стал примериваться снова сесть. Мама дёргала меня за куртку. — И ты в таком виде ходил на танцы! — Я отвернулся. — Мы танцевали только ча-ча-ча, — сказал я. Мама глубоко вздохнула, руки беспокойно летали взад-вперёд. — А Фред где? Ты его видел? — Он лежит в гробу на чердаке, — ответил я. Мама уронила руки. Отец, так и стоявший, вмиг очнулся и побелел. — Что ты сказал? — спросил он. — Ничего. — В глотке у меня совершенно пересохло. Язык залип намертво. Отец медленно подошёл ближе: — Ничего? Ты ничего не говорил? — Я не помню, что сказал, — просипел я. Отец встал ровно передо мной, он дрожал всеми телесами. — Ты сказал, что Фред лежит в гробу на чердаке! — Я опустил глаза: — Вроде сказал. — Никто из нас не думал, что отец

может с такой скоростью бежать по лестнице. Мама неслась следом и едва поспевала за ним, я мчался последним. Я не мог это пропустить. И вот что я увидел: отец замер посреди чердака, точно под окном. Гроб стоит на полу. Мама закрылась руками и кричит беззвучно. Но самое поразительное то, что отец смотрит не на гроб, а сперва обводит взглядом верёвки, прищепки, останки мёртвой птицы, пустые ящики из-под угля, он дышит, как паровоз, вздымая пыль вокруг, и так он долго стоит и таращится по сторонам, словно забывшись или забыв, зачем пришёл. Тогда Фред откидывает крышку и садится. Он сидит и зевает, худой и бледный, посреди шёлковых оборок. Та ещё картинка. Он упирается в меня взглядом. Я прячусь за маму, так и не открывшую лица. — Не тронь его, — шепчет она. Отец оборачивается к ней со скорбным, почти извиняющимся выражением на лице. А потом делает самое удивительное. Он наклоняется и обнимает Фреда, прижимает его к себе, похлопывает по спине, даже мама не может не посмотреть на то, как отец вместо взбучки ласкает Фреда. Из-за отцова плеча я ловлю взгляд Фреда, растерянный и до смерти напуганный, кто-то хлюпает носом, и это не Фред, это плачет отец, Арнольд Нильсен.

Я сбежал вниз, лёг. Спустя время пришли остальные, голоса звучали слабо и тихо. Я всё равно заткнул уши. Чтоб не слышать их разговоров. Хотя Фред голоса не подавал. Наверно, поколотит меня за то, что я его выдал, скорей всего, отвесит мне двойную порцию, раз не получил свою от отца. Было б куда лучше, если б Фреда сразу отлупили, и дело с концом. Я трепетал в ожидании, какой там сон, я был и растерян, и напуган — как Фред. Он пришёл, когда все улеглись, и присел ко мне на кровать. Я молчал. Ждал. А он просто сидел. Не в силах ждать дольше, я шепнул: — Прости. — Фред и тогда не сказал ни слова. Огромная тишина удерживала его тень надо мной. В руках у него что-то было. Но что, я не видел. Наконец он решил заговорить. Он выдохнул два слова: — Я злой. — Лучше б уж не говорил ничего. — Нет, не злой, — шепнул я. Фред наклонился пониже: — Откуда ты знаешь? — Я задумался. Всё-таки проще было бы перетерпеть побои. — Ты никогда не делал ничего злого, — сказал я по размышлении. — Не делал? — Вообще-то Фред беспрестанно что-нибудь вытворял: он послал домоуправу Бангу посылку с моей пижамой, он молчал два года, он закрывался в гробу на чердаке, и это лишь малая толика всех его проделок, но если Бог

есть, разве он не посмотрит на всё на это сквозь пальцы, неужто же он вносит в свою картотеку даже шалости? — Ты не сделал ничего по-настоящему злого, — сказал я. Фред отвернулся. — Пока не сделал, — шепнул он. Теперь и я зашептал: — Пока? Ты разве собираешься, Фред?

Машина проехала вниз по Киркевейен, скользнув фарами по нашей комнате. Теперь я разглядел, что он держит в руках. Это был диск для метания. Фред не отвечал. Лишь поглаживал диск, лежавший у него на коленях. Потом улыбнулся. — Юношеский диск, — шепнул он. — Полтора килограмма. — И больше он ничего не сказал. Лёг спать. А диск положил на подоконник Пришлось мне тащить его назад в гостиную. Диск был вполне увесистый. Хорошо ещё, что он не взрослого размера. И что там Фред задумал? Во мне проснулось беспокойство. Я снова взял письмо, зажёг лампочку над кроватью и стал читать вслух. Не знаю, слушал ли он или спал. Но я всё равно прочитал письмо от первой до последней фразы, наикрасивейшей в мире, и я сделал это, ни разу не всхлипнув. Это оказался последний раз, что мы читали письмо.

Никаких гробов в Осло в те дни не пропадало. Отец открутил золочёные ручки, содрал шёлко-

вую обивку и нарубил его на дрова, а в декабре, когда похолодало и потянуло от балконной двери, стал топить ими камин. Гроб горел прекрасно. Но я не особенно любил греться у этого огня, я одновременно и зяб, и прел, так что обычно уходил, когда отец разжигал в камине гроб, в котором однажды лежал Фред. Поздним вечером такого дня, когда все в квартире слегка обезумели от жёсткого лихорадочного каминного жара — отец даже пошёл на улицу охолонуться, — дверь нашей комнаты рывком распахнулась, и на пороге показалась Болетта, руки у неё дрожали, и она не могла вымолвить ни слова. Я не предполагал, что добрейшая Болетта способна на такой гнев, я ни разу не видел её в столь чудовищной ярости, она была как распрямившаяся тугая пружина. — Где письмо? — прохрипела она. — *Где?!* — Она смотрела на Фреда, он сегодня дома, лежит на кровати и пожимает плечами. — Без понятия. Ты не знаешь, Барнум? — Болетта разворачивается ко мне. — Оно не в комоде? — спрашиваю я. — Нет. В комоде его нет! — А ты не уносила его на Северный полюс? — Барнум, не надо сейчас меня дразнить! — Что ты, бабуль. Но я положил его на место, когда читал в последний раз. — Болетта накидывается на Фреда: — Если это ты взял пись-

мо, знай, ты опозорил и живых, и мёртвых! Ты слышишь?! — Фред сел. — Я не трогал письма! — заорал он. — Чёрт возьми, я не дотрагивался до этого проклятого письма! Почему всегда во всём обвиняют меня?

Приходит мама. Она пытается утихомирить Болетту. Потом они на пару переворачивают вверх дном всю квартиру, но письмо пропало навсегда. — Ты сама его куда-нибудь засунула, — попрекает мама Болетту. Та уж не знает, что и думать, поэтому думает самое скверное. В глубоком смятении и расстройстве она укладывается на диван. Тогда я подсаживаюсь к ней со словами утешения. — Это не такая уж трагедия. Я знаю письмо наизусть. — Болетта открывает глаза. — Наизусть? — шепчет она. Я киваю и стираю капельки у неё на лбу. А потом я прочитываю ей письмо, без бумажки и текста я проговариваю его вслух целиком. Но когда я заканчиваю, ни буквы не потеряв и не прибавив, не изменив в тексте ничего, вплоть до запятых, когда я произношу последнюю фразу, Болетта берёт меня за руки, с трудом садится и шепчет: — Нет, Барнум, это не то. *Это не то же самое.*

Я ни слова не сказал. И мы сидели вдвоём с ней на диване в гостиной декабрьским вечером, а ка-

мин обдавал нас жаром, так что позже, думая об этом письме, написанном посреди льдов и снегов в стране полуночного солнца, я неизбежно сразу вспоминал и гроб, который полыхает в камине, нагнетая на нас сон без грёз и сновидений.

(авария)

Вивиан родилась от аварии. Случилось это 8 мая 1945 года. Александр и Анние, которым предстояло стать её родителями, ехали на «шевроле-флитлайн-де-люкс», подарке его отца к их свадьбе, сыгранной осенью. Они собрались в заказник Фрогнерсетер. Они молоды, их совместная жизнь только начинается, ей через два месяца рожать, ему остался год на юрфаке университета Осло, где он звезда своего курса. А она прошлой весной была Королевой выпускных балов. Не пара, а бриллиант из тех, что вызывают общие зависть и восхищение, гордость обеих семей. Они привычно счастливы, они не ведают ничего другого, кроме радости бытия, они устремлены в будущее, оно на их стороне. И они упиваются этим днём. Солнце. Голубое небо. Зелёные деревья. Они притормаживают у Холменколлена. Александр Вие опускает окно и показывает в сторону трамплина и посадочного склона, и он,

буквоед, педант, изъясняющийся обыкновенно параграфами законов, вдруг становится поэтичен и велеречив. Это всё вина Анние. И этого мгновения, и жизни впереди. — Мы с тобой стоим на вышке, — говорит он. Она накрывает его руку своей. — Мы готовимся к прыжку, — повторяет он. — Мы стартуем, и нам не страшно. — Ничуть, — смеётся Анние. — Мы улетим дальше всех. — Конечно, Александр! — Он кладёт голову ей на колени, она откидывает спинку сиденья, получается как в кровати, и Александр слушает, он прислушивается к ребёнку в её чреве и слышит, как ему кажется, биение двух сердец, Анние и малыша. Он долго-долго лежит так и слушает. Анние гладит его по волосам. — Ты красивая, — шепчет Александр. — Я говорил тебе об этом? — Да, сегодня утром. — А сейчас повторяю. Вы оба красивые. — Он целует Анние. Ставит как положено спинку кресла и превращается в обстоятельно-делового юриста, который думает о безопасности своей жены: — Ты должна сидеть прямо. Чтобы не навредить ребёнку. И будь поосторожней.

Они едут дальше. Александр закрывает боковое окно. Не хватало, чтоб её продуло. Он жмёт на газ, на последнем подъёме он на миг превы-

шает разрешённую скорость, упиваясь мощью и услужливостью многих лошадиных сил, но немедленно сбрасывает газ, едва они сворачивают к лесу. Навстречу им выныривает другая машина. Александр едва верит собственным глазам. — Матерь Божья! — кричит он. — «Бьюик»! — Машины останавливаются, разделённые дорогой. Александр распахивает дверцу. Анние хватает его за руку. — Ты зачем? — спрашивает она. — Хочу взглянуть на его машину. — Только недолго. — Он снова опускается на сиденье. — Тебе нехорошо? — Она качает головой. — Нет, просто знобит что-то. — Знобит? — Даже не знаю. Я продрогла изнутри. — Мы возвращаемся домой! — Она смеётся в ответ: — Иди уже. Сейчас всё пройдёт. — Точно? — Сто процентов. Мне уже лучше. — Александр целует её в щёку и перебегает дорогу. Шофёр второй машины, низенький темноволосый мужчина в светлых перчатках, уже стоит у распахнутой дверцы и раскуривает сигарету. И первая мысль Александра: это нувориш, выехавший покрасоваться и похвастаться, возможно, простой китобой, внезапно разжившийся деньгами. На переднем сиденье мальчик, злобный, угрюмый и худой, из-за его плеча смущённо улыбается бледная женщина, точно извиняется,

что не соответствуют они своей машине, что она им не по чину, странная семейка, думает Александр, но дружески здоровается с комичным фанфароном, который и балаболит не по-столичному, а на каком-то северном говоре, скрывая его тем, что говорит медленно и отчётливо артикулируя. Они ходят вокруг машин и нахваливают друг дружку. — Это ваша жена? — спрашивает коротышка. — Да, — кивает Александр. — Очень красивая. — Александра царапает такая простота. Наплывает туча, застит свет. Небо заволакивает. Александр поспешно прощается и садится в свой «шевроле». — Поехали домой, — говорит он. Но Анние хочется дальше, выше, на самый верх. Александр смеётся от радости, от полной и совершенной, без всяких изъянов, радости. Она — его. Она готова следовать за ним. Идти за ним вперёд и вверх. — На вершину так на вершину! Заодно не придётся тащиться за этим проходимцем. — Он пристёгивает ремень, и в эту секунду начинается дождь. Александр включает дворники и входит в следующий, крутой поворот. Анние оборачивается и видит, что женщина из той машины тоже повернулась, это длится секунду, и они теряют друг друга из виду. А на выходе из поворота происходит авария. Возможно, Александр Вие слишком

гнал, или тёплый дождь сделал распаренную дорогу скользкой, или зверушка выскочила из лесу и напугала его. Факт остаётся фактом: он потерял управление почти двухтонным «шевроле», это происходит в мгновение ока, он не успевает ничего ни предпринять, ни выправить машину, мощь лошадиных сил сыграла с ним злую шутку, машину повело в сторону, она скатилась с крутого откоса и стукнулась о дерево. Анние кидает на лобовое стекло, оно разлетается об её лицо. И тишина. Только дождь бубнит. Птица взмывает с ветки. Александра зажало между рулём и сиденьем, он почти не пострадал, ссадина на лбу не в счёт. Ему удаётся освободиться, он поворачивается к Анние и вместо её лица видит кровь, всё залито кровью, кусок стекла торчит наискось из щеки и режет лицо пополам, грудь, шея, всё раздавлено, кровавая каша. — Анние, — шепчет он, — Анние. — Голоса своего он не слышит, но есть какой-то посторонний звук, он различает возню, смотрит вниз и на полу, у неё в ногах, видит комок, комок крови и мяса, человечка, ещё повязанного с Анние, которая вдруг заорала, завыла, зажала руками развороченное лицо, ломая пальцами торчащие осколки, и зашлась в нескончаемом крике, под который Александр пытается

дотянуться, поднять ребёнка, девочку, они и имя успели придумать: если девочка — будет Вивиан, девочка и родилась. Вивиан поворачивается к нам. — Пошли, — говорит она. Педер оглядывается на меня, кивает, он бледен, даже спал с лица. Вслед за Вивиан мы идём по тёмной безмолвной квартире, стенка в стену с фрогнеровской церковью, мы впервые здесь, у Вивиан, она долго-долго не решалась пригласить нас. — Глухо, — шепчет Педер. — Что? — переспрашиваю я тоже шёпотом. Мы заходим в её комнату, и она беззвучно закрывает дверь. Комната кажется нежилой. В ней идеальный порядок. Как будто никто не пользуется ранцем, книжкой, свитером, парой туфель, стоящих ровно носок к носку, комната кажется поразительно пустой, в ней нет ничего: ни проигрывателя, ни радио, ни журналов, может, это нормально для девчонок, они аккуратистки, приходит мне в голову, но я вижу, что и Педер потрясён тем же самым, мы с ним усаживаемся на серую кровать, а Вивиан опускается на табуретку, так как кроме табуретки сесть не на что. Мы замолкаем, как будто заразившись тишиной квартиры. Первым приходит в чувство Педер. — Стильно, — выговаривает он. Вивиан поднимает на него глаза: — Стильно? Что ты

имеешь в виду? — У меня дома горы дерьма. У вас нет ничего. — Вивиан слабо улыбается. — Горы дерьма? — Да, хотя у Барнума и того хуже. — Он смотрит на меня, ухмыляется, и я понимаю, что Педер треплется, лишь бы сменить тему, сам не зная, куда его вывезет, поэтому так и говорит. Меня знобит. Педера тоже, у него мурашки по загривку. — Точно, горы дерьма, — вставляю я быстро. Вивиан качает головой, она догадалась, что мы просто так мелем языком, и мы понимаем, что она поняла, поэтому мы замолкаем, и долго никто ничего не говорит, а нарушаю тишину на этот раз я, выступив с вопросом довольно скользкого свойства. — Ты сказала родителям, что ушла с танцев? — спрашиваю я. Вивиан передёргивает плечами, точно как Педер всегда делает, и во мне проклёвывается беспокойство. — Им всё одно. Они давно забыли, что я туда поступила. — В этот момент мой взгляд падает на фотографию на стене у неё за спиной, и пока Педер продолжает заполнять паузу глупыми разговорами, я впиваюсь в фото глазами, не в силах оторвать их от этого портрета женщины, чёрно-белого, наверняка старинного, она держит в руках папироску, и дым матовой спиралью змеится перед лицом, рот узкий и растянутый, а в облике что-то холодное,

жёсткое, почти враждебное, но в то же время соблазнительное и притягательное, словно она предлагает лично тебе то, чего ты никогда прежде не совершал, и это твой, скорей всего, первый и последний шанс испытать это. Мрамор и марципан, думаю я. Слова возникают во мне сами по себе. Мрамор и марципан. — Если б мне дали выбрать, — поёт своё Педер, — я бы предпочёл лучше ничего, чем горы дерьма. — Здесь хватает и того, и другого, — смеётся Вивиан. — И дерьма полно, и нет ничего. — Педер преет над ответом и, к несчастью, решает поискать поддержки во мне. — А что ты на это скажешь, Барнум? — Мрамор и марципан, — отвечаю я. Оба, Педер и Вивиан, принимаются хохотать, хотя смех звучит в этих стенах чуждо, я тоже присоединяюсь к ним, мы складываемся навстречу друг дружке и хохочем: *мрамор и марципан!* — мы спаянная троица и обмениваемся лишь нам понятными фразочками; но — стук в стену, и более резкой тишины я не видел сроду. Мы разом распрямляемся, как будто нас застукали на запретном, на постыдном, на веселье. Больше мы не смеёмся. — Лорен Бэколл, — шепчет Педер. — Она стучала? — Нет, дурило, она на фотографии. — Вивиан поворачивается к этому единственному на

стене предмету. Педер следует за её взглядом. — Кто она? — спрашиваю я. — Актриса, — отвечает Вивиан. — Как моя прабабушка, — походя замечаю я. Вивиан смотрит на меня новыми, как я убеждаю себя, глазами, внезапно я предстаю перед ней в ином свете. — Правда? — Я киваю. — В кино или театре? — Кино. — Тогда, наверно, ещё в немом, — хохочет Педер, и тут же кто-то стремительно и бесшумно распахивает дверь. Её отец. Он седой как лунь, это первое, что наряду с тонким носом бросается в глаза. Он смотрит на нас. Педер сразу вскакивает. Я тоже поднимаюсь. Вивиан сидит. Она выгнула спину, как кошка. Отец кивает. Коротко улыбается, одна гримаса губами. — Вам уже, кажется, пора, — говорит он тихо.

Мы откланиваемся. Вивиан стоит у окна и машет нам, мы отвечаем тем же, она машет, пока мы не скрываемся из виду. — Бляха-муха, — говорит Педер. — Холодно у них. — И глухо. — Золотые слова, чёрт возьми. Холодно и глухо. — Мимо прогрохотал трамвай, лица за стеклом казались бледными, почти жёлтыми, и все-все походили на Вивиан. — Как звали женщину? — спросил я. — Лорен Бэколл. Говорят, мать на неё похожа. Или наоборот, — ответил Педер. — Правда? —

Была. Теперь нет. — Педер остановился и взял меня за руку. — Она сидит в тёмной спальне, лица нет. — Нет? То есть как? — Не осталось после аварии. Делали операции. Толку чуть. — Педер отпустил мою руку и пошагал дальше. Я побежал следом. Прошёл ещё трамвай с такими же лицами в жёлтом мареве. — Она ни разу не вышла из дому после аварии, — сказал Педер. Теперь уже я дёрнул его за руку. — А ты откуда знаешь? — спросил я. — Вивиан сказала. — Я сглотнул. Дыхание спёрло, потому что внезапно меня поразила страшная догадка. Я отвёл глаза. Край тротуара был линией, на которой я, похоже, балансировал. — Так ты с ней? Я имею в виду — вы с Вивиан?.. — Может, да. А может, нет. — В голове у меня померкло, больше я не мог сказать ни звука, потому что, быстро сосчитал я, если Педер теперь с Вивиан, то я остался не у дел, коротышка Барнум третий лишний, он может смело идти домой, отдыхать. — Вот оно что, — выдохнул я. — Педер расхохотался: — Я не с Вивиан. Мы с *тобой* дружим с Вивиан. Ты не понял?

(диск и смерть)

В то воскресенье отец разбудил нас ни свет ни заря. — Хорош дрыхнуть в такое солнце! — заво-

пил он. Я открыл глаза медленно, хоть проснулся давно. Отец стоял в дверях в жёлтом тренировочном костюме, лишь чуточку ему тесноватом. Пахло кофе. Мама насвистывала на кухне. По коридору, держась за поясницу, прошаркала Болетта. Занавески не спасали от напористого солнца. Ну дела. Тяжело дыша, отец стукнул в ладоши. Прозвучало нелепо, как оборвавшиеся аплодисменты. А так в ушах отдавалась тишина, безбрежная воскресная тишина, потому что церковные колокола ещё не прозвонили. — Пошевеливайтесь, парни! Стадион «Бишлет» наш до часа дня — я его снял, да будет вам известно! — Иду, — сказал Фред. Я не поверил собственным ушам. — Иду, — сказал Фред. Я обрадовался, хотя занервничал. Он свесил ноги на пол и взглянул на меня: — Ты чего лежишь? — Отец хлопнул в ладоши ещё раз: — Правильно выступаешь, Фред! Поднимай Барнума! — Идём, — ответил Фред и улыбнулся. — Мы идём.

Мы облачились в шорты и майки, на улице стояла уже теплынь, а когда мы приводили себя в порядок в ванной (причём Фред, против своего обыкновения, не вызверился на меня, что я зашёл умыться одновременно с ним), Фред медленно зачесал волосы назад, но едва убрал расчёску, чёлка

скатилась обратно на лоб, я залюбовался на этот чернявый чуб, переупрямивший Фреда, и рассмеялся. Фред резко развернулся, посмотрел на меня, я замолк. Но ничего не произошло. Он глянул на меня, не уставился, что могло кончиться как угодно, а просто глянул. Я снова успокоился, даже повеселел. Потом он открыл шкаф, переворошил все тюбики, баночки и скляночки и нашёл бриолин, отцову игрушку. Отвинтил крышку, нагнулся над раковиной и выдавил на себя полбутылки. Бриолин растёкся рекой. Потом Фред втёр его в волосы, всадил расчёску в концы волос, поднял их и закинул назад. Теперь они легли, как он хотел. Чёлку точно приклепали к голове. Фред взглянул в зеркало. Улыбнулся и вытер лицо. Меня вдруг затошнило, потому что от отца обычно воняло ещё и потом, когда он появлялся дома весь в бриолине, который стекал по щекам широкими дорожками и заливался за воротник. Фред вернул бутылку на место и опять обернулся ко мне. Что-то дрожало в его глазах, то ли вечная мрачность, то ли тень от чёлки. — Что? — спросил я. Фред не шелохнулся. — Что такое? — повторил я. Фред положил обе руки мне на темечко и втёр остатки бриолина в мои кудри. — Готов? — прошептал он. Я не понял. — Ну да, готов. — Отлично!

Мы отправились на кухню и произвели немалое впечатление на маму и Болетту, в майках и шортах, унавоженные лосьоном, и вообще, у нас был тот ещё видок в то воскресное утро в конце мая, в час столь ранний, что мир вокруг ещё дремал, и сквозь завесу дикого винограда, занавешивавшего окна как гардины, сотканные из листвы, казался тихим и изумрудным. Отец уронил чашку и захохотал так, что жёлтый костюм задрался на животе и обнажил пупок, похожий на кратер на неизвестной толстопузой планете. Когда эта планета предстала нашему взору, Болетта вскочила, зажмурилась и замахала руками. — Парни, напомаживаться будем на банкет! — заорал отец. — На соревнованиях марафет не нужен! — Банкет? — переспросил я. Отец долго качал головой, а потом спросил: — Вам доводилось слышать о спортивном соревновании, не закончившемся банкетом? — Отец вправил пупок поглубже на место и огляделся. — Мне — нет. Поэтому я заказал на вечер столик на пятерых не где-нибудь, а в «Гранде». Если Болетта не собралась на Северный полюс, конечно. — Пиво найдётся и в «Гранде», — сказала мама и хитро улыбнулась нам, это было так здорово, что она со смехом прошлась насчёт Болеттиного пива,

значит, у неё хорошее настроение, она полна кротости и мягкости и в данную секунду, позабыв обо всех каверзах жизни, возможно, счастлива, расслабилась и просто живёт этим мгновением, ни о чём не тревожась; я и не помнил, когда в последний раз видел её такой, наверно, утром в день визита Педера. Болетта открыла глаза, но не села на место: — Там пиво не такое холодное, — твёрдо заявила она. Отец посмотрел на неё добро и дружелюбно: — Зато его подают в бутылках вышколенные официанты. Сядь, посиди с нами, дорогая Болетта. — Только если ты прикроешь пуп этим кошмарным костюмом! — Слово джентльмена! — засмеялся отец. Болетта нехотя села, как можно дальше от отца, но недалеко, поскольку кухня у нас была маленькая, а отец занимал большую её часть. Как выяснилось, он не пустил сегодня на самотёк ни одной мелочи. — Метание диска начинается с завтрака! — Оказалось, он посоветовался с домоуправом Бангом, бывшим чемпионом в тройном прыжке, и выведал, что великий Аудун Бойсен перед важными соревнованиями съедал два бутерброда с печёночным паштетом, три таблетки ламинарии и одну ложку измельчённой муки из водорослей, потому что для победы чертовски важно, не пе-

реедая, насытить организм всеми необходимыми микроэлементами. Морская растительность оказалась не особо аппетитной на вкус. Вроде резинового мешка для физкультурной формы. Но Фред проглотил свою порцию и бровью не повёл. Я сразу заметил, что мама обратила внимание на подозрительную сговорчивость Фреда, удивилась, встревожилась, заподозрила неладное и снова пожухла, насторожась. — Разве Аудун Бойсен не бегун? — спросил я. Отец вытаращился на меня: — Конечно бегун, Барнум. Самый сильный в мире. — Но диск он не метает? — Отец покачал головой, обескураженный моей дремучей неосведомлённостью, и пододвинул мне последнюю таблетку ламинарии. — Барнум, чем бы ты ни занимался, хоть метанием диска, хоть бегом, хоть тройным прыжком, будь ты ковёрным на манеже или воздушным гимнастом, силы ты черпаешь из одного и того же источника. — Он замолчал, тяжело дыша скособоченным носом. Опустил глаза, от воспоминаний, от весомости и торжественности момента они округлились. Я проглотил таблетку и спросил: — Откуда? — Из сердца, Барнум, — ответил он по-прежнему еле слышно. — Силы ты черпаешь из сердца. — И, утирая слёзы, он обвёл нас взглядом. — Слоновий

волос, — прошептал он. — Самая редкостная редкость. Я нашёл его здесь. — Он обнял маму и притянул её к себе. Фред потерял терпение: — Разве нам не пора? — Отец тут же вскочил: — Мы ушли! Мысленно я уже олимпиец! — Он поспешил за Фредом в прихожую. Я оглянулся на маму. — А вы с нами не идёте? — Она улыбнулась, но совсем другой улыбкой, мимолётной, нервной, скользнувшей по лицу, как ветер. — Мы не будем мешать мужским играм, — ответила она, наливая питьё в термос. — К тому же нам надо навести на себя красоту к банкету, — шепнула Болетта. — У пожилых дам на это уходит уйма времени.

Фред с отцом уже звали меня. — Беги, — сказала мама тихо, так что только я расслышал. — Беги. — Болетта закурила. Я бросился за мужчинами. Отец показал на мои ноги: — Барнум, ты собираешься метать диск в туфлях? — Фред стоял у двери. На нём были белые теннисные тапки. Они сияли белизной. Шнурки напоминали цветки. Тут я увидел, что отец прячет что-то за спиной. — Или ты думал выступать в твоих танцевальных туфлях? — Я покачал головой. Отец засмеялся и вынул из-за спины ещё одну пару теннисных тапок. Таких же новёхоньких и белоснежных. Я сел на пол и переобулся, знаете, я до сих пор

помню рифлёные подошвы, блестящие металлические ободки дырок шнуровки, мягкую резину на пятках, когда я встал в них, это было всё равно что парить по воздуху. Отец положил одну руку на плечо мне, а другую — Фреду и притянул поближе к себе нас, двух сводных братьев. — Был у меня друг, — заговорил отец. — Давным-давно, когда я ещё работал в цирке. Мы прозвали его Красным Дьяволом. Он сорвался с трапеции и погиб. И знаете почему? Потому что на нём были неправильные ботинки. — Отец вздохнул: — Придёт время, мальчики, вы меня поймёте. Но оно придёт не скоро. — Сам он был в своих чёрных туфлях. В жёлтом тренировочном костюме и чёрных туфлях. — Ну, вперёд, — дал отмашку отец.

Мне досталось нести диск. Он лежал в авоське с ручками. Фред тащил рюкзак. В таком порядке мы выступили курсом на «Бишлет» ранним утром того дня — последнего воскресенья мая. Мама с Болеттой махали в окно, мы помахали в ответ, но я нет, у меня руки были заняты диском. Отец обернулся ко мне и спросил: — Барнум, не тяжело? — Нет, — ответил я, — всего полтора килограмма. — Фред вполголоса хохотнул у меня за спиной. — Совершенно верно! Чтобы добиться большего, начинать надо с малого. — Шире

шаг! — скомандовал отец. Деревья застилала зелень. Улицы застилал свет. А город — тишина. Вдруг, как по свистку, взмыли в воздух голуби со всех крыш, и через полсекунды ударили в церквях колокола. Отец опять оглянулся: — Пойдём на службу или на «Бишлет»? — Фред ответил мне в спину: — «Бишлет». — Мы засмеялись, один за другим, и пошли на «Бишлет». Впереди отец, замыкающим Фред, посерёдке я с диском в авоське с ручками, а навстречу нам нарядные люди, с псалтырями и зонтиками, и отец — в тесном жёлтом тренировочном костюме и светлых перчатках — учтиво раскланивается с ними, здороваясь, и даёт им дорогу на крутой горке от писсуара до церкви. Наконец дошли. Гул колоколов угас. Птицы опустились на крыши, также разом. У отца оказался ключ от северного входа. Он отпер. Вошёл. Я шагнул за ним, следом Фред, потом стукнула тяжёлая железная калитка. Мы очутились в коридоре. Отец шёл медленно. У стены лежала газета. Ветер листал её. Палочка эскимо. Пивная крышка. Повеяло холодом. Мы словно бы уходили всё дальше и дальше в холодную тьму. Мне захотелось повернуть назад. Но я остался с ними. А когда мы вышли из коридора, то прямо остолбенели, все трое. Перед нами лежал стадион.

Пустые трибуны, плешивая трава и купол неба. Весь стадион был наш, но и всё солнце стеклось к нам сюда, в огромную бетонную яму. Шаги наши отдавались эхом, а слов мы пока не произносили, но тут отец обнял нас, отчего Фреда передёрнуло, такой быстрый сильный толчок, отчего, в свою очередь, вздрогнула отцова искалеченная рука на моей спине, и отец вымолвил одно только слово: — Рай! — Слово сорвалось с места, полетело по беговой дорожке, 400-метровке, и в секунду примчалось назад, чуть растянувшись, словно его скандировали трибуны: «Ра-й! Ра-й! Ра-й!». Потом всё стихло. Вслед за отцом мы вышли на поле. Он остановился у круга сухой земли. — Вот, — сказал он и ткнул пальцем. — Здесь. — Я подал ему авоську с диском. Он положил её на траву рядом с кругом, в который нам предстояло встать. Потом вытащил из рюкзачка рулетку, серебряную. Он был уже весь в поту. Отёр лоб свободной рукой и улыбнулся. — Видите? — спросил он и развернул перед нами рулетку до упора. Мы кивнули. — Фред, можешь прочесть вслух последнюю цифру? — Фред сощурился, приник поближе и ответил: — Три метра. — Отец перевернул рулетку другой стороной и спросил меня: — Барнум, а теперь, какая цифра последняя? — Я заслонил

ладонью глаза от солнца. — Два метра, — сказал я. Отец улыбнулся и не торопясь, глядя на нас, смотал рулетку. — *Mundus vult decipi,* — прошептал он. Знаете, как переводится? И сам же сообщил: — Мир желает быть обманутым. — *Ergo decipiatur;*[6] — откликнулся Фред. Отец выронил рулетку и уставился на него в немом изумлении. Он даже шагнул поближе к Фреду, не доверяя своим ушам. — Браво, Фред. *Ergo decipiatur.* Но сегодня мы никого обманывать не будем, верно? — Теперь Фред улыбнулся. — О нет, — сказал он. Отец посерьёзнел. — И не поддавайся Барнуму нарочно. Это тоже ясно? — Фред кивнул. — Мне бы и в голову не пришло, — ответил он. Отец минутку помялся в нерешительности, потом перевёл взгляд на меня. — Сегодня, парни, мы будем мерить длину по-честному, без обмана. И пусть победит сильнейший! — Отец достал из сетки диск. Он держал его в руках, как корону, диск сиял — отец надраил его. Потом мы по очереди подержали снаряд подросткового размера, весом полтора килограмма, диаметром 2,13, изготовлен из дерева, окован гладким металлическим обручем, в бока вживлены медные пластины.

---

[6] Примечания: 6
Пусть же его обманывают (лат).

Отец снял со здоровой руки перчатку и пошевелил пальцами. — К несчастью, я вынужден демонстрировать искусство метания диска левой рукой, ибо правая ампутирована фашистской гранатой. Но сперва — разминка. Вокруг стадиона — бегом марш! — И отец вытащил из рюкзака шоколадку и термос. Он грузно осел на траву, а мы с Фредом приступили к разминке. Я бежал. Фред дышал мне в спину. Но бежать он не бежал. Кстати, только сейчас до меня дошло, что я никогда не видел Фреда бегущим, он не посчитал для себя возможным спастись бегством даже от разнузданной шпаны тогда в Вике, хотя шанс был, но бегство выдало бы его страх, на бег люди переходят от тоски, паники, суетливости, нетерпения или унижения, так что Фред боялся, что бег уличит его, к тому же двигаться таким манером было ниже его достоинства, наверно. Однажды он даже сказал мне: — Бегают, Барнум, только рабы. — Я бежал. Фред шёл. Мне кажется, он хохотнул низко и ворчливо, обходя меня по соседней дорожке, по теньку, широкими, беззвучными шагами. Я поднажал и всё-таки не отстал, а затем отец велел продолжать разминку кувырками, по двенадцать кувырков вперёд и назад. Мы легли на траву и стали кувыркаться. Отец отсчитывал

каждый кувырок и смеялся. — Даже клоуны и те разминаются! — кричал он. — И дрессировщики, и даже Шоколадные Девочки! — Отец примолк, ушёл в свои мысли, закурил. Я лежал на траве рядом с Фредом и отдувался. — Ты помнишь, что я тебе обещал? — прошептал он. — Что? — Фред не ответил. Разминку мы завершили махами рук, по 24 раза. Отец поднялся на ноги и отшвырнул сигарету. — Молодцы! Парни, вы похожи на настоящие ветряки! — Наконец мы разогрелись насколько надо. Отец жестом поманил нас поближе. В левой, здоровой, руке он держал диск — Внимательно смотрите? — Мы кивнули. Отец говорил вполголоса, словно он посвящает нас в тайну, а трибуны кишмя кишат прохиндеями, за этой тайной охотящимися. Хотя на стадионе чужих не было, только отец, Фред да я. — Диск прижимается круглой стороной к внутренней стороне кисти и ладони. Вот таким образом. Ты понял, Барнум? — Да, пап. — Отлично. Потому что диск — не игрушка. — На этом месте отец вдруг сдёрнул перчатку с правой руки. Она заканчивалась заскорузлым валиком мяса, и кроме полупенька приклёпанного на место большого пальца, без ногтя, ничто не указывало на то, что прежде здесь торчали пальцы. Смотреть на такое

я не желал. Отец вложил диск в увечную руку и тут же выронил его. Фред поднял и подал ему. Отец ещё понизил голос. — На примере своего увечья я показал вам, насколько важно держать диск правильно. Барнум, соизволь открыть глаза. Пока дело не кончилось ещё одним несчастным случаем. — Я разжмурил глаза. Фред улыбался. Отец стоял в кругу. Он надел перчатку на правую руку, а диск опять держал в левой. — Я буду как будто зеркало, перед которым тренируетесь вы, — сказал он. Прокрутился два круга и резко остановился. И что меня поразило: этот жирный, грузный человек двигался грациозно, почти как балерун. Я видел, что Фред тоже впечатлен. Зато отец явно был сбит с толку. — В чём дело, парни? — спросил он. Мы промолчали. Что нам было ему сказать: что он похож на балеруна, когда вот так топчется в кругу в канареечном своём костюме? Наверно, мы могли ему это сказать, но не сказали, а молча стояли и следили за ним, очарованные. Фред сузил рот, и в глазах у него снова мерцала мрачность. Что ж он мне обещал-то? Внезапно у отца вышло всё терпение. Он заговорил в полный голос: — Растопыренными пальцами вы захватываете внешнюю часть круга. А большой палец используете как упор.

Вот так. Рука свободно опущена вниз. И следите за тем, чтобы захват диска был правильным и устойчивым. — Отец проделал ещё один, стремительный пируэт и выбросил вперёд руку, но диск не метнул. — Дальше: очень важно правильно запустить диск. Он должен разрезать воздух и вращаться вокруг собственной оси. Но ни в коем случае не болтаться! Слышите? Не болтаться! — Мы зарубили себе на носу. Диск не должен болтаться. Отец снова понизил голос: — Как мы этого добиваемся? На последнем движении вы подстёгиваете диск резко поворачивая предплечье влево, но продолжаете плавно направлять его вперёд указательным пальцем. — Он продемонстрировал нам, как это делается, но диск опять не метнул. — Но основное, — шепнул он, — всё-таки это: рукой не дёргаем, на ногах стоим устойчиво. Если у тебя неверный ритм, то, какой ты силач ни будь, всё без толку. Могу я просить обратить внимание на мои ноги? — Мы опустили глаза. — Этот круг, этот простой и непритязательный клочок земли для дискобола — арена. Здесь творит он своё представление, к восторгу публики. Смотрите в оба! — Он сделал несколько порывистых движений, согнулся, раскрутился — и диск вырвался из его руки и приземлился

далеко на поле. — Поняли? Сила рук, ног и тела должна сложиться в единое раскручивающееся движение вперёд и вверх, так, чтобы бросок оказался максимально сильным. Так, Фред, неси диск. — И Фред послушался. Подчинился. Он сходил за диском и принёс его. — А замерять будем? — спросил я. — Сперва потренируемся. Мерить будем позже. — Фред вручил диск отцу. Тот передал его мне. — Как твоя ведущая рука сегодня, а, Барнум? — Слабовата. — Отец пощупал её и улыбнулся. — Пустые отговорки. Начинай, Барнум.

Над «Бишлетом» плыли облака и тащили за собой длинные тени. Но солнце тут же выныривало опять. На стадионе жара чувствовалась сильнее, чем в других местах, его огромная лохань была до краёв полна пересушенным светом. Воздух стоял не колеблясь. Духота висела над прыжковой ямой. Мне показалось, я заметил какое-то шевеление поодаль, у раздевалок, впрочем, это могла быть птица.

Я встал в круг. Попробовал сделать всё, как отец. Расставил ноги. Отвёл назад руку с диском елико возможно. Упёр ногу в границу круга. Отец не спускал с меня глаз. Фред отступил подальше. Я раскрутился и выпустил диск. Бросок не полу-

чился. Диск потыркался в воздухе и хлопнулся перед отцом. — Не подстегнул, — вынес вердикт отец. — Барнум, ты забыл подхлестнуть диск, вот он и трепыхается, как птица с одним крылом. Фред, твоя очередь! — Фред занял место в кругу, положил диск в правую руку, пригнулся, мягко и пружинисто, и я не успел уследить, как он уже запустил диск и обернулся к отцу, пока диск ещё летел. — Фред, глаза на снаряд! По его полёту ты увидишь, в чём твоя ошибка. — Фред усмехнулся: — Ошибка? У меня? — Отец обомлел. — Фред, ты пока не чемпион мира. Например, ты переусердствовал с разбегом. Но в целом нормально.

Я сбегал за диском. Отец вынул рулетку и блокнот для записи результатов. — Начнём, — сказал он. — Но учтите: засчитываются результаты только тех бросков, когда диск упал в отмеченный сектор для метания. Понятно? — Я кивнул, хоть не знаю, так ли уж до конца уяснил себе смысл. Но было жарко. Пот лил с нас градом. Пришлось даже вытереть руки о сухую траву. Отец дышал, как паровоз, и снова обратился к Фреду: — Провожай диск глазами. Бросок не завершён, пока диск не упал. — Фред опять согласно кивнул. Отец вертел в руках блестящую крону. — Орёл, — сказал я. Фред заулыбался. — Решка, — сказал он. Отец

подкинул монетку, поймал, зажал её в кулаке, медленно раскрыл пальцы и сказал: — Первый ты, Барнум. И помни, что в этом виде спорта рост не играет никакой роли. В метании диска все равны. — Он посмотрел на меня. — Ладно, — прошептал я. Отец улыбнулся и по очереди похлопал нас по спине. — Ну, удачи вам. И пусть победит сильнейший!

С этими словами отец взял рулетку, блокнот и ручку и побрёл в сектор для метания. Встал там и приготовился ждать. Заслонился рукой от солнца. Даже до меня долетало его свистящее дыхание, он сипел, как локомотив. Фред молча стоял у меня за спиной. Рука у меня была бледная, худая и гладкая. Я метнул. Я вложил в бросок всю силу. Диск пролетел чуть повыше травы и рухнул на землю. Отец подбежал к нему, вбил колышек и замерил расстояние до круга. Потом что-то неспешно записал в блокнот. — Одиннадцать с половиной! — крикнул он. — Есть над чем поработать! Фред, твоя очередь!

И вот Фред стоит в кругу. Отец снова уходит на поле. Он занимает место левее нас, почти у самой беговой дорожки. Солнце светит ему прямо в глаза. А нам в спину. — Барнум, ты готов? — шепчет Фред. Что он имеет в виду, мне

по-прежнему невдомёк, но он и не ждёт ответа. Фред оборачивается к отцу. Тот даёт отмашку. Фред выгибает спину, по-кошачьи мягко и проворно, рука вытягивается в сторону, как провод, палец подкручивает диск, он ввинчивается в свет и усвистывает в направлении отца, который стоит против солнца в жёлтом костюме и с рулеткой в руках. Тишина нарастает. Фред провожает диск глазами. Бросок ещё не завершён. Наоборот, он только сделан и теперь раскручивается сам по себе, по своей воле, свободной, неуправляемой, но предрешённой, и траектория его уже проложена в воздухе, её определил палец Фреда, подстегнувший диск, или мастер, изготовивший этот снаряд, а может, изобретатель, первым придумавший делать диск такого веса и формы. Я провожаю диск взглядом. Он всё ещё идёт вверх. Набирает максимальную высоту и на пару секунд задерживается в потоке света передохнуть. А потом падает. Это происходит в один миг. Я вижу всё уже совершившимся. Отец заслоняется рукой от солнца. Наверно, он думает в эту обрывающуюся секунду, что солнце перестало быть зелёным, оно чёрное теперь. И диск ударяет его. Он бьёт его точно в голову, высоко в лоб, отец роняет рулетку, валится на траву и остаётся так лежать. Голуби взмывают

с крыши раздевалок. Фред поворачивается ко мне. Рот перекошен. Я хочу побежать мимо него, к отцу. Фред удерживает меня. — Стой здесь, — выдыхает он. Теперь я торчу в кругу. А Фред идёт к отцу. Мне видно, как он опускается на колени и приподнимает отцову голову. Прижимается ухом к губам. Отец говорит? Разговаривает с Фредом? Я не могу больше. Я вырываюсь из круга. Бегу к ним. Останавливаюсь за спиной у Фреда, за его сгорбленной спиной. — Что он говорит? — шепчу я. Фред опускает отцову голову. — Говорит? — повторяет он. — Думаешь, он говорит? — Фред отползает в сторону и нахохливается, он сидит на траве, обхватив колени руками, и раскачивается из стороны в сторону, наверно, так же он сидел, качался, когда задавило Пра. Я вижу отца. Макушка снесена. Лоб свёрнут на лицо. Он ни на кого не похож. Человек отлетел из него. Я не рыдаю. — Что ты наделал, Фред? — Он не отвечает, и я спрашиваю снова: — Что ж ты наделал? Фред, что ты наделал? — Фред поднимает голову. Я вижу его глаза и расползающуюся в них всё больше и больше мрачность. Но помнится мне не это. А то, что вдруг Фред улыбнулся. — Может, он просто оцепенел? — сказал Фред.

Стол в «Гранде» в тот вечер остался пуст. Отец

заказал место у окна, чтобы наш обед из трёх перемен блюд проходил у всех на виду и любой, прогуливающийся по прешпекту Карл Юхан, мог бы лицезреть нас за столом, покрытым белой крахмальной скатертью чуть не до пола и сервированным таким количеством вилок и ножей, что задействовать их все возможности не представляется, а буде попадётся наш знакомый, он встанет как вкопанный, удивлённый, восхищённый и снедаемый завистью, а мы поднимем бесчисленные бокалы, окружающие позолоченные тарелки, и чокнемся с голодным бедолагой на улице, напрасно приплющившим нос к стеклу. Но наш стол пустовал. Банкет отменился. И отец отменился тоже. Едва мы вернулись домой из больницы, в подвале которой лежал на каталке отец и не было ни смысла, ни надобности ставить ему на грудь стакан со спиртом или втыкать иголки в сердце, как зазвонил телефон. Мама бросилась к нему, словно ждала звонка о том, что всё это — недоразумение, дурной сон, запоздавшая первоапрельская шутка. Я увидел, что она вдруг покраснела. — Извините. Простите. Мы не смогли прийти, — прошептала она. Она стала слушать дальше, сжимая трубку обеими руками. Болетта, Фред и я смотрели на маму, не смея дышать. Под

конец она сказала: — Я всё понимаю. Но муж сегодня умер. — И только теперь, когда она сказала это вслух, когда сообщила метрдотелю «Гранда», что отец умер, она разрыдалась. Она бросила трубку, и мы услышали, как метрдотель рассыпается в соболезнованиях, но тут позвонили в дверь. Болетта положила трубку, продолжавшую петь голосом неуёмно вежливого метра, на рычаг. Стало ужасно тихо. Мама притянула к себе нас с Фредом. Позвонили снова. Болетта пошла открывать. Она взяла командование на себя. Она сохранила спокойствие. И у неё не дрожали руки. Это пришёл домоуправ Банг. Он поклонился через порог. — Чудовищно, — прошептал он. — Чудовищная трагедия. Особенно Фреда жалко, конечно. — Банг медленно повернулся в нашу сторону. Фред отступил назад, в тень мамы. — Что вы имеете в виду? — пожелала узнать Болетта. Банг опустил глаза: — Разве не Фред бросил диск? — Запомните то, что я вам скажу, — громко отчеканила Болетта. — Это чудовищная трагедия для *всех* нас. И *особенно жалко,* конечно, Арнольда Нильсена. Вы зачем пришли? — Банг снова нагнул голову. — Во-первых, выразить соболезнования. От имени всего дома. — Болетта кивнула: — Спасибо. Очень трогательно. Но теперь нам

хочется побыть одним. — Домоуправ Банг не уходил. Он стоял в дверях. — Чудовищная трагедия, — повторил он. — Мы знаем. Утешает то, что смерть наступила мгновенно. — Болетта попробовала захлопнуть дверь, но Банг проявил прыть. Он скользнул в прихожую, в руках у него был наш рюкзачок. — Я подумал, вам, наверно, захочется оставить это на память, — прошептал он. — Что это? — спросила Болетта, распаляясь. — Его вещи. Они остались на «Бишлете». — Домоуправ Банг стал вынимать рулетку, карандаш, блокнот, в который вписан мой жалкий результат, одиннадцать с половиной, и тут уже и Болетта утратила спокойствие, она выхватила у него рюкзак, но тот оказался слишком тяжёлым и шмякнулся нам под ноги с дребезжащим звоном. Домоуправ Банг нагнулся и подобрал диск. Болетта попятилась, не желая к нему прикасаться. Мама застонала и сильнее стиснула меня, а я понял, что этот Банг, которого Пра никогда не звала иначе как педелем, был на стадионе, он прятался всё это время в тени у раздевалок и видел всё, но что именно мог он увидеть? Он стал свидетелем несчастного случая — смерти от шального диска, он видел, что мужчина в жёлтом костюме встал на роковую точку в тригонометрии непредсказуемых

случайностей. Но и тогда Банг не выдал своего присутствия. Сидел тишком в своей засаде и подсматривал, а теперь ишь — не утерпел, не смог остаться в тени. Напугало и в равной степени поразило меня одно: во весь этот день самым глубоким, острым и исступлённым чувством, испытанным мной, оказалась ненависть к Бангу. — Куда его положить? — спросил Банг. Болетта взмахнула руками, и Банг пригнулся, решив, что сейчас его будут бить. — Оставьте этот кошмар себе! — закричала она. Банг мотнул головой. — Я не дискобол, — прошептал он. — Я выступаю в тройном прыжке. — Я разразился слезами. Фред саданул ногой по стене. Болетта подтолкнула Банга к дверям. — Полюбуйтесь, вот к чему привели ваши благие намерения! Уходите! — Тут Фред неожиданно подошёл к Бангу и встал прямо перед ним, педель совсем съёжился. И заскулил. — Спасибо, — сказал Фред. — Что? — не понял Банг, и глаза у него забегали. — Спасибо, — повторил Фред и забрал диск у Банга. Тот кивнул и задом, задом похромал вниз по лестнице. Дверь захлопнулась. Фред стоял с диском в руке. Мама отстранила меня и промолвила странные слова. Глаза у неё распухли, она показала на Фреда и сказала: — Уберите злосчастного. Прочь из на-

шего дома! — И тут же поняла, как многозначно прозвучали эти слова, брошенные в простоте, без увёрток, они рассекли воздух и ударили по Фреду, я увидел, как дёрнулась его голова, словно от боли, подобной которой я не наблюдал в нём ни разу, и как боль разошлась в улыбку. Он смотрел и смотрел на маму, в ужасе закрывшую лицо. Болетта уже обняла его одной рукой. — Она эту штуку имела в виду, сам понимаешь, — сказала Болетта и взяла диск у Фреда. Потом, в сопровождении нас всех, отнесла его на кухню и вышвырнула в окно: диск с шумом упал во двор, прямо в серёдку Бангова цветника. Потом обернулась к нам: — Всё. С этим покончено! — Тут и там в квартирах вспыхнули окна. Показались лица соседей. Уже наступила ночь. Отец умер. Где теперь его перчатки? А костюм жёлтый? Мама постаралась улыбнуться, не вышло. Она взяла Фредову руку. Его била дрожь, как будто он трясся от холода или в любую секунду мог разрыдаться. — Мне очень стыдно, — прошептал он. Фред. Фред сказал, что ему стыдно. Болетта с великой осторожностью снова приобняла его. Фред казался хрупким, как стекло. Тронь и рассыплется. Мама помешкала секунду. А потом потрепала его по волосам. Я не видел такого никогда. — Мальчик мой дорогой.

Это не твоя вина. — Она не успела договорить, как Болетта кинулась в бой. — Вина! — гремела она. — Вины здесь нет ничьей. В крайнем случае — Господа Бога, его одного! — Тсс, — шикнула мама. Но Болетте шлея попала под хвост, она ещё возвысила голос. — Пусть Бог послушает! За сегодняшний день ему должно быть стыдно! — Мама вздохнула, она стояла и перебирала пальцами Фредовы волосы, всё ещё клейкие от бриолина. — Отец вечно лез поперёк дороги, сам знаешь. Не мог постоять спокойно. Колесо, одно слово. — Болетта топнула ногой и подтвердила: — Да, Арнольд Нильсен был Колесо. — Фред посмотрел на меня и улыбнулся. — Он встал на пути, — пролепетал я. — Он всё время вставал поперёк Фредовой дороги. — Мама вздохнула и присела к кухонному столу. — Хотите лечь сегодня у меня? — спросила она. Я покачал головой и положил руку Фреду на плечо. — Я за ним присмотрю, — сказал я.

Я опускаю всё-всё, стираю, забываю и остаётся: Фред поднимается. Птицы как серая кольчуга на крыше раздевалки. Отец лежит на плешивой траве на поле «Бишлета». Фред медленно уходит к выходу, он не оборачивается, а я остаюсь стоять, один, отец не в счёт, потому что его теперь нет.

Развороченный череп. Ещё не замерший на месте диск. Кровь на его металлическом канте. Я кричу. Никто не слышит меня. Потом сирены, «скорая», носилки. Фред сидит на трибунах. Полицейский, который задаёт нам вопросы, пишет ручкой в чёрной тетради и просит говорить медленнее. Мы говорим, что отец оказался на пути. Он встал на пути, и диск угодил в него.

Я не спал. Думал о следующем дне, что, когда я завтра приду в школу, все всё будут знать, в газетах напишут, наверно, дадут фотографии «Бишлета», может, они раздобыли и фотографию отца и нас с Фредом, и жирный заголовок во всю первую полосу ДИСК СМЕРТИ. Все станут меня жалеть, не будут вызывать отвечать, не будут мучить, наоборот, завтра все будут медовые и ласковые и будут понижать голос при моём появлении, потому что я потерял отца при ужасных и трагических обстоятельствах и он умер у меня на глазах. — Аховый Спаситель, — вдруг заговорил я. Я должен был выговориться. Слова срывались сами, я не мог их остановить. — Блядский «Бишлет», вонючий говенный диск, еб его мать. — Алфавит исступления. Я стиснул зубы. Рот был полон крови. Фред лежал тихо-тихо. Но не спал. И я слышал, как возятся мама с Болеттой.

Они перетряхивали отцовы вещи. Уже приступили. Тоже не спится и неймётся. Они разбирали оставшиеся от отца вещи, и что руководило ими, когда они взялись искоренять следы его жизни в ту ночь, когда он ещё лежал в холодном отсеке больничного подвала, — любовь или же страх? — Ты слышишь? — прошептал Фред. — Угу. Мама с Болеттой выкидывают вещи. — Нет, не это. Прислушайся. — Я прислушался изо всех сил, но ничего другого не услышал. Во рту было сладко и вязко. — Отец не дышит, — прошептал Фред. — Не сопит больше носом. — Теперь и я услышал. Тяжёлое дыхание отца пропало. Фред сел. Потом встал, пересёк комнату, лёг в мою кровать и обнял меня. Мы лежали так, ничего не говоря. Вскоре угомонились и мама с Болеттой. Наверно, я прикорнул ненадолго. Не знаю. Фред по-прежнему обнимал меня. — Какое, думаешь, будет нам наказание? — прошептал он. Я не ответил. Фред умолк. К глазам снова подступили слёзы. Глаза жгло, как и рот. Какое нам будет наказание? Я вылез из кровати. Фред меня не удерживал. Я вышел в коридор. Здесь стояли отцовы вещи. Рулетка лежала на шкатулке, сбоку от овальных часов, в которых не было ни времени, ни денег. Я помню, как Педер сказал однажды, спустя много

времени после того, как его отец расчёлся с жизнью, в гараже на переднем сиденье «воксхолла», причём Оскар Миил загодя основательно приготовился: все счета оказались оплачены, подписка аннулирована, бельё выстирано: — Я никогда не прощу его. — Вот как сказал Педер. Готовился ли к уходу Арнольд Нильсен по прозвищу Колесо? Нет, конечно, кто ждёт смерти воскресным майским утром, устраивая потешные состязания на стадионе «Бишлет»? Никто. И жизнь свою он недоделал. Я заглянул к маме. Они с Болеттой уснули не раздеваясь. Хорошо хоть обувь скинули. На стуле навалены отцовы костюмы, куча, всех цветов. Чёрный, серый, синий, даже зелёный, а сверху лежал белый льняной костюм, на лакированных плечиках магазина Фернера Якобсена, не исключено, отец именно в нём собирался отправиться на банкет в «Гранд», хотя костюм наверняка стал ему маловат. Возможно, я смогу его носить, на похороны, например, надеть. Я тихо снял белый мятый костюм с плечиков. Накинул пиджак и в кармане его нашёл, тогда и там, отцову опись смехов, сделанную им на листке из Библии. Она лежала в кармане. Сперва я увидел печатный текст, из «Апокалипсиса». *И я также свидетельствую всякому слышащему*

слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей. А на обороте отец вёл свой диковинный список, заканчивавшийся словами, выведенными по-детски нетвёрдо: *есть ли смех милосердный?* Я мог бы приписать, в ту ночь мог, наверно: смех отца.

(похороны)

Народу на похороны собралось мало. Суббота, дождь. Были мы, в первом ряду. Эстер из киоска. Домоуправ Банг, севший подальше у колонн вместе с Арнесеном и его женой, маниакальной пианисткой, укутанной в огромную шубу, несмотря на июнь месяц. Больше никого в назначенный час не оказалось, не считая нескольких чужих старушек, ходивших на похороны потренироваться в ожидании своей очереди. С Севера не приехал никто. Да и не осталось никого, поди. Отцов гроб был чёрным. Я сидел между Болеттой и Фредом. Его держала за руку мама. В тот день лил дождь. Я опустил глаза. С туфель, начищенных танцевальных туфель, натекла лужа. Вдоль

правой подошвы извивался дождевой червь, он полз дальше, к цветам, сложенным на полу, перевалил через серебряную ленточку на букете гвоздик от друзей по дому. Я не мог оторвать от него глаз, от крематорского червяка, наверно, я даже прыснул, потому что Болетта резко ткнула меня в бок. К нам подошёл пастор. Он был совсем незнаком нам и тоже страшно нервничал, но в своём лапидарном завещании отец ясно и собственноручно написал, что настоятель церкви на Майорстюен, отказавший в крещении и Фреду, и мне, ни при каких обстоятельствах не может совершать ни треб, ни таинств над семьёй Нильсенов, включая сюда крестины, причастие, венчание, конфирмацию и отпевание. Выходит, отец всё же приготовился к смерти, раз он записал свои пожелания, свой список последних просьб и свидетельство: завещание и опись смехов. Пастор отпустил мою руку и потрепал меня по щеке. У него были сухие пальцы. Потом он поднялся на кафедру. Червяк уполз. Пастор заговорил о моём отце. Я высматривал червяка. Он пропал куда-то. Я оглянулся поглядеть, нет ли его в проходе, и увидел на задней скамье притихших Педера и Вивиан. Он приподнял руку и медленно помотал головой. Вивиан тоже помахала мне и чуть по-

краснела. Я так обрадовался! Мои друзья пришли. Отец умер, и мои друзья со мной в день похорон, и не страшно, что они опоздали. Я чуть не бросился к ним. Но Болетта не пустила. Пастор сказал, что отец был щедрым человеком. С родных островов на Крайнем Севере он привёз широкие горизонты. Мама плакала. Я закрыл глаза. Фред пригнулся к коленям. Болетта достала платок. Пастор договорился до чего-то странного. Он рассказывал о бакланах, огромных чёрных морских птицах, которые какают на скалы и утёсы, чтобы потом найти дорогу назад, по белым указателям из дерьма. Я открыл глаза. Пастор улыбнулся, но опомнился и вместо этого повернулся лицом к гробу, в котором лежал отец. Тот, кто однажды падал на дно моря. Кто лежал в оцепенении. Кого придавило когда-то шатром цирка. Но теперь всё кончилось. Дурно мне было от мысли, что сейчас придётся петь. Пастор своё отбарабанил. Заиграл орган. Я пролистнул тонюсенькую тетрадку, на которой поверху витиевато выведено было отцово имя, а ниже годы жизни и псалом, который будет петься. *Бог есть Бог.* Мы прочистили горло. Мы ждали. Шаркали подошвы. Капало с одежды. Зонтики сползали в проход. Горе горькое. Жидкие голоса. *Бог есть Бог, хоть люди все.* Пастор

пытался распеть нас, да сам басовитостью не отличался, голосок сухой и ровный, как бумага. *Бог есть Бог, хоть люди все.* Сиротский хор. Я слышал, что Педер пытается внести посильную лепту, но он тоже был не из капеллы мальчиков, прямо сказать. Мне снова стало смешно. И тут вступил другой голос, густой, мощный, незнакомый бас, внезапно перекрывший наше блеянье и наполнивший собой крематорий, и псалом зазвучал гордо и возвышенно. *Бог есть Бог, хоть люди все мертвы.* Я оглянулся, мама и Болетта тоже, даже Фред соизволил посмотреть, а пастор молча уставился на дверь. Там, между светом и полумраком, между витражами и дождём стоял пожилой худой человек, одетый в длинное чёрное пальто, шляпу он держал в руке, волосы были белы, как и усы, падавшие на рот и закрывавшие его, отчего казалось, будто он поёт всем телом, что он поднял псалом на руки и выводит его каждой клеточкой. *Бог есть Бог, хоть люди все мертвы.* Мы смолкли, и он допел до конца один, все-все строчки, сам себе мужской хор. Такой тишины, как потом, я ещё не слыхал. Только барабанил по крыше дождь. Шелестели цветы. Падала пыль с цветов. Замирали последние вздохи органа. Дальше я помню, когда чёрный гроб с отцом

уже навсегда ушёл под пол, что мы стоим на лестнице крематория, где составилась короткая очередь желающих выразить соболезнования, это такое звучное *не наше* слово, которым удобно пользоваться, если нечего сказать: *соболезную,* причём его можно мямлить, бормотать, шептать, чеканить, это особое, вежливое, отработанное наречие похорон, когда нет у нас другого языка, кроме молчания или вопля, потому что смущение всегда пересиливает горе, *соболезную,* сказал Арнесен, *соболезную,* повторил Банг, *соболезную,* выдохнула Эстер из киоска, и чужие старушки тоже соболезновали и плакали громче всех. Фред отошёл к ограде и закурил. Дождь кончился. Фред кинул на землю спичку и уткнулся в нас взглядом. Подошла очередь Педера и Вивиан соболезновать, они пожали руку маме, смущённые, как на танцах, в непривычных чёрных нарядах, и поскорей отвернулись ко мне, схватили мою руку. — Соболезную, — сказал Педер. — Спасибо и вам, — ответил я. — Соболезную, — сказала Вивиан. — Не откажусь. — Но ждали мы все, когда черёд дойдёт до худого высокого мужчины в усах, певца, которого никто не знал. Он выступил вперёд, глубоко поклонился, выпрямился и посмотрел прямо на маму. — Смерть никто

обмануть не может, госпожа Нильсен. Смерть великий распорядитель. — Это было странно, говорил он не тем голосом, которым пел, а слабым, запинающимся на каждом втором слоге голосом-инвалидом. Но взгляд, когда он наконец выпрямился, был твёрд, как и раньше, глаза не мигая смотрели с худого лица, а усы топорщились под носом, как щётка. Он схватил за руку и Болетту тоже. — У меня много имён, но Арнольд Нильсен знал меня как Мундуса, директора цирка. — Сперва Старый пастор пел этот псалом, чтобы оживить отца, потом сам отец пел его, одолевая под парусом стремнину в Москенесе, а теперь директор цирка Мундус пропел его на похоронах отца: круг замкнулся. *Бог есть Бог.* Но тут мы услыхали страшный удар на парковке, и прежде чем я увидел, что там, Педер спрятал лицо в ладони и заскулил, как собачонка. Прибыл его папа. Он выбрался из содрогающегося «вокс-холла» и побежал к нам, зажимая под мышкой букет и на ходу сбавляя скорость, пока не замер перед мамой, ловя воздух. — Покорнейше прошу простить, — прохрипел он. — Эта пародия на автомобиль заглохла на площади Солли, так что я даже не смог подвезти ребят. — Педер зажмурился и запрокинул голову. Вивиан чуть не лопалась

от смеха. Фред подошёл поближе. Папа Педера вручил моей маме цветы и неожиданно сделался торжественным. — Я отец Педера Миила. Ваш муж произвёл на меня сильнейшее впечатление. — Мама посмотрела на него изумлённо. И улыбнулась. Она улыбнулась всем, и меня больно поразила мысль, что я никогда не видел её такой — да! — счастливой, как в эту минуту на лестнице крематория Вестре, я повнимательнее вгляделся в её лицо, не обознался ли я, не гримаса ли его исказила, но нет, она улыбалась, и не знаю почему, но мне стало за неё стыдно. Фред вдруг подошёл к Вивиан. — Огня нет? — спросил он. Вивиан быстро качнула головой и отступила. Вот что должно было меня насторожить, вот куда мне надо было смотреть и о чём заботиться: как Вивиан качнула головой и попятилась, а Фред сделал шаг за ней, он держал пальцами дождевого червяка, но потом притормозил, остановился и ушёл в другую сторону, мимо станции, через пути, прочь. Но я вместо этого смотрел на мать. Она стояла между отцом Педера и тем, кто назвался Мундусом. — Мне хотелось бы, — сказала она громко, — чтобы вы вместе с нами отправились в ресторан «Гранд» помянуть моего покойного мужа.

До Карл Юхан мы добрались на двух такси,

потому что папа Педера оставил свой «воксхолл» на стоянке, не стал рисковать, вдруг снова заглохнет, тем самым он стал вообще, я думаю, единственным в истории уникумом, у кого за нарушение правил парковки отбуксировали машину из крематория, как будто покойник приехал на собственные похороны, поставил машину на стоянку и забыл её там на веки вечные. Наконец, мы добрались до «Гранда», нас посадили за дальний стол у окна, и те, кто проходили мимо в этот субботний вечер в начале июня, когда облака развиднелись и солнце засияло на мокром асфальте, могли бы подумать, что у нас праздник, мы отмечаем круглую дату или юбилей, и от этой мысли я, сидя между Педером и Вивиан, впал в тоску, меня охватило безумное одиночество, потому что мы знаем друг о друге лишь то, что видим, а видимость обманчива, мы утыкаемся с лупой в сучок на дереве и не замечаем леса вокруг, мы разобщены, каждый сам за себя, а как наблюдатели — беспомощны, у нас не хватает терпения, о других мы знаем мало, о себе и того меньше. К нашему столу потянулись вереницей официанты с «Наполеоном», кофе и ликёром, неуёмной вежливости метрдотель рассыпался мелким бесом, Болетте принесли холодное пиво

в бутылках, домоуправ Банг ел двумя вилками, Арнесен курил сигару, Мундус отжимал усы в салфетку и лил ликёр в кофе, папа Педера тёр очки, Эстер попросила ещё ликёра, Фред отсутствовал, а мама, наша мама Вера растворилась в заботах и хлопотах, пребывая на грани то ли нервного срыва, то ли глубокой радости, и вдруг я понял её и немного успокоился: всё-таки мы не совсем одни, а это её единственный шанс устроить праздник, самый последний и, может быть, самый лучший, в честь Арнольда Нильсена, средоточие праздника — сама мама, непререкаемая и несломленная, а поминки превратились в банкет в ресторане «Гранд», за столиком у окна. Педер нагнулся ко мне: — А где Фред? — Но отец шикнул на него, потому что человек, назвавшийся Мундусом, поднялся и собрался сказать речь, и весь ресторан словно бы затих, чтобы лучше слышать слова этого незаурядного худого господина. Он начал: — Я благодарю за то радушие, с которым меня привечают здесь. И надеюсь, что в той же мере довелось испытать его и Арнольду Нильсену, когда он Бог знает сколько лет тому назад пришёл в мой цирк. Он явился как ангел. — Мама снова заплакала, и Мундус бережно положил руку ей на плечо. — Я говорю сегодня от имени всего цирка, и самого

высокого человека в мире, и Шоколадной Девочки, и портних, и клоунов, и музыкантов, от имени их всех я обращаюсь сейчас к Арнольду Нильсену, хотя почти все они давно умерли, а сам мой цирк закрылся и от него остались одни воспоминания, зыбкие, как полоса на опилках, сдуваемая первым же порывом ветра. — Вдруг он засмеялся своим словам. *Чёрным смехом,* как написал отец. Я вслушался. Отец прав. Смех был чёрным, как песня, он блестел, как чёрный мрамор. А Мундус внезапно обратился ко мне. — Ты похож на отца, — сказал он. Я опустил голову. Я не желал быть похожим ни на кого. И меньше всего на отца. — Как тебя зовут? — Я снова поднял голову. — Барнум, — шепнул я. Мундус расплылся в долгой улыбке: — Барнум, само собой. Ещё бы! — Ему пришлось стереть по слезинке в каждом глазу, а управившись с этим, он перевёл взгляд дальше, на Педера. — А ты брат Барнума? — Педер чуть было не расхохотался, но справился с собой. — Не-ет. Я просто Педер. Педер Миил. Друг Барнума. — Мундус снова посмотрел на маму: — Разве у Арнольда Нильсена не два сына? — спросил он. За столом повисла тишина. Во всём ресторане не раздавалось ни звука. Метрдотель застыл посреди зала, официанты остановились:

кто с подносом, кто с меню. И мама словно бы только в эту секунду обнаружила отсутствие Фреда, лицо у неё скукожилось, точно лист или шёлк, и она посмотрела на меня: — Где Фред? — Шляется, — прошептал я. Мундус всё стоял. Нас охватило беспокойство, спрятать которое никто не мог. Снова легла тишина, и Мундус разорвал её. — Арнольд Нильсен носил мой багаж, мой самый дорогой чемодан. Я скоро потерял Арнольда из виду. Но не забыл. — Мундус поклонился и вышел из-за стола. Сперва мы решили, что он в туалет или забыл что-нибудь в гардеробе. Но потом увидели его за окном, на улице: человек, назвавшийся Мундусом, пересёк Карл Юхан, не оглянувшись, и пропал с наших глаз. Больше мы о нём никогда не слышали и постепенно стали думать, что он нам привиделся, что его не было на свете, а мы сочинили его сами, рассказывая друг дружке. — Фуф, — шепнул Педер. Метрдотель принёс счёт. Мираж рассеялся. Это поминки, а не банкет. Мы выбрали неправильное место. Мы, со своей неизбывной тоской, сидим, как в клетке на выставке. Кто-то остановился на тротуаре, тычет в нас пальцем и хохочет. Мама поднимается, бледная, одуревшая, мы поднимаемся тоже. Мы уходим. Но в гардеробе она поворачивается к

папе Педера и спрашивает: — Вы знали моего мужа? — Он прокашливается и говорит: — Мы встречались лишь однажды, по делу. Но он произвёл на меня сильное впечатление. — Мама поражена: — А где вы встречались? — Он приходил ко мне в магазин. Приносил на продажу старинное письмо из Гренландии. — Болетта шумно хватает ртом воздух, это похоже больше на стон, она приваливается к прилавку, гардеробщик думает, что старуха теряет сознание, и подхватывает её, но Болетта отпихивает его зонтиком. — И письмо это ещё у вас? — спрашивает она вкрадчиво. Оскар Миил качает головой: — Нет, я тут же продал его дальше, за границу. На такие вещи огромный спрос. — Мама улыбается. Пытается улыбнуться. — Да, забавно, — говорит она. — Спасибо. Спасибо вам всем.

Мы выходим. Идём домой. Мама спит двое суток. Болетта пропадает на Северном полюсе, заливает холодным пивом бушующую в ней ярость. Я лежу в нашей комнате, жду Фреда. И думаю о странной цепи событий, звено за звеном дотянувшейся до того, что я здесь лежу и думаю эти думы. Сперва я поступил в школу танцев и там познакомился с Педером и Вивиан, меня выгнали на первом же занятии, но признаться в этом маме

духу не хватило. Потом отец втихаря продал папе Педера письмо с гренландской маркой и умер от удара диском в голову. А сегодня его похоронили и разоблачили, это он своровал письмо, наше письмо, и загнал его. Одно тянет за собой другое, и нельзя понять, с чего цепочка начинается, как тень, расползающаяся на всё вокруг, медленно, но непреложно, как лужи вокруг ботинок, сливающиеся в море на полу крематория, в зеркало, в которое можно смотреться, зашнуровывая ботинки и следя глазами за уползающим дождевым червём. Виноват отец. Так я постановил к тому моменту, как распахнулась дверь и тихо вошла Болетта. Она думала о нас, отходя у себя на Северном полюсе, и мысли наши текли по одному руслу, а теперь Болетта присела на мою кровать. От неё разило пивом. Она прислушалась к моему дыханию. — Так что извините меня, — зашептала она. — Что я подумала, что вы взяли письмо. — Да ладно, — тоже шёпотом ответил я. Болетта коснулась рукой моего лба, как будто проверяя, не заболел ли я. — Ты как? — спросила она вдруг. Я засмеялся. Смешной вопрос! Болетта сама хихикнула. — Соболезную, — сказал я. Болетта ещё хохотнула, но вдруг замолчала, как будто кто-то вырезал смех из сцены. — Я

серьёзно спрашиваю, Барнум, — сказала она, помолчав. — Как ты? — У меня не было готового ответа. Я не знал, как я, но теперь послушно заглянул себе в душу, честно стараясь найти в себе что-то подлинное. — Я злюсь, — шепнул я. — Я тоже, — откликнулась Болетта. — И мне страшно. — Нам всем страшно, Барнум. — Но ещё я чувствую облегчение, — выговорил я едва слышно. — Имеешь право, — сказала Болетта. Я едва не плакал. Зарылся лицом в подушку. — И это всё во мне сразу, — рыдал я. — Хорошо, Барнум, что у тебя такие разные чувства, — сказала Болетта, выпрямляясь. — Есть из чего выбрать! — Она стала почёсывать мне спину. Она знала, что я это обожаю, пусть я давно взрослый для такого. — Хочешь поспать у меня? — спросила Болетта. — Нет, спасибо, — шепнул я. Болетта скользнула к двери. И тихо исчезла за ней. Потом пришёл Фред. Он беззвучно прикрыл дверь и лёг не раздеваясь, молча. Уже светало. Я подумал, не спал ли всё-таки, не приснились ли мне все мысли и разговоры — хотя кто-то же чесал мне спину? — Письмо взял не ты, — шепнул я. — Спасибо, что сообщил, Барнум. А то мне было померещилось, что я. — Он замолчал. Кулаки подрагивали. — Ты так подурел из-за смерти этого папаши своего или как? — Это

он сделал. Отец, — сказал я. — Он продал письмо папе Педера. — Фред улыбнулся. — Неси Талмуд, — сказал он. — Талмуд? — Не гнойсь, Барнум. Ты меня понял. — Я поднялся и достал с нашей полки «Медицинский справочник норвежской семьи». Он стоял между атласом и «Кто. Что. Где». — Открывай *погребение.* — Я тебя прошу. — Барнум, сейчас ты будешь делать только то, что я велю. — Я повиновался. Сел в кровати и стал листать. *Погребение* шло после *Оплодотворения.* Я стал читать *Оплодотворение,* чтобы потянуть время. Фред поднял руку. — Барнум, у меня лопается терпение. — Я быстро скользнул глазами вниз страницы. *Погребение.* — Нашёл, — шепнул я. Фред застонал: — Потрясающе. Теперь читай громко и медленно. А потом — спать. Уговор? — Я начал читать: *Погребение — закапывание трупа в землю для его разложения и превращения в перегной. Разложение происходит благодаря деятельности особых бактерий, обитающих в окружающей труп земле. Если почва песчаная и пористая, разложение происходит за несколько лет, если глинистая, процесс растягивается на 20 лет и более. Если бактериальные свойства земли, с рассматриваемой точки зрения, велики особенно, труп не разлагается, а превращает-*

ся в жироподобную массу, имеющую название «трупный воск». Я не стал читать дальше. Следующая статья была *Разум, см. Сознание, Череп.* Я лёг. Фред скинул ботинки. Развиднелось. — Что за девочка? — спросил вдруг Фред. — Какая девочка? — Какая? Разве на похоронах Арнольда Нильсена были толпы девочек? — Я зажмурился. И прошептал: — Вивиан.

Через два месяца матери пришло письмо, сильно помрачившее её рассудок Из пансиона Коха. Счёт. Такой длины, что трудно поверить. За четырнадцать лет проживания. Мама медленно вчитывалась. Она довела палец до конца счёта и побелела до корней волос. Передала письмо Болетте. — Четырнадцать лет! Он сохранил за собой комнату у Коха и после нашей свадьбы, — прошептала мама, будто это дошло до неё лишь сию секунду. — Он сохранил её за собой даже после смерти, фигляр коварный! — откликнулась Болетта. Она вскочила, разъярённая и крикливая: — Так, мы немедленно идём туда! Он мог спрятать деньги там! — Болетта стащила маму со стула, и обе разом посмотрели на меня. Я стоял у двери, всё видел, всё слышал. — Можно мне с вами? — Нет, — ощерилась мама. — Можно, — улыбнулась Болетта. — Тебе не вредно узнать,

что за человек был твой отец.

Как бы то ни было, но, зайдя предварительно в банк на Майорстюен и сняв со счёта Болетты всё, что оставалось от госпенсии от Телеграфа, мы втроём пошли в пансион Коха в начале Бугстадвейен. У самых дверей маме изменило мужество, она передумала и решила вернуться домой, к Фреду. Но Болетта не оставила ей выбора. Она толкнула дверь, впихнула маму внутрь, и мы поднялись по крутой лесенке к стойке. За ней стояла дама с едва разлепленными глазами. Увидев нас, она подняла одно веко. — Чем могу помочь? — спросила она. Болетта опёрлась руками о стойку. — Я скажу тебе чем, пансионная мышь. Нам нужна комната Арнольда Нильсена. — Он переехал. — Болетта улыбнулась: — Можно сказать и так. Но комнату он вряд ли забрал с собой? — Он переехал, — повторила женщина. — Он умер, — отрезала Болетта. Мама нагнулась к стойке. У неё тряслось лицо. — А он часто бывал здесь? — прошептала она. Женщина повела плечами с усталым видом. Мама спросила ещё тише: — Он жил здесь с кем-то? — По лестнице спустилась пара постояльцев, не грешивших трезвостью. Мама закрыла мне глаза ладонью. Я услышал, как их смех исчез за дверью. — Мы мо-

жем наконец увидеть комнату? — пророкотала Болетта. Женщина обрела дар речи: — Зачем? — Болетта так стукнула по стойке толстым пакетом, что дама вздрогнула. — Вот плата за 4 982 дня. В нашей семье принято платить по своим счетам. Дай ключ! — И дама сняла с доски ключ от номера 502 и выдала его нам. Мы поднялись на три этажа. Комната 502 располагалась в самом конце коридора. — Жди здесь, — велела мама мне. Они с Болеттой миновали все комнаты. Я тихо крался за ними. Я должен был увидеть и услышать всё сам. Болетта дала ключ маме, но та не пожелала брать его и кинула обратно Болетте, которая вставила ключ в замок повернула, затаила дыхание и медленно распахнула дверь.

Что они думали увидеть? Разверзшуюся гробницу? Арнольда Нильсена, пойманного на месте преступления *post mortem?*[7] Комната была пуста и прибрана. Кровать застелена. Занавески задернуты. Мрак стоял неподвижно. Пахло комарами и долгими отпусками. Болетта первой вошла внутрь. За ней бросилась мама. Я остался стоять на пороге отцовой комнаты. Мама как-то не знала, что ей делать теперь. Болетта сделала все сама.

---

[7] Примечания: 7
После смерти (лат.).

Она выдвинула ящик прикроватной тумбочки. В нем лежала только истрепанная Библия. Она быстро пролистала ее, видимо, в надежде найти что-то, спрятанное между страниц. — Он даже из Писания вырывает страницы, — вздохнула она. Мама оглянулась на меня, но промолчала. А потом распахнула шкаф — пусто, только качаются плечики на металлической штанге, поднимается и оседает пыль. Стоя на пороге, я думал о лесе, что мы пробираемся через чашу и нам надо раздвинуть ветки, снять паутину и примять крапиву, чтоб рассмотреть что-нибудь. Я закрыл глаза. — Есть что-нибудь? — спросила Болетта. Я открыл глаза. Мама качала головой. Болетта опустилась на четвереньки и стала осматривать пол. Потом взялась за матрас. Подняла его. Не успокоившись, достала маникюрные ножнички, разрезала обивку, просунула в него руку и стала искать там. Мама зашлась от хохота. Она смеялась громко, делано, и Болетта в ярости повернулась на смех: — Ничего смешного нет! — Ты правда думаешь, что Арнольд Нильсен спрятал деньги в матрасе? — спросила мама. — Ничего нельзя знать наперёд наверное, — ответила Болетта, поджимая губы. — И перестань так отвратительно смеяться! — Но мама всё смеялась и смеялась.

Не знаю, что на неё нашло. Под конец она села на кровать. — Болетта едва успела выдернуть руку из матраса, а потом села рядом с дочкой и засмеялась тоже. Да, они сидели и смеялись. Я был сбит с толку. Какой смех этот? Они сидели рядом на зелёной кровати и хохотали, безысходно, они поддерживали друг дружку, чтоб не скатиться от смеха на пол, наверно, им не оставалось ничего другого, как смеяться, если они не хотели рыдать. — Еблячий матрас, — сказал я. И тут же с силой прикусил язык. Давно я не ляпал глупостей. Мама с Болеттой посмотрели на меня. Но смеяться не перестали. Может, слова остались в моей голове? Может, я разговаривал внутри себя и получился такой задом-напередский язык, пасьянс как будто? — Еблячий матрас! — закричал я и тяжело шагнул в комнату и ткнул в узенький шкафчик за дверью. — Вы там не посмотрели, — сказал я. Стало тихо, смех съёжился до полуулыбочек, ямочек на лице. Я показал на шкаф снова. В конце концов, мама встала с кровати, подошла к шкафу за дверью и распахнула его. В нас ударил клубок тёплой темноты. В шкафу стоял чемодан, чёрный чемодан, опоясанный толстой бечёвкой. Он не был набит, потому что мама, как нечего делать, подняла его и положи-

ла на кровать. Бечёвка лопнула, едва Болетта потянула за узел, и он отвалился, как засохший лепесток Заперт чемодан не был. Мама откинула крышку. Пустота. Изорванная Библия, пыль и пустой чемодан, вот и всё. — Ну и ну, — сказала Болетта. — Больше и правда ничего? — Мама хлопнула крышкой. — Не будем брать, — вздохнула она. Тогда я сделал ещё шаг к ним. — Мне он нужен! — Мама повернулась ко мне и долго молчала так, держа руку на крышке, пальцами, перепачканными пылью. Потом кивнула, опять вздохнув: — Если он тебе так нужен…

Мы вышли. Я нёс чемодан. Болетта заперла за нами дверь. — Теперь мы закрыли эту комнату навсегда, — проговорила она. Ни разу с тех пор мама не упоминала комнаты 502 в пансионе Коха. Даже когда я сам, многие годы спустя, в другой жизни, спросил её, чем, она думает, отец занимался в той комнате, всего в нескольких кварталах от дома, она ушла от разговора. Только прижала палец к губам, сперва моим, потом своим, и улыбнулась. — Это забыто, — прошептала она. — Помни, Барнум. — И я не могу забыть. Я не могу ничего выбросить из головы. А умею только складывать в неё и прибавлять. Такая у меня натура. Придёт время, я сам поживу в пансионе

Коха. Это случится не скоро. Я потребую дать мне комнату 502. Упаду, почти без чувств, на зелёную кровать и попытаюсь представить себе, о чём мог думать отец, когда он валялся здесь, вперившись в этот же самый белый потолок Но фантазия не работает. Я кричу, зову Фреда. В голове одна-единственная мысль: все здесь обманщики.

Эстер высунулась из киоска, поздоровалась с мамой и с Болеттой и задержалась взглядом на чемодане, который я нёс. — Барнум, ты, часом, не собрался уезжать от нас? — Я собрался домой, — сказал я. А там тот же вопрос мне задал Фред, когда я запихивал чемодан под кровать. — Ты наверняка в нём поместишься, — сказал он. — Если ляжешь по диагонали. — Фред засмеялся. — Тогда я смогу тебя таскать. — Я посмотрел на него. И сказал: — Теперь отец мёртв.

Отец не лишился своего прозвища даже на надгробии. Арнольд Колесо Нильсен, выбито на нём. Я давным-давно не был на могиле, и прошло много времени, прежде чем я сходил туда первый раз.

(наказание)

Фреда избили. Отметелили так, что мы едва узнали его. Он ходил в «Марки Миила» за грен-

ландским письмом. Папа Педера рассказывал потом, что Фред не мог поверить, что письмо исчезло бесследно, поскольку немец, купивший его у Миила, продал письмо дальше, какому-то заграничному коллекционеру, имени которого папа Педера не знал. Фред просто-напросто отказался поверить в это. Чтобы выкупить письмо, он долго копил деньги, уж не знаю как, хотя некоторые подозрения у меня имеются. И вдруг всё оказалось напрасно. Фред впал в неистовство. Он выволок папу Педера из-за прилавка, угрожая запереть в задней комнате, и перерыл все до единого ящики, шкафы и папки во всём магазине. — Страшно мне, собственно говоря, не было, — рассказывал папа Педера. — Я помнил его с похорон, и Педер кое-что о нём рассказывал. Единственно я переживал, что он испортит что-нибудь. — Однако у Фреда не было в мыслях устроить погром, а то бы Оскару Миилу осталось только закрыть магазин и уйти на блошиный рынок. Но Фред ни зубчика не помял, ни конверта не погнул. Его интересовало лишь гренландское письмо. Он не нашёл его. Письма в магазине не было. В конце концов Фред это осознал. Тогда он сел на стул и спрятал лицо в ладонях, он был подавлен, смущён и зол, как я думаю. Папа Педера предложил ему взять бесплатно

набор марок. Фред не прельстился этим. Посидел ещё какое-то время. Потом вскочил. — Сколько он получил за письмо? — спросил он. — Этого я сказать, к несчастью, не могу, — ответил папа Педера. — Понятно, — сказал Фред и посмотрел на него. — Это было меньше того, что можно получить за шведскую одношиллинговую марку, но больше, чем за датское первое гашение. — Фред по-прежнему не сводил глаз с папы Педера. — Шведская одношиллинговая марка стоит десять тысяч крон. А датское первое гашение уходит тысяч по восемь. — Фред помолчал. — На деньги мне плевать, — сказал он наконец. — Хорошо, — сказал папа Педера. — Деньги не главное. — На деньги мне плевать, — повторил Фред. — Я хотел узнать, за сколько он нас продал. — Папа Педера обомлел. — Колы хочешь? — спросил он. Фред дёрнул рукой. — А ты сколько заработал на письме? — Папа Педера покачал головой: — По правде сказать, один пшик. Если всё подсчитать, мне осталось пятьдесят крон. И шестьдесят из них ушли на налоги. Другими словами, я потерял на сделке десять крон. — Зачем тогда ты купил письмо? — Потому что мне плевать на деньги. — Фред улыбнулся. Папа Педера открыл дверь и спросил уже уходившего Фреда: — Можно задать

тебе один вопрос? — Фред остановился, спиной к нему. — Почему тебя так заело это письмо? — Фред дёрнул плечами. — Я его люблю, — ответил он. Фред нравился Миилу всё больше. — Так же и со мной. Будь моя воля, я б не расстался ни с одной маркой. Но тогда пришлось бы закрыть магазин. — Фред уже стоял на улице. — Передавай привет маме. И Барнуму. — Вряд ли, — ответил Фред. — Всего хорошего.

Но вместо того, чтобы подняться на площадь Соллипласс и сесть там на трамвай до Майорстюен, что было самой короткой дорогой домой, Фред пошёл вниз, к железнодорожным путям и мостам. Он углублялся в нехороший, отпетый район, границей которого с юга служит Мюнкедамсвейен, на востоке же — улица Арбина. Ума не приложу, зачем он туда сунулся. Может, хотел напрямки выйти к гавани. Может, перенервничал и не заметил, куда свернул. Не в добрый час забрёл он в эти джунгли. Потому что у первого же моста, где колючка над ржавой сеткой забора отбрасывает тень, похожую на зыбь на воде, а от валяющегося вдоль рельсов мусора идёт тяжёлый зловонный дух, маялась скукой шайка из четырёх парней: заняться им, кроме как слюнить папироску, было решительно нечем, ибо идти

домой харчить вчерашние остатки под ругань и вопли не хотелось, а для нормальных дел время слишком раннее. И тут такой подарок: они видят Фреда. Тощий Фред в тесных брюках выходит из-за угла и идёт в их сторону, сами небеса послали им этого чужака, вторгшегося на их территорию. И Фред тоже видит их, он сбавляет шаг, немного, чтоб они не заметили, но не поворачивает назад. Он мог бы дать дёру, показать им спину и сбежать, но нет, он продолжает путь, их четверо, они все в тёмном, чёрном, лица бледные, у одного, самого маленького, что стоит впереди всех и улыбается, под глазом фингал, ещё двое причёсываются — они медленно расчёсывают волосы, словно готовясь к гулянке, так и есть, сейчас повеселятся, они вдумчиво работают расчёской и не спускают глаз с Фреда, он замечает всё: как резко вспыхивает на солнце металл — может, кольцо от ключей, может, кастет, — один напряг шею, у другого дрогнул уголок рта, а позади всех стоит верзила, он не обращает на Фреда внимания, ему это неинтересно, с высоты его-то взрослости, но именно он, когда Фред поравнялся с ними, выпростал руку, швырнул на асфальт окурок и сказал: — Много нынче дряни на улицах. — Фред вынужден остановиться. Он

останавливается. Они обступают его. Коротышка моргает пострадавшим глазом, и по распухшей щеке стекает тёмная полоса. — Ой, — говорит он. Двойняшки смеются над ним. Они вроде бы не угрожают Фреду. Если б кто-нибудь увидел их сейчас, из окна ближайшего дома, к примеру, он бы, скорей всего, принял их за пятерых закадычных друзей, которые стоят и треплются о каникулах, девчонках, тренировках и боях и как можно приработать на механическом, петушатся друг перед дружкой в бликующей дымке жёлтых послеполуденных теней. Но Фред понимает, что к чему. Он стоит среди них и чувствует горячее быстрое дыхание. Ему ясно, что у них на уме. Что он попал в переплёт. Ошибся с улицей. Теперь ничего не изменишь, что бы он ни делал, чего бы ни говорил. Он враг. Под ними проезжает поезд. Мост дрожит. Отдаётся в подмётки. Фред уже разобрался в раскладе. Это несложная задачка. Только от знания этого ему ни тепло ни холодно. Говоривший — вожак. По-настоящему опасен коротышка с подбитым глазом. Двое других просто сбоку припёку. Они причёсываются. — Много нынче дряни на улицах, — повторяет коротышка, самый опасный из всех. — Вижу, — говорит Фред. Они подступают ближе. — Ты это

нам сказал? — Фред улыбается, обводит шатию взглядом и считает: — Один, два, три, четыре. Четыре дряни. — Делается тихо. Всего на один миг. Тишина эта не настоящая. Фред чувствует укол в спину, но не оборачивается. Вожак берёт Фреда за плечо. — Приберёмся? — спрашивает он. Фред не отвечает, да это и не вопрос. Возможно, он сам стремился к этому — чтобы они отобрали у него деньги, собранные на письмо, может, ему казалось, так легче будет примириться с тем, что он опоздал выкупить письмо у Миила. Но им и в голову не приходит, что у него могут оказаться другие ценности, кроме расчёски и зажигалки. Они уводят его к насыпи у путей, высокий забор загораживает её от ближайших домов, здесь сидят со своими бутылками пьянчуги. Увидев, кто пришёл, они скоренько расползаются. Фред ждёт. Но пока никто ничего не совершает. Где-то зовут домой детей. Хлопает окно. Четвёрка приходит в медленное движение. Они считают. Отсчитывают секунды. Секунды до следующего поезда, он идёт по расписанию, пыхтение приближается из туннеля, мимо стучат грузовые вагоны, в их грохоте они бьют, первым — коротышка, он молотит кулаками оголтело и нерасчётливо, но достаёт лишь несколько раз, бля! — кричит он, но никто

не слышит его слов, тогда он изготавливается и лупит кулаком прямо Фреду в лицо, в зубы, как будто гвоздь заколачивает, и в эту минуту проезжает последний вагон, тишина падает, как прохладная тень, Фред стоит, руки по швам, из губ сочится кровь, кровь и грязь, так ему кажется, грязь и кровь, рот разворотило, но внутри месива видна улыбка, Фред улыбается и стоит. Коротышка, зверёныш, вытирает руки о траву и стонет. Он стонет. Вожак упирается во Фреда глазами, он огорошен как будто даже больше, чем озлоблен, но потом улыбается в ответ, и тут их ослепляет солнце. В другом направлении идёт локомотив, входит в сердце, толкает кровь, заглушая боль, и теперь бьют двое пристяжных, Фред видит окна, они проплывают мимо, как в кино, в них кто-то таращится, пассажиры, которые думают, что им всё привиделось, Фред слышит гудок, похожий на тонкий блестящий рельс звука, проложенный в воздухе. Фред стоит. Руки по швам. Он не чувствует своего лица, оно как маска. Он почти не видит. Но улыбается разбитым ртом. От этой улыбки зверёныш сатанеет окончательно. Он выдирает доску из забора, кидается на Фреда и лупит его доской по затылку. Фред зашатался, отступил на шаг, но устоял. — Вау, — шепчет он и выдавлива-

ет из себя смех. Изнутри лба поднимается волна, чёрная волна. Звуки стихают, только она плещет в голове. В доске оказался гвоздь, гнутый, ржавый гвоздь. Коротышка порывается ударить ещё раз. Он не помнит себя уже. Но вожак не позволяет. Четвёрка отступает. Получается, они спасаются бегством. Получается, они струхнули. Они видят, что Фред шатается, но стоит, это уму непостижимо, неправильно, не по-человечески, он должен был бы валяться, умолять о пощаде, тогда они, может, подняли бы его, не дали ему умереть, но Фред — стоит, он стоит и смеётся. Коротышка замечает кровь на доске, которую держит в руке, и отшвыривает её подальше. Вслед за остальными перелезает через забор. Фред медленно поднимает руки.

Я слышу, как завывает Монтгомери. А когда он завывает, то поднимает на ноги весь город, спящих и неспящих. Монтгомери голосит, как взбесившийся петух, и давно не отличает день от ночи. Он ползёт вдоль путей в своей длинной шинели, он плачет и голосит, этот старый, ненормальный солдат, он всё ещё на войне, потому что её он носит в себе, а рассудок оставил в сорок четвёртом в Нормандии, в душе его зияет окоп, а в сердце насколько хватает глаз раскинулся

залитый кровью берег. Поэтому каждую ночь Монтгомери поднимает крик, будя мёртвых. Он ложится рядом с Фредом, который теперь откинулся на редкой, коричневой траве. И Монтгомери бережно приподнимает его голову и вливает глоток горячительного в рану на месте рта. Монтгомери плачет, он кричит, причитает и шепчет. — Не бойся, мальчик, — шепчет он. — Союзники на подходе.

А я танцую с мамой. Она разгреблась в гостиной, и в нашем распоряжении весь пол. Мы танцуем, а Болетта придирчиво следит за нами с дивана. Я крепко держу маму и провожу её в танце через всю комнату, из угла в угол, и назад. Болетта морщится недовольно: — Ты хоть чему-нибудь у Свае научился? — спрашивает она. Мама смеётся и прижимает меня к стене: — С Вивиан он, верно, танцует получше, — говорит она и чмокает меня в щёку. Болетта сменяет маму. Теперь мама садится на диван перевести дух. А я танцую с Болеттой. Она тащит меня за собой. Она качает головой и говорит: — Ты забыл, что я объясняла тебе, кто должен вести? — Нет, конечно, — отвечаю я и тяну Болетту, я твёрдо веду её жёсткой рукой, и постепенно она начинает улыбаться: — Так-то лучше, Барнум! Ты немного неуклюж, но это не

беда! — И так, танцуя, мы проводим весь вечер. Мы по очереди присаживаемся отдышаться, и наконец мама кружит с Болеттой, они похожи на двух старых смешливых последненьких засидух, которых отродясь не приглашают кавалеры, потом в радио кончается музыка, и мы идём спать.

Фред приходит далеко за полночь, под утро, жидкий свет дрожит в комнате. Я спал, и мне снился странный сон. Будто я лежу в том гробу, который приносил Фред. Причём лежу не один. Вивиан обнимает меня. Нам тесно, но это пустяк. Вивиан ведёт рукой вниз по моему животу. Значит, мы ещё не умерли. Она берёт мою руку и кладёт её туда, где ей приятно, я глажу там пальцем. Кто-то стучит в крышку. Мы делаем вид, что не слышим. Я помню, что мне интересно узнать, кто стучит — Педер или чужой? Посреди этого сна я вдруг просыпаюсь, и Фред уже дома. Я вижу его. Он лежит спиной ко мне. У меня мокро на животе. Фред ничего не говорит. Я вытираюсь одеялом. — Ты где был? — спрашиваю я. Фред не отвечает. Дышит он тяжело, как простуженный, с взвизгами, переборами. Вылитый отец. На меня нападает страх. Я сажусь в кровати. На полу что-то виднеется, тёмное. Оно капает с Фредовой кровати и натекает на пол. — Что сказал отец перед смер-

тью? — спрашиваю я. — Цыц, — говорит Фред. Но голос у него странный. Он едва говорит, точно как радио, если плохо поймать станцию. Трещит и булькает. Мне делается совсем страшно. Я на цыпочках подхожу к нему. Лица не видно. Зажигаю ночник над кроватью. Сразу зажмуриваюсь, потому что это не может быть правдой, то, что я увидел. Я снова распахиваю глаза. Нет, не обман зрения. Фред поворачивается и смотрит на меня. А я не узнаю его. Лицо разбито. Сплошная кровь, волосы тоже в крови, нос размазан по опухшим щекам, вместо рта дырка, из которой время от времени вытекает кровь. Всё в лице Фреда сломано и изуродовано. Глаза едва светят из-под синих мешков. Я не уверен, что он видит меня. Начинаю хлюпать носом: — Кто тебя так? — Фред снова не отвечает. Лежит, и всё. — Фред, тебе нужно к врачу. — Цыц, — говорит он, слово едва слышно, оно больше похоже на стон, и он берёт меня за руку, стискивает её и держит. Я опускаюсь на край кровати. Так я сижу долго. И не понять, кто кого успокаивает. Потом он всё же разжимает пальцы. Я приношу из ванной салфетку и умываю Фреда, осторожно-преосторожно. — Вытри глаза, — шепчет он. — Что? — переспрашиваю я, потому что его трудно понять. — Я не вижу. — Промываю

ему глаза, и медленно проступает лицо, изувеченное, растерзанное, и он тоже видит меня, словно бы впервые в жизни. — Спасибо, — говорит Фред. — Спасибо. — Кто тебя так? — повторяю я вопрос. — Цыц, — говорит он и засыпает. Во всяком случае, я не слышу ничего, кроме тяжёлого дыхания, оно словно пробуксовывает в раздавленном носу и напоминает мне отца, я ничего не могу с этим поделать, но это ощущается как извращение, чтобы отца напоминало мне дыхание Фреда. Я замываю кровь на полу. И сижу остаток ночи рядом с Фредом, а когда наконец перестаю сомневаться, что он спит, что живой, оказывается, что мама с Болеттой уже встали, и я иду к ним на кухню. Болетта показывает на меня ложечкой и усмехается со значением: — Барнум, что-то у тебя вид, по-моему, усталый. Видно, мы, старухи, загоняли тебя вчера? — Я мотаю головой, на еду меня не тянет. Какой сегодня день, я забыл, но наверняка самый обычный, посреди недели, как можно дальше от выходных. — Фред не дал тебе спать? — вдруг спрашивает мама. Я снова мотаю головой. Но мама уже вскочила и направляется в нашу комнату. — Не делай этого, — прошу я. Мама останавливается и смотрит на меня, не понимая. — Не делать чего, Барнум? — Не ходи

к нему, — шепчу я. Мама замирает на несколько секунд, потом раздражённо передёргивает плечами и рывком распахивает дверь. Я смотрю на Болетту. Она навалилась на стол, поперёк лба ложится глубокая складка. — Что-нибудь стряслось, Барнум? — И тут же раздаётся мамин вопль. Она с криком выскакивает из комнаты и вперивает в меня безумный взгляд. — Что произошло с Фредом? — Он упал, — отвечаю я. Болетта тоже встаёт и идёт к Фреду. Она не поднимает крик, но возвращается ещё задумчивее, чем раньше. — Упал? — Да, споткнулся и упал. Лицом. Когда возвращался ночью домой. — Мама хватает меня за руку: — А ты не врёшь? Это не твои придумки? — Честное слово! — кричу я. — Мне пришлось смывать с него кровь. Можешь сама посмотреть на тряпку. — Мама опять уходит к Фреду и возвращается с окровавленной тряпкой, она застыла и похожа на марципановую розу, которыми украшают дорогие торты, только это тряпка, большая и несъедобная, мама держит в руках, можно подумать, искусственную розу и трясёт головой. — Он не желает говорить. Похоже, он выпил. От него разит спиртом.

Болетта вызывает врача. Меня отправляют в школу на такси, такая у меня мама, вдовствуя,

она платит за такси, чтобы я не опоздал в школу. Хотя опоздать я всё равно сумел. Попросил шофёра трижды медленно проехать вокруг кладбища крематория Вестре, где в дальнем углу тёмного от зелени кладбища кто-то орудовал лопатой. За то, что я опоздал, мне, кстати, ничего не было, и меня не вызывали отвечать, ведь я потерял отца. Его смерть принесла мне освобождение, но вышло всё не так, как я мечтал, когда сочинял себе бесчисленные страдания и несчастья, которые обеспечат мне всеобщую жалость и вознесут меня на трон, откуда я единолично стану управлять сочувствием всего мира. Теперь мне казалось, что в каждом лице я скорее вижу усмешку, что они кусают губы, сдерживая смех, потому что более нелепой смерти, чем у Арнольда Нильсена, нельзя себе придумать: чтоб воскресным днём посреди «Бишлета» получить в лоб диском. В глубине своей души и за моей спиной они смеялись, заставляя меня вспоминать список, обнаружившийся в отцовом кармане, этот смех тоже стоит занести в опись, я бы назвал его постыдным — смех, который когда-нибудь развернётся на языке того, кто так смеётся, вопьётся ему в горло и медленно, но неумолимо задушит позорника. Так примерно текли мои мысли, когда я сидел за пар-

той у окна, амнистированный и отпущенный в одиночество, неприкасаемый, как прокажённый, покрытый струпьями смехотворного горя. Вот бы мы с Педером и Вивиан учились в одном классе, думал я в такие минуты, я бы послал им записочку с двумя лишь словами — *постыдный смех*, и они с ходу поняли бы, что я имею в виду. Но Педер учился в другой школе, за городом, и каждое утро тащился туда на автобусе или «воксхолле», если папе вдруг удавалось уговорить его завестись, а Вивиан занималась частным образом, как она говорила, может, мама занималась с ней, короче говоря, мы никогда не учились в одной школе, так было, пожалуй, лучше всего, потому мы и сделались неразлейвода, скучали друг по другу, когда не виделись, а так бы школьная дедовщина нарушила мир наших отношений, мы бы разругались из-за какой-нибудь физры, музыки или сочинения. Мы встречались вне школы, вне расписания, на лично нашей большой перемене, то ли под красным буком, то ли в зябком зале кино, мы втроём, Вивиан, Барнум и Педер, без всех, вернее, сами по себе, и у нас были свои тайные места, куда им, всем, вход заказан. — Барнум, тебе опять нехорошо? — Это спрашивает Шкелета, голос её тревожно морщинится. Она устала от

меня и всего, со мной связанного. Я медленно поворачиваю голову, все притихли. Но где-то далеко я слышу вой Монтгомери. Война продолжается. День «Д» у нас каждый день. Шкелета стоит скрестив руки, за ней гладко-чёрная доска. У нас урок религии. — Обычная лепра, — отвечаю я. Поднимаюсь и ухожу. Шкелета думает сперва остановить меня, она сердита, она считает, что дембель мой затянулся излишне, сколько можно, вдовы и те носят траур всего год, но я держусь за него истово, это моя свобода и моё одиночество, хотя я понимаю, что вечно так продолжаться не может. Я ухожу не оглянувшись. И весь класс исходит завистью ко мне, к подуревшему с горя Барнуму, такого случая ради они тоже не прочь осиротеть.

Когда я вернулся домой, врач уже ушёл. Мама сидела в гостиной, я должен был заглянуть к ней. Нашёл я её в нехорошем состоянии. Глаза бегали туда-сюда без смысла. Она насвистывала к тому же. Плохой знак. Наконец я заговорил первым: — Мама, что с Фредом? — Она всё свистела. — Мам, в чём дело? Фреду плохо? — Внезапно мама расцвела в улыбке и перестала свистеть. — Доктор оказался такой душкой, — сообщила она. — Правда? — Действительно, очень милый.

Он сказал, что если Фред ударился об пол, значит, он спотыкался и падал раз двадцать подряд, не меньше, а потом ещё пол сам ударил его сзади. — Я потупился. Мама вздохнула. — Барнум, почему ты врёшь? — Не знаю, — шепнул я. Мама притянула меня к себе: — Ты не знаешь, почему ты врёшь? — Я быстро замотал головой: — Я не знаю, что случилось. — Мама снова глубоко вздохнула. — На Фреда напали, но он, естественно, не признаётся кто. — Она откинулась на спинку дивана и стала похожа на Болетту. Вздохи участились. — Да! Никто ничего мне не рассказывает! Врач сказал, мы должны обратиться в полицию, заявить о нападении на Фреда — а как, если он молчит? — Мама закрыла лицо руками. Всё это было выше её сил. И она сказала всегда ужасавшую меня фразу, которую я мечтал никогда от неё не слышать. В этих словах, которые она иногда повторяла под соответствующее настроение, было что-то, от чего я чувствовал себя жутко беспомощным, их звучание, обыденность их жестокости лишали меня сна на долгие недели, я понимал их как крайнюю форму отвержения, как наипоследнюю угрозу. Она сказала, на выдохе: — Барнум, что мне с вами делать? — Не говори так, — прошептал я. — Пожалуйста. — Мама взя-

ла меня за руку. — Иди к своему брату и попробуй заставить его признаться. — Признаться? Это же его избили! — Она отпустила мою руку, я уже шёл в нашу комнату, мне было приятнее посидеть с Фредом, чем слушать её. Но она вдруг вскочила и взмахнула руками. Силы вновь покинули её. Их не хватало, похоже, ни на что. — Нет! — закричала она. — Я не желаю знать, кто надругался над моим сыном! Я вообще ничего не хочу знать! — И она завела эту шарманку, стала разговаривать сама с собой и для себя, что она одна ничего не знает, ей ничего не говорят, держат её за дурочку, мы здесь все чужие и она не знает и себя тоже, одинокая вдова, слишком молодая, чтобы провести в трауре остаток жизни, но уже старая, чтоб можно было начать всё с чистого листа. — Несчастный Фред! — вдруг выкрикивает она. — Несчастный Фред! — Я тихо вышел, не замеченный ею, и подсел к Фреду. Он лежал на спине и был похож на мумию. Мне нечаянно вспомнилась фотография Ленина из «Кто. Что. Где». Лёжа так, Фред немного напоминал Ленина, как его сумел снять фотограф — забальзамированное тело в мавзолее на Красной площади. Я осторожно дотронулся до толстой повязки у него на голове. — Теперь нашло на маму, — прошептал я. К слову сказать,

на той фотографии рядом с Лениным лежал Сталин, он тоже был запечатлён на фотографии, они лежали рядом, как два закадычных дружка, Сталин в форме, на френче блестят пуговицы, и так им придётся лежать вечно, мне не нравилась эта фотография, но я не мог отвязаться от неё, потому что фотографу словно бы удалось поймать на плёнку саму смерть — проявленная смерть, и лица обоих светятся приглушённым матовым светом, наверно, оттого, что мозг удалён, его советские врачи вытащили через нос и у Ленина, и у Сталина острыми крючками, ровно как делали египтяне, если их фараону предстояло проспать три тысячи лет. Я написал об этом сочинение. — Сотрясение мозга, — ответил Фред. Я нагнулся поближе. — У кого? У мамы? — Фред вздыхает: — Нет. У меня. Опять дуришь? — Очень больно? — Он не отвечает, молчит. Потом просит: — Принеси зеркало. — Зачем? — Неси давай. — Я выскальзываю из комнаты и беру зеркало из ванной. Явилась домой Болетта. Сидит теперь у мамы. Всё правильно. Мы сидим друг у друга, каждый сам по себе. Я быстренько пробираюсь назад в комнату. — Подержи зеркало, — мямлит Фред. — Где? — Надо мной, Барнум. Я хочу увидеть своё лицо. — Я держу зеркало, как он велел, у

самого лица, так что оно запотевает от тяжёлого дыхания. — Жив ты, жив, — говорю я. — Или прикажешь воткнуть тебе в сердце шляпную иголку? У Болетты есть наверняка. — Фред пытается усмехнуться. — Лучше уж поставь на меня стакан спирта, — шепчет он. Но когда я убираю зеркало, Фред отворачивается, и я вижу, он плачет.

Назавтра Фред не шевелится, и душка-доктор приходит снова. Шутить он больше не шутит. Он светит Фреду в глаза и меняет повязку. Потом тихо шепчется с мамой и выписывает рецепт. Такси ждёт меня внизу, потому что мама снова вызвала всех — и такси, и доктора, Болетта поторапливает меня. Когда я спускаюсь к такси, доктор по второму кругу светит Фреду в глаза и ощупывает его нос. Я велю шофёру проехаться вокруг кладбища всего два раза, я и так успеваю опоздать. На переменах я не выхожу из класса, на физре не переодеваюсь, но замечаю вокруг себя нетерпение, раздражение — то прорвётся смех, то мелькнёт искорка в глазах. Смерть отца — сколько она может продолжаться, сколько времени мне позволят пробыть безутешным сыном, в изоляции на карантине, чтобы другие не заразились от меня таким горем? Будем надеяться, до каникул удастся потянуть траур,

а что будет после лета, никто не знает, может, школа сгорит, или Аслак с Хомяком и Пребеном утонут, или я наберу свои законные сантиметры. Солнце так жарит в окно, что я заливаюсь потом. Нестерпимо. Я встаю и иду к дверям. Шкелета как раз написала что-то на доске и теперь резко поворачивается ко мне. У нас урок, по-моему, географии. Она стучит мелом по доске, на что-то показывая, сыплется белая пыль, которая так и не долетает до пола. — Барнум, ты знаешь, что здесь написано? — Её закорючек не разобрать, они похожи на обломки букв. Я качаю головой. Шкелета подходит ближе, прячет мелок. — Этот язык, Барнум, называется *урду.* На нём говорят в далёкой стране под названием Пакистан. Ты должен знать это к следующему уроку. Возможно, будет контрольная. — Она улыбается. — Как ваше драгоценное здоровье? — спрашивает она. — Потихоньку, — отвечаю я шёпотом. Шкелета хлопает в ладоши, и её укутывает сухое, белое облако. — Это не вопрос к тебе, Барнум. А перевод того, что написано на доске. На урду. *Как ваше драгоценное здоровье?* — Я выскакиваю за дверь раньше, чем раздаётся смех. Но у ворот маячит парень, которого я никогда раньше не видел. Он одет в чёрное и расчёсывает волосы, глядясь

в солнечный свет, как в зеркало. Я сворачиваю к другому выходу в расчёте вскочить на проходящий трамвай. Однако когда я добираюсь до этих ворот, парень уже там, но теперь их двое. Они совершенно одинаковые и вдвоём идут за мной по пятам к церкви. Я прибавляю шаг. Не отстают. Я припускаю бегом. Они нагоняют меня, и первое, что бросается в глаза, — одинаковые причёски и одинаково сбитые костяшки пальцев. — Ты брат Фреда? — спрашивает один, как две капли похожий на того, который не спросил. Я киваю. Пытаюсь вырваться, убежать за церковь, но они вцепились в меня. — Как он там? — Он жив, — говорю я. Они обмениваются быстрыми взглядами. — Скажи ему, пусть приходит в Стенспарк, — говорит первый. — Сегодня в десять. — Они отпускают меня и быстро сбегают вниз по горке. Я стою, пока они не скрываются из виду. Тут включается школьный звонок. До десяти ещё долго. *Как ваше драгоценное здоровье?* Домой меня не тянет. Завывает Монтгомери. Я крадучись пробираюсь по улицам. Педер уже стоит под нашим деревом. Завидев его, я припускаю бегом, я всегда так делаю от радости. — Что расскажу! — кричит Педер. — Чур я первый! — ору я, захлёбываясь. — На меня напали! — Напали?!

Кто? — Мы садимся на траву под красным деревом и ждём, пока мимо прогрохочет трамвай и станет тихо. — Не знаю, — отвечаю я. — Те же, что избили моего брата. — Его избили? — Чуть не до смерти! А сегодня они хотят опять встретиться с ним. — Зачем ещё? — Может, извиниться решили, — говорю я. — Или снова отмутузить, — предполагает Педер. Я отдыхиваюсь. — Они караулили меня у школы. — Педер задумывается. — Тебя они тоже побили? — спрашивает он наконец. — Почти. Они меня не пускали, держали. Смотри! — Я задираю рукав и демонстрирую ему руку, за которую они меня держали. Педер всматривается. — Бляха-муха, — цедит он. — Я опускаю рукав. Педер придвигается ближе. — А старшого они за что побили, а? — На него у многих зуб, — шепчу я. — Когда он явился домой, он был похож на котлету. Под соусом. — Бляха-муха, — откликается Педер. — Нос сломан. — Даже? — А зубы впились в язык. Мне пришлось подковыривать их. — Ничего себе, — откликается Педер, и мы оба замолкаем. А потом я говорю: — Одно мне совсем непонятно. — Педер улыбается: — Что, например? — Как они сумели избить Фреда?! — Мы лежим на траве и пытаемся понять — как вообще кто-то смог побить Фреда? Если только они били

толпой. Трава щекочет затылок. Небо плывёт в вышине, его едва видно сквозь шелестящую крону красного бука. — А у тебя что? — спрашиваю я. Педер садится. — Помнишь парня, которого мама рисовала, когда ты был у меня первый раз? — Немного, — отвечаю я. — Тот, что стоял посреди гостиной? — Он самый. Который торчал голяком посреди гостиной. — Разве мама не кончила его рисовать? — Педер грустно улыбается, скашивая лицо. — Никогда она не кончит, — роняет он и вдруг замолкает и откидывается на траву, как будто забыв, что собирался рассказывать. Я жду, не хочу его торопить. Но потом любопытство пересиливает. — И что с ним? — спрашиваю я. Педер перекатывается через бок и садится на меня верхом. Он тяжеленный. Но я не сталкиваю его. Теперь очередь Педера захлёбываться словами. — У него есть знакомый в клубе, где крутят фильмы, которые не идут в прокате! — Педер раскачивается на мне, я скоро задохнусь. — И?.. — шепчу я. — И?.. Он сказал, что может провести нас туда сегодня вечером! — Врёшь? — Честно! — На какой фильм? — Педер барабанит мне в грудь, как будто я обычный детский барабан. — Помнишь фото у Вивиан на стене? — Прекрати! — сиплю я. Но он не унимается. Барабанит и барабанит. Скоро под

Педером вместо меня останется мокрое место. — Так ты помнишь её или не помнишь? — Да помню я! Но имя забыл. — Педер наклоняется к моему лицу, от него пахнет лакричной карамелькой, и язык весь чёрный. — Ло-рен Бэ-колл, — говорит он по слогам, медленно, не теряя ни буквы. — Лорен Бэколл. — Мы слышим смех совсем рядом и поворачиваем головы. Вивиан. Стоит поодаль, заливается. Педер поднимается сам, потом помогает встать мне, меня шатает. Мы счищаем с одежды траву. Я засовываю кулаки в карманы. Педер чавкает. Вивиан всё смеётся. Мы подходим к ней. Педер прокашливается и складывает руки на груди. — В кино пойдёшь? — спрашивает он. — Закрытый киноклуб, — вставляю я. — Пойдёшь?

До сеанса три часа, а идти домой никто из нас не хочет. Вместо этого мы спускаемся на площадь Соллипласс, заходим в автомат, наскребаем монетки, и сперва Педер звонит отцу и говорит, что пообедает у меня, а потом я звоню маме с сообщением, что пошёл обедать к Педеру, и она отвечает мне усталым затёртым голосом: — Передай поклон от меня, — говорит она. Я кладу трубку раньше, чем она спросит, откуда я звоню, и уступаю место Вивиан, но она и не думает никому звонить. Потом мы отправляемся

в «Самсон» на Фрогнервейен, заказываем три чая, и у нас ещё остаётся на булочку с изюмом. Официантка вытирает руки о передник и долго меряет нас взглядом. — Так сколько булочек с изюмом? — переспрашивает она. — Одну, — повторяет Педер. Официантка достаёт блокнот и долго записывает заказ. — Булочка должна быть с изюмом? — Педер кивает. — Совершенно верно. Потому что изюм с булочкой мы не любим. — Официантка исчезает, а мы, чтоб не лопнуть от смеха, дышим, разинув рты. — На какой фильм мы идём? — интересуется Вивиан. Когда Педер перестаёт колыхаться от смеха, он ложится грудью на стол. — Названия не помню. Но с Лорен Бэколл. — Которая висит у тебя на стене, — быстро добавляю я. Вивиан мягко смотрит на меня: — Ты думаешь, я не знаю, чья фотография висит у меня на стене? — Ну… — мямлю я. Педер зовёт официантку. Похоже, она ушла домой поспать. Других клиентов нет. Возможно, нас заперли в «Самсоне» и теперь мы проведём здесь всю ночь, нюхая волглый запах венских плюшек и глазури, тающей под стеклом в витрине. — Барнума сегодня чуть не избили, — говорит Педер. Вивиан чему-то улыбается. — Правда? — Поцеплялись немного, и всё, — шепчу я. Педер подаётся вперёд. — А брата

его избили почти до смерти. — Вивиан смотрит на меня ещё пристальнее, и я вдруг понимаю, что не хочу об этом говорить, Фред тут ни при чём. — Морду попортили, — бурчу я. Но тут наконец-то появляется официантка. Она положила булочку на огромное блюдо и торжественно поставила его в центр стола. — Пожалуйста, — говорит она. — Ваша булочка. — В предыдущей жизни и эта официантка наверняка была приятным человеком. — Сколько здесь изюмин? — уточняет Педер. — Изюмин? — Ну да. Сколько в вашей булочке изюмин? Я не могу платить, пока не буду знать точно. — Выколупывать изюм из булки начинаю я и успеваю добыть семь ягод до того, как нас выгоняют — думаю, мы единственные, кого когда-либо выгоняли из «Самсона» на Фрогнервейен, и мы бредём, качаясь от смеха, вдоль трамвайных путей, нас шатает от хохота, и я успеваю подумать торкнувшуюся в голове мысль: а этот смех — какой? Злорадный смех публики из отцова списка? Над кем мы смеёмся? Над официанткой? Конечно нет, мы хохочем над собой, это смех освободительный, неуёмный и настоящий, мы смеёмся надо всем, что с нами ещё будет, что произойдёт, мы садимся на скамейку за нашим деревом и делим изюмки, каждому достаётся по

две, а седьмую получает Монтгомери, который идёт мимо с бутылкой в руке, как с красным букетом. — Ты мало на него похож, — вдруг говорит Вивиан. Она сидит между нами, мной и Педером. Я не совсем понимаю, о чём она. — На Монтгомери? — Педер издаёт какой-то петушиный вскрик, а Вивиан смеётся. — На брата твоего, конечно, голова ты соломенная. — А ты откуда знаешь? — шепчу я. Вивиан кладёт мне в рот изюминку. — Оттуда, что я видела Фреда на похоронах твоего отца, дурень. — А у меня одна мысль: она запомнила это, а я и думать забыл. Педер решительно поднимается на ноги. — И это твоё счастье, — говорит он. Я вытаращиваюсь на него. — Что «счастье»? — Педер тянет Вивиан за руки, помогая встать. — Это Барнум сегодня тормозит больше обычного или мы такие рассудком быстрые? — Барнум тормозит, — говорит Вивиан и подтягивает меня за руки, а Педер кладёт свою лапищу мне на плечо и медленно произносит: — Барнум, твоё счастье — что ты не похож на твоего брата. Радуйся.

Фильм называется «Вечный сон». Он взрослый, нас пускают. Показ ещё не начинается. Мы сидим в четырнадцатом ряду кинотеатра «Розенборг», места 18, 19 и 20, Вивиан в середине. Когда начи-

нают убирать свет и я осторожно кладу руку ей на плечо, то утыкаюсь в руку Педера, поскольку и он предпринял тот же манёвр — положил руку Вивиан на плечо. Она откидывается назад, нам на руки, и так мы сидим. Водолазка кусает шею, но почесаться я не решаюсь. Зал заполнен наполовину, все старше нас. Мужчина в чёрном пиджаке и чёрных очках встаёт перед экраном и говорит, что фильм, который нам предстоит увидеть, это не просто классика, он, чёрт побери, потянет больше, чем полное собрание Ибсена вместе со всей его пылью, а кто не поймёт, кто убийца, с того осенью возьмут членский взнос в двойном размере. Добро пожаловать в кромешный мрак! Зал хмыкает. И мы тоже, раз так положено. Мы хмыкаем громче всех. — Круто, — шепчет Педер. — Круто, — поддакиваю я. На нас озираются и шикают. Мы сползаем в креслах и остальные сто десять минут не произносим ни звука.

Сколько раз я потом пересматривал «Вечный сон», не знаю, не поддаётся подсчётам, но этот раз был первый, а что может сравниться с первым разом? Ничто. Всё остальное лишь повторы, вариации, плагиат. Всё, что потом, уже продолжение. Тень. А первый раз — это подлинность. Первый раз настоящий по-настоящему. Тебя исподволь

затягивает прямо внутрь, вдруг оказывается, что это фрагмент твоей жизни, ты кладёшь палец на это мгновение и чувствуешь, как время бьётся, и одновременно понимаешь, что оно утекает, пульсирующее мгновение растекается в зыбком фарватере биения. Но этого ещё не случилось, это чуть позже, а первое, что мы видим: сигареты ложатся в пепельницу и на фоне пепельницы с двумя окурками белым по серому почти экрану слова: *Хэмфри Богарт и Лорен Бэколл.* Потом возникает имя на двери, *Стернвуд,* и палец, толстый довольно, заскорузлый палец Богарта, который давит на звонок. Дверь открывает в меру чопорный слуга, Богарта впускают, слуга идёт доложить господину генералу, что пришёл Марлоу, и тут появляется дама в короткой белой юбке, видимо, ей в любую секунду грозит партия в теннис, и сперва я принимаю её за Лорен Бэколл, но нет, это Кармен Стернвуд, её младшая сестра, в исполнении Марты Викерс, и она произносит фразу, которую я не могу забыть: обращаясь к Богарту, и без того чувствующему себя не в своей тарелке здесь, в церемонном холоде богатства, она ощупывает взглядом этого странного субъекта и говорит: — *You're not very tall, are you?* — А Богарт комкает губы, как тонкую бумагу, и отвечает:

— *I try to be.* — Это фильм для взрослых. Я слышу, что в зале смеются, точнее, хмыкают, смеяться здесь не принято, только хмыкать да подергивать вверх-вниз плечами. Так, оказывается, смеются на показах чёрно-белых фильмов для взрослых. А дама в белой юбке внезапно кидается Богарту в объятия, и я думаю, без всякого перехода, потому что мысли одолевают меня со всех сторон, что так именно выглядела Шоколадная Девочка, та, из цирка Мундуса, о которой рассказывал отец, но возвращается слуга, и Богарт галантно отцепляет от себя даму, а в следующий момент мы видим его в теплице с господином генералом, прикованным к инвалидной коляске. *How do you like your brandy, sir?* — спрашивает генерал. — *In a glass,* — отвечает Богарт. Плечи зрителей трясутся сильнее, хмыканье аукается громче, и Богарт получает своё задание, его рубашка липнет к телу, и я выпадаю из сюжета, я перестаю понимать, но это не играет роли, я всё равно ощущаю холод распаренной теплицы, Богарт покрывается испариной, прямо ледяной, хоть в виски её добавляй, а я пытаюсь определить рост Богарта, он действительно не великан, Марта Викерс верно подметила, но он наверняка кажется и ещё ниже оттого, что поддёрнул так высоко брюки, чуть не до подмы-

шек. Додумать эту мысль я не успеваю, потому что по дороге от генерала слуга заводит Богарта в какую-то комнату, видно, спальню, поскольку здесь стоит кровать, двуспальная кровать под балдахином, а у окна — стол, полный бутылок, и какая-то женщина наливает доверху стакан, а потом оборачивается к Богарту. Это Лорен Бэколл. Мы видим её впервые. Педер проводит пальцем по моей руке. Я поворачиваюсь к Вивиан. Она не шевелится. Кажется, будто она медленно втягивает в себя воздух, вдыхает происходящее. Лорен Бэколл не сводит с Богарта глаз, она вся горит, горит чёрно-белым пламенем, ноздри раздуваются, она как зверь, как львица, а потом она начинает смеяться своим фирменным бэколловским смехом и говорит с издёвкой: — *You 're a mess, aren't you?* — А Богарт отвечает — *I'm not very tall either. Next time I'll come on stilts.* — Нет, всё же невозможно описать то, как это было в первый раз, потому что ты делаешь это постфактум, в другое время, в другом свете. Видимо, воспоминания — как марки, они не соответствуют первоначальной стоимости, а медленно, но верно растут в цене в твоей личной коллекции, которую ты страхуешь дороже, чем своих детей. Ты не можешь держать в собрании всё, всю жизнь, ты должен выбирать,

что-то приходится выкидывать, что-то отдавать на обмен. Как знать: вдруг эта сцена, как мы сидим в кинотеатре «Розенборг», ряд четырнадцать, места 18, 19 и 20, в сером свете с экрана и ни черта не понимаем, одновременно включённые в действие и отрезанные от него, всего лишь визуальный ряд, который я теперь озвучиваю по-новому, накладываю поверх изначального мой нынешний голос, который обращается вспять, сквозь прожитые годы и воспоминания, с тем чтобы подогнать сцену под моё повествование? Это не исключено. Но одно по крайней мере точно было на самом деле. Я видел это своими глазами. Слышал собственными ушами. И не забыл. Когда я в следующий раз обернулся к Вивиан, она плакала.

Потом мы выходим на прожаренные улицы, здесь папы моют машины, а мамы стоят у окон, облокотясь о подоконники, и смеются над чем-то, наверно, над их важничающими тщеславными мужьями, которые любуются своими отражениями в сияющих капотах и колпаках. Это похоже на неурочную общегородскую переменку, мир снова заиграл красками. Карапузы с заклеенными пластырем коленками цепляются за слишком большие рули и по маминому свист-

ку поворачивают и едут в другую сторону. Мы не здесь. Всё это проходит мимо нас. — Неслабое кино, — говорит Педер. — Неслабое, неслабое, бляха-муха, — откликаюсь я. — Да уж, бляха-муха, совсем неслабое, — поддакивает Педер. Вивиан молчит, она задумчива, тиха, идёт бочком как-то. Мы с Педером провожаем её домой. Она и там ничего не говорит, исчезает в ближнем к церкви подъезде, но я вроде бы замечаю шевеление занавесок на третьем этаже, тень, задёргивающую их поплотнее. Мы ещё стоим внизу, ждём. Гаснет свет. И всё. Потом мы бредём к Гимлевейен, какая-то женщина громко смеётся в ресторане отеля «Нурюм», из комнаты доносится чужеземная музыка и исчезает в темноте, медленно сгущающейся за нами. — Вивиан плакала, — тихо говорю я. Педер кивает — Слышал. Плакала. — Какое-то время мы идём молча. Во мне проклёвывается беспокойство. — Чего она плакала? — спрашиваю я. Педер пожимает плечами: — Наверно, фильм показался ей грустным. — Может быть. Тебе тоже? — Я ни фига не понял, — отвечает мне Педер. — А ты? — Мы стоим перед домом Педера. Я пожимаю плечами. — Лорен Бэколл была чертовски хороша, — шепчет он. — Да уж. Ты видел эти ноздри? Бляха-муха! — Педер смотрит на

меня и смеётся: — Так ты тоже ни фига не понял! Ты даже не понял, как её звали в фильме! — Мы оба хохочем. Потом замолкаем. — А как? — спрашиваю я. — Вивиан её звали, — отвечает Педер.

Домой этим волшебным вечером я лечу со всех ног, повторяя про себя чарующие имена и боясь, что меня подкараулят и поколотят. На бегу я вспоминаю фразу, которую любил повторять отец: что важно не то, что ты видишь, а то, что ты думаешь, что ты видишь. Что, например, отец думал, что видит, когда строго ему в лоб со свистом летел диск, который провожал глазами Фред, неподвижно стоя в кругу? Что было важнее в тот момент, то, что он видел, или то, что он думал, что видит? Мама уже спит. Болетты нет. Фред лежит в кровати. В утренней позе. Я подсаживаюсь к нему. — Кое-кто хочет с тобой поговорить, — говорю я. Фред сдвигает с подушки синее опухшее лицо. — Кто? — шепчет он. — Двое. Они поджидали меня у школы. — Фред молчит. Потом с трудом спрашивает: — Как они выглядели? — Как близнецы, — отвечаю я. Фред смеётся и тут же хватается за рот. Сквозь пальцы сочится кровь. Вдруг он вцепляется мне в плечо. — Они тебя не били? — Меня до спазма в горле трогает его тревога, что Фред, разделанный под котле-

ту, беспокоится обо мне. Не в силах говорить, я мотаю головой, Фред снимает руку с моего плеча. — Барнум, что они сказали? — Спросили, жив ли ты, — говорю я. Фред снова смеётся, зажимает рот, у него слёзы на глазах — Так и спросили? — шепчет он. — Да. — А ты что ответил? — Что ты жив. Они хотят, чтоб ты пришёл в Стенспарк. В десять вечера. — Несколько секунд Фред не подаёт признаков жизни. Хоть бы уснул, думаю я. — Сейчас сколько? — спрашивает он вместо того. — Полдесятого. Ты не пойдёшь ведь, да? — С дороги, Барнум.

Фред выбирается из кровати. Я подсобляю ему. Ноги почти не держат его. Потом я одеваю его. Все тело синее и вздутое. Фред смеётся. Я одеваю смеющегося Фреда. Вина на мне. Чёрт меня дёрнул проговориться! — Не ходи, — шепчу я. — Рубашку белую. — Пожалуйста, Фред. — Барнум, рубашку — белую. — Я достаю из шкафа белую, надеваю на Фреда и сам застёгиваю все пуговицы, кроме трёх верхних. — Фред, я пойду с тобой. — Хорошо, — только и отвечает Фред. Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Мы выбираемся из квартиры. Мама спит. Болетта ещё не вернулась. Доходим до Стенспарка. Город спит. Темнота тёплая. Сирень красуется. Взбираемся

наверх, на Блосен. Последний отрезок я тащу Фреда. Садимся на скамейку на вершине. Отсюда нам видно почти всё, а нас почти никому. Никого и нет. — Ты слышал о Ночном палаче? — Фред не отвечает. Он весь настороже. Смотрит во все глаза по сторонам. — Ночной палач закапывал здесь лошадей. Мёртвых лошадей. По ночам закапывал. А днём его никто не видел. — Умолкни, — шипит Фред. — Правда-правда, — говорю я. — Ты веришь в эту фигню? — Тут появляются они. Их четверо, они медленно поднимаются по горке со стороны церкви. Они озираются, бросают быстрые, насторожённые взгляды по сторонам, нервничают. Они идут плотной массой, сливаясь друг с дружкой, но я узнаю двоих из них, близнецов. Показываю пальцем. Фред даёт мне по руке. Он сидит. Мне хочется сбежать. — Не суетись, — шепчет он. И улыбается. — Теперь мы с тобой Ночные палачи, Барнум. — Фред убирает улыбку и поднимается, как калека. Мы спускаемся по лестнице к фонтану на углу. Мы их видим. Они нас нет. Вон, сгрудились у карусели. — Время? — шёпотом спрашивает Фред. Я показываю ему. Десять. Фред кивает. И движется в их сторону. Он хромает. Я семеню за ним. Он оборачивается: — Барнум, жди здесь. — Но четвёрка уже увидела

его. Один из них окликает его по имени. Фред останавливается. Я стою прямо за ним. Его белая рубашка сияет. До меня начинает доходить, почему он выбрал именно её. Он стоит как истукан. Фред и та четвёрка у карусели меряются взглядами. Их четверо. Нас двое, нет, один с половиной. Никто из нас не шевелится. Мы — как статуи Стенспарка. Кто выдержит дольше? Кто сумеет задушить ночь в себе? Кто сильнее в ожидании? Фред, само собой. Те начинают медленно двигаться к нам. Фред держит руки за спиной. Его белая рубашка сияет. Он стоит как вкопанный. Они останавливаются, не дойдя до нас буквально пары метров. Они оглядывают Фреда. Я думаю, что он улыбается своим развороченным ртом, но видеть я не вижу, поскольку стою у него за спиной. — Ни черта себе, — охает один из них, с фингалом под глазом, полученным, надо надеяться, от Фреда, и уже, как мне кажется, собирается кинуться на Фреда, но вместо этого отступает чуть назад и затискивается между двойней. Четвёртый подходит ещё ближе. Руку он держит в кармане. По Фреду пробегает дрожь, от локтей до плеч, как волна. И снова тишь. Потом парень достаёт пачку «Тедди», вышибает две сигареты и протягивает одну Фреду. — Звать меня Эрлинг, —

говорит он. — Но так все кличут *Десять*. — Фред делает головой полкивка и берёт сигарету. Эрлинг, которого все кличут *Десять*, замечает в тени за Фредом меня. — Хочешь? — спрашивает он. — Он не курит, — отвечает Фред. А я думаю про себя: *How do you like your brandy, sir? — In a glass.* Эрлинг щёлкает блестящей зажигалкой, раскуривают. Некоторое время они проводят так — стоят и молча курят, никогда ещё курение сигареты не растягивалось так надолго, мерцает луна, наконец докуривают, кидают окурки на землю и втаптывают их носками ботинок, причём искры летят во все стороны, и кажется, будто они, наоборот, высекают огонь трением подошв. Потом Фред снова сцепляет руки за спиной. Эрлинг всматривается в него. — А бить ты тоже мастак? — спрашивает он. Он спрашивает Фреда, умеет ли тот драться? Я вижу, как расцепляются за спиной руки. — Может быть. — Парень всматривается во Фреда, на это уходит время. Затем поворачивается к своим и зовёт: — Томми, иди-ка сюда. — Подбитый Глаз подходит и останавливается перед Фредом. Тот сначала колеблется. Потом бьёт. Но этот Томми делает торсом резкое движение, похожее на гребок и кулак лишь смазывает вдоль виска. — Фуф, — говорит Томми и

снова отходит к близнецам. Эрлинг опять долго смотрит на Фреда, вытаскивает пачку сигарет. Теперь дело обернётся я и не знаю как. Фред ударил, но промазал. Он оборачивается ко мне, и я вижу в перепаханном лице вовсе неуместную растерянность, потому что он тоже не знает, что будет дальше, как будет, и его неуверенность пугает меня вдвойне. Эрлинг, который *Десять*, вытрясает новую пару сигарет. — Ты лучше терпишь побои, чем бьёшь, — говорит он. Фред бьёт снова. Я кожей чувствую удар, чувствую, что Фред попал, меня трясёт, я содрогаюсь от восторга и страха. Эрлинг падает и лежит, только сигарета скатывается под гору. А мне приходит на ум дурацкая мысль: теперь мы похороним мёртвых лошадей. Томми с близнецами подходят ближе, Фред изготавливается, поднимает обе руки, они пудовые, он не в силах поднять их как надо. Но они не лезут к Фреду. А начинают считать. Они медленно досчитывают до девяти, и на десятый Эрлинг с трудом встаёт, он улыбается: — Неплохо. Но стоит подучиться. Потолкуем? — Эрлинг с Фредом уходят к скамейке у детской площадки и садятся там. Разговаривают. О чём — мне не слышно. Томми подбирает сигареты. Близнецы причёсываются. Я стою как пень. Так проходит не

знаю сколько времени. Фред болтает с Эрлингом. Говорит в основном Эрлинг. Потом они сидят молча, потом встают и обмениваются рукопожатием, будто сговорившись о чём-то. Эрлинг, Томми и двойняшки уходят мимо писсуара вниз под горку. Фред огибает Блосен. Я припускаю вдогонку. — Вы подружились? — спрашиваю я. Фред не отвечает. — Но как они узнали, кто я? — Фред останавливается и смотрит на меня. Одна из ран на лице разошлась. — Чего? — Как они узнали, что я твой брат? — Барнум, все знают, кто ты такой, — говорит он небыстро. — Откуда? Почему все это знают? — Фред вытирает кровь и задумывается. — Забудь, — говорит он тихо и идёт дальше. Интересно, как я могу это забыть? Получается, весь город знает, кто я такой, не только в школе, но и на той стороне реки, и в тёмных закоулках Вика, и дальше, в порту? Но Фред не желает продолжать разговор. А когда мы приходим домой, в прихожей стоит мама, она вне себя, вся кипит. — Где вы были? — кричит она. Фред просто проходит мимо неё в комнату, и ей достаюсь я. — Гуляли, — отвечаю я. Мама склоняется ко мне: — Гуляли? Ночью?! — Фреду надо было на воздух. Он почти не дышит. Из-за носа. — Мама выпускает меня и стоит в ночной

рубашке, обхватив себя за плечи. — Вы меня в гроб вгоняете, — шепчет она. Я неловко обнимаю её. — Ну что ты, — тяну я. Мама топает ногой: — Да, вгоняете! И ладно. И продолжайте в том же духе. Добивайте меня! Исчезнуть посреди ночи в белой рубашке с сотрясением мозга! — Она пытливо вперивает в меня взгляд: — Это не связано с нападением на него? Нет? — Я мотаю головой под её взглядом. — Ты тоскуешь без отца? — спрашиваю я. И вижу, как расползается её лицо, и успеваю ещё подумать, прежде чем она утыкается мне в плечо: сколько же у нас лиц, мы всё время надеваем новое, мы таскаем с собой столько лиц и имён, сколько можем унести. Мама улыбается, но голос на мокром месте. — Да, сынок. Я без отца тоскую.

Спустя три дня на моё имя пришло письмо. Первое письмо в моей жизни. На нём было написано моё имя, Барнум Нильсен, и мой адрес. Это было равноценно признанию моего существования. Кто-то открыл и застолбил меня. Письмо для меня тащили через весь город и опустили строго в нужный ящик. Первой — раньше, чем я стал гадать, от кого письмо, — промелькнула мысль о марках, ценные ли они. Мы обедали на кухне. Жарища стояла градусов тридцать,

не меньше. Пока человек доносил вилку до рта, он делался мокрым от пота. Фред тоже сидел за столом. Ел картошку и пил воду. Лицо его начало срастаться, но вкривь. Я узнавал его только со второго взгляда. — На что пялишься? — спросил Фред. — Ни на что, — поспешно ответил я. Фред взял себя за нос и поводил его туда-сюда. Болетта закрылась ладонью. Раздался хруст. И в этот миг мама принесла письмо и протянула его через стол мне. Она светилась счастьем, за меня, что мне пишут письма, да и, наверно, ознакомилась уже с содержанием. — Тебе письмо, — сказала она. Я притих, замешкал. *Барнум Нильсен* было выведено высокими, узкими буквами. Всё верно, моё имя, а под ним адрес, я открыт, оприходован по всем канонам, я — настоящий человек, тут уж не поспоришь, единица, которую можно принять в расчёт. Я взрезал конверт ножом и прочитал письмо. Оно оказалось от папы Педера. У меня защипало в носу. Мама улыбнулась: — Барнум, читай вслух! — И я прочёл вслух как можно тише то, что написал мне Оскар Миил, этот добрый и прозорливый человек: «Дорогой Барнум. Вы с Педером, к нашей радости, стали хорошими друзьями, и мы хотим пригласить тебя погостить в нашем летнем домике на Ильярне, если мама не

возражает». Я взглянул на маму: — Разрешишь? — Она часто закивала: — О чём разговор?! Но читай до конца. — Я всё прочитал, — прошептал я. — Барнум, не всё. — Всё, — ответил я. Мама забрала у меня письмо и стала читать сама: «Мы будем очень рады видеть и твоего брата! С наилучшими пожеланиями, Оскар Миил». Я потупился. Фред быстро шмыгнул кривым носом с тем самым звуком, с которым отец храпел во сне; я поёжился. — Замечательная идея, да, Фред? — сказала мама. Мне было слышно, что Фред ухмыльнулся. — Не могу, — ответил он. — Не можешь? А чем таким ты занят летом? — Тренировки. — Я посмотрел на Фреда. Мама тщательно складывала по сгибам письмо от Оскара Миила, и даже Болетта отложила нож с вилкой. — Тренировки? А чем ты занимаешься, позволь узнать? — Записался в Центральный боксёрский клуб, если тебе непременно надо знать. — Фред положил ещё картошки и размял её. За столом повисло молчание. У меня отлегло от сердца. Фред останется тренироваться. Сперва они избили его. Потом уговорили заниматься боксом в Центральном клубе, из-за чего он теперь не может ехать со мной на каникулы к Педеру. Всё связано воедино. Одно непременно влечёт за собой другое. Я сове-

стился, но был на седьмом небе от счастья. — Ты не будешь заниматься мордобоем ни в каком боксёрском клубе, — заявила мама, и лицо у неё пошло пятнами. Фред не соизволил ответить. Он жевал картошку. — Фред, ты посмотри на себя! Тебе мало надавали по мордасам? — Фред пожал плечами: — Бокс это не драка. — Мама склонилась на стол: — Часом, не Центральный боксёрский клуб тебя избил, а? — Фред тихонько засмеялся: — Не морочь себе этим башку. — Мама ощерилась. Болетта положила руку ей на плечо. — А этот Ильярне, он где? — спросила она. Мама вздохнула и снова развернула письмо. Так оно в жизни и ведётся. В хороших новостях всегда обнаружится ложка дёгтя. Но и дурные вести кому-нибудь да в радость. Фред займётся боксом, а я смогу поехать в гости к закадычному другу без него. На обратной стороне папа Педера нарисовал карту. Ильярне оказался островом в Осло-фьорде, чтобы попасть туда, мне предстояло проплыть на теплоходе вдоль всего Несоддена. Я немедленно ушёл к себе собираться. Вскоре нарисовался и Фред. Он разлёгся на кровати. Даже взглянуть на него и то мне было боязно. Я складывал вещи. — Барнум, не увлекайся макрелью, — наконец сказал он. — Это почему? — А

ты разве не знаешь? — Чего не знаю? — Макрель питается трупами немцев. Теми, что лежат на дне фьорда. — Не свисти, а? — Поэтому, когда ты ешь макрель, на самом деле ты жуёшь труп фашиста. — Я обернулся к Фреду. — Ты тоже можешь поехать, — прошептал я. Он лишь закрыл глаза. Что-то новое промелькнуло походя в его лице, да и загостилось. — Заткнись, — отмахнулся он. — Не тренди.

В следующую субботу, в Иванов день, я с палубы «Принца» махал на прощанье маме и Болетте, даром что я упрашивал их меня не провожать. Скоро, к счастью, они пропали из виду, часы на Ратуше съёжились до размера наручных часиков, и постепенно город утонул в синем ветре. На моих глазах скрывалось из виду всё, что я покидал. Меня не мутило. Я чувствовал себя сильным и мужественным. В одиночку я путешествовал только в тот раз на поезде, когда мама, Болетта и школьный врач сочли меня дистрофиком и отослали на хутор на откормку, но о той истории я не хотел бы говорить, увольте, она забыта и похоронена. А здесь совсем другое. Я еду к другу. Прикачивать начало́ после Фласкебекка. Со старым отцовым чемоданом в руке я спустился в салон и купил себе в буфете маленькую колу. Пассажиры улы-

бались мне. Они тоже в отпуск. Я отвечал им улыбкой. Пожилая женщина с реденькими волосами и ртом, собранным в морщинистый кулёк, склонилась к корзине, в которой поскуливал щенок. — Ты далеко едешь? — проворковала она, цепляя иссохшей рукой мои кудри. Я решил быть вежливым мальчиком. — До конечной, — ответил я. На пристани Ильярне, последней остановке, перед тем как фьорд изгибается и растворяется в море в том месте, откуда впервые увидели Осло Пра, Болетта и король Хокон, меня уже поджидали Педер с папой. Я спустился по трапу с чемоданом. Педер кинулся ко мне со всех ног. Он уже изрядно посмуглел и похудел вроде. Я даже не сразу признал его и почувствовал уколы зависти не пойми к чему. Он встал прямо передо мной и протянул мне руку. — *You 're a mess,* — сказал он. — *Next time I'll come on stilts,* — подхватил я. Педер вздохнул: — Неверно, Богарт. Ты должен сперва сказать *I'm not very tall either.* — *I'm not very tall either,* — откликнулся я. — Повторяем всё сначала, — сказал Педер и набрал воздуха. — Готов? — Всегда готов. — *You 're a mess,* мистер Барнум Нильсен. — А ты чёрный как чёрт, — ответил я. Педер застонал и налетел на меня, норовя столкнуть в воду. Но тут к нам подошёл его папа,

он держал во рту носогрейку и был в чёрных стёклах поверх обычных очков. Он подхватил мой чемодан. — Ну что, ребята, попробуем стронуться с места ещё до конца каникул? — Следом за ним мы дошли до узкого подвесного мостика, растянутого между материком и островком, на котором стоит их летний дом. Папа покосился на меня: — Ты не боишься высоты, Барнум? — Пока не боялся, — шепчу я. Педер язвит: — При таком росте Барнум о боязни высоты вряд ли слыхал. — Папа снимает обе пары окуляров: — Что ты там сказал, Педер? — Ничего! — вопит Педер на бегу. Он выскакивает на мост, за ним я, потом папа. — Не смотри вниз! — кричит папа. Я тотчас же опускаю глаза. Мост ходит ходуном, внизу в глубине перекатываются полны. Я зажмуриваюсь, отчего напор ветра усиливается, он гудит в голове, волны вздымаются во рту, я хватаюсь за перила, но это одно название верёвочки, которая растягивается у меня в руках, а Педер всё смеётся, и мне вдруг приходит на ум *Der Rote Teufel.* Болтаясь между материком и островом Ильярне, я не могу отделаться от мыслей об участи Красного Дьявола: несчастного смех довёл до гибели. — Не смотри вниз! — опять вскрикивает папа. А Педер знай заливается, он, не иначе, родился на этом

мосту. Потом Педер оборачивается и раскидывает руки, словно для объятий, и говорит мне: — Не дрейфь! — Это была совсем особенная неделя, чудесная неделя моего самого лучшего лета, первого лета у Педера на Ильярне, порядок тогдашних событий сместился в моей голове, и теперь это похоже на фильм, смонтированный шаляй-валяй, так что конец вклеили куда-то в середину, и он выглядит как загадка, дотумкать до которой если и удастся, то ой не сразу. Когда я, чёрный с головы до ног, вернулся на причал Осло, где меня ждал Фред, и часы на Ратуше снова доросли до своих привычных размеров, с золотыми цифрами и массивными стрелками, оказалось, что дни на Ильярне разрослись и составились в букет, он клонится во все стороны, но вытяни один цветок из этой склянки песочных часов, из этой голубой вазы, и все остальные цветы завянут враз. Что-то такое произошло на Ильярне тем летом, даже и не знаю толком что, и свершилось оно на другой манер, тихо и незаметно. А началось то лето так: я отцепляюсь от верёвки, открываю глаза и валюсь на маму Педера, сидящую в инвалидной коляске. — Здорово, Барнум. Хорошо доехал? — Я перевожу дух: — Да. Хотя после Фласкебекка море было неспокойно. — Педер вращает мамину

коляску и смеётся: — Барнум научился бояться высоты! Придётся ему обратно ехать на тебе! — Папа хлопает меня по спине, а я думаю, как же мама сюда перебралась, колясок на подвесных мостах я пока не видел. Педер отвозит маму в тень за низким белым домиком посреди острова, а потом показывает мне комнату, где мы будем жить. В ней стоит кровать, двуспальная кровать у окна, Педер укладывается на неё и оттуда следит, как я разбираю вещи. Их у меня немало, всё-таки предстоит аж неделя у друга на острове, тут уж лучше перестраховаться. Среди прочего в моём багаже пижама, пляжные тапочки, две пары плавок, чтоб я всегда мог переодеться, как только выйду из воды, и таким образом уберечься от простуды, бельё, крем от солнца, карандаш и бумага, на которой мама, на всякий пожарный, написала наш адрес и телефон, лосьон от комаров, дезодорант, расчёска и, не извольте сомневаться, старый фотоаппарат, я не забыл ничего. — Решил здесь навечно поселиться? — спрашивает Педер. В ответ я разворачиваюсь в сторону кровати и щёлкаю его: как он лежит, заложив руки за голову, улыбается своей улыбкой, один глаз прищурен, будто он дразнит меня или только что рассказал скабрёзный анекдотец, голый торс,

животик, наплывающий на пояс шорт, несмотря на то что Педер лежит, растопыренные пальцы и тень, которая делит фотку надвое, наискось, из угла в угол. Таким я и запомнил Педера в наш первый летний день вместе. Потом он открывает оба глаза, смотрит на меня и спрашивает: — С какой стороны ляжешь? — Я отвечаю со своего места: — Знаешь, что было в этом чемодане? — Без понятия. — Аплодисменты. — Педер снова зажмуривает глаз, можно подумать, теперь я его дурачу. — Аплодисменты? — Угу. Отцово наследство. — Педер задумывается. — Но сейчас в нём аплодисментов нет? — спрашивает он наконец. Я мотаю головой и осторожно пристраиваюсь на кровать рядом с ним. Матрас мягкий, а посерёдке эдакий провал, куда мы и скатываемся. У Педера кожа горячая, она обжигает, когда я случайно касаюсь её. — Чемодан с аплодисментами, — шепчет Педер. — Стильно. — Я беру баночку крема «Нивея», откручиваю крышку, погружаю палец в белый, вязкий крем и начинаю намазывать Педера. Он перекатывается на живот. Плечи красные, спина облезает. Я отдираю тонкие струпики отсохшей кожи. Между плеч его укусил комар, меня просят почесать. Потом я снимаю с себя одежду, в которой приехал, переодеваюсь

в плавки, и Педер обмазывает всего меня, он старается, не забывает ни одного местечка, где я рискую обгореть. Потом мы лежим молча. — Ты, наверно, гадаешь, как мама попадает сюда? — без перехода спрашивает он. — На лодке? — Не угадал. Она плывёт на своей коляске. — Врёшь? — Нет. Она разгоняется на берегу и вперёд. Чапает, примерно как колёсный пароход «Шибладнер» по озеру Мьёса. — Не может быть. — Правда. Весь посёлок собирается посмотреть, как мама переплывает на остров. Они целый год считают дни до этого зрелища. — Мне не трудно это представить: мама в инвалидной коляске посреди пролива, я закрываю глаза и вижу эту картину — коляска во фьорде, но тут нас зовут, крик доносится издалека, оттуда, где солнце и ветер. Но мы не сразу вскакиваем. Мы ещё лежим. — Я рад, что ты приехал, — шепчет Педер. — Я тоже очень рад. — А потом мы с топотом несёмся на террасу, где в тени зонтика накрыт стол, мы садимся на мягкие стулья, наливаем в стаканы жёлтый сок и пьём сладкую жижу под гудение кружащей над скатертью осы, которую мы не гоняем вовсе. Папа показывается в широких дверях гостиной. Он стоит, облепленный тонкими занавесками, держит в руках кастрюлю и улыбается: — Про-

голодались? — Чертовски, — откликается Педер. Папа выпутывается из занавесок и ставит кастрюлю на стол. — Попрошу без ругани на моём острове, — говорит он. Педер хохочет. Я заглядываю в кастрюлю. На обед рыба. Папа складывает газету и принимается гонять осу, но всё время промахивается. Он поправляет очки, смотрит в сторону пляжа и вышки для прыжков и кричит: — Мария! Обедать! — И скоро раздаётся скрип колёс, их, похоже, не мешает смазать, она выезжает из тенька, папа с Педером пересаживают её из коляски на стул, я мельком вижу костлявое тело, бёдра, живые мощи, серую кожу, болтающуюся на мослах, и она понимает, что я увидел это и напугался, смутился, хотя я старательно смотрю совершенно в другую сторону, любуюсь яхтами во фьорде, там медленно стучит моторка шнека, сердце фьорда, вернувшаяся оса пристраивается на ободок моего стакана, в вилках отражается солнце, и я думаю, что есть вещи, которые не надо видеть, ни к чему они человеку, зачем, например, мне такая картинка: Фред стоит перед зеркалом в маминой спальне, а потом — раз! — наклоняется и целует себя в зеркале, втягивает в себя своё отражение… для чего увидели это мои глаза, ведь всё увиденное человек таскает

в себе, и каждое новое видение приплетается к огромному полотну, невыносимому для наших глаз, но нет, я всё равно ещё раз кошусь на её сухие ноги, плед сполз набок и открыл их, они как спички, синеватые, жухлые, а она поправляет плед, смеётся и говорит: — Угощайся, Барнум, чур ты первый. — Педер пододвигает мне кастрюлю. Пахнет уксусом. Это холодная рыба. Папа откупоривает два пива и протягивает одно маме. Они пьют прямо из горлышка. — Макрель! — горделиво произносит папа, поворачиваясь ко мне. — Макрель? — шепчу я. — Да, Барнум, бесподобная, жирная макрель. Она в этом году ранняя. Но меня не проведёшь! — Педер зевает и крутит зонтик. Тень разливается по столу, точно стакан опрокинули. Я беру самую маленькую макрельку, меньше нет. Мама смеётся: — Барнум, так уж не стесняйся! — К счастью, Педер отбирает у меня кастрюлю и не скромничает. — Если ты не съешь хотя бы три рыбины, отец чертовски обидится, — наставляет меня Педер. Я выдавливаю из себя смех. Папа отставляет пиво. — Макрель, молодые люди, пища не только вкусная, но и полезная. Только попробуйте, какая у неё толстая шуба. — У неё нет шубы, папа, — говорит Педер. Я заливисто смеюсь. Но папа со вздохом проводит пальцем

по блестящей шкурке, оглаживает её. Макрель. Обед из фашистского трупа на моей тарелке. Я опускаю голову. Нет, война никогда не кончится. Меня мутит. Запоздалая морская болезнь. Только не это! Если меня вырвет, мама может решить, что меня затошнило от вида её парализованного тела, кожа да кости, прикрытые пледом. Нельзя такого допустить. Я сглатываю, и скользкое мясо, скользкая плоть со дна, проскакивает внутрь, я вскакиваю и, не оглядываясь, устремляюсь за дом, там падаю на колени, и меня выворачивает наизнанку. — Барнум, ты чего? — Я отираю рот рукой, от неё разит кремом и уксусом. Педер прибежал за мной. — Я не ем макрели, — шепчу я. Педер присаживается на корточки. — Нельзя было сказать, пока не затошнился?

Фред накачивает мышцы. Он пробегает снизу доверху все чёрные лестницы, двенадцать подъездов, потому что никто не должен видеть его бегущим. Сегодня он отжимается в нашей комнате тридцать раз, а завтра уже пятьдесят. Посреди ночи Фред просыпается, в тревоге и страхе, и отжимается ещё раз сорок, а потом бегом бежит на чердак. И вот он входит в двери Центрального боксёрского клуба на Стургатен, и все как по команде оборачиваются к нему. Смолкают удары,

он видит набитые песком груши, продолжающие по инерции колыхаться, улыбки на потных лицах. Сейчас эту знаменитость отделают под орех. Они ждут этого с радостью.

Педер повёл меня назад на террасу, за стол. — Барнум думает, что макрель — это немецкие солдаты в другой форме, — объяснил он. Мама подавила улыбку и быстро провела пальцем по моему плечу. — Ты как, получше? — Я кивнул. Но папа расширил глаза и едва не выронил бутылку пива. — Педер, что ты сказал? — Брат Барнума сообщил ему, что макрель питается трупами немецких солдат. — Папа медленно повернулся ко мне, как будто мыслям тоже нужно время, чтобы вписаться в такой поворот. — Твой брат правда так сказал? — Угу, — прошептал я. — Но это враньё, конечно. — Тогда папа сунул руку в кастрюлю чуть не по плечо и вытащил самую здоровую рыбину. — Ну-ка, скажите мне, что в этом животном от фашиста? Где у него, к примеру, усы? — У неё есть шуба, — напомнил Педер. — Так, может, это русская макрель, — предположил папа. — Сейчас проверим. — Сказавши это, он на наших глазах съел макрелину: он запихнул её в рот целиком, долго жевал, обсасывал, глядя по сторонам. Он побледнел и даже снял чёрные

очки. — *Wer ist Blücher, mein Schiff? Ich muss zu Oslo fahren!* — Да ты набрался! — закричала мама. Мы хохотали так, что нам пришлось сесть на землю, чтоб не попадать со стульев. Папа влил в себя ещё одно пиво, и макрель опустилась в желудок. — Ребята, вечером, я думаю, пожарим сосиски. — Остаток дня мы провели, собирая дрова для костра, и едва на фьорд наслоились сумерки, легли, как прозрачная тень, как отлив солнца, ещё мягкие, остывающие, папа запалил брёвна и щепы, из которых мы сложили на пляже остроконечную башню, и сразу костры запылали повсюду, зажглись их яркие, колеблющиеся точки, от ближних причалов неслась музыка, и с каждой секундой этого вечера огни и голоса делались явственнее, словно прохождение времени проявляло всё вокруг. Мы доели последнюю сосиску, натянули свитера и сели потеснее. Педер насчитал двадцать восемь костров, на три больше, чем в прошлом году. Я не мог вспомнить себя в состоянии такого глубокого покоя прежде, возможно, я до сего вечера не был с ним знаком и только теперь узнал, что оно существует, моё полное, неизведанное умиротворение.

Когда мама уснула, Педер повёз её домой. Я остался с папой у костра. Он тихо догорал, как

гасли и другие костры, точно лампочки в ночи. — Брат не смог приехать? — Он тренируется, — ответил я. — Какой спорт? — Бокс. — Папа хохотнул и раскурил носогрейку. — Бокс, говоришь. Благородное искусство самообороны. — Наверно, макрель наелась английских солдат, — сказал я. Папа засмеялся и положил руку мне на плечо. — Он здорово бьётся, твой братец? — Не знаю, но побои он сносит, как никто. — Папа вытряс пепел из трубки, и он поплыл по воде. — Это тоже искусство, Барнум. И не у всякого к нему талант.

Педер не вернулся к нам. Мы неспешно побрели к дому. Папа вдруг взял меня за руку и долго не выпускал её. А потом отцепился, вернулся к серому кострищу и остался стоять там. Я слышал, как шуршат шины коляски, непонятно где, или это скрипел под ветром подвесной мостик. Я вбежал в нашу комнату. Педер спал. Я аккуратно разделся и заполз на кровать со своей стороны, чтоб не разбудить его. Педер повернулся, всхрапнул, но тут же дыхание его снова стало мерным и тягучим. Не помню, видел ли я сны. Наверно, просто спал с единственной заботой: не расплескать умиротворение.

Назавтра спозаранку нас разбудила мама. — Я буду вас рисовать! — сообщила она. Коляска

заехала прямо к нам в комнату. Я тут же сел в кровати, так неглубок был мой сон, я спал с открытыми глазами, как учила Пра. Педер со стоном натянул на себя одеяло. — У Барнума с собой фотик. Щёлкни нас лучше. Сэкономишь уйму времени. — Мама потянулась вперёд и сдёрнула с него одеяло. Педер лежал голяком. Чтобы Педер краснел, я не видел ни до этого, ни, кстати, после. Сам я тоже залился краской, и не так, как в прошлый раз, я почувствовал, что жар опалил щёки, я медленно сгорал. И мама смутилась, во всяком случае, она вцепилась в колёса. А Педер рванул на себя одеяло. Мамин маленький ротик поспешно сложился в улыбку. — Педер, не обижай меня. Жду вас через четверть часа у вышки. Ладно, Барнум? — Конечно, — прошептал я. Засим мама уехала, чуть погодя Педер высунул голову из-под одеяла и покосился на меня. — В пижаме спать не могу, — сказал он.

И весь день мы сидим на скале у вышки, а мама рисует нас, устроившись в зыбкой тени яблони. На голове у неё широкая белая шляпа, а больше ничего от неё нам не видно. На небе ни облачка, мы коричневеем на глазах, у Педера выгорают волосы, это ему к лицу, хотя оно у него и насуплено. Мне интересно, сможет ли мама передать, что мы

изменились к окончанию картины, что мы уже не те, что вначале. Но что она там рисует, мы не видим. Папа подносит нам холодный апельсиновый сок, если нас одолевает жажда, и каждый час мы купаемся: разом прыгаем с вышки, уходим на самое дно, становимся на гладкие камни, отталкиваемся и пробкой вылетаем наверх, к солнцу, растянутому как сверкающая нитка капель. — Ещё чуть-чуть! — кричит мама. Мы садимся на прежнее место и в секунду обсыхаем. Мама из-под яблони, из-под широкополой шляпы, из-за этюдника мурлычет знакомую мне песенку, и когда бы потом я ни услышал эту мелодию, я сразу чувствую жару того дня на распаренной скале; я поневоле зажмуриваюсь, чтоб солнце не слепило глаза, а запах тёплого крема «Нивея» и табака навевают на меня странную, неуловимую печаль, не до конца мне понятную, ведь никогда не было мне хорошо так, как там, на Ильярне, тем летом с Педером, впрочем, это и есть, похоже, ступица колеса печали буксующей на месте жизни — что всё прошло, утекло мгновение, и нет его. — Ещё чуть-чуть! — снова кричит мама. И даже Педер улыбается, втягивает живот и показывает бицепсы. Папа сыпет кубики льда в наши стаканы, холодное позвякивание на донце солнца.

А Фред стоит в раздевалке Центрального боксёрского клуба. Десять показывает на шкафчик и говорит: — Твой. Потом ключ получишь. — Фред устраивается переодеваться. Томми и двойня следят за ним молча. Фред оборачивается к ним. Они отводят глаза. Заходит мужчина. Останавливается за спиной Десяти, тот немедля отступает в сторону. Мужчина долго разглядывает Фреда. — Меня зовут Вилли, — сообщает он наконец — Я тут тренер. — Фред никак не отвечает, только бросает на мужчину быстрый взгляд. На нём синий, видавший виды тренировочный и подобие туфель на ногах. Он кажется жирным, как будто мускулы расплылись по телу. Вилли пятьдесят два, он живёт холостяком в общежитии у автобусной станции Анкерторгет, работает на механическом, и единственное, в чём он немного разбирается, это сварка и бокс, куда больше? — Говорят, ты сносишь что угодно. А бить сам хочешь научиться? — Фред пожимает плечами. Вилли поворачивается к Десяти: — Он говорить может? — Может, — отвечает Десять. Томми начинает смеяться, но замолкает на полузвуке. Вилли снова устремляет глаза на Фреда. — Ты каким-нибудь спортом прежде занимался? — Фред завязывает шнурки. — Диском, — отвечает он.

Меня разморило от солнца, я уснул головой на гладком, горячем плече Педера, и мамин голос доносится издалека: — Всё, мальчики, вы мне больше не нужны! — Когда я открываю глаза, она катится прочь из яблоневой тени, может, повизгивание шин и разбудило меня. — Дай посмотреть! — кричит Педер и тоже вскакивает. Но мама смеётся и качает головой: — Нет, только когда закончу! — Мама собирает этюдник и сворачивает к дому. Она закончила работу с нами, но не с картиной. Этим летом она так и не была доведена до готовности. Всё время оставался ещё последний штрих, мазок, линия. Только после папиных похорон, на которые Педер не сумел прилететь из Америки, я увидел тот наш портрет, и тогда не сочтённый ею готовым. Я был шокирован, иначе не скажешь. Хотя она дала полотну красивое название, «Друзья на скале» назвала она его, проще простого, отсутствие всякой определённости в названии словно бы отстранило нас от изображения плюс время увеличило расстояние, словно и не было никогда момента, когда я мог протянуть руку и дотронуться до картины. — Да не закончишь ты её никогда! — надсаживается Педер. Мама останавливается, и коляска делает оборот. — Спорим? — Педер хохочет: — Ты же

продуешь. — Ну так спорим? — повторяет мама. — Нет, — отвечает Педер. — Лучше я тебя *сфигаграфирую!* — Он вытаскивает мой аппарат, который прятал в одежде, мама вскрикивает и заслоняется руками, но он успевает щёлкнуть раза четыре, не меньше, пока ей удаётся развернуть коляску и на приличной скорости ускользнуть за дом. Нежданно у нас за спиной вырастает папа. — Что тут происходит? — Ничего, фигаграфируем, — отвечает Педер, возвращая мне аппарат. Меня разбирает смех от этого нового слова, оно ужасно щекочется во рту. Но что-то в папином взгляде охлаждает мой смех, и я прячу фотик за спину. — Ты же знаешь: мама не любит фотографироваться. Вот и не делай этого. И ты, Барнум, тоже.

Я упрятал аппарат в чемодан, я зарёкся пускать его в ход на острове. Педер вошёл следом и сел на кровать. — Матушка мнительная кое в чём, — сказал он. Я стоял спиной к нему. — Это как? — Она считает, что когда фотографируют, могут похитить душу. — Похитить душу? — Ну да. Вбила себе в голову. — Я поворачиваюсь к Педеру. — Тогда я не буду проявлять её снимки. — Педер вздохнул: И ты туда же, да? — Я не знал, что и ответить. — Если она так думает, — про-

бурчал я. — И что тогда? — Педер начал терять терпение. — Думай не думай, толку-то. — Педер помолчал, потом сказал: — Мои фотки, чур, прояви.

А Фред уже стоит в тренировочном зале перед зеркалом. Все взгляды устремлены на него, он смотрит на себя. — Левую ногу вперёд! — командует Вилли. — Или на Фагерборге все левши вонючие?! — Фред отставляет правую ногу назад, бьёт в зеркало, цыплячьи мускулы, кривое лицо. — Вверх, на цыпочки! — орёт Вилли. — Или на Фагерборге у всех плоскостопие? — Фред поднимается на мыски, не успевает поймать равновесие, как сзади подходит Вилли, несильно тыкает его в спину, и Фред заваливается в сторону зеркала. — Если у боксёра устали ноги — ему кранты, Фред. Где ноги устали, там и дух устал. — Томми передаёт бутылку Десяти, тот — Вилли, а уже он — Фреду. Фред делает глоток, пойло сладкое и вязкое. Он возвращает бутылку Вилли, который швыряет её назад Томми. — Я бегал по лестницам, — говорит Фред. Вилли изучает его. — Так Фред, ударь меня. — Что? — Ударь меня. — Фред раздумывает минуту, потом бьёт. Но Вилли уже в другом месте. — Давай, давай, ударь! — Фред снова наносит удар. Но Вилли уже с другой сторо-

ны. Этот толстый старый мужик танцует вокруг Фреда. — Не бегай по лестницам, это пустое, — говорит Вилли. Фред садится на скамейку. В зале тишина. Вилли усаживается рядом. — Голова, руки, ноги, — говорит Вилли. — Ноги, руки, голова. Фред, повторяй за мной. — Фред смотрит на него, набычившись, молчит. — Ноги, руки, голова, — повторяет Вилли. — Голова, руки, ноги. Ну-ка, скажи сам. Три слова ты можешь выговорить? — Фред опускает глаза. — Ноги, руки, голова, — чуть слышно шелестит он. — Голова, руки, ноги. — Вилли наклоняется совсем близко к Фреду. — Тебе нужно многому научиться. Ты готов учиться? — Фред кивает. Вилли оглядывается на остальных ребят. Они уже выстроились в очередь: Калле, Йорген, Салва, Малой, Талант, Арве, все как один мечтающие пробиться, выбиться, одолеть звуковой барьер, перешибить болевой порог и надеть на себя чемпионский пояс с золотой пряжкой и крыльями; Томми вне себя от нетерпения, Десять, двойня, эта очередь тянется до Бьёлсена. — Талант, готовься, — отдаёт распоряжение Вилли. Талантом зовут высокого тихого парня из Торсхова, он кивает и не суетясь скрывается в раздевалке. Вилли приносит пару перчаток и зашнуровывает их на Фреде. — Ты

слышал слова *the noble art of self-defence?* — спрашивает он. — Английское слово, — отзывается Фред. — Английская болтология, — разъясняет Вилли. — Типа как пишут в своих книгах выпендрючелы с усиками. Бокс не самооборона. Бокс — атака. Бей, когда можешь. Танцуй, когда необходимо. — Талант возвращается из раздевалки и залезает на ринг. — Посмотри мне в глаза, — велит Вилли. Фред смотрит. Они сидят так долго. — Ну как? — спрашивает потом Вилли. Фред поднимает перчатку. — Порядок. — Хорошо. Хочу на тебя посмотреть. — Ты меня видишь. — На ринге посмотреть, — поясняет Вилли. Кто-то надевает на Фреда сырой шлем. Фред перелезает через канаты. Талант ждёт его в центре ринга. Он стоит, опустив перчатки по швам, собранный, молчащий. Ну, Фред, не бойся. Я думаю о тебе сейчас. Я с тобой. Болею из твоего угла. Фред подходит прямиком к Таланту и начинает бить. Он лупит как озверелый, но попадает в белый свет как в копеечку, а Талант знай себе танцует, он везде и нигде, Фред кидается на него, но огребает лишь жёсткие тычки в грудь, бока, плечи, словно его удары рикошетят в него, удвоившись в силе, и Фред молотит кулаками вдвое быстрее, сильнее, но промахивается, и от этого у него темнеет в го-

лове, мутится рассудок, да что ж такое, он лупит, лупит и не попадает, этот Талант как тень, как призрак, и снова Фред получает удар в грудь, изо рта вырывается выдох, стон, и от этого стона в сочетании с тишиной в зале и быстрыми, неуловимыми шагами по рингу у Фреда ум заходит за разум, он бьёт во все стороны, он кидается на Таланта, прорывается сквозь каскад ударов, он бьётся, как разъярённый ребёнок потому что это хуже побоев, это издевательство над ним, его выставляют на смех, а с Фредом можно творить что угодно, но смеяться над ним запрещено, и Фред впечатывает Таланта в канаты, но тут кто-то хватает его за руки сзади, это Вилли, он выволакивает Фреда с ринга, в раздевалку, усаживает на скамью, расшнуровывает перчатки, снимает шлем. — Прими душ, — говорит он Фреду. — Холодный.

А Педер показывает на облака над нами. — Вылитая макрель, — говорит он. Они медленно проплывают мимо, как бумажная мишура, подсвеченная снизу розовым светом заходящего солнца, садящегося за лесистый кряж на той стороне фьорда, посреди которого этим безветренным вечером дрейфует, ни туда ни сюда, парусник. Педер смеётся: — Так что всё это враки,

что макрель ест немцев. Им дорога на небеса заказана. — Мы лежим на траве между домом и пляжем. Но вот облака срываются с места, исчезают или просто меняют цвет, но всё вокруг делается синим, ландшафт, куда ни глянь, похож на высокие синие ступени. — Ты слушаешь? — спрашивает Педер. — Угу, — отвечаю я у него из-под бока. Мы притискиваемся поплотнее друг к дружке. Мы босые, пальцы ног растопырены, между ними белеет кожа, прежде мне не приходило в голову, что пальцы на ногах могут быть до того непохожими. Педер громко считает до двадцати — двадцать пальцев. У флагштока пронзительно скрипит коляска, идут поиски похищенной души. Отдам я ей плёнку. А вот чем рискуют наши души, когда она нас рисует? Остаются в неприкосновенности, потому что картина пишется так долго? — Барнум, что твой козырь? — Что? — Что у тебя выходит здорово? — Я задумываюсь. — Здорово? — Ну да. Есть такие вещи, которые ты делаешь лучше остальных? — Не знаю. — Не дури. Конечно знаешь. — Я снова задумываюсь. — Сны, — шепчу я наконец. — Педер отгоняет осу. — Сны? Тоже мне. Их все видят. — Но я вижу их только днём, — отвечаю я. — И они отлично у меня выходят. — И о чём же

твои сны, а, Барнум? Что ты стал каланчой? — Кажется, протяни руку и дотронешься до неба, возьмёшь в руки синий уголок и отогнёшь. Даже трава под нами и та синяя. — Я выдумываю, что со мной происходят разные истории. — Истории? Какие такие? — Несчастья. Катастрофы. Ужасы. — Я закрываю глаза. Педер ждёт продолжения. — Например, меня сбивает машина, я с трудом, но остаюсь жив, хотя слепну и теряю речь. Или исчезаю вместе с самолётом, пропавшим над Африкой, а на самом деле живу там в первобытном племени, но находят меня только через тринадцать лет. — Я открываю глаза. Педер молчит. Странно говорить всё это вслух. Никогда прежде я своими историями ни с кем не делился. Теперь даже выдохся от рассказа. — Ну, — говорит Педер, предвкушая продолжение. — Ещё я фантазирую, что я прихожу на кладбище положить цветы на могилу, меня спрашивают, кого я навещаю, а я говорю — маму, она умерла от рака. — Педер натягивает на себя майку. Мне вроде не холодно. — Зачем ты это делаешь? — спрашивает Педер. — Выдумываешь всё такое? — Чтоб меня пожалели, — отвечаю я. — Ты такой же полоумный, как твой братец, — говорит Педер. Я перекатываюсь на бок, взгромождаюсь на

него и бью. Наотмашь, вкладывая в удары всю силу. Луплю куда придётся. Педер вопит. Руки у него спеленуты майкой. Он уворачивается, вырывается, но я зажимаю его между ног и бью, молочу кулаками в лицо, в грудь, Педер захлёбывается, рвёт майку, я не унимаюсь, он пихает меня в грудь, я не замечаю даже. — Не смей так говорить! — выкрикиваю я. — Не смей! — Из расквашенного носа у Педера кровь хлещет ручьём, меня кто-то хватает и отшвыривает в сторону, папа, он становится между нами. — Какого дьявола вы сцепились? — Педер поднимается, прихрамывая. — Попрошу без ругани на моём острове, — говорит он. Папа хватает его и дёргает на себя: — Сейчас не время острить, молодой человек. Вы что, решили поубивать друг друга? — Педер вытирает кровь разодранной майкой. — Нет. Барнум первый собрался меня прикончить. — Папа поворачивается ко мне: — Барнум, может, ты мне что-нибудь объяснишь? — Я опускаю глаза. У меня перехватило дыхание. Я не в силах вымолвить ни слова. Педер встаёт рядом со мной. — Мы просто поругались, — говорит он. — Я назвал Барнума пигалицей, а он меня жиртрестом. — Папа долго переводит взгляд с одного на другого. Потом неуверенно улыбается: — Друзья не дразнят

друг друга, верно? Для этого дела всегда найдутся враги. — Мы смотрим в разные стороны. Папа протягивает Педеру платок. — Ну ладно. А теперь пора пожать руки, угу? — Мы медлим. Я протягиваю руку. Педер протягивает руку. Мы пожимаем их. Чудное мгновение. — То-то же, — говорит папа и хлопает по спине меня и Педера.

А Фред выходит из душа. Подходит к своему шкафчику. Ему холодно. Он быстро натягивает на себя одежду. В раздевалке никого, кроме Вилли. Удары, которые доносятся из зала, шаги, дыхание, глухой гул, как от проходящего на заднем плане товарняка. — Ты слишком зол, мальчик, — говорит Вилли. Фред не смотрит на него. — Боксёр не должен отдаваться злости. От неё люди вытворяют глупости. Боксёр должен быть расчётлив, холоден и хитёр. — Фред хлопает дверцей шкафа, но она немедленно отворяется вновь. — С чего ты так злишься на себя? — Теперь Фред поворачивается к Вилли, и тот отступает на шаг. Фред забыл закрыть кран. Капает вода в душе. Вилли идёт, выключает воду, Фред ждёт не шелохнувшись. Вилли нащупывает что-то в кармане замурзанных треников, ключик, и вручает его Фреду: — Не будешь шкаф запирать? — Лицо Фреда озаряет улыбка, он запирает шкафчик, девятую ячейку.

Вилли кладёт руку ему на спину. — А теперь, Фред, домой и спать. Переспи свою ярость.

Тем вечером первым ушёл спать я. Лежал в кровати, ждал Педера и думал: вот я впервые в жизни поднял руку на человека, и, конечно, им оказался мой лучший и единственный друг Педер Миил. Я натянул одеяло на голову. Теперь все возмущены мной. Небось завтра же и наладят восвояси. Поделом. Сам виноват. Меня точил стыд. Педеру пришлось ещё и соврать, выгораживая меня. Никогда я не терзался сильнее, чем теперь этим тугим, тяжёлым, тоскливым позором из-за того, что разочаровал всех, и здесь, на острове, и маму с Болеттой, да весь белый свет, хотя именно этого я избегал всеми силами — чтобы кто-нибудь разуверился во мне. Я был переполнен стыдом и срамом. Педер, понятно, теперь меня возненавидит, пусть он и пожал мне руку. Наконец он пришёл. Сел на кровать спиной ко мне. Сгорбился. Я притворился спящим. — Прости, — сказал Педер. Я затих, как мышка. — Это ты меня прости, — пискнул я. — Нет, я виноват, — сказал Педер. — Я. Драться я полез. — А я первым начал. Как я мог сказать такое о твоём брате?! — А я? Как я посмел бить тебя? Очень больно? — Неа. Чуть-чуть. А тебе? — Ничего страшного, — ответил я.

И покой вернулся ко мне, я чувствовал себя даже спокойнее прежнего. Педер сидел в прежней позе. Я погладил сгорбленную спину. Педер был в пижаме. — Тише, — шепнул он. Я замер. Мы слышали, как укладываются родители: остановился скрип колёс, папа поднимает маму, переносит в кровать, смех, шёпот, затем тишина. Луна зашла за тучу. — Угадай, что у меня есть? — Не знаю, — протянул я. Педер выпрямился, обернулся и протянул красную бутылку. — Кампари, — прошептал Педер. — *And how do you like your brendy, sir?* — *In a glass,* — откликнулся я. Педер принёс из ванной наши стаканчики и налил их доверху. Сел рядом со мной. — Твоё здоровье, — сказал он. — Скол. — Скол, — поддержал я. Это было всё равно что ещё раз пожать друг другу руки. Даже больше. Мы выпивали вдвоём. Лицо Педера собралось в жёсткий, тугой ком, словно его окунули с головой в холодную воду, а потом натёрли морду апельсиновой шкуркой с хозяйственным мылом. — *Ёшкин-кошкин,* — выдохнул он. Я расхохотался и подставил стаканчик для добавки. Пить мне понравилось. Это дело для меня. Педер очухался после второго стакана. Я пришёл в себя после третьего. И понял, чего ради Болетта пристрастилась ходить на Северный полюс за пивом.

Дело в забвении, отходишь в сторону на шаг — и ты в домике, никто тебя не достанет. Испарился стыд. Ушли разочарования. Исчезло всё, от чего я хотел избавиться. Я не только воспрянул духом, но и тело стало невесомым, начисто забылось, какой я крови и плоти, росту во мне набралось метр семьдесят восемь, да бери выше — метр девяносто. Мне открылась суть опьянения. Это отрешённость. И ты можешь заполнить её чем пожелаешь. Наверно, вот что сдвинулось тем летом: я напился «Кампари», на пару с Педером, из стаканчиков для чистки зубов, сидя ночью в неширокой двуспальной кровати. Фьорд тёрся о скалы. Пройдёт несколько миллионов лет, от него останутся ил да пыль, ветер развеет их, если до того не стрясётся чего похлеще. Птицы молчали. И так мне возмечталось, что вся наша жизнь, до конца, будет идти как этот миг, именно этот: мы вдвоём, мягкая бесформенная отрешённость и умолкшие птицы. — А знаешь, в чём я мастак? — спросил Педер. Я выпил. Задумался. Но мысли мои были далеки. Они жили другими заботами и текли в ином направлении. — В танцах, — ответил я. Педер подавился «Кампари», и мне пришлось чуть не четверть часа стучать его по спине. — Ещё попытка, — просипел он. — В

счёте. — Педер сел и кивнул. — Точно. В счёте. А как ты догадался? — Угадай с двадцати раз! — Педер улыбнулся и прикрыл глаза: — Я считаю всё. Считаю, пока цифры не кончаются. Однажды я пересчитал все носы на аллее Бюгдёй. — Носы? Честно? — Представляешь? Фу, мерзость. *Nevermore!* — Он опять открыл глаза. Я засмеялся, а Педер принялся пересчитывать мне зубы, как мерину, и насчитал тридцать один. — Одного не хватает, — сообщил он. — Выпили. Скол. — Один мышка не вернула, — ответил я. — Скол, Педер. — Мы выпили. И показалось, будто в комнате звенит оса, но потом звук пропал, видно, оса вылетела в приоткрытое окно, если это только было не шумом в моей разбухавшей голове. — А зачем ты всё считаешь? — Педер заполз в кровать. Следом я. И он прошептал с упоением: — Счёт так успокаивает! Всё становится на место. Я не знаю ничего прекраснее цифр! Которые возрастают и возрастают. — Ты такой же полоумный, как и я. — В ответ Педер опрокинул стакан, сел на меня верхом и прижал мои руки. — Считатель и сочинитель! Барнум, мы с тобой — сила! — Дышать я почти не мог и выдавил: — Да. — Нет, ты представь, чего мы сможем добиться?! — Педер припал ещё ближе и держал

меня по-прежнему мёртво. — Чего, Педер? — Ты только представь! — взвизгнул он. — Ты меня задушишь, — громко просипел я. Это Педера не смутило. — Ты сочиняешь. Я подсчитываю, во что это обойдётся. Одно нехорошо. — Что? — Педер обнюхал мой рот. — Ты пьяненький, а, Барнум? — Может быть, — прошептал я. Педер раскачивался всем телом. Кровать ходила ходуном. Матрас скрипел. — Полярность твоих фантазий. Её надо переделать. — Чего-чего? — Поменять минус на плюс. Сейчас твои истории со знаком «минус». Их нужно перевести в плюс. Иначе дело не пойдёт! — Педер рухнул на кровать рядом со мной и довольно долго не говорил ничего. Робкий свет пробился из-за занавесок, завяз в моих глазах и растопырился в голове, как мельтешащая карусель. — Считатель и сочинитель, — повторил Педер с расстановкой. — Барнум, это мы с тобой. — Это были его последние слова в ту ночь.

Фред спит. Он спит десять часов кряду. Перед завтраком выходит на тренировку. Он не бежит, он быстро идёт, машет руками вперёд и назад, сильно и высоко. Народ провожает его улыбочками. Фреду не до них. Ему плевать. Как Вилли сказал, так он и делает. Впервые в жизни он делает так, как ему сказали. Накрапывает

дождь. Прекрасненько. Он доходит до кладбища Вестре, делает растяжку, упираясь в дерево, и в том же быстром темпе возвращается домой. Он разгорячён, но не вспотел. Принимает душ, ест овсяную кашу, запивает её кипячёной водой. Мама с Болеттой молчат. Фред тоже не тратит сил на разговоры. Он экономит силы. Копит их. Откладывает на затяжные раунды. Едет в боксёрский клуб на трамвае. Вилли уже ждёт его. Фред переодевается. Они одни. Вилли вручает ему прыгалки: — Прыгай! — Фред скачет. — На носках! — Фред прыгает через скакалочку. Эх, хотел бы я поглядеть на это! Фред скачет через верёвочку, всё быстрее и быстрее, перед зеркалом в Центральном боксёрском клубе, пока наконец не падает на пол, ноги распухли и как чужие, а Вилли стоит над ним и смеётся. — Ноги, руки, голова, — говорит он. — Голова, ноги, руки, — затверженно повторяет Фред, поднимаясь на ноги. Вилли надевает на него пару лёгких перчаток — Груша, — бросает он. Фред подходит к мешку с песком, который висит на верёвке, вделанной в потолок и принимается бить по нему. Вилли стоит за Фредом и поправляет постановку рук, замах, поднимает локти, выкручивает кулаки. Потом отпускает его в свободное плаванье. Фред

колотит. В пустом зале глухие удары. Невыветриваемый запах, камфора это, наверно, кислый пот, несвежая одежда, холодный сквозняк — Куда бьёшь? — спрашивает Вилли. — По чёртовой груше! — говорит Фред и пригибает голову, поднимает плечи, бьёт дальше. — Это не чёртова груша! — кричит Вилли. — Ты бьёшь человека. Ты его изматываешь! — Фред бьёт, наносит тяжёлые удары, которые раскручиваются из нутра, из пяток, нет, они идут из головы, из мозгов, движение, в которое вложена вся твоя жизнь, мускул времени. — Ты кого бьёшь? — снова спрашивает Вилли. Фред хмыкает, хмыкает и бьёт. — Я бью чёртову грушу, — выкрикивает он. Вилли обхватывает его. Фред опускает руки. — Фред, воображение у тебя есть? — Фред садится на скамью, он измотан своими же ударами. — Важно не то, что ты видишь, а что ты думаешь, что ты видишь, — говорит он. — Чушь, — отрезает Вилли. — Кто это наболтал? — Они все умерли, — отвечает Фред. Вилли промакивает потного Фреда, даёт ему напиться сладкого пойла. — Бой с тенью, — распоряжается Вилли. И Фред выходит на бой, он один на ринге, он танцует, наносит удары, оказывается, попасть в никуда сложнее, чем в кого-то, удар в воздух настигает бьющего. — Кто

твой противник? — кричит Вилли. — Тень. — Неверно, Фред. Ты должен представлять того, с кем боксируешь. — Томми, — соглашается Фред и бьёт. — Забудь его, — говорит Вилли. — Десять. — Фред снова бьёт. — Забудь. — Талант, — говорит Фред и наносит серию стремительных ударов. — И Таланта забудь тоже. — Фред останавливается и поворачивается лицом к углу, где стоит Вилли. — И с кем я боксирую? — спрашивает теперь Фред. — Ни с кем. — То есть? — С противником, Фред. А он — никто. У него нет имени. Нет адреса. Нет семьи. Единственное, что тебе известно о нём, — ты должен мочить его, сколько достанет сил, и победить. И это всё, что тебе надо о нём знать. Понял? — Фред кивает. Он улыбается. — Я так всегда и знал, — говорит он. И бьёт, он лупит тень с единственной мечтой: сразить её ударом и увидеть, как она рухнет к его ногам.

Меня будит стук дождя по крыше. Я лежу и слушаю шорох дождя, лето, утро, красота. Педер поворачивается ко мне. От него разит. — Сочинил что-нибудь? — спрашивает он. — Неа. А ты? Посчитал чего? — Пока нет. — Взгляд у него стекленеет. — Но сейчас сосчитаю, сколько раз меня вывернет. — Он свешивается на другую сторону, издаёт какие-то животные звуки, смрад

сгущается. — Ой, — стонет Педер. Я ухожу. Встаю, одеваюсь и ухожу, пусть побудет один. Нога вляпывается в пятно «Кампари». С кровати снова доносится рычание. — Два, — отсчитывает Педер. Меня уже нет в комнате. Никто ещё не выходил. Я один. Накрапывает редкий дождь. Я обхожу остров. Он невелик. И правильно. Остров должен быть такого размера, чтоб его можно было обойти кругом дождливым утром. Фьорд посерел и покрылся гусиной кожей. Сажусь на лесенку у мостков и опускаю лицо в воду. Помогает. Я сижу так столько, сколько мне нужно. Ступени зелёные, лощёные. Всё странно и обыденно. Вот паром, он разворачивается и ложится на обратный курс, в город. Посижу ещё и пойду назад, к Педеру. Поговорим о цифрах и сочинительстве. О нас. И тут я вижу её. Или, наоборот, она замечает меня первой. Вивиан. Она стоит посреди подвесного мостика с рюкзаком и зонтиком, никогда не забуду этого зрелища — Вивиан под жёлтым зонтом на качающемся мостике на Ильярне. Кто ездит летом в гости с зонтом? Вивиан. У меня глаза на лоб. Машу. Даже не знаю, что и чувствую. И чего хочу. Но машу. Вивиан одолевает последний отрезок и останавливается, лишь ступив на наш остров. — Привет, мелкий! — кричит она мне.

Я бегом кидаюсь к ней. — Ты? — Конечно. А что такого? — Она искоса смотрит на меня: — Ну у тебя и видок! — Честно? — Как будто ты спал в воде. — Я улыбаюсь: — Мы с Педером попраздновали ночью. — Она складывает зонт, хотя дождь всё идёт. — Праздновали? — Да. Прикинь? — Она стряхивает воду с зонтика. — С кем праздновали? — Мы с Педером. — Вивиан снова поднимает на меня глаза. — Дождь идёт, — говорит она. Мы бредём к дому. Тихо. С голубого козырька на террасе капает вода. Я несу её зонтик. Трава холодит ноги. — Никто ещё не встал? — спрашивает Вивиан. — Педер, во всяком случае, нет. — Мы заходим к нему. Педер лежит, нехорошо вывернув голову набок Но он не умер. Вокруг кровати громоздятся горы блевотины. Запах — хоть топор вешай. Вивиан зажимает нос. Я раскрываю зонтик на всякий пожарный случай. — Кое-что мне всё-таки приснилось, — громко говорю я. Педер дёргается, но в каком-то замедленном темпе. Он вращает глазами. — Что? — стонет он. — Будто Вивиан приехала. — Педер скатывается на пол и становится на колени, словно молится. Но нет, занят он другим. Со стороны кажется, что его рот дёргается от удара электрического разряда, исторгая мерзкие звуки. — Четыре с

половиной, — хрипит Педер. Управившись, он заползает на кровать и видит Вивиан. — Привет, толстый. Здорово загорел, — говорит Вивиан. Педер улыбается ей, но смотрит на меня. — Браво, Барнум. Ушёл в плюс! — Я захлопываю зонтик. Вивиан перешагивает через блевотину и садится на кровать. — Я буду спать между вами? — Раздаётся скрип колёс. — Нет, нет, Вивиан, у тебя отдельная комната! — Мы поворачиваемся к маме. Педер сдаётся без боя. Он прячет бутылку, но восемь кило этой вони не денешь никуда. — Мам, привет. Слушай, у меня, кажется, желудочный грипп. Дико заразный. — Вивиан уходит с мамой. Дождь иссяк. Солнце светит наискось в окно — сгусток света в синей раме. Педер выбирается из кровати. — Спасибо. Чудесный сон, — говорит он. — Ты знал, что она приедет? — Педер пожимает плечами. — Может, знал. А может, нет. Приберёмся? — Когда мы снова встречаемся с Вивиан, на ней бикини. Цвета я не помню. Боюсь лишний раз взглянуть в её сторону. Хотя и глаз не отвожу. Она стройная, честнее сказать, тощая, кожа гладкая и подтянутая, везде, особенно на животе, который, несмотря на это, пологой дугой уходит в бикини, и вся Вивиан ровного бледного цвета, не серого, а сливочного белого цвета,

как старый фарфоровый сервиз. Она в тёмных очках. И на что она смотрит, мне не видно. Рот кажется больше обычного. Она собрала волосы в узел на затылке, выпустив тонкий шнурок на спину. Мы лежим на скале. Педер размазывает ей по плечам крем. Потом пересчитывает рёбра. У неё их больше, чем у нас. Ей смешно. Я опускаю глаза на скалу под нами. И всё равно вижу Вивиан. Сегодня самый знойный день лета. Вдруг Педер перекидывает крем мне и вступает в бой с осой. Ещё немного — и он проиграет. Вивиан садится рывком. Я вижу её грудь, всего на миг, пока она не успевает поправить лиф и отдёрнуть руки. Педер гоняет осу полотенцем. Но я видел её грудь. Она не огромного размера. Оптимального. Если я положу ладонь на её грудь, она в ней отлично поместится. Я не кладу ладонь. Но думаю только об этом. Картинка живо стоит у меня перед глазами: моя ладонь ложится на её грудь, и Вивиан вздыхает. Её глаза за тёмными стёклами. Ну на что она смотрит? Крем тает у меня в руках, капает на скалу и собирается в глубокой щели. Педер запускает в осу камнем. — Я пошла купаться, — сообщает Вивиан. Она встаёт на мостки и прыгает. Входит в воду почти без всплеска, вперёд руками, сведёнными вместе, как

копьё, нет, как меч, сабля, рассекающая волны и без звука разваливающая воды надвое. Педер скользнул по мне глазами. — Ты идёшь? — Нет, пока подожду, — отвечаю я. — Аналогично. Искупаемся потом. — Конечно, — отзываюсь я. Мама машет нам от флагштока. Вивиан кажется почти невидимкой в солнечном мареве, дрожащем вокруг неё, как зыбкое зеркало. — Барнум, нам с тобой тоже очки не помешают, — говорит Педер. По лесенке вылезает Вивиан. Мы неловко перекатываемся на живот. Она садится между нами. Мне видно, как обсыхает её кожа, как испаряется капля за каплей. Вдоль хребта растопорщивается светлый пушок. Меня так и тянет погладить его. От скалы идёт пряный, жаркий дух раскалённых камней, гор, он кружит мне голову. Я опять погружаю пальцы в крем. — Смотри не сгори, — шепчу я. Она ложится на спину. Закрывает глаза. Педер одолжил очки поносить. Вид в них у него круче некуда. Он втягивает щёки и косо улыбается. Я на корточках устраиваюсь подле Вивиан. Из крема горожу на её животе белую тёплую дамбу. — Я видела твоего брата, — вдруг заявляет она. Моя рука замирает. — Извини? — Брат твой, Фред. Я его видела. — Педер сдвигает очки на лоб и распускает щёки. — Где? — спрашиваю я. — На аллее

Бюгдёй. Он бежал. — Бежал? Фред не бегает. — Значит, он шёл с такой скоростью. Как бежал. И махал руками. Вид потешный, жуть. — Различие между бегом и ходьбой в следующем: при беге ты касаешься земли только одной ногой. К скорости это отношения вообще не имеет, — вступил Педер. — Можно бежать медленнее, чем идти. Это я к слову. — Он тренируется, — объяснил я. Педер заржал: — На аллее Бюгдёй? Что это за вид спорта? — Бокс, — прошептал я так тихо, как сумел, и заслонился от солнца рукой. Вивиан села и стала размазывать крем сама. — У него бой в сентябре, — добавила она. Внезапно голову стискивает боль, звонкий шум, рот пересыхает, на корень языка давит тошнота. Педер впивается в меня взглядом. По-моему, у него уже и на лбу жир складками. — Ты в порядке? — Я киваю и глубоко втягиваю воздух. Откуда порядку взяться, интересно? Не знаю, что со мной. Но по какой-то причине я не могу вынести мысли о том, что Фред разговаривал с Вивиан, что она болтала с ним. Меня мутит и тошнит. Педер садится. А Вивиан ложится на спину опять. — Ты с ним говорила? — шепчу я пропавшим голосом. — Так, немного. — Немного? Он остановился? — Ему надо было сделать растяжку. — Растяжку? — Ну да.

С упором в дерево. — Бедное дерево не упало? — вставляет Педер. Я хватаю ртом воздух. — Что он сказал? Пока делал растяжку, а? — Вивиан вздыхает. — Ну ты и прилипала, Барнум. Он сказал, что у него матч в сентябре. Первый в жизни. Ты разве не знал? — Знал, конечно, — смеюсь я. Фред городская знаменитость. Никто не сносит побои так героически, как он. Бляха-муха! Кошусь на Педера. Я своим братом горжусь. И всегда хотел гордиться. Педер отводит глаза. Он уже направляется в сторону дома, где на террасе стоит папа и кричит — Еда, питьё! — Вивиан идёт следом за ним. Но оборачивается и смотрит на мня в нерешительности: — Барнум, а ты чего не идёшь? — Догоню, — отвечаю я, а сам иду наверх, к маме, и помогаю ей спуститься по тропинке. — А что вы не смажете колёса? — Чтоб вы слышали моё приближение. — Скрипят, как ботинки, — говорю я. А она запрокидывает голову и улыбается, но рот не на месте. — Барнум, ты себя хорошо чувствуешь? — Отлично. — Ты имеешь право быть сегодня не в форме. После такой-то ночи. — Это правда. — Она накрывает мою руку своей. — Я очень рада, что ты приехал, — говорит она тихо. — Ты хороший мальчик — Нет. Я не очень хороший, — говорю я.

А Фред уже возвращается домой, через весь город, в дождь, он выжат как лимон, замучен не пойми кем, тенью. Он едва переставляет одеревенелые ноги, сумка через плечо, глаза стреляют по сторонам, прочёсывают пустые улицы. Рядом шагает Вилли. Он не закрывает рта. — В голове у боксёра, Фред, борются две мысли. Одна приказывает — наступай! А вторая нашёптывает: уклонись. Два голоса — это вдвое больше, чем нужно. — Фред кивает. Вилли берёт его за локоть. — Если ты будешь колебаться между этими двумя мыслями, тебе конец. У тебя в голове должна быть ясность и определённость. Если боксёр сомневается, он побеждён. — Вилли смеётся: — На самом деле в боксе всё так же просто, как в драке. — Они останавливаются. — Сначала кулак, Фред. Вот и всё, что тебе нужно помнить. Сначала кулак! — Вилли отпускает его руку. — Фред, ты должен мне пятьдесят крон. — Разве? — Я заплатил за тебя взнос. Иначе ты не сможешь тренироваться в сентябре. — Спасибо, — отвечает Фред. Вилли суёт руки в карманы, вид у него озабоченный. — Учти, это не подарок, чёрт возьми. — Они стоят на ратушной площади. — Пока, — тихо говорит Фред. Вилли не отпускает его сразу. — Ты слышал о Бобе Фитцсиммон-

се? — Фред качает головой. Вилли улыбается: — Конечно не слышал. Фред, он был великим боксёром. В 1907 году он проиграл Джеку Джонсону, и на следующий день все газеты трубили о том, что карьера Фитцсиммонса закончилась навсегда. А через два месяца он одолел Корбетта. Нокаут в третьем раунде. — Ёбс, — роняет Фред. — Именно что ёбс. Не верь тому, что пишут в газетах. Говорят, что боксёры не возвращаются. Это враньё. — Угу, — соглашается Фред. Часы на башне бьют три. Время поджимает Вилли. — Увидимся завтра, — выпаливает он, хлопает Фреда по спине и бегом бежит к воротам механического, жирный человек бежит по брусчатке очень легко. — Ты здесь работаешь? — кричит Фред ему в спину. Вилли оглядывается на бегу: — Все здесь работают. — Он едва успевает к своей смене, а Фред стоит и смотрит на спины, вливающиеся в ворота завода, которые потом закрываются за ними. Дождь проходит через город. И в некий момент времени, в три часа восемь минут, ратушная площадь оказывается разделённой надвое, на дождь и солнце, свет и тень, так что одна рука Фреда на солнце, а на другую капает дождь. Так он и стоит, сперва сбитый с толку, вымокший и ослеплённый, на обрыве солнечного света, постепенно

освещающего его целиком. Если б он обладал зрением, позволяющим проникнуть взглядом далеко-далеко в глубь фьорда, мимо обрывистого, зелёного Несоддена на остров Ильярне и в белый домик на нём, он бы сперва увидел Вивиан, она тянет колу через трубочку, губы у неё мягкие, влажные, вытянутые, она осторожно зажимает жёлтую трубочку двумя пальцами и искоса поглядывает на папу Педера, тот пытается подняться из шезлонга, но он глубокий, а отец отяжелел от еды, и его утягивает назад, а мы смеёмся над ним, над взрослым человеком, продавцом марок Миилем. — Господи, как же хорошо! Все вместе: мама и я, и Педер, и Вивиан, и Барнум. — Выдохнув это, он обводит всех нас глазами, как будто ему трудно поверить в то, что все мы собрались на его острове, день солнечный, мы исполнены благодарности, смешливы, мы хорошая компания. Он задерживает взгляд на Вивиан. — Ты приехала очень вовремя, — сообщает он. Вивиан улыбается и поднимает глаза от стакана. Стучат подтаявшие кубики льда. — Спасибо, — шепчет она. — Нам нужен кто-нибудь, чтоб присматривал за мальчиками, правда-правда. — Нас снова разбирает хохот, мама гоняет осу вчерашней газетой, а папа поворачивается ко мне: — Так ведь, Барнум? —

Так точно, — отвечаю я. — Слушай, тебе опять плохо, нет? В салате не было ни одной макрели! — Я боязливо качаю головой. — Особенно важно присматривать за Педером. За ним нужен глаз да глаз, — говорю я. — Нет, вы только послушайте его! — взвизгивает Педер. — Это Барнуму нужен пригляд. Он высоты боится! — Мы уже задыхаемся от хохота, папе наконец удаётся подняться на ноги, он облетает взглядом фьорд, кивает, словно безоговорочно соглашаясь с чем-то, что видит, и обращается к маме. — Отлив, — говорит он. — Время «Кампари». Мария, тебе нести? — Мама обдумывает предложение. — А «Мартини» не лучше? — говорит она. — «Мартини» к отливу? Что ты такое говоришь! — Сокрушённо качая головой, папа уходит в дом. Я смотрю на Педера. Он любуется небесами и посвистывает. — Педер, — говорит мама. — Да, мама, — откликается Педер, продолжая изучать небо. Оно голубое. — Педер, разбирайся с этим сам. — Вивиан оглядывается на меня. Я передёргиваю плечами. Что ещё я могу сделать? Появляется папа. — Мария, а ты не видела «Кампари»? — Разве его нет в холодильнике? — Нет. — Мама опять взглядывает на Педера. — Нашёл что-нибудь? — Нашёл? — Ну на небе. Может, там написано что-то? — Папа

теряет терпение: — Где «Кампари», Мария?! Скоро прилив начнётся! — Педер встаёт: — Я должен сделать признание, — говорит он. Папа поворачивается к нему: — Что такое? — Папа, я должен сделать признание. — Это я слышал. А что здесь происходит? — Педер опускает голову: — Папа, «Кампари» больше нет. Ни в холодильнике и нигде на Ильярне. — Ты понимаешь, что имеет в виду наш сын? — обращается папа к маме. Она вздыхает: — Я думаю, он имеет в виду, что они оприходовали твой «Кампари». — Папа опять дёргает головой, теперь в мою сторону: — То-то я смотрю, Барнум, тебе сегодня неможется. — И я немедленно чувствую, что мне неможется, мне тошно и муторно при мысли о том, как Фред делает растяжку, опираясь о дерево, каштан на аллее Бюгдёй, а Вивиан останавливается и заговаривает с ним, они стоят и треплются, и Фред рассказывает ей, Вивиан, о том, что в сентябре у него бой. Сейчас меня всё-таки вырвет. Но нельзя же тошниться дважды на одном маленьком острове! Папа чешет лоб. Он у него облезает, по самой серёдке, и папа долго скребёт его пальцами. — Ну, ладно, — говорит он наконец. — Вы живы остались, и то плюс. Куплю ещё бутылку, как в город поеду. — Он стоит, чухается ещё некоторое

время, наверно, собирается с мыслями. — Жуткое дело, сроду такого не слыхал, — говорит он. И уходит обратно в дом. Я смотрю на Педера. Тот глядит вслед отцу. Надо же, до чего легко мы отделались. Я решаю для себя как-нибудь при случае отблагодарить папу подарочком. К Педеру подходит Вивиан: — Нормальный у тебя папа. — Но Педер внезапно впадает в ярость. Это что-то необъяснимое, но он просто теряет голову от злости. — Пап! — кричит он. — Папа! — Тот выглядывает с террасы. — Ну что? Надеюсь, ты не собираешься попросить «Мартини»? Потому что ты его всё равно не получишь. — Педер качает головой. Он свекольного цвета. — А ты знаешь, почему мы выпили твоё вино? — Папа улыбается: — У меня есть кой-какие предположения, — отвечает он. — Чтоб отомстить за то, что ты перепродал письмо Фреда дальше! — Папина улыбка хиреет. Лоб закровил, и тоненькая струйка крови стекает вдоль крыла носа. Он вытирает её тыльной стороной руки и уже открывает рот ответить, но передумывает и взамен упирается в меня взглядом, а я что, я сам не понимаю, чего такое Педер наплёл, я сижу молча, меня мутит, я сбит с панталыку и боюсь рот открыть, чтоб не сморозить какой-нибудь вопиющей глупо-

сти. Папа исчезает за портьерами, и я слышу скрип колёс и мамин голос, рассерженный и огорчённый: — Вот это, Педер, было ни к чему. Это жестоко. — Я поворачиваюсь к ним. Педер смотрит в землю. В лице ни кровинки. Вивиан уходит на мостки. Она встаёт на самом краю, чуть приседает, тонкая длинная буква «S», освещённая солнцем, отталкивается. Всплеска я не слышу. — Прости, — говорит Педер. — Ты не передо мной извиняйся. Перед отцом. — Педер пожимает плечами и уходит в дом. Его некоторое время нет. Я медленно встаю. — Может, у Педера похитили душу? — говорю я. — Что, Барнум? — Я его сфотографировал, — объясняю я. Мама открывает рот, чтоб засмеяться, но справляется с собой. — Души время от времени теряются у всех, — говорит она. — Тут важно вернуть её на место как можно скорее. — А как? — Совершать добрые поступки, — говорит мама. Наконец, возвращается Педер. Он приносит стакан и вручает его матери. — Извольте отведать, матушка, — говорит он с глубоким поклоном. — «Мартини», отлив и лимон. — А где папа? — Отдыхает. Лежит в гостиной на диване. — Мама берёт стакан обеими руками. — Педер, знаешь, что, я думаю, тебе надо сделать? — Пока нет. — Постричь газон. — Педер

задумывается. — Пожалуй. — А когда управишься с газоном, собери, пожалуй, водоросли на пляже. — О нет! — О да! А после этого неплохо бы помыть мостки и лесенку там. Я почти уверена, что Барнум захочет тебе помочь. — И остаток дня мы трудимся во имя скорейшего возвращения наших душ на место. Мы подстригаем лужайку за домом. Двумя граблями собираем траву. Оттираем прозелень со ступенек купальной лесенки. Отмываем чаечьи какашки с мостков. И помогает. Душа уже движется на встречу с нами. Ещё чуть-чуть и встанет на место. Но это чуть-чуть — как последняя цифра кодового замка: тебе уже кажется, что код верный и замок вроде поддаётся, руки дрожат от нетерпения — и тут дело стопорится, одна из цифр неверная. Письмо Фреда? Почему он назвал его письмом Фреда? Нам остался уже только пляж. Там на песке сидит Вивиан и наблюдает за нами. Мы собираем водоросли. Она прикрыла плечи красным полотенцем. Похоже, ей зябко. Воняет водорослями, залежалыми отбросами, мочой, распаренной на жаре гнилостью, падалью. — Это наказание? — кричит Вивиан. Педер разгибается: — Наказание? Ты что, верующая? — Вивиан рисует на песке вокруг себя круг. — Я думаю, что я верю в Бога, — говорит она.

Педер улыбается. — Это потому, что ты живёшь при церкви. Спорим, все на аллее Бюгдёй думают, что верят в Бога? — Дурак, — кричит Вивиан и закрывается полотенцем. Водоросли мы скидываем в огромное ведро. Педер потеет. — Зачем ты сказал про письмо? — спрашиваю я. Педер дёргает плечами: — Захотелось. — Зря. — Может, зря. А может, нет. — Педер подбирает пробку и запихивает её в узкий кармашек в плавках. — Педер, почему ты сказал, что это письмо Фреда? — Он оглядывается на меня и на секунду теряется, мнётся. — Довольно, — только и говорит он, поднимаясь. — Водоросли ещё остались, — замечаю я. Педер смеётся: — А сколько их осталось там, откуда их наносит! Барнум, водоросли можно собирать всю жизнь и не управиться. — Водоросли не поддаются счёту, — отвечаю я. — Именно! В этом всё паскудство водорослей — что их нельзя пересчитать. — Всё-таки я ещё пособираю немного, — говорю я. Педер пуляет пробку назад в воду. — Дело твоё. А я закончил. — Он подходит к Вивиан, срывает с неё полотенце, она вскакивает с воплем, а Педер мчится к дому, на бегу размахивая над головой полотенцем, как лассо, а она бежит следом, настигает его, и они исчезают, я не могу понять куда. Я сижу на корточках.

Пузыри вспучиваются и лопаются в мокрых водорослях. Высохшая водоросль, которая лежит в песке и рассыпается в зелёную пыль от прикосновения. На песок вынесло медузу. Если б с неба упала звезда, она так бы, наверно, и выглядела. Я протыкаю её пальцем, но не могу вытащить его назад. Приходится соскребать с него медузу. Мне доводилось читать о человеке, утонувшем в медузах, они заперли его на дне, прижали, словно крышкой, через которую он не смог прорваться и остался внизу, в тени медуз, нет уж, диском по лбу лучше. Меня рвёт в ведро. Сую два пальца в рот и тошнюсь ещё раз. На спину ложится чья-то рука. Я оглядываюсь и упираюсь в папу Педера. — Вот ведь, — говорит он. — Не макрель, так «Кампари». — Я опускаюсь на песок. Он садится подле. Выдаёт мне свой носовой платок. — Это пройдёт, Барнум, пройдёт. Плоть тоже наказывает нас иной раз. — Наказывает? — Это своего рода пеня, штрафной почтовый сбор. Вчера вы наклеили на радость слишком дешёвенькие марки, а сегодня телу приходится доплачивать недостачу. — Папа вдруг начинает смеяться, вытрясая песок из башмаков. — Я ахинею несу, не слушай, — смеётся он. — По-моему, отлично сказано, — шепчу я. Папа молчит всё время, пока

надевает ботинки. На это у него уходит время. Шнурки старые, тонкие, того гляди порвутся. — Глупо с этим письмом получилось, — говорит он наконец. — Продал его отец. — Это правда. Я тогда не знал, кто он такой. Что он твой отец. — Чудно, что старые вещи могут столько стоить, — говорю я. Папе это смешно: — Не все старые вещи, Барнум, не все. Вот эти мои башмаки, к примеру. Боюсь, мне за них ничего не выручить. — Не выручить, они скрипят. — Скрипят и текут. К тому же я не собираюсь их продавать. Эта худая обувка представляет для меня большую ценность. Но только для меня. — А если я сегодня напишу маме письмо, а она будет хранить его лет тридцать, наверно, оно станет стоить дорого? — Неизвестно. — А от чего это зависит? — От того, насколько ты прославишься. — Я задумываюсь. Представить такое мне не вполне по силам. Чем я могу прославиться? Именем? Ростом? Моими фантазиями? До таких высот мысли мои не дотягивают. — Всё равно, читать чужие письма неправильно, — говорю я. Папа кивает: — Вот и брат твой так же сказал. — Мой брат? — Он приходил ко мне в магазин. Хотел получить письмо назад. Оно много значило для тебя, верно, Барнум? — У меня нет слов. Фред вездесущ. Он

успел у всех побывать. Со всеми поговорить. Папа обнимает меня за плечо. — Он хотел вернуть письмо ради тебя, Барнум. Именно так он и выразился. — Правда? — Да, правда. И я подумал, что Фред, должно быть, хороший старший брат. — Я не знаю, чему верить. Но где-то в глубине души затеплилась радость. И я решился: поверю в то, что, как мне кажется, услышали мои уши: Фред, как утверждает папа Педера, сделал ради меня что-то. — По-моему, Педер немного даже завидует тебе, — тихо произносит папа. Я поднимаюсь на ноги и иду в сторону дома. Я делаю крюк, чтобы побыть наедине с этими мыслями. В голове у меня, как в животе, когда переешь. Настоящий заворот мозгов. Уличный сортир свободен, я запираюсь в нём. Когда глядишь в очко, дна не видно. И не слышно, как падает туда какашка. Если я провалюсь туда, меня найдут не раньше осени. По стенкам висят портреты королевской семьи, Ван Гога и какого-то мальчишки, должно быть, Педера несколько лет назад. Он стоит на краю мостков в огромном надувном жилете и злится из-за того, что фотограф посягает на его душу. Тогда ещё мы не были знакомы, он не знал, кто я такой, и я не подозревал о его существовании в одном со мной городе, а оба мы не имели

представления о том, что по тем же улицам ходит и Вивиан, притом мы, возможно, ездили в одном вагоне трамвая, сходили на одной остановке, и вот, сидя на толчке уличного сортира на острове Ильярне тем неповторимым летом, которое я потом стану называть *тем первым летом*, я умудрился додумать эту мысль до чёткости: в основном мы не знаем ничего, наши знания в сравнении со всем тем, о чём мы не имеем понятия, ничтожны, как муравей против Эвереста или капля против всего Мёртвого моря, поэтому ту малость, которую мы знаем, надо помнить и не забывать ни в коем случае и включать в неё то, что нам только кажется, что мы знаем. Во всяком случае, я слышу, что попал в копеечку, потому что после долгого кружения мысли соскакивают с языка в виде формулы: — Я знаю меньше, чем не знаю, — шепчу я. И ещё раз в душе прокатывается огромная доброта к Фреду, я так и вижу его, как он тихой сапой, тайно, обделывает свои добрые делишки. Я не спешу выходить. С какой стати, не знаю, но меня вдруг тянет поплакать. Мне хорошо. Бумага жёсткая, но делается мягонькой, стоит потереть её в руках. Я выхожу. Папа катит кресло вдоль пляжа. Педер и Вивиан устроились в шезлонгах на террасе и читают газеты. Педер

замечает меня: — Барнум, знаешь, зачем имеет смысл собирать старые газеты? — Нет, — отвечаю я. — Тогда видно, что в гороскопах всё неправда. — Разве? — Педер принимается листать, пока не находит нужное. — Вот, послушай, что писали о тебе год назад. *Одна из самых лучших и насыщенных недель года. Интересное знакомство с иностранным другом или предпринимателем. Вам представится много возможностей для лёгкого флирта, но какие-то из этих отношений покажутся вам достаточно серьёзными.* Педер отшвыривает газету и смотрит на меня. — Барнум, что из этого сбылось? — Ничего, насколько я помню. — Что, и лёгкого флирта с иностранцами не было? — Не могу сказать, чтоб был, — отвечаю я. — Вот видишь. Простой обман. — Не факт, что гороскопы подходят всем, — вступает Вивиан. — Ты думаешь, что ты веришь и в гороскопы тоже? — Иногда. — Типа Бог пишет гороскопы для «Актюэль» на норвежском языке? — Педер изображает крайнее изумление и долго качает головой. — Осенью мне было написано, что я встречу двоих интересных людей, — возражает Вивиан. — И я вас встретила. — Она вдруг заливается звонким хохотом. — Совпадение, — отзывается Педер. — Даже если всё время врёшь,

что-то оказывается правдой. Теория вероятности. — Вивиан закрывает глаза. — А ты во что веришь? — спрашивает она. — Педер верит в цифры, — отвечаю я. А Педер расплывается в улыбке, наклоняется к Вивиан и говорит, вкрадчиво понизив голос: — Если ты придёшь к нам в комнату ночью, в тринадцать минут после полуночи, Барнум кое-что тебе покажет. — Вивиан распахивает глаза: — Что? — Увидишь. — И больше он в тот вечер не говорит ничего. Сидит в шезлонге, считает входящие во фьорд суда и записывает данные в тетрадь со статистикой предыдущих лет. Когда мы ложимся, мы на самом деле не укладываемся, а садимся на кровать и ждём Вивиан. В доме полнейшая тишина. Меня разбирает нетерпение. — А что мы ей покажем? — спрашиваю я. — Тсс, — шипит Педер. — От тебя водорослями несёт. — Я повторно споласкиваю лицо и руки тёплой, с пылью, водой, которую лью голубой кружкой. — Педер, ты ведь просто натрепал, да? — Что ты воняешь водорослями? — Что я покажу Вивиан что-то? — Педер откидывается назад. Я вижу его в тёмном окне, беспокойное, расплывчатое отражение в свете низкой прикроватной лампы с красным абажуром, и всё это сплавляется в свете ущербной луны, словно под-

вешенной на верёвочке внизу фьорда. — Барнум, ты думаешь, она придёт? — Я поворачиваюсь в его сторону: — Нет. — А я думаю, да. — Педер снова поднимается и продолжает: — Нет, я не думаю. Я знаю. — Как ты можешь знать? — Педер улыбается. — Потому что она любопытна, вот и всё. Пообещай она показать тебе что-то, ты разве б не пошёл? — Пошёл бы. — Вот видишь! Она придёт. Только подожди. — Я возвращаюсь на кровать, сажусь рядом с ним. Педер обнюхивает мои руки. — Теперь лучше. Дамы не выносят вони водорослей, — шепчет он. Для верности мы трём дезодорантом подмышки и погружаемся в молчание. — Сколько времени? — спрашивает Педер. — Без восьми двенадцать. — Барнум, сейчас главное не заснуть. — Давай отвлекаться от сна. — Педер споласкивает лицо той же водой. — Вот бы мне старшего брата, — внезапно говорит он. — Тебе? — После меня у мамы не может быть детей. — Я задумываюсь: — Это был бы младший брат. Если б он родился после тебя. — Чёрт возьми, Барнум, ты прав! — Мы не спим. — Она придёт, ты думаешь? — снова шепчу я. — Придёт. Подожди.

Вивиан пришла. В тринадцать минут первого в дверь боязливо постучали. Педер открыл. Вивиан

скользнула в комнату. Педер притворил дверь и прислушался. Мы все напрягли слух. В доме царила тишина. Нас никто не слышал. Фьорд протекал мимо. — Барнум, что ты мне покажешь? — зашептала Вивиан. Я посмотрел на Педера. Он только улыбнулся. Вивиан попятилась к двери. — Если это какое-то свинство, я ухожу! — Педер приглушённо засмеялся. — Тише, — шепнул он. Но Вивиан не унималась. — Только попробуйте, я закричу! — Она шагнула в мою сторону. — Барнум, тебя я вообще взгрею. Так и знай! — Ещё б минута, и она кинулась бы на меня, но Педер встал между нами. — Дорогая Вивиан, разве в твоём гороскопе не сказано, что мы интересные люди? — Вивиан успокоилась и стала просто нетерпелива. — Говорите, о чём речь. — Педер обошёл кровать, таща меня за собой. — Барнум хочет показать тебе своё достояние! — Вивиан опять поддалась подозрениям: — Не хочу я смотреть на его достояние! — Казалось, ей тошно от одной мысли об этом, она даже спрятала лицо в ладонях. Как она себе представляла: что я спущу штаны и продемонстрирую ей своё богатство? Достояние Барнума? Педер заржал: — Вивиан, расслабься. Достояние — это не Барнум. Это его чемодан. — Сказав это, он стрельнул в меня гла-

зом, дважды подмигнул, осторожно вытащил мой старый чемодан и положил его на кровать. — Вот он, волшебный чемодан Нильсена, — прошептал он. Вивиан отвела руки и уставилась на чемодан: — И что в нём? — Педер распахнул крышку. Вивиан отпрянула, опять смутившись сомнениями. Но потом подошла поближе. — Он пустой, — сказала она. Педер повернулся ко мне: — Расскажи, Барнум. — В нём хранились аплодисменты, — сообщил я. Вивиан села рядом с чемоданом и бережно провела пальцем по бархатистой подкладке. — Аплодисменты? — Да. Мне он достался от отца, а ему дал его директор цирка Мундус. — Который приходил на похороны? — Ну да. Отец был хранителем чемодана. Они сложили в него все аплодисменты. А отец таскал его. — Вивиан смотрела на меня. — А где аплодисменты теперь? — Может, истрачены. Не знаю. Или отец их растерял. — Педер стоял у окна и следил за нами. Он молчал. Но изредка качал головой. — Это ты и собирался показать мне, Барнум? — спросила Вивиан. — Да, — ответил я. Вивиан слегка коснулась моей руки. — Чудесно, — сказала она. Стало тихо. Вдруг нас ударила короткая белая вспышка, словно молния за окном. Мы дёрнули головами в сторону Педера и заморгали. Он положил мой

фотоаппарат обратно на подоконник. Я подумал о наших душах: лишиться души — всё равно что умереть, а сфотографировать кого-то — значит его казнить, если мама правду говорит, но умирать так часто всё же никак нельзя? — Аппарат Барнума, — шепнул Педер. Вивиан подняла на меня глаза. Под ними чернели круги. — А точно в нём не осталось аплодисментов? — спросила она. — Похоже на то. — Ни одного хлопка? Может, твой отец припрятал немного для себя лично? — Педер загорелся. — Отличная мысль, Вивиан. Наверняка он чуток притырил. Сейчас посмотрим! — Педер достал нож, сел на кровать, посмотрел на нас и шёпотом спросил: — Режем? — Я кивнул. Педер отпорол подкладку, разворошил картон под замком — нет ли там тайника с аплодисментами? Там не было ничего. Только тяжёлый дух нафталина и плесени. Педер убрал ножик в чехол. — Вы серьёзно рассчитывали на находку? — Он откинулся навзничь на кровати и тихо заржал: — Барнум, а что там твой отец любил повторять? — спросил он. Я взглянул на Вивиан. Она не отрывала глаз от пустого, искромсанного чемодана. — Важно не то, что ты видишь, а то, что ты думаешь, что ты видишь, — прошептал я. Педер снова сел. — По-моему, наоборот, — сказал

он. — Важнее то, что ты видишь. А ты как считаешь, Вивиан? — Она вместо ответа показала пальцем на край крышки. — Смотрите, — сказала она. Там что-то было, уголок листа бумаги или книги. Мне удалось подцепить его. Это была открытка, отец припрятал её там или позабыл, старинная открытка, и я до сих пор помню свой тогдашний восторг — наполовину присыпанный страхом: в моём чемодане что-то нашлось, он, к моей вящей гордости, не пуст, но и боязно мне было тоже, чем окажется это послание, спрятанное и крышке доставшегося мне в наследство чемодана? Оно оказалось изображением самого высокого в мире человека, Патурсона из Акюрейри. Я выдохнул с облегчением. Его имя было выведено внизу — полностью, плюс роспись, а также значился его рост — два семьдесят четыре, измеренный под контролем съезда врачей в Копенгагене. Педер и Вивиан заглядывали мне через плечо. У меня дрожали руки, от радости, от удивления, не знаю от чего, но дрожали. Раскрашенный вручную портрет Патурсона выцвел, краски казались бледными тенями. От этого зрелища я вошёл в раж, я чувствовал грусть, но и возбуждение, мне пришлось покрепче сцепить пальцы. У Патурсона лицо было удлинённое, а

ротик маленький, едва заметный изгиб над широким подбородком, волосы были расчёсаны на пробор почти ровно посерёдке, а голубые в своё время глаза казались двумя дырами на маске. Одет он был в чёрный костюм. Туфли белые, без шнурков. — Два семьдесят четыре, — простонал Педер. — Этого не может быть. — Здесь ясно написано, — ответил я. Педер нагнулся поближе. — Значит, рожа у него метр, не меньше. Так не бывает. Обманки. — Ты хочешь сказать, съезд врачей соврал в полном составе? — Педер вздохнул. — Почти три метра! Поебень какая-то. — Я начал заводиться. — Ты хочешь сказать, мой отец врёт? — Педер вздохнул и собрался что-то ответить, но не успел. Его опередила Вивиан. — На обороте тоже что-то написано, — заметила она. Я повернул открытку. Там была марка. Исландская. Проштемпелёванная в Акюрейри 10.5.1945. Число, пересекавшее наискось зелёную исландскую марку, читалось с трудом. Десятое мая. Сорок пятого года. Открытка предназначалась отцу. Арнольду Нильсену. Она искала его долго. Сперва её послали в цирк «Мундус», Швеция, Стокгольм. Этот адрес зачёркнут и ниже написан новый: пансион Коха, Норвегия, Осло. Я так и вижу почтальонов с открыткой для отца в руках, сперва

они доставляют её из Исландии в Швецию, чтобы оттуда отнести в пустую комнату пансиона Коха на Бугстадвейен. Где отца уже и след простыл, он съехал. И открытку посылают дальше, на север, на холмистый остров, откуда он сбежал, на Рёст, где тоже никто не знает, что сталось с Арнольдом Нильсеном, поэтому открытка год за годом ждёт его тут неприличным напоминанием о блудном сыне, что улизнул ночью, тишком, и пал так низко, как только возможно пасть: подвизается в цирке. Отец отыскал открытку сам, когда ездил на Рёст с матерью окрестить меня Барнумом. — Читай, — шепчет Вивиан. Почерк малопонятный, в словах полно ошибок, а строчки наползают друг на друга, чтобы вместилось всё. Я читаю вслух. *Дорогой Арнольд, мой настоящий друг.* Приходится остановиться, посмотреть на Вивиан с Педером: — Арнольд — это мой отец. — *Дорогой Арнольд, мой настоящий друг,* — начал я сначала голосом, который звучал как чужой. — *Я пишу тебе сегодня, чтобы поздравить с победой мира и поражением этой гнусной Германии. Теперь подожмут хвост навсегда! Ты всё ещё в цирке? Надеюсь на это. Сам я вернулся в Исландию. Ты помнишь ту, которую мы звали Шоколадной Девочкой? К несчастью, она умерла. Она заболела*

болезнью, которую не смогла вынести. Она всегда говорила о тебе очень хорошо. Я надеюсь, наши пути когда-нибудь пересекутся. Арнольд, желаю тебе всего наилучшего в жизни. Самый высокий человек в мире. Патурсон.

Мы молчали очень долго. Я мог бы и всплакнуть. И я уже принял решение. Эту открытку я никогда никому не покажу. Я убрал её в карман сумочки с туалетными причиндалами. Педер посмотрел на меня и кивнул, словно понял моё намерение и одобрил его. — Теперь и у тебя есть собственное письмо, — сказал он.

В ту ночь я не спал. Лежал без сна, возбуждённый, слушал спокойное дыхание Педера и шелест ветра в яблонях, шорохи в траве, луну над фьордом, а будь слух у меня поострее, я б услышал и как Вивиан лениво ворочается в кровати у себя в комнате. Места для всего этого во мне не хватало. Оно переливало через край. Мне надо было срочно встать. Продышаться. Потом я устроился на стуле у окна. Мне думалось, что быть счастливым тоже вполне сносно, это уж не так сложно, хотя непривычно, радость — разлапистый букет, руки изматывает. Мы проснулись, встали и снова улеглись на скале и заснули там, а папа читал в теньке каталоги марок, и мама работала над сво-

ей картиной. Солнце жёстко и жарко легло нам на спины. И я пережил нечто странное. Я внезапно вынырнул из сна, разморённый и напуганный, с единственной мыслью в голове, стряслась беда! Я физически чувствовал чужую боль. И в ту же секунду меня укусила оса. Прямо в горло. Оно сразу же стало опухать. Я закричал. Педер и Вивиан встрепенулись. — Умираю! — кричал я. — Задыхаюсь! — Голос пресёкся. Я катался по земле. В голове всё полопалось. Сейчас наступит смерть. Последнее, что я увидел в этой жизни: Педер думает, что я прикидываюсь. Я попробовал растолковать ему, что к чему, но поздно. Скоро я окажусь на том берегу. Я прекратил борьбу. Меня переполняло огромное спокойствие, на грани потери сознания. Душа готовилась отлететь. Прощайте, друзья мои. Но Вивиан припала ко мне и впилась губами в горло, словно решила поцеловать меня в первый и уже последний раз. Она не знала пощады. Кусалась. Высасывала. Отплёвывалась. Потом снова сосала, вытягивала из ранки яд и спасла мне жизнь — в первый, но не последний раз.

Внезапно отдых кончился, укусом осы и поцелуем. Мы с Вивиан уехали домой. Педер стоял на середине подвесного моста и махал, сколько мог

нас видеть. Чемодан оттягивал руку куда тяжелее, чем по дороге сюда. Мы устроились на палубе сзади. Вдруг я увидел нечто в проливе между островом и материком. — Гляди! — заверещал я. Вивиан оглянулась. — Что? — спросила она. — Ты не видишь? — Чего? — Мама Педера! — Инвалидное кресло неслось по воде на всех парах, колёса рассекали волны, а чайки висели над ней белым пронзительным щитом. Вивиан прислонилась к моему плечу, закрыла глаза и не сказала ничего.

Когда «Принц» пришвартовался в Осло, на причале «В» стоял и ждал Фред. Я испугался до тошноты. Где мама? Почему прислали Фреда? Хоть Вивиан может и не заметить его. Он сам на себя не похож, отощал, в сером свитере на пару размеров больше нужного. Но Вивиан уже увидела его. Однако Фред не смотрел в её сторону. Глядя на меня в упор, он шагнул навстречу. — Пока, — громко простилась Вивиан. Она выпустила мою руку и медленно пошла к отцу, он ждал в такси у киоска. Я посмотрел ей вслед в надежде, что она не станет оглядываться. Она повернулась и помахала. Я взмахнул рукой в ответ. Помешкав, Вивиан забралась на заднее сиденье, и дверца захлопнулась. — Завёл себе кралю? — спросил Фред. Я помотал головой. — А мама где? — С Бо-

леттой. — Почему? — Болетта свалилась утром с лестницы. Она возвращалась с Северного полюса. — Обошлось? — Нет. — Нет… *как?* — Она думает, что она в Италии. — Фред подхватил мой чемодан, и мы поехали в больницу «Уллевол». Там нас встретила мама. Она много плакала. Слёзы прорыли на лице траншеи. Увидев меня, она зарыдала сильнее. — Ты так загорел, — прошептала она. — Хорошо отдохнул? — Меня укусила оса. — Фред утомился от нашей болтовни: — Она очнулась? — спросил он. Мама покачала головой и отпустила меня. Из комнаты, где лежала Болетта, вышел врач. Мы зашли к ней. В постели она казалась маленькой. На голове повязка, а вся она присоединена к аппарату, в котором горят и мигают лампочки и столбики, как в огромном радио. Говорить надо было шёпотом. Болетта была вся синяя, а глаза большие, но отсутствующие. Всё равно как мёртвая. Возвращаясь с Северного полюса, она не смогла одолеть последние ступени лестницы. Опрокинулась назад, и череп треснул прежде, чем она пересчитала им все ступеньки сверху донизу. Где её в луже крови и нашла мама. Вот что я чувствовал за секунду до укуса осы — что Болетта сверзилась с лестницы. — Болетта, — позвал я шёпотом. Мама взяла меня за

руку. — Барнум, она не слышит тебя. — Вернулся врач. Сказал что-то маме. Она занервничала и стала несчастная. Можем ли мы чувствовать чужую боль? Можем. Я вот ясно почувствовал, как упала Болетта. Фред тихо стоял у стены и смотрел в пол. Что я ощущал, когда его избивали? И не заразна ли боль? Сколько страданий друг дружки мы можем вынести? — Нельзя сказать, очнётся ли она вообще, — тихо оповестил пас доктор. — Сейчас как сфигаграфирую тебя! — завопил я. Мама закрыла лицо руками. Фред поднял глаза. Доктор исчез, как не бывал. Мама уронила руки. — Барнум, что ты такое говоришь? — Болетта очнётся, — сказал я.

Она очнулась. На восьмые сутки. Мама неотлучно просидела их рядом с ней. Фред изнурял себя тренировками злее прежнего. Домоуправ Банг замывал кровь у почтовых ящиков. — Ужасно, — прошептал он. — Как она? — Без сознания, — ответил я и прошёл мимо. — Может, ей ещё повезло, — прошелестел Банг. — Пьяные падают, как кошки. — Я представил себе череп, бочонок из кости, кожи и волос, оберегающий мозг, когда младенец засыпает, голова клонится назад, а у стариков она падает на грудь, это потому, что сны новорождённых воспаряют к

облакам, а стариков они тянут вниз, к земле. Открытку от Патурсона я спрятал в щели в обоях за комодом. Однажды вечером Фред заговорил со мной. Он лежал в кровати, измочаленный тренировкой. — Наверно, это наказание, — прошептал он. — Наказание? — переспросил я тоже едва слышно. — Да. После всего, что случилось. — Болетта ничего плохого не сделала вроде? — сказал я. Но до чего Фред изменился! Его не узнать. И выражается совсем по-другому. Наказание? Возможно, бокс так повлиял на него. — Ты, никак в Бога веришь, а? — засмеялся я. Фред поднялся на ноги и подошёл ко мне. Он склонился над кроватью, мускулы трепетали под тонкой кожей, как кабели, как провода под током, а глаза были ещё мрачнее, чем бывало раньше. — Ты трахался с Вивиан? — Нет, — просипел я. — И как ей понравилось? — Фред, мы же не трахались. — Точно? — Сто процентов. Я ещё ни с кем ни разу не трахался, Фред. — Я думал, ты потому таким крутым заделался, Барнум. — Фред вернулся в свою кровать. И лёг, молчаливый и замкнутый. — У тебя поединок в сентябре? — спросил я. Фред не ответил. Я ждал, но он не отвечал. Только его тяжёлое дыхание наполняло комнату. — Думаешь, Болетта очнётся? — спросил он. — Да, — шепнул

я. — Да. — И почувствовал, как её безумные, просвечивающие веки скользнули по моему лицу.

Болетта очнулась той же ночью. Мама сидела рядом. Она рассказывала, что сперва по Болетте прошла судорога, дрожь, словно она замёрзла, веки упали на глаза, и мама решила, что это Болеттин способ умирания: смежить веки, не выходя из потёмок другого сна. Но мама не успела ни позвать доктора, ни заплакать, поскольку Болетта вдруг передумала умирать, время её пока не пришло, всё ещё оставались на белом свете дела, которые ей любопытно было не упустить, и вместо того, чтобы перейти в мир иной окончательно и бесповоротно, она вдруг широко распахнула глаза и повернулась к маме. — Фред уже отбоксировал? — спросила она. Мама рассердилась почти: — Послушай, ещё только июль. Можешь ещё месячишко полежать без сознания! — Превосходно! Значит, мы обе идём на поединок.

Теперь впрягается Фред. Именно он заставляет дни идти и дотягивает до конца это удивительное лето. Болетте требуется покой ещё самое малое месяц, её организм отвергает пиво, а она обзаводится палочкой и вместо того, чтобы использовать её как опору, в основном колошматит

ею почём зря. Педер по-прежнему на Ильярне. Он присылает мне открытку из Дрёбака, куда они съездили с папой. Он пишет, что дойдёт до цифры, о которой никто прежде не слыхивал. А как поживают мои мечтания? Привет от самого толстого человека в мире. Вивиан уезжает в клинику в Швейцарии, где ещё остаются врачи, верящие, что смогут сшить мамино лицо заново. А я стою у окна и гляжу вслед Фреду, каждое утро спозаранку уходящему из дому в дождь, в солнце, в тонкий, липкий туман, который иногда в такое время года наползает на город, но потом поднимается вверх и смешивается со светом. Я вижу, как он возвращается домой, попирает Киркевейен тяжёлыми шагами, а летний вечер пахнет бензином и солнцем. Он не обращает внимания на Эстер, которая машет ему из киоска. Он вообще ни на кого не обращает внимания. Он не разговаривает. Он экономит силы. Отметает всё лишнее. И день ото дня всё больше напоминает зверя. Мама стирает его форму, и мне достаётся развешивать её во дворе — шорты, толстые носки, майку. У помойки ошивается Банг, он переворачивает майку и говорит: — Надеюсь, он никого не укокошит. И его не угробят тоже. — Меня Фред в Центральный боксёрский клуб не берёт. Он

хочет быть один. Не желает, чтоб ему мешались. Как-то утром рядом со мной встаёт мама. Моросит дождь. Она улыбается. Фред быстро идёт сквозь дождь. Капли едва задевают его. Он уклоняется от них. — Ты гордишься братом? — спрашивает мама. Я понимаю, откуда вопрос — это потому, что сама она впервые в жизни чувствует гордость за Фреда, конечно, ей страшно за него тоже, но гордость сильнее. — Горжусь, мам, — шепчу я. А он оборачивается там внизу, далеко под дождём, нас он не видит. — Я так рада, — вдруг говорит мама, но тут же обрывает себя, она чуть не стонет, как будто угрызения совести накинулись на неё за одно лишь слово «радость», словно нет у мамы права на неё, и она теснее прижимает меня к себе. Фред исчез. Дождь стекает по стеклу. — Хорошо, что Педер пишет тебе, — тихо говорит мама. — Да. Тебе привет, кстати. — Мама ждёт. Мы слышим палку Болетты. Она стучит в стену. — О чём ты мечтаешь, Барнум? — спрашивает мама быстро. Я собираюсь ответить, что ей не надо читать открытки, присланные мне. Но отвечаю вместо этого: — Чтобы Фред победил.

Начинается школа. В основном всё по-старому, за исключением слухов о Фреде. Не знаю, кто обнёс этим слухом все дачи, коллективные сады,

лагеря отдыха, пляжи, парки и бассейны, может, слух распространился сам по себе, как пыль в засушенном пустом городе смешался с воздухом и осел на все без разбору уши. Но факт тот, что теперь я не только недомерок Барнум, но и брат Фреда, а он, в свою очередь, из шатуна-молчальника превратился в боксёра, который сносит любые побои и непобедим. Из проклятия он превратился в надежду Фагерборга, в нескладное, белобрысое упование всей округи. За летние месяцы созрело чудо — родился боксёр, а если этому городу чего и не хватало, так настоящего бойца. Слух был неукротим, он обрастал подробностями из жизни Фреда: он пробегает тридцать километров каждое утро; подтягивается девяносто раз, на одной руке; боксирует без перчаток. Никто не отваживается тренироваться с ним в паре. Двое вызвавшихся уже лежат в коме. Для тех, кто желал видеть его исчадием ада, была своя история: он поколотил собственную бабушку, и старушка лежит в больнице. Фред сделался звездой ярче, чем Отто фон Порат, чем Инго, он был самый неподражаемый. Я, если меня спрашивали, ничего не отрицал, лишь пожимал плечами со словами: — Мастер есть мастер.

За три дня до боя Фред оказался дома, когда я

вернулся из школы. Он сидел на своей кровати, скрестив руки, и смотрел на меня. Я занервничал. — Ты не тренируешься? — спросил я. Фред втянул воздух, плечи перекатывались под свитером. — Я отдыхаю. — Он поотдыхал ещё немного. Я боялся потревожить его. Отдых — это как склейка для тренировок. Без него весь процесс развалится. Я попробовал заняться уроками. Задали сочинение. Но мне не удавалось собраться с мыслями. Фред ковырял меня взглядом. Я чувствовал его кожей. Обернулся. Фред провёл рукой по лбу. — Я завтра даю интервью, — сказал он. Я отложил карандаш: — Да? — Да. «Афтенпостен». — Ни фига себе. «Афтенпостен»! — Фред опустил глаза. — Да, ни фига. Но я не хочу. — Он опять замолчал, нервно прядя руками. Костяшки на правой были синего цвета. — Тебе не хочется? — спросил тогда я. — Нет, мне не хочется ни с кем об этом говорить. — Тогда зачем интервью? — Вилли велел. — Ты должен послушаться? — Да. Вилли тренер. — Фред снова умолк. — Может, и фотография твоя появится в газете. В разделе «спорт». — Я не хочу сфотографироваться, — выговорил Фред медленно и посмотрел на меня. Улыбнулся коряво. — Барнум, ты можешь со мной сходить? — спросил он. Я даже наклонился

к нему поближе: — Что ты сказал? — Он рассердился и нехорошо сверкнул глазами. — Ты всё слышал, кнопка в кудрях! — Я затаил дыхание, не смея взглянуть в его сторону. — Конечно могу. А зачем? — Фред встал и потянулся, упираясь в косяк. — Ты будешь следить за тем, чтоб я не сболтнул лишнего. — И Фред достал из заднего кармана бумажку, расправил её и дал мне. Это был список, написанный Вилли, тренером. Перечень того, о чём нельзя говорить с журналистами. Довольно длинный. — А почему Вилли самому не пойти? — предложил я. — Он газет не читает.

Журналист хотел бы прийти для интервью к нам домой, но Фред отказал ему. И было решено встретиться в «Самсоне» в Майорстюен, завтра в пятнадцать. Мама не помнила себя. Она предложила, что они с Болеттой займут столик в самой глубине зала и будут тихо сидеть там, на экстренный случай. В ответ Фред пригрозил, что откажется от боя, и мама подняла белое полотенце. И вот назавтра, в три часа, мы, боксёр и брат боксёра, вошли в кондитерскую в здании Майорстюен, где застарело пахло кофе, сигаретами и мокрыми мехами всех тех дам, что просиживали здесь свой век до самой смерти. Фред был в длинном плаще поверх спортивного костюма. Я в конце концов

остановил свой выбор на чёрном свитере под горло, вельветовых брюках, ветровке и зонтике. Журналист уже сидел в кафе. Мы опознали его сразу, гораздо раньше, чем он заметил нас. Такие мужчины за тридцать не захаживают в «Самсон». Он обстоятельно курил сигару и ложечкой отправлял в рот пирог. Мы подошли к нему. Он положил сигару на блюдце. Пирог едва не вспыхнул. Журналист вытер руки салфеткой. Смотрел он на Фреда. — Ты Фред Нильсен? Боксёр? — Фред кивнул, но с места не сошёл. Журналист протянул руку. Фред лишь взглянул на неё. — Меня зовут Дитлев. Я из «Афтенпостен». Здорово, Фред, что ты смог прийти. — Мы сели. Журналист заказал минералку и пирог для нас. Лицо у него было довольно пухлое, лоб взопревший, и он ловил воздух ртом. Две ручки лежали рядом с блокнотом, пристроенным между пепельницей и блюдцем, полным светло-коричневых крошек и пепла. Третья ручка торчала в кармане мятой синей куртки с блестящими пуговицами. — Нет, правда, здорово, Фред, что ты смог прийти, — повторил журналист ещё раз. — Кто это с тобой? — Барнум. Мой брат. — Дитлев схватил ручку: — Как, говоришь, его зовут? — Барнум. — Дитлев быстро записал что-то в блокноте и повернулся ко мне:

— Здорово, что и ты тоже смог прийти. А откуда у тебя такое имя? — От отца, — ответил я. — Его тоже звали Барнум? — Нет. Арнольд. — Фред под столом двинул меня ногой. Я замолк. Официантка принесла пирог и минералку. Фред не пожелал её пить, ему нужна простая вода. Журналист снова посмотрел на Фреда. — Мы хотели бы сделать твой портрет накануне поединка. Готов? — Фред не ответил. Могло показаться, что он мается скукой, но на самом деле он маялся недовольством собой. — Потухла, — сказал я. Дитлев сделал несколько затяжек и оживил огонь. — Ты боишься поединка? — спросил он. — Фред никогда не боится, — ответил я. Дитлев закашлялся. — Сейчас я разговариваю с Фредом. Понятно? А после я, может быть, побеседую и с тобой. — Я никогда не боюсь, — ответил Фред. Дитлев записал. — Ты радуешься? — Я никогда не радуюсь. — Дитлев отложил сигару. — Кстати, как давно ты тренируешься? — Фред замялся. Я прошептал ему кое-что на ухо. — Всю жизнь, — ответил он наконец. — Всю жизнь, — повторил Дитлев. — Это отлично. Ты и выглядишь как настоящий боксёр. Ещё не проведя ни одного поединка. — И Дитлев указал сигарой на скособоченный нос Фреда. Фред отвернулся. — Это правда, что ты бегаешь

каждый день по тридцать километров? — Нет, я вообще не бегаю. — Это почему? — изумился Дитлев. — Бегают только рабы. — Дитлев хмыкнул и записал. — Отлично движемся, Фред. — Дитлев набил рот пирогом и поменял ручку. Мы ждали. Фред мечтал распрощаться и уйти. Пожилые дамы не сводили с нас глаз, и я вдруг услышал, что в кондитерской тихо, точно ангел пролетел. — Фред, ты можешь снять плащ, — сказал Дитлев. — Нет, — ответил Фред. Журналист улыбнулся и стал писать. Строчил он долго. Я пытался посмотреть, что там, но он загородился рукой. Неужто нужно столько времени, чтоб написать три буквы *н-е-т?* Я взял ещё кусок пирога и задел его руку. Дитлев поднял глаза. — Кто служит примером для тебя? — спросил он. Фред стремительно развернулся ко мне. Я снова зашептал ему в ухо. — Домоуправ Банг, — ответил Фред. Дитлев перестал писать. — Домоуправ Банг? Когда он выступал на ринге? — Фред улыбнулся: — Он выступал в тройном прыжке. — Терпение Дитлева стало истощаться, но он взял себя в руки. — Тройной прыжок — это здорово, — сообщил он, — но я имел в виду боксёров. Отто фон Порат, например. — Фред задумался. — Боб Фитцсиммонс, — выдал он по размышлении. —

Боб Фитцсиммонс? — Угу. — А почему? — Он не сдавался, — сказал Фред. — Он всегда возвращался в бокс. — А тебе нравятся те, кто не сдаются, да? — Нет, — ответил Фред. Дитлев почесал лоб ручкой. — Но ты сам только что это сказал. — Я люблю Боба Фитцсиммонса. Ты не расслышал? — Дитлев ещё раз сменил ручку, поглядел на меня и попробовал засмеяться. — Барнум, он всегда такой? — Почти, — ответил я. Фред ещё раз двинул меня ногой. Дитлев засмеялся и отхлебнул кофе. Кофе капнул на его блокнот. Сигара потухла. — Ты крепкий орешек, Фред, — сказал он. Никакого ответа. Дитлев покрылся испариной и стал листать свои записи. — Какая твоя самая сильная черта? — спросил он. — Не скажу, — ответил Фред. Дитлев записал. — И какая твоя самая слабая черта тоже не скажешь? — Нет. — Теперь умолк Дитлев. И долго о чём-то думал. Фред встревожился. — Членом Центрального клуба ты состоишь лишь с июня, — сообщил Дитлев наконец. Фред кивнул. Дитлев склонился на стол. — За кого ты будешь драться? За клуб, за тренера или сам за себя? — За брата, — сказал Фред. — За Барнума. — Дитлев поглядел на меня. Думаю, я покраснел. Во всяком случае, в голову жарко бросилась кровь. — Как тебе нравится иметь такого старше-

го брата, как Фред? — Лучше не бывает, — шепнул я. Дитлев записал моё «лучше не бывает» в свой блокнот и обернулся к Фреду: — Как ты будешь биться с Асле Бротеном? — С кем? — на вздохе переспросил Фред. — С Асле Бротеном. Ты с ним встречаешься через два дня. — Фред заёрзал на стуле. — Жёстко, — ответил он. — Жёстко? — Да. Я жёстко побью его. — Записывая ответ, Дитлев тихо посмеивался. — Сказал так сказал. Фред, может, ты расскажешь немного о себе? — Мне отлить надо, — сказал Фред. Он встал, взял на стойке ключ от туалета и скрылся в глубине кондитерской. Все пожилые дамы в мокрых мехах разом повернули головы ему вслед. Дитлев вздохнул. Фреда не было долго. — Давай пока с тобой поговорим, — предложил Дитлев. Он перелистнул блокнот и открыл чистую страницу. — Барнум, ты спортом занимаешься? — Вообще-то нет. — Дитлев кивнул. — Из тебя бы вышел отличный рулевой. — Рулевой? — Штурман четвёрки. Им важно, чтоб парень был невысокий, вроде тебя. — Что-то Дитлев разонравился мне. — Я расскажу о тебе ребятам из гребного клуба. Вас таких на весь город раз, два и обчёлся. — Фреда всё не было. Дитлев пригнулся ещё и понизил голос: — Барнум, скажи мне как на духу, Фред выиграет? — Он

решит исход боя в третьем раунде, — ответил я. Записывая, Дитлев качал головой. — Будь по-твоему. Кстати, правда, что вы не родные братья, а только сводные? — Меня больно резануло, как он сказал это — *только сводные,* как будто нас с Фредом расчленили надвое, рассекли. Этот Дитлев та ещё вонючка. — Да, — чуть слышно выдохнул я. — А что ещё ты можешь рассказать о Фреде? — Я напряг мозги. — Он родился в такси, — сообщил я наконец. И в ту же секунду он оказался у столика. Он стоял у нас за спиной, возможно, уже давно, Фред неслышен и бесшумен, как тень, индеец в плаще посреди кондитерской «Самсон», его выдал только выдох, когда он выпустил воздух через нос с едва уловимым взвизгом, тут только мы обнаружили его присутствие. Дитлев уронил ручку на пол и судорожно дёрнулся, оглядываясь. — А, привет, Фред. Похоже, у меня всё. Если только ты не хочешь ничего добавить. — Не пиши никакого дерьма, не надо, — сказал Фред. Дитлев засмеялся слишком высоким фальцетом. — Мы в «Афтенпостен» дерьма не пишем. Но ты можешь прочитать мои записи. — Пусть Барнум читает. — Дитлев протянул мне блокнот: — На, Барнум, пожалуйста. — Я проглядел, что он там написал. Какие-то отрывочные записки. Отдельные

слова, сокращения, большие буквы и восклицательные знаки. Такси, было написано там. Всю жизнь. С закидоном. Сводн. Фитцсиммонс. Я вернул блокнот и глянул на Фреда. — Вроде нормально, — сказал я. Дитлев поднялся. — Тогда пойдёмте щёлкнемся! — Фотограф ждал нас в парке Фрогнер, около бронзового малыша «Злюка». Шею ему оттягивал фотоаппарат размером со шкаф. — Турмуд, мне нужны оба. — Фотограф Турмуд провёл по нам усталым взглядом: — Оба двое? — Ну да, оба. — Я думал, что наша белокурая надежда побоксирует со «Злюкой». — Прекрасная задумка, Турмуд. Только партнёром белокурой надежды будет Барнум. — Барнум? — Дитлев ткнул в мою сторону: — Представь, что он — «Злюка». — Так фотограф и запечатлел нас: мы стоим на мосту, вспышка фотоаппарата похожа на молнию, сноп света, вдруг озаривший наши лица странным, непривычным образом. Фред обнимает меня одной рукой, я не достаю ему до подмышки, я ещё меньше обычного, или Фред стал выше, худощавее, мрачнее, другую руку он сжал в кулак и поднял над головой и смотрит в объектив широко открытыми глазами, не моргая, не смущаясь, зато я зажмурился, словно в момент фотографирования увидел жуть несусветную.

Материал появился на другой день в вечернем выпуске «Афтенпостен», в разделе «спорт». Фред был на тренировке. Мама вслух прочитала заголовок *Неукротимый боксёр: я родился в такси и всю жизнь боксировал, заявляет Фред Нильсен, новая надежда Осло на ринге.* А под нашей фотографией было написано *Барнум верит: Фред решит исход боя в третьем раунде.* Мама охнула, застонала, отдала газету Болетте и посмотрела на меня: — Это ты доложил, что Фред родился в такси? — Я опустил глаза. Болетта, отвлекая нас, стала читать дальше вслух: *На встречу с нами в кондитерскую «Самсон» Фред пришёл в сопровождении сводного брата, носящего весьма оригинальное имя Барнум. Фред говорит, что он выходит на ринг ради своего младшего брата. Барнум же мечтает стать рулевым. Я* вырвал газету у Болетты. — Это неправда! — закричал я. — Что неправда? — спросила Болетта. — Я не собираюсь быть рулевым! — Мама уже хлюпала носом. — Завтра вся Норвегия будет знать, что Фред родился в такси, — прошептала она. — Вечерний выпуск мало кто читает, — успокоила Болетта. — Барнум, а зачем ты зажмурился? — Чтоб мою душу не похитили, — тихо признался я.

Когда в ночь перед поединком Фред вернулся домой, я не спал, ждал его. Он лёг, не снимая тренировочного костюма. Я слышал, что и он тоже не спит. — Ты рассердился? — Рассердился? Почему ещё? — Из-за того, что Дитлев написал. — Я не читал, — ответил Фред. — И не собираюсь. А ты молчи. — Я подождал чуточку. В носу у Фреда свистело. — Но фотография хорошая, — прошептал я.

В день Фредова поединка светило солнце. Он ушёл до завтрака. Ни слова не сказав. Мама была записана в парикмахерскую. Она хотела хорошо выглядеть сегодня. Я не пошёл в школу и развлекал Болетту, или она меня. Я не находил себе места. Все мы сегодня нервничали и томились беспокойством. У меня даже руки ходуном ходили. Глядя в окно, я вдруг увидел, что наступила осень. Город перекрасился в другой цвет. С деревьев струились листья. Всё догорало. Красиво, конечно, но мне не по душе. Я услыхал за спиной Болеттину клюку. Бабушка взяла меня за руку. — Барнум, ты не бойся. — Я и не боюсь. — Вот и молодец. Потому что чем мы поможем Фреду, если сами трясёмся? — Я обернулся к ней. Ещё немного — и Болетта усохнет до моих размеров. — Думаешь, он боится? — спросил я. Болетта

улыбнулась и выпустила мою руку. — Кто знает, что совершается в душе этого мальчика. Да нет, я думаю, он зол. — А на кого он злится? — Болетта устала, опустилась на диван. — Фред, видно, зол на весь свет. На нас. На себя. Он унаследовал от Пра бешеный нрав. — Может, это наказание? — Болетта грохнула клюкой об пол: — Какое наказание, Барнум? Кому нас наказывать, Барнум? — Не знаю, — промолвил я. Болетта вздохнула: — Если только быть человеком само по себе наказание. Коль уж на то пошло. — И она потрепала иссохшими пальцами мои кудри, хоть и знала, что я терпеть этого не могу. — Хорошо, в тебе нет его ярости. — На этих словах вернулась мама. Она уложила волосы на радикально новый манер. Начёсанные вверх, они стояли на голове, как натёртый бокал. Она улыбалась почти стыдливо. Болетта поднялась на ноги. — Одно слово, сегодня мы все выкладываемся ради Фреда изо всех сил. Хотя сам по себе бокс кажется мне зрелищем смешным, невежественным, нудным и отталкивающим. — Выговорившись, она ушла в ванну. Мама вцепилась в сумочку, словно это перила на краю пропасти. — Мне кажется, тебе идёт, — сказал я. — Спасибо, Барнум. — Я уверен, Фреду понравится. Причёска, я имею в виду. — От

него вестей не было? — Я покачал головой. — Ещё бы. У него сегодня забот хватает, — вздохнула мама. И так весь день мы ходили вокруг да около, не зная, как заставить время двигаться вперёд. О еде даже думать не хотелось. Единственное, чем мы могли занять себя, было ожидание. Я вырезал интервью из вечернего выпуска «Афтенпостен» и спрятал его за обоями вместе с открыткой Патурсона. Ещё я выяснил, что из всех времён медленнее всех тянется время ожидания. Меня это озадачило. Я поразился своему желанию, чтобы время бежало быстрее, ведь я с сокрушённым сердцем ждал того, чего сил моих уже не было дождаться. Я желал только одного — чтоб всё уже осталось позади. К тому же я не мог разобраться, что отвращало меня сильнее: сам поединок или что его посетит Вивиан.

В шесть часов мы сели в такси. Услышав, что нам нужно в Центральный боксёрский клуб, шофёр быстро стрельнул в меня глазами и улыбнулся. Я сидел спереди, рядом с ним: — Ты, часом, не брат того, кто вздует сегодня этого зазнайку из Трёнделага? — Да, — прошептал я. Он хлопнул ладонями по рулю. — Читал в газете! Боксёр, который родился в такси, любого уложит на лопатки! — Даже мама не могла не улыбнуться. А

потом таксист выключил счётчик. Он отказался брать с нас деньги. Для него честь возить таких пассажиров, как мы. И мы можем так и передать Фреду, самому боксёру, надежде Фагерборга, что и он может прокатиться бесплатно всегда, как только пожелает. Мы поблагодарили таксиста и вышли на Стургатен. Очередь уже змеилась. Нас пропустили так. Кто-то похлопал меня по спине. Мальчик, пластаясь на коленках, вытирал ринг досуха. Мужчина в возрасте, почти седой и в чёрном костюме, дёргал канаты, проверяя. С виду его можно было принять за пастора. Вокруг ринга были расставлены стулья. Звенела тишина. Странное ощущение. Зал, лишённый звуков, наполненный лишь замедленными движениями и тяжёлыми запахами. Мама снова потеряла покой. — Я должна видеть Фреда, — сказала она. Все слышали её слова. Пожилой мужчина в чёрном быстро обернулся, вылез с ринга и подошёл к нам. — Я рефери поединка, — сказал он. — Пойдёмте со мной. — Следом за ним мы пришли к раздевалке. Судья зашёл внутрь, велев нам ждать. Его не было некоторое время. Обратно он вышел вместе с Вилли, тренером. Вилли говорил шёпотом. Мы сгрудились вокруг него. Мне вспомнились похороны отца,

отпевание, тогда в часовне все тоже шептали, точно боялись, что мёртвые проснутся или что на охальников, говорящих в голос, падёт проклятие. — Фреда нельзя отвлекать, — прошептал он. — С ним всё в порядке? — зашептала в ответ мама. — Вилли улыбнулся: — С ним всё отлично. Передаёт вам привет. — Но прежде чем Вилли захлопнул дверь, я мельком увидел в раздевалке Фреда. Он лежал на скамье, между шкафов, над ним горел белый яркий свет. Он таращился на этот свет. И смеялся. Звука смеха я не слышал. Потом дверь захлопнулась. Рефери проводил нас обратно в зал, и мы сели на первом ряду, поближе к Фредову углу. — Ты займёшь места Педеру и Вивиан? — вполголоса спросила мама. Я положил её перчатки на два соседних стула. Мы ждали. Ринг оказался не кругом, а квадратом, можно подумать, боксёры не выдержали, что их заперли в круглом пространстве, и по собственному почину растянули ринг на четыре угла, чтоб было где перевести дух, потому что разве можно отдохнуть в кругу? В зал повалил народ. Пришли Дитлев с фотографом, Эстер из киоска, явились Аслак, Пребен и Хомяк, никто не мог помыслить пропустить поединок Фреда, все хотели посмотреть, как он одержит победу

или потерпит поражение, прихромал даже домоуправ Банг, его вообще пропечатали в газете, в вечернем выпуске «Афтенпостен», колченогий мастер в тройном прыжке, не поднимавшийся на пьедестал никогда, идол героя вечера — мы с Фитцсиммонсом, сообщил он контролёрам и был пропущен бесплатно, зал кипел как в горячке, а Фред должен был охолонуть наше нетерпение своими точными беспощадными ударами. Затем появились болельщики Асле Бротена и заняли места вблизи его угла. Они приехали издалека, из некоего местечка под названием Мельхюс. Внезапно у меня за спиной засвистели и закричали: *Лапотники! Деревня!* Это вопили Десять и его команда. Громче всех старался Томми: *Лапотники! Деревня!* Болельщики Асле Бротена встали. Возможно, эти рыжие богатыри были его братьями. Они весили килограммов по девяносто каждый. У меня за спиной вновь всё стихло. Наконец, в семь двадцать пять пришли Педер с Вивиан. Они пробрались между стульев и сели рядом со мной. Вивиан быстро пожала мне руку. Мама заметила это и улыбнулась. Педер только покачал головой. — Добро пожаловать в Колизей, — прошептал он, — гладиаторы готовы. — Теперь можно было начинать. Я уже успел

устать. Рефери вылез на ринг. Пиджак он снял и остался в рубашке, изначально безусловно белой, но теперь пожелтевшей, украсившейся множеством пятен и впитавшей в колом стоящую материю пот всех боёв, которые рефери судил на своём веку. Публика захлопала и затопала ногами. Стулья зашатались. Педер нагнулся ко мне. — Львы жаждут мяса, — сказал он. Рефери поднял обе руки, и в зале всё стихло. Сперва Талант должен был показать класс в поединке с рохлей из Лёренскуг. Они бегали вдоль канатов и пихали друг дружку. Кто-то засвистел. Таланту, растерявшему за лето свой пыл, присудили победу по очкам и тут же забыли о нём. — Это было не так уж страшно, — прошептала мама, с облегчением переводя дух. — Потому что эта парочка боится боксировать, — буркнула Болетта и стукнула об пол палкой. Потом в сопровождении тренера в зал вошёл Асле Бротен, непобедимый трёндер, не потерпевший в последних девяти боях ни одного поражения. Народ вокруг его угла повскакал с мест и устроил ему овацию. Бротен показался мне широким, тяжёлым и как будто смущённым. Он опустил глаза, когда Турмуд из вечернего выпуска «Афтенпостен» фотографировал его, и сел на белую табуретку в углу, раскинув

руки по канатам. Он не подумал улыбнуться. Тренер массировал ему плечи. Фреду предстояло сразиться с Бротеном в трёх раундах, два первых по три минуты, а последний — четыре, с минутными перерывами между ними. Бой судился по правилам Квинсберри. Боем единовластно распоряжался рефери. Он мог добавить ещё один двухминутный раунд, если победитель не выявится за основное время. Рефери взглянул на часы. Фреда не было. Мы ждали. Рефери сказал что-то тренеру Бротена. Асле Бротен поднялся и стал разогреваться. Взгляды упёрлись в дверь раздевалки. Ожидание затягивалось. Я подумал, не без облегчения, более того, со злорадным торжеством, что Фред сбежал, это было вполне в его духе, улизнуть через чёрный ход, обвести всех вокруг пальца и без боя сдать победу именитому трёндеру, оставив в дураках всех: «Афтенпостен» с вечерним выпуском, Вилли, Центральный боксёрский клуб, Десять, Томми, двойню и меня. Но тут дверь всё же распахнулась. Из раздевалки вышел Фред. Он сиял. Можно было подумать, что яркий белый свет, который я заметил в раздевалке, въелся в его кожу. За ним шагал Вилли с полотенцем, коробочкой и губкой. Мы зашлись от восторга. Мы закричали. Вивиан захлопала, не

в силах усидеть на месте. Фред спокойно подошёл к рингу, пролез под канаты и посмотрел на Асле Бротена, просто посмотрел. Рефери проверил его перчатки. Он говорил в микрофон. В динамике позади нас затрещало. Он назвал их имена. Фред поднял руки и посмотрел на Бротена. Тот тоже поднял руки и тоже посмотрел на Фреда. Они стояли как два зеркала, и в каждом отражался страх противника, его сила, горошины пота, который моментально покрыл кожу, распираемую изнутри мускулами, и забликовал. Побеждает тот, кто дольше не отводит взгляда. Начало слабости во взгляде. Удав парализует свою добычу как раз им. Фред тоже старался парализовать Асле Бротена ещё до начала боя. Но трёндер не отвёл взгляда. Лишь набычился. Потом начался бой. — Бей его! — закричала Болетта. Но первым ударил Бротен. Удар медленно прокатился от плеча вниз до перчатки. Танцуя, Фред уклонился. Асле Бротен промазал, но хук всколыхнул воздух меж канатов. По залу прокатился вздох. Говорили, что если кто попал Бротену под удар правой, его песенка спета. Говорили, что за бой Бротен проводит всего один удар. Потому как второго, как правило, не требуется. В этот раз одного удара не хватило. Фред проявил чудеса проворства.

Асле Бротен нанёс второй удар. Фред уклонился и сам ударил его в ухо. Бротен помотал головой, словно назойливая муха на секунду отвлекла его. Оба успокоились. Увидели, чего противник стоит. Потом пободались немного. Они кружили по рингу, закрыв перчатками лицо и опустив подбородки. Засим первый раунд кончился, и они разошлись по углам. Вилли долго, но неслышно для нас инструктировал Фреда. Второй раунд пошёл в прежнем стиле. Никто не лез на рожон. Они скакали по рингу и играли в гляделки. Центральный клуб затянуло сигаретным дымом до потолка. Болетте надоела вся эта бодяга. — Раз ничего не происходит — я пошла! — громко заявила она. Мама попробовала призвать её к порядку, но Болетта не унималась: — Тоже мне бокс, на Северном полюсе и то лучше дерутся! — Фред ударил. Удар произошёл внезапно, вдруг: рука Фреда находит прореху в защите Бротена, перчатка впечатывается в лоб, голова Бротена откидывается назад, он вздрагивает, Фред бьёт вдогонку второй раз — хук слева, он начинает раскручиваться от ахиллова сухожилия Фреда и бьёт Бротена в подбородок, похожий на ящик с зубами, затем Бротен накидывается на Фреда, он метил в тело, он прижал Фреда к канатам, они сплелись, как плетёнка

из мяса, притиснутые друг к другу в грубом, насильственном объятии, пока рефери не развёл их, потому что окончился раунд, Фред выиграл его. Мы визжим от восторга. Мы тоже, тоже бьёмся с Бротеном. Мы всей душой на ринге. Педер влез на стул. Вивиан вскочила. Даже мама и та захлопала, а Болетта прокричала, отбивая такт палкой в пол: — Мо-ло-дец! Так дер-жать! — Вилли протёр Фреду лицо влажной губкой, словно бережно стёр писанину с доски. Начался последний раунд. Асле Бротен сразу перешёл в наступление. Он с напором наносил удары, в грудь, в живот, в плечи, он решил измотать Фреда, отбить его, как отбивную, до мягкости, но удары не достигали цели, Фред мелькал по рингу тенью, мы только слышали свист рассекающей воздух перчатки, словно она скользила мимо уха, и в результате первым Асле Бротен измотал сам себя, и в этом тумане, повисшем вокруг Бротена, Фред провёл удар, стремительный манёвр, которого никто не заметил, во всяком случае, не заметил Асле Бротен, мы увидели сразу результат — как у него подгибаются колени, тело распластано по полу, стон, рефери склоняется над ним и начинает считать, выбрасывая пальцы, один, два, и тишина между цифрами, провал, три, четыре, Фред пошёл

в свой угол, Вилли зажмурился, пять, шесть, семь, рефери считает, других цифр в мире нет, на восьми Бротен поднимается, непобедимый трёндер из Мельхуса встаёт на ноги, его шатает, но он стоит. Рефери заглядывает ему в глаза, шепчется с тренером и даёт знак к продолжению боя. В зале тишина. Осталось тридцать секунд Фреду надо лишь удержаться на ногах, держаться подальше от Асле, выдержать тридцать секунд, потому что он уже выиграл, он в полуминуте от победы. И вдруг я вижу, что Фред опускает руки, словно бы он устал от всего и бой ему надоел, короче, Фред убирает защиту, он раскрывается: бей не хочу, это продолжается недолго, один миг, но этого хватает. Асле Бротен видит то же, что и я, сперва он колеблется, словно не может поверить, что Фред опустил руки и добровольно дал ему карт-бланш, мысли движутся медленнее, чем тело, а Фред подходит на шаг ближе, незащищённый, тёпленький, и зал охает. А Бротен бьёт. Это нечеловеческий, дикий удар в лицо, он вздымает над головой Фреда облако пота, мокрую сверкающую капель — брызги разбитой славы. Фреда качнуло, но он устоял. Асле Бротен бьёт второй раз, также зверски, в челюсть, и раздаётся хрустящий, царапающий звук чего-то ломающегося. Мама

закрывается руками и стонет. Болетта кричит, но у неё пропал голос. Вивиан хватает меня за руку. Педер оборачивается ко мне, соболезнуя. А я — я не чувствую боли, я стараюсь, но Фредова боль не входит в меня, она не трогает меня, он один на один со своей болью, он внутри неё, а я чувствую только позор и ужасно стыжусь этого своего чувства. Фред падает на колени. Кровь льёт изо рта и глаз. Вилли виснет на верёвках. Рефери прерывает бой. Асле Бротен победил. Рефери поднимает его руку. Но триумфом и не пахнет. Поражение выше победы. Поражение отодвигает победителя в тень. Я был всё же прав. В третьем раунде Фред решил исход боя.

Мама и Болетта поехали с Фредом в больницу, где ему сшили нос и наново склепали челюсть. Он был так плох, что его не взяли в армию, я, правда, не знаю, было ли это единственной причиной, но, во всяком случае, норвежские вооружённые силы не испытывали острой потребности в склонном к тошноте дислексике с шумом в ушах, полуслепом на левый глаз, любящем шататься по улицам, страдающем головными болями и отличающемся непредсказуемым поведением. Я возвращался домой с Педером и Вивиан. Мы неспешно брели по незнакомым улицам, но страшно нам почему-то

не было, после Центрального боксёрского клуба хуже стать уже не могло, мы чувствовали себя неуязвимыми. — Теперь я знаю невозможное число, — сказал Педер. — Какое? — Оно между девять и десять. — На Стурторгет мы догнали трамвай, сели сзади. В жёлтом свете наши лица выглядели бледными. А темнота за окном казалась чёрным потоком, утекавшим в обратную сторону, в городскую клоаку. Мы вылезли на Фрогнере. Постояли там немного, не зная, как быть. — Мне его жалко, — прошептала Вивиан. Педер отвернулся. — Кого? — спросил я. — Фреда, конечно.

Домой он заявился только на другой день. Он вошёл тихо. Я не услышал. Вот тогда-то я и увидел его, не желая того, перед зеркалом в маминой спальне. Я шёл к выходу и замер не дыша, меньше всего мне хотелось стать свидетелем этой сцены, да поздно. Он приник к зеркалу, к своему неверному отображению, и стал паясничать, строить гримасы, и я подумал — хотя, возможно, это я теперь так думаю, — что он высматривает своё истинное лицо, может, он надеялся увидеть в матовой глубине зеркала все свои маски, целую галерею, оканчивающуюся его настоящим лицом. Вдруг Фред засмеялся, приставил к

зеркалу губы и лизнул. Глаза б мои этого не видели. Но они уже увидели. Возврата нет. — Зачем ты проиграл? — спросил я. Фред стремительно обернулся ко мне, на миг смутившись, он был в ярости. — Слышишь, Барнум? — Что? — Он пару раз глубоко вздохнул и улыбнулся. — Нос снова как новенький. — Он сел на мамину кровать и откинулся назад. В комнате всё ещё витал аромат «Малаги». Воздух был сладкий и тягучий. Мне захотелось напиться пьяным. — Фред, зачем ты проиграл? — Он вновь поднялся, он был удивлён, почти печален. — Проиграл? Я победил, Барнум. Или ты вообще ничего не понимаешь?

Прошла уйма лет, прежде чем я проявил плёнку, снятую тем летом, которое я называю моим первым летом. Я долго откладывал проявку. Потому что не мог забыть маму Педера, как она заслоняет лицо, разворачивая коляску, в бешенстве и ужасе оттого, что вот сейчас у неё похитят душу. Я дал слово не проявлять того снимка. Но наступил момент, когда воспоминания перестали даваться мне в руки, едва я пробовал увековечить их на бумаге, как они рассыпались в пыль и прах. И мне как воздух потребовалось что-то зримое, вещное, что можно подержать в руках, рассмотреть, от чего можно плясать даль-

ше в моём повествовании. И вот я взял старую плёнку, лежавшую нетронутой в ящике с того самого лета, и понёс в фотоателье на Бугстадвейен с мыслью, что таким макаром мне удастся собрать воспоминания в связный рассказ, подходящий для сценария. Спустя неделю я забрал пакет с фотографиями. Пошёл в «Старого майора» и стал смотреть снимки. Я медленно перебирал пачку. Это было возвращением домой. Я словно направил свет в прошлое. Самый первый снимок сделала ещё мама, в мае 1945-го — Пра и Болетта стоят на балконе нашей квартиры на Киркевейен, их застали врасплох, они оторопело и с ужасом почти смотрят на ту, что фотографирует их из гостиной, Болетта собирается открыть рот, а Пра растопырила пальцы, возможно, в тот момент она тоже испугалась за свою душу. А остальные снимки относятся к другому времени, словно бы — раз! — и перепрыгнули через целую жизнь: Педер в двуспальной кровати на Ильярне, с голым торсом, один глаз закрыт, рука прикрывает срам, а тень делит комнату и снимок надвое. Это моя тень. Мы с Вивиан сидим на кровати, между нами лежит чемодан, Вивиан наклонилась, чтобы поцеловать моё тощее плечо. Я не помнил, что Педер это сфотографировал. И не помню поцелуя,

прикосновения. Мама Педера разворачивает коляску, но дело не в том, что её напугал аппарат, нет, её ослепило солнце, так расшифровываю я снимок, её ослепило солнце, широко и беспощадно растёкшееся над фьордом в то моё первое лето, поэтому она и заслонила лицо руками, от него, а на заднем плане, около угла веранды, стоит папа, его видно наполовину: то ли он делает шаг к нам, то ли отходит в сторону, это он клянёт её душу. Я выпиваю ещё одно пиво. На улице пошёл дождь. В кафе набивается народ, они развешивают по стульям свою омерзительную одежду и заказывают красное вино половинами бутылок. На последнем снимке Фред. Это не я снимал. Скорей всего, он сам, и, скорей всего, на чердаке, потому что можно разобрать окно в крыше и верёвки с деревянными прищепками, наверно, он нажал на спуск, держа аппарат на вытянутой руке. Лица не узнать, оно перекошено, рот разинут, он что-то говорит, он хочет что-то сказать мне, он кричит с высоты, с чердака вниз, в колодец времени, а я ничего не слышу, не слышно мне его.

(голод)

Как-то вечером позвонил Педер, сам не свой от возбуждения. Я успел поднять трубку, опередив

всех, тем более дома никого больше не было, и Педер показался мне в том состоянии, сказать о котором «писал кипятком» не будет большим преувеличением. Можно было подумать, он с другой планеты пытается докричаться до меня в противотуманный рупор. — Быстро приходи к дереву! — прогудел он. Я отставил трубку на вытянутую руку, чтоб не оглохнуть. Педер завопил ещё громче в своём космосе: — Барнум, ты здесь? — Я придвинул трубку к уху. — Здесь. Что за паника? — Увидишь! — Кончай свистеть. Что случилось? — Педер взъелся с полоборота. — Так, сморчок недорощенный, ты идёшь или не идёшь? — Иду! — крикнул я. И сорвался с места. Бросил трубку на рычаг, на ходу сдёрнул куртку и дунул вниз по чёрной лестнице, едва не сваливв маму, поднимавшуюся с пустым помойным ведром. Я шёл на новый личный рекорд, потому что, когда Педер называет меня недорощенным сморчком, дело серьёзное, тут шуточками не отделаешься. Если б он назвал меня «клоп», я волынился бы, никуда не торопясь, услышав «шлёп-нога», сто раз подумал бы, стоит ли вообще выходить из дому, а «варежку» посчитал бы сомнительным основанием просто для продолжения разговора. Но недорощенный сморчок — это

дело серьёзное, как минимум пожар высшего разряда в парке Фрогнер. — Опаздываю! — крикнул я Болетте, отставшей от мамы на восемнадцать ступенек, хотя ни одна из женщин рта не успела открыть, дальше я ураганом пронёсся по двору, поднырнув под сушилку и потоптав жухлые цветы домоуправа Банга, не сбавляя скорости, пропилил улицу Якоба Ола, но на площади Вестканторгет движение застопорилось: меня перехватили, окликнули голосом Фреда, а его никто не видел уже пять дней. Не повезло мне, надо было бежать другой дорогой. Он сидел на единственной на площади скамейке. Наступил октябрь, скамейки поубирали, одна эта осталась подежурить. Вид у Фреда был нехороший. После боя с Бротеном лицо Фреда понемногу обретало привычный вид, сам он стал ещё худосочнее, мускулы словно истончились, точно их надолго оставили мокнуть в воде, а потом высушили на солнце. Он курил и уронил сигарету на щебёнку между неказистых ботинок. — Сядь, Барнум, — велел Фред. Я сел. Хотя Педер уже ждал меня. Если только ему не надоело и он не ушёл. — Где ты был? — спросил я. — А почему ты спрашиваешь? — Так просто. — Мама не сердится? — Вроде нет. — Уверен? — Во всяком случае, она ничего

не говорила. — Фред раскурил бычок и сунул его в рот. — Может, я у Вилли был. — У тренера? Ты снова собираешься боксировать? — Фред помотал головой. — Вилли больше не тренирует. — Он ушёл из тренеров? — Фред поглядел на меня: — Торопишься? — У меня встреча с Педером, — прошептал я. Фред пожал плечами: — Ну иди. — Я сидел. Что ты делал у Вилли, Фред? — У тебя, кажется, встреча с Педером? — Да. Скоро. — Вивиан тоже будет? — Меня неприятно царапнуло, что он произнёс её имя. И мне захотелось дать ей собственное имя. К примеру, Лорен. Да, решил я, называться Лорен ей очень подходит. Лорен и Барнум — прекрасно звучит, правильная сладкая парочка, а Фред пусть говорит «Вивиан» в своё удовольствие, тем более он не в курсе, что для меня она Лорен. — Не знаю, — сказал я. Потом поднялся со скамейки. — И чем же ты займёшься со своим закадычным другом, а, Барнум? — Не знаю, — опять признался я. — И этого тоже не знаешь? Или не хочешь говорить? — Не знаю, Фред. Чёстное слово. — Честное слово? Это хорошо. — Фред, знаешь, мне пора. — Повернись, — приказал он. Я закрыл глаза и повернулся. — В чём дело? — Хотел проверить, не скрестил ли ты пальцы. Потому что тогда не считается. — Что не

считается, Фред? — Честное слово не считается, Барнум. Привет Педеру. — Ага, — сказал я. — Передам. — Фред улыбнулся: — И Вивиан привет. Если она придёт. — Я пошёл дальше через площадь, в сторону уличных огней, меня подмывало припустить бегом, но я не решился. Фред вдруг встал тоже. — Никогда не делай того, в чём потом раскаешься, — крикнул он. Я остановился: — Что ты имеешь в виду? — Фред улыбнулся: — Что я имею в виду? Сам знаешь! — Нет, Фред, ошибаешься. Я не знаю. — Но Фред уже опустился обратно на скамейку, словно наша беседа опостылела ему хуже зубной боли и он не собирается продолжать её дальше. — Не знаешь, так узнаешь, Барнум. — Я не срывался на бег, пока не дошёл до фонтана, он не работал, потому что уже осень и в любой день могут начаться заморозки. От фонтана до площади Соллипласс я долетел, не тормозя, а там в Гидропарке под нашим деревом стоял Педер, перебирая ногами от нетерпения. Я остановился, хватая ртом воздух, и Педер сам бросился мне навстречу, меся ногами напластования нападавших с ветвей листьев. — Где тебя черти носили! — Прибежал, как смог. — Как смог! Надо было смочь быстрее! — Мы обнялись и пару минут молчали, мы стояли по колено в кроваво-

красных листьях, осклизлых хлопьях, никогда не лежащих тихо, в лиственном море. — И что случилось? — прошептал я. — На Соллигатен снимают кино, — шёпотом же ответил Педер. — Кино? — Да, чёрт побери! На Соллигатен снимают кино. — Сейчас? — Именно сию минуту. Ты думаешь, я шутки шучу? — Нет, вот чего я никак не думал, так это что Педер Миил разыгрывает меня, хоть он и был мастак на приколы и мог устроить их на пустом месте хрен знает из чего, но то, что заурядным октябрьским вечером кто-то снимает на Соллигатен кино, было чистой правдой. — А Вивиан где? — спросил я. Педер взглянул на часы, и лоб его покрылся испариной: — Она такая же копуша, как ты! — Мы подождали ещё немного, но Вивиан всё не шла. Или ей запретили уходить из дому на ночь глядя, или она внезапно заболела, но что-то случилось. Некое обстоятельство помешало ей прийти. Страшная догадка ударила мне в голову, как молния, но исчезла прежде, чем я ухватил её и додумал до конца. Ждать дольше мы не могли и пошли на Соллигатен. Педер не соврал. Кино снималось. Здесь раскинулся параллельный мир. И мы медленно вступили в него. Асфальт был посыпан землёй. Красный почтовый ящик снят. Машин, обычно запаркованных

вдоль улицы, не было и в помине. У подворотни дома номер два стоял констебль в форме старого образца, с приплюснутой фуражкой и большими начищенными пуговицами. Он поднял руку, приветствуя возницу конного такси, прокатившего мимо. Даже занавески в окнах первого этажа и те поменяли, и по какой-то причине именно занавески особенно поразили моё воображение: а вдруг вид квартир за занавесками тоже изменился, вдруг киношники переклеили там обои, расставили другие стулья и козетки, заменили книги на полках, развесили картины по стенам, выдрали душ, спрятали холодильники и стиральные машины да заодно отправили хозяев в деревню, подальше? Другими словами, у меня в голове родился странный вопрос, не до конца ещё понятный мне самому и который я вряд ли сумею растолковать другим: что надо поменять, чтобы обмануть будущих зрителей фильма, сколько надо задекорировать, задрапировать, переделать и переставить не только в фасадах, но и во внутренностях зданий, в людях, в сердцах, даже в том, как они ходят, чтобы зрители поверили — да, так и было? И я услышал отцов смех и голос: — Важно не то, что ты видишь, а то, что ты думаешь, что ты видишь. — Я подёргал Педера за рукав. — Смот-

ри, — прошептал я, — занавески поменяли! — Но тут внизу улицы возник какой-то переполох. Нас ослепил яркий свет. Мужчина с рупором вышел из тени. Наверняка режиссёр. — Уберите отсюда этих идиотов! — гаркнул он. Примчался констебль и шуганул нас чуть не обратно до площади Соллипласс, но там мы сели на корточки и укрылись за помойными баками. — Бляха-муха, — вздохнул Педер. — Да уж, — откликнулся я, — а были так близко. — Констебль бегом вернулся на своё место у подворотни. Мы выползли немного из-за бака, и тут завертелись настоящие события. Дама в меховой шубке и шляпке шла вниз по тротуару. За ней, едва не наезжая на пятки, следовала камера. У нас мурашки по спине побежали. Это было не в кино. А взаправду. Причём мы как раз были внутри фильма, в раздвоившейся реальности. Дама приближалась к нам, она и оператор, казалось, она зябнет, потому что она грела руки в толстом меховом мешочке на животе, и она беспрерывно оглядывалась, словно опасаясь преследования, может, возвращалась одна домой в поздний час и боялась нападения, хотя никого, кроме оператора, поблизости не было, а он бы вряд ли на такое пошёл. Наконец она остановилась у подворотни,

констебль вытянулся во фрунт и взял под козырёк, она потопталась в нерешительности, ещё раз оглянулась — лицо белее мела — и шагнула во мрак. Режиссёр встал со стула и захлопал в ладоши. Дама в шубке выпорхнула из подворотни, она лучилась улыбкой, а от режиссёра ещё получила поцелуй в щёку. Софиты погасли с дребезжащим звуком. — Лорен Бэколл лучше, — шепнул Педер. Едва он сказал это, я почувствовал, что мне не хватает рядом Вивиан, и Педеру, очевидно, тоже. Она должна была быть сейчас здесь. Чтоб мы видели всё это вместе. — Что это за фильм, как ты думаешь? — прошептал я. — Для зрителей от сорока и старше, — ответил Педер. Так мы и сидели на корточках под сенью зловонного мусорного бака. От него пахло старостью лета. Прошло ещё сколько-то времени. Пробежал пёс, он держал что-то в пасти. Возможно, съёмки закончились. Констебль закурил. Мы ждали. И все ждали. Как у моря погоды. Режиссёр восседал на стуле и разбирался в пухлой пачке бумаг. Вдруг налетел порыв ветра, тот, который вырывается иногда со дна города, от Мюнкедамсвейен, и проносится по улицам как ураган, теперь он подхватил страницу с колен режиссёра, она перелетела через ограду, я вскочил, хотя Педер тянул меня вниз, и кинулся

за листком, нагнал его и помчался назад, к режиссёру, который метался, как повредившийся рассудком, но на бегу я успел прочитать с самого верха страницы несколько строк по-датски, их я помню как сейчас, будто съёмки происходили вчера, сегодня или минуту назад, потому что это был самый первый в жизни сценарий, который я держал в руках. *С. 48. Осень. Вечер. Улица IV. Редкие прохожие и такси. ПОНТУС видит маленькую собачонку, она бежит домой по мостовой вдоль тротуара, в зубах мясная нога.* Из этих слов: *Понтус, собачонка, мостовая* должен был произрасти фильм, им предстояло оторваться от бумаги и стать движением, картинкой, звуком, и едва я прочитал эти простые слова, составленные в незамысловатое предложение, звучащее негромко, но производящее сногсшибательный эффект, как сразу принял твёрдое решение, я не стал ни обдумывать его, ни взвешивать, а просто принял, понимая, что оно правильное: я решил записать свои грёзы наяву. И я почувствовал глубокую долгоиграющую радость оттого, что решился на это. С почтительным поклоном я вручил страницу 48 режиссёру. Он вырвал её из моих рук. — Пожалуйста, — сказал я. Он и не подумал благодарить. Только махнул рукой, отгоняя меня.

Я убежал назад к Педеру, за помойку. Съёмка пошла дальше. Высокий, исхудалый, кожа да кости, мужчина в заношенной одежде, круглых очках и с изнурённым, небритым лицом спустился по той же улице, но на этот раз камера пятилась перед ним, он шёл на оператора, но вдруг встал и стал протирать свои очки, нам показалось, что он разговаривал сам с собой и готов был оспорить каждое слово. — Это, наверно, Понтус, — шепнул я. — Кто? — Понтус, так в сценарии. — Вероятный Понтус пошёл дальше, он ближе и ближе подходил к камере, ещё шаг — и кинется на неё. Тут режиссёр ударил в ладоши, что-то крикнул, и Понтус снова вынужден был проделать всё сначала: спуститься по улице к камере, остановиться, протереть очки, поспорить с собой, причём я никакой разницы не заметил, но ему пришлось повторить всю сцену ещё дважды, прежде чем режиссёру наконец понравилось, и тогда они погасили огни, упаковали своё хозяйство и уехали на грузовике. Мы с Педером выбрались из укрытия. В окнах появились люди. Дворник стал сметать землю с тротуара. Красный почтовый ящик водрузили на место. Лошади процокали в сторону Дворца. Всё расставили по местам, и постепенно улица приняла обычный вид. Мираж

какой-то. Мы брели по аллее Бюгдёй, и я радостно предвкушал, как посвящу Педера в то, что жизнь моя совершила крутой и неожиданный вираж в тот самый миг, когда я взял в руки страницу 48 сценария и прочитал размеренные строчки о Понтусе и собачонке, написанные по-датски. Но я ничего не сказал ему, я решил повременить, пока дойду до дома и начну писать, чтоб предъявить товар лицом. — Интересно, куда девалась Вивиан, — сказал я. Мы остановились перед её подъездом и смотрели на окна. Они чернели. Педер кинул каштан и попал. Но не Вивиан чуть сдвинула вбок занавеску, а мама взглянула на нас сверху вниз и мгновенно задёрнула шторы. Педер покосился на меня и вздрогнул. — Тут обрадуешься, что моя всего-навсего не ходит, — сказал он. На этих словах показалась Вивиан, она вышла из-за церкви с другой стороны, и мы бросились к ней. — Ты где была? — закричал Педер. — Гуляла. А до этого маме помогала. — Как помогала? — Вивиан пожала плечами: — Я читаю ей вслух. Если она не может заснуть. — Педер ничего больше не сказал. Я подпрыгивал от нетерпения. — Да ты знаешь, что ты, чёрт возьми, пропустила? — Вивиан коротко взглянула на меня и опустила глаза, вид у неё вдруг сделался несчастный и на-

пуганный, ещё бы, а вы каким станете при маме без лица, которой ещё надо читать вслух? — А что я пропустила? — спросила она. — На Соллигатен снимали кино! С прожекторами, камерой и всем на свете. — Я знаю, — откликнулась Вивиан. — Знаешь? Как знаешь? — В газете писали. Фильм называется «Голод». — «Голод»? Классное название. — Вообще-то это такой роман Гамсуна. Я как раз читаю его сейчас маме. — Вивиан пошла к своему подъезду. У дверей она обернулась: — Наверняка они будут снимать и завтра тоже. Можем попробовать выследить их. — Мы согласно кивнули. Конечно, выследим. Плёвое, в сущности, дело — найти съёмочную группу в городе такого размера. Вивиан засмеялась и снова стала сама собой, как будто играла в фильме, а теперь сняла с себя положенный по роли костюм. — Встречаемся в двенадцать, — сказала она. — Если вы, конечно, не боитесь прогулять школу. Педер молчал, пока мы вместе шли домой, и я помалкивал, думал, что буду писать, отчего для других мыслей места в голове не осталось. Но на прощание Педер всё же сказал кое-что. — Нам надо получше присматривать за Вивиан, — сказал он. — Мы и так хорошо присматриваем, — ответил я. Педер тогда обхватил меня, это было неожиданно. — Доброй

ночи, Барнум. А завтра забьём на школу, как нефига делать! — От дома Педера до своего я шёл один, вверх по Киркевейен. Это был странный вечер. У Мариенлюст я остановился и огляделся. Всё окрест было моим. Это мой мир. Улицы, исхоженные мной вдоль и поперёк, лес позади города, небо над крышами. Об этом я теперь и напишу. Здесь поселятся мои герои, Эстер из киоска, Пра, Фред, мама, Педер с Вивиан, Болетта, отец-покойник, всем найдётся здесь место — и живым, и мёртвым. Возник Фред. Он шагал напрямик через газон, шёл по лилипутскому городу, на микроулочках которого мы в своё время постигали премудрости дорожного движения, пересекал крошечные переходы, не толще черты на асфальте, лавировал между миниатюрными домиками, призванными изображать настоящие дома, и когда я увидел его идущим так, мне в голову пришла идея, первый мой замысел. Фред остановился передо мной. — Барнум, ты грустный. — Я думал, — ответил я. — Думал? О чём? О грустном? — Пришлось мне рассказать Фреду всё. — Я думал о том, что напишу, — ответил я. Фред наклонился поближе: — Напишешь? — Я принял решение, Фред. Я буду писать. — И что же? — Сценарии фильмов. — Фред отвернулся

в сторону, словно боялся, что кто-то крадётся за ним по пятам. Но кроме нас двоих тем вечером на Мариенлюст не было никого. — Устал я, — сказал Фред, положил руку мне на плечо, и мы пошли так домой. Мама выскочила из гостиной, увидев, что Фред наконец заявился в дом, но он прошёл мимо неё в нашу комнату, не удосужившись произнести хотя бы «привет». — Где ты был? — спросила мама. — Гулял, — ответил Фред и грохнул дверью. — Твоя гулянка тянулась пять дней! — крикнула мама ему в спину и взамен припёрла взглядом меня. — Гулял, — повторил я. И мама тем не менее улыбнулась, она же обрадовалась, что Фред дома, что он вернулся, пусть и через пять дней, потом эта фраза сделалась у нас дежурной, Фред загулял, говорили мы, когда он взял в привычку то и дело исчезать, а потом пропал так надолго, что его объявили умершим, но в тот вечер, сообразил я, первой это сказала Вивиан: гуляла, так она ответила нам. — Тебя ужином покормить? — спросила мама, и я сразу понял, что у неё в самом деле легко на душе. — Спасибо, не надо, — ответил я. — А у нас есть книга под названием «Голод»? — В мамину улыбку добавилось удивление, она повернулась к Болетте, которая и сама встала и тихим ходом

двигалась в нашу сторону. — К сожалению, мы её сожгли, — сказала она. — Сожгли книгу? — Видишь ли, Барнум, во время войны писатель вёл себя как последняя сволочь. Так что книги этого предателя осквернили наш дом. По такой причине мы сожгли полное собрание его сочинений в этом самом камине. — Болетта тяжело опёрлась о моё плечо. Мы с ней стали невелички уже почти одного роста. Она вздохнула горько: — Хотя теперь я жалею. Сволочи тоже хорошо пишут.

Я уже лёг, а фраза всё крутилась в моей голове, исполняя меня ещё большей решимости. Сволочи тоже хорошо пишут. Уж тем более справлюсь с этим делом я, золотое перо. Я снова выбрался из кровати, сел за стол, включил лампу, взял тетрадь на пружинках, карандаш и написал: *Мальчик идёт вниз по улице. Он выше домов. Выше светофоров. На углу он останавливается. Он один.* Дальше я не продвинулся по той причине, что я забыл, что Фред лежит в кровати. — Как называется то, что ты пишешь? — вдруг подал он голос. — «Городочек», — ответил я. — Хорошее название, Барнум. — Я очень обрадовался. И погасил лампу. — Ты не будешь писать дальше? — Нет, подожду до завтра. — Почему? — Не знаю, как продолжить. — Это тебе одному знать, — ответил

Фред. Я забрался под одеяло. Мы давно уже не разговаривали так. И мне хотелось сберечь в душе сегодняшний разговор. Я смежил веки. И собрался, улыбаясь, тихо погрузиться в сон. Но тут я услышал, что Фред подошёл к моей кровати и сел на край. Только бы он всё не испортил. Но он ничего не испоганил. Наоборот, то, что он сказал, исполнило беседу глубокой значительности, и я понял, что никогда его слов не забуду. Тем не менее я поджался от страха. — Я тоже кое-что надумал, — сказал Фред. — Что? — Он долго молчал. — Я отыщу письмо, проданное покойным Арнольдом Нильсеном. — Он так именно выразился — *покойный Арнольд Нильсен.* Я распахнул глаза. Фред склонился надо мной, над самым моим лицом. — Барнум, не проговорись никому. — Не проговорюсь. Никому. — Я поднял руки, показывая ему свои растопыренные пальцы. Он хохотнул, встал и замер, устремив глаза в мою тетрадь, едва видимую в жёлтом свете уличных фонарей, сочившемся в зазор в занавесках жидкой, дрожащей полоской. И Фред стал читать вслух, читал он медленно и внятно: М*альчик идёт вниз по улице. Он выше домов. Выше светофоров. На углу он останавливается. Он один.* Фред прочитал первый вышедший из-под моего пера

текст, не сделав ни единой ошибочки, не потеряв ни одного слога. Я не решался открыть рта. У меня слёзы стояли в горле. А плакать сейчас было нельзя. Нельзя, и всё. Фред закрыл мою тетрадку и положил её. Теперь мы лежали, разделённые в темноте меловой чертой на полу. — Он один, — прошептал Фред.

Когда я встал на другое утро, Фред ещё спал или притворялся спящим. Мама ходила на цыпочках, говорила шёпотом и шикала из-за малейшего звука, не дай Бог мы его разбудим. В школу я не пошёл. А отправился в Стенспарк и сел там наверху, на Блосен. Я вытащил тетрадку, карандаш, завтрак, а ранец спрятал за кустами. День был прекрасный. Воздух прозрачный и остуженный, но не холодный. Казалось, все сжались в кучу, Экебергосен на другой стороне, серые дома, шпили церквей. Город делался всё меньше и меньше. Я писал: *Он один. Светофор переключается. Но машин нет. Он переходит по зебре. Жёлтые полосы меньше его ботинок. Он заходит в магазин, сгибаясь в три погибели. Это цветочная лавка. Он один и тут тоже. Он кричит: «Есть кто-нибудь?» Никто не отвечает. Он набирает букет, дёргая цветы из ваз, головки цветов чуть выше сжатых пальцев. Он кладёт какие-то деньги на прилавок*

и уходит. Когда он, сжавшись, выходит на улицу, его ослепляет резкий свет, он заслоняет глаза. Раздаётся крик — «Вы арестованы!» От всего этого на меня напал голод, я закусил бутербродом с колбасой и сыром, но пока я сидел с набитым ртом на горе Блосен, на могильнике мёртвых лошадей, в середине своего повествования, мне бросилась в глаза какая-то суета на Санктханс-хаугене, второй возвышенности этих краёв, и я довольно быстро сообразил, что там происходит. Там снималось кино. Они начали рабочий день. Здесь, на одной вершине, я сочинял сценарий, а они там, на другой, вели съёмку. У них уже был перерыв. Я узнал Понтуса. Он сидел на скамейке, склонившись к залоснившимся до синевы коленкам, и курил, резко затягиваясь. Вид у него был такой же изможднённый, как вчера. Режиссёр сидел на специальном стуле и пожирал бутерброд, роясь тем временем в сценарии. Давешний констебль маячил здесь же. Может, сегодня вход к ним не заказан? Я по тропинке пробрался между деревьев и, поравнявшись с Понтусом, сбавил скорость. Он взглянул на меня и костлявым пальцем почесал глаз за очками. Вид у него и вправду неважнецкий. Вдруг он отшвырнул сигарету и что-то сказал. — Не подскажете, который час? —

спросил он. Я встал. Застигнутый врасплох, я медленно, непослушными пальцами отодвинул обшлаг куртки, взглянул на часы. — Сейчас десять, — сказал я. Понтус замотал головой: — Что вы! Сейчас два. — Я ещё раз посмотрел на часы. Мои показывали десять. — Извините, десять, — повторил я. Понтус вскочил как ужаленный: — Вы глубоко, глубоко заблуждаетесь! Сейчас два. Переставьте свои часы как надо. — Кто-то рядом с камерой засмеялся. — Понтус, хочешь бутерброд с колбасой? — спросил я. Понтус оторопел, смешался и позабыл роль. Он снова опустился на скамейку. — И как тебя зовут? — Барнум, — ответил я. Он кивнул, не сводя с меня глаз. — Понтус и Барнум, звучит, — сказал он. — Прямо два героя немого кино. Тебя действительно зовут Барнум? — Да, так меня окрестил пастор на Рёсте. — Я-то, к сожалению, не Понтус. Меня зовут Пер Оскарссон. — Он протянул руку. Я пожал её. На ощупь — длань скелета. — Спасибо, Барнум. Я б мечтал о бутерброде с колбасой. Но нельзя, к несчастью. Я играю голодного полудурка в этом фильме, поэтому должен быть голоден. — Вижу, — сказал я. Он отпустил мою руку и показал на свои ботинки. Столь же худые. — Я из Стокгольма в Осло шёл босиком. Знаешь, сколько это нор-

вежских миль? — Я помотал головой. — Я сам не знаю. Но много. — Понтус откинулся, опершись о спинку скамьи. — Вымотался я, — вздохнул он. — Не знаю, на каком я свете. — Ты в Осло, на Санктхансхауген, — ответил я. Понтус медленно кивнул. — Спасибо, Барнум. Значит, потом нам в Дворцовый парк. — Он горько вздохнул: — В следующий раз только роль короля-обжоры! — К нам спустилась женщина в широких брюках. Она принесла ящик с тюбиками и чем-то вроде помазка. — Маэстро ждёт, — шепнула она. И скоренько взяла Понтуса в оборот, под её руками щетина его сделалась чернее, волосы реже, а глаза безумнее. Пока она занималась этим, режиссёр встал и закричал: — Не могли бы посторонние покинуть площадку? Немедленно! — *Маэстро* назывался режиссёр. А *посторонним* был я. — Который час? — быстро спросил я. Понтус вытащил часы, улыбнулся и торжественно откинул крышку. Луковка оказалась пустой, серебряная раковина, из которой выковыряли внутренности. Понтус улыбнулся. — Без пяти двенадцать ровно, — сказал он.

Я бегом дунул к площади Соллипласс, но у последнего поворота притормозил и прошёл оставшиеся метры, никуда не торопясь. Педер

с Вивиан уже ждали под деревом. Спешить мне было некуда. Я подобрал пару листьев и пристально изучил красивый узор прожилок на зелёном полотне. Те двое подошли ко мне. — У Барнума времени сегодня навалом, — сказал Педер. Я бережно выпустил листья из рук. — Они в Дворцовом парке, — сказал я. — А ты откуда знаешь? — Я пожал плечами: — Понтус сказал. — Вивиан свесила голову набок. У неё была привычка делать так, наклонять голову, когда она слышала что-то ей непонятное, точно это могло помочь. У неё вокруг глаз тянулся красный ободок, который она постаралась затереть. Может, она не спала всю ночь? Может, дочитывала маме роман? — Понтус? — переспросила она негромко. — Главный герой фильма. Я встретил его на Санктхансхауген. — Педер подошёл на шаг ближе. — Правда? — Ещё б не правда! — Педер быстро замахал руками. — Ну и как он? — Я задумался и думал долго. Педер вот-вот готов был взвиться. — Понтус голодный, — ответил я. И мы втроём пошагали в Дворцовый парк. Там ничего не происходило. Король Улав был, правда, дома. Возможно, ему предписано не подходить сегодня к окнам. Эти мысли не оставляли меня. Сколько и чего требуется, чтобы мы поверили в то, что

видим? Понтус говорит по-шведски, оттого что ещё не упразднена уния со Швецией? И сколько мы на самом деле видим? А если над городом пролетит самолёт, то придётся всё переснимать? Я сформулировал так: сколько надо врать, пока люди не примут всё за чистую монету? — И я голодный, — сказал Педер. И неторопливо пошёл в сторону киоска у Национального театра. С лета он снова успел потолстеть. Его одышливое дыхание долетало даже до нас. Вивиан улыбнулась и собралась сказать что-то, но передумала. Мы сидели в листьях за самым широким деревом, чтобы гвардейцы не погнали. Вивиан молчала. Оттого, что я смотрел на неё так долго, она сделалась почти прозрачной, словно её кожа — вода, в которую я могу погрузиться. Мне невзначай вспомнилось, как она говорила, что родилась от аварии. — Что такое? — спросила Вивиан. — Ничего, — шепнул я и хотел было придвинуться поближе, но она посторонилась и достала что-то из сумки. И протянула это мне. «Голод» Гамсуна, этой сволочи. — Можешь взять. — А ты сама прочитала? — Вивиан кивнула. — Большое спасибо, — сказал я. Потом пролистнул несколько страниц. Никакого Понтуса. — И чем кончается? — спросил я. — Главный герой уезжает из

города. — Но он потом вернётся? — уточнил я. — Не знаю. Об этом ничего не говорится. — Звучит как очень грустная развязка, — сказал я. Вивиан посмотрела на меня: — Ты думаешь? — Но ответить на этот вопрос я не успел, потому что вернулся Педер, провизии он накупил, как на длительную осаду, не забыв помимо полного ассортимента шоколадной фабрики «Фрейя» прихватить мучного, а также мятных пастилок, основной пищи Вивиан, несмотря на это не полневшей. — Вероятность того, что случится одно из двух событий, есть вероятность одного события плюс вероятность другого, — сказал Педер и кинул на листву три плитки «Твиста». — Иначе говоря, что мы выбираем: голод или шоколад? — Мы выбрали последнее. И кто-то исподтишка сфотографировал нас, потому что несколько лет спустя я наткнулся в «Кто. Что. Где» на фотографию троих молодых людей, в которых память постепенно опознала нас, хотя выглядим мы так, будто балуемся отнюдь не шоколадом, а кое-чем запретным. Подпись под фотографией гласила: *С таких сейшнов началось превращение Дворцового парка в злачное наркоманское место, куда стекалась молодёжь, протестующая, выражаясь их языком, против пляски смерти*

вокруг пластмассового бога и золотого тельца. И смех и слёзы, — но я понял тогда с некоторой печалью, что видящее око само решает, что ему увидеть, оно крутит миром и всё, что ты видишь или увидишь, имеет и обратное действие.

Они появились под сумерки — Понтус, маэстро и вся братия, — в полусвете, который стоит и колеблется, с тяжёлым сердцем расставаясь с ещё одним днём месяца, вслед за коим туман с фьорда затопит улицы и сгладит расстояния и углы. Солнце оседало красной тенью между деревьев. Блестели листья, тихо елозившие вдоль по всему пригорку. Киношники стали табором за караулкой гвардейцев. Мы подошли поближе. На площадке царила беспорядочная суета. Все куда-то бежали. Возможно, их поджимало время. Малокровную даму в шубке напудрили, отчего она стала ещё бледнее. Понтус сел на скамейку, которую ему притащили. Она была неотличимо похожа на ту из Санктхансхауген. Зажгли свет. Специальная машинка стала сдувать листья в сторону Понтуса. Я загадал, чтобы разметало весь сценарий, а я бы подобрал его и вернул режиссёру, не забыв разложить по порядку. Я помахал Понтусу, привлекая его внимание, но он не заметил меня. Он что-то писал на клочке

бумаги, отгородясь от мира. Я сразу понял, что мечтаю быть похожим на него. Педер взял меня за руку. — Скажи ему, что твоя бабушка была известной актрисой, — прошептал он. — Понтусу? — Режиссёру, чучело! Это он всё решает. — Что решает? — Всё, Барнум! — Режиссёр махал руками с видом дирижёра, которому не удаётся добиться от оркестра слаженной игры. Наконец он сел на стул и скрестил руки. Я подумал о Пра, не оставшейся ни в одном фильме. — Актрисой была прабабушка, — шёпотом поправил я. — Всё одно. Скажи. — Педер пихнул меня в спину. Мне кажется, Вивиан тоже толкнула меня, несильно. Я набрал воздуха и пошёл к режиссёру. Когда я вырос перед ним, он взвился от злости. — Нет, мы когда-нибудь отделаемся от этих мальчишек? — завопил он. Я глубоко поклонился: — Моя прабабушка была известной актрисой в Дании. — Режиссёр посмотрел на меня одним глазом: — Вот оно что. Твоя бабушка была датской актрисой. А как её звали? — Я назвал имя Пра. Он помотал головой: — Не знаю, к сожалению. Это ещё до меня было. — Режиссёр снова углубился в свой сценарий. Я стоял как истукан: не знал, как мне быть, да и ходить по палой листве удовольствия мало. Так прошло какое-то время. Режиссёр под-

нял глаза от сценария и снял очки. — Сколько с тобой? — Нас трое, — ответил я. Режиссёр развёл руками: — Ну ладно. Раз от вас не отделаться, проще вас задействовать. — Он встал, подошёл к двум женщинам, одна из которых утром гримировала Понтуса, и поговорил с ними. А о том, что последовало за этим, я вынужден рассказывать чуть слышно, потому что год спустя, когда мы пришли в кинотеатр «Сага» на премьеру фильма, мы испытали безмерное разочарование, хуже того, к чувству, что нас надули, примешивалось вовсе нестерпимое ощущение позора, так что я прошепчу одними губами: нас взяли в статисты. Нарядили в старинную одежду, широкие штаны, которые щекотали бёдра, слишком большие ботинки и тужурки, застёгивающиеся на большее число пуговиц, чем у нас пальцев. — У тебя красивые кудри, — шепнула гримёрша и начесала их чуть пышнее, чем надо. Вивиан досталось длинное шуршащее платье, тяжёлое пальто и высокие сапожки. Из нас получилась та ещё компашка. Год оказался 1890-й. Город — Кристианией. А мы возвращались домой от тёти с дядей, живущих на улице Вергеланна, и шли через Дворцовый парк. — Вы братья с сестрой, — объяснил режиссёр. — Это странно немного, — возразил

Педер. — Почему странно? — Педер встал рядом со мной и притянул Вивиан поближе. — Мы разве похожи на одну семью? — Режиссёр тяжело вздохнул: — В прошлом веке семьи выглядели как раз так, — пояснил он. — А теперь марш к воде и играйте как ни в чём не бывало. Только не смейте поворачиваться! Понятно? — Мы кивнули. — Нам надо думать о чём-то специальном? — спросил я. Режиссёр долго не отводил от меня глаз. — Думать? — Да. Думать нам о чём? — Подошёл Понтус. — О Барнум, мы стали коллегами? — Похоже на то, — признался я. Понтус рассмеялся, показывая жёлтые зубы и ямочку на щеке. — Я подскажу, о чём вам надо думать. О бутербродах, которые вы съедите, когда вернётесь домой. С индейкой. Ветчиной. Мясом. Колбасой. Жирным майонезом. О шоколаде со сливками. — Режиссёр прервал его: — Довольно, Оскар. Для раздумий им хватит. — И вот мы уже снимаемся в кино. Мы спустились к чёрному пруду, по которому плавали утки, а у нас за спиной продолжились съёмки. Мы не оборачивались. И не сказали ни слова. Не знаю, о чём думали Педер с Вивиан, но лично я прикидывал, как бы я это описал. Во-первых, мы не были бы братьями с сестрой. Нет, лучше б мы были тремя друзьями, возвращавшимися с вече-

ринки или бала, точно — с бала, мы с Педером оба влюблены в Вивиан, и теперь в программе вечера окончательное выяснение отношений — он или я. Но тут Вивиан падает в пруд, в самом глубоком месте, плавать она не умеет, вода в такое время года ледяная, и её тянет под воду. Приходится нам с Педером на пару спасать её, мы бросаемся в воду и вытаскиваем её на берег. Но поздно. Она не вынесла пережитого и умирает на наших беспомощных и бесполезных руках. — Думаю, мы отошли уже достаточно далеко, — шепчет Педер, когда мы доходим аж до Парквейен. Тогда мы наконец оборачиваемся, режиссёр стоит как тень в круге прожектора и машет нам рукой. Мы бегом бросаемся назад. — Превосходно, — сказал он. — А не надо повторить? — предложил я. — Не надо. Всё отлично. — Мы переоделись в своё и получили по пять крон каждый. Нам заплатили! Мы пошли восвояси той же дорогой, к пруду, только теперь карманы нам оттягивал гонорар за участие в съёмках фильма, каждому по пятёрке, всего пятнадцать крон. — Это надо отпраздновать! — закричал Педер. — Давайте напьёмся! — Утки поднялись в воздух, взмахнув тяжёлыми, разбрызгивающими капли крыльями. — Давайте! — откликнулся я. И мы

действительно напились как сапожники, особенно Педер, не говоря уж обо мне. — Барнума развозит быстрее всех, потому что он со стопку ростом, — любил говорить Педер. На что я отвечал, что таким тушам всё как слону дробина. Потом мы ещё добавили. Мы пошли в «Марки Миила, покупка и продажа», где опустошили холодильник в задней комнате, там нашлось даже шампанское обмывать особо выдающиеся сделки, так что, возможно, отец с папой Педера выпили шампанского в тот день, когда письмо прадедушки перешло из рук в руки. По крайней мере, мы от шампанского не удержались. Наоборот, мы откупорили его с грохотом и стали пить пенистый, с щекочущими пузырьками сок прямо из горлышка в честь более чем знаменательного события: мы снялись в кино, в фильме «Голод». Так мы просидели остаток вечера, в тесной задней комнатёнке, в застоялом запахе старых писем, чокаясь шампанским, «Кампари» и колой. Вивиан не пьянеет, потому что она красавица, сказал бы Педер. А я вновь испытал то же состояние опьянения, пережитое мной на Ильярне, хотя впервые я прочувствовал хмельной дурман в маминой спальне: если там вдохнуть поглубже, на языке появляется приторный, тёмный вкус

«Малаги». Так мы коротали время. А затем меня повело, сперва медленно, но потом словно нажали кнопку «пуск», и что странно — большую часть меня затопила тень, но в другой части тут же зажёгся свет, причём я не догадывался о наличии этого закутка, а между тем в нём я был кум королю, здесь, пока не потухнет свет, эталоном меры служила линейка Барнума, тень моя была здесь длинная и ловкая, идеи рождались одна за другой, они толкались в голове, а я был повелителем. Я вытащил тетрадку и написал на чистой странице: «Откормка». Это был мой новый замысел, хотя прошло много лет, прежде чем я довёл его до ума и выиграл на киностудии «Норскфильм» большой конкурс сценариев. Но начал я тогда. — Что там у тебя? — спросил Педер. Я пролистал к началу, к лилипутскому городочку. — Написал вот, — ответил я. — Написал? Сам? — Я поднялся на ноги. Стоял я, правда, нетвёрдо, раскачивался на полу так же, как мысли шатались в моей голове. — Да, — выговорил я громко. — Я начал писать! — Педер захлопал в ладоши: — Читай, Барнум, читай своё произведение! — И я прочёл им начало моего самого первого в жизни сочинения, не считая школьных, но их я в расчёт не принимаю. Когда я закончил, Вивиан улыбну-

лась, но Педер хранил молчание, лишь откупорил ещё бутылку пива. — Здорово, — сказала Вивиан и одарила меня поцелуйчиком в щёку. Я попробовал удержать её, да не сумел. Неправда, что она не пьянеет потому, что такая красавица. Не набиралась допьяну она по той причине, что не пила. Что и способствовало, видимо, её красоте. — Какая ты красивая, — сказал я и плюхнулся на диван. — Не дури, — одёрнула меня Вивиан. Я посмотрел на неё и теперь только заметил, что она в парике, а лицо белое от слоя грима. — Правда! Сегодня я буду писать про тебя. — Педер спросил нетерпеливо: — А дальше что? История не может закончиться так, да? — Я задумался. Я чувствовал себя в ударе. Дело катилось как по маслу. Сам я был колесом. — Его сажают в тюрьму! — закричал я. — А там всё гигантское, в разы его больше, точно как в городочке всё было ему по пояс. Из самого высокого человека в мире он теперь превращается в самого мелкого. И только цветы, которые он спрятал, напоминают ему о городочке. — Я смолк, какое-то время было тихо. — Мне понравился ход с цветами, — прошептала Вивиан. Педер встал: — И в чём смысл? — Вивиан засмеялась: — Ты можешь сосчитать, сколько истрачено слов, — сказала она. Я тоже засмеялся и

подхватил: — Именно! Ты можешь посчитать все слова, которые я написал. Посмотрим, поймёшь ли ты их! — Педер подошёл ко мне поближе: — Барнум, а сам-то ты понимаешь? — Я помотал головой, довольно опрометчиво. — Понятия не имею, — признался я. До дома меня довёл Педер. Когда я пришёл в себя в следующий раз, я сидел в передней перед ходиками. Они не шли. Монеток в ящике под ними не было. Время оказалось на мели. Ещё передо мной стояла мама. В отличие от часов она была вся в движении, словно пыталась удержать равновесие с помощью одних пальцев. За ней, сбоку от оцепеневших часов, опиралась на палку Болетта, и мне показалось, что в нашей комнате завозился Фред. Кто-то засмеялся. Пустяки, это я сам. Мама заплакала. — Звонил директор школы, — сказала она. — Да что ты! И чего говорил? — Мама перестала плакать и схватилась за мой ранец. — Барнум, у тебя ещё есть шанс! Сказать нам правду! — Правду? — Чем ты сегодня занимался? Потому что школу ты прогулял! — Я задумался. Теперь я не рассекал плавно, а увязал и заваливался то на один бок, то на другой. Из отличного круглого колеса я превратился в погнутое, с восьмёркой, которое, кренясь и вылетая за флажки, катится по горке

полной ёжиков. — Я писал, — прошептал я тихо. — Писал? — Да. А потом начались съёмки. Ты что, не веришь мне? — На это мама рассердилась. Она открыла ранец и запустила в него свои дрожащие от ярости руки. — Директор устал от твоих бесконечных прогулов! — кричала она, роясь в моих вещах. — Тебя не допустят до экзаменов, если ты не исправишься! — Я пожал плечами. Они плохо слушались меня. — Плевать, — ответил я. Мама нависла надо мной, губы у неё дрожали. — Не корчи из себя Фреда! У тебя всё равно не получится, Барнум! — Но и у меня губы плясали не меньше, чем у неё. — Честное слово! — сказал я. Мама отступила на шаг. Она стояла, держа в одной руке «Голод», а в другой тетрадь с моим сценарием. На миг она оттаяла, но тут же снова смёрзлась, как лёд. Снова приникла ко мне. — Барнум, ты ещё и выпил? — Я кивнул. Это движение оказалось лишним. И я упал со стула в тень под часами. Сказать мне было нечего. Да и теперь что скажешь. Я просто-напросто сверзился, как куль, со стула, а то, что я рассказываю вам, известно мне с чужих слов. Лёжа в тот момент у маминых ног, как остановившееся время, я был сам себе повествованием, тем, о ком сочиняют истории. Я в курсе только, что мне был

прописан рецепт Болетты, унаследованный ею от Пра и переданный дальше маме: вино с хиной минус «Малага», так что в следующий раз я очнулся, слава Богу, в собственной кровати, и слух не подвёл меня: смеялся Фред, он лежал на своей кровати и гоготал, тихим и густым хохотом. — Ты чего смеёшься? — прошептал я. — Угадай. — Надо мной? — Ошибка. Я над своим младшим братом не смеюсь. — Спасибо, Фред. Спасибо. — Написал что-нибудь сегодня? — Написал. Полстраницы в тетради. — Молодец. — Фред не дал смеху вырваться наружу. Сердце прыгало, словно его завели идти быстрее, может, за эту ночь я вырос на несколько лет или умер и проснулся старым и умудрённым. — Ты напился? — спросил Фред. — Кажется, да, — сказал я. — Понравилось? — Я напрягся, вспоминая. — Пока это состояние продолжалось — да, — ответил я. И в ту же секунду испугался, потому что я не помнил, как пришёл домой, из моей жизни словно вырвали кусок от момента, как мы запираем «Марки Миила», до того, как я сижу перед часами в прихожей, — чёрная дыра, мой первый такой провал, но, как оказалось, не последний в длинной череде. Фред выпустил смех наружу. — Теперь у нас Барнум *дрянной мальчишка,* — сказал он. — Значит, ты

всё-таки смеёшься надо мной? — Фред уже не смеялся. — Не над тобой, а над Арнесеном. — С чего вдруг? — А ты послушай. Тихо, да? — Я прислушался. И правда, тихо. Такой тишины наш двор давно не помнил. Фру Арнесен не музицировала. — Спокойной ночи, Барнум. — Спал я без снов, а на следующее утро Фреда не застал, он уже ушёл. Мама сидела на краю кровати, гладила меня по волосам и улыбалась. — Так вы снялись в «Голоде»? — спросила она, уверившись, что я проснулся окончательно. Я чувствовал себя старым и дряхлым, но не очень мудрым. — Угу. Мы были статистами. Я с Вивиан и Педером. — Вот бы Пра порадовалась, — вздохнула мама. — Подумать только! — Да, представь себе. Нас снимали, как мы шли через Дворцовый парк. — Мама перестала гладить волосы, но руку не убрала. — Обещай мне больше никогда не напиваться. Ты ещё слишком мал. — Хорошо, мама. — Пьянство уродует сердце, Барнум. — И у Болетты сердце изуродовано? — уточнил я. Мама чувствительно дёрнула меня за волосы. — По-хорошему я должна была бы всыпать тебе по первое число. Засадить дома на месяц! — Понял, — шепнул я. — Но сперва расскажи мне, где вы добыли выпивку? — Мы взяли бутылку шампанского взаймы у папы

Педера. — Взаймы? — Мамино лицо придвинулось ближе. — У тебя болит голова? — Я не стал кривить душой: — Да, — признал я. Мама улыбнулась: — И поделом. Так и задумано, чтоб назавтра голова болела. — Да, это называется штрафная пеня, — сказал я. Мама долго смотрела на меня, и глаза у неё были не совсем хорошие. Потом она сходила за, спаси и сохрани, «Медицинским справочником норвежской семьи» и снова села на край кровати. — Барнум, послушай внимательно то, что я буду читать. — И вот что она прочитала мне, медленно, выразительно, чтоб я, не дай Господи, не пропустил ни единого словечка: *Алкоголизм. В состоянии опьянения возрастает самомнение и слабеет контроль речи и рассудка. При сильном опьянении мысли и чувства теряют отчётливость вплоть до полного исчезновения, мускулы перестают подчиняться опьянённому, и в конце концов он превращается в груду костей, плоти и крови, отданную на откуп случайности или чужому злому умыслу. Чрезвычайно сильное опьянение отравляет организм, приводя к параличу и полной потере рассудка. Последствием опьянения является плохое самочувствие, отвратительный вкус во рту, злобность, дурной настрой, подавленность,*

из-за чего многие испытывают потребность вновь пригубить хмельного. Частым исходом оказывается хронический алкоголизм. Организм изнашивается, возникает дрожание рук. Лицо обретает свекольно-красный цвет, особо раздувается нос. Мало-помалу утрачиваются все душевные страсти, остаётся лишь болезненная тяга к алкоголю, который под конец организм также перестаёт выносить, вслед за чем останки этой человеческой развалины слизывает смерть. Мама с силой захлопнула труд доктора Греве и повернулась к Болетте, застывшей в дверях. — Ну застращала мальчика, — сказала Болетта. Мама встала и поставила книгу на место в полке. — Барнум должен знать, что творит, когда напивается в стельку. — Послушать доктора Греве — смерть должна была слизать мои останки давным-давно! — Мама, перестань так говорить! — Я буду говорить, как хочу, и я скажу тебе, что этот Греве — брюзга, отравляющий другим радость. Эти праведные постники погубили людских душ больше, чем шампанское! — Барнум ещё несовершеннолетний, — пролепетала мама. — И я не хочу, чтобы он испортил себе жизнь. — Болетта засмеялась. — Чтоб испортить себе жизнь, одной выпивки маловато будет!

Небось ты и сама бы выпила шампанского, доведись тебе сыграть в кино?! — И в такой манере они продолжали переругиваться, словно я уже умер и ничего не слышу, хотя я лежал тут же, в кровати, и инспектировал себя: рассмотрел руки, они вроде не дрожали, понюхал своё дыхание, пощупал нос, не разнесло ли его уже, прислушался, не голоден ли я — нет, только пить хочется, но в самой-самой глубине души, к своему ужасу и тайному восторгу, я понимал, что не отказался бы сейчас от глотка шампанского, дабы воспарить и перенестись в иные эмпиреи. Другими словами, я был уже на стадии останков человеческой развалины. — Пер Оскарссон пешком дошёл от Стокгольма до Осло, — сообщил я громко. Мама с Болеттой синхронно обернулись. — Мне пришлось сказать директору, что у тебя грипп, — буркнула мама. — Так что сиди дома ещё два дня. Но учти, я вру и выгораживаю тебя в последний раз! Ты меня понял? — Да, мам. — Она подошла поближе, в её глазах расплылась нежданная мягкость. — Фред обещал взяться за ум. Тебе это тем более по силам, Барнум. — Взяться за ум? Это как? — Он найдёт работу. А в комнате ты никаких изменений не заметил? — Я не заметил ничего, кроме того, что Фред заправил свою кровать. Ма-

ма заулыбалась и ткнула в пол. — Граница стёрта наконец. — Теперь и я увидел. Фредовой черты не было. Комната не делилась больше надвое, и это обстоятельство, призванное обрадовать, встревожило меня, напугало чуть не до одури, поскольку я не знал, как его толковать, и Болетта почувствовала то же, потому отвернулась и закрыла глаза. Но мама видела в том, что Фред стёр белую черту, разделявшую нас, только доброе знамение. Что может помешать людям обманываться? На голубом глазу мы истолковываем любой знак в пользу угодного нам исхода, лукаво подшиваем знамение к своим аргументам, пока оно исподволь, но необратимо не выявит своего истинного гневливого и жестокосердного нрава. Мама улыбнулась: — Барнум, как ты хорошо написал о маленьком городочке. — Я рыпнулся, сел. — Ты прочитала? — Мы начали и не сумели оторваться, — пролепетала мама почти пристыжённо. — Но тебе надо развить историю дальше, до конца. — Болетта стукнула палкой по косяку, таким образом аплодируя: — Барнум, только проследи, чтобы конец был хороший, счастливый. А то грустных кругом пруд пруди. Тот, кто промышляет несчастливыми рассказами, и сам становится несчастным. — А я ведь пока так и

не знал, чем она кончится, моя история. — Я постараюсь, — прошептал я. Мама положила мою тетрадь на одеяло и открыла последнюю страницу. — А это что здесь? — спросила она. Я с трудом разбирал собственные каракули. Кривые, разномастные, набегавшие друг на дружку. Наверно, Фред также мучится со словами, они расползаются по странице, как чёрные таракашки и сбивают тебя с толку окончательно. — Откормка, — разобрал я не сразу. Мама воззрилась на меня, она была поражена. — Ну вот об этом, пожалуй, не стоит писать, — заявила она наконец. Я посмотрел на неё и решил, что отныне никто не прочитает того, что я пишу, пока я сам этого не захочу. — А что с Арнесеном? — спросил я. Мама уже шла к двери. — Арнесен? С ним что-то случилось?

Случилось с ним вот что. Во второй раз явились к фру Арнесен двое неизвестных, два горевестника. Только на этот раз ошибки не было. На руках у них была не визитная карточка, найденная в кармане куртки скелета в Нурмарке, а доказательства. Они поставили машину на улице Якоба Ола, что уже разогрело любопытство окружающих. Лица за занавесками. Приоткрытые на цепочку двери. Я в окне. Моросит дождь.

Протяжное «Тсс!» над Фагерборгом, и все в курсе происходящего. Они позвонили в дверь на третьем этаже. Открыла фру Арнесен. Увидела двоих мужчин и улыбнулась им. Может, она приняла их за людей, торгующих вразнос по домам. Или за Свидетелей Иеговы, возжелавших обратить её в истину, пара таких спасителей промышляла уже в нашем районе в начале года, они всегда ходили вместе и были похожи друг на дружку, как капли воды. Пришедшие мужчины тоже одного пошиба, но они не улыбаются. Взаправду ли она всё ещё ни о чём не догадывается или сохраняет маску, играя так хорошо, как только может лицедействовать человек за секунду до перехода в свободное падение? Мужчины не представляются. Они спрашивают только, дома ли её муж. Он дома. Сидит в дальней комнате и ждёт. Их. Он всегда знал, что этим кончится. Жена зовёт его. Он встаёт, затягивает узел галстука и думает, что это — последняя секунда его нормальной жизни. Выходит он уже в лёгкой уличной одежде. Он готов. Вскользь чмокает жену в щёку. Те двое в смущении опускают глаза. Она удерживает мужа. — В чём дело? — спрашивает она. Значит, правда, не в курсе. Это делает ей честь. Но не помогает. — Всё кончено, — только и говорит

он. — Кончено? О чём ты? — Ей предстоит узнать это совсем скоро. Может, смысл доходит до неё, уже когда она видит, как они рассаживаются в чёрной машине, которая стремительно трогается с места. Арнесен работал не только за совесть. Слишком глубоко запускал он руки в ящички под часами, жадничал, перебрал кредитов у времени, отъедал потихоньку от пожизненных рент клиентов и не сумел вовремя остановиться. Лучше б он гулял на стороне. С этим можно жить. И это можно замолчать. Хотя идеальнее всего, конечно, если б он умер, если б месиво из костей, палок и лыж, вытаявшее из-под снега между Мюлла и Кикют, в самом деле оказалось Арнесеном, почившим до того, как искушение откладывать часть денег в свой карман, в специально подшитый внутренний кармашек, одолело его. Тогда она, фру Арнесен, могла бы смотреть всем в глаза, ведь трагедия добавляет тебе благородства, горе возвышает, а вот позор разъедает и унижает, он портит твою кровь, убивает взгляд и сгибает спину. — Что там такое? — спросила мама. Она выросла у меня за спиной, положила руки мне на плечи, но пребывала, одна-единственная, в неведении. — Арнесена взяли за растрату, — прошептал я. — Что? — Его забрали

только что. — Мама кинулась к Болетте: — Арнесена арестовали! — захлёбывалась она. Болетта потыкала палкой в пол вокруг себя. — Я всегда говорила, что этот человек дрянного замеса. У него карманов больше нужного! — Мама выдвинула ящичек из-под часов. — Фру Арнесен жалко, — промямлила она. Болетта фыркнула: — Жалко? А они кого-нибудь жалели? Кроме себя, конечно. — Перестань, — попросила мама. — А ты перестань шикать на меня! Сама знаешь не хуже, что они въехали в квартиру Рахили, хотя ещё даже не было точно известно, что её нет в живых. — Мама опёрлась о часы. — Когда это было, — тихо выговорила она. — А какая разница? — спросила Болетта. Но тут позвонили в дверь. Пришли Педер с Вивиан. Мама стёрла слёзы и постаралась улыбнуться. — А вот и остальные актёры, — сказала она. Педер и Вивиан пожали всем руки и просто сочились любезностью, тем временем подмигивая мне так, словно у них по ячменю на каждом глазу, и я поспешил препроводить их в «детскую», где Вивиан села на кровать Фреда, а мне внезапно захотелось, чтобы они ушли ещё до его прихода. Педер тоже был не в лучшей форме и напоминал Короля-Солнце в самые тяжёлые времена. Но руки у него всё же

не дрожали. — Хорошо вчера посидели, — сказал он. — Да уж. Тот ещё вечерок, — откликнулся я. — Ты здорово наклюкался, — сказал Педер. — И ты не сильно отстал, — ответил я. Педер улыбнулся. — Тебя так развозит, потому что ты ростом со стопку, — объяснил он. Я запустил ему в ухо ластиком. — А тебе приходится выпивать вдвое больше, потому что таким тушам всё как слону дробина, — ответил я. И мы оба повернулись к Вивиан. Ей не надо было пить вообще, хоть она и родилась от аварии. Только вот мне хотелось, чтоб она встала с Фредовой кровати. — Барнум, тебе нужно лицо подрисовать, — сказала она. И, может быть, тогда-то, сказав эти слова, она и приняла решение, чем будет заниматься в жизни дальше, что станет гримёром, визажистом, и навело её на эту мысль моё лицо, затрапезное, серое после вчерашнего, хотя столь же вероятно, что она сделала свой выбор давно, когда впервые увидела изуродованное лицо родной матери. Педер захохотал и от души хлопнул меня по спине, так что я чуть не тюкнулся лбом об пол. — То, что ты читал нам, было классно. Чертовски здорово. — Спасибо, — прокашлял я, — большое спасибо. — Да пожалуйста. Не стоит благодарностей. — Я имел в виду, спасибо за то, что доставил

меня домой. — Педер замолк и зыркнул на Вивиан. — Ты уехал на трамвае, — прошелестела она тихо. — Ты не помнишь? — Теперь рассмеялся я: — Помню, конечно! Ты думаешь, я дурачок? — Хотя на самом деле ни намёка на воспоминания, как я гружусь в трамвай на Соллипласс, покупаю билет, выхожу на Майорстюен, поднимаюсь по Киркевейен, отпираю дверь и сажусь напротив неидущих часов, у меня не сохранилось. Они исчезли без следа. — Ну как мать, злится? — спросил Педер. Мы обернулись к дверям, где как раз возникла мама с угощением и тремя огромными стаканами молока. — Шампанского у меня, к сожалению, нет, — сказала она. Я опустил глаза, и лицо у меня сделалось точь-в-точь как описывал доктор Греве, свекольно-красное и отёкшее. Педер же как ни в чём не бывало вскочил и поклонился: — Спасибо, с нас вполне довольно вчерашнего шампанского. — Мама рассмеялась, конечно, поставила поднос на стол и деликатно удалилась, а Педер, как выяснилось, спился не до крайней стадии, во всяком случае, тягу к съестному он не утратил и смолотил все бутерброды и выхлебал три стакана молока, ненасытная прорва. Вивиан пересела на мою кровать, она прилегла на подушку, а я подумал, что отныне

никогда не смогу спать на ней без того, чтобы не вспомнить Вивиан. — Мама у тебя что надо, — сказала она. — Да, когда ведёт себя, как надо. — А правда, что она тоже пережила трагедию? — Я услышал, что она сказала. Но не понял. — Что ты имеешь в виду? — спросил я дырявым, расползающимся голосом. Педер закашлялся так истово, что вокруг его рта разлетелось облако мучных крошек. — Я вот что хотел сказать! — оглушительно загудел он. — Нам надо купить папаше бутылку. А то он ещё надуется. — Мы сложили полученные гонорары, пятнадцать крон, это как раз хватало на одну шипучку и одну марку, но Педер остался доволен: — Остальное займём у папаши, — сообщил он. И они откланялись ещё до прихода Фреда. Вивиан заскочила на дорожку в уборную. Мы с Педером ждали в прихожей. Мама с Болеттой сидели в гостиной и улыбались. Мы с Педером улыбались в ответ. — Вивиан влюбилась в тебя, — шепнул он. Я и бровью не повёл. — Да? — Точно. А почему часы не ходят? — Потому что того, кто их подзаводит, посадили за недостачу. — Стильно. — С чего ты взял? — Что взял, Барнум? — Что я ей нравлюсь? — Я понизил голос до предела. Язык не поворачивался говорить такие слова. — Я сосчитал, сколько раз она

на тебя посмотрела. — Сосчитал? — Да. Шестьдесят восемь раз, Барнум. — Я задумался. — Долго она возится, — сказал я, видимо, чрезвычайно громко, потому что мама посмотрела на меня, а Педер снова заулыбался и крикнул: — Спасибо за угощение! Было очень вкусно! — Я услышал, что Вивиан спустила воду. — Девчонки сидят в туалете полжизни, — сказал Педер. — Особенно Вивиан. — Теперь она мыла руки. Она ведь трогала ими разные места. Я вздохнул. — А на тебя она разве не смотрела? — Только лишь сорок два раза. Ты ведёшь, Барнум. — Наконец она управилась. И они ушли. Большинство уходит, не дождавшись Фреда. Потом я лёг на свою кровать, прижался щекой к тому месту, где лежала Вивиан, которого коснулись её волосы, белая кожа, ресницы, длинные и загибающиеся, мне их так хотелось потрогать, но я не строил иллюзий. Я просто лежал тихо-тихо, я был напуган и сбит с толку. Разве может кто-то полюбить меня, шпенделя с Фагерборга, самую мелкую малявку на все окрестности, стручка и маломерка? Или она взглянула на меня шестьдесят восемь раз, потому что сроду не видела такого идиотского зрелища? Это ближе к правде. В этом наверняка и дело. В меня не влюбляются. Из чувств я вызываю только жа-

лость, удивление и смех, в точности как пудели с модной стрижкой на собачьей площадке во Фрогнерпарке с их розовато-глянцевыми задницами под булавой стоящими хвостами, церемониальные зверушки, мимо которых ни одна почтенная дама не пройдёт без того, чтоб не наклониться, не погладить их и не посюсюкать. Вот и я что тот пудель. Даже страха не вызываю. И с чего вдруг Вивиан спросила про мамино несчастье? Нет, это невыносимо. Неужели действительно ни одно чувство не бывает чистым и непреложным? Попробовал почитать полученный от Вивиан роман, «Голод», но застопорился уже на титульном листе, где она написала *Барнуму от Вивиан,* я долго изучал эти буквы, искал в них глубокий подтекст, *Барнуму от Вивиан,* вдруг это тайное послание, намёк, «Б» в моём имени очень большое, а «В» в её походило на вазу, не знак ли это? Я раскрыл библию доктора Греве посмотреть, что он писал о голоде. Чувство голода коренится в сердце, говорилось у него. Взрослый человек, при наличии питьевой воды, может обходиться без пищи месяцами (искусство голодарей). Славно, вот и я таким стану, искусным голодарем с изголодавшимся сердцем. Когда пришёл Фред, я уже спал. Мне снилось, что Вивиан оборотной

стороной отцовой рулетки намерила во мне сто девяносто сантиметров и языком вылизала каждый-каждый золотой сантиметрик моего тела. — Кто сидел на моей кровати? — спросил Фред. Я проснулся. — Педер, — ответил я. Фред повернулся ко мне: — Педер? Этот жирдяй? — Я кивнул. — Вряд ли. Он бы сплющил матрас. — Может, Вивиан тогда, — прошептал я. — Она тоже заходила. — Фред полежал чуток, уставившись в потолок. Потом погасил свет. — Всё в порядке, Барнум. Просто интересно знать, кто пользовался твоей койкой, верно? — Ещё бы, — ответил я. Мне пришло на ум задать ему вопрос об упразднённой границе на полу, но пороху не хватило, и я спросил вместо того: — Устроился на работу? — На что Фред вдруг взвился, включил лампу, содрал с неё абажур и наклонился к самой лампочке. — Посмотри на меня, — приказал он. Всё во мне противилось. Но я взглянул. И зажмурился. — Ты думаешь, есть желающие взять меня на службу? Да? Ты в это веришь? — Не знаю, — пролепетал я. — Много сегодня написал? — сменил тему Фред. — Не особо. — Не особо, это в строчках сколько? — Нисколько. — Чёрт возьми, Барнум. История, оборванная на половине, дерьмо! — Но тут в разговор вступило пианино фру Арнесен,

прощальный концерт, Моцарт, и никто не открыл окно и не крикнул «Потише!», фру Арнесен позволено было спокойно завершить свою двадцатилетнюю гастроль, тёмное послезвучие повисло во мраке между помойкой и верёвками для сушки белья и медленно рассеялось. — Ты знал? — прошептал я. — Что знал, Барнум? — Что Арнесена арестуют? — Фред не ответил. Заулыбался. — Чем меньше знаешь тем меньше мучишься, — только и сказал он. — Ты думаешь? — Я знаю, — ответил Фред и сел в кровати, чего я не ожидал. — Кстати, когда премьера фильма? — Какого? — Фред усмехнулся: — Ты в последнее время снялся во многих фильмах? Идёшь нарасхват, как Бен Гур? — Не знаю, — шепнул я. — Не знаю, когда премьера. — Но ты рад! — Да, — ответил я Фреду. И с этих слов началось то, что я называю моим *межвременьем*, первая в моей жизни пауза пустопорожнего времяпрепровождения, но отнюдь не последняя, хотя у многих давно руки чешутся вырезать эти затяжки во времени, даром, что ли, дойдя до лишённой действия созерцательности, режиссёры-постановщики багровеют, продюсеры отправляют сценарий в ближайший мусорный бачок, а режиссёр просит быстренько, пока он на пять минут отлучится в

туалет, впивать в сцену злодея с ружьём или хоть травматичные комплексы несчастного детства, и все эти деятели душу готовы заложить, лишь бы получить вместо пустой сцены дать чёрта, хоть дьявола, они согласны на убийство, грохочущую музыку, чернуху, пусть даже рекламу, потому что ничто не пугает их больше, чем боязнь оказаться скучными. А всё из-за того, что фильмачи ещё не уяснили простую вещь: в тихих закоулках повествования вылёживаются сюжетные повороты, нарастающее беспокойство, которое медленно поднимается со дна и расходится как круги по воде. Образом этого пустопорожнего межвременья, моих мглистых воспоминаний, стала для меня разорённая квартира Арнесенов. Им теперь не по карману жить в ней, и мы стоим на другой стороне тротуара и смотрим, как грузчики выносят мебель, ковры, картины, вазы, лампы, мы киваем молча и понимающе, и мы думаем, все как один, свыше сил, думаем мы, воздаяние, мы же понимали, что здесь концы с концами не сходятся, мы видим, как напоследок срывают занавеску, голые окна, подоконники без цветов, и наконец, выносят пианино, двадцать лет назад его затащили наверх два человека, но сегодня четыре мужика спускают вниз чёрный,

блестящий, запертый инструмент, и по нашим рядам проходит вздох, мы едва не аплодируем, но ждём мы появления фру Арнесен и зябнем под голыми, мокрыми деревьями, я и женщины нашего околотка, пока не появляется мама и не утаскивает меня прочь, как проштрафившегося пацанёнка, она пригибает мою голову, я, наверно, никогда не видел её в таком белом бешенстве, а дома, за захлопнутой дверью, она приближает лицо совсем близко к моему, при этом держит меня, как клещ, а её кулак елозит но моему кадыку. — Фру Арнесен не совершила ничего плохого! — выдыхает она. — А ты стоишь там вместе с этими бабами и глумишься над нею! — Я не глумился, — шепчу я. — Для неё оскорбительно уже то, что ты торчишь там и пялишься на неё! Марш в свою комнату! — Она так толкнула меня, что я едва не повалился, я закрыл дверь, дрожь била меня, потому что в тот день в маме что-то надорвалось, я слышал, как она плакала за стеной, потом всё смолкло, а вечером она зашла ко мне, одетая в свой лучший наряд и пальто, которое носила не всякое воскресенье, она уже пришла в себя. Она взяла меня за руку и сказала: — Барнум, прости. — Я опустил глаза: — Я не должен был стоять там. — Мама вынула

расчёску, причесала меня. — Надень куртку. — Я воззрился на неё: — А куда мы идём? — К фру Арнесен, Барнум. Попрощаться.

Мы переходим двор и поднимаемся по чёрной лестнице. Дверь на третьем этаже приоткрыта. Табличку с их фамилией сняли, мы видим, что до неё здесь висела другая, от неё остались дырки от винтов. Мама звонит. Будь моя воля, я б сбежал, но мама держит меня крепко. Она старается не опускать улыбку. Дыхание клокочет у неё в груди, как тяжёлая волна. Никто не появляется. Мама звонит снова, потом до нас доходит, что звонок не работает. Лишь тишина сгущается. Мама толкает дверь. Я иду следом. Она останавливается и водит вокруг изумлёнными влажными глазами. Стены голые, в пятнах. Плиты нет. На стене подтёки жира и грязи. И ясные, их невозможно скрыть, следы присутствия других людей, живших здесь до Арнесенов. Тут мы замечаем её, фру Арнесен, она стоит посреди пустой гостиной, под люстрой, это единственное освещение в комнате, и на неё льётся жёлтый дрожащий свет. Фру Арнесен поворачивается в нашу сторону. Мама выпускает мою руку и подходит к ней. А я смотрю со стороны на этих двух женщин, битых жизнью гордячек, они рожали в одной палате, жили в

одном дворе и за все эти годы не обменялись и десятком слов, у каждой была своя жизнь, в своём подъезде, но в эту секунду в разорённой квартире, посреди голых стен моего воспоминания, их ничто не разделяет. — Вы ведь знали тех, кто жил здесь до нас, да? — спрашивает фру Арнесен. Мама кивает, слабо улыбается, снова кивает — Это была моя лучшая подруга. Рахиль. — А где она теперь? — Её и семью отправили в Равенсбрюк. — Мама вытягивает вперёд руку: — Она подарила мне кольцо. Попросила хранить его, пока она не вернётся. — Фру Арнесен тоже протягивает руку, они сцепляют их. — Мы зашли попрощаться, — говорит мама. — Спасибо. Это очень любезно. — Куда вы уезжаете? — В дом моих родителей. Далеко. За город. — Фру Арнесен выпускает мамину руку. — Мне будет не хватать вашей игры на пианино, — говорит мама. Фру Арнесен мотает головой: — Остальные будут счастливы наконец отдохнуть от неё. — И она быстро отворачивается и улыбается мне, словно только теперь обнаружив моё присутствие. — И ты пришёл? — спрашивает она. Я кланяюсь и слышу звук льющейся где-то воды, которую затем перекрывают. — Жаль, мы не сошлись ближе, — говорит мама. Фру Арнесен снова поднимает на

неё глаза: — Жаль. Теперь уж поздно. — Мама смутилась, и мне немедленно захотелось уйти. — Разве? — сказала мама потом. Фру Арнесен вдруг засмеялась: — А помните, как Фред не давал спать всему роддому? Господи, как же он орал! — Мама тоже смеётся: — Но когда мы приехали домой, он, к счастью, перестал. — Они умолкают, я отступаю на шаг. В квартире ещё кто-то есть. Какие-то люди. — Как ваш сын? — спрашивает мама. Фру Арнесен сцепляет руки на груди. — Ему дали отпуск на военной службе. Так что он хоть смог помочь мне. С переездом. — Вслед за чем из ванной выходит Аслак, мой, вернее, наш неутомимый мучитель, он в тёмно-зелёной униформе, с пальцев капает вода. Он не смотрит в нашу сторону и хочет пройти мимо. Но фру Арнесен останавливает его. — Узнаёшь Барнума? — спрашивает она. Аслак нехотя поворачивается в мою сторону: — Как не узнать. Он не очень изменился. — Он протягивает мне мокрую руку, мне приходится пожать её. — Соболезную, — шепчу я. Мама заливается краской и глядит на меня в ужасе, рука Аслака дёргается. — Это верно, — говорит он. — Мой отец тоже кончился. — Когда мы спускаемся обратно во двор, мама издаёт протяжный вздох. — Барнум, я понимаю, ты не это имел

в виду. Но надо следить за своими словами. — На дворе развиднелось. Темнота ясная и сочная. Небо сияет над нами как чёрный бархатный прямоугольник. — Я ещё побуду здесь, — шепчу я. Поколебавшись, мама через какое-то время уходит. А я сажусь на лестницу у помойки. Окна гаснут одно за другим, скоро горят лишь звёзды. Я вслушиваюсь. И слышу. Потому что верно сказал Фред тогда на кладбище, двор можно слушать, он полон историй, и они не сидят тихо по углам и не держат язык за зубами. Хотя они так и не поведали нам ни кто отец Фреда, ни кто надругался над нашей мамой, но этого не могут сказать даже верёвки чердачной сушилки и пыльный свет, падающий из окна в крыше чердака. У повествования ведь тоже есть свои тайны, которых оно не раскрывает, а подойдя к запретной теме, начинает вместо этого плести иной рассказ, например о том, что квартира Арнесенов после отъезда фру к своим родителям долго пустовала. Но под Новый год на двери появилась новая табличка из блестящей меди, ещё больше двух предыдущих. *Уле Арвид Банг* значилось на ней. Это домоуправ Банг вознёсся из тёмной комнаты в служебной квартирке в подворотне на третий этаж, в четыре комнаты с балконом и солнцем

по утрам, табличка стала ему наградой за долгую и беспорочную службу, он установил личный рекорд, его самый длинный и результативный тройной прыжок позволил ему наконец-то вскарабкаться на высшую ступень пьедестала, но поговаривали, что он чувствовал себя одиноко в этих хоромах, где, если утром на кухне за чашкой кофе задать себе вопрос, ответ вернётся не раньше ночи. Много-много лет спустя, когда Арнесен уже давно освободился, он как-то зашёл в свою старую квартиру, прочитал имя на табличке и позвонил. Но домоуправ Банг не открыл. Увидев в глазок, которым лично оснастил дверь, бледное, как месяц, лицо Арнесена, он на цыпочках прокрался в кухню и поплотнее задёрнул занавеску. Банга повысили до одиночества, Арнесена выпустили, правда, больше никуда не впустили, никогда, ибо он носил в себе заразу, тень позора. Рассказывают, что потом он ночевал в помойном ящике на набережной Кранкай, брился у питьевого фонтанчика на набережной Биспекай и зарабатывал восемь крон в день плюс тара тем, что покупал в «монополькe» за Ратушей спиртное для бомжей, которые не находят в себе сил сохранять трезвость, когда морозный туман с фьорда прилепляет язык к пересохшей гортани.

Я поднимаюсь домой и ложусь. Межвременье тянется своей чередой. Я мечтаю и сочиняю. Однажды утром выныриваю, и у меня день рождения. Мама стоит у кровати и поёт, Болетта палкой отбивает такт, а Фред притулился к косяку, на котором мой рост давно обходится старой зарубкой. Первый свёрток от мамы. Мне подарен эластичный галстук. Второй презент от Болетты — заколка для галстука. Третий подарок от мамы и Болетты вместе. Он тяжеленный. Это собрание сочинений Кнута Гамсуна. Обгорелые останки отмыты, разобраны по порядку, страница к странице и переплетены, восемнадцать восставших из пепла томов. — Спасибо огромное, — шепчу я. Очередь Фреда. Он наклоняется и вытягивает из-под кровати то, что там припрятал. До этого от Фреда подарков я не получал никогда. Мама разевает рот от изумления. Болетта живо распрямляет сгорбленную спину. Фред опускает на диван огромный пакет с выпирающими углами. — Поздравляю, — говорит он. Если честно, мне даже страшно открывать подарок. Я бы лучше повременил с этим. Потянул это мгновение, когда я ещё не ведаю, что внутри, значит, оно может быть чем угодно, даже тем, о чём я мечтаю. Фред купил мне подарок. *Брануму от Фреда* на-

писано на нём. Я делаю вид, что не вижу ошибки. Она не привлекла моего внимания. Бранум — это моё имя. Тем более граница на полу стёрта. Я ощупываю подарок. Он жёсткий. Если потрясти, что-то клацает. Маму гложет нетерпение. Фреду смешно. — Не пулемёт, не бойся, — говорит он. Я рву обёртку. Это пишущая машинка. Я зажмуриваюсь, открываю глаза снова. На одеяле по-прежнему лежит пишущая машинка, «Дипломат», с крышкой и тремя рядами букв. Болетта бухает палкой в стену. Мамино лицо затеняет мрачная тень подозрения, но радости у неё в душе больше, и мама аплодирует, чтобы не испортить такого момента. — Не хватает только, на чём писать, — шепчет она проникновенным почти голосом. Фред показывает рукой на стол, где уже высится стопка белой бумаги. — Ему не хватает только, *что* писать, — поправляет он. Я встаю. Хватаю Фреда за руку. — Я тоже подарю тебе самый-самый лучший подарок, — тараторю я. Фред смотрит на меня в недоумении: — Это какой? — Поскольку ответа я пока не знаю, то лишь шепчу: — Спасибо, Фред. — Он улыбается: — Лады, Барнум. — И уходит.

Я убираю в ящик галстук и заколку. Ставлю на полку, между «Медицинским справочником

норвежской семьи» и «Миром в картинках», восемнадцать томов Гамсуна и тем же вечером сажусь писать. Перепечатывать «Городочек» на машинке. Я беру текст из тетради. И кое-что добавляю. Дело идёт туго. Я несколько раз переписываю всё сначала. Теперь двор оглушает не пианино фру Арнесен, а стук моей машинки. У неё проблемы с двумя буквами: «Л» не печатается, а «о» стёрто и не отличается от «с». Это совершенная ерунда. Наверно, Фред купил её задёшево. Но когда я пишу, например, слово «любовь», выходит загадочное «юбсвь». Такого слова нет. Но и это тоже пустяки. Не так часто я пишу «любовь». Потом я чернильной ручкой вношу исправления. В конце концов получается полторы страницы текста. Можно сказать, две. «Городочек». Барнума Нильсена. Я сочинил две страницы. Сам. Никто, кроме меня, не мог бы написать этого. Раньше мне такая мысль в голову не приходила. Что ведь на самом деле копии того, что напечатано на этих двух листках, не существует нигде ни в мире, ни во Вселенной, текст есть здесь в единственном экземпляре, он родился в моей голове, вышел из-под моего пера: сорок восемь строк «Городочка» Барнума Нильсена, впервые явленных миру. Я должен прилечь перевести дух. Я как пьяный.

Меня штормит. Но тут вваливается Педер. А он не из тех чистоплюев, что сперва стучат, а потом дожидаются ответа. Он просто врывается в комнату как ураган, а за ним виднеется мама с тортом, крем которого закапывают все причитающиеся мне свечи. — Поздравляю! — вопит Педер. Останавливается, меняет курс, подходит к блестящей машинке и долго и одобрительно рассматривает её. — Брат подарил, — говорю я довольно кичливо. — Бляха-муха, — шепчет он. И поспешно оглядывается на маму: — Прошу простить мой лексикон. Я только желал выразить своё безмерное восхищение подарком, лучше которого мне не довелось увидеть за всю мою жизнь. — Мама улыбается: — Хочешь кусочек торта? — Кусочек? Педер Миил никогда не отказывается и от целого торта. — И начинается празднование моего дня рождения. Я задуваю свечи. Трюк удаётся мне с третьей попытки. Мама оставляет нас с Педером наедине. Мы едим торт, но мне не очень хочется, и Педер обставляет меня на пять кусков. — Уже опробовал? — спрашивает он. Я показываю ему напечатанные страницы. Педер долго и одобрительно рассматривает и их тоже, потом улыбается и кивает. Затем вспоминает всё-таки, что тоже принёс подарок, и достаёт

из кармана квадратную штучку. Я открываю её. Это красная металлическая коробочка. Я спрашиваю, что в ней. А Педер отвечает: — Нажимай, чучело, — и показывает на кнопку. Я жму. В ответ коробочка разражается хохотом. То есть сперва она хмыкает, хмыканье делается громче, неприличнее, переходит во всхлипы, а они в хохот, и мы с Педером хохочем тоже, потому что этот механический смех страшно заразительный, мы чуть не валимся с ног от смеха, мы поддерживаем друг дружку, чтоб не упасть, так разбирает нас смех над смехом, и это продолжается две минуты ровно, а потом коробочка замолкает, мы вытираем слёзы и едва можем членораздельно разговаривать. — Самое похожее, что я нашёл, — пыхтит Педер. — Похожее на что? — Педер растирает своё пузо. — Раз в твоём чемодане не оказалось аплодисментов. — На секунду у меня темнеет в глазах. — А Вивиан не смогла прийти? — спрашиваю я и гляжу совсем в другую сторону. Педер снова нажимает на кнопочку. Коробок хохочет. А когда смех в нём кончается, в дверях стоит мама заткнувши уши. — Господи! Над чем это вы так хохочете? — Педер вскакивает. — Я смеюсь над Барнумом, а Барнум смеётся надо мной. Но он хохочет громче. — Мама качает

головой, посмеивается, уносит поднос с пустым блюдом и обгоревшими свечками. Педер стоит столбом. — Эврика! — заявляет он наконец — Ты будешь писать за меня сочинения, а я решать за тебя математику. — Вивиан не смогла прийти? — повторяю я свой вопрос. — Нет, она с матерью, дежурит. Бляха-муха, — шепчет Педер. — Муха-бляха, — откликаюсь я. Убирая машинку в чехол, я обнаруживаю ещё один подарок, спрятанный там Фредом. Пачка презервативов, двенадцать штук. Педер долго и одобрительно смотрит на меня. — Можно один мне? — говорит он. — А зачем тебе? — Педер стонет: — Тебе нужно двенадцать штук?! — Я отдаю ему один, а остальные прячу в левую туфлю Оскара Матисенса, в глубину шкафа, в правую складываю «Городочек» и тем же вечером опробую один; раскочегариваясь, я представляю себе то и это, а после не знаю, куда его девать. И выкидываю в окно. У домоуправа Банга в подворотне светло. Теперь двору будет что обсудить, но я нем как рыба. Педер решает за меня математику, я пишу его сочинения. Нам ставят пятёрки. Я читаю «Голод». Фред приходит домой. Он раздевается, стоя в темноте у кровати. Я разглядываю тощее длинное тело. Он стоит спиной ко мне. Проведи я рукой по его плечу

и дальше, по гладкой, голой щеке, всё ещё тёмно-лиловой, почти чёрной, и отёчной, как бы он отреагировал? Не знаю. Но заснуть не могу. Наши поступки лишь призрачное подобие всех тех дел, что мы могли бы совершить. — А почему ты не рассказывал, что Вивиан тоже родилась в машине? — спрашивает он внезапно.

Однажды по возвращении из школы меня ждёт дома письмо. Маму разбирает нетерпение так, что она едва может подождать ещё секунду, и я знаю наверное, что она рассматривала письмо на свет, пытаясь прочесть, но у неё ничего не вышло, потому что конверт толстый и непрозрачный. Болетта тоже сама не своя. Эта наверняка предлагала отпарить конверт над чайником, заправившись «Малагой». — Что ж ты не открываешь письмо? — вскрикивает мама. Я поворачиваюсь к ним спиной и медленно надрываю конверт. Читаю. Болетта долдонит палкой в пол. Мама заглядывает мне через плечо. — Барнум, ну что там? — шепчет она. — Я победил, — отвечаю ей. Я удивлён и озадачен. Мама обнимает меня. — Ну, что я говорила! — кричит она. Как выясняется, мама отправила «Городочек» на столичный конкурс школьных сочинений. Я не знаю, злиться мне теперь или радоваться, вероятно, я одновре-

менно сердит и доволен, горд и смущён: раз мама отыскала в правой туфле Оскара Матисенса текст и у меня за спиной распорядилась им по своему разумению, она, вероятно, нашла и презервативы в левой туфле тоже. Мама вырывает у меня из рук письмо и зачитывает его вслух. *Дорогой Барнум Нильсен. Мы рады сообщить, что твоё сочинение «Городочек» признано лучшим в твоей возрастной группе в Общегородском конкурсе сочинений школьников Осло. Награды вручаются в здании Ратуши в пятницу, двенадцатого. Очень надеемся, что ты сможешь прийти на церемонию.* Мама целует меня в щёку, но времени у неё в обрез: — Бог мой, это уже через четыре дня! — Болетта успевает, несмотря на запарку, налить два бокала «Малаги». Я убегаю в свою комнату. Мне надо прийти в себя. Слава не за горами. Не знаю точно почему, но я сижу на подоконнике и реву, наверно, от радости, счастье ещё, что Фред меня таким не видит. Но когда я оборачиваюсь, он, как назло, стоит в дверях. Я отвожу глаза. Фред падает на кровать. — Уже скоро, — говорит он. — Что скоро, Фред? — Он смотрит на меня, улыбается и молчит, улыбка некрасивая, губы егозят по зубам. — Ты помнишь, Барнум, что ты обещал? — Помню. — Что ты никому не ска-

жешь? — Я не скажу. — Братья ведь не стучат друг на друга? — Нет, Фред. Конечно нет. — Вдруг он вскакивает: — Кстати, Барнум. Поздравляю! Я тобой горжусь! — Если б не машинка, — мямлю я. — Барнум, не принижай себя больше, чем ты есть.

А вечером я иду к Вивиан. В подъезде промозгло. Я звоню. Жду. Слышу шаги за дверью. Заглядываю в замочную скважину. У матери прозвище Вуаль. После аварии она всегда закрывает лицо вуалью. Как вечная вдова, в трауре по красоте, которую она потеряла на повороте к Холменколлене. Она безобразна и одинока. Ею стращают малышей. Если ты не будешь слушаться, придёт Вуаль и утащит тебя, говорят им. Или если ты будешь плохо кушать. Не делать уроки, не ложиться вовремя спать и не мыть руки. А ведь что пугает сильнее всего? То, чего ты не видишь, а лишь боишься, что оно где-то здесь, затаилось под кроватью, в углу, в шкафу, в темноте, под вуалью, из незнания и разрастаются наши самые жуткие страхи. В представлениях о том, как она безобразна, людская фантазия неуёмна. Они сочиняют то, чего никогда не видели: лицо без черт, провал, развороченная дыра, нечеловеческое и неузнаваемое. Но стоит нам увидеть то,

чего мы боимся, посмотреть ему в глаза, как страх отступает. Дверь открывает Вивиан. — Угадай! — кричу я. Она задумывается, искоса шаря по мне неуверенным взглядом. — Ты вырос на восемь сантиметров? — Я мотаю головой: — А что, похоже? — Она перебирает дальше: — Педер отощал на три кило? — Я снова мотаю головой. — Я стал писателем! — ору я. Наконец она впускает меня в квартиру, и мы усаживаемся в её комнате, под фотографией на стене, о которой Вивиан лишь много лет спустя рассказала, что это никакая не Лорен Бэколл, а мама в юности, до аварии, в своей безупречной красоте. Мы садимся, и я выпаливаю ей новости. Мне едва удаётся членить поток на слова. Я рассказываю, как мама тишком отправила на общегородской конкурс моё сочинение, и оно оказалось самым лучшим среди учеников моего года, и эта победа примерно равнозначна Нобелевской премии, во всяком случае, чествование и вручение мэром Осло ценных подарков, скорей всего кругосветного путешествия на двоих, картины Мунка или бесплатного годового проездного на трамвай, состоится в Ратуше, так что если Вивиан хочет прийти, я готов подержать для неё место. Я кладу голову ей на колени. — Ты разговаривала с Фредом? — шепчу я. — С чего ты

спрашиваешь? — Я не отвечаю. Лежу, зарывшись лицом в её колени, она гладит меня по затылку, я расстёгиваю верхнюю пуговицу на её брюках и ещё одну, я вижу резинку её трусиков и различаю резкий, дурманящий дух, она зашевелилась и перестала меня гладить, я задержал дыхание и лизнул её кожу, а потом открыл ещё одну пуговичку, но тут Вивиан вскочила, а я ухнул на пол и не смею поднять на неё глаз, не знаю, как мне теперь встать и не придётся ли проваляться здесь на полу до скончания века. — С мамой поздороваешься? — спрашивает Вивиан, протягивая мне руку и помогая подняться. — Прости, — шепчу я. Вивиан прикрывает глаза и целует меня в губы, а у неё они мягкие и подвижные, словно бы посреди поцелуя её повело на смех. И я иду за ней через всю квартиру, каждая следующая комната темнее предыдущей, мне не хочется, но я иду, выбора мне не оставили, наконец мы приходим к маминой спальне, Вивиан стучит, открывает дверь и пропускает меня вперёд. Сперва я не вижу никакой мамы. Но потом обнаруживаю её. На стуле в тени у окна, закрытого тяжёлыми длинными занавесками. Я замираю. Она пока не сделала ни одного движения. В комнате висит застарелая затхлость. Вивиан встаёт рядом со

мной. Чуть слышно захлопывается дверь. Меня посещает странное чувство, что всё это неспроста и глубинный смысл происходящего мне непонятен, что Вивиан устраивает мне проверку, хочет посмотреть, выдержу ли я. — Это Барнум, — говорит Вивиан. Я делаю шаг к окну и кланяюсь. Мама медленно разворачивается ко мне: — Так это ты Барнум? — У неё детский голосок, тоненький, будто разговаривает девочка. — Я, — шепчу я. Без предупреждения мама откидывает вуаль, но лица я не вижу, его будто нет, к моей радости, вящей радости, но и к разочарованию, мне б хотелось увидеть лицо, которого нет. — Барнум завоевал первое место в городском конкурсе школьных сочинений, — объявляет Вивиан. Мама подаётся вперёд на стуле. — Поздравляю тебя, Барнум, — говорит она. Я склоняюсь в ещё более глубоком поклоне, лишь бы не видеть её лица, и бормочу: — Спасибо! — Она кладёт руку мне на плечо. Оно дрожит. И мама чувствует мою дрожь, она крепко сжимает пальцы. — Ты, видно, хороший мальчик, Барнум, — говорит она. Я ловлю звучание красивого, но разжижённого голоса, единственного, что пощадила в ней авария, что осталось в маме от той прекрасной девушки из «шевроле» и продолжает раздаваться

из исковерканного тела. Мама не отпускает меня. Я стою. — У тебя прекрасные кудри, — говорит она. Она меня видит, а у меня не получается рассмотреть её. Потом вуаль падает на лицо, мама отдёргивает руку, аудиенция окончена, я прошёл посвящение, мне любопытно, сколько парней перебывало здесь до меня или я первый и выдержал ли я испытание, но Вивиан тянет меня прочь, уже вернулся домой папа, он сидит в гостиной и дремлет, но я думаю, мой будущий тесть притворяется, потому что один его глаз открыт почти полностью, он исподтишка рассматривает меня, и кажется, увиденное его не вдохновляет. Даже мне понятно, что пора уходить. — Я вот что хотел спросить, — шепчу я. — Мои кудри. — Вивиан морщит лоб: — Что с ними? — Я хотел бы отделаться от них к церемонии. — Вивиан пару раз дёргает меня за волосы. — Их можно или отрезать… — Или? — спрашиваю я уже чуть слышно. Вивиан расплывается в улыбке. И я получаю напрокат сеточку для волос и заколки и сплю в них трое суток, радуясь, что Фреда нет. Проснувшись на четвёртое утро, я обнаруживаю, что волосы мои стали другими, прямыми, словно кто-то снял с моей головы стружку. Я срываю сеточку, вынимаю заколки и бегу в ванную. Из зеркала на

меня смотрит чужой человек. Я на седьмом небе от счастья! Сперва. Сегодня в Ратуше мне вручат премию, и меня не узнать. На себя я больше не похож. Не исключено, с меня потребуют взрослый билет в трамвае, и уж точно, что пожилые дамы не полезут ерошить мои волосы. Они облипают черепушку один в один, ни прядки не выбивается. Но чем больше я смотрю, тем меньше нравится мне зрелище. Что-то не так. В чём проблема, я понимаю не сразу, поняв, едва не теряю сознание, но в эту секунду в дверях появляется мама и смотрит на меня в тревоге. — Ты не заболел, Барнум? — Нет, — бормочу я, нащупывая зубную щётку. Она поворачивает меня к себе: — Не ври. Что случилось? — Мам, просто я волнуюсь. — Она снова подходит ко мне поближе. — Барнум, ты не стал, часом, ниже? — Да, — рыдаю я. В ванную вдвигается Болетта. — Он расчесал свои дивные кудри, — вздыхает она. — Кудри! — в ужасе вскрикивает мама. Потерянные кудри унесли с собой самое малое восемь сантиметров роста, и я выгляжу как лягушонок. — Сделайте мне кудри обратно! — рыдаю теперь я. И остаток дня мама накручивает мне кудри по новой, прядь за прядью, это сизифов труд, потому что стоит ей убрать руки, волосы немедля опадают, словно это не

волосы вовсе, а растущее прямо из головы резиновое покрытие, к тому же вулканизированное при градусах так ста семидесяти, и маме приходится начинать всё снова-здорово, но когда я наконец вступаю в парадный зал Ратуши, блистая блейзером, синим галстуком с заколкой и тесными туфлями, в которые нынче всунуты не презервативы и не рукопись, а только мои собственные потные плоскостопые ласты, на голове у меня топорщится во все стороны великолепная кудла, так что на том знаменитом снимке, сделанном фотографом вечернего выпуска «Афтенпостен», где лично господин мэр вручает мне глянцевый диплом с гербом Осло и чек на пятьдесят крон, я похож на замурзанное издание Эйнштейна для бедных, а под фотографией, которую мама оправила в рамку и повесила в гостиной над камином, написано *Барнум Нильсен — юный гений.* И вот когда с мэра, одипломившего всю очередь взволнованных лауреатов, сошло уже семь потов, мамаши всплакнули и утёрли слёзы, Педер с Вивиан стоя проскандировали «Бар-нум! Бар-нум!», оглушительно хлопая в ладоши, когда всё это кончилось, ко мне протолкался, не поверите, Дитлев с блокнотом наперевес, и мы вышли с ним во двор спокойно поговорить. — Так, так, — сказал

Дитлев. — А ты с собой брата не привёл? Или он всё полёживает в нокдауне? — Но не успеваю я открыть рта, как откуда ни возьмись — Педер, уже трясёт журналисту руку. — Педер Миил, — представляется он. — Барнум Нильсен общается с прессой только в моём присутствии. — Так, так, — невесело вздыхает Дитлев и раскуривает сигарету. — Это мы уже проходили. Твоя странная история — о чём она? — Я задумываюсь. Вивиан стоит с мамой и Болеттой у выхода и машет мне. Я отвечаю тем же. Кругом всё течёт, журчит, льётся и капает, дотаивает последний снег, и солнце отражается в лужах, словно весь город засыпан осколками стекла. Пасха уже прошла. — О том, что любой человек достаточно велик, — говорит Педер. Дитлев поворачивается к нему, он сердит. — Кто победил в конкурсе: ты или Барнум? — Педер указывает на меня. — О том, что любой человек велик достаточно, — говорю я. — Надо только распробовать это. — Дитлев дописывает фразу и переворачивает страницу. — У тебя есть литературный идеал, Барнум? — Гамсун, пожалуй, — отвечаю я. — А что в Гамсуне тебе нравится? — Я снова задумываюсь: — Он хоть и был сволочь, но писал хорошо, — отвечаю я наконец. Дитлев строчит как заведённый. —

Отлично, Барнум. Не в бровь, а в глаз. Сволочью Гамсун был. — Педер театрально закатывает глаза: — Барнума вдохновлял и его родной дедушка, — заявляет он. Дитлев подносит ручку ко рту: — Твой дед? Он тоже был писателем? — Он писал письма. К сожалению, я не могу рассказывать об этом, — отвечаю я. — Почему? Не можешь *почему,* Барнум? — Потому что в письмах он велел нам не якшаться с газетными щелкопёрами. — Педер вклинивается в ту же секунду: — Хочу упомянуть, что Барнум Нильсен сыграл роль второго плана в грандиозном фильме «Голод». — Дитлев убирает ручку в нагрудный карман и захлопывает блокнот. — От щелкопёра за комментарии спасибо, — говорит он. Надо понимать, интервью окончено, и мы идём в «Гранд», так решила мама, поскольку так же поступал в своё время Ибсен, и мы — мама с Болеттой, Педер с Вивиан и я — садимся за тот же столик, что и на отцовых поминках. Мы едим бутерброды с креветками, щедро промазанные майонезом, и с подложенным листом салата, а мимо идут люди, на них голубые рубашки и белые блузки, чтобы подчеркнуть здоровый пасхальный загар лица. Мы ждём Фреда. — Он сказал, что придёт в Ратушу, — говорит мама, и голос её мрачнеет на секунду. Я

отворачиваюсь. — Не беда, — шепчу я. И стараюсь выглядеть разочарованным, но стоически сносящим своё разочарование братом-дипломантом. Мама прижимает мою руку своей, я стараюсь высвободиться. — Он придёт, вот увидишь. — Болетта поднимает стакан пива, хоть она и не пьёт его теперь, поскольку организм её больше пива не принимает, но сегодня исключительный день, не похожий ни на что, поэтому обычные правила не действуют, и она поднимает стакан за меня. Стакан Вивиановой колы гремит, как ледник. Нам с Педером одновременно приспичило сбегать в туалет. Мы ныряем в мужскую комнату и запираемся в кабинке, хотя писать никто из нас не хочет. У Педера набиты чем-то оба кармана твидового пиджака, так что он едва сходится у него на животе. Это две бутылочки рома. Мы откручиваем крышки. Выпиваем. Закашливаемся. В голове пожар. — Барнум, я тобой горжусь! — Не трепись. — Педер обнимает меня: — Да нет же! Я правда чертовски горжусь тобой, Барнум. — У него в запасе ещё бутылочка, её мы делим пополам, и я подозреваю, что с этого кутежа в кабинке мужского туалета отеля «Гранд» и ведёт своё начало моё мастерство профессионального опустошителя мини-баров, эти игрушечные бу-

тылочки-невелички идеально подходят под мой размер, к тому же их легко спрятать, они помещаются в самом маленьком кармашке, варежке, даже ботинке, я проверял. — Я её видел, — шепчу я. — Кого? — Маму Вивиан. — Ты её видел? — Не то чтобы отчётливо. В спальне у неё темно. По крайней мере, разговаривал. — Педер качает головой: — Ну, что я говорил?! Вивиан в тебя втюрилась. — Ты думаешь? — Думаешь? Я знаю! Это элементарная математика. — Мы вышли из кабинки, вымыли рот с мылом, и достопочтенные господа, обретавшиеся в здешней мужской комнате, когда им удавалось урвать покоя «между битвами», сморщили свои пористые винного цветы носы, чуть не на соплях держащиеся на их испещрённых коричневыми бляшками лицах, но когда мы вернулись за стол, Фреда там всё ещё не было. Я, конечно, пристально посмотрел на Вивиан, и она улыбнулась мне в своей манере, гладко: Вивиан вообще производит впечатление воплощённой приглаженности, но это лишь видимость, мама же не менее двух раз прошлась по нам с Педером проницательнейшим взглядом, мы отведали кофе с безешками, а потом пешком прогулялись по вечерней теплыни до дома, где Фреда не оказалось тоже. Мама встревожилась

сильнее. Хорошее настроение испарилось. Болетта стала жаловаться, что у неё разболелась голова. — Не надо было пиво пить! — огрызнулась мама. — Чушь! Ты забыла, сколько лет я проработала на Телеграфе? У меня сводит голову от одного вида натянутых между столбами проводов! — Мама отказалась ввязываться в этот спор, а ушла в гостиную и принялась ждать. Потянулось мамино ожидание и Фредово отсутствие. На следующий день мне пришлось в актовом зале вслух прочесть «Городочек» всей школе, мне кажется, мало кто понял, о чём речь, но на всякий случай они стали сторониться меня, и теперь я коротал перемены наедине с собою возле фонтанчика, что делало моё одиночество в школе зримым, коротким и очерченным, как тень. Мне это до лампочки. Но как хорошо, что мне нет до этого дела! У меня есть Педер. И Вивиан. А главное — пишущая машинка! Мне с лихвой хватает. В вечернем выпуске «Афтенпостен» в тот же день вышло интервью со мной и тот безумный снимок, оригинал которого мама заказала в редакции, обрамила и повесила над зелёным камином, где он и пребывает по сию пору. Юный гений. Что рассказал нам победитель конкурса Барнум Нильсен. Но от Фреда ни слуху ни духу.

Безвестность затягивается, идёт вторая неделя, так надолго он пропал впервые, и однажды, когда я сижу и тружусь над тем, чему предстоит стать вступительными фразами «Откормки», ко мне без стука заходит мама, она начинает переворачивать содержимое его ящиков, инспектирует шкаф, заглядывает под кровать, убеждается, что всё на месте, он ничего не забрал с собой, и, делать нечего, подсаживается ко мне. Я выдёргиваю лист из каретки и прячу его в стол. — Барнум, — начинает мама. — Нам ни к чему иметь друг от друга тайны. Ты согласен? — Я не отвечаю. Предполагая в её словах подвох, я считаю лучшим козырем молчание. У мамы бледный, невыспавшийся вид. — Тем более все твои тайны шиты белыми нитками, — продолжает она, поняв, что мой ответ заставит себя ждать. — Думаешь, я не нашла презервативы в туфлях? — На это отвечать мне тем более не след, и мы замолкаем оба. Мама посмеивается. — Барнум, Барнум, — говорит она. — Небось Фред тебе их удружил? — У меня рот на замке. Но уже понятно, что я мог бы достойно выдержать допросы. Мама вздохнула и провела рукой по кудрям, которые успели отрасти со дня церемонии и закурчавились выше прежнего. — Фред тебе что-нибудь говорил? —

шепчет она. — О том, куда собирается? — Я сразу вспомнил своё обещание молчать и его слова о том, что братья друг на дружку не стучат. — Не знаю, — выдохнул я одними губами, точно нас подслушивали. — Барнум, посмотри мне в глаза! Ты же не врёшь родной матери? — Я посмотрел ей в глаза. Это было не самое очаровательное зрелище. Казалось, над мешками с тенями висят на ниточках две пуговки глаз. Сказать, что Фред, возможно, отправился на поиски гренландского письма, я не мог. Вместо этого я высказал другое предположение: — Может, он у Вилли? — Мама прищурилась: — Вилли? Это тот дурацкий тренер по боксу? — Я кивнул: — Прежде он иногда пропадал у него. — Мама нашла в справочнике телефон и адрес и тем же вечером отправилась туда на такси, она не стала предварять визит звонком, чтоб не спугнуть Фреда, если он, конечно, отсиживался там. Мы с Болеттой ждали дома, в гостиной. Головная боль у неё прошла, но было такое чувство, что и сама Болетта почти вся вышла, она убывала грамм за граммом, возможно, так и умирают — усыхают, как сочный фрукт, который вялился на солнцепёке, вялился, пока не осталась от него лишь кожура да кости. Я ещё подумал, не взять ли мне что из этого в

мой рассказ про откормку. Болетта повернулась ко мне, улыбнулась: — Какой-то ты задумчивый. Или грустный? — Ты веришь, что ничего не случилось? — спросил я. — Барнум, я уже слишком стара, чтоб верить хоть во что. Я не поверю, пока не буду знать точно. — Она пила чай, медленно помешивала в нём ложечкой. — Это не вера. Это знание уже, — сказал я. Болетта вздохнула: — Знаю я одно — нет во Фреде покоя. Ему б всё скитаться. — Я придвинулся ближе. Сладкий запах чая был мне приятен. И мне нравилось, что Болетта в моём распоряжении. — Скитается? Рыщет по улицам? Тогда б я его встретил! — Если он и рыщет, то очень далеко отсюда. И никто не в силах его остановить. — А мы? — Болетта покачала головой: — Он ночная душа, Барнум. — Она допила остатки чая, а на дне обнажилась приличная коричневая горка, она вычерпала её ложкой. — А я? — тихо спросил я. — Нет, Барнум. Ты нет. — Я ушёл к себе. Значит, я не из ночных призраков. Потому и остался дома. Мне написано на роду бегство другого рода. У меня есть пишущая машинка, коробочка для выжимания смеха и рулетка на две несовпадающие стороны. Я выдюжу. У меня стоит в памяти не история даже, картинка, она выпала из повествования, как фотография, вложенная

в книжку, сам я не видел её, но мне описали, а теперь я пересказываю её дальше вам: Сибирь; женщина, мать, стоит на песчаном пляже, всматривается в море, лузгает семечки, их у неё полна горсть, и так каждый день. Пришлый человек спрашивает у неё, на что она смотрит. — Сына выглядываю, — отвечает она. — Припозднился что-то. — Долго нет? — уточняет пришлый. — Восемнадцать лет, — отвечает мать, жуя семечки и глядя на море.

Мама вернулась поздно. Я бегом примчался в гостиную. Она уже сидела на диване. Что-то не то было с ней. Не то. Я впервые видел её в таком расположении духа. Мама не сняла пальто, а свою маленькую сумочку прижимает к груди двумя руками, словно цепляясь за неё, чтоб не грохнуться. При этом она улыбается, довольно криво, и вот эта её улыбка никак не вяжется с остальным обликом. Болетта жаждет подробностей, но молчит и даже палкой не стучит, тоже понимает, что с матерью нелады, хотя я вижу, что сухие глаза Болетты расширились от удивления и, в не меньшей степени, страха. Наконец мама заговаривает: — Фред ушёл в море, — говорит она. Болетта садится. — В море? Ты уверена? — Мама разговаривает шёпотом: — Вилли так сказал.

Вилли Халворсен. — Болетта шумно вздыхает. — Можно ли ему верить? Какому-то тренеру по боксу? — Можно, — кивает мама, — он сам и помогал Фреду наняться на судно. — Мама смерила меня взглядом, но не сказала ничего. Болетта помогает ей снять пальто, её сомнения не рассеялись. — Как ты можешь полагаться на его слова? Этот Вилли Халворсен не сумел хотя бы научить Фреда боксу! — Я позвонила в судоходство. Фред в море. — Мы обменялись взглядами. Болетта передёрнула сухонькими плечиками: — Ну не самое худшее. Хотя он мог бы и проститься с нами, конечно. — Только после этих слов мама залилась слезами. Она снова садится, её не держат ноги и бьёт дрожь. Болетта пытается утешать, но где там: до мамы наконец, догадываюсь я, дошло, что Фреда она не увидит больше никогда. На самом-то деле он как раз вернулся, потом снова пропал, и каждое очередное его исчезновение вновь переживалось как небольшая смерть, эти микросмерти росли, наслаивались и доросли-таки до заочного отпевания в церкви на Майорстюен, до похорон в отсутствие покойника и при наличии беспросветной тоски, где я произнёс, как уже упоминалось, свою незабвенную речь. Болетта дала маме время выплакаться, наконец у неё иссякли

не слёзы — силы. Я чувствовал то же самое: Фред бросил нас навсегда, потому следующий вопрос Болетты меня огорошил. — И куда почапала эта посудина? — «Белый медведь», — прошелестела мама. — Да, этот «Белый медведь», поплыл куда? — В Гренландию, — ответила мама, повесив голову низко-пренизко. Но тут же вскинула глаза, встревоженная воистину ужасным обстоятельством, и произнесла фразу, которую мы потом то и дело повторяли, утешая и обнадёживая себя: — Фред даже свитер не взял!

Я ушёл в нашу комнату, ставшую, видимо, с этого вечера моей собственной, если судить по тому, что Фред нашёлся на пути в Гренландию, на борту «Белого медведя», и если они в эту секунду минуют Реет, собираясь затем лечь курсом на запад, в сторону синего горизонта и зелёного закатного солнца, то пусть маяк на Скумваре мигнёт им напоследок, как кристальная вспышка лампы Фреснелла, и выжжет их изображение на ветру. «*Вам всем, здравствующим дома, шлю я из страны полуночного солнца, льда и снега, любовный поклон».* Может, Фред найдёт овцебыка. А может, ему придётся питаться тюленьиной. Вот, значит, как он решил вернуть письмо: прежде чем искать его следы, он постановил себе пройти

путём деда, в фарватере, вспененном в северных водах шестьдесят шесть лет назад парусником «Антарктика», своими глазами увидеть то солнце, которое видел дед, продрогнуть на том же морозе, услышать, как с тем же хрустом крошится лёд. Может, он найдёт самого деда, вмёрзший в ледник скелет в куртке, в кармане которой завалялся огрызок карандаша, которым он когда-то писал нам письма. Я был рад, по-настоящему рад, что Фред уехал. Но я не чувствовал радости. Я убрал «Дипломат», потому что было поздно сочинять дальше, довольно уже насочинялось, и лёг в постель, прихватив коробочку для смеха. Сунул её под одеяло, нажал кнопку и прислушался. Механический смех звучал бессердечно и зло. Если б удавы умели смеяться, они делали б это точно так. Тот же самый смех, который казался таким милосердным и заразительным, когда мы слушали его вместе с Педером, наполнял меня теперь бескрайней мглистой тревогой. И я понял, что смех не действует на одиночек. Эту мысль надо было записать, пока не забылась. Открытие удастся, возможно, пристроить в дело. В смысле что смех — коллективное помешательство. Но я заснул, не исполнив задуманного, а батарейки в коробочке стали садиться, и смех делался всё

медленнее и глуше, глуше, пока он не умер вовсе с коротким пшиком, оставив по себе лишь тихий, далёкий шелест, словно ветер, гуляющий в давно заброшенном доме, так я мог бы описать его, но и он отшелестел, а осталась бесплотная нить, сотканная из ничего для того, чтоб проветривать на ней мои грёзы.

Меня растолкала мама: — Мы ушли на Телеграф. И с какой стати ты хозяйничаешь в кровати Фреда?! — Я тут же вскочил, пристыженный и сонный, поскольку почти не спал. — Мне с вами можно? — Меня взяли. Болетта разрядилась в пух и прах, но у самых пудовых дверей Телеграфа мужество изменило ей, она заартачилась и запросилась домой, у неё немедленно прихватило голову, морзянка, но мама решительно втянула её внутрь, и вот мы стоим в величественном зале первого этажа, куда нога Болетты не ступала ни разу за все девять лет, минувшие с того дня, когда мы потеряли Пра и короля Хокона. От тогдашней благоговейной храмовой тишины не осталось и воспоминания. Нынешняя сутолока напоминала скорее торжище, склад телеграмм и переговоров. Везде что-то жужжало, точно гигантский пчелиный рой с дикой скоростью перелетал из угла в угол. Стук подмёток, бегущих по каменному полу.

Настенные часы, отстукивающие время тяжёлыми ударами. Мама встряхнула Болетту: — Что ты застыла? — Но Болетта лишь таращится по сторонам. — Изменилось как всё, — прошептала она. — Повтори, не поняла, — велела мама. — Название судна может писаться в одно слово, но не более пятнадцати букв, — ответила Болетта. — Белый медведь, — быстро сосчитала мама, загибая пальцы. — Двенадцать букв. Давайте побыстрее покончим с нашим делом! — И мы поднялись на второй этаж по широкой лестнице. Болетта поздоровалась с какими-то женщинами, но они не признали её и побежали дальше по своим делам, и с каждым новым не узнавшим её человеком Болетта горбилась всё сильнее, её буквально пригибало к земле, даже директор Эгеде, эта развалина, и тот не остановился, лишь замешкался на миг, глядя на нас, словно что-то забрезжило у него в памяти при виде Болетты, она встретила его взгляд упрямо, выжидательно, но этот нехороший человек заговорил вдруг со мной. — Юный гений, — выпалил он, хохотнул и пошёл вниз, в зал. Болетта снова сжалась. Фрекен Штанг, госпожа начальница, беспорочная невеста Его Величества Телефона, давным-давно вышла на пенсию и сидела дома, в сумраке

двухкомнатной квартиры на Ураниенборг, положив на лоб мокрую тряпку, чтобы унять пульсирующую головную боль, и на её глазах чёрные бакелитовые телефонные аппараты сперва сменились на серые и белые, плоские и неприметные, потом, в семидесятые, вышла кратковременная мода на абсолютно непрактичные инсталляции кричащих красно-жёлто-оранжевых тонов, курам на смех, честное слово, эти цвета в принципе несовместимы с телефонией, кстати, подставкой им служил собственный диск, за что злые языки немедля окрестили их *гомофонами*, так как номер набирался сзаду, а потом упразднили и сам Телеграф: великое хранилище телефонных разговоров лопнуло, в девяностых они перешли в частные руки, и пошло-поехало, теперь от беспроводных излияний не скрыться уже нигде, самые интимные признания кричат в трубку в ресторанном застолье, страшные тайны выдают, стоя в очереди или на остановке, и все мы вынуждены выслушивать чужие свары, объяснения, сердечные охи-ахи, так что общество превратилось в гигантский будуар, где все треплются со всеми, а по большому счёту, сами с собой, причём сказать им всем нечего.

Наконец, мы пришли собственно на телеграф.

Здесь стояла очередь. Отсюда отправлялись самые важные сообщения, те, в которых речь о жизни и смерти, и их не скажешь по телефону, потому что голос ненадёжный инструмент, он грешит интонациями, оговорками, утрированием и двусмысленностью, а в телеграмме ошибки исключены, она молчалива и однозначна, это язык трагедий и любви. За восемью пультами работали восемь женщин. Из них тоже никто Болетту не узнал. Мы не разговаривали. Телефон пагубно действует на нервы и слух, поэтому телефонистам запрещено работать более четырёх часов кряду. Телеграф калечит в основном руку и пальцы, нередко вызывая у телеграфисток судороги и артриты. Мама написала текст на бумажке и, когда подошла наконец наша очередь, отдала записку оператору, а та отыскала нужные коды и отстучала несколько коротких, но полных глубокого смысла слов, и мне легко представить себе, как в ту же минуту Радист на «Белом медведе» получил сообщение, перевёл значки в буквы и пошёл на камбуз отдать телеграмму Фреду Нильсену, этому салаге. От природы Радист был, думается мне, большой шутник, его подмывало выставить на смех неразговорчивого, себе на уме молокососа, которого не взяла даже морская

болезнь и который, говорят, подавал большие надежды в боксе, а спасовал перед обычным качком из Трёнделага. — Эй, Нильсен! — орёт Радист на весь корабль. — За тобою мамочка заскучала! — Те, кто случились в этот момент на камбузе, осклабились и заржали, а Фред, думается мне, смутился, нахмурился, выхватил бумажку и сунул в карман и только позже, во время своей вахты, вытащил её, прочитал те несколько слов, что написала мама, и выбросил в море, где проплывали мимо льдины, похожие на грязные корки, и бились в корпус, не давая Фреду спать.

Он не ответил маме. Каждый день она ждала, что принесут телеграмму с «Белого медведя», хоть одно словечко, весточку — мол, жив-здоров. Телеграмма не приходила. Мама кидалась к двери на каждый звонок, чтоб обнаружить на пороге очередного торговца, вознамерившегося впарить ей домотканый коврик, или душеспасителя из Свидетелей. За это время она спустила с лестницы роту таких. И поседела. Мы с Болеттой боялись пикнуть, любая мелочь выводила мать из себя, одно время мы стали опасаться за её рассудок, и Болетта шёпотом втолковывала мне, что ждать — это искусство, овладевают им медленно, а учитель один — всё то же время. Оно шло, шло, и

однажды, хоть от Фреда по-прежнему не было ни слуху ни духу, ни буквы ни звука, мама успокоилась, словно поняла: это — судьба, и покорилась ей, обуздала ярость, а когда вечером, перед летними каникулами, в дверь снова позвонили и мама даже не дёрнулась с места, мы заключили, что ожидание принесло в её душу мир, так же ждала искушённая в этом искусстве Пра, не мелочно считая часы и дни, а отдаваясь всей полнотой души ожиданию, которое становится единственным делом в жизни, и я сам пошёл открывать дверь. Оказалось, Педер. Из-за его плеча выглядывала улыбающаяся Вивиан. Я не виделся с ними довольно давно. Обрадовался. У меня есть друзья, они навещают меня. — Не здесь ли живёт малоформатный большой писатель? — спросил Педер. Я отвесил глубокий поклон и впустил их в дом, мы обосновались в нашей комнате (язык всё не поворачивался называть её моей), Вивиан хотела поиграть с коробочкой смеха, но я забыл поменять батарейки, тогда она спросила: — А Фред уехал? — В армию призвали, — ответил я. Педер присвистнул, высоко и протяжно: — Родина в надёжных руках. Наконец-то мы можем спать спокойно. — Вивиан посмотрела на меня: — А где? — Я задумался. Ложь уже обрела фор-

му. Теперь она готова была простым делением превратиться в две лжи, а потом в четыре, и так пойдёт, чистая биология. — Это секрет, — ответил я. Вивиан потупилась: — Секрет? — Педер снова рассвистелся, надо было срочно переводить разговор на другое. Я хлопнул Педера по плечу. — Слушай, а мамин натурщик не может ещё раз сводить нас в киноклуб? — спросил я нарочито громко. Он резко оборвал свист. — Мама с ним покончила. — Покончила? Так она дорисовала портрет? — Педер неожиданно разозлился, встал. — Ты слышал, что я сказал, нет? — Слышать я слышал, но не понял. — Вивиан смотрела в другую сторону, от неё помощи не жди. Что ж я забыл купить батарейки к смеходавке? Сейчас бы не мучился. И я принялся искать сочинение, которое задолжал Педеру. Педер по-прежнему стоял к нам спиной. Сочинение он взял у меня не повернув головы. Я выбрал тему *Расскажи о работе, в которой ты принимал участие.* Педер прочитал название. — Дурень! Я ж просил написать *Плюсы и минусы современной техники!* — Мне удалось раскрыть обе темы в этом сочинении, — осторожно ответил я. Педер начал читать. — Это же о том, как мы были статистами на съёмках! Ты придурок? — И там же я написал об истории ки-

нокамеры. — Господи, — вздохнул Педер. Вивиан взглянула тоже и стала читать вслух. *Само собой понятно, что чем меньше кинокамера, тем легче ею снимать, потому что тогда оператору проще следовать за актёром или тем, что он хочет снять. Но размер камеры не должен ограничивать ни глубины, ни полноты изображения. Я имел возможность убедиться в этом, когда вместе с двумя своим друзьями работал статистом на съёмках нового фильма «Голод», к сожалению ещё не вышедшего на широкий экран.* Педер медленно повернулся и улыбнулся: — Хвалю, Барнум. Здорово. Я отчётливо чую пятёрку с плюсом! — Зато Вивиан отвернулась и ушла в себя. Мы с Педером переглянулись, а затем состоялся разговор, который я долго ещё потом обмусоливал и раскладывал по косточкам, силясь проникнуть в смысл сказанного и жалея, что не оказалось под рукой телеграфа, который бы значок за значком перестучал все реплики в морзянку, тогда бы лента с этими точками-тире вылезла мне в руки из аппарата как-нибудь потом, другой ночью, когда я накопил бы мудрости понять их значение, эдакий искушённый телеграфист, умеющий видеть то, что скрыто за словами и подразумевается под ними. — Что

такое? — спросил Педер. Вивиан не ответила. — Что такое? — спросил я. Вивиан зыркнула через плечо. — Разве я только твой друг, Барнум? — Я опешил. Только? У меня промелькнуло в голове, что ложь приятнее замешательства, в нём нет веселящего газа, а ложь действует как общий наркоз, пока она действует, конечно. Прав, видно, был отец, когда говорил, что женщину можно понять от силы на два процента, но и на эту малость надо положить жизнь. — Да, ты и Педер. Разве мы не друзья? — И тут Педер сказал нечто непостижимое, я б многое дал, чтоб получить в письменном виде эти его слова, адресованные Вивиан. — Это моё сочинение, понятно? А не Барнума. Он просто записал его для меня. — Мы замолкли и сидели молча, пока Педер не взгромоздился на стул и не объявил: — А я знаю, когда премьера фильма! — Вивиан тут же вскочила, и моя рука украдкой скользнула вниз по её голубому свитеру, складками висевшему на тщедушной спине. — Когда, чуча? — Педер посмотрел на меня сверху вниз. — Ровно через восемьдесят четыре дня! А завтра будет уже через восемьдесят три!

Они ушли прежде, чем мама приготовила ужин. Я выскочил на кухню. Мама не спеша строгала козий сыр. Ожидание добавило ей обсто-

ятельности и флегмы. — Девятнадцатого августа премьера! — крикнул я. Мама не торопясь обернулась ко мне: — Они уже ушли? — Да. Премьера «Голода» девятнадцатого августа. — Мама вздохнула: — Может, к премьере и Фред вернётся. — В дверь снова позвонили, мама вздрогнула и уронила сырорезку. Я побежал открывать. На пороге стоял Педер. — Совсем забыл, — шепнул он. Достал конверт и быстро сунул его мне. — Думаю, твой брат не в армии, — шепнул он ещё тише. Я посмотрел на конверт. *Бранум Нильсен. Марки Мишла. Осло. Норвегия.* Угол сплошь заклеен марками. Фред отправил письмо папе Педера. Педер теперь принёс письмо мне. Я ничего не сказал. Только впился в этот конверт глазами. — Ничего, ничего, — прошептал Педер. — И ведь во всём есть какой-то смысл. — Он повернулся и пошёл вниз по лестнице. Спрятав письмо под рубашку, я прокрался в комнату. А там сунул его под матрас. Внезапно у меня за спиной выросла мама. — Это был снова Педер? — спросила она. Я кивнул. — Что ему надо? — Я сглотнул и сел на кровать. — Он забыл отдать мне задачки по математике. — И не захотел остаться поужинать? — Я помотал головой: — Спешит. — Мама ухмыльнулась: — Если у Педера нет времени поужинать, значит, у него

в самом деле времени нет. — Да уж. — Ты уже ложишься? — Я долго зевал. — Устал что-то, — сообщил я наконец. Мама присела на краешек кровати. Она подбирала слова. А под матрасом лежало письмо от Фреда. — Это так интересно, с фильмом. Подумать только, у нас в семье ещё один актёр! — Мама издала смешок. — Статист, — поправил я. — Это, считай, одно и то же. — Мама замолкла. Я не чаял дождаться, когда она уйдёт. Ещё раз зевнул и потянулся, театрально разинул рот, нарочито раскинул руки и сам поразился, до чего наигранны, неестественны все мои движения, можно подумать, их неправдоподобность могла придать мне больше достоверности, а преувеличение сойти за правду вдвойне. — А я не сплю, — пожаловалась она. — Не смогу заснуть, пока он не вернётся. — С Фредом наверняка всё в порядке, — прошептал я. — Он человек ночи. — По её телу прошла дрожь, словно мои слова потрясли её. Она взяла мою руку и сжала её, не знаю, в грусти или злости, возможно, любовь присутствовала в этом жесте тоже. Думаю, она не заснула и той ночью. Но когда всё более-менее угомонилось, я вытащил из-под матраса конверт и бережно открыл его. Внутри лежала открытка. С овцебыком. Он стоял на жалком пригорке,

нагнув голову, и имел вид шелудивого доходяги. На обороте Фред написал своими неуклюжими растопырками: *Ничего не говори. Фред.* Вот и всё письмо. Ничего не говори. Фред. Не знаю, как долго я просидел, уставившись на эти четыре слова. Пока не принял решения. Я решил не говорить. Нет, я мог сказать, выбор у меня был, суть, как всегда, в этом, в выборе, человек делает его сам, и пенять потом не на кого и не на что. Вот и я мог поступить иначе. Нарушить данное Фреду слово, пойти к маме, показать ей открытку. Но я выбрал иначе. Сдержал своё обещание Фреду, предоставив ей вертеться там без сна. Я даже всплакнул. — Блядство! — крикнул я и сам себе смазал по губам. Прислушался. Всё по-прежнему тихо. Потом я убрал открытку в конверт и спрятал в таком месте, где был точно уверен, что мама не найдёт. Так началась моя долгая ложь.

И каждый новый день был продолжением лжи. Я ничего не сказал — и обманул. Сдержал слово, и тем изоврался. У меня было два языка на одно лицо, или наоборот — много личин и один язык. Мама каждую ночь лежит без сна. Иногда навещает Вилли, чтоб узнать новости о «Белом медведе». Домой от него она возвращается в ещё большей задумчивости, и Болетта в гостиной сокрушённо

качает головой. Я заканчиваю первый вариант «Откормки», он мне не нравится и отправляется в корзину. Пора сменить ленту в машинке. Мы ждём. Время отвратительно, тянется в час по чайной ложке. Фред не возвращается. Педер перешёл в Кафедралку, где его той же осенью выбрали кассиром союза гимназистов, Вивиан учится дома, по одному предмету за раз, а сам я вхожу в ворота на Фагерборге, навстречу ещё одному первому школьному дню, солнце светит мне в спину, и весь двор как по команде оборачивается ко мне и мерит меня глазами, а я решаю побить все рекорды в прогулах. Это удаётся мне отлично.

Три дня спустя происходит премьера «Голода». Мы разогреваемся в «Трактире» на Стурторг, но заказа на пиво у нас не принимают, только чай. Подумаешь. Педер раздобыл бутылку шампанского и прячет её под столом, он наверняка единственный уникум, которому удалось откупорить под столом «Трактира» бутылку игристого и не попасться с поличным. Он лишь немного облил колени. Мы быстренько выдуваем чай и разливаем по чашкам шампанское. Мы сидим в самой глубине зала. От Вивиан чем-то пахнет. После двух кружек меня разбирает молодецкая удаль, и я тыркаюсь носом в ямку на шее Виви-

ан. Она отталкивает меня, но я утыкаюсь в неё снова. — Барнум! — вдруг вскрикивает она. — Ты кусаешься! — Вивиан уходит в туалет, а Педер пластается по столу и икает от хохота. К нам оборачиваются тёмные лица, подсвечиваемые жёлтым сиянием полулитровых кружек, удерживаемых обеими руками. Во взгляде официанта появляется сталь, и он подходит поменять пепельницу. У нас пузырится в чашках. — Спиртного с собой у вас нет? — интересуется он. — Это мускус, — отвечает Педер. Официант качает головой, обходит стол кругом и медленно удаляется к стойке. Я приваливаюсь к Педеру. — Мускус? — переспрашиваю я. Педер доливает нам шампанского. — Духи Вивиан. Его добывают из яиц овцебыка, иначе называемого мускусным быком. — Яиц овцебыка?! — Дико возбуждает. — Кого? — Тебя. — Тут Вивиан возвращается из туалета. Больше она ничем не пахнет. Наверно, шею помыла. Я ничего не говорю. И думаю с большим трудом. Слишком много всего требуется обмозговать, а мысли не стыкуются. Педер смотрит на часы и поднимает чашку: — Вперёд, на «Сагу». Пора, — говорит он. Мы допиваем и идём рука в руке, с Вивиан в серёдке, на нашу первую премьеру. Семичасовой сеанс. За билетами очередь. С меня требуют

метрику. Педер кладёт руку на плечо билетёра в синей форме. — Позвольте привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что мы заняты в этом фильме, — разъясняет он. — Вы же не можете запретить вход актёру? — Статисту, — добавляю я. — Заткнись, — говорит Педер. — Если он малолетний, я его не пущу, — заявляет билетёр. Педер громко вздыхает: — Если он достаточно взрослый, чтобы играть в этом фильме, наверно, ему и посмотреть его можно? — Вивиан разбирает смех, и нас пропускают. Все в сборе. Я вижу их сразу, как только мы занимаем свои места на первом ряду: мама с Болеттой, Эстер из киоска, родители Педера (мама на коляске в самом низу лестницы), отец Вивиан, и он тоже, за ним Дитлев из вечернего выпуска «Афтенпостен», ему плохо видно, он вертится, его обшикивают, домоуправ Банг, Шкелета, Козёл, все в зале, потому что весть о нашем вкладе в фильм не минула никого, мы и сами трубили об этом в сочинениях и трезвонили в интервью; я вижу Аслака, Пребена и Хомяка, неясные лица в раскинувшемся амфитеатром зале; Десять, двойняшки, Талант и Томми — парни из боксёрского клуба с перебитыми носами и длинноватыми волосами, я замечаю родителей Т., бледных и худых, рядом с ближайшим запас-

ным выходом, и я думаю, пока открывается экран и гаснет свет, что здесь собрались почти все, кто сыграл в моей жизни какую-то роль, некоторые промелькнули на заднем плане, другие были близко, и в ту секунду, когда темнота на какой-то миг совпадает с тишиной, я успеваю прикинуть, что сюда пришло, пожалуй, больше народу, чем собралось бы на мои похороны, умри я сегодня, и заметить (пока ещё Вивиан не взяла меня за руку, а Понтус не появился на экране: он стоит спиной к нам, опираясь о перила моста через Акерсэльв, и что-то лихорадочно пишет на клочке бумаги, который потом запихивает в рот и глотает, съедает ту бумажку, на которой что-то написал), я успеваю заметить, что в темноте кто-то садится рядом с мамой и это Вилли.

Нас нет. Мы не оживляем собой Дворцовый парк. Мы невидимки — нас вырезали. Мы остались на обрезке плёнки, выкинутом датчанами за ненадобностью в мусор, лишние, отверженные. Публика попала-таки на тризну по нам. Опять нас подкузьмила линейка Барнума. Коротковата она. Всегда какого-то сантиметрика, да не хватает. Мы уходим на титрах. — По крайней мере, с душами вашими ничего не случилось, — шепчет мама Педера, пока мы торопливо пробираемся

мимо неё к выходу. Но мы уже на улице. Промозгло. Настоящая осень. Мы с Педером заходим за помойку отлить. Рвём билеты и писаем на них. — Дерьмовое кино! — выкрикивает Педер. И до самой площади Соллипласс мы молчим. Наше дерево стоит красное, блестит от дождя. — Если он пух с голоду, чего не поехал в Нурмарку за ягодами? А? — Возможно, его мучил голод другого рода, — лепечу я. — Особенно! Весь фильм он говорил только о колбасе и ни о чём больше! Хотя мог бы смастерить крючок, привязать его к шнурку и поймать две-три трески, разве нет? Голова садовая! — «Твист» мог бы съесть во всяком случае, — добавляет Вивиан. Мы останавливаемся, вылупив на неё глаза. — «Твист»? — переспрашивает Педер. — Вы что, не видели? В Дворцовом парке на траве валялись две карамельки и лакричка. — Педер таращится на меня. Я на него. — Честно? — Вивиан кивает. Педер скорчивается от смеха, отрясая с дерева остатки листьев. — Чёрт возьми, мы испортили им весь фильм! «Твист» в 1890 году! — Я смеюсь тоже, но что-то наполняет меня грустью, словно я уже вижу контуры будущего, всего, что не выльется ни во что путное, не будет доведено до ума, а будет забыто, вычеркнуто, выкинуто, вырезано, будто эмблема моей

жизни — ножницы. — Пока! — вдруг бросает Педер и идёт в сторону аллеи Бюгдёй, петляя между каштанами. — Постой! — кричит Вивиан. Но Педер не останавливается. Уходит всё дальше. Я выпускаю руку Вивиан и бегу за ним: — Что с тобой такое, а? — Педер прислоняется к забору, улыбается. — Что-то случилось? — говорю я, кладя руку ему на плечо. — Домой тебе ещё не пора, правда? Я голоден, например. — В его улыбке, смехе проклёвывается что-то жалкое, плаксивое, словно рот в любую секунду может исказиться рыданиями. — Вы теперь вдвоём, — говорит Педер. — Мы втроём, — отвечаю я. Педер мотает головой: — Нет, я третий лишний. Увидимся. — И он идёт дальше, через перекрёсток. Он не оборачивается. Я стою, как пригвождённый к месту. И как быть — не знаю. Мне хочется рвануть за Педером. Но и к Вивиан вернуться хочется. Она сама подходит ко мне.

И это не все события того вечера. Вдвоём с Вивиан мы доходим до Фрогнерпарка. Смеркается. По-прежнему моросит дождь. Возле Белой беседки Вивиан садится. Она садится на траву, я пристраиваюсь рядом. Это сомнительное удовольствие в такую сырость. Я предлагаю Вивиан свою куртку. И тогда случается это. Вместо куртки

Вивиан садится верхом на меня. Придавливает меня. Сжимает коленками и не даёт вырваться. Я верчу башкой и чувствую шеей и затылком волглую, липкую траву. Вивиан не сидит спокойно. Она стягивает трусики и скидывает их с одной ноги. Потом расстёгивает молнию на моих брюках. Я не шелохаюсь. Она сама надевает на него резинку и вставляет. И насаживается сверху — тяжело, резко. Она молчит. Я тоже. Ноздри вдруг щекочет давешний запах мускуса, неистовый, сводящий с ума, эти два символа останутся для меня на вратах этого вечера навсегда: ножницы — и мускус. Я отключаюсь. Всё уже произошло. Вивиан встаёт, спиной ко мне, подтягивает трусы, поправляет юбку. Я лежу. Я мёрзну. Смежаю глаза. Чувствую жжение. И стыд. Слышу, как она уходит вниз под горку. Когда я наконец поднимаюсь, её уже нет. Я сдираю резинку, с воплем швыряю ей вслед. Подбираю куртку, на нетвёрдых ногах спускаюсь к ограде, залезаю на неё, застёгиваю ширинку, скатываюсь в кусты с той стороны, выползаю на тротуар. Мимо громыхает трамвай. Взвизгивает, втираясь в узкий поворот. Я затыкаю уши. Я могу заскочить к Педеру. Но не делаю этого. Мне нечего ему сказать. Как про такое скажешь? Вверх по Киркевейен я трушу бегом. Идёт дождь, это хоро-

шо. Я бегу, пока ноги не начинают заплетаться. Я состоялся, говорю я. И повторяю ещё раз: теперь я состоялся. Это — позади. Я испытываю большое облегчение. Не радость, нет, но облегчение. Не так всё плохо. По сути говоря, я соблазнил её. Нет, на самом деле. Я виноват. Сам лично, во всём. Завлёк её во Фрогнерпарк, к Белой беседке, в темноту рядом с Белой беседкой. Как это можно понять ещё? Более того, положил на мокрую траву свою куртку, подстелил, чтоб ей было, если она пожелает, куда лечь. Но не так всё плохо. Я сделал это. С Вивиан. Я. Сделал это с Вивиан. Я виноват. И ничегошеньки не запомнил. Я останавливаюсь. У меня не осталось в памяти ничего. Кончил ли я. Был ли я на высоте. Как кончил. Я не чувствую ничего такого. Ну жжение. Поворачиваюсь, иду назад. Долго рыскаю в траве по кустам у Белой беседки. Ко мне пристраивается чёрная псина. Гоню её прочь. Она не уходит. Жмётся ко мне. Я пинаю её. Ноль внимания. Наконец нахожу. Беру презерватив в руки. Собака скулит. Ни черта не рассмотреть. Дождь этот. С жёлтой, мятой резинки капает. Есть ли что в колпачке, мне не видно. Грязь, слякоть, дождь. К чертям собачьим отшвыриваю резинку снова, но пёс тут как тут. Хватает её. Свистят, где-то вдали, на мосту, наверно, и

собака исчезает с резинкой в пасти.

Я иду домой. Там в гостиной сидит Болетта. — Наконец-то явился! — говорит она. Я занимаю место в тени у камина, под портретом юного гения. Ничего не говорю. Болетта подаётся вперёд на стуле: — Барнум, ты ведь не разочарован, правда? — Я мотаю головой. — И не с чего. Не тебя первого вырезали из фильма. Вон Пра фильмами, из которых её выстригли, прославилась чуть не на весь мир! — Болетта рассмеялась: — Знаешь, я больше тебе скажу. Конечно, я давненько не ходила в кино, с тех пор как они во время войны превратили «Кинодворец» в склад картошки, но всё-таки фильм чрезвычайно странный. Чтобы такой красивой даме да пришло в голову связаться с вонючим голоштанником! — Это же невзаправду, — говорю я. Болетта замолкает на секунду, потом раскидывает руки. Я осторожно вхожу в их полукруг. Тут только она обращает внимание, в каком я виде. Видок ещё тот. Детей пугать. — Ты подрался? — спрашивает она. Я опускаю глаза. Болетта обхватывает мою измоченную куртку, втягивает воздух и смотрит на меня, недоумевая. — Барнум, так ты не дрался! — По её лицу растекается улыбка. — Где мама? — спрашиваю я. Болетта разжимает объя-

тия. — У Вилли, наверно. Вилли Халворсена. — А что она там делает? — Болетта вздыхает: — Маме тоже нужны друзья, Барнум. — На этих словах в квартиру входит мама, и мы сразу, прежде чем захлопывается за ней дверь, понимаем: что-то стряслось, нехорошее, совсем непоправимое. В ту же секунду она вырастает на пороге гостиной. — Корабль утонул, — шепчет она. Болетта вскакивает: — Что ты сказала? — «Белый медведь». Во льдах. Господи! — Мама садится. Достаёт что-то из сумки. Руки ходят ходуном. Это вырезка из датской газеты, которую дал ей Вилли, Вилли Халворсен. Болетта зажигает лампу. С воздуха снят корабль, зажатый льдинами. Это «Белый медведь». Команда, десять человек успела сойти на берег и теперь стоит кучкой на льдине меж двух скал. Мама вслух читает подпись, и голос у неё дрожит, точно как руки. — «В конце июля промысловое судно «Белый медведь» на пути из бухты Муггбюктен домой было недалеко от Гренландии раздавлено льдами. Палубы лопнули, как спички, судно дало течь и было эвакуировано. На снимке — экипаж ожидает прибытия американского спасательного вертолёта. Все моряки были спасены и доставлены в безопасное место». Мама резко замолкает и лезет за носовым плат-

ком. — Ну так самое главное в порядке! — говорит Болетта. — Раз все спасены! — Мама мотает головой и едва не рвёт платок надвое. — Его там нет! На льдине Фреда — нет! — Болетта берёт её руки в свои. — Ты уверена? — Я придвигаю лампу поближе и снимаю абажур, пока Болетта приносит лупу. И хотя люди на снимке кажутся чёрными чёрточками на снегу, нельзя сказать, что увидеть отсутствие среди них Фреда совсем невозможно. Он не стоит в этой кучке на льдине. Внезапно мама взглядывает на меня в слепящем свете, на миг вернувшись к нам на землю. — Что у тебя за вид? — хмурится она. — Пойди умойся. — Я встаю и выхожу из круга света, пока мама снова не разрыдалась. Иду в свою комнату. Теперь я всё-таки стану называть её своей. Закрывая дверь, я натыкаюсь на шёпот. — Тихо, кнопка. — Я как ужаленный поворачиваюсь к другой кровати. Фред. Он лежит на своей кровати и прижимает к губам палец. Он изменился. Что-то появилось в его лице, чего я не узнаю, новая черта. Не исключено, дело в загаре, у него прямо чёрное лицо, и в короткой стрижке. Я мог бы забраться к нему. Но не сделал этого. Моя единственная мысль в тот момент была: может, ложь моя теперь кончится? Лгать будет не надо. Фред вернулся. Он убирает

палец ото рта. Одного зуба нет. — Когда ты появился? — шепчу я. — Пока вы ходили в кино. Как прошло? Хорошо? — Его голос низко перекатывается. — Вполне, — отвечаю я. — *Вполне* это как? Фильм хороший или плохой? — Терпимый. Мне конец понравился. — А чем кончается? — Главный герой уезжает из города. — Фред смотрит на меня. Сейчас заплакать нельзя, я знаю. Я не плачу. Фред вытягивает руку, он улыбается. — Барнум, ты дрался? — Нет. Трахался. — В гостиной мама снова рыдает. Её утешает Болетта. Шуршит дождь. — Молодец — шепчет Фред. — И кого ты трахнул? — Я отворачиваюсь к двери: — Почему тебя не было на «Белом медведе» во время крушения? — Фред садится в кровати. По лицу гуляет улыбка. — Я списался на берег на мысе Доброй Надежды. Я достаточно насмотрелся. — Повисает тишина. — Иди к маме, — шепчу я. Фред проводит рукой по короткому ёжику. Улыбка исчезает с его губ, словно её засасывает в чёрный провал в зубах. — И что я скажу? — Просто скажи, что зашёл за свитером, — говорю я и распахиваю дверь. Поколебавшись, Фред отправляется к ним в гостиную. Я вижу всё с того места, где стою. Вот мама рывком поднимается, вот Болетта загораживает лицо руками. Мама взрывается, от

радости, злости, беспомощности она не помнит себя. Мама не бросается Фреду на шею, вижу я. Не осыпает его поцелуями. Бьёт. Скажу так: сокрушённая испугом, мама побоями вымещает на нём свою лютую радость. И Фред не сопротивляется. Разрешает матери бить себя. В конце концов вмешивается Болетта, унимает её, и тут только мать очухивается. Берёт Фреда за руку, а он говорит, я уверен, хоть мне и не слышно, он говорит: — Мне только свитер взять, мам.

Они сидят на кухне допоздна. Наконец Фред возвращается и ложится. Следом приходит мама и встаёт между нами. Она вбирает в себя это мгновение. Запасает его впрок, как бережливая белка, чтобы лакомиться им потом в чаще леса, словно в глубине души она тоже знает, что Фред скоро исчезнет опять. Голос её звучит почти как когда-то: — Спокойной ночи, мальчики. — Мы — дети, ходики от Арнесена снова затикали, но они отсчитывают время вспять, в них звякают монетки, и каждая денежка — воспоминание, которое мама может отполировать и купить себе на него времени. Она целует Фреда в лоб: — Завтра сходишь к зубному. — Она наклоняется ко мне и шепчет: — С тобой фильм был бы в сто раз лучше. — А потом мы различаем быстрый

рокот, урчит стиральная машина, мы лежим в темноте и слушаем, как мама стирает одежду Фреда, время от времени принимаясь петь, на дворе ночь, а она хлопочет с постирушкой и поёт. — Эвалия, — говорит Фред с расстановкой, буква за буквой. — Стиральная машина, — отзываюсь я так же тихо. И мы заливаемся смехом в темноте. — Спорим, твой папаша стибрил её, — шепчет Фред. Становится тихо. Мама развешивает бельё на верёвках над ванной. — Чего ты достаточно насмотрелся? — спрашиваю я. — Того, что видел дед. Льда и снега. — И всё? — Я видел, как раскололся айсберг. — Айсберг? — Внезапно прямо у нас перед носом половина ледовой горы сползла в море. Слышал бы ты этот грохот! — Да ладно. — Ты думаешь, лёд — это безмолвие. Так вот, Барнум, он грохочет. Когда корабль идёт через льды, никто не спит. — А мускусного быка ты не видел? — Фред принимается искать что-то. До меня доносятся щелчки. И брань Фреда. — Открытку получил? — спрашивает он. — Да, Педер принёс. — Фред смеётся низким резким смехом: — Барнум, зачем ты отправил мать прямиком к Вилли? — Я не отправлял её прямиком к Вилли. — Отправлял. Ты сказал, что я бывал у Вилли. И она кинулась к нему. Ты полагал, она у него

боксом займётся? — Мама была очень напугана. Даже спать не могла. — В другой раз я с Вилли не стану связываться. — Наконец Фред зажигает огонь, вспышка обдаёт светом чёрную грубую кожу, он закуривает сигарету и прячет пламя в блестящую коробку зажигалки «Зиппо». — Я думаю, ты не письмо ищешь, — шепчу я. — А что ж, ты думаешь, я ищу, проницательный ты наш? — Своего отца, — роняю я быстро, как будто и не говорил. Фред затягивает огонёк всё ниже и ниже. Только огонёк мне и видно. — Кого ж ты трахнул? — спрашивает он. Я закрываю глаза: — Ты помнишь, что ты мне сказал, когда меня отправляли в школу танцев? Чтобы я посмотрел, что делают другие, и сделал навыворот. — Фред не отвечает. Я открываю глаза. Огонёк замер на месте. Я жду. — И что? — говорит он наконец. — А если человек поступает навыворот своему собственному хотению? — Тогда всё гикнется к чёртовой матери. — Фред встаёт, открывает окно и щелчком отправляет окурок вон. Он производит небольшой салют и гаснет в дождящей черноте. Тогда Фред разворачивается и подходит ко мне. — Духу не хватает сказать, кого ты трахнул? — Я поднимаю на него глаза. И шепчу: — Лорен Бэколл.

Как-то она подкараулила меня у школы. Она как-то изменилась, повзрослела, что ли, или дело было в мешковатом пальто, шарфе, который она обмотала вокруг шеи раз восемь, да ещё шапку натянула на самые глаза. — Привет, — сказала она. — Привет, — отозвался я. Мы замолчали, стояли и сбивали снег с ботинок. С нашей последней встречи прошло время, а последней нашей встречей была Белая беседка во Фрогнерпарке. — В школе порядок? — Я дёрнул плечами. — Меня ж исключили, какие проблемы. — Она тихо рассмеялась и спрятала рот за ладонью. От её дыхания толстая зелёная варежка покрылась инеем. — Ты с Педером видишься? — спросила она вдруг. — А ты? — Мама его гораздо хуже. — Хуже? Это как? — Руки теряют подвижность. — Так мы поговорили. Потом замолчали. Меня посетило чувство неловкости, испуга даже, мы что-то оставили позади и не обратили внимания, прошли стороной, и меня поразила незнамо откуда вставшая перед глазами картина: отражение в колпаках колёс проехавшей машины. Мы не могли стоять так вечно. Было холодно. Я продрог совершенно. — Пойдём в кино? — предложил я. — В кино? Всё ещё закрыто. — Пойдём, пойдём. — Мы спустились к «Розенборгу». Я постучал в стеклянную

дверь, сезам не открылся, я постучал снова, и наконец появился старый механик, отпер замок двумя ключами и впустил нас в фойе. — У-у, кто пришёл, — сказал он. Я не стал открещиваться. — А вы не можете показать нам фильм? — спросил я. Он долго качал головой. — Вы желаете посмотреть кино прямо с утра пораньше? — Я засмеялся: — Именно так! С утра пораньше! — Он задумался, глухо застегнул свою свекольного цвета форму, запер двери на оба ключа. — Так, так, надо посмотреть, чем богаты. — Мы забрались вместе с ним наверх в аппаратную, в тесную каморку, где проекторы стояли, как пушки перед мишенями, готовые бомбардировать экран светом, как только станет достаточно темно. На столе лежал свёрток с завтраком, он был раскрыт, а бутерброд с козьим сыром наполовину съеден. Механик стал перебирать коробки, складированные в углу за его пультом, потом вдруг застонал и вытащил одну из них, плоскую и блестящую, как колесо. — Боже правый, — проговорил он плачущим голосом, — мы забыли отослать её! — Покажите нам, — встрял я. Механик выпрямился: — Вам нельзя. — Почему? — Возрастной ценз. — Теперь рассмеялась Вивиан. — Барнум взрослый, правда, — сказала она. — Тем более никто не

видит, — добавил я. Механик открыл крышку и вытащил бабину. — Давайте поторапливайтесь, чтоб нам управиться до семичасового сеанса! — Мы по лесенке спустились в зал, который казался сейчас, без публики, которая кашляет, перешёптывается, шаркает, разворачивает шоколадки, сморкается и скрежещет зубами, много больше, мы были только вдвоём и в полном восторге побежали меж рядов выбирать места, сейчас я, во всяком случае, не хотел оказаться позади двухметрового верзилы с африканским колтуном на голове и торчащими ушами. — Где ты хочешь сесть? — закричал я. Но Вивиан не могла решиться ни на что, как и я. В нашем распоряжении было шестьсот билетов, но мы не знали, какие пустить в ход. Механик что-то крикнул нам, и мы наконец сели, ясное дело, на места 18 и 19 в четырнадцатом ряду. Я положил руку ей на колено. Она сняла варежку и робко накрыла мою руку своей. Свет погас, не сошёл медленно и вкрадчиво на нет, словно закат, когда исподволь растекается голубой полумрак, чтобы мы могли настроиться на грядущую темноту, как мы привыкли, а разом пропал, мы услыхали только скрип отъехавшего в сторону тяжёлого занавеса, и фильм начался. Мне показалось, что время обмотало меня пута-

ми и затянуло их. Фильм назывался «Дни вина и роз». Я вспомнил название, афиши, траченные дождём, механика, снимавшего их, шаги, которые я отсчитывал, и Фреда, возникшего из круглого писсуара под горой у церкви. Или это тоже особое деление на линейке Барнума — время, настигающее тебя снова? И как долго тянется такое мгновение, которое не оставляет ножевой зарубки на косяке, но выбивает какие-то часы или дни в твоих воспоминаниях, как в граните? Я знаю только, что «Дни вина и роз» идут один час пятьдесят семь минут и что я никогда не забуду ту сцену, где Джек Леммон, заходя в Юнион Сквер Бар, вдруг останавливается, увидев собственное отражение в окне, и на долю секунды, пока наваждение не рассыпается, принимает его за чужое, за какого-то бомжа, конченого, патетичного и дурно выглядящего алкаша, а потом понимает, что это он сам.

Потом мы зашли в «Крёлле». Сели в самой глубине. — Ну и фильм, — сказал я. Вивиан смотала шарф. — Дерьмо, — заключила она. Я нащупал в кармане сигарету. — Дерьмо? Почему? — Лицо Вивиан побелело от холода, губы одеревенели и сузились. — Я не люблю фильмы, которые плохо кончаются. — У нашего столика остановился офи-

циант. — Большую, — сказал я. Он живо согнулся ко мне. — Шутишь? — сказал он. Тут бы мне и следовало ответить репликой из совсем другого фильма, из нашего: *What's wrong with you?* — Чай, — сказала Вивиан. — И ещё один, — шёпотом просипел я. Официант приосанился. — А что вы будете есть? — Ничего, — ответил я. — У нас обязательно заказывать еду, малыш. — Он начинал раздражать меня всерьёз. — Хорошо. Мне один лимон в чай. — Официант взглянул сверху вниз: — Всё-таки ты лапа. Может, тебе съесть твой школьный завтрак на улице? — Яблочный пирог, — сказала Вивиан. — И ещё один, — шепнул я. — Со сливками. — Официант пошёл к окошку кухни и обернулся дважды на этом коротком пути. — Мудак! — Я зажал рот рукой. Вивиан начала оттаивать. От шеи шло тепло, губы размякли. Я молчал всё время, пока официант не принёс наш заказ. Он потребовал плату сразу. Я угощал. Насыпал ему полную горсть монет, добытых из ящичка под мёртвыми ходиками. Всего за четверть часа он сумел сосчитать их. Когда он наконец ушёл, я приник к столу. — Почему ты не любишь фильмы с плохим концом? — спросил я. — Потому что они напоминают мне о родителях, — ответила она. Я ковырял сливки пальцем и напряжённо обду-

мывал каждое слово ответа. — Между фильмом и жизнью есть разница, — разъяснил я. Вивиан рассмеялась: — Барнум, ты гений! — Я покраснел и ретировался в туалет. За толчком кто-то спрятал фляжку. В ней кое-что было. Я запер дверь и выдул всё до капли. Хмель ударил в голову бесшумно и мгновенно. Я посмотрелся в зеркало над рукомойником, пригладил вихор на лоб и пошёл к Вивиан. — Хеппи-энд — вот настоящее дерьмо, — заявил я первым делом. — Почему, Барнум? — Потому что их не бывает, вот почему! Мы все всё равно умрём. — Вивиан улыбнулась: — Лучше б им было погибнуть в той аварии. — Кому? — Родителям моим. — Я осушил чашку с чаем. Всполохи у меня в голове вздымались ниже и ниже. Скоро только остался вкус гари на языке. — Кончай шутить, — пролепетал я. Теперь Вивиан легла грудью на стол. — Барнум, они не могут думать ни о чём, кроме той аварии. — Оно и понятно, — ответил я. Вивиан долго буравила меня взглядом. — Они просто эгоистичные, занятые собой говнюки, — прошептала она погодя. — Катастрофа даёт им на это индульгенцию. Они влюблены в неё. — Я не знал, что и сказать. Такую злобу я наблюдал в ней впервые, хоть она говорила шёпотом, голос дрожал, и она в любую

секунду могла сорваться на крик — Ещё чаю хочешь? — спросил я. Вивиан мотнула головой: — Барнум, давай я расскажу тебе кое-что. Мама выкинула все до единого зеркала. В квартире не осталось ни одного зеркала, ни в ванной, ни в прихожей, она вышвырнула не только карманные зеркальца, но и серебряное блюдо, потому что в нём тоже отражалось её лицо. Отец сложил их все и выкинул во дворе, смотреть на неё он тоже не имел сил. Потом в дверь позвонили. Мама открыла, на пороге стояли ребятишки с зеркалом в руках, с овальным зеркалом в дорогой раме, украшавшем до того прихожую. Они подумали, что его выкинули по ошибке, и решили порадовать её. А мать увидела себя в зеркале и разбила его кулаком, а их спустила с лестницы, напугав до чёртиков. — Вивиан отодвинула чашку из-под чая на край стола, на самый край. Официант не спускал с нас глаз. — Наверно, она решила, что они пришли подразнить её, — сказал я. Вивиан взглянула на меня: — Разве можно так носиться с лицом? Оно всего-навсего маска, разве нет? Какая разница, красивое оно или безобразное? — Я перехватил её руку прежде, чем чашка полетела на пол. — Если б они погибли, мы б здесь сейчас не сидели, — прошептал я. — Ты б сидел один.

Пойдём к Педеру?

Мы пошли к Педеру. Его дома не было, но мама не отпустила нас. Она управлялась с коляской с видимым трудом. Я помог ей переехать в гостиную. Здесь шагу некуда было ступить от кистей, красок, подрамников и холстов. Обращало внимание, что колёса больше не скрипели, их смазали. Посреди этого разора стоял её натурщик, он простоял здесь все эти годы, такой же обнажённый, но уже не похожий на древнегреческого атлета, а чуть раздобревший и округлившийся, он скользнул в сторону и прикрыл срам. Вивиан уставилась на него, я на Вивиан. Мама свистнула. Натурщик подхватил белое полотенце и исчез. — Так редко кто-нибудь приходит, — сказала мама. Нам было неловко. Ещё я подумал, что почти всё случилось давным-давно и мы препровождаем время, каждый в своей норке, в разных точках этого невеликого города. — Как поживаете? — спросил я. — Мне б успеть закончить картины, пока руки не отсохли, и я бы рада была. — Мама засмеялась: — Но хватит обо мне. Как твои дела? — Пишу помаленьку, — ответил я. — О чём ты пишешь, Барнум? — О том, что видел. — Она подъехала вплотную ко мне. Бесшумно. — А ты видел вещи, которых другие не видели? — Да, —

ответил я. Она упёрла в меня взгляд: — Не говори, не говори, а то не сможешь написать. — И отвернулась к Вивиан: — А у тебя что? — Я поступила в колледж в Швейцарии на следующий год, — ответила она. Я почувствовал, как сквозь меня падает вниз тяжёлый лифт. Этажей на пути немного, но он не останавливается ни на одном. — Что за колледж? — поинтересовалась мама. Вивиан потупилась: — Школа гримёров, — ответила она. Тут позвонили в дверь. Я побежал открывать, радуясь, что могу улизнуть. Так вот почему она караулила меня у школы — чтобы рассказать, что уезжает учиться в Швейцарию и станет гримёром?! Позвонили второй раз. Это пришёл Педер. Вечно он забывает ключи. Всё остальное помнит, но ключи забывает. Он стоял под лампочкой на лестнице, с сумкой под мышкой, в тёплых наушниках, жмурился и прикрывал глаза. — Педер дома? — спросил он. — Пока не приходил, — ответил я. — А когда придёт? — Может, что и никогда. — Передайте, пожалуйста, что Барнум заходил, — сказал Педер. — Прощай, Барнум, — сказал я, закрывая дверь. — Прощай, Барнум, — прогудел Педер, кинулся на меня и обхватил, мы сцепились и покатились по прихожей, посреди завалов ботинок, туфель, сапог,

мы смеялись прежним нашим смехом, как вдруг он отпихнул меня и вскочил на ноги. Пришла Вивиан. Встала, подперев стену, скрестила руки на груди и с улыбкой следила за нами. Я тоже поднялся. — Полный сбор, — сказал Педер. Но когда мы сидели потом в его комнате, я почувствовал, что наша троица, та, что должна была всегда держаться вместе, порастеряла друг друга. Педер минут сорок пять, не меньше, подробно разъяснял причины дефицита бюджета Союза гимназистов и в деталях излагал план умножения капитала: он собирался просто-напросто потребовать денег за «продвижение продукта» с пекарни на Уллеволсвейен, а в случае отказа грозил позаботиться о том, чтобы гимназисты объедались булочками в другом месте. Мы встретили рассказ молчанием. Было слышно, как в гараже паркуется папа, рухнула поленница дров. Если то не гром грянул, не гром посреди ноября. Вивиан обернулась ко мне. — А что ты видел такого эдакого в жизни? — спросила она. — Ничего, — ответил я тихо. Педер посмотрел на нас, улыбнулся, но быстро потерял её, улыбку в смысле. Снова стало тихо. В нашем союзе тоже образовался дефицит. Числа и фантазии не покрывали недостачу. И вот тогда Педер перевёл стрелки разговора на

него, словно нас самих было для этого мало. — Ну что твой малохольный братец, угомонился наконец? — так спросил Педер.

О том же размышлял и я, возвращаясь тем вечером домой: вдосталь ли наскитался уже Фред? Мне хотелось, чтобы он остался. И чтоб уехал, хотелось тоже. Мысли мои были середина на половину. Он лежал в кровати одетый, спиной ко мне. Я разделся, быстро и без шума, но когда я стоял голый в узком свете из окна, он повернулся, и я увидел, что он плакал.

Он молчал двадцать два месяца, пока Клифф Ричард не вернул ему речь. Он сплавал в Гренландию на промысловом судне «Белый медведь», списался на берег на мысе Доброй Надежды, чистил картошку назад до Бремена и потерял зуб во время шторма у мыса Разлуки. Но не успокоился на том. Вскоре он пустился в своё самое долгое путешествие, растянувшееся на двадцать восемь лет. Это был понедельник в начале декабря. Я стоял у окна на кухне и смотрел на снег, он валил тяжёлыми хлопьями, а домоуправ Банг старательно сгребал его, но никак не мог угнаться за ним и под конец сдался, сел на лестнице и предоставил снегу засыпать всё, и себя тоже. Просиди он так достаточно долго — и не станет его. В

школу мне было не надо. Меня снова отчислили. Система оказалась просто замечательной. Сперва я прогуливал. Потом меня за это отчисляли. Получалось почти как награда. Единственное, фильмов в «Розенборге» мне больше не крутили, механик мой не то умер, не то вышел на пенсию. Той зимой я стакнулся с Вивиан. Я услышал, что Фред вошёл и стал у меня за спиной. — Я сейчас сваливаю, — сказал он. — Куда? — Там разберёмся, — ответил он. Может, я подумал, что он вернётся через пару дней, например, уж во всяком случае — до Рождества, пошатается чуток и объявится. И бывали ночи, много лет спустя, когда мы уже отслужили по нему поминальную в церкви на Майорстюен, что я валялся без сна, и мне чудилось тогда, что он поселился в пансионе Коха, в 502-й комнате, бывшей отцовой, и теперь стоит там у окна и потешается над нами. — Ты сможешь сказать это маме? — прошептал он. — Само собой. А что ей сказать? — Что я уехал. — Я повернулся к нему: — Уехал куда? — Фред мотнул головой. На нём была замшевая куртка, а у двери стоял чёрный чемодан, старый отцов чемодан с аплодисментами, в котором их не оказалось. — Одолжишь? — спросил Фред — Ради Бога, — ответил я. Он поднял руку и потрепал

меня по щеке, бережно. Я обязан был догадаться, что он решил не возвращаться.

Спустя месяц с лишним после его исчезновения, уже после Нового года, мама вызвала такси и отправилась на другой конец города к Вилли, сварщику, пытавшемуся научить Фреда драться, но он не знал, где Фред, и не имел от него вестей. Несколько недель после этого к маме страшно было подходить с разговорами. Позже, когда мы прождали Фреда с полгода, мама с Болеттой обратились в полицию и объявили его в розыск. Я ходил в кино, с Вивиан, Педером или один. В конце концов, когда мама была уже на грани, к делу подключили поисковую службу Армии спасения.

А последним, что сказал мне Фред перед отъездом, было: — Надеюсь, ты напишешь что-нибудь, пока меня не будет, Барнум.

Я медленно поворачиваюсь и переношусь на двадцать восемь лет вперёд. Я сижу за столом, между окном и стеной. В комнате темно. Занавески задёрнуты. Только экран светится, голубое мерцание в лицо. Вверху в углу название: *Ночной палач.* Я кликаю на «начало». Текст перескакивает, словно там, за экраном, и нет ничего, а знаки всего лишь обман, наносное, и в ту секунду, когда

слова утягиваются внутрь голубого экрана, меня вновь настигает всегдашний страх лишиться написанного, потерять. Иногда я даже достаю свой старый «Дипломат», но писать на нём себя уже не заставишь. Но вот на экране возникают первые строчки, и я вновь испытываю всегдашнее в этот момент облегчение, распечатываю две заглавные сцены. Я слышу, как стрекочет принтер, чернила заполняют электрические следы, принтер — это рот, который медленно выговаривает слова. Я не спал. Я не сплю больше. Сосу «Микродин». Лист бумаги падает на пол. У меня нет сил тянуться за ним. Я сажусь на скамеечку для ног и читаю начало.

Сцена 1. Город. Раннее утро (сон)

МАЛЬЧИК, худой и бледный, восьми лет, бежит по улицам. Ни души. Он один. И бежит, что есть мочи. Выражение лица сосредоточенное, предвкушающее. Туман ползёт на мальчика и на миг скрывает его почти полностью. Мальчик бежит дальше. Туман сгущается. Мальчик заворачивает за угол и выбегает на…

Сцена 2. Гавань. Раннее утро (сон)

Гавань. Мальчик останавливается. Он запы-

хался. Улыбается. Причалы пусты. Кораблей нет. Концы причальных тросов свешиваются в чёрную, гладкую воду. С фьорда ползёт туман. Лицо мальчика крупным планом. Его глаза. Разочарование. Он едва не плачет. Он делает несколько шагов. Снова останавливается. Озирается. Украдкой стирает слезинку тыльной стороной руки. Вдруг далеко вдали он слышит, как на корабле бьют СКЛЯНКИ. Мальчик прислушивается. Различает, как где-то в тумане перекатываются волны. Он кидается к самой кромке пирса. В текучем тумане размыты очертания паруса. Мальчик кричит что-то, но мы не слышим. Из тумана выходит парусное судно с ледовой обшивкой. Имя корабля АНТАРКТИКА. На штевне стоит МУЖЧИНА в белой форме и смотрит вперёд. Мальчик кричит снова. Он услышан.

МАЛЬЧИК. Папа!

Мужчина на миг поворачивается лицом к причалу. Поднимает руку, улыбается, но медленно мотает головой. Мальчик стоит задрав руку. Теперь он роняет её вниз. И кричит в последний раз. Беззвучно. На его глазах парусник уходит назад в туман. Лицо мальчика крупным планом. Веки изнутри, тонкая, почти прозрачная кожа, крове-

носные сосуды, резкий надвигающийся свет.

Я подбираю листы, вычёркиваю в описании обеих сцен слово сон, потом поступаю так же на экране. Разве фильм сам по себе не один большой сон? Можно ли выделить во сне сон, в волне каплю, в урагане ветер? Эту мысль я стираю тоже. Если паче чаяния найдётся один такой продюсер, что соблаговолит прочитать сценарий, начинающийся сновидением, значит, денег снять кино у него точно нет, а если и есть, то их не хватает заплатить автору, тем более он не склонен это делать, но зато рад пригласить тебя в бар внизу, а после пяти бокалов, за которые ты и расплачиваешься из своего кармана, он предлагает тебе сварганить лучше другую историю, да в пожарном порядке, пока идею не успели украсть, какую идею, спрашиваешь ты устало, ты утомлён, но происходящее ещё забавляет тебя, и он приникает к твоему уху и шепчет похабщину, смысла в которой меньше, чем в надписях в женской уборной, но ты киваешь, а он тычет тебе в ухо языком, наполняя мозг слюнями и дурным запахом изо рта. Звонит телефон. Я не беру трубку. А беру и ухожу гулять и оставляю компьютер включённым, мне боязно выключить его, как ребёнку — свет. На улице зима, начало февраля. Я тоже белый и

пушистый. И поутру зачёркиваю в календаре ещё один день своей длящейся уже давно чистоты, так узник отсчитывает дни до освобождения или повешенья. Святость самообольщения. И гуляю я не из кафе в кафе, а обхожу букинистические лавки, начинаю с самых дорогих, в центре, где за стёклами запертых шкафов аккуратными рядами стоят первые издания и собрания сочинений в кожаных переплётах, где запрещено курить, а сумки надо сдавать на входе, *libri rare,* а заканчиваю проспиртованными комиссионками, где не принимают кредитные карточки, в навозных кучах *трэша* в мягких обложках, и вот в таком букинисте, в «Вольват Антиквариат», приютившемся в одном из бараков на Сёккедалсвейен, я и обнаруживаю свою жемчужину в тот момент, когда хозяин, утомлённый моим часовым уже блужданием вдоль полок, спрашивает устало и нелюбезно, что именно я ищу. — Идеи, которые можно украсть так, что никто не заметит, — говорю я. — Украсть? Здесь не воруют. Прошу вас, уходите, — суровеет он. — Я плачу сполна за всё, что заимствую, — отвечаю я и на этих словах замечаю в разделе «редкостей» рукопись, двести пожелтевших машинописных страниц в папке, на которую наклеена бирка вроде тех, какими в

прежние времена помечали банки с вареньем. Бисерными красными буковками на бирке написано *сценарий, авг.* Прошло двадцать восемь лет, но картинки мгновенно всплывают в памяти и складываются в формулу, которая мне ясна, но непонятна: ножницы плюс мускус равны голоду. От эпизода, который не попал в смонтированную ленту моей жизни, идёт головокружительное амбре. Линейка Барнума вспыхивает как спичка. Это тот самый сценарий, который я однажды спас, не дав ему развеяться по ветру. Я выгребаю хозяину всю наличность и не чуя под собой ног спешу домой или в то помещение, которое я называю домом — комнату с балконом на Бултелёккен, где мы с Вивиан начинали совместную жизнь. Бегом взлетаю по ступенькам, запираю дверь. Переодеваюсь. Выхожу на балкон — красное солнце хиреет над фьордом, морозный туман переползает через город, как передвижная гора. Устраиваюсь за столом. И открываю рукопись. *Рабочий сценарий Хеннинга Ларсена по роману Кнута Гамсуна «Голод» в сценарном переложении Петера Сееберга.* На следующей странице перечислены все действующие лица, от Понтуса до брандмейстера, ниже которого в два столбца — все статисты: велосипедист, трубочист, пол-

ный господин, шесть двойников, всего пятьдесят с лишком. Что удивительно, я едва могу вспомнить их в фильме. Вивиан могла *быть маленькой девочкой (с репликой).* А мы с Педером — *детьми в Ватерланд.* Нет, наверно, двое из нас были *влюблённой парой.* Я раскуриваю сигарету. Сцен на улице вдвое больше, чем сцен в помещении. УЛИЦА ИЛАЯЛИ. На ней мы и стояли. Искусство найти правильное место — половина дела. От балкона сквозит. Я закрываю дверь. За чахлыми деревьями мелькает катафалк, наверняка пустой, думаю я, рабочее время уже вышло, погосты закрыты. Но в голове всё плывёт, я вцепляюсь в стол, стою, держусь. Кредо сценариста звучит так: нервы, связывающие мозг с глазами, в двадцать три раза действеннее тех, что связывают мозг с ушами. Эрго: описывай картины, а не звуки. Я сажусь в высокое кресло, начинаю читать, и меня осеняет. Главный герой здесь — камера. Передо мной тривиальный любовный треугольник с вершинами Понтус, город и камера. Весь сыр-бор из-за неё, неотступной, угрожающей. Она должна бы открывать собой список ролей. — Глаз Божий! — внезапно вскрикиваю я. — Чёрт возьми, это же глаз Бога! — Но тут же зажимаю себе рот. Несостоявшийся статист-анахорет с

мыслями не по ранжиру. Стоит Господу смежить глаза, и нас нет. Я выдёргиваю телефон из розетки и с головой ухожу в новую забаву. Вношу в сценарий исправления и дополнения. Возвращаю нас в фильм. Мы бежим через Дворцовый парк, камера едет по пятам. Я нахожу тот лист, что принёс тогда режиссёру, незамысловатую сцену, подвигшую меня стать сценаристом. Моё решение надуло одним порывом ветра. *ПОНТУС видит маленькую собачонку, она бежит домой по мостовой вдоль тротуара, в зубах мясная нога.* Почтальон раскладывает почту, слышу я. Уже наступило утро. Ночь опять прошла без сна. Снег лежит на балконе как толстое одеяло. Я перечёркиваю в ежедневнике ещё один день чистоты, а потом спускаюсь вниз за почтой. Мне два письма. Толстый конверт от Педера, это билеты Форнебю, Осло — Темпельхоф, Берлин. Самолёт вечером. Педер улетел заранее, чтобы условиться о встречах. Бронь номера в «Кемпински» тоже приложена. Три ночи в «Кемпински» обошлись в копеечку, потянули примерно на четыре опциона на сценарий плюс одна субсидия на проработку идеи. Но Педер говорит, что всё окупится сторицей. «Кемпински» это синоним контракта. Если у тебя здесь достойный номер, а в отельном баре

карточка постояльца, остальное образуется само по себе как по мановению. Не выветривается из Педера оптимизм. Он верит в то, что сумеет сбросить вес, и в меня. Я вскрываю второй конверт. В нём лежит пуговица. И всё. Пуговицу я узнаю с первого взгляда. Её прятала в своей шкатулке Пра. Я холодею. Беру пуговицу в руки. Она почти ничего не весит. К ней прилагается записочка. Буквы полулежат, всего два слова: *Пуговица отца.* Я пристально разглядываю конверт. Пустой, ни моего имени, ни адреса. Видимо, он сам опустил его в ящик. Нет-нет. Это невозможно. Это не может быть правдой. Я подхожу к окну. Снег лежит на балконе как толстое одеяло. Красная птица взлетает с балкона. Я рывком задёргиваю занавески. Линейка Барнума полыхает, да толку чуть. Девяносто процентов знаний мы получаем глазами, пять — ушами, а остальное приходится на боль и запахи. Я комкаю бумажку, сую её в рот и жую. Жую долго, а потом глотаю. Пуговицу вышвыриваю в унитаз и спускаю воду. Одним легчайшим, как крыло бабочки, прикосновением я мог бы удалить всё с экрана, очистить его до блестящего гладкого безмолвия, уничтожить себя. Вместо этого я иду на кухоньку, взбираюсь на табуретку, открываю щиток воздуховода, за-

пускаю внутрь руку и нащупываю то, что сам же и спрятал там от себя, завязавшего самообольстителя, да недостаточно, видно, надёжно спрятал — бутылку беленькой. Сок есть в холодильнике.

ОТКОРМКА
Сценарий Барнума Нильсена

1. Вечер. Кинозал

Мальчик, БАРНУМ, сидит в зале кинотеатра. Ему двенадцать лет. Но он недоросток, ему ничего не видно. Дама с высокой причёской заслоняет обзор. Он пересаживается и оказывается позади мужчины в шляпе. Он меняет место ещё раз. Без толку. Все выше его. Он тянет шею, наклоняется в одну сторону, в другую. Он едва видит экран.

Рекламная заставка. Рекламируется кока-кола, «Аякс», молочный шоколад. В конце концов Барнум забирается с ногами на сиденье, чтобы видеть. Публика потешается над ним. Разгневанный билетёр с проклятиями пробирается между рядов и вытаскивает его из зала. Публика смеётся и хлопает.

Становится темно. Тишина, разбавленная лишь шуршанием шоколадных обёрток На экране возникает название ОТКОРМКА

Начинается фильм.

Мы видим мальчика, ФИЛИПА, тоже чрезвычайно маленького роста. Он стоит у косяка в

детской и измеряет свой рост. На нём только трусы. Плюс ботинки с высокими каблуками. Он тянется вверх, чтобы сделаться выше. Мы видим несколько мерок на косяке, рядом с каждой чертой написаны число и год.

Крик из зала.

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Сними ботинки, карлик! Кто-то смеётся. Остальные шикают на них.

Филип быстро оглядывается, начинает скидывать ботинки, но не успевает справиться с этим, как появляется ОТЕЦ. Это невысокий, чудовищно разжиревший человек, на вид почти квадратный. Он нагибается и подбирает ботинок с высоким каблуком. Затем отвешивает сыну оплеуху.

2. День. Кабинет школьного врача

Филипа измеряют, он в одних трусах. ШКОЛЬНЫЙ ВРАЧ, высокий поджарый мужчина в белом халате, внимательно смотрит на ростомер. Потом переводит взгляд ниже, на ноги Филипа. Мальчик не снял носки.

ШКОЛЬНЫЙ ВРАЧ. Носки сними.

Филип неохотно снимает носки и отдаёт их МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ.

Школьный врач прижимает дощечку ростомера к его голове и снова внимательно смотрит

на цифры.

ШКОЛЬНЫЙ ВРАЧ. Филип, ты поступал плохо?

Филип мотает головой.

ШКОЛЬНЫЙ ВРАЧ. Поступал, поступал. Иначе ты вырос бы, как все.

3. Вечер. Дома

Филип ужинает вместе с родителями. МАМА нервничает и молчит. Отец ест как на убой. Филип смотрит, смотрит на него и перестаёт есть. Блестящий пот заливает отёчное лицо отца и струится по тройному подбородку. Он смотрит на сына и говорит с набитым ртом.

ОТЕЦ. Филип, ты всё больше и больше походишь на меня.

Филип не отвечает, он не отрывает глаз от отца, тот всё жрёт и жрёт.

МАТЬ. Филип, давай тоже ешь.

Мама кладёт ему в тарелку еду. Филип не притрагивается к ней. Он таращится на отца в немом ужасе.

ГОЛОС ФИЛИПА. Я не желаю быть похожим на отца.

Отец рывком поднимает на него глаза.

ОТЕЦ. Что ты сказал?

ФИЛИП. Ничего.

ОТЕЦ. Ничего? По-моему, я отчётливо слышал, как ты что-то сказал.

ФИЛИП. Спасибо за ужин.

МАТЬ. Сначала поешь.

Отец встаёт. Он кажется ещё ниже и соответственно толще. Он сидел на пухлой подушке, которую теперь уносит на диван в углу. По дороге он останавливается и залпом выпускает газы. Мать смущённо опускает голову.

МАТЬ. Папа!

ГОЛОС ФИЛИПА. Тогда-то я и решил — перестану есть. Возможно, взамен я начну расти вверх?

Отец лежит на диване в гостиной, лицо закрыто газетой.

Это страница сообщений о смерти.

ГОЛОС ФИЛИПА. Терять мне, во всяком случае, нечего.

4. Школьный завтрак

Филип вместе с другими учениками сидит за длинным столом. Жестяная кружка молока, морковь, хлебцы, намазанные икрой. Он делает вид, что ест, но не глотает пищу.

5. *Школа. Туалет*

Филип стоит нагнувшись над толчком и блюёт.

В дверь стучат, настойчиво, несколько раз. Филип разгибается и отпирает дверь. За ней стоят самые старшие школьники, они ждут его. Хватают и тянут к писсуару, он снова засорён, и всё льёт через край.

ПАРЕНЬ. Думаете, он умеет плавать?

Мальчишки хохочут. Хватают Филипа за загривок и нагибают ближе и ближе к нечистотам. Наконец его утягивает в слив, сквозь туалетную бумагу.

6. Клоака

Поток несёт Филипа по тёмному каналу под землёй. Он старается удержаться на плаву среди экскрементов, бумаги, мусора и крыс.

7. *Ранний вечер. Улица*

На пустынной улице отъезжает в сторону крышка люка. Оттуда вылезает Филип, мокрый, грязный, обессиленный. Он с трудом встаёт на ноги и шатаясь идёт вдоль домов.

8. Вечер. Ванная

Голый Филип в ванне, он нырнул под воду. В дверь стучат. Он не слышит.

МАТЬ. Филип, ты скоро? Что ты там делаешь?

Ты не глупостями занимаешься?

Филип вылезает из ванны, на цыпочках крадётся к двери, наклоняется к замочной скважине. Приникает к ней губами и дует что есть мочи. Снаружи раздаётся пронзительный вскрик.

9. Вечер. Гостиная

Семья сидит за столом и ужинает. Один глаз у мамы красный, опухший, из него течёт, точно она плачет одним глазом. Отец сидит на подушке и обжирается. Филип прячет еду по карманам.

Отец, как всегда, разговаривает с набитым ртом.

ОТЕЦ. Как дела в школе?

ГОЛОС ФИЛИПА. Это отец виноват, что я такого маленького роста. Хоть бы он умер.

Отец смотрит на сына и отирает рот салфеткой.

ОТЕЦ. Что ты сказал?

ФИЛИП. Ничего.

Отец заталкивает в рот гигантский кусок мяса. Внезапно его лицо наливается кровью. Он ловит ртом воздух. Вскакивает. Мама и Филип лишь таращатся на него, ошарашенные. Отец оседает на пол.

Вдали звонят церковные колокола.

10. Полдень. Часовня

Колокола продолжают звонить. Мама и Филип сидят в первом ряду. Они одни в часовне.

Гроб, очень короткий и необычно широкий, уходит под пол.

Появляется ПАСТОР и берёт маму за руку.

Филип подходит к яме в полу. Украдкой опорожняет карманы: куски мяса, колбасы, пироги, картошка. Всё это он швыряет вниз, вслед гробу. Он наклоняется и смотрит прямо в пламя крематория. И его утягивает в огонь, как раньше в слив писсуара.

11. Крематорий

Филип пробирается сквозь языки пламени. Перед ним вырастает тёмная фигура, не тронутая огнём. Филип останавливается. Это его отец.

ОТЕЦ. Ну что, сын, добился, чего хотел?

Огонь слизывает Филипа.

12. Вечер. Детская

Филип стоит прислонясь к косяку и мерит рост. В комнате за стеной плачет мама. Филип смотрит на результат. Он вырос на сантиметр! Он не помнит себя от восторга.

Мама, вся красная, заплаканная, в трауре, захо-

дит в комнату.

МАТЬ. Как ты смеешь радоваться?! В такой день!

13. Утро. Класс

Учительница, фрекен ШКЕЛЕТА стоит у доски и обводит взглядом класс. Останавливается на Филипе. Он сидит на самой первой парте. Он худой и бледный, скелет коротышки.

ШКЕЛЕТА Как звучит четвёртая заповедь? Филип, ты можешь нам сказать?

Филип встаёт, но тут же в обмороке валится на пол.

14. Утро. Кабинет школьного врача

Филип лежит на кушетке. Врач слушает его. Шкелета и сестра стоят рядом.

ШКЕЛЕТА. Его отец недавно умер. Это чересчур для малыша.

ШКОЛЬНЫЙ ВРАЧ. Мальчика недокармливают. В этом вся причина.

Врач трясёт Филипа, приводя в чувство.

ШКОЛЬНЫЙ ВРАЧ. Тебя дома мало кормят?

ФИЛИП. Нет.

ШКОЛЬНЫЙ ВРАЧ. Ты говоришь неправду, Филип. Врач делает знак сестре, и она идёт к

телефону.

15. День. На улице

Мама торопливо идёт по улице. Внезапно ей приходится остановиться. Перегородив тротуар, люди в белых, заляпанных кровью халатах перетаскивают с бойни в грузовик свиные туши. Мама пережидает, но потом прорывается сквозь них.

16. День. Коридор

Филип в одиночестве стоит под дверью кабинета школьного врача. Он нагибается и заглядывает в замочную скважину. Он видит: мама сидит и слушает, что говорит врач. Она теребит лежащую на коленях сумку.

Внезапно на его глазах кабинет заполняется водой. И превращается в аквариум. Маму с доктором смывает со стульев, они плавают в зелёной воде, изо рта пузыри.

Потом всё меркнет.

И он видит лицо медицинской сестры. Она прижимается губами к замочной скважине, словно целуя его в глаз.

Затем дверь распахивается, и Филип вкатывается в кабинет.

ШКОЛЬНЫЙ ВРАЧ. Мальчика необходимо

немедленно отправить к Вейру Митчеллу!

17. *Утро. Восточный вокзал*

Филип стоит на перроне. С тяжёлым чемоданом в руке. Мама застёгивает молнию на его куртке под самое горло.

ГОЛОС ШКОЛЬНОГО ВРАЧА. Или *откормка,* курс, показанный пациентам ослабленным, истощённым, а также при малокровии, нервных болезнях и в период восстановления после тяжёлого заболевания и позволяющий быстро поставить их на ноги.

Мама обнимает Филипа. Она всхлипывает. Гудок паровоза раздаётся близко и резко. Мама отпускает мальчика. Он заходит в поезд.

Мама всё стоит на перроне. Поезд отъезжает. Она поднимает руку и машет.

ГОЛОС ШКОЛЬНОГО ВРАЧА. Курс рассчитан на двенадцать дней и строится на диете, предложенной профессором Бюркартом.

18. День. Станция «Дал»

Филип с чемоданом в руке вываливается из поезда на перрон. Его тут же берёт в оборот мужчина, КРЕСТЬЯНИН, одетый в национальный костюм.

КРЕСТЬЯНИН. Вот тот мальчик из города, которого надо покормить!

Крестьянин забирает у него чемодан и ведёт к грузовику, закидывает чемодан в кузов, а мальчика подсаживает в кабину.

19. День. Грузовик

Филип сидит рядом с крестьянином, который ведёт машину, насвистывает и время от времени с улыбкой поглядывает на Филипа. На разухабистой дороге грузовик скачет и трясётся. Филип вцепился в ручку на дверце, он видит лишь узкую полосу выше приборного щитка.

Грузовик резко тормозит. Гурт разных тварей, овец, коров, быков, свиней и кур пересекает дорогу. Крестьянин хлопает Филипа по плечу и показывает на них.

КРЕСТЬЯНИН. Филип, их ты и съешь. Всех до одного.

Он выжимает газ и едет сквозь скот.

20. День. Грузовик

Мы видим сверху грузовик, который едет по узкой дорожке между двумя полями, на которых золотые колосья гнутся под солнцем и ветром. На флагштоках на хуторах реет норвежский

флаг. Красивые и здоровые люди машут в знак приветствия.

В кузове лежит чемодан.

Хор мальчиков поёт «Всё в рощах цветёт».

Мы поднимаемся выше, мы уже так высоко, что едва можем разглядеть грузовик посреди ландшафта. Мы исчезаем в облаках, всё превращается в волнистое марево, полная тишина. РУКА разрубает марево надвое. Нас ослепляет бесконечный свет.

ГОЛОС ШКОЛЬНОГО ВРАЧА. Возлюби еду свою как себя самого.

21. День. Хутор

Грузовик въезжает во двор, здесь ждёт ЖЕНА, дородная женщина, тоже одетая в народный костюм. Филип вылезает из кабины. Крестьянин забирает из кузова чемодан и уносит его в дом. Филип подходит к жене крестьянина и здоровается. Она трясёт его руку.

ЖЕНА. Добро пожаловать на хутор, Филип. Наконец жиру нагуляешь.

Она провожает Филипа в дом. В окне второго этажа маячат ДВА ТОЛСТЫХ МАЛЬЧИКА, они смотрят на него.

ГОЛОС ШКОЛЬНОГО ВРАЧА. Первый день.

Шесть тридцать. Пол-литра молока, оно выпивается, медленно, в течение сорока пяти минут.

22. Утро. Хутор

За длинным столом в столовой сидят мальчики и пьют тёплое молоко с пенкой. Одни такие же щепки, как Филип, другие уже округлились. Они рассажены по ранжиру, во главе стола самые толстые, а в конце стола самые худые. Ниже всех Филип. Всё внимание приковано к нему, новенькому.

Жена медленно ходит вдоль стола и кормит мальчиков.

Никто ничего не говорит. Мы слышим только стук приборов. Филип смотрит на тарелку перед собой, она полна с горкой, выглядит неаппетитно. Он зачерпывает ложкой, но не может проглотить еду. Она разбухает у него во рту.

ГОЛОС ШКОЛЬНОГО ВРАЧА. В двенадцать часов суп с яйцом, мятым картофелем и пятьюдесятью граммами мяса. Два сухаря и сливовый компот.

Два мальчика, которых мы видели в окне, АСЛАК и ПРЕБЕН, жирные, сидящие во главе стола, начинают барабанить по столу, сперва робко, потом всё сильнее. Наконец барабанит весь стол. Филип покрывается испариной. Из глаз

бегут слёзы. Его сейчас разорвёт на куски. Стук превращается в адский грохот. Филип склоняется над тарелкой и выдаёт всё обратно.

Опять делается совершенно тихо. Жена стоит за спиной Филипа. Она кладёт руку ему на плечо.

ЖЕНА. Филип, ты должен всё съесть. Иначе Бог рассердится на тебя.

Филип погружает ложку в блевотину, жена гладит его по головке.

23. Ночь. Хутор. Общая спальня

В тесной комнате спят откармливаемые мальчики. Крестьянин идёт вдоль кроватей и проверяет, всё ли в порядке. Мальчики притворяются спящими. Крестьянин гасит свет, выходит и запирает дверь.

Луна светит в окно и отражается в озере.

Глаза Филипа распахнуты, в них страх. Он слышит, что кто-то подходит, зажмуривается.

Аслак и Пребен встают по бокам кровати. Они в одних трусах. Оба раскормленные и дебелые.

ПРЕБЕН (шёпотом). Филип?

АСЛАК (шёпотом). Филип? Иди-ка сюда. Иди.

Филип снова распахивает глаза, напуганный пуще прежнего. Его сдувает с кровати и прижимает к стене. Здесь они пригибают его к полу.

Филип стоит на коленях и трясётся.

ПРЕБЕН. Смотри!

Филип не понимает. Не решается взглянуть. Аслак показывает на дырочку в деревянном полу.

АСЛАК (шёпотом). Туда смотри!

Филип припадает к маленькой дырочке глазом. Он видит: этажом ниже, на кухне у плиты согнулась жена, муж трахает её сзади, по-собачьи, бешено.

24. День. Поле

Все мальчики в поле согнувшись собирают картошку. Филип стоит между Аслаком и Пребеном.

ГОЛОС ШКОЛЬНОГО ВРАЧА. День второй. Массаж, белый хлеб с маслом и картофельное пюре на молоке.

Филип разрывает землю руками. Пребен и Аслак кидаются в него картошкой. Прибегает крестьянин. Отвешивает оплеуху Аслаку и Пребену, которые снова послушно склоняются над грядками.

Крестьянин обнимает Филипа.

КРЕСТЬЯНИН. По-моему, ты уже начал поправляться, Филип.

Пребен и Аслак бросают на него взгляды ис-

подлобья.

25. Хутор. Столовая

Филип сидит один за длинным столом. В него не лезет больше. Он роняет нож с вилкой на тарелку. За спиной немедленно вырастает жена и бьёт его по затылку. Филип давится дальше.

Жена улыбается, кладёт руки ему на плечи и массирует их, пока он ест.

26. Сон Филипа

Филип голышом лежит на глади озера. Лунный свет заливает его лицо. Он спит. Всё тихо. Постепенно вода вокруг него окрашивается в красный цвет, и он медленно начинает тонуть. Филипа охватывает паника. Он открывает рот, хочет крикнуть, но не может издать ни звука, а лишь небыстро исчезает под красной, мутной водой.

27. Общая спальня

Филип рывком садится в кровати. Он шамкает ртом, хватая воздух. Взгляд упирается точно в Аслака и Пребена. Они наклоняются над ним. И шепчут.

ПРЕБЕН. Ты знаешь, кто на самом деле этот крестьянин и его жена?

Филип мотает головой.

ПРЕБЕН. Они поставщики ангелов.

ФИЛИП. Поставщики ангелов?

ПРЕБЕН. Они уносят нежеланных детей в лес умирать.

АСЛАК. Вот поэтому ты и здесь.

ПРЕБЕН. Не настучишь на нас?

Филип качает головой.

АСЛАК. Точно не нажалуешься, выблядок?

Филип таращится на них, онемев от ужаса. Они стягивают его с кровати и снова волокут к дырке в полу. Прижимают к ней лицом. Филип видит: крестьянин стоит, склонившись над плитой, голый, сзади жена, голая, она трахает его.

28. Утро. Столовая

Мальчики стоят у своих мест и хором поют. Крестьянин дирижирует. Они распевают «Всё в рощах цветёт». Бледный Филип молча стоит между Аслаком и Пребеном, которые поют во всю глотку.

Вдруг крестьянин останавливает пение и смотрит на Филипа.

КРЕСТЬЯНИН. Ты не поёшь?

Филип не отвечает. Крестьянин подходит ближе.

КРЕСТЬЯНИН. Ты не хочешь с нами петь? Ты что, лучше нас? А? Ты лучше всех нас?

29. День. Поле

Филип один в поле, он копает. Мы видим его сверху, маленький человечек посреди голого, серого ландшафта.

ГОЛОС ШКОЛЬНОГО ВРАЧА. Дневной рацион увеличивается. Восемьдесят граммов мяса, масло, жареный картофель, почки и мужские яички вкрутую.

Филип смотрит на небо. Начинается дождь. Мальчик швыряет лопату и со всех ног припускает в сторону леса.

30. Ранний вечер. Лес

Запыхавшись, Филип останавливается в чаще, прислоняется к стволу дерева. Ни звука. Он озирается. Никто не преследует его. Он идёт дальше.

И замечает наконец, что лес полон мальчишек Они сидят на земле, полуодетые, синие от холода. Некоторые уже мертвы. Другие ждут смерти.

Филип снова оглядывается. На опушке леса стоят крестьянин с женой, рука об руку, в лучших своих нарядах, и улыбаются ему.

31. Вечер. Хутор

Филип моется в общей душевой, смывает с себя грязь и землю. Он один здесь. Филип провожает глазами грязную воду, она кружится в сливе, как в воронке. Он щупает складки жира на животе.

До него доносится «Всё в рощах цветёт», поют рядом. Филип сразу закрывает воду, псалом раздаётся слышнее. Пение приближается. Филип тянется снять с крючка полотенце. Но не успевает. Перед ним вырастают Аслак и Пребен. Они поют и водят по нему глазами. Потом становится тихо.

Пребен снимает с крючка полотенце.

АСЛАК. Ты что, лучше нас?

ФИЛИП (шёпотом). Нет.

ПРЕБЕН. Полотенце тебе нужно?

ФИЛИП. Да. Спасибо.

Пребен протягивает ему полотенце, но не даёт, отдёргивает руку. Филип стоит голый. Пытается прикрыться руками.

АСЛАК. Ты уверен, что ты не лучше нас, а?

ФИЛИП. Я не хочу становиться толще. А хочу выше.

Пребен и Аслак переглядываются и принимаются хохотать. Потом тянут его за собой в спальню, к дырке в полу. Заставляют его опуститься на колени и тычут лицом в дырку.

Филип видит, кухня пуста. На плите пускает пузыри закипающий чан с водой.

Филип вскрикивает. Крик обрывается. Пребен натуго завязывает ему рот полотенцем. Аслак стоит на коленях позади него.

ГОЛОС ШКОЛЬНОГО ВРАЧА. Тот, кто не соблюдает диеты Вейра Митчелла, попадает в преисподнюю для дистрофиков.

Лицо Филипа искажают боль и страх.

32. Утро. Общая спальня

Филип стоит у окна и смотрит вниз, на двор. Выходят Аслак и Пребен, жирные и вежливые, в парадной одежде, с чемоданами, и жена. Они останавливаются у флагштока, на котором реет флаг.

Во двор въезжает грузовик останавливается. Жена со слезами на глазах прощается с Аслаком и Пребеном. Они забираются в кузов и устраиваются там со своим багажом.

Из кабины с картонным чемоданом в руке вылезает маленький мальчик недоросток, кожа да кости. Это Барнум, которого мы уже знаем, которого выставили из кино. Он напуган и затравлен. Жена сердечно привечает его.

Крестьянин увозит Аслака и Пребена.

33. Утро. Двор хутора

Наконец Барнум вырывается из рук жены. Она наклоняется к самому его лицу.

ЖЕНА. Ну, Барнум, станешь настоящим толстяком.

Она берёт Барнума за руку и ведёт его в дом. Он поднимает глаза на окна. И видит Филипа. Он видит округлившееся от еды лицо мальчика на верхнем этаже, который смотрит на него.

Хор мальчиков поёт: «Бог есть Бог, хоть люди все мертвы».

Барнум упирается, норовит вырваться. Жена затаскивает его в дом.

34. Вечер. Кинотеатр

Билетёр выволакивает Барнума из зала в фойе. На заднем плане слышно фильм, мальчики поют «Бог есть Бог». Барнум вырывается и взбегает по лестнице. Билетёр устремляется за ним, но спотыкается о ступеньку. Барнум распахивает дверь и попадает в узкий тёмный коридор.

Барнум останавливается и оглядывается. Видит столб света, наискось прорезавший темноту. Он идёт в его сторону. Ощупью пробирается на свет, вперёд.

35. Утро. Хутор. Столовая

Филип сидит во главе стола. Теперь он самый толстый. Лицо лопается от жира. Он уписывает еду за обе щеки.

Крестьянин стоит за ним, похлопывает его по спине.

Входит Барнум, прозрачный от худобы, напуганный, и садится в самом конце стола.

ГОЛОС ШКОЛЬНОГО ВРАЧА. Первый день. Шесть тридцать. Пол-литра молока, оно выпивается, медленно, в течение сорока пяти минут.

Барнум смотрит в кружку, там молоко, серое, непроцеженное, с хлопьями жира.

36. Вечер. Кинотеатр

Барнум в середине столба света. Он мечется. Он в панике.

Он пытается сдвинуть полосу света. Машет руками.

Из зала свистят, топают и матерятся.

Мы видим дёргающуюся тень Барнума, почти заслонившую экран.

37. Вечер. Хутор. Общая спальня

Филип стоит у кровати Барнума. Филип голый и толстый. Барнум перепуган, сна ни в одном

глазу.

Филип стаскивает его с кровати, припирает к стене, утыкает лицом в пол.

38. Кинотеатр. Вечер

Барнум открывает низкую дверь. МЕХАНИК, пожилой дружелюбный мужчина, стоит в глубине тесной маленькой каморки, почти чулана, и следит за тем, чтобы плёнка крутилась.

Барнум заходит в каморку.

БАРНУМ. Я не хочу смотреть дальше.

МЕХАНИК. Что ты говоришь?

БАРНУМ. Я не хочу смотреть дальше.

МЕХАНИК. А я думал, ты хотел досмотреть.

БАРНУМ. Больше не хочу.

Механик печально смотрит на него.

МЕХАНИК. Я не могу остановить фильм раньше, чем он кончится. Ты и сам понимаешь.

39. Ночь. Кухня на хуторе

В дырке в потолке виден глаз Барнума. Широко распахнутый глаз прижимается всё плотнее к дырке, всё сильнее, и наконец выскакивает и падает вниз, в чан с кипящей на плите водой.

40. Вечер. Кинотеатр

Барнум присаживается. Механик стоит рядом с бобиной, которую надо будет сменить.

БАРНУМ. Я думал, здесь ты решаешь.

МЕХАНИК. Барнум, ты должен досмотреть до конца.

БАРНУМ. Не хочу.

МЕХАНИК У тебя нет выбора.

БАРНУМ. Я думал, ты Бог.

Механик меняет бобину.

МЕХАНИК. Да, я Бог. К сожалению. Но выбора нет и у меня.

Механик поворачивается к Барнуму.

МЕХАНИК. Ты мне как будто знаком. Я не видел тебя раньше?

БАРНУМ. Разве ты не всех видишь?

МЕХАНИК. Память у меня неважнецкая. Старею, понимаешь.

Механик заглядывает в окошко.

МЕХАНИК. Скорей иди сюда! Бегом!

Барнум подходит к нему и тоже смотрит в окошко. Далеко внизу он видит экран: в поле трудятся дети, весёлые, прилежные, нарядно одетые. Птичьи трели. К ним крестьянин подводит Барнума с большой чёрной повязкой на одном глазу. Он встаёт в ряд работающих, слева от Филипа.

На заднем плане темнеет лес, он похож на вы-

сокую плотную тень.

МЕХАНИК. Понял теперь, кто ты такой.

Механик кидает на Барнума быстрый взгляд, улыбается.

МЕХАНИК. Важно не то, что ты видишь, а то, что ты думаешь, что ты видишь.

Барнум берёт железную коробку из-под фильма и что есть силы запускает ею в голову механика. Тот оседает на пол.

Барнум вырывает плёнку из аппарата. В зале свистят и возмущаются.

41. Вечер. Зал кинотеатра

Чёрный экран, пустой зал погружён в темноту. Зрители ушли. Но остались их вещи: куртки, шоколадные обёртки, зонты, перчатки, ботинок, шарф. Ни звука.

Вдруг на экране возникает дёргающаяся полоска света.

И нам показывают-таки старую, заезженную, чёрно-белую плёнку: дверной косяк в детской комнате. Лесенка из засечек, рядом написаны число и год. Последняя — 04. 09. 1962.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕАТР

(табличка на двери)

Расписал нас гравёр в мастерской на Пилестредет. Мы выбрали медную дощечку, на которой чёрными буквами значилось «Вивиан и Барнум». Я бы предпочёл «Вие — Нильсен», звучит лучше, но не стал перечить Вивиан. Мастер завернул дощечку в коричневую бумагу и положил рядом четыре шурупа. Я расплатился, мы пошли домой и прикрутили её на нашу дверь. Вивиан и Барнум. На почтовый ящик внизу я сразу приклеил бумажку, на которой от руки написал наши фамилии: Вие и Нильсен. То была наша помолвка. А теперь свадьба. *Вивиан и Барнум* значилось на двери квартиры на втором этаже небольшого типового красного кирпича дома на Бултелёкке, вход со стороны улицы Юханнеса Брюнса. Квартиру (комната с альковом и балконом) устроил нам папаша Вивиан. На балконе мы и сидели. Стояла ранняя осень, суббота, воздух был чистый, прозрачный и тёплый. На западе сразу за домами виднелся шпиль Стенспарка, Блосен, мои края, где разворачивается наша история. На юге бле-

стел фьорд, неподвижный и бесцветный, словно уже замёрзший. Я откупорил первую бутылку шампанского и наполнил бокалы. На крохотном газончике внизу копошилась соседка, она помахала нам перемазанной в земле рукой. Я выпил. Вивиан смежила глаза и откинулась назад. Свет стал шафрановым на её лице. Душа у меня пела, радостно, как никогда прежде, впервые хмельная беззаботность и сиюминутное умиротворение, алкоголь и время сплелись в более высокое единство. — Сколько времени человек должен быть пропавшим, чтобы его объявили умершим? — спросил я. — Всю жизнь, наверно, — ответила Вивиан, не разлепляя глаз. Я плеснул в бокал ещё. Выпил. Засмеялся: — Всю жизнь?! Тогда, выходит, без вести пропавшие живут вечно. Так им никогда не умереть. — Вивиан обернулась ко мне. В глазах у неё, неожиданно для меня, стояла усталость. Она сжимала высокий тонкий бокал обеими руками. — Тебе Фреда не хватает? — прошептала она. Я мог бы задать ей тот же вопрос. Вместо ответа я пошёл за новой бутылкой и по дороге назад выпил стаканчик в одиночку. Когда я появился на балконе снова, глаза Вивиан закрывали тёмные очки. Я присел подле неё. Половину балкона накрыла тень. Скоро станет прохлад-

но. — Я хочу ребёнка, — сказала Вивиан. Я осушил бокал. — Хочешь — будет, — ответил я. Взял бутылку и вернулся в комнату. Вивиан разложила диван, постелила, и мы легли. Управились быстро. Действовали, я б сказал, целенаправленно и деловито. После того многолетней давности сумасшествия у Белой беседки во Фрогнерпарке, о котором мы никогда не вспоминали ни словом, ни намёком, в постели мы держали себя скованно и несмело, даже когда я был подшофе. Всякий раз, занимаясь этим, мы словно бы дразнили дьявола, поэтому даже в глаза друг дружке взглянуть не решались. Старались управиться побыстрее, и вся морковь. Хотя чуть уловимый аромат мускуса всё ещё присутствовал. Я долил в бокалы. — Угодил? — спросил я. — Не ёрничай, — оборвала Вивиан. Я засмеялся: — Угодил ли я публике? — Теперь и Вивиан засмеялась тоже. Смешить её мне удавалось до самого конца. Я приник ухом к её пузу, прислушался. Кости да кожа, распаренная. — Ты думаешь, мы заделали ребёнка? — прошептал я. — Может, да, а может, нет, — ответила Вивиан. Я сел. Было холодно. В бутылке ещё осталось чуток. Вивиан перехватила мою руку. — Ты не перебираешь немного с выпивкой? — спросила она. — Не перебираю

немного? — переспросил я. — Да. Ты, считай, один уговорил почти две бутылки. — Учёт ведёшь? — Это не так трудно, Барнум. Одна да одна будет две. — Ты прямо как Педер. — Вивиан отцепила руку. Я снова лёг. — Я пью, потому что я счастлив, — произнёс я шёпотом. Вивиан поднялась и пошла в ванную, где мог зараз поместиться лишь один человек, ну от силы полтора. Вивиан включила душ. Это надолго. Пока суд да дело, я уговорил бутылку до конца. Едва она вошла в комнату, я поднялся с дивана. — Мы не ляжем сегодня пораньше? — вздохнула она. — Мне надо писать, — ответил я. Она повернулась ко мне спиной. На ней было лишь красное полотенце. Мокрые волосы волной лежали на подушке и отбрасывали чёрную тень, которая расползалась всё шире и шире. — Вивиан, не надо мёрзнуть. — Мне не холодно. А ты замёрз? — Нет. Мне хорошо. Погасить свет? — Хорошо бы. — Я выключил «тарелку» над кроватью и сел за узенький письменный стол, который нам с трудом, но удалось втиснуть у окна, между полками и балконной дверью. Я зажёг себе лампу, но сколько ни опускал её поближе к своей писанине, она заливала светом всю комнату. Вивиан натянула одеяло на голову. Теснотища у нас. Лишь две картинки

на стенах: фотография Лорен Бэколл и афиша «Голода». Внезапно я подумал о городочке. Что я наконец повзрослел и живу в махонькой квартирочке. Я если и не стар, то, во всяком случае, перешагнул первый рубеж, идущий параллельно меридиану невинности, за которым смех меняет свой цвет. Хотя многие до сих пор не дают мне и двадцати, принимают за тинейджера, потрёпанного разнузданной жизнью, и дело доходит до того даже, что меня не пускают на «взрослые» фильмы, требуют документ. Я перестал ходить на такие картины после того, как меня остановили на «Сиянии». Педер тогда чуть не умер от хохота. Ещё дольше меня не обслуживали без удостоверения личности в барах. Но и это в прошлом. Если подойти ко мне поближе и присмотреться, абстрагировавшись от моих кудрей и малого роста, который я под хорошее настроение называю своей непроявленной длиной, то в лице ясно видны безошибочные приметы возраста. Вивиан уже уснула. Я частенько завидую её сну. Меня ждёт другое. Я приготовил инструмент: 400 страниц бумаги из магазина «Андворд», линейку, карандаш, три ручки, «Медицинский справочник» доктора Греве, резинку, замазку и пишущую машинку, подаренную мне Фредом. Пошёл на

крошечную кухоньку и отхлебнул из маленькой бутылочки. И в голову мне пришла мыслишка с горошину размером: «Городочек», часть вторая — ну или полуторная. Подружкой карлика, живущего в самом тесном в мире общежитии, становится самая высокая женщина на земле. Я опорожнил ещё маленькую бутылочку, сварил себе кофе и вернулся за стол. Достал блокнот, в который записываю свои идеи. Такие, например: 1. *Смех и плач — человеческое в свидетельствах Барнума. 2. Плавательный бассейн. 3. Пересечения со знаменитостями, как реагировал. Битлз, Пер Оскарссон, Шон Коннери и т. д. 4. Откормка. 5. Тройной прыжок. 6. Ночной палач.* Это мои рабочие заголовки, то, что я пишу для памяти, тщательно, с подробными комментариями, отсылками, диалогами, списками действующих лиц. И вот самый расчудесный миг — я заправляю лист в машинку или, чтоб не разбудить Вивиан, заношу над бумагой карандаш. В эту секунду я сам себе вседержитель. Господин над собой и над временем. Темень пришкварилась к окнам. Внизу, в городе, мечутся огни. Идёт дождь. Кто-то гоняет на всю мощь *Sex Pistols.* На Бултелёкке орут коты. И вдруг всё стихло, лишь мерно сопит Вивиан, двигатель наш. Это моё время. Свои исто-

рии я должен сделать не занудными и низкими, а высокими, выше зарубок на косяке двери, выше меня. Вы думаете, я слишком на многое замахнулся? Видите ли, сейчас, когда перо приближается к бумаге или палец — к затёртой клавише разбитой клавиатуры, мне нет преград. И всё возможно. Я царь и Бог. В эту секунду, в миг неопределённости, медлящий, как капля на соске ржавого крана или на лепестке розы, я весомее своих килограммов и больше собственных мыслей, мои полномочия не ограничены моими возможностями, и капля эта может породить море. Вивиан повернулась и застонала негромко. Может, приснилось что. Может, подумал я, новый человек растёт в ней, моя клетка, её яйцо, думал я, яйцеклетка, черты, в зачатке уже существующие в теплоте её лона, мальчишечья складка между бровями, девчачья ямочка на щеке, детское сердечко. У доктора Греве *Оплодотворение, акт, в ходе которого созревшая яйцеклетка обретает способность породить нового, самостоятельного индивида, строго предшествует Погребению, закапыванию трупа в землю для его разложения и превращения в перегной.* Карандаш упёрся в *Ночного палача.* Я написал начало сцены: *МАЛЬЧИК, худой и бледный, восьми лет, бежит по улицам.* Закрыв глаза,

я без труда видел его, как он бежит по пустым улицам безлюдного города, рано утром, в старомодной одежде, я слышал его дыхание, тяжёлое, и музыку, поскольку такая сцена невозможна без музыки, что-нибудь в синих тонах, медленное, симфоническое. Куда его несёт? Бежит, значит, боится опоздать, пропустить — что? Я отложил карандаш. История всё ещё мне не по зубам. Я не дозрел до неё пока, до моего главного дела жизни, этой глыбы, посвящённой проблеме неприсутствия, отсутствия. Я записал слово на полях и подчеркнул. Неприсутствие. Что писать, я знал, но вот в какой последовательности? А это соль повествования — последовательность: выстраивание событий в ряд, что поставить именно сейчас, нелепая логика, не касающаяся причин и следствий, а имеющая отношение к другому измерению бытия, поэтика хронологий. Нет, я не дорос ещё до этой вещи. И мне предстояло расти вместе с ней, тянуться, тянуться и превзойти себя самого и свой мандат, стать сам-себе-сверхчеловеком. Я заполню пустоту неприсутствия и тем самым расколдую его: Фред, который рыскает где-то уже десять лет, Вильхельм, наш прадед, сгинувший во льдах; муж Болетты, неизвестно кто; чёрный отцов материк пропавший кусок его

жизни, зазор между тем, как он покинул цирк с чемоданом аплодисментов, и тем, как он пронёсся вверх по Киркевейен на жёлтом блестящем авто. И Педера, не забыть этого отсутствующего, он изучает экономику в университете в Лос-Анджелесе. Возможно, мальчик бежит что есть духу на встречу с ними, со всеми этими людьми? Я достал пива и, стараясь не шуметь, вышел на балкон. Высмотрел Блосен. Там любила посидеть Пра, и вот к ней туда пошла Вера, наша мать. У меня появилась новая идея, я срочно вернулся в комнату записать, пока не забыл, этот мой навязчивый кошмар: забыть дельную идею. Я написал: *Места. Истории о людях, привязанные к определённым местам. Напр., Пра и Блосен; Болетта и «Северный полюс»; Эстер и киоск. Внутренний двор. Место становится местом, когда человек оставит в нём след. Человек не человек, покуда у него нет своего места.* Не в таких ли *местах* обретаются наши воспоминания? А моё место — оно где? Я не знал. И может ли считаться местом — время? Под сенью секунд, на постое у часов? Мне хотелось иметь собственный угол во времени. Я написал внизу, крупными буквами: *Места погребения.* А это чьи места? Я полистал блокнот и вернулся к старой, хоро-

шей идее: *Тройной прыжок.* Идеальная техника. Я мечтал бы выстроить собственную поэтику по его подобию. В тройном прыжке последовательность действий неизбежна и непреложна: быстрый разбег, плавный толчок, упругие касания земли, прыжок на одной ноге, шаг и мощный последний, сумасшедший, прыжок в яму, причём ноги в момент приземления выпрастываются вперёд почти невозможным и оттого ещё более прекрасным движением. Я вспоминаю историю тройного прыжка: на протяжении веков техника его оттачивалась и шлифовалась, но структура оставалась неизменной — прыжок на одной ноге, шаг и финальный прыжок, сущная троица прыжка. Особенно меня занимает разбег, здесь закладывается основа, неудачный прыжок виден уже в момент разбега. Я почти уверен, что где-то должны храниться съёмки разных тройных прыжков с соревнований в Норвегии и за границей, эти кадры могут пролить свет на значимость и многотрудность тройного прыжка. После многих сомнений и колебаний я решился сделать главным героем домоуправа Банга, хромого рыцаря тройного прыжка. Вот какая картинка представляется мне: пожилой домоуправ натаскал во двор песка и обустроил прыжковую яму.

Теперь все собрались посмотреть, как он прыгнет. Дело происходит весной, ближе к вечеру, мы торчим изо всех окон и стоим на лестницах, а также вдоль дорожки для разбега, узкой и посыпанной щебнем, мы хлопаем в такт и скандируем; наконец, встречаемый восторженным рёвом, появляется сам Банг, в старых-престарых шортах и жёлтой майке, сосредоточенный и колченогий, он касается планки и отталкивается, со стоном, но в этот самый момент я бросаю его, оставляю висеть в воздухе, а сам возвращаюсь к началу, к рождению тройного прыжка. Кому первому пришло в голову прыгать таким макаром?

Я лёг, когда Вивиан встала. Она надела спортивный костюм и была такова. Только шаги торопливо спустились по лестнице. За полчаса её отсутствия я так и не заснул. Затрезвонил телефон. Или это в церкви? Звонил папаша Вивиан. — Я могу с ней поговорить? — спросил он. — Она бегает, — ответил я. Он замолчал. — Я только хотел напомнить ей о сегодняшнем ужине, — сказал он наконец. Голос его звучал глухо, словно он положил трубку и ушёл в соседнюю комнату. — Алло? — прошептал я. — В семь часов, — сказал папаша Вивиан, приблизившись. — В семь часов, — повторил я. — Хорошо.

Так и договорились. — Договорились, — повторил я. Голос его изменился, зазвучал почти доверительно. — А ты не бегаешь? — Вивиан любит бегать одна, — ответил я. Он всё не клал трубку. Я слышал дыхание Вивиан, поднимавшейся по лестнице. — У вас всё хорошо? — внезапно спросил он прежним мягким голосом, оставлявшим ощущение неестественности, как когда человек пробует завербовать себе друга. — Мы вчера купили табличку на дверь, — ответил я. Он повесил трубку. Вивиан повернулась ко мне, мокрая, хоть выжимай. — Там дождь? — спросил я. — Я вспотела, — ответила она. — Сделаем ещё ребёночка? — Мне надо сделать растяжку. — Она вцепилась в перекладину дверного косяка и повисла так. Тонкие пальцы держали её на весу. В этой картинке было нечто противоестественное, похожее на недоразумение с Бангом, которого я посреди прыжка бросил болтаться между небом и землёй, как бы в своего рода чистилище, точно как Фред бросил нас в чистилище времени. Я забылся сном, коротким, тяжёлым и бессмысленным. Когда я очнулся, Вивиан завтракала на кухне. Пахло кофе, жареным хлебом, мармеладом. Я лежал и наблюдал за ней. Нет, это не чистилище. Это обыденность, которую мы пола-

гаем вечной данностью и потому забываем. Один миг из миллиона таких же заурядных, тихих, в которые ничего не происходит, тем более обычных для воскресенья, и пусть бы так оно всегда и шло, подумал я. Но потом решил, что этот миг всё же нельзя считать совсем обычным. Это наше самое первое утро. Я вытащил из-под подушки припрятанный там свёрточек и пошёл к ней. — А для меня местечко найдётся? — спросил я. Вивиан подняла на меня глаза и ответила: — После меня. — Но я всё-таки сел. Она налила нам кофе. — Написалось что-нибудь? — Никак не могу определиться, — ответил я. — Определиться? — У меня слишком много задумок, Вивиан. — А это мешает? — Мешает, потому что я не двигаюсь вперёд. Всё время хватаюсь за новую идею. Я сам не знаю, чего хочу. — Вивиан пододвинула мне корзинку с хлебом. — Мне кажется, ты всё равно пишешь об одном только Фреде, — ответила она тихо. Эти слова легли против шерсти. Она права. Я положил перед ней свой свёрточек. Вивиан удивлённо воззрилась на меня: — Это что? — Утренний подарок, — ответил я. Вивиан покачала головой: — Я и не подозревала, что ты такой предусмотрительный! — Она улыбнулась. Я кивнул. — Ты имеешь в виду мещанство? — Я имею

в виду предусмотрительность, Барнум. — Открывай! — закричал я. Вивиан открыла коробочку. В ней лежало простое золотое колечко. Она бережно вынула его. — Мама хочет, чтоб оно было твоим, — сказал я, а когда увидел, как Вивиан надевает колечко на тонкий палец, меня озарила новая идея, я увидел скачок во времени, тройной прыжок: это кольцо однажды подарила маме Рахиль, а теперь я подарил его Вивиан, и в этом кругу, в этом маленьком кружке, сложившемся вокруг колечка, я учуял историю гораздо большего размаха, и перед глазами у меня замаячили картинки: ворох украшений, снятых нацистами с евреев, прежде чем отправить их в газовые камеры, эта куча должна была пополниться колечком Рахили, но она сумела расстаться с ним до того; комната, забитая женскими туфлями и мужскими ботинками, и за кадром слова мамы, что я *до сих пор слышу, как эти шаги уходят из моей жизни.* Это надо было срочно записать. Я трепыхнулся встать. — Спасибо, — прошептала Вивиан. И я остался сидеть как сидел. Накрыл её руку своей. Всё, к чему я ни прикоснусь, обращается в идеи.

Попозже днём, в то воскресенье мы вышли прогуляться. Мы брели, взявшись за руки. Де-

ревья обтрясали с себя последние листья. На улице не было никого, кроме хозяина безобразного чихуа-хуа и запыхавшихся любителей оздоровительного бега. Даже они оборачивались поглазеть нам вслед. Мы были пара наоборот. Я убрал платформы в шкаф. И ходил исключительно на высоких каблуках. За ночь наступила осень. Горожане сидели по домам и убирали на зиму летнюю одежду. Я пребывал в престранном настроении. Всё из-за кольца. Глупо было отдавать его Вивиан. Я уже раскаивался. Надо мне было купить ей другое колечко, сокрушался я, или серьги. Таблички на двери хватило бы с лихвой: Вивиан и Барнум. Куда больше? Нет, поди ж ты, я оказался неуёмным. Это кольцо оттягивает ей руку. Вивиан ткнулась лбом мне в плечо. — Спасибо, — повторила она. — Ты ему идёшь, — прошептал я.

Мы поднялись на Блосен и сели там, наверху. Стая голубей взлетела с крыши и рассыпалась кто куда. — Твоё место где? — спросил я. — Что это значит? — У всякого человека есть его место. Блосен был местом Пра. — У меня нет места, — ответила Вивиан. Я засмеялся: — Конечно у тебя есть своё место! Оно у всех есть. — Ни с того ни с сего Вивиан взвилась: — А может, я не желаю

иметь никакого места! — крикнула она. — Как знаешь, — ответил я и зажёг спичку. Вивиан задула пламя. — Барнум, сказать, где моё место? Сказать? На том повороте, где папаша вылетел с дороги и родилась я. — Я сунул сигареты назад в карман. Её выбор меня совершенно не устроил, надо будет подобрать ей другое место, не отягощённое трагедией. — Ты не забыла, что в девятнадцать ноль-ноль мы приглашены на ужин? — напомнил я. Вивиан зарылась лицом в ладони и простояла так минут десять, не меньше. Стало смеркаться. — Я не пойду, — сказала она. Но мы всё же пошли на «званый обед у Дракулы», как Вивиан потом стала называть эти мероприятия. По дороге мы заскочили в «Крелле», и даже Вивиан не отказалась от пива. Я заказал ещё по кружке. Здесь меня обслуживали, не требуя доказывать возраст. — А где твоё место? — спросила Вивиан. — Угадай. — Она выпалила не задумываясь: — Дерево на площади Соллипласс. — Оно не моё, а наше, — ответил я. По лицу Вивиан скользнула тень, возможно, эта тень перетекла с меня. Тень по имени Педер. — Кино «Розенборг», — прошептала она. — Теплее, — ответил я. Она прильнула ко мне. — Барнум, я знаю. Городочек! — Я поднял кружку и выставил её вперёд,

чтобы чокнуться. — Ответ правильный! — Вивиан подняла и свою кружку. — А к чему нам эти места? Расскажешь? — Я поставил свою кружку на стол. — Они дают нам цельность, — промямлил я тихо. Вивиан не ответила, замолкла. Голоса вокруг гремели громко и назойливо. Кто-то стукнул по столу. Я закурил: — Об этом я и пишу. О местах, где мы обретаем цельность. — Я взял её за руку, обод кольца натёр кожу. Вивиан взметнула на меня глаза: — А где место Фреда? — Я пожал плечами: — Может, его он и ищет. — Я отнял свою руку, отхлебнул пива. — Ты скучаешь по Педеру? — спросил я. Она могла бы задать мне тот же вопрос. Но просто удалилась в уборную. Я остановил официанта и забрал с его подноса пол-литровую кружку. Городочек. Моё место в жизни. Там констебль в огромных крагах выделил меня из ряда вон, там я перестал расти. И там же мне пришёл в голову мой самый первый сюжет, и я записал его. Городочек — это и место, и время, его не объехать, не обойти. Неожиданно на стол передо мной спланировала листовка. *НЕТ ПРОДАЖЕ НОРВЕГИИ! Факельное шествие от Юнгсторгет 20. 9.* Я поднял голову. Неулыбчивый парень смотрел на меня сверху вниз. — Норвегия, это тоже место, — сообщил я. — Ты

студент? — спросил парень. — Нет, я торгаш. — У парня возникли подозрения: — Торгуешь? — Так точно. — А чем? — Ничем. Только сливки снимаю. — А сливки с чего? — С шоколада, соков, сосисок, газет и сладостей. — Парень грохнул кулаком по столу, с нетерпением и презрением: — Продажный торгаш-капиталист! — Хотя тоже угнетённый, — сказал я. Парень отдёрнул руку, он был сбит с толку. — Угнетённый торгаш? Не смеши меня! — Я встал из-за стола. Даже на высоких каблуках я был ему по грудь. Он не смеялся. А я, пока стоял так, дыша ему в пупок, задался новым вопросом. — Референдум уже прошёл, причём четыре года назад, — сказал я. Парень снова завёлся: — И что с того? Какое это имеет отношение к делу? — Он сунул листовку в карман и вышел, лавируя между официантами. Я сел, Вивиан, к счастью, уже вернулась за стол. — Надо их посылать, — сказала Вивиан. — Кого? — спросил я, не совсем её понимая. Вивиан легла грудью на скатерть и ответила: — Рукописи. Тебе надо показать их кому-нибудь. — Я пока не готов, — ответил я. И тогда Вивиан положила передо мной объявление, вырезанное ею из газеты. Киностудия «Норск-фильм» проводит конкурс сценариев. Принимаются как полностью готовые сценарии,

так и синопсисы. Идея показалась мне страшной. Меня пугало, что меня раскусят, прочитают всё, что я написал, и отвергнут. А так я мог по-прежнему мечтать и чувствовать себя королём положения хотя бы в рамках линейки Барнума. Я закрыл глаза. Работы принимаются до первого марта. — Какое сегодня число? — спросил я. — Двадцатое сентября, — ответила Вивиан. И мне пришло в голову, что припусти мы сейчас бегом, так сумели бы, наверно, нагнать на Юнгсторгет факельное шествие четырёхлетней давности. Я открыл глаза: — Сначала я хочу показать их тебе, — сказал я. — Ты был где-то не здесь, — прошептала Вивиан. Я засмеялся: — Отлучился пописать, и всё. — Она тоже засмеялась: — Ты правду говоришь? Ты мне их покажешь? — А кому ж ещё? — Вивиан отглотнула пива из моего стакана, я любил её такую, когда она, раздухарясь, выпьет, размякнет, даже и улыбнётся, и наконец-то мы окажемся настроены на один часовой пояс, а не как те часы в отеле, где Вивиан как будто Токио, а я — Буэнос-Айрес. Сейчас мы пили и смеялись в такт, и тем тяжелее показалась тишина, когда папаша открыл нам дверь и мы следом за ним пошли вниз, так уж мне говорится — вниз тёмной квартиры; Вивиан откололась от

нас сразу же, ещё в прихожей, и ушла к матери в спальню, а я опустился в глубокое кресло в библиотеке, папаша налил виски в два стакана, с грохотом насыпал туда льда и придвинул свой стул. — Пора нам поближе познакомиться, — сказал папаша. — Да, — прошептал я в ответ. Хотя в комнату почти не пробивался свет, всё же я почувствовал, что он смотрит на меня и что у него тяжёлые, буравящие глаза. — После несчастья мама Вивиан выбросила все зеркала, которые у нас были. Но однажды в дверь позвонили. Она открыла, на пороге стояли дети. Они держали перед ней зеркало. С тех пор она больше не выходит. Ты можешь представить себе, чтобы дети были настолько злы? — Я покачал головой. Папаша поднёс стакан ко рту. — Вот ты пробуешь себя в писательстве. Ну и что ты скажешь о такой истории? — Я смотрел себе под ноги. — Хорошая история, — сказал я. Кубики льда застучали. — Хорошая? Барнум, так ты сентиментален? — Вряд ли. — Раз *вряд ли,* тогда ты должен бы знать, что истории не бывают хорошими. Они бывают правдой и неправдой. — Папаша сделал ещё глоток виски и глубоко вздохнул. — Что говорит об аварии Вивиан? — Говорит? — Папаша порывистым движением долил себе, а мне — нет, хотя мой

стакан был пуст. — Она наверняка рассказывала, что произошло? — Я оглянулся на приотворённую дверь. Вивиан не шла к нам. Она не хотела заходить, пока не кончится этот разговор. — Всё случилось до её рождения, — ответил я и пожалел о своих словах прежде, чем произнёс их до конца. Папаша наклонился ко мне, и я разглядел подобие улыбки. — У всех есть свои версии, Барнум. Кто-то что-то слышал. Кому-то что-то приснилось. Ты меня понимаешь? — Я сполз на стуле пониже: — Она сказала, что на повороте вы потеряли контроль над машиной и она вылетела в кювет. — Папаша вздохнул: — Барнум, потерять контроль над «шевроле-флитлайн-делюкс» невозможно. — Он поднял руки, словно взялся за руль. — На повороте нам в лоб вылетела другая машина, — прошептал он. — «Бьюик» с открытым верхом. Он шёл на очень большой скорости и залез на мою полосу. Мне пришлось дёрнуться в сторону. — Папаша покрутил руками, топнул ногой об пол. Потом руки упали на колени. — Так всё и произошло, — сказал он. — Я избежал столкновения, но погубил свою семью. — Он медленно поднял стакан. Считается ли, что теперь мы познакомились поближе? Узнал ли я, каков он есть? Мне хотелось выпить ещё, но я не

решался взять бутылку. — И та, вторая, машина не остановилась? — спросил я. Папаша помотал головой, внезапно голос сделался неузнаваем, что-то в нём перекрутилось и порвалось. — Эта свинья, чёрт его дери, покатил себе дальше! — И тут в дверь позвонили. У меня зашлось сердце, его стиснуло так больно, что жуть как приятно. Педер?! Я прислушался. Кто-то открыл дверь, понятно, Вивиан, теперь они наверно обнимаются с Педером, я тоже хочу к ним, в эти объятия! Папаша сидел сиднем. Он положил руку мне на колено. Хоть бы убрал поскорей. — Ну вот, теперь ты знаешь, — произнёс он прежним голосом, плоским, бесстрастным, как глубокая прорезь во рту. — Что? — прошептал я. — Правду, Барнум. — А я ну прямо слышал Педера, откуда-то издалека, из другого места и времени и в то же время совсем рядом: *Может, да. А может, нет.* Папаша поднялся: — Мы никогда не говорим об этом, — сообщил он. — Никогда. — В дверь осторожно постучали и приоткрыли её. Пожилая седовласая женщина в белом переднике и чёрной юбке заглянула и присела в книксене: — Господин Вие, к вам гость. — И она так же молниеносно исчезла в темноте. Следом за папашей я пошёл в гостиную. Там стоял гость. Моя мама. Она навела на себя

марафет. Вид у неё был потерянный. Папаша взял её руку в свои ладони. — Вас бросили одну? Премного извиняюсь. Мы с Барнумом беседовали о жизни и забыли обо всём на свете. — Не беспокойтесь, — прошептала мама. — Спасибо, что вы так быстро откликнулись на приглашение. — Мама улыбнулась: — Это я должна поблагодарить вас. И видимо, мы должны перейти на «ты»? — Папаша закивал, выпуская её руку. — Пойду схожу за своими девочками, — сказал он и стремительно скрылся в прихожей. Я повернулся к маме: — А чего ты не позвонила? Пошли бы вместе. — Потому что меня позвали десять минут тому назад. Когда вы уже ушли. — А Болетту не позвали? — Болетта устала. Ты выпил? — Откуда ни возьмись появилась пожилая женщина, горничная, с подносом, и я успел выпить сухой «Мартини» раньше, чем она вышла из комнаты. — Нет, — ответил я на мамин вопрос, она вздохнула и стала озираться по сторонам. — Как они могут жить в таком мраке? — Они ненавидят солнечный свет. — Тише! — Я вспомнил то, что рассказал мне папаша, правду о катастрофе, как он выразился. Не для того ли он пригласил нас сюда, чтобы вывести на чистую воду истинных виновников? Мама должна помалкивать о «бьюике». Я выпил слишком

много и чувствовал, впервые в жизни, что этого мало. — Какого чёрта им надо? — прошептал я. — Они желают быть обходительными. Мы ж теперь, считай, одна семья. — Я засмеялся: — Одна семья? — Мама схватила меня за локоть: — Барнум, держи себя в руках. — Вернулся папаша. Он привёл с собой Вивиан. Увидев маму, она обрадовалась и занервничала. Чмокнула её в щёку: — Вера, спасибо огромное! — Мама взяла её руку и потрогала кольцо. — Оно тебе идёт. — На меня взглянул папаша: тот же брезгливый рот, палец, которым он быстро провёл по губам. Я не мог быть уверен в нём. Наконец он перевёл взгляд с меня на Вивиан: — Ты закончила с Анни? — Вивиан кивнула. Папаша улыбнулся: — Отлично. Тогда к столу! — И он распахнул белые двери в столовую. Она сидела на дальнем конце стола, в тени канделябров и смотрела прямо на нас. Вивиан потрудилась на славу. Лицо было гладким, с ясными и чистыми чертами, золотой срез, она походила на картину в обрамлении темноты, но поскольку мне пришлось сесть рядом с ней, я увидел под гримом, под этой красивой глазурью то прежнее лицо, которого время коснулось в последний раз в тот момент, когда его черты размазались о лобовое стекло. Всё остальное было

маской, которую она носила даже с достоинством, бывшим, возможно, упрямством. Пожилая горничная подавала нам. Я не помню, чем нас кормили. Чем-то невообразимым. Есть мне не хотелось. Я пил. Вивиан держал нож с вилкой забавным манером, зажав в кулаках, как невоспитанный ребёнок. Я впервые обратил на это внимание. Кольцо туго сидело на пальце. Видел я только наши руки, десять рук, пятьдесят пальцев, все разные, моя рука, подносящая бокал к губам, вино, красное, каждый глоток бьёт по мозгам как распаренный пыльный мешок. И меня пронзает мысль, что и этим рукам должно найтись место в изысканиях Барнума о человеческом, я весь во власти этой мысли, но мне не на чём её записать, и выйти из-за стола я тоже не решаюсь, боюсь, как бы за мою отлучку не стряслось чего-нибудь катастрофического. Папаша откладывает нож и вилку и чокается с моей мамой. — Меня не оставляет чувство, что я видел вас и раньше, — говорит он. Мама улыбается: — Так мы же виделись, на премьере «Голода». — Нет, нет. Когда-то гораздо раньше. — Папаша ставит бокал на стол. Мы словно накрыты покровом, плёвой, которая может порваться в любую секунду. — Где бы это могло быть? — громко вмешиваюсь я и хохочу нарочи-

то. Но меня никто не слышит. Бокал мой пуст, а папаша смотрит через стол на мать Вивиан. — Анни, ну где мы видели маму Барнума? — Она медленно поворачивается к Вивиан и так же неспешно говорит. — А вы собираетесь жениться по-настоящему? — Вивиан делает вдох: — Что значит *по-настоящему?* — Ты прекрасно, понимаешь, что я имею в виду. Венчание в церкви, конечно. — Вивиан оглядывается на меня: — Я и Барнум, мы считаем, что Бога нет. Поэтому мы доверили обвенчать нас гравёру. — Её мать ухмыляется. И удостаивает взгляда и меня тоже. Грим у неё на лице пополз трещинками. — А я-то всегда думала, что у Вивиан сложится с Педером. — Вивиан отодвигается от стола, грохоча стулом: — И почему ты думала так, мама? — Потому что вы отличная пара. — Папаша резко наклоняется к моей маме, у него вид ищейки, напавшей на след, который она не намерена потерять, вид человека, вспомнившего фрагменты ночного кошмара. — А кем работал ваш муж? — спрашивает он. — Он работал клоуном и торговал, — отвечает мама. Повисает тишина, только мелькают наши руки, стучат приборы, зубы разжёвывают пишу. Потом папаша задаёт следующий вопрос: — У вас был ещё один сын и он исчез, да? — Мама расправляет

плечи. — Он не исчез, — отвечает она. — Просто пока не вернулся. — Их разговор ведётся только в прошлом, с изумлением понимаю я, ничто из сказанного не толкает повествование вперёд, дальше, беседа не льётся, а стоит, как стоячая вода. Здесь, в этой комнате, в этом зале, есть только былое, но даже о нём нельзя говорить прямо. Но тут мать Вивиан неожиданно разудалым пьяным движением кладёт ладонь дочери на руку, грим сползает со рта, и обнажается шрам, он похож на грубый шов, идущий наискосок лица, словно оно сшито из двух совсем разных материй, не подходящих одна к другой. — Вы и детей собираетесь завести? — спросила мать. Вивиан отдёрнула свою руку, и ладонь её матери осталась лежать на столе, между тарелками, приборами и бокалами, она вздрагивает, будто дышит, а потом раз — и тоже исчезает, лишь остаётся отпечаток на скатерти, тёмная тень на белом. — Нет, — отвечает Вивиан. — Я не хочу никого этому подвергать. — Подвергать чему? — шепчет мать. — Детству, мама. — И с этими словами Вивиан вскакивает и уходит из столовой прочь. Она оставляет в зале гнетущую тишину. Мама бьёт меня по ноге. Я встаю и иду за Вивиан. Она сидит на кровати в своей старой детской, где всё осталось, как было,

за исключением портрета Лорен Бэколл, вместо которого на стене теперь чёрный прямоугольник, как бы негатив. Я кладу голову ей на колени. — Не могла просто сказать «да», — говорю я. — Зачем? — «Да» короче, чем «нет». — Ошибаешься, Барнум. «Нет» всегда короче «да». Должен бы знать. — Я целую её. — Пойдём к ним назад или пойдём домой? — А ты как считаешь? — Мне жалко, что они там одни, — отвечаю я. Вивиан поднимается. — Будем разыгрывать из себя счастливых, а, Барнум? — спрашивает она. — А ты разве не счастлива? — спрашиваю тогда я. Вивиан улыбается: — Не здесь, — отвечает она.

К слову сказать, это был последний раз, что мы ужинали у родителей Вивиан. Мама взяла такси домой, к Болетте. Вивиан хотела пройтись. Мы остановились перед домом Педера. На первом этаже горел свет, но увидеть мы никого не увидели. — А ты тоже думала, что останетесь вы с Педером? — спросил я. Вивиан чуть помешкала с ответом: — Нет, я думала, что останетесь вы с Педером, — сказала она. Мы пошли дальше вверх по Тидемансгатен, и мне б хотелось, чтобы в этой сцене мы заодно переходили из одного времени года в другое: когда мы сворачиваем за угол и на первом этаже у Педера гаснет свет, ещё осень,

на Весткантторгет мы вступаем в зиму, по мере приближения к Бишлету начинается весна, а на Бултелёкке уже лето вовсю, ещё одно лето, я открываю окна, напускаю воздуха, я беру тряпицу, выхожу на лестницу, где как раз шаркает выкинуть мусор соседка, и стою надраиваю до блеска нашу дощечку: Вивиан и Барнум. Я слышу её за спиной. Она бесшумно подкралась по ступенькам и теперь закрыла мне глаза руками. Я смеюсь. — Я была у врача, — шепчет она. — У врача? Ты заболела? — Я абсолютна здорова. Барнум, давай и ты пройдёшь обследование. — Она отнимает руки от моих глаз. Но я остаюсь стоять спиной к ней. — Вивиан, ты уверена, что хочешь ребёнка от меня?

(полутьма)

— Спасибо! — Маленький воспитанный мальчик говорит «спасибо», принимая от меня пятьдесят эре. Он зажимает в кулаке блестящую монетку, а в другой руке держит красный пакетик с замороженным соком. — Тебе не за что говорить «спасибо», — объясняю я. И треплю его по макушке. Он отстраняется. — Чего? — шепчет он. — Это деньги чьи? — спрашиваю я. — Чьи? — Ну полтинник этот — он чей? — Мальчик посильнее

стискивает пальцы: — Полтинник мой! — То-то и оно, — продолжаю я, — поэтому тебе не за что благодарить и говорить «спасибо». — Мальчишка перебегает на ту сторону дороги, останавливается под берёзами и оборачивается. — Дурак! — кричит он. Стоя на ящике из-под лимонада, я высовываюсь в окно. Смотреть на мир отсюда, изнутри киоска Эстер, одно удовольствие. Теперь киоск наш с мамой. Под лето с Эстер приключился удар, из-за которого она забыла цены на сладости, а также сколько эре в одной кроне и что надо выключать плитку. Вместо этого она в деталях помнит все события от сорок пятого до семьдесят второго года, включая погоду, чемпионаты, выборы в парламент, результаты лыжных гонок, покорение Луны и мелодии, чаще других исполнявшиеся в концертах по заявкам. Живёт она теперь в двухместной комнате в доме престарелых на Стургатен и не помнит своего имени, зато в голове у неё подробный календарь за двадцать семь лет. На дворе осень. Я развесил журналы на верёвке в окне и прихватил их прищепками. Замороженный сок лежит в морозильнике, бутылки колы составлены в холодильник. Больше всего мне претят сосиски. С ними одна морока. Они часами преют в горячей воде, пока не посе-

реют и не скукожатся, так что только собакам скормить. С сосисками пора заканчивать. Я хочу, чтобы в киоске продавались только сухие товары: жёлтая пресса, сигареты и сласти. Но мама не желает никаких изменений, по ней, пусть всё идёт, как шло при Эстер. В киоске на Сёркедалсвейен прогресс дошёл уже до салата из креветок и жареного лука, но я не собираюсь втягиваться в это соперничество, пусть себе кувыркаются с этими бесчинствами сами. Кстати сказать, из моего киоска прекрасный вид на Городочек. Полицейский привёл туда школьный класс, учит их правилам движения. Они стоят в ряд и слушают его наставления, наверняка о велосипедных фонарях и отражателях, потому что тёмное время года не за горами, а в темноте чрезвычайно важно, чтоб тебя было видно. И когда я смотрю на эту мелкоту, на их серьёзные лица с ещё не оформившимися чертами, я словно кладу палец на пульс времени и слушаю его биение. Это я записываю в свой блокнот. *Время. Как по-новому показать течение времени? Если б это было осуществимо, можно было бы посадить человека перед камерой и пятьдесят лет методично снимать изменения в его лице. Возможное название: эхо.* Урок закончен, и школьники мчатся через

дорогу, посреди лилипутских улиц и переходов остаётся один печальный полицейский, он видит со всей неоспоримостью, что его подопечные ничегошеньки не усвоили из растолкованного им или всё подчистую забыли в ту же секунду, ни один не смотрит по сторонам, но все сигают на мостовую как оглашённые с единственной мыслью — первым добежать до киоска Барнума. Перед окошком выстраивается целая очередь. Я высовываюсь наружу и смотрю на них сверху вниз, а они глядят на меня снизу вверх. Откуда им знать, что я стою на ящике? — Что желаете? — спрашиваю я. Тот, что стоит первым, толстый мальчик с закрывающей глаза чёлкой, кладёт на прилавок пятёрку. — Сосиску в тесте, — заказывает он. Я вздыхаю: — Тебе точно сосиску? — У него появляется растерянность в лице, и он повторяет: — Сосиску в тесте. — Делать нечего, выуживаю бледную сосиску по-венски, поливаю кетчупом, горчицей и вкладываю сии бренные останки ему в руку. Мальчик получает четыре кроны сдачи, на большее это изделие не тянет, но жиртресту кажется, что я обсчитался, и он, не сказав хотя бы «спасибо», ходко припускает вниз по улице, на ходу запихивая в рот сосиску. — Неплохо бы тебе сказать хоть «спасибо», — кричу я ему вслед. Но

толстун и ухом не ведёт, а следующая в очереди — тощая девочка с непомерно большим ранцем на спине, он того и гляди опрокинет её назад. — Что я могу купить на двадцать пять эре? — спрашивает она. Я задумываюсь: — На двадцать пять эре ты можешь купить ирис, — отвечаю я, прикинув. — Ирис — это что? — спрашивает девочка. — Ирис — это вкусно, — отвечаю я. Заворачиваю ей огромный кусок и вкладываю монетку обратно ей в руку. — Я совсем забыл, что ирис отпускается бесплатно, если ты поделишься с другими, — говорю я. Она смотрит на меня недоверчиво и в одиночку уходит в сторону Майорстюен. Последними в очереди два паренька, не знающих, с какого бока подступиться к своей надобности. Они зыркают глазами во все стороны и не решаются произнести ни слова, пока в радиусе десяти километров есть хоть один человек. Я отлично понимаю, чего им надо. Но пусть попотеют. Один прилипает к окошку. — Коктейль, — произносит он стремительной скороговоркой, проглатывая слова прежде, чем они прозвучат. — Простите, что вам угодно? — переспрашиваю я. Товарищ лупит несчастного по ноге, и тому приходится подтверждать свой личный рекорд. — Коктейль, — говорит он, на

сей раз чуть более понятно, а пот течёт по его гладкому, ещё беспечальному лбу. — Вы имеете в виду мужской журнал? — Оба энергично кивают, нетерпеливо и косясь по сторонам, точно в любую секунду здесь может объявиться мама и поймать их с поличным. И кто бы мог подумать, что и такого рода чтение найдётся среди ассортимента, унаследованного мною от Эстер? Тем не менее целая пачка «Коктейлей» ещё шестидесятых годов лежала в коробке под полкой с шоколадом. Я долго ломал голову над тем, кто отоваривался «Коктейлем» у Эстер, это однозначно был не я, и в конце концов стал думать на домоуправа Банга. Я неспешно роюсь в коробке, а сердца мальчишек стучат, как динамо-машины. Наконец, я достаю номер 13 за шестьдесят седьмой год, тот, где на обложке дама с причёской, она сидит на корточках на пледе под деревом. Неплохой дебют для молодых людей. Они уже положили на прилавок десятку. Я отдаю деньги им обратно, кладу руки им на макушки и чуть ерошу волосы. — Ещё не хватало вам платить за пожилых дам, — говорю я. Потом скатываю журнал в трубочку, прихватываю его резинкой и протягиваю как эстафетную палочку резвым молодым людям, а они на последнем отрезке от церкви вниз до Майорстюен

побивают все рекорды той осени в спурте. Ну всё, хватит на сегодня. Я закрываю окошко, опускаю шторку и наконец-то усаживаюсь на раскладной стул, тоже доставшийся от Эстер. Тут я могу спокойно посидеть, поработать, попить пивка. По-хорошему, сам киоск тоже заслуживает отдельного произведения. Так я заодно мог бы показать течение времени, увиденное из окошка киоска Эстер в подворотне на Киркевейен, изменения в завсегдатаях, в причёсках, товарах, проезжающих машинах, в деньгах, уличном освещении. Время и место. Время, увиденное с определённого места, но также и место на протяжении времени. Возможное название: *Киоск Барнума.* Я чувствую жар в плечах, эту особую радостную горячку, счастье, что почти вплотную подошёл к чему-то настоящему. Но сегодня я недостаточно спокоен для того, чтобы довести мысль до ума. Мне жжёт карман письмо, которое я пока тянул вскрывать. Но дольше ждать непозволительно. Вивиан вот-вот пристанет с вопросом, и тогда придётся отвечать. Это письмо от доктора Люнда. *Барнум Нильсен, Вы можете посетить лабораторию III Национального госпиталя в четверг, 12. 9, в 13. 00. При себе Вам надлежит иметь образец спермы, с момента забора ко-*

торой прошло не более трёх часов, а с момента последнего полового акта или эякуляции не менее пяти суток. Во вместительном конверте лежит также прозрачный пластиковый контейнер с крышкой. Четверг завтра, а последний половой акт имел место вечером Иванова дня. Шёл дождь, и костры едва теплились. Я допиваю пиво, сосу солёные пастилки и отправляюсь к маме. Её я не видел довольно давно. Она рада, что я заглянул, обнимает меня. Болетта спит на диване в гостиной. — Как она? — В мечтах, — шепчет мама. Мы идём на кухню. Я на миг останавливаюсь перед нашей комнатой. Кровать Фреда по-прежнему застелена. Мама меняет бельё дважды в месяц. — Кофе? — спрашивает она. — Пива же у тебя нет? — Мама вздыхает, стоя спиной ко мне: — Барнум, ещё трёх нет. — Я сажусь к кухонному столу. — Мам, хочешь хорошую новость? — Она резко оборачивается: — Фред? Что-то от Фреда? — В голове у меня ложится ватная тишина. Я улыбаюсь: — Нет, мам. Но у нас с Вивиан будет ребёнок. — Мама долго смотрит на меня. Словно выгадывая время, чтобы настроить своё лицо на другую скорость. — Ой, Барнум, — говорит она наконец и треплет меня по волосам, а потом целует в лоб. Я рывком пригибаюсь. Мама хохочет:

— Пива у меня нет. Но шампанское, пожалуй, найдётся. — И правда, в углу холодильника она отыскивает зелёную бутылку, а я аккуратно, чтоб не разбудить Болетту, откупориваю её. В высоких бокалах приятно шипит. Мы чокаемся. Мама берёт меня за руку. — И когда? — спрашивает она. — Что когда? — Когда будет ребёнок? — Как можно быстрее. — Это как? — Пока мы только приняли решение завести ребёнка. — Она отдёргивает руку и отодвигает бутылку. — А зачем ты сказал так? — шепчет она. — Как? — Будто у вас будет ребёнок? Чтоб выпить? — Даже не знаю, что такое приключается со мной, но внезапно меня охватывает ярость. — У нашего ребёнка, по крайней мере, будет отец! — почти кричу я. Мама не отводит взгляда. Это я опускаю глаза, опускаю глаза, едва выкрикнув свою фразу, и отпиваю шампанского. — Тебе не следовало этого говорить, — шепчет мама. Я мотаю головой и пытаюсь представить свой припадок как праведный гнев. Ничего не выходит. — Прости, — шепчу я. И поднимаю голову. Мамины глаза черны. И я вижу, едва ли не впервые в жизни, потому что сейчас это слишком явно, это как печать на лице, я вижу, до чего Фред похож на неё. Она снова берёт мою руку. — Барнум, тут не о чём

говорить. — Но я хочу! — И о чём же ты хочешь говорить? — Ты помнишь тот случай, когда мы с Фредом привезли Болетту с Северного полюса? — Мама улыбается. Я доливаю в бокалы. — Кто ж такое забудет? Мы думали, вы погибли. — Это она с твоим отцом пила там? — Мама тревожно замолкает. — Я уже сказала, что не желаю это обсуждать, — заявляет она потом. Я встаю, беру бутылку и отхожу к окну. Клумба вдоль мусорных бачков заросла почти полностью. Вокруг лестниц сорняки. Дикий виноград начинает краснеть, он похож на красные прожилки на кирпичной стене. Я пожимаю плечами: — Пожалуйста. Можешь не говорить об этом. — Так решила Болетта, — говорит она наконец тихо-тихо. — Почему? — Она хотела меня, Барнум. — Я понимаю, что мама сказала, но смысл её слов не доходит до меня. — Что ты имеешь в виду? — Ей не нужен был муж, который бы исчез. — Как у Пра? Так Болетта тоже нашла себе моряка? — Барнум, я не знаю. И не желаю знать. — Я всю жизнь представлял себе, что дедушка — кондуктор в трамвае. Что он присматривает за мной всегда, когда я еду от Майорстюен домой. — Всё, Барнум, прекрати. — Мне нравилось так думать, мам. Что он ведёт трамвай и не выпускает нас из

виду. — Вдруг я нащупал нечто, понял кое-что, медленно, но наверняка, и засмеялся, загоготал в голос. — Что теперь? — раздражённо спросила мама. — Флеминг Брант, — прошептал я. — А с ним что? — Может, это он был мужем Болетты? — Кончай глупить! — Я правду говорю! Твоим отцом был монтажёр. Это же ясно как день! — Мама отвесила мне пощёчину. Потом положила руку мне на плечо. — Я вчера была в полиции. Спрашивала о Фреде. — Я закрываю глаза: — И что нового они сказали? — Они сказали, что числиться пропавшим ещё не преступление. — И тут я вижу троих мужчин в чёрном, они выходят из подъезда у ворот. Их сопровождает домоуправ Банг, он тоже в костюме, том самом, в котором ходит на похороны. Они останавливаются на лестнице. Банг тычет палкой, все задирают головы и смотрят на чердак. — Что случилось? — спрашиваю я. Мама смотрит мне через плечо. — Вроде собираются перестраивать чердак под квартиры. — Какой чёрт станет там жить? — Мама забирает у меня бутылку и прячет её в холодильник — Может, вы с Вивиан. И ребёнком, — добавляет она. — Или Фред, — шепчу я.

Я ушёл назад в киоск раньше, чем проснулась Болетта. Она стала ночным существом. Спит

исключительно днём. Я уселся на раскладной стул, откупорил пиво, но шторку поднимать не стал. И приписал кое-что к разделу «места»: *чердак.* Во что превращается место, когда его стирают с лица земли, уничтожают? Остаётся ли оно в виде точки на старой, непригодной теперь карте? Но поднять мысль на должную высоту мне не удалось, я замер в прыжке, мне недостало не только высоты, но и длины тоже. Я съел шоколадный банан и не удержался, взялся за старые «Коктейли» времён среднего возраста Эстер. Я быстро пролистнул фотографии видных собою дамочек, поблекших за минувшие годы, вид у них был смущённый, сидя на корточках в ваннах с шапками пены меж грудей, они, казалось, боролись не то со сном, не то со слезами. А я-то таскался аж на Фрогнервейен за этими «Коктейлями»! Но и другая мысль посетила меня, покуда я ковырялся в этих заветных архивах: не написать ли и мне в этот журнал заработка ради? Если кое-что убрать и добавить остренького, то происшествие во Фрогнерпарке, когда Вивиан лишила меня невинности, должно, пожалуй, подойти. Мокрую осень можно поменять на тёплую летнюю ночь, когда в кронах рассеян мягкий покойный свет. Вивиан станет у меня одинокой

женщиной из высшего света, ей под тридцать, она отправляется на прогулку верхом, а я буду садовником, бедным, но гениальным, и вот я выпалываю сорняки у Беседки, а она накидывается на меня с тем точно безумством, как было на самом деле, валит на землю решительно и жадно. Или лучше написать порнографическую комедию? О таком я ещё не слышал. Что не странно, понял я, поразмышляв немного. Разве смех и порнографию можно впрячь в одну упряжку? Романтичность смешлива, но порнография — это в первую очередь тишина и вожделение, а в ком возбудит похоть смешной чудик? Я записал и эти рассуждения тоже. Тут кто-то постучал в заднюю дверь киоска, выходившую в подворотню. Я не успел даже встать. Они вошли, трое, встали вокруг моего стула, один вынул из холодильника бутылку колы и тут же съездил ею мне по лбу. — Пристаёшь к моему брату? — заорал он. Я видел их впервые в жизни. Но без труда опознал в них продолжателей дела Аслака, Пребена и Хомяка. Всегда подрастёт молодая смена, которая понесёт дальше знамя мучительства. Вот — стоят передо мной. Я почувствовал, как рука стиснула мне горло. Меня повалили назад и тот, кто орал, пнул мне по яйцам. — К брату моему

пристаёшь? — кричал он. Я услышал хруст, как будто что-то треснуло, сперва до меня дошёл звук, а боль — потом, и в этот белый промежуток, в зазор между хрустом чего-то ломающегося и волной тяжёлой, душащей боли, я провалился глубоко-глубоко. Он имеет в виду мальчишек, которым я отдал «Коктейль» и потрепал по голове? Я хотел объясниться, но голос пропал. Помню, что внезапно я оказался распростёрт на полу, кто-то стоит у меня на загривке и тот же самый голос орёт. — Развратник хренов! Пригрелся здесь и дрочишь! — Я не мог дышать. Поэтому выжидал. Я просто ждал. И это тоже пройдёт. Так вот, значит, какая обо мне молва: грязный недомерок из киоска, который без денег раздаёт сладенькое и лезет к покупателям с нежностями, вот до какой репутации я дожил. Я мог бы позвать на помощь полицейского из Городочка. Или Фреда. Но полицейский ушёл домой, а Фред неизвестно где. Я успел подумать, что никогда ещё не был настолько одинок. Блеснул нож. Они разрезали на мне пояс, вынули его и отхлестали меня по лицу. Пряжка зацепилась за глазницу, впилась, точно крючок, полилась кровь. Наверно, кровища их и напугала. Во всяком случае, они ретировались, напоследок расколотив ящик, служивший мне

подставкой, и вылив на меня воду из-под сосисок. Потом стало темно и беззвучно. Когда я очухался, видел лишь один глаз. Я сумел подняться на ноги. У двери висела запасная рубашка, на случай, если я обляпаюсь кетчупом или горчицей. Я переоделся. Прибрался. Выкинул «Коктейли» и сосиски в мусорку в подворотне. Потом спустился в салон красоты на улице Якоба Ола, где работала Вивиан. Я частенько заглядывал к ней под конец дня. Мне доставляло удовольствие наблюдать, как она колдует над усталыми дамочками Майорстюен и Фагерборга, как она нянчится с ними, упрятывает морщинки, подтягивает лицо для триумфа на час-другой, тихая кухня тщеславия, лишь изредка прерываемая коротким обменом репликами, наверняка о новой причёске телеведущей или новейшем ночном креме из Парижа, который и мёртвого проймёт. Клиентки всегда возвращались к Вивиан. Они не могли жить дальше без неё, кудесницы. Сейчас она трудилась над пожилой дамой, накладывала тени на обрюзгшую кожу, и я подумал с какой-то неприязнью даже, что всякая красота, по большому счёту, обман. Но вот Вивиан увидела меня в зеркале. Поставила всё, что держала в руках, и подошла к моему стулу. — Бог мой, ну и видок у тебя, —

прошептала она. — На меня напали. — Вивиан наклонилась поближе. — Тебе надо к врачу, Барнум. — Лучше сама меня подправь. — Подожди в задней комнате, — прошептала она. — Я напугал клиентку? — Да, — призналась Вивиан. Я ушёл в заднюю комнату. Дурманный смрад кремов и косметики сморил меня, и я заснул. Разбудила меня Вивиан. Подошла моя очередь. Салон был закрыт, и я наконец-то смог устроиться в мягком кресле перед зеркалом. Я не узнал своего лица. Какой-то чужой человек. Вивиан ватным тампоном стёрла кровь. — На тебя правда напали? — Да, но поживиться им особо не удалось. — Ты заявил в полицию? — Вивиан, это школяры какие-то. Я не хочу ломать их жизни. — Вивиан вздохнула. — Слишком ты добрый, — сказала она. Я засмеялся: — Торгаш-горемыка — вот я кто. — Мне нравилось, что она наводит мне красоту. И нравились её мягкие, но в то же время бестрепетные руки. — Угадай, какая новость, — сказал я. — Нет, сдаюсь. — Чердак над мамой будут перестраивать в мансарды. Мы могли бы заиметь квартиру там. — Тебе хочется? — Ты ж не собираешься оставаться в одной комнате, когда появится ребёнок? — Вивиан взглянула на меня в зеркало. — Ты думаешь, мы сподобимся сделать ребёнка? —

спросила она. — Я иду завтра в Национальный госпиталь, — ответил я. — Отлично. — Вивиан продолжила работы по восстановлению моего лика. Она промыла раны и наложила мазь на веко. — И румян, пожалуйста, — учтиво попросил я. Вот так и получился мой глаз, который всех раздражает и озадачивает, потому что оказалось, что нервы в левом глазу атрофировались, я не чувствую теперь его, так что веко частенько сползает вниз, а назад его не заткнёшь, и кажется, будто я подмигиваю хитро, народ думает, что я уже набрался, или сплю на ходу, или просто сам по себе такой нахал и задавака, а в лице появилось что-то порочное, подозрительный перекос, открытая и закрытая половины, круговые мускулы лица не работают совсем, и про меня шутят, что у меня лицо в пол-лица.

(барнум и его божественная комедия)

Лил дождь. Я сроду не видел, чтоб так лило. Стена воды с вкраплениями листьев падала наискось с низкого свинцового неба. Я задёрнул занавески и вернулся в постель. Скромный, прозрачный контейнер, присланный мне Национальным госпиталем, оказался никудышным изобретением. Чтоб попасть в него, надо было

целиться, лёжа на боку в особо неудобной позе, и в то же время поддерживать эрекцию, от этих двух взаимоисключающих движений в голове у меня случилось короткое замыкание, я чувствовал, что мысли перегорели, гипофиз истощился, в причинном месте — мягкая вата. В мошонке жгло. Когда я сжимал яйца, казалось, что это мешочки, набитые осколками стекла. Вивиан вышла из ванной. — Не получается? — спросила она. — Пока работаю. — Помочь? — Не откажусь, — ответил я. А что мне оставалось? Я был беспомощен. Вивиан легла у меня за спиной, погладила мне живот и решительно взялась за моего дорогого. И давай наяривать, как бешеная. Словно у меня там сорванный кран, который нужно закрутить посильнее. Мёртвое веко упало на глаз, заперев половину меня во мраке и родив неприятную мысль, внезапный отвратительный образ, от которого робкие намёки на возбуждение вновь и навсегда испарились из головы: веко — это крайняя плоть глаза. — Полегче, — попросил я шёпотом. — Тебе больно? — Немного. — Вивиан ослабила хватку, перелегла на другую сторону и взяла мой член в рот. Тут только я осознал, сколь для неё важно, чтобы мне удалось наполнить злосчастный контейнер этой серой, вязкой ще-

лочной слизью. Она никогда не брала его в рот, и я, конечно, не просил. От глубины потрясения у меня немедленно встало колом, он торчал меж губ Вивиан прямой и напряжённый, остальное было вопросом времени. За окном лило не переставая. Шум дождя окружал нас, будто мы были на островке посреди вздыбившейся полноводной реки. — Угу, — прошептал я. Вивиан отстранилась. Я скрючился над контейнером и прилежно спустил в него. Вивиан уже держала наготове салфетку. Она отёрла то, что перелилось, и закупорила крышку. Потом закрылась в туалете, и было слышно, что её рвёт. В течение трёх часов контейнер надлежало доставить в лабораторию Национального госпиталя, где моё семя или признают годным к долгому путешествию на встречу с яйцеклеткой Вивиан, или отправят в ближайший мусорный бачок. Я посмотрел на часы. Было десять утра. Вивиан присела ко мне опять. — Сходить с тобой? — спросила она. Я взял её руку. — Этого не требуется. Но за предложение спасибо. — В таком случае береги свой товар. — В такой манере мы теперь общались. Это называлось *моим товаром.* В наш язык закрался холодок. Мы мерили отношения графиком температуры. Отсчитывали дни между менструациями

и отмечали их на календаре. Я был поставщиком *товара.* Но в её магазин я не отгружал его давно. Так мы и разговаривали. — Я возьму такси прямиком в лабораторию, — сказал я. Она чмокнула меня в лоб, взяла зонтик и ушла в салон красоты. Я решил ещё поваляться. Слышно было, как она идёт вниз по лестнице. Гудел ветер, шумел дождь. Контейнер лежал рядом со мной, на дне серый осадок, мой товар, при определённых условиях — половина человека, неполная матрица. Я принял душ, оделся во всё чистое, выкурил сигарету и позвонил в заказ такси. Трубку никто не брал. А потом исчезли и гудки тоже. Я набрал номер стоянки на Санктхансхауген. Занято. Попробовал стоянку на Майорстюен. Тоже короткие гудки. Снова набрал центральный коммутатор. Через двенадцать примерно минут включился автоответчик. *В настоящее время линия перегружена. Попробуйте позвонить на одну из наших шестидесяти стоянок.* Я опробовал уже две. Но набрал ещё одну, на Бишлете. Тоже занято. А времени половина одиннадцатого, поджимает. Я схватил свой дождевик, сунул контейнер во внутренний карман и побежал к стоянке на Санктхансхауген. Там не было ни одной машины. Только телефон в зелёной будке звонил и звонил. Дождь шпа-

рил со всех сторон. Я пошагал дальше, вверх по Уллеволсвейен, но у киоска меня окликнули по имени. Я остановился и огляделся. Он сидел на скамейке у пруда. — Барнум! — крикнул он второй раз и помахал мне. Я подошёл к нему. Через не хочу, но всё-таки подошёл. Это был Хомяк, мучивший меня всю школу. До меня доходили некоторые слухи о нём, и было видно, что молва не врёт. Теперь мучился он, но во мне не было ни капли жалости к нему. Он был похож на Дастина Хоффмана из «Полуночного ковбоя», уже *post mortum.* Характерный сухой взгляд. Первой моей мыслью было, что и я мог бы сидеть сейчас на этой лавочке (не исключено, что так и будет когда-нибудь), один в парке под проливным дождём, разница между нами лишь в том, что я предпочитаю спиваться медленно и обстоятельно, а он выбрал химию прямо в кровь, бомбу немедленного действия. У него на лице выпирали узлы сосудов. Он надел солнечные очки. — Это ты, Барнум? — Я кивнул. — Узнал меня, да? — Нет, — ответил я. Хомяк с трудом усмехнулся: — Не тренди. Я дружил с твоим брательником. — Дружил? — Да, ядрёна вошь, мы с твоим братаном были неразлейвода. — Я подумал: вот ведь как время и пьянство превращают ложь в вещь само

собой разумеющуюся, чтоб не сказать в условие существования. — Припоминаю, — сказал я. А Хомяк поднял руку и растопырил жёлтые пальцы: — Ну, что я говорил. Мы ж друзья с тобой. — Со мной? — Ядренырь, Барнум, не я ли всегда любил тебя? — Это из любви ты меня мордасил и поедом ел? — Хомяк попытался раскурить бычок. Огонь захирел прежде, чем он сделал затяжку. — Это не я. Били тебя Аслак с Пребеном. Ты что, забыл? — Я ничего не сказал. Это был такой мой ответ. — Барнум, я пытался останавливать их. Так что не выделывайся. — Сил слушать это дальше не было. — Приятно было повидаться, Хомяк, — сказал я. Но он не дал мне уйти. В нём всё ещё была сила, худая, жилистая мощь, или просто произошло паническое сокращение мускул. Я почувствовал, как хрустнул контейнер во внутреннем кармане. — Отпусти, какого хрена! — заорал я. Он выпустил меня. Спросил шёпотом: — Деньжат не подкинешь? — Я дал ему пятёрку. Он тупо посмотрел на неё и убрал в карман. И будто сжёг мосты: взять с меня, окромя пятёрки, нечего, так что можно не юлить дальше, а по-честному дать выход злобе. — Сикилявка, нос задираешь? — закричал он. Я молча пошёл. А в спину мне смеялся Хомяк, и вдруг, внезапно,

я перестал выносить его, этот смех Хомяка. Я развернулся и пошёл назад. Ужо разберусь с ним, раз и навсегда. Теперь Хомяк слабее, и пусть даже не думает чалиться. Сейчас я ему это растолкую. Проучу его. Пришло время отмщения, сегодня, сейчас, много лет спустя после того дня, как они вытрясли всё из моего ранца на Холтегатен и спустили с меня штаны на Риддерволдспласс. Воздастся ему за мои бессонные ночи. Могу его башмаком растереть. Я остановился перед Хомяком. Он не рискнул поднять глаз. Я сшиб с него очки. Будь у меня зеркало, я б ему показал, во что он превратился. Я постоял так какое-то время. Потом швырнул ему на грязные колени ещё пятёрку и ушёл, ни слова не сказав. Пусть подавится. Эта пятёрка будет жечь ему руки. На стоянку подрулило такси. Я бросился к нему, но, добежав, вспомнил, что у меня ни копья. Хомяку я отдал последние деньги. Я оглянулся на скамейку. Сквозь дождь видно было только плоскую, синюю сигаретную пачку и солнечные очки. Хомяк испарился, больше я не видел его никогда. Какая-то старуха, увешанная пакетами из «монопольки», вскарабкалась на заднее сиденье, и машина тронулась. Она обернулась и с улыбкой помахала мне сквозь мокрое стекло, ни дать ни

взять покойница, которая вдруг приподнялась в катафалке и махнула тебе последнее прости-прощай. Я узнал это бледное лицо — Шкелета, фрекен учительница, помахала ручкой своему бывшему ученику, оставшемуся стоять под дождём, и пропала за мокрой пеленой. Я бегом припустил в банк на улице Вальдемара Тране — снять денег со счёта. Часы над дверями показывали половину одиннадцатого. Я заполнил бланк и протянул его в окошко вместе с паспортом. Кассирша, молодая женщина моего, наверно, возраста, потратила на эту простую операцию немало времени. Она то и дело посматривала на меня, ротик у неё был маленький и красный. Веко снова распустилось и сползло вниз. Кассирша тут же отвела глаза. Стрелка подходила к одиннадцати. Меня одолевало отвратительное чувство, что я попал в засаду, завяз, как в горячечном бреду. — Я опаздываю, — напомнил я шёпотом. Молоденькая кассирша мотнула головой и вернула мне паспорт. — Сожалею, но у вас на счету ничего нет, — сказала она, да громко так, считая меня, видимо, глухим и умственно отсталым, и её маленький червлёный ротик вытянулся, как рупор. — Тогда — пока, побегу заработать ещё деньжат, — ответил я так же громко. Но конеч-

но же дальше в очереди стоял папаша Вивиан, Александр Вие собственной персоной, которого я не видел с того самого ужина. Видимо, он давно заметил меня, потому что ничуть не удивился, столкнувшись нос к носу. Только посмотрел на меня сверху вниз и произнёс: — Пойдём выпьем по чашечке кофе. — Часы со звоном отбили четверть двенадцатого. Я сунул руку во внутренний карман и посмотрел на господина Вие. — Я ужасно, ужасно опаздываю, — прошептал я. Он чуть раздвинул губы в улыбке. — Ну так не будем мешкать! — Он вышел из очереди, и я последовал за ним. Дождь всё лил. Мне пришлось идти под его чёрным зонтом. Не самое приятное в жизни. Мы зашли в «Гриме Эллинг» и расположились у окна, Он заказал нам кофе с венской сдобой и взялся протирать очки, коротая ожидание. В кафе было слишком натоплено. С меня струился пот. Я подумал, не повредят ли моему *товару* такие перепады температуры. Александр Вие вскинул на меня глаза: — У тебя с сердцем нелады? — Нет. С чего вы взяли? — Ты всё время держишь руку на сердце. — Я положил её на стол. Вернулся официант, само проворство. В серёдке сдобы, которую он поставил передо мной, серело тёплое болотце глазури. Я зажмурился. О том, чтоб есть, не

могло быть и речи. Но я пил кофе. В паху болело. Пройдёт скоро, наверно. — Я извиняюсь, что так вышло, когда вы ужинали у нас, — сказал Александр Вие. — Всё в порядке, — ответил я. — Мы были очень рады. — Понятно, — просипел я. От жары я вспотел уже чудовищно. Может ли человек быть бесконечно вежливым вплоть до того, чтобы кончиться из-за своей деликатности? Или это не деликатность, а застенчивость, попросту говоря, покорность и слабость, безволие, наконец, которые превращают тебя в раба, заложника обстоятельств? Александр Вие пригнулся к столу, и я увидел, как он изменился. В нём появилось мрачное успокоение, глубочайшее смирение человека, принимающего жизнь как данность и не ропщущего: *всё равно ничего не изменишь.* — Из-за какой-то малости всё вдруг раз — и коту под хвост, — прошептал он. — Я знаю, — ответил я. Он опять улыбнулся, не широко и открыто, а смиренно, как бы улыбнулся вместо того, чтобы пожать плечами или повздыхать над бесконечной глупостью мироустройства. Улыбка вышла красивая, сеющая тревожность. Я совсем потерял покой. — Знаешь, да? — переспросил он. — Мне правда уже пора, — сказал я. — Ты ещё не всё съел, — ответил он. Я съел сдобу. Вязкая глазурь

потекла по губам. Я старался заглотить всё как можно быстрее, но липкая масса пристала к языку. Я втянул в себя остатки кофе. Александр Вне протянул мне салфетку. — Спасибо, — пискнул я. Он нагнулся ещё ближе: — Одно слово тянет за собой другое. Секунда — и всё уже сказано, назад не заберёшь. — Я вытер рот жёсткой салфеткой. — Да уж, — ответил я. Но он меня не слушал, его занимали собственные слова. — Это точно, как судебное разбирательство, где свидетель наговорил так много лишнего, что его самого привлекли как обвиняемого. — Не совсем понимаю, — сказал я. Александр Вие поднял чашку, а потом бережно поставил её обратно. Кофе простыл прежде, чем чашка коснулась стола. — Когда моя жена изувечилась в аварии, я подумывал бросить её, — сказал он. Слушать это было выше моих сил. Ничего больше не желаю знать! — Но вы же не бросили! — Я почти кричал. Александр Вие помотал головой: — Не бросил. Остался с Анни… из жалости. — Это не самое худшее, — вставил я. Александр Вие засмеялся низким, ворчливым смехом: — Барнум, Барнум, жалость — всего лишь разновидность презрения. — Я глубоко вздохнул. — У вас ещё есть дочь, — сказал я. Александр Вие опустил глаза долу, он смутился на

мгновение, значит, смирение его не было таким уж полным, в его мрачном всеприятии оставался-таки зазор, куда мало-помалу проникал свет. Александр Вие заговорил о другом: — Ты веришь в случайности? — спросил он. — Встретил же я вас в банке сегодня, — ответил я. — В этом не было ничего загадочного. Я должен был заплатить за вашу квартиру. — Что? — Я думал о другом. О том, что мама твоя рассказала — оказывается, у твоего отца был «бьюик». — Отец был прекрасным водителем, — сказал я. Александр Вие улыбнулся: — Не сомневаюсь. Ты, кстати, веришь в то, что можно снова сделать всё хорошо, как было? — Я не верю в случайности, — ответил я. Александр Вие замолчал. Помолчав, прошептал: — Разве не странно, что люди не поддаются починке, а? — Потом он вынул из кошелька двести крон и положил на стол. — Купи вечером чего-нибудь порадовать Вивиан. — Я не собирался брать деньги. — В этом нет нужды, — ответил я. — Мне хочется, чтоб ты подарил Вивиан что-нибудь особенное. — Нет никакой необходимости, — повторил я. Но Александр Вие не сдавался. Похоже, никто не принимает мои слова в расчёт. Вие стал запихивать деньги мне в карман. Я вцепился в контейнер. — Спасибо большое, — сказал я. —

Передай, что нам её не хватает, — прошептал он. — Хорошо, — ответил я. Встал и вышел. Дождь не кончился. На стоянке не было ни одной машины. Телефон по-прежнему надрывался. Скоро дождь возьмёт трубку и ответит. Я припустил бегом вниз по Уллеволсвейен. Времени уже без четверти двенадцать. Но, пробегая мимо чёрной ограды кладбища, я увидел за ней беспомощный силуэт и узнал его. Я остановился. Как же быть? Подойти к ней или исполнить свой долг, сегодня состоявший в том, чтобы сдать мой товар в лабораторию Национального госпиталя до часа дня? Там между надгробиями тыркалась Эстер. Она молотила воздух палкой, то ли желая отдубасить скверную погоду, то ли пытаясь открыть заевший зонт. Нет, выбора у меня не было. Я отыскал калитку и пошёл к ней. Вела ли меня та жалость, которую Александр Вие определяет как презрение особого рода? Нет, ибо другая возможность, *пройти мимо,* была бы цинизмом чистой воды, безразличием к тому, что касается здоровья и личной гигиены, а это поражает самого носителя и чревато грозными осложнениями. Да и сердце у меня не столь прихотливое, как у Александра Вие. Я остановился в нескольких шагах поодаль от неё, чтоб не угодить под палку. — Привет,

Эстер, — поздоровался я. Она медленно завершила свой бой с дождём. В глазах пустота. — Это я, — сказал я. Она стояла как изваяние. Я подошёл поближе и вытянул руку. Она отпрянула. — Эстер, ты меня не узнаёшь? — Она мелко-мелко замотала головой. То ли вообще не поняла, что я сказал, то ли у неё и речь тоже померкла. Я заметил, что под пальто на ней лишь жёлтая ночная рубашка. А на ногах коричневые расползающиеся тапки. — Это я, Барнум, — прошептал я чуть слышно, — который торгует в твоём киоске. — Но слова не достигали её. — Ириски, — попробовал я зайти с другого бока. Пустота в её лице лишь сгустилась. Какой же сигнал мне ей подать, на что она клюнет? Я вытащил из внутреннего кармана контейнер и чуть встряхнул его, так что осадок перетёк на другую сторону, внезапно напомнив мне стеклянные шары, внутри которых начинает сыпать снег, если перевернуть их вверх дном. И тут в ней включилось сознание, это было похоже на апоплексический удар наизнанку, словно бы, повинуясь какой-то силе, в неработающем, заржавевшем водопроводе снова забулькала вода. Она смешалась, застеснялась, оглядела себя — ночнушка, туфли — и покраснела, словно её поймали с поличным на бытности человеком. —

Барнум, я, кажется, заблудилась, — шепнула она. — Конечно заблудилась. На кладбище-то тебе ещё рановато, — ответил я. Она подошла ближе, она чуть не плакала. — Но я не сделала ничего страшного, — зарыдала она. — Нет, Эстер. Страшного мы не сделали ничего. — Потом я взял её за руку и отвёл в дом престарелых на Стургатен. Там царил полнейший переполох. Эстер пропала накануне вечером. Давно подключили полицию, а несколько сестёр прочёсывали окрестности Анкерторгет и берег реки. Её сразу взяли в оборот, а от меня потребовали отчёта, где я её нашёл и в каком она была состоянии. Я рассказал, что она пришла проведать свой киоск, в котором теперь я хозяйничаю, и что всё было без происшествий. Пока её мыли и приводили в порядок, меня оставили ждать в палате. Её соседка лежала в своей кровати, она была такая махонькая и сухонькая, что тени, можно сказать, не отбрасывала. Она повернулась под одеялом. — Эстер вернулась? — прошептала она. — Эстер здесь, — ответил я. И в её оловянных глазах крупными буквами написалось разочарование, как если б индеец из «Гнезда кукушки» передумал, влез назад в разбитое окно и попросил жвачки и электрошока. — Вот, вот, — только и ответила

она и повернулась носом в бледно-зелёную стену. Две сестры привели Эстер и уложили её во вторую кровать. Времени стало двенадцать десять. Наверно, они её напичкали чем-то, потому что руки у неё сделались тяжёлые, как чугунки. Я присел к ней на минутку. Мне казалось, сознание в ней снова спуталось, но вдруг она заговорила и говорила утомлённо, но с ясностью, как бывает, когда, за секунду до погружения в сон, вас вдруг озарит отчётливое видение, полыхнёт, как костёр, и сделает тьму зримой. — Твой отец был нехороший человек, — сказала она. Я выпустил её руку. — Это что значит? — Но костёр уже прогорел, от него осталась лишь огромная тень во всё её лицо. — Хоть и были у него нейлоновые чулки, — шёпотом добавила Эстер и уснула. Это был последний раз, когда я слышал от неё разумные слова. — Спокойной ночи, Эстер, — простился я. Когда я снова очутился на Стургатен и ловил под дождём такси, потому что мне надо было всё-таки сдать свой *товар* в Национальный госпиталь, а до часа дня оставалось чуть больше десяти минут, кто-то неожиданно бибикнул мне несколько раз, и рядом со мной, обдав ботинки волной грязи, со скрежетом остановился битый-перебитый автомобиль. Это был незабвенный «воксхолл».

Оскар Миил опустил стекло: — Подвезти, Барнум? — Я залез в машину. Папа Педера похлопал меня по плечу. — Куда тебе? — спросил он. — В Национальный госпиталь. Быстро! — Он перестал улыбаться: — Ты не болен, нет? — Должен отдать им кой-какой *товарчик*. — Оскар Миил рванул ручку передач, бухнул ногой по педалям, что-то взорвалось, и мы выпрыгнули на середину Стургатен. Я обеими руками сжимал контейнер, чтоб его не расплескало. Исправным оказался лишь один из дворников. По счастью, с его стороны, так что у него получилась щёлка в дождь. Мы свернули к кинотеатру «Центрум». — Посыльным работаешь? — Оскар Миил поглядел на меня, а мне было бы спокойнее, если б он смотрел на дорогу. — Посыльным? — Ты же должен доставить товар, так? — Я захохотал: — Пробу спермы, — объяснил я, — она у меня тут, во внутреннем кармане. — Оскар Миил приник к рулю: — Хорошо, что у вас с Вивиан сладилось так. — Спасибо на добром слове. Вышло так, как вышло. — И у вас наверняка родится чудесный малыш. — Он попробовал поднять стекло, но его заело. Мы ехали в «воксхолле», залитом дождём. — От Педера что-нибудь слышишь? — спросил Оскар Миил. — Нет, — ответил я, — а ты? — Он звонил несколько

раз. Но всегда посреди ночи. — Больше Миил ничего не говорил до того момента, как машина с грохотом затормозила перед госпиталем. Было без пяти час. — Всё в порядке, пожалуй, — сказал он тогда. — С Педером? — Оскар Миил снова повернулся ко мне. — Со всеми нами, — сказал он. И показал на моё лицо: — Ты б уж и глаз заодно исправил. — В набрякшем веке засвербило. — А тебе б не мешало исправить окно, — ответил я. Он обнял меня и поцеловал. — С нами со всеми всё в полном порядке, — повторил он. — Это точно, — ответил я. — Всё тип-топ. — Не знаю, кто из нас кого успокаивал. Потом он расцепил объятия, я выбрался из машины, а Оскар Миил поехал в своём тесном «воксхолле» дальше, он гуднул три раза и скрылся за поворотом. Я всё продолжал махать, хотя не видел ничего, кроме дождя, заливавшего здоровый глаз. Потом я как-то вдруг вспомнил, что я здесь делаю. Я у цели. И я устремил шаги в глубь этого города усталости, болезни и скорби с его неустранимым запахом карболки и мыла. То и дело гудели сирены, разом исчезая вдали, разом приближаясь. Врачи перебегали из отделения в отделение под чёрными зонтиками. Это походило на печальный мюзикл. Я спросил у охранника дорогу. Он показал на подворотню,

я вошёл в неё и на заднем дворе нашёл нужную лабораторию. На грузовом лифте спустился в подвал. Риска сбоку от двери остановилась напротив буквы «Н», не пошла дальше, её алфавит закончился этой буквой, но сам лифт опускался всё ниже, я уже сбился со счёта. К тому времени как он наконец приземлился, у меня заложило уши. Я распахнул дверцу и шатаясь выбрался в зелёный коридор. Худой мужчина в белом халате скрылся в кабинете. Я бросился вдогонку. На двери значилось «доктор Люнд». Я постучал. Жердь в белом, доктор Люнд, распахнул дверь. — Барнум Нильсен, — сказал я и протянул ему контейнер. Он посмотрел его на свет. — Ждите в коридоре, — велел он. Я нашёл свободный стул. Сел. Там уже сидели двое мужчин, пришедших раньше. На вид постарше меня, лет по сорок. Но тут мы все ровня. Без возраста, но с одной заботой. Мы быстро оценили друг дружку взглядом, украдкой, стыдясь, и тут же отвели взгляды прочь, на дырку в линолеуме, пустой крючок на стене, лампу дневного света, которая мигала-мигала да и потухла. Никто ничего не говорил. Что тут скажешь? Мы сдали на проверку своё семя. Где-то маялись ожиданием наши женщины. Они ждали ответа — может ли один из этих сперматозоидов слиться с их яй-

цеклеткой и начать неспешное развитие новой жизни? Другими словами, состоятельны ли мы как мужчины? Я задремал. Мне снилось, что я в лодке. Правлю к высокому изумрудному берегу. Вдруг перед носом зависает огромная чёрная птица, раскидывает крылья и застит солнце. Я поднимаюсь, вскидываю весло и бью по этой чёрной, гладкой птице. Но сам валюсь на дно. Сверху меня придавливает парус. Я начинаю шарить в поисках ножа, чтобы вырваться на воздух. — Можете заходить, — разбудила меня медсестра. Я очнулся и следом за ней вошёл в лабораторию. Остальных двоих уже не было. Доктор смотрел в микроскоп, стоя ко мне спиной. Комната оказалась белой. Вдоль по стенам — полки с колбами и стеклянными трубочками. Вдруг доктор как повернётся ко мне да как огорошит меня вопросом: — Барнум Нильсен, вы шофёр-дальнобойщик? — Я? Нет, у меня нет прав. — Вы часто носите тесные брюки? — Нет, я люблю широкие. — Братья-сёстры у вас есть? — Есть брат. Сводный. — Доктор поправил очки на востром носике и стал листать бумаги дальше. — Психические расстройства в семье наблюдались? — Не знаю, не замечал. — Не знаете? — Психов у нас в роду нет. — Гонорея была? — Что? — Сифилис. — Сифилис? Нет. —

Вы ипохондрик? — Нет. — Истерик? — Да нет же! — сорвался я на крик — Часто выпиваете? — Я прислонился к стене, чтоб не упасть. Нет, только когда пью. — Это как часто? — По праздникам. — Не приучайте себя к дурным привычкам, Барнум Нильсен. — Не буду, доктор. — Он подступил ко мне ближе. — Помните: при алкоголизме человек утрачивает все душевные потребности, остаётся лишь беспрерывная болезненная тяга к спиртному, затем останки этой человеческой развалины слизывает смерть. Это вам ясно, Барнум Нильсен? — Да, — прошептал я. — Кем вы работаете? — Пишу. — Значит, вы сидите? — Сижу? — Пишете вы сидя? — Да, пишу я всегда сидя. — Доктор снял очки. То-то мы и видим. — Что мы видим? — опять прошептал я. — Взгляните. — И доктор Люнд показал на микроскоп. Я подошёл ближе и прильнул к окуляру здоровым глазом. Может, я даже вскрикнул, не знаю. Это была моя сперма, в тысячу раз увеличенная. Первой моей мыслью было — как мошка в кефире. Точно, точно, мошка в кефире. Утопла и лежит, не шевелится. Где-то далеко вдали слышался голос доктора. — Яички — драгоценный кладезь. Но ваши, Барнум, пусты. — Я выпрямился: — Ни единого шанса? — спросил я.

Он покачал головой: — Можно нормально жить и не имея детей. Не позволяйте только цинизму овладеть вами. — Тут я увидел, что зовут-таки его не Люнд. На карточке с именем, прикреплённой к белому халату ржавой булавкой, значилось *М. С. Греве. Директор Национального госпиталя.* Он пожал мне руку, сестра выкинула контейнер в ведро для особых отходов. Я отыскал лифт. Он провёз меня сквозь толщу этажей. Я отпихнул дверцу и выскочил на тротуар. Облака плыли мимо крыш и шпилей церквей, унося дождь с собой, а небо было высоким и ясным, синий купол над городом. От света улицы переливались и искрились, как реки. Прохожие останавливались посреди переправы и задирали головы к солнцу, благодарно и недоверчиво. Я даже закрыл глаза руками, ослеплённый и нагой. Мне вспомнился давешний сон. Теперь я разгадал его смысл: баклан испражняется на скалы, чтобы отыскать дорогу домой. Я поднялся к Санктхансхаугену. Встал на перекрёстке. В кармане у меня лежали двести крон. Я раздумывал: цветы или пиво? Выпил пол-литра у Шрёдера, на остальное купил цветов, дюжину длиннющих роз. Потом пошёл домой к Вивиан. Она ждёт меня. Я вижу её нетерпение. У неё жар в глазах. Она вскакивает, не

успеваю я ступить на порог. Прячу цветы под плащом. Она опережает мой рассказ словами: — Барнум, тебе письмо. — Она сжимает в руке конверт. Возможно, от Педера? Нет, тогда письмо было бы нам обоим. Значит, от Фреда. — От кого? — спрашиваю я. — От киностудии «Норск-фильм», — отвечает Вивиан. — С чего вдруг они шлют мне письма? — Вивиан пожимает плечами, её нетерпение на пределе: — Ты не хочешь открыть? — Я беру конверт. В углу овальный логотип «Норск-фильм», изображающий, по замыслу создателей, глаз из киноплёнки. Достаю письмо, читаю. Ничего не понимаю. Слова не складываются в смысл. Наверно, так ощущает свою дислексию Фред — буквы вдруг перестают работать. Я сую письмо Вивиан. — Прочти вслух, — шепчу я. Она читает: — *Уважаемый Барнум Нильсен! Мы рады сообщить вам, что ваше произведение «Откормка» заняло первое место в конкурсе сценариев, организованном киностудией «Норск-фильм». В своём заключении жюри особо отметило оригинальность замысла, упоение рассказчика материалом и особую манеру повествования, которую отличают в том числе прихотливые фантазии автора, кои кроме всего прочего прочитываются и как изображение*

извращённого, жирующего и склонного к насилию социума. Вручение наград состоится первого октября в тринадцать ноль-ноль на киностудии «Норск-фильм» в Яре. Я едва в силах говорить: — Ты послала мой сценарий? — Она кивает — Ты не злишься? — Я смеюсь. — Какое там злиться! Я счастлив! — Вивиан подходит ближе: — Барнум, ты плачешь? — Я мотаю головой. Слёзы текут. Я не могу их удержать. Вивиан обнимает меня, а я реву. — Я так тобой горжусь! — говорит она. — Я тоже, — шепчу я. А Вивиан прижимается губами к моему уху: — Как сегодня всё прошло с моим мальчиком? — Я не хочу портить ей этот радостный день. И не стану перекрывать хорошую новость плохой. Мы балансируем, едва удерживаясь от падения. Сейчас нам главное не делать резких движений. — Отлично, — отвечаю я. — Отлично? — Всё в порядке. Товар принят. — Губы Вивиан тыкаются мне в лицо, они влажные. — Я так и поняла, когда увидела тебя с цветами! — Мы раскладываем кровать, срываем друг с друга одежду и отдаёмся любви со страстью, прежде нам недоступной, даже тогда во Фрогнерпарке. Мы забываем про всякое стеснение. Ставим всё на одну карту. Я боюсь, как бы я её не покалечил, но она хочет меня ещё и

ещё. Это восторг и паника в одном, более высоком чувстве. А потом — тишина. Я беру письмо с киностудии и прочитываю его ещё раз, дабы убедиться, что это не сон. Нет, чистая правда. Я вижу это собственными глазами. Барнум Нильсен выиграл конкурс. Я ложусь рядом с Вивиан опять. — Что сказал доктор Люнд? — спрашивает она. — Что мои спермики стоят в очереди на свиданку с твоими яйцеклетками. — Вивиан делает вид, что сердится: — Отвечай по-человечески: что он сказал? — Он сказал, что яички — это драгоценный кладезь! — Я суетливо целую её в рот, квёлый, как медуза. Вивиан хохочет, она хватает меня за яйца, я постанываю. — Осталось в твоём драгоценном кладезе ещё немного драгоценностей? — шепчет Вивиан. — Пер Оскарссон может сыграть хозяина хутора. Или школьного врача. — У этого ребёнка всё будет хорошо, — говорит Вивиан. — А на маму подойдёт Ингрид Вардюнд, — отвечаю я. Вивиан проводит ладонью по пузу вниз. — У этого ребёнка всё будет хорошо, — повторяет она. — Конечно. — А не как у нас, — продолжает она. — Я приподнимаюсь на локте: — Что ты имеешь в виду? — Вивиан смотрит снизу вверх. — Лучше, чем у нас было. Лучше, Барнум, — шепчет она. Некоторое время

я лежу молча. — У меня было замечательное детство, — говорю я. Вивиан улыбается. — А тебя кто будет играть? — спрашивает она. Я беру цветы, ставлю их в воду. Потом выхожу на лестницу выкинуть в мусоропровод намокшую бумагу. Заодно прихватываю медицинский справочник для норвежской семьи и выбрасываю его тоже. Последняя статья в справочнике — *Устрицы при разведении в грязной непроточной воде могут становиться ядовитыми.* Вернувшись, я застаю краткий миг, когда солнце напоследок, прежде чем скрыться между деревьев за синими овальными облаками, наполняет комнату тёплым красноватым сиянием, словно розы полиняли на пол и потолок. Вивиан лежит, задрав ноги на стену, чтобы мои соки быстрее утекли в неё. Я присаживаюсь на краешек кровати. Кладу букет на подушку. Она берёт меня за руку. И пока комната погружается в темноту, я успеваю подумать: до чего же силён аромат этих роз, одной капли из одного лепестка довольно, чтобы целое море пропахло неуловимым розовым маслом.

(ещё один заказанный столик, оставшийся пустовать)

Мы с Вивиан взяли такси до киностудии «Норск-фильм». Это сегодня я должен был получать награду за конкурс сценариев. Мама и Болетта поехали тоже. Они сидели на заднем сиденье, гордились мной. Распирало от гордости и меня самого. Машина въехала в широкие ворота на улице Веделя Ярлсберга. Мама расплатилась. Мы вышли и очутились на территории киностудии. Куда ни глянь — павильоны. Местечко по мне. Вот отныне оно моим и будет. Здесь мне предстоит болтаться, подправлять сценарии (вставь-ка пару-тройку сцен, отладь реплику), следить за съёмками, подписывать контракты, обедать с актёрами. Не было видно ни души. С высоченных деревьев облетали листья. Небо опять затянуло облаками. Вивиан взяла меня за руку: — Куксишься? — Нет. Жаль, Педера нет. — Мы легко нашли приёмную. Молоденькая секретарша долго болтала по телефону, куря сигаретки. Я не прерывал её. Повесив трубку, она взглянула на меня. Я протянул руку. — Барнум Нильсен, — представился я. — Кто? — Барнум Нильсен, — повторил я. Она перерыла свои бумаги, но без пользы дела. — Как,

вы сказали, вас зовут? — ещё раз спросила она. — Я победил в конкурсе сценариев, — пропищал я. Наконец она уразумела, кто я такой. — Директор хотел сперва поговорить с вами. Ждите. — Мы впритирку сели на диванчике. Стали ждать. Это оказалось делом небыстрым. Болетта задремала. Мама засмотрелась на Вивиан: — С тобой всё в порядке? — спросила она. Вивиан улыбнулась и взглянула на меня. — Конечно в порядке, — ответила она. На столике лежала вчерашняя газета. Я почитал её. Обещали ясную погоду. Шёл дождь. — Мы не ошиблись числом? — спросила мама. — Просто газета старая, — ответил я. — Ты уверен? — Тише, — шикнул я. И мы продолжили ожидание. Это была прелюдия к моему большому ожиданию, к ожиданию писателя-сценариста, когда придёт его время. Пока оно шло к часу. В здание напротив стали заходить какие-то люди. Один из них показался мне похожим на Арне Скоуэна. Галстук перетягивал горло. Я нагнулся к Вивиан. — Арне Скоуэн пришёл, — прошептал я. Наконец барышня за стойкой встала. — Директор ждёт вас, — возвестила она. Я хотел было ответить, что это я жду директора, но передумал и ответил: — Спасибо. — Его кабинет был на втором этаже. Я поднялся по лестнице. Все стены здесь

были сплошь увешаны афишами. *Гость Бордсен. Бродяга. Девять жизней.* Я был в святая святых норвежской киноиндустрии. Отныне я часть её. Придёт день, и моя афиша тоже появится здесь, на стене вдоль лестницы, ведущей в кабинет директора: *Откормка.* Я дошёл до кабинета, пригладил волосы, затаил дыхание и постучал. За дверью раздался стон. Я выждал ещё немного. Потом зашёл. Директор сидел за столом, заваленном сценариями, они громоздились горами и на полу тоже, сценариями было занято в этой комнате всё, больше ни на что места не оставалось. Директор был занят — читал сценарий. Я аккуратно прикрыл за собой дверь. Мне не хотелось мешать ему. Я стоял. Он снова застонал. На нём был твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, на носу массивные квадратные очки. Он курил трубку. Я, на свою беду, потянулся к полке. Даю голову на отсечение, полка была из «Икеа». Она накренилась, и на меня сошла лавина сценариев. Директор встал и вынул трубку изо рта. — Прошу прощения, — пролепетал я. — Ерунда, всё равно они на выброс, — ответил директор. Он освободил для меня стул. Мы сели. Он долго раскуривал заново трубку, не сводя с меня взгляда. — Барнум Нильсен собственной

персоной, — сказал он. Я кивнул. Час пробило давным-давно. Сейчас мне следовало получать приз. — Я ошибся временем? — спросил я. Директор помотал головой. — Им только на пользу подождать, — ответил он. Мне понравилась эта мысль, чертовски понравилась, что все они ждут сейчас меня. Это меняло дело в мою пользу. Время было на моей стороне. Я тоже закурил сигарету. — Расскажи о себе, Барнум. — А что рассказать? — сказал я. Директору едва не изменило терпение, зубы сжали мундштук. — Только идею в общих чертах, весь сценарий излагать мне не надо. — Я задумался. И вспомнил поучения отца, что надо сеять сомнения, ибо полная и чистая правда скучна, она навевает на людей леность и забывчивость, а сомнение держит за живое, не ослабляя хватки. — Родился и вырос в Осло, единственный сын у родителей, правда, отец умер до моего рождения. — Директор передёрнул плечами: — Барнум — это твоё настоящее имя? — Я использую его как псевдоним, — ответил я. Директор хмыкнул. — Барнум, а глаз болит? — Я моргнул на пробу: — Да нет. Я таким родился. Слепым на этот глаз. — Директор перегнулся через стол: — На самом деле я хотел спросить, что у тебя ещё написано. — У меня целая книжка

задумок. — Директор выпрямился. — Барнум, мы рады, что ты теперь наш. На самом деле рады. — И ещё одна вещь, — вспомнил я. — Говори, Барнум. Сегодня твой день. — У меня жена гримёр. Мне бы хотелось, чтобы она работала в фильме с гримом. — Директор долго таращился на меня. — В фильме? — переспросил он. Я даже растерялся: — Ну да, в фильме. В «Откормке». Вы уже решили, кто будет режиссёром? — Директор встал, обошёл меня сзади и положил обе руки мне на плечи. — Барнум, Барнум, — сказал он. — «Откормка» никогда не станет фильмом. — Мне казалось, что я не услышал его или услышал неправильно. — Никогда не будет? — Никогда, — подтвердил директор — Для чего тогда я выиграл? — спросил я. Директор убрал руки и вздохнул: — Барнум, пойдём и станем знаменитостями.

Я сперва завернул в туалет. Встал перед зеркалом. — Это ты — победитель! — сказал я самому себе. Веко снова вывалилось, морщинистая складка, закрывающая половину лица. Я распустил галстук, снял его и сунул в карман, взамен вытащил коньяк, который припрятал на потом. Отпил глоток. Осушив эту бутылочку, достал ещё одну. Первую я выпил за самый лучший сценарий, а вторую за фильм, который никогда

не будут снимать. Потом мы перебежали под дождём в деревянное здание напротив, столовую «Норск-фильм». Здесь мне предстояло стать знаменитостью. Здесь будут вручать призы.

Народу собралось немного. Мама, Вивиан и Болетта уже сидели за столом и ели булочки, разрезанные на половинки. Два журналиста с фотоаппаратами на шее отирались около столика с вином. Каждый из них щёлкнул меня по разу. Одного я не без труда узнал. Дитлев из вечернего выпуска «Афтенпостен». В прежнем же костюмчике. Минувшие годы в человечьем обличье, честное слово. Арне Скоуэна не наблюдалось. Директор подвёл меня к колючке в мешковатых, коричневых одеждах. Она до того напоминала мне фрекен Шкелету, что на миг мне примерещилось — она и есть, даже пыльный запах мела почувствовал. — Это наш драматург, — представил режиссёр. Я поздоровался с ней. — Тебе надо переделать начало, — прокричала она. — Спасибо, — прошептал я. Драматург бросила мою руку, как если б её оса ужалила под ноготь. Очень хотелось выпить ещё. Мимо проходили люди, некоторые хлопали меня по спине. — Здорово! — говорили они. — Классно! — Радовало, что хоть галстук снял. Директор взгромоздился на стул:

— Приветствую, дорогие мои! Добро пожаловать! Нас ждёт сумасшедший год. Проектов громадье, молодое поколение напирает всё решительнее, но и мы тут, на «Норск-фильм», мышей неплохо ловим. — Все, за исключением Болетты, засмеялись. Директор хлопнул в ладоши и продолжил: — В подтверждение этого я хочу наконец-то объявить победителя Большого конкурса сценариев, организованного нашей киностудией! — Засим директор передал слово драматургу, она встала рядом с его стулом и вытащила бумажку, сложенную как минимум в девять раз. — Мы получили шестьдесят три сценария, и выбор жюри пал на «Откормку». Это причудливая история мальчика, который перестаёт есть, чтобы сильнее расти, и в конце концов его отсылают на хутор для того, чтобы, да, да, откормить. Там он становится жертвой грубых домогательств, другие мальчики используют его в сексуальном плане. Сценарий может рассматриваться как резкое и иносказательное разоблачение извращённого общества. — Драматург перевернула бумажку. Мама хотела было вскочить, но, слава Богу, передумала. — Имя победителя — Барнум Нильсен. — Все, кроме мамы, захлопали. Оба журналиста защёлкали фотоаппаратами. Директор вручил мне чек и

бокал шампанского. — Ты будешь что-нибудь говорить? — спросил он. Стало совершенно тихо. Мама вперилась в меня взглядом и покачала головой. Я отхлебнул шампанского. И нежданно-негаданно мой язык затрендел как бесструнная балалайка. Я и не вспомню, когда это случалось с ним в последний раз. Мне-то казалось, что времена моей слабости на язык прошли безвозвратно. — Забодай вас всех лягушка, — проговорил я. Стало ещё тише. Вивиан залилась краской и опустила голову. Маму нельзя было шокировать сильнее, чем её уже успели шокировать. Драматург шлёпнулась на стул как подкошенная. А спасла меня Болетта. — Браво! — крикнула она. — Браво! — И публика истерично захлопала, а директор принялся щедро наливать всем шампанского. — Барнум Нильсен поступает в распоряжение прессы! — возвестил он громко. — Если журналисты такие смелые! — И директор заржал вполне громоподобно. Первым подошёл Дитлев. — Да-а, — протянул он. — Давненько не виделись. — Время бежит, — ответил я и посмотрел на его стоптанные ботинки. Он вытащил было блокнот, но передумал и снова убрал его. — Зато я успел поговорить с твоей мамой, — сказал он. — Да? И что она сказала? —

Дитлев улыбнулся: — Мама очень гордится тобой, Барнум. — Спасибо. — Ты не хочешь углубить свою несколько необычную благодарственную речь, а? — Его коллега начала терять терпение. Она потянула Дитлева за куртку и проворковала, поддав обаяния: — Ты собираешься один мучить Барнума до ночи? — Дитлев засмущался, стушевался, уступил ей арену, а сам подхватил зонтик и вышел на дождь. Сдал он. Теперь пойдёт к себе, в свой закуток в газете и напишет свою последнюю статью. — Присядем где-нибудь? — Журналистка отыскала столик. Я бутылку. Звали журналистку Бенте Сюнт. Это её позже окрестили Лосихой. Роста в ней было метр восемьдесят, и она никогда ничего не записывала. — То есть ты как бы тот человек, кто спасёт норвежское кино, — начала она. — Во всяком случае, сделаю всё от меня зависящее. — Она улыбнулась: — Это твоя собственная история? — Я ответил словами Педера, имея в виду и наставления отца о том, чтобы рождать слухи и сеять сомнения. — Может, да, а может, нет, — ответил я. Она сидела и рассматривала меня. Гляделки тянулись вечно. Я попивал шампанское. Наконец она присвоила себе вопрос Дитлева: — Ты не мог бы углубить немного свою необычную благодарственную речь? — Без

комментариев, — ответил я. Бенте Сюнт хохотнула: — Набиваешь себе цену с первых шагов в карьере? Не рановато ли? — Директор проходил мимо. — Тут всё тихо? — спросил он. Бенте Сюнт подняла на него глаза: — Пытаюсь выжать из Барнума комментарии к его благодарственной речи. Забодай вас всех лягушка. — Директор положил руки ей на плечи и стал непроницаем, как сфинкс. — Это долг молодых — поносить нас при первой представившейся возможности, не так ли, Бенте? — Директор убежал дальше. Я кивнул: — Золотые слова. — Бенте вытащила сигарету из пачки, но не закурила. — Какой твой любимый фильм? — «Голод», — ответил я. Она улыбнулась сыто: — То есть твой сценарий — как бы ответ Гамсуну? — Можно сказать и так, — ответил я. — И то, как ты изображаешь хутор, этот почти концлагерь, своего рода антитеза фашизму Гамсуна? — Я задумался. — Может, да, а может, нет, — сказал я. Такой ответ Сюнт не устроил. — Ты работаешь над чем-нибудь сейчас? — спросила она. — Да. Над современной версией «Божественной комедии». — Да?! — Адом у меня будет большой город, а Беатриче станет гидом турбюро. — Интересно. — Бенте Сюнт вернула сигарету на место и поднялась. — Пожалуй,

мне хватит, — сказала она. Я продолжал сидеть в её тени много спустя после её ухода. Внезапно кто-то запыхтел мне в затылок. Я обернулся с мыслью, что здесь Флеминг Брант, монтажёр, я только что видел, как он прошёл через комнату с ржавыми граблями в руках, это видение сопровождает меня по жизни. Но за спиной стоял Арне Скоуэн. Он нагнулся поближе. — Никогда не рассказывай о том, что ещё не написано, — шепнул он. — А то ничего не получится. — И я вспомнил, что слышал нечто подобное раньше, мама Педера наказывала мне то же самое много лет назад. *Не говори, а то не напишется.* Теперь я пошёл в уборную и выпил коньяку. На выходе меня поджидала драматург. — Рамочную историю убираем, — сказала она. — Целиком? — Это новшество пахнет нафталином, Барнум. Убираем. — Она пила шампанское большими глотками. Но не пьянела. Похоже, алкоголь оказывал на неё обратное действие. Она трезвела прямо на глазах, или это я пьянел. — Но в рамочной истории вся соль. — Соль? — Я хочу показать, что жизнь — то же кино. А крутит его механик Бог. — А почему Бог не режиссёр? — Мне кажется, механик подходит больше. — Драматург посмотрела на меня так, как смотрят на глупого и беспомощно-

го ребёнка: — Лучше б ты подумал о том, кто в истории злодей. — Злодей? — Кто он: школьный врач, хуторянин или мальчишка? Ты должен изъясняться понятно, Барнум. — На это я не нашёлся что ответить. — Ладно, я могу убрать рамочную историю, — промямлил я. И наполнил свой бокал. Драматургесса улыбнулась: — К тому же пользоваться собственным именем — это чересчур, правда же? — Какая разница, если фильм не будут снимать? — спросил я с тайной надеждой, что теперь она почувствует страшные угрызения совести. Но не тут-то было. — Наше дело — довести сценарий до ума. В любом случае, — ответила она.

На обратном пути я сидел сзади, а мои гордились мной не в пример меньше прежнего. Вивиан молчала, маму всё ещё мучило беспокойство. — Как ты мог написать такое? — прошептала она. — Что ты имеешь в виду? — Мама не осмелилась сказать такое вслух: — Что на том хуторе происходили вещи такого рода? — На переднем сиденье проснулась Болетта. — Не мешай мальчику сочинять в своё удовольствие! — Но мама не сдавалась: — Он не имеет права клеветать! — Она обернулась ко мне. — Тебе ж ведь было хорошо на хуторе, правда? — Вдруг я почувствовал, что

безмерно устал. Второй раз за день мне померещился Флеминг Брант, он стоял на углу, опершись на грабли, и глядел нам вслед. — Это всё не играет никакой роли, — сказал я. — Фильма всё равно не будет. — Вивиан сжала мою руку: — Фильма не будет? — Никогда. Директор сказал, что фильмом это не станет никогда. — Мама взяла меня за другую руку. — Слава Богу! — сказала она.

Чек я обналичил в банке на Майорстюен, а рядом с банком был винный магазин. Потом мы неспешно побрели домой. Дождь перестал. Воздух был холодный и прозрачный. — Ты расстроен? — спросила Вивиан. Я остановился перед телефонным автоматом на Валькирией. У меня оказалось достаточно мелочи. Я отыскал в каталоге «Театральное кафе» и заказал столик на восемь вечера. Пару монеток оставил в лотке. Может, ребятня подберёт и купит себе в киоске Барнума сока или ирисок. Я обнял Вивиан. — Нет, — сказал я. — Это хорошо. Барнум, надо просто писать дальше, правда? — И она так зацеловала меня, что мы едва не уронили авоськи с вином.

Но писать не получалось. Я собрался начать Божественную комедию, однако слова умирали, едва испачкав бумагу. Видно, правда невозможно сотворить то, о чём прилюдно растрепал, это то

же самое, как выжать из повествования сок и начать разводить его у всех на слуху. Раз выдал себя, пути не будет. Я написал сверху чистого листа: *обет молчания.* Потом взялся листать записную книжку, коли не пишется. Ну ни одной дельной идеи, хоть сразу отправляй книжку в помойку. Кинь такую ничем не отягощённую книжку в шахту мусоропровода — никогда не приземлится. Я явственно увидел свои замыслы, как они болтаются, не в силах упасть, чернила, исчезающие под напором гниющих объедков, жира, подгузников, кофейной гущи, окурков, блевотины, крови и прочих продуктов жизнедеятельности человека. В конце концов я достал «Откормку», провёл черту над первой сценой и поменял своё имя на Понтуса. Да толку что? Тем вечером я набрался быстрее обычного.

Первый раз телефон зазвонил в половине седьмого. Вивиан вышла из ванны и помешкала секунду, сомневаясь, брать ли трубку. Я услышал голос совсем рядом, у нас дома. Директор «Норскфильма». Вивиан передала трубку мне. — Может, он передумал, — шепнула она. Директор с места в карьер загремел дальше: — Барнум, ты обманщик. — Правда? — Барнум вовсе не псевдоним, и в семье ты рос не один. — Я молчал. — Барнум,

ты тут? — спросил директор. — А где я ещё могу быть? — Директор хохотнул. Но тут же стал серьёзным. — Барнум, послушай меня хорошенько. Эта история мне нужна. А написать её можешь только ты. — Я был совершенно сбит с толку. Но под этой растерянностью чувствовалось другое: тошнотворная тяжесть, на душе скребли кошки. — Какую историю? — спросил я. — О твоём пропавшем брате! — Вивиан, которая сушила волосы, сидя на кровати, вскинула глаза: — Ты что, не читал вечернего выпуска «Афтенпостен»? — Я бросил трубку. Выбежал на лестницу и вытащил газету у соседки, той, которой вечно лень закрыть хорошенько мусоропровод. Последняя статья Дитлева была на последней странице. Теперь мне стало ясно, о чём он переговорил с мамой. Здесь была фотография Фреда с матча в Центральном клубе, в тот момент, когда ему наносят финальный удар и лицо расползается, точно кожа не прилеплена к нему, и отъезжает к затылку. Ниже, но гораздо мельче моё фото: директор вручает мне чек, видно коньяк во внутреннем кармане — пробка торчит. Название гласило: *Победивший и проигравший. Я* пошёл к Вивиан и отдал статью ей. — Читай, — попросил я чуть слышно. Она прочла: *Барнуму Нильсену*

сегодня была вручена награда за победу в конкурсе сценариев, организованном киностудией «Норск-фильм». Должно быть, незабывчивые читатели «Афтенпостен» вспомнят это имя. Ещё в 1966 году Барнума Нильсена чествовали в городской Ратуше, когда его история «Городочек» победила в подростковом конкурсе сочинений. Относительно нынешнего сценария, «Откормки», писатель хранит молчание, но ещё вопрос, не уступает ли она драматизмом подлинной истории его брата. Фред Нильсен, считавшийся когда-то восходящей звездой бокса, пропал двенадцать лет назад. Мать братьев, Вера Нильсен, говорит, что обращалась и в полицию, и в Армию спасения, но без толку. Я вырвал у Веры газету, скомкал её и швырнул на балкон. И сам вышел на холод. Ну почему даже тут всё внимание Фреду? — Иди ко мне, — шёпотом позвала Вивиан. Я вернулся и лёг рядом с ней. — Кто победивший и кто проигравший? — спросил я. — Что ты глупишь? — ответила Вивиан. Я повернулся к ней спиной. — Понятно. — И не злись на маму, — добавила она. Я не сдержал смех: — Это ты мне говоришь? — Она делает всё, чтоб разыскать Фреда. Вдруг кто-то из читателей слышал о нём? — Я не злюсь, — ответил я. Вивиан расстегнула на

мне ремень и задрала рубашку. — Ты рассказал маме про нашего ребёнка? — Я затаился, по телу вниз растёкся холод. Голос не сразу оттаял. — Ты беременна, Вивиан? — Ещё пока нет, — ответила она. Но взгляд её был прикован к моему животу. Я знал, что она голая. Потом Вивиан взгромоздилась на меня. И пока мы пыхтели, телефон зазвонил во второй раз. Мы не подняли трубку. Её волосы, ещё влажные, елозили по моему лицу. Потом она скатилась мне под бок и задрала ноги на стенку. — А чего директор хотел? — спросила она. — Чтобы я написал сценарий о Фреде. — Вивиан потёрла руки о живот. — И ты будешь? — Я выждал паузу. — Похоже, я уже начал. — Правда? — Да, — ответил я. Вивиан дрыгнула ногами и повернулась ко мне. — И как называется сценарий? — Наверно, будет *Ночной палач.* — А почитать можно? — Пока рано, Вивиан.

Семь часов. Я принял душ, выпил и вобрался в костюм. Вивиан надела платье, которого я раньше на ней не видел, синее в крупную чёрную полоску. Оно ей шло. Мы посмотрелись в зеркало — вполне ничего себе, идём в само «Театральное кафе». Тут телефон прозвонил в третий раз. Я поднял трубку. Мама Педера. — Поздравляю, — сказала она. — Ты выиграл приз. — Да, такое

дело, — ответил я. — Спасибо за поздравления! — Я так тобой горжусь, Барнум! — Но с голосом было что-то странное. Он был медленный, и радости не слышалось. — Я должна сообщить тебе кое-что, — сказала она. Я сразу протрезвел и помертвел. Сел. — Да? — Папа Педера умер сегодня ночью. — Как умер? — Вивиан обернулась, уронила на пол клипсу. Мама Педера долго молчала. Я слышал только её дыхание. — Он покончил с собой. — О нет, — прошептал я. Вивиан шагнула ко мне, она была белая, еле стояла. — Мне бы очень хотелось, чтобы вы пришли на похороны, — сказала мама Педера. И положила трубку. Я поднял глаза. — Что? — шепнула Вивиан. — Что такое? — Я притянул её к себе и всё рассказал. И почувствовал, как расслабилась сведённая спина, короткий вздох облегчения, отпустило и меня, умер не Педер, и это облегчение тут же превращается в угрызения, стыд и скорбь. Расфуфыренные во всё самое-самое, мы остаёмся дома. И я явственно вижу столик в «Театральном кафе» с табличкой «Барнум Нильсен, 20. 00», единственный столик за который никто не садится, и это тоже своего рода эхо, отзвук диска, просвистевшего сквозь пелену слепящего солнца. Я обнимаю Вивиан. — Зато теперь Педер приедет, — говорю я и плачу.

(последняя картина)

Но Педер не прилетел. Мы с Вивиан поехали встречать его в «Форнебю». Было раннее утро дня похорон его папы. Мы стояли у огромного окна, чтоб посмотреть, как самолёт садится, медленно-премедленно, кажется, шасси никогда уже не чиркнут по земле. Рулёжки блестели после прошедшего ночью дождя. Мы бегом помчались на первый этаж, в зал прилёта. Нас таких собралось немало. Мы едва пробились вперёд. Я забрался на стул. Вдруг я его не узнаю. Чтоб тогда он сам смог признать меня. Но Педер не прилетел лондонским рейсом. Он вообще не прилетел. В зале остались лишь мы с Вивиан и чернокожая уборщица, которая возила широкой шваброй по полу, усеянному цветами, сигаретами, флагами плюс детский башмачок.

Мы взяли такси и поехали к маме сами. Она сидела в кресле в полной готовности, щепка в чёрном. — Самолёт отменили, — сказал я. Вивиан закивала и отвернулась. Мама взялась пожухшими руками за колёса коляски. Она решила добираться до крематория своим ходом. Времени ещё было достаточно. Наверно, таким окольным манёвром она хотела приготовиться, собраться

с духом, и то правда, кому охота спешить туда, куда век бы не ходил? Мы неторопливо одолели Фрогнерпарк, свернули за «Монолитом» и постепенно очутились на кладбище Вестре Гравлюнд, где покоятся и Пра с Арнольдом Нильсеном. Кто-то положил им свежих цветов. Я заметил могилу Т. Вокруг вросшего в землю камня колосилась жёлтая трава. Я аж запнулся на ходу, задохнулся. Эка всех забывают. Папа Педера заперся в гараже, сел в машину и завёл мотор. Утром его нашли мёртвым. Почтальон нашёл. Папа всё ещё сжимал руль, и им пришлось ломать ему пальцы.

В крематории зазвонил колокол. Мы одолели последний отрезок, подняли маму по ступеням и вкатили её в темноту, поближе к белому гробу. Все уже собрались. Не хватало лишь Педера. Посерёдке лежали венки от семьи, филателистов и друзей. Мы с Вивиан встали рядом с моей мамой и Болеттой. Заиграл орган. А я подумал, что если б мы с Вивиан в тот раз, возвращаясь от её родителей, зашли к ним, а не просто поглядели от угла на свет в окнах первого этажа, может, всё сложилось бы иначе. И если б я не стал приставать к нему с неисправным стеклом в машине, не говорил бы, что его нужно починить, возможно, он был бы жив сейчас. Неужели хватило бы такой

мелочи? Какая малость потребна, чтобы спасти человека? Было совершенно тихо, ни покашливания, ни слёз, словно эта кончина запугала нас до беззвучности. Мы ждали. Мама Педера положила на гроб розу. Потом развернула коляску и улыбнулась всем пришедшим. Она была прозрачна и красива. Голос её звучал чисто и медленно. — Оскар не хотел отпевания, — сказала она. — Он не верил в жизнь после этой. Мы часто говорили о смерти. Но никогда о том, что всё свершится так. — Она закрыла глаза, стало ещё тише. Тяжело проходили секунды. И она продолжила свою речь о покойном муже так: — Я очень любила Оскара. Он был со мной так терпелив… Я и теперь люблю его не меньше и буду любить всегда. Любить его смех, его задумчивость, радости, которые мы с ним разделили. Это моё единственное утешение сегодня. Горе не имеет обратной силы. Сегодняшняя печаль не может вытравить краски того, что было вчера. — Она снова прервала свою речь. А потом тихо, наклонив голову, прошептала, может, только я и услышал эти слова, этот всхлип, этот стон, но они выжглись во мне как клеймо: — Бог мой, Бог мой, я совсем его не знала! — Потом она выпрямилась: — Педер должен был бы быть рядом со мной в эти минуты. Но обстоятельства

помешали ему. Я благодарю вас всех, что пришли сегодня сюда. — И она снова отвернулась к гробу.

Церемониальная часть завершилась у могилы. Там я и понял, что самоубийство Оскара Миила не испугало нас до беззвучности, а ужасно смутило: что тут скажешь? Обычные слова, соболезнования оказались неуместны. Это было постыдное горе. Многие быстро исчезли, испарились в направлении парковки или станции метро, предпочтя просто оставить визитку в корзинке у выхода. Мама Педера сидела со своим зелёным пледом на ногах и принимала молчаливое сочувствие. Я понял, что руки у неё уже не поднимаются. Когда подошла моя очередь, я наклонился и поцеловал её в щёку, не чтобы быть лучше других, но чтоб не показывать своих слёз. — Вы отвезёте меня назад? — шепнула мама Педера. И мы отвезли её домой той же дорогой. Она оказалась ещё длиннее. Мы помогли маме подняться в квартиру. — Педер! — крикнула она вдруг. Он не ответил. Он не приехал. Мама не отпустила нас. Она хотела, чтоб мы остались. На столе загодя была приготовлена бутылка вина. Мы сидели в гостиной и пили. Мы не чокались. Мама едва удерживала бокал. Она убрала все холсты и рамы. В окно был виден гараж. Скоба

двери была опущена лишь наполовину. Наверно, там надо проветрить. Я хотел бы спросить только об одном: почему? Но вместо этого немыслимого вопроса я задал другой: — Ты дописала свои картины? — Она резко вскинула на меня глаза, и я, спохватившись, сообразил, что это было неуклюже, спрашивать так в этот хрупкий как стекло момент, который едва не разбился моими стараниями. С большим усилием она подняла руки. — Может, да, а может, нет, — прошептала она. — Как сказал бы Педер, — добавил я. И её руки снова упали на колени. Вивиан налила ещё вина. Я вышел пописать. Остановился в коридоре и прислонился к стене. Дверь в спальню стояла приоткрытой. Его пижама так и лежала на кровати. На тумбочке тикали часы. Две штуки. На одних было четверть шестого. А другие показывали американское время, чтоб им всегда знать, какой час теперь у Педера. Дверь в его комнату была заперта. Отлив, я спустился в гостиную. Вивиан уже встала. Нам пора было откланиваться. — Какая помощь тебе нужна? — спросил я. Мама сама докатилась до коридора. — Обычно Оскар относил меня в кровать. — Давай я отнесу. — Она улыбнулась — Сегодня я всё равно сплю тут, внизу. — Она порывисто схватила меня, и я

почувствовал, как кольцо тонких, морщинистых пальцев тут же ослабело. — Барнум, думаешь, когда-нибудь станет снова как прежде? — прошептала она. Я не знал, что отвечать, но и врать ей я тоже не мог. — Нет, — ответил я так же тихо.

Уже с улицы мы увидели, как мама погасила свет и дом медленно погрузился в черноту. Не знаю почему, но мне приспичило осмотреть гараж. Вивиан удерживала меня. — Не делай этого, — твердила она. Я всё равно пошёл. Она потянулась следом. Злая и напуганная. — Что ты здесь забыл? — Я не ответил. Не знал ответа. Она отпустила меня и отошла. Я пролез под скобой дверцы. Нащупал выключатель, и в дальнем углу вспыхнула лампа. Машины не было. Наверно, забрала полиция. Теперь это не просто место, а место происшествия. Мне почудилось, я уловил сухой, резкий запах. Мама складировала здесь свои картины. Они стояли вдоль стен. Я осмотрел несколько, почти все неоконченные. А потом я обнаружил ту картину, что она начала писать тем моим первым летом, когда мы жили на Ильярне и Вивиан решила высосать из меня яд. Я не устоял на ногах. Опустился на колени. На раме она написала название, «Друзья на скале». А на полотне — вечер у фьорда, всё в синеве, только

двое мальчишек на переднем плане освещены собственным светом, исходящим от их молодых, загорелых тел. Я узнал нас, толстун и кнопка. Мы голые. Мы обнимаем друг друга. Глаза закрыты, губы встречаются в поцелуе.

(пляжный зонтик на снегу)

Мама связала мне пару варежек с открытыми кончиками пальцев того типа, что были на Луи Армстронге, когда он барабанил на «Бишлете», чтоб я и не мёрз, и мог брать товар и отсчитывать сдачу. Она говорит, что я теряю в киоске время. Что надо поискать работу получше. Но мне нравится здесь, на этом колченогом стуле, а в варежках удобно писать, и тепло, на улице-то похолодало, по утрам совсем дубняк, скоро ляжет снег, а маленький нагреватель, который я поставил у двери, не особенно спасает от сквозняка. Я закрыл окошко и задёрнул шторку. Поблизости не видно ни покупателей, ни мучителей. Торговля не набрала оборотов, даже когда «Норск-фильм» назвал меня победителем своего конкурса. Я-то лелеял надежду, что после победы Барнума перед его киоском очередь выстроится, но — нет, в этот раз нет. Ну не очень-то и хотелось. С сосисками я покончил давным-давно, зато свежие журналы

исправно доставляют каждый четверг. Правда, шоколадки, особенно те, что прочищают мозги и поднимают настроение, отчего-то затвердели и поседели. Есть у меня подозрение, что они лежат здесь с середины шестидесятых.

Я достаю записную книжку и берусь за «Ночного палача». Исходная картинка есть: тщедушный мальчонка летит во весь дух по пустым улицам в порт. Она, картинка эта, отложилась во мне намертво, от неё мне никуда не деться, мне видится идущий в тумане корабль, он проплывает так близко от мальчика, что тому надо лишь руку протянуть, чтоб коснуться ледовой обшивки корпуса «Антарктики». Но эти кусочки — мальчик, город и корабль — всё, чем я богат, а трёх вешек явно недостаточно для истории, в разы превосходящей меня по размеру, что, впрочем, несложно. Короче, я забуксовал, едва начав разбег. Мальчик который протягивает руку, чтобы удержать корабль, — Фред. Это он стоит у меня перед глазами. Со дня выхода той статьи Дитлева мама, считай, ежедневно получает письма от людей, которые якобы видели Фреда. Я полагаю, все они больны на голову и пишут, лишь бы привлечь к себе внимание или подурачить нас, но факт остаётся фактом: они утверждают,

что совершенно точно видели его, и называют самые разные места: Таймс-сквер в Нью-Йорке, рынок в Монтевидео, Стрёгет и Карл Юхан, а также паром, курсирующий между Рёстом и Мускенесом. И все эти железной надёжности свидетельства, которым нет веры ни на гран, заново обнадёживают маму, причём надежда эта самого гиблого, самого беспросветного свойства, она — тяжёлая обязанность двадцать четыре часа в сутки верить и ждать, ждать и не отчаиваться, вот какому проклятию без вести пропавший предаёт тех, кого бросает. — Кто-то ведь наверняка обознался, — обычно говорю я. — Что ты имеешь в виду? — спрашивает мама. — Он же не может быть в стольких местах одновременно, да? — Тогда мама заявляет, что мне лишь бы испортить всякую радость, и вскрывает очередное письмо, авторы которого пишут, что точно видели Фреда Нильсена на Майорке или в Арвике, они с первого взгляда узнали его перебитый нос и худобу. Все письма мама отдаёт в службу розыска Армии спасения, чтобы они смогли систематизировать следы Фреда. Я записываю на полях *отследить путь письма.* Как далеко в историю может человек залезть? Я представляю себе лес, выбираю в нём дерево, смотрю, как его срубают. Вопрос: дол-

жен ли я отследить истории ещё и тех, кто делает это, кто валит дерево, обрубает сучья и распиливает ствол? Нет, лучше я побыстрей спущусь к реке, по которой сплавляют лес, стянутые в плоты брёвна, похожие на огромные гармошки, и где по берегу ходят те, кто вылавливает эти брёвна. Я затаскиваю бревно на фабрику, стоящую тут же, у воды, хотя можно сделать этот лист бумаги вручную, на семейном предприятии, в той же Италии, в Белладжио, например. Потом отслеживаю путь готового чистого листа до того магазина, где его покупает молодой человек. В этом месте я сделаю прыжок первый по счёту, и молодой человек окажется сразу посреди пустынного ледового пейзажа, но, прежде чем я прыгну, мне нужно оттолкнуться от планки, наступить на неё, а планкой будет такая сцена: молодой человек, обняв свою любимую, красивую и гордую девушку, поднимается на борт корабля, который перенесёт его туда, во льды и снега. Мне представляется, как он сидит в каюте и пишет своей милой, дерево уже превратилось в мысль, а мысль в письмо, которому суждено стать визуальной картиной. Мне нужна рука, которая водит по бумаге. Нужен карман, куда она засовывает письмо, карман в штормовке, которую он не надевает на себя, она

остаётся висеть на крюке в тесной каюте, когда он уходит в последний свой рейд и проваливается в полынью или замерзает во льдах, и они становятся ему вековечным мавзолеем. Это получилось хорошо. Удачное начало тройного прыжка. Я отпиваю глоток. Я его честно заработал. Тёмное крепкое спиртное просветляет меня. Но тут меня прерывают, прямо посреди хорошо задавшегося разбега. Кто-то барабанит в окошко. Не буду открывать, решаю я. Сегодня киоск Барнума закрыт. Стучат снова, настойчивее. Я и не думаю отвлекаться на стук. У меня вдохновение. Но когда они начинают прямо-таки колотить в окошко, норовя вовсе опрокинуть киоск, мне приходится отдёрнуть шторку, чтоб посмотреть этому нехристю в глаза. Овальное слегка загорелое лицо в солнечных очках загораживает чуть не всё окно полностью. — Сосиску с хлебом, пожалуйста. — К сожалению, мы сосисками не торгуем. — Ладно, тогда растаявший сок пожалуйста. — Сожалею, у нас только замороженный. — Но десяток «Тедди» без фильтра у тебя найдётся, кнопка? — Ты неблагодарный покупатель, вот что. — А ты, Барнум Нильсен, горе-лавочник! — Это Педер. Самый настоящий Педер Миил. Он вцепляется в мою куртку и выволакивает меня наружу через окош-

ко. Мы валимся на асфальт, мы катаемся, почти как раньше, и дикая радость распрямляется в сердце. Педер вернулся. Наконец. Мы поднимаемся, отряхиваемся. — Да ты разжирел! — говорю я. Педер заливается своим громким смехом: — А ты ещё укоротился! — Мы замолчали и стоим посреди Киркевейен, воскресным днём в конце ноября, пытаемся попасть в тон, нащупываем его и понимаем, что всё не так, как было прежде. Мы изменились, от этого не уйти. На Педере тонкая голубая рубашка и блейзер. Я беру его за руку. — Ужасная история с твоим папой, — шепчу я. Он снимает очки и смотрит на меня: — Что ты сделал с глазом? — Больше я не упоминаю его папу, пока он не заговаривает о нём сам. А отвечаю так: — Всё, пошли домой, к Вивиан. — Я убираю варежки в лоток кассы и закрываю киоск на сегодня. Мы молчим всю дорогу, пока не оказываемся перед нашей дверью на Бултелёкке. Педер рассматривает табличку, отполированную до блеска медную пластинку с надписью *Вивиан и Барнум.* — Ну и что я говорил? — восклицает он. — Что ты говорил? — Что останетесь вы двое, помнишь? — Я отпер дверь. Вивиан стояла у окна к нам спиной. — Уже вернулся? — спросила она. Мы разговаривали как супруги с двадцатилетнем

стажем, позаимствовав диалоги из фильмов с Жаном Габеном. — Я не один, — ответил я. — И трезвый никак? — Педер снова упирается в меня взглядом. Я меняю пластинку. — Угадай, кто придёт на ужин? — В Вивиан тоже что-то изменилось. Во всём её облике. Она ссутулилась, повесила голову, точно потеряла что-то на полу и пригнулась, чтоб поискать. Я часто думаю, что это общение со мной так её сгорбило, она старается опуститься до моего уровня, это тоже, наверно, форма любви, но лучше б было наоборот, лучше б я за ней тянулся. — Фред, — внезапно говорит она. Я замираю. — Что *Фред?* Он придёт на ужин? — Я громко смеюсь. А Педер снимает очки и говорит — Ну привет тебе, не обломившаяся мне удача. — Вивиан оборачивается и сразу выпрямляет спину, опускает плечи, вытягивает шею, в одну секунду, когда она понимает, что это Педер пришёл, Педер, она делается самой собой, прежней, прошедшие годы испаряются, и время ужимается. Я наблюдаю это превращение с восторгом и опасением. — Привет, толстун, — отвечает она. Педер хмыкает, достаёт из нагрудного кармана платок и принимается протирать очки. — Вивиан, у вас классная табличка на дверях. — Она не отрывает от него изучающих глаз, желая, кажет-

ся, сперва убедиться, что перед ней в самом деле толстун Педер Миил. — Когда прилетел? — спрашивает она. — Неделю назад. — Ты уже неделю в городе?! — вскрикиваю я. Педер не сводит глаз с Вивиан: — У меня была пара дел, с которыми надо было сперва разобраться. — Наконец Вивиан кидается к нему, они обнимаются и долго так стоят, один из них плачет. Это Вивиан. Однажды давно Педер сказал, что мы с ним *дружим* с Вивиан. Теперь всё вернулось на круги своя. Я ушёл на кухню принести пива.

Когда мы продрали глаза, Вивиан уже ушла. На ночном столике стояла бутылка. Я отхлебнул из неё и передал Педеру. — Лорен Бэколл по-прежнему взирает на нас с высоты, — сказал он и показал на картину на стене. Сегодня она висела криво. — Тогда я думал, это мама Вивиан, — сказал я. — И я тоже, — хохотнул Педер. Он поставил бутылку на пол. — Хорошо ли ты обращаешься с Вивиан? — спросил он внезапно. — Что ты имеешь в виду? — Сам знаешь что. — А вот и не знаю, — ответил я. И почувствовал, как во мне заводится страх, этот мотор с тяжёлым ходом, который утягивает тебя в бездну, лежит, как подлодка, на дне души. Педер не стал отвечать. За окном шёл снег. А я забыл убрать пляжный

зонтик с балкона. И вид этого синего зонтика под снегом, валившим густыми хлопьями и на глазах воздвигавшим мокрый нарост на балконной решётке, до сих пор отбрасывает тень печали и, что совсем странно, столь же острой радости на те секунды моей жизни, которые, бывает, засияют нестерпимо сильно и ослепят меня. — Я что-нибудь натворил вчера? — спросил я шёпотом. — Нет, напился и хохотал. — Я перевёл дух: — Чего ты тогда спрашиваешь? — У неё в глазах чернота, — ответил Педер. Наверно, это видно со стороны тому, кто долго отсутствовал, не знаю. — Я не могу делать детей, — сказал я. Некоторое время Педер лежал молча, и больше мы об этом не заговаривали. Но он перекатился и подмял меня под себя. — Барнум, ты сочиняешь по-прежнему? — Тем только и занят всё время, чуча! — Педер не сдавался: — Ты сочиняешь со знаком «плюс»? — Он заржал и завёл мои руки за голову. Я дёрнулся, вырываясь: — Ты в своей Америке стал на всё смотреть через купи-продай? — Педер тотчас отпустил меня. — Пошли, я тебе кое-что покажу, — только и сказал он.

Мы допили остатки, прихватили мои сценарии и вышли на улицу. Уже сугробы намело, а снег всё шёл. Надо не забыть внести в дом зонтик.

Его нельзя дальше оставлять на балконе. В своей тоненькой рубашечке с открытым горлом Педер был похож на гастарбайтера, который не понимает природы холода и у которого целая зима уходит на то, чтобы научиться мёрзнуть. На Терезегатен мы взяли такси и доехали до Соллипласс. Ветви нашего дерева белели, словно оно за это время стало альбиносом. Но Педер привёз меня смотреть не на дерево, а на магазин его отца. — Я тоже обзавёлся табличкой, — сообщил он. С магазина исчезла прежняя вывеска МАРКИ МИИЛА — ПОКУПКА И ПРОДАЖА. Вместо неё над дверью висела новая с остренькими пластмассовыми буквами: *Мишл & Барнум.* Я хотел спросить, как это понимать, но Педер отпер дверь и втянул меня внутрь. От марок здесь не осталось и полследочка. Ящики и шкафы зияли пустотой. Всё испарилось, как и не бывало, даже неистребимый запах бумаги и резины. Зато появилась новая мебель: письменный стол, шкаф для документов, диван и мягкое кресло. — Ну как? — спросил Педер. Я обернулся к нему: — А куда всё делось? — Продал, конечно. — Приехал домой и продал всё папино? — На минуту сбитый с толку, Педер потеребил пальцами рот. Голос у него дребезжал. — Ты стал сентиментальным, а,

Барнум? — Да, — ответил я. Он заулыбался — с Педером всякая гроза минут на пять, не дольше. — Ты думал, я до конца жизни буду зубчики на марках пересчитывать? — Я уселся в кресло. Там были подголовник, амортизатор и колесо, к тому же оно вращалось. И в целом вызывало ассоциации с «Тати» или магазином «Плэйтайм», с дверями, которые бесшумно сходятся за спиной человека. — А что делает на вывеске моё имя? — спросил я. Педер вздохнул. — Ты забыл, о чём мы с тобой сговаривались? — Я вскочил и схватил его за грудки: — Я-то как раз не забыл, а сколько времени *ты* не давал о себе знать! — прошипел я. Педер толкнул меня обратно. — Барнум, это твоё кресло. — Я вытаращился на него: — Чего? — А Педер стал раскручивать меня с дикой скоростью, я даже в подлокотники вцепился, у меня закружилась голова, я верещал, а Педер хохотал, наконец кресло остановилось, это было как в игре в бутылочку, только в роли бутылочки выступал я. Педер нагнулся ко мне: — Сочинитель и считатель, Барнум. Ты сочиняешь, я подсчитываю, сколько это стоит. — Я зажмурился и мотнул головой. Педер положил ладони мне на плечи. — Барнум, мы будем делать кино. Ты пишешь. Я продаю. — А Вивиан гримёром! — закричал я.

Педер достал из архивной папки вырезку из газеты. Это была статья Бенте Сюнт. — *Новое блюдо в норвежском кино,* — прочёл он вслух. Поднял на меня глаза, и на лице наконец-то появилась та неподражаемая улыбка, какой ни у кого, кроме Педера, нет. — Барнум, я тобой горжусь! — сказал он. — Спасибо, — прошептал я и крутанулся от него. — Я прочитал статью в самолёте по дороге сюда и знаешь что чуть было не сделал? — Не знаю. Скажи. — Я хотел ворваться в кабину к пилотам и крикнуть, что Барнум Нильсен — мой закадычный дружок. — Я рассмеялся. — Легче было просто захватить самолёт! — откликнулся я. Педер стал читать дальше: — *Благодарственная речь Барнума Нильсена, без сомнений, останется в истории как самая короткая и самая неортодоксальная в своём жанре.* — Педер снова взглянул на меня. — Само сорвалось, — сказал я. Педер сделал движение головой. — Забодай вас всех лягушка! Прямо в яблочко, Барнум! Теперь они тебя ни за что не забудут! — Он разгладил вырезку и спрятал её в папку с архивом. Мне его слова не очень понравились. По мне, так лучше б они поскорей это забыли. Но перечить ему я не посмел. Хотелось пить, я встал поискать чего-нибудь. — Холодильник ты тоже продал? —

спросил я. Педер взял пачку банкнот и теперь пересчитывал их. — Сценарий при тебе? — Я выложил «Откормку» на стол. Педер вручил мне три бумажки. — Пока я буду читать, сгоняешь в «монополькy», — сказал он. Я остолбенел прямо с его деньгами в кулаке, опешил и обозлился. Что он там себе возомнил? Но Педер сел на диван и принялся листать сценарий, а я под снегом поплёлся в магазин на Драмменсвейен. Чтобы купить красного вина, я должен был показать паспорт. Хорошо, я всегда ношу его с собой. Потому как ограничения «от восемнадцати и старше» встречаются на каждом шагу. Продавщица изучила паспорт со всех сторон, посмотрела на свет, позвала коллег поинтересоваться их мнением насчёт этого истрёпанного, возмутительного вида документа с моей фотографией, сделанной в автомате на Вестбанен, потому что там самый высокий стул. Что-то я перестал сам себе соответствовать, образовался какой-то сдвиг, я вызываю сомнения, но не то сомнение, которое завещал отец, не святое сомнение, заставляющее людей верить во что угодно. Моё сомнение грязное и обременительное, как путы на ногах. С той стороны прилавка раздались смешки. Мне бы следовало уйти, повернуться и уйти, хлопнув

дверью. Но я ждал. Хотелось пить. И мне в конце концов вернули документ и пакет с бутылками. Напоследок, когда у меня веко упало на глаз, продавщица снова засомневалась. Я бросился к выходу. Хотел уж распахнуть дверь ногой, но передумал, наоборот, придержал её перед местной старушкой, она тащила сдавать бутылки (каждая была обернута бумагой), и вежливо прикрыл за ней дверь, потому что в этот близлежащий магазинчик мне наверняка теперь ходить не переходить.

В баре *Le Coq d'or* я выпил пива. Педер оказался обстоятельным читателем. Паспорт я положил под рукой на стойке. — Боишься забыть, кто ты такой? — пошутил бармен. — Боюсь, пива не нальёшь, — парировал я. Потом уговорил ещё кружечку пива и пошёл в контору. Постоял снаружи, рассматривая новую вывеску. *Миил & Барнум.* Что-то здесь было неправильно, неверно, как в рекламе мёда или безвкусном стишке. Когда я вошёл, Педер сидел положив ноги на стол. — Ты сочиняешь по-прежнему со знаком «минус», — сообщил он. Я откупорил красненькое. — Тебе не понравилось? — спросил я. Педер встал и завёл длинную речь, по ходу которой он беспрестанно жестикулировал своими пухлыми

ручками, словно надувая мяч. За время его спича я успел уговорить почти бутылку. Сказал он примерно следующее: — Понравилось ли мне? Что за вопрос? Конечно. Более того, я влюбился в сценарий. Но имеет ли это какое-то отношение к сути дела? Ответ нет, не имеет. А суть дела такова: ни один человек не потащится в кино, чтобы посмотреть этот фильм. *Откормка,* ага! Во всём этом нет ничего, кроме отрицания. Все до единого персонажи терпят убытки, и что бы они ни делали, самые невинные вещи, их долг растёт и растёт. Ты доводишь до полного морального банкротства всех — и маму, и школьного доктора, мальчиков, хуторянина, скотницу, даже механик и тот общей участи не избежал. А надо, Барнум, раздавать авансы. Публика любит подсчитывать не убытки, а прибыль. Она желает выйти из зала, обогатившись. Они пришли нагулять новый жир, а не растрясти остатки старого, так ведь?! — Педер остановился отдышаться и посмотрел на меня. — Наконец я понял, что не так, — ответил я. — Отлично! — закричал он. — Моё имя должно стоять первым. — Педер на минуту растерялся: — Что ты сказал? — *Барнум & Мишл* звучит гораздо лучше, — сказал я, — гораздо. — Педер уронил руки и улыбнулся: — Это можно устро-

ить. — Он взял телефон, коротко поговорил с кем-то и повернулся ко мне. — Ну вот, всё уже устроилось, — сказал Педер и сел. Не знаю, кому он звонил, но я был восхищён. — У тебя ещё есть? — спросил он. Я налил ему. Педер расхохотался: — Я имею в виду наработки, Барнум. — Я закрыл глаза. Как быть? Что я могу выдать, а что нужно сохранить в тайне, дабы не пустить все мои идеи на ветер, не испортить их трёпом? И меня как током дёрнула мысль, что я во всём середина на половину: и лицо нормально на одну половину, и рост вполовину нормы, и мысли, настоящий полчеловека. Единственное, в чём я проявлял цельность и последовательность, — это чтоб *во всём* наполовину. — Бассейн, — сказал я. Педер нагнулся поближе: — Бассейн? — Это название. «Бассейн». — Педер поднял кружку и снова опустил её. — Миилу этой информации мало, — сказал он. И я рассказал ему больше. Выдал всю историю. Вот что я сказал: живут двое рабочих, они строят бассейны в садах богатых людей. Они роют котлованы, укрепляют стенки, кладут плитку, короче говоря, пашут с утра до ночи, чтобы буржуины обзавелись стильными бассейнами. Пока они вкалывают, на дачах принимают гостей, званые вечера в саду, и мужчины

в смокингах и дамы в длинных платьях прогуливаются вдоль бортика, попивая из фужеров и закусывая канапе. Но воду в бассейны они не подают. Приходит осень, а они стоят всё такие же, как гигантские пустые могилы, в них скапливаются лишь листья да дождь. Я взглянул на Педера. У него было отрешённое лицо. Ото лба наискосок его прорезала морщина. — Больше ничего не происходит? — спросил он. — Тебе кажется, должно ещё что-то произойти? — По-моему, да. Сейчас вообще ничего не происходит кроме того, что они строят бассейн. — Бассейн это метафора, — говорю я. — Но они никогда не дадут в него воду. — Педер вздохнул: — Вот и я говорю: они даже водой его не наполняют. — И в этом смысл, — объясняю я. — Смысл? — Это метафора. Что они строят бассейн без воды. — Это они нарочно делают? Саботируют? — Об этом я не думал. — Педер теряет терпение. — Тогда тебе придётся растолковать мне это поподробнее. Не спеши, объясняй, сколько надо. — Тут нечего объяснять. — Барнум, тут надо объяснять всё. — Жизнь — пустой бассейн, — сказал я. Педер вздохнул горше прежнего: — Это моя вина или твоя, что я чувствую себя круглым идиотом? — Как понять? — Барнум, ты хочешь, чтобы

зрители чувствовали себя кретинами? — Ни в коем случае. — Если только предложить это как телевизионный спектакль, — сказал он. Подъехал грузовик. Двое мужчин в комбинезонах с полосками отражателей на штанинах заслонили окно лестницей. Педер поднялся, открыл дверь и отдал какие-то распоряжения. Потом вернулся ко мне. Я откупорил портвейн и разлил нам. Педер чокнулся. — Ты помнишь, как папа называл похмелье? — Штрафная пеня, — сказал я. Педер усмехнулся. — За недоплату за марки на радостях, — добавил он. И в глазах у него поплыло, увидел я. Он опустил их. — Спасибо, что не оставили маму, — прошептал он. — Ещё не хватало, Педер. — Барнум, мне так стыдно. — Почему? — Я не смог приехать домой на похороны. Струсил. — Он посмотрел на меня. — Когда мать рассказала, что он сделал, я впал в бешенство. — Бешенство? — Я не могу этого понять. Что он покончил с собой. А я ненавижу то, чего не понимаю. — Педер снова повесил голову. — Забодай его лягушка, — прошептал он. Мне захотелось рассказать Педеру о «Ночном палаче», о первых его сценах и моих грандиозных замыслах. Но он опередил меня. — И ещё одно, — сказал он. Я ждал. Педер отпил глоток и взглянул на меня:

— Ни одного экзамена я не сдал. — Что ж ты там делал? — Торчал на пляже. — Загорел неплохо во всяком случае. — Педер порывисто вскочил: — Ты слышишь, что я говорю? Я никто. Ноль без палочки. — Не преувеличивай, — сказал я. Педер стоял как истукан, рубашка выбилась из брюк, лоб блестел испариной, руки ходили ходуном. — Теперь ты знаешь, с кем связался, — прошептал он. — Сколько букв в наших фамилиях? — спросил я. — Десять, — ответил Педер устало. Я тоже поднялся, взял его руку. — Значит, это надолго, — сказал я. Педер ткнулся головой мне в плечо.

Тут постучали в окно. Рабочие управились. Грузовик с лестницей на крыше отъехал в сторону. Мы вышли к ним. Они переставили слова на вывеске. — Я буду делать твои идеи зримыми, — бросил Педер и убежал внутрь. Снег всё падал. И тут произошло что-то необыкновенное. Буквы вдруг замигали, точно готовились спрыгнуть со стены. Педер не торопясь вышел ко мне снова и стал рядом, улыбаясь. Вскоре буквы угомонились, и наши имена зажглись над дверью ровным красным цветом: БАРНУМ & МИИЛ. Я обнял Педера, и начался тот период, название для которого я позаимствовал из языка немого кино, начался наш электрический театр, который загонит меня

потом в комнату 502 пансиона Коха и на Рёст, где я просохну на солёном ветру.

(ряд 14, места 18, 19 и 20)

Немое кино позаимствовало лица у пантомимы и фотографии, у пабов, борделей, варьете, цирка и погостов. Лицо не врёт. Оно примитивно, без лукавства, рассказывает всё, как в чертах Пра отпечаталась утрата, но ещё и счастье вынашивания ребёнка того, кто утрачен. Мы двойственны. Мы половинчаты. То, что рассказывается лицом, это или трагедия, или комедия. Сценариев пока нет. Действием становится жест, движение, поднятая бровь, слеза, улыбка. Язык существует только как пояснительные ремарки между сценами, белые дрожащие буквы на чёрных подложках, и единственным предназначением этого языка было следующее: сообщить, что время движется. *Затем. На другое утро. Тем же вечером.* Но постепенно эти простые констатации, эти привязки ко времени стали ощущаться как слишком лапидарные. Язык быстро поддался этому тщеславному щегольству, так что скоро на экране уже можно было прочесть *Потянулись бесконечные, невыносимые дни, наполненные безнадёжностью отчаяния* или *Незаметно*

подкрался рассвет страшного утра. Язык стал сворачивать на ложную дорогу. И вскоре время в словах замерло. Музыка ничем не могла помочь этому горю. Тапёр сдался. Актёры, захваченные общим паническим настроением, которое передалось и публике, стали шептать текст друг другу. Действие должно было развиваться. Речь проложила себе дорогу, и вместе с ней пришёл сценарий. У меня тоже бывают моменты, когда я ощущаю это именно так: время остановилось. В беспорядке рассыпаны листы бумаги. Конец мне не даётся. Я укрылся в задней комнате. Пью. Цежу так медленно, как только могу. Опьянение — то же время, но внутри запоя время соскакивает с катушек, взрывается, как будильник во сне. Я разглядываю гостей. Педер назвал полгорода. Тут «Норск-фильм», вот директор (кожаные заплатки на локтях его пиджака вытянулись) и драматург (она роняет сигарету и втаптывает окурок ногой в ковёр, считая, что этого никто не видит), журналисты (Бенте Сюнт строчит что-то, а фотоаппарат наша скальдиха прячет в кармане) и музыканты в грязных джинсах, неуравновешенные режиссёры, включая прославленную пару, половина которой кутается в меха, громогласные актёры, непризнанные поэты андерграунда, няньки,

дядьки и прочие бледные тени, никем не званные, но чующие дармовую выпивку за версту, не хуже натасканных ищеек. Я приятно поражён. Вивиан и Педер скользят среди гостей и улыбаются налево и направо. Хозяин и хозяйка. Они сама элегантность. Я наблюдаю за ними. Самые стильные рыбки в этом аквариуме. Сам я стою по другую сторону стекла, там, где звуков нет. Мне хорошо. Вдруг Вивиан оборачивается и встречается со мной взглядом, это уже перебор, хотя продолжается не больше секунды, да нет, меньше, просто беглый взгляд, чиркнувший по мне, движение, не запнувшееся на мне. Я улыбаюсь и поднимаю бокал, но поздно, она больше не моя, а может, не была ею и прежде. Я несостоятельный мужчина. И стоило мне признаться себе в этом, как я почувствовал свою близость к Вивиан сильнее, чем когда-либо прежде. Педер забирается на стул и произносит речь. Я вижу, как изгибаются в улыбках рты и хлопают ладоши. Внезапно прорезаются звуки, шумовая волна докатывает до меня, и мне делается слышно, что Педер зовёт меня. Он хочет, чтобы я сказал несколько слов. Иду к ним. Залезаю на тот же стул. Публика в явном ожидании. Я смотрю на Вивиан. Она спокойно ждёт. — Давай, Барнум! — подначивает

Бенте Сюнт. Педер вспотел немного. Один из самых первых английских фильмов назывался «Сырные клещи, или Лилипутский народец в ресторане». Режиссёр Роберт У. Пол, известный своими эпатажными выходками и *dolly shots*, сперва снял сцену как обычно, а потом затянул кулисы чёрным, отодвинул камеру на тридцать футов назад, поменял линзу и второй раз снял на ту же плёнку. Таким образом, у него в одной сцене сошлись нормальные люди в полный рост и крохотные, сказочные коротышки. Самая известная сцена выглядит так — моряк в полном изумлении, не веря своим глазам, смотрит, как из куска сыра, который он нацелился съесть, вылезает вереница гномов. Вот об этом мне и хочется рассказать. Что и я тоже — мелкий клещ и они будут наталкиваться на меня постоянно, находить меня, как только выдвинут ящик, возьмут полистать книгу, сунут руку в кровать, зайдут в уборную, откроют бардачок, очечник или холодильник, я буду рядом, когда они засыпают и тем более когда просыпаются. Я клещ. Но сейчас надо что-то сказать. — Ночь только началась, — сообщаю я собравшимся. И слезаю со стула. Кто-то хлопает. Остальные переглядываются. Мимо пробирается Бенте Сюнт. — Ты что, научился

себя вести? — спрашивает она. Я киваю. — Жаль, не повеселимся, — шепчет она. Потом склоняет голову набок и спрашивает: — А этот Педер Миил тебе зачем? — Я вырываю у Бенте Сюнт аппарат, подхожу поближе, вплотную почти к этому лошадиному оскалу свекольного цвета и кричу: — Я тебя сейчас вообще сфигафирую! — И исполняю свою угрозу. Похищаю её душу. Бенте Сюнт заливается хохотом. Это прекрасный вечер. У меня за спиной останавливается директор. — Ты обдумал моё предложение? — спрашивает он. — Нет, — отвечаю я. Он хлопает меня по плечу. Вечер всё ещё хорош.

Вскорости все расходятся. Нам остаётся пустая тара, бычки, объедки, стаканы и особенно эти грязные скомканные салфетки, похожие на мёртвых птиц, приходит мне на ум. Я беру одну такую и расправляю её крылья. Они покрыты слоем помады и пепла, не удивительно, что птица не летает. Мы сидим вокруг стола и допиваем последнюю бутылку. Мы — это Вивиан, Педер и я. — Мы в обойме, — говорит Педер. — В обойме, — поддакиваю я. Вивиан устала и довольна. Она поднимает бокал. — Давайте выпьем за *Миил & Барнум,* — предлагает она. — *Барнум & Миил,* — поправляю я. Педер хохочет. — За Вивиан! — го-

ворит он. Мы пьём за нас. Вечер давно заматерел, превратился в ночь, и вывеска, всё ещё сияющая, красит снег красным. Остов новогодней ёлки с половиной звезды валяется на середине улицы. Похоже, кто-то вышвырнул её с балкона или в окно. В молчании и задумчивости мы допиваем остатки вина. — Комедия, — внезапно говорит Вивиан. Мы вытаращиваем на неё глаза. — Какая комедия? — спрашивает Педер. Вивиан докурила одну сигарету и раскуривает следующую. — О материнской доле. Навеянная народной песней «Выпустил Пол несушек». — Мы с Педером не улавливаем ход её мысли. Хором запеваем «Несушек», доходим до последней строчки припева, до слов «Теперь вернуться к мамочке не смеет он домой», и наконец понимаем, что к чему. Я целую Вивиан в щёчку. Сегодня я влюблён. Педер лупит кулаком по столу с криком: — Лорен Бэколл! — Я оборачиваюсь к нему: — А с ней что? — С ней *всё!* Если нам удастся заполучить её на фильм, дело в шляпе! — Лорен Бэколл? Педер, ты допился до горячки или как? — Нет, чёрт возьми. Почему мы должны ограничивать себя этой золотой конюшней лицедеев из Дрёбака? Нет в жизни вещей невозможных! — И вот так мы ведём разговор, ободряя друг дружку. Почти как раньше.

Только с речью нашей что-то не то. Мы говорим отчего-то слишком громко. И слишком тараторим. — Гараж сгорел, — бесстрастно говорит Педер. — Сгорел? — Я беру его за руку. Он часто кивает головой. — Сгорел со всем хламом вместе. Нормально, да? — Мы с Вивиан уходим домой. Педер остаётся прибраться. У меня не идёт из головы эта строчка «Теперь вернуться к мамочке не смеет он домой». Морозный воздух взбодрил меня. Сна ни в одном глазу. Спина Вивиан голая. Я кладу руку ей на бедро, она, не просыпаясь, скидывает её. Тогда я вылезаю из кровати и сажусь к столу. «Ночной палач» убран в ящик. Они уже ломятся от моих затей. Я заправляю в машинку новый лист и пишу: — «Наконец зима сбрасывает своё белое пальто и остаётся в изумрудном платье». Гляжу в окно. Вивиан сидит на балконе под зонтиком. На круглом столике стоит бокал с чем-то красным. Она запрокидывает голову назад и улыбается, но не мне. В 1911 году Уилл Баркер снял «Гамлета» за один день, причём фильм шёл пятнадцать минут. Этот рекорд не побит. Вивиан уже ушла к себе в салон. Трезвонит телефон. Это Педер. Он кричит в трубку, захлёбываясь, словно звонит из телефонной будки, прямо из детства, и у него одна монетка, а нужно успеть рассказать

кучу всего важного. — Барнум, надо поговорить! — Сейчас занят, — отвечаю я. — О'кей, тогда обедаем в «Валке».

Я надел солнечные очки и вышел из дому, но не добрался и до Мариенлюст, как лето кончилось. От деревьев исходило шуршание, знаете, этот сухой специальный звук, с которым падают отполыхавшие своё листья, казалось, катится большое колесо. Но выяснилось, что я слышал шуршание не листьев, а башенных кранов, они как механические хищники обложили наш дом со стороны мостовой, крышу сплошь закрывал зелёный брезент, который ветер подхватывал и вздыбливал так, что он напоминал огромный воздушный шарик, под которым, привязанный к его верёвочке, болтается дом. Они уже взялись надстраивать мансарды. Я подумал: снесут и мамино прошлое. Спустился в «Валку». Педер сидел у окна. Я заказал себе «зелёный свитер»: портвейн с пивом. Педер допивал коку, торт он уже съел. Я огляделся по сторонам, на посетителей, заторможенных, как сонные мухи. — Неужели и я кончу так же? — прошептал я. Официант молча составил на столик заказанное. Я начал с портвейна. — Во всяком случае, ты бодро к этому движешься, — заметил Педер. — Ты позвал меня

поговорить об этом? — Педер помотал головой. Настоящий заповедник молчальников. Время здесь не шевелилось, а если вдруг всколыхнётся в полдня раз, когда кто-нибудь вдруг выйдет в уборную, то течёт вспять. В глубине зала поднялся из-за столика директор, впрочем, с должностью он уже расстался. У нового времени новые начальники. Теперь ему осталось только сидеть глядеть в серое окно. Мимо спешили мужчины и женщины актуальной формации, в невесомых пальто, на шпильках, вооружённые кредитками. Теперь на каждом углу — забегаловка с гамбургерами, так что даже у алкашей на Майорстюен штаны на пузе не сходятся. Не только мой бывший дом, но и весь город того гляди взмоет в небо, словно ещё один шар воздухоплавателя Андре, вот только нас искать кто отправится? Одно незыблемо на земле — квартет Армии спасения. Эти четыре музыканта, которые всегда стоят у остановки трамвая и распевают одни и те же старые-престарые песни под тощий гитарный аккомпанемент, вот кто стягивает вместе края разлетающейся действительности. Мне, кстати, вспомнилось, что это они ведут поиски Фреда. Во всех городах любой страны они вот так же поют и смотрят, смотрят и высматривают и спасают

души. — Ты слыхал об Артуре Вернее? — спросил я. Нет, Педер никогда о нём не слышал, как и все остальные, впрочем. Хотя он умер лишь год назад. В возрасте 94 лет. И был одним из пионеров кинодела. Молодым даровитым драматургом он перебрался из Нью-Йорка в Голливуд, чтобы писать сценарии, ещё когда Мэри Пикфорд блистала в зените славы. С тех пор он писать не переставал. Он творил во времена массового помешательства на Дугласе Фербенксе, он сочинял для Джеймса Когни, Эдварда Г. Робинсона и Джона Уэйни, он строчил не покладая рук, когда на экранах появились уже Марлон Брандо и Джеймс Дин со своей вечной меланхолией, и не оставил своих трудов, когда Клинт Иствуд принялся размахивать своим «магнумом» на каждый чих, и даже Сильвестр Сталлоне с его голым торсом не сбил Артура Бёрнса с панталыку. В результате он стал одним из наиболее уважаемых сценаристов Голливуда. Живая легенда фабрики грёз, он пережил всех героев всех времён, и «Уорнер Бразерс» оплатила его похороны. Одна только незначительная мелочь омрачала блистательную карьеру Артура Бёрнса. Ничто не было реализовано. Ни по одному из сценариев не был снят фильм, ни одна написанная им сцена, ни одна реплика не

вышли на экран. Всё кануло в песок. Я заказал ещё один «зелёный свитер». Педер вздохнул: — И к чему ты всё это рассказываешь? — У меня тоже стол трещит по швам от сценариев, которые никто не хочет брать, — ответил я. Педер нагнулся поближе. — Заимствования, — сказал он. Я машинально дёрнул руку к себе. — Заимствования? — Именно так. Нам надо подумать о заимствованиях. — Педер, не надо меня обижать. — Сходи в библиотеку и найди несколько книжек с интересной историей. Ни о чём больше я тебя не прошу. — Я предпочитаю пользоваться своими идеями. — Педер скрестил руки. — Но если свои идеи что-то медлят, разве зазорно, пока суд да дело, подпитаться вдохновением от чужих открытий? — Ты помнишь, что говорил о заимствованиях Скотт Фитцджеральд? — Нет, Барнум. Но ты, конечно, помнишь? — Я кивнул. — Подсуньте другу хорошую книгу, пусть прочтёт и расскажет, что запомнил, вам остаётся записать за ним — и фильм готов. — Золотые слова, — восхитился Педер. Бывший директор вышел из уборной, подошёл к нашему столику и навис надо мной. Педер расплатился по счёту. — Пишешь? — спросил директор. — Да, — ответил я. — Нет, пишешь ли ты историю своего брата? —

Не знаю почему, но я впал в ярость. Вскочил и толкнул его. Не сильно, готов поклясться, но у него, видно, были проблемы с равновесием. Он опрокинулся назад и упал на пол между стульев. А меня вышвырнули из «Валки» в детское время, в два часа дня, и навсегда закрыли для меня двери заведения, на пороге которого в ту же секунду возникла Бенте Сюнт, мой злой гений, моя дурная примета, потому что стоит ей встретиться на моём пути, как случается что-нибудь страшное. Я успел заметить её ухмылку, но Педер подхватил меня под локоть и от греха подальше потащил на противоположную сторону улицы. Армия спасения пела. — Ты пишешь о Фреде? — спросил он. Тогда я пхнул и его тоже, но толстун не упал, весит много. — Н-е-т! — заорал я. А потом мы пошли в Дейхмановскую библиотеку на Бугстад-вейен и взяли двадцать романов, начиная с саг, включая крохотных гамсуновских «Мечтателей», «Дракулу» и «Маленького лорда» и заканчивая молодым длинноволосым писателем по имени Ингвар Амбьернсон. На такси повезли всё это чтение в контору. Одна буква на вывеске перегорела. Теперь получилось *Барум & Мшил.* У нас всё как в дешёвеньком отеле с удобствами в коридоре. Педер открыл дверь, в комнате сидела

Вивиан. Она вскочила нам навстречу. — Вы уже слышали? — спросила она. Я похолодел и протрезвел. Не знаю, что я боялся услышать, но самое страшное. — Что мы слышали? — тихо спросил я. — Сносят «Розенборг», — ответила она. Педер выронил все книги, и мы на такси помчались туда. Это была не шутка. Они сносили кинотеатр «Розенборг». Здесь будет спортивный клуб. Они выносят на улицу всю начинку и скидывают в безразмерный контейнер, перегородивший всю улицу. Вот и не стало ещё одного места. Но они не в силах выкинуть картинки. И запихнуть свет в свои мешки они тоже не могут. Что-то останется, и мы никогда не сможет избавиться от этого чего-то. Хоть такое утешение. Примерно час ушёл у Педера на переговоры с начальником. Наконец, он выписал чек действенного размера, и нам позволили забраться в контейнер. И мы нашли-таки кресла из ряда 14, места 18, 19 и 20. Мы унесли эти места, лучшие в зале, на Бултелёкке и поставили на балконе. — Чур, я с краю, — заявила Вивиан. Я возмутился: — Твоё место посерёдке! — Но она села с краю, на восемнадцатое место, презрев все наши словеса, а середина досталась мне. У Педера, не извольте сомневаться, оказалась в кармане плитка шоколада, которую он разломил

на три равные части. Деревья в Стенспарке ещё одеты в трепещущую зелень. Но огромное колесо скрипит. Солнце клонится долу. Ночной палач переваливает через Блосен и надвигается всё ближе и ближе. — Вам хорошо видно? — спрашиваю я. — Тсс! — шикают Педер с Вивиан.

(замшевая куртка)

В том месте, где раньше в крыше открывался люк, вставили окно, оно обращено в небо, в черноту. Меня заботит, выдержит ли стекло тяжесть снега, если он ляжет надолго. Стена с дымоходом и угольной трубой оштукатурена в белый цвет. Половицы пружинят на каждый мой шаг, пол отциклеван и выкрашен в красивый светлый тон, отчего комната кажется больше, чем мне помнится, хотя, может, дело в том, что вещей нет, пусто, это ещё ничьё не жильё. Кухня соединена с комнатой, а чуланчики превратились в спальню и ванную. Я уже понял, что никогда не смогу жить здесь.

Я слышу чьи-то шаги на лестнице. Оборачиваюсь — мама. Над ней плавные дуги чуть провисших верёвок сушилки, чудится мне. У меня смешиваются в голове эти картинки из разных времён, они проявились скопом, и вот

уже мама замерла под верёвками, они растянуты в свете солнца между вбитыми в стены ржавыми крюками, маме ничего не стоит дотянуться до деревянных прищепок и снять наконец своё платье, позабытое ею здесь, цветастое летнее платье, а голубь на балке знай курлычет. Я открываю рот сказать что-то, но передумываю. Что-то с ней странное, какое-то спокойствие, которое меня пугает. — Всё кончилось, — шепчет мама. — Кончилось? Что кончилось? — Фред, — шепчет мама. Косой дождь стучит в наклонное окно. Я б пяти минут не проспал в этих комнатах. Я подхожу к маме. Что меня удивляет, это то, что я не испытываю ни горя, ни радости, страха даже и того нет. Словно бы мрачная мамина бесстрастность передалась и мне тоже. Но когда я заговариваю, голос неожиданно дребезжит. — Его нашли? — спрашиваю я. Мама мотает головой: — Нет. Но нашли его одежду. — Его одежду? — Ты помнишь его старую замшевую куртку? — Я киваю. Однажды, когда ему позарез надо было уговорить меня сходить с ним на кладбище, он дал мне её поносить, куртка была мне до колен. — Её обнаружили в Копенгагене. В гавани Нюхавн. Она висела на столбе на мосту. — Мама улыбается. — Видишь, как хорошо, что я нашила метки на вашу одеж-

ду, — говорит она. — Вижу, мам. — Как она это проговорила, так я и понял, что мама сдалась. Да, да, дело обстоит именно так. У неё кончились силы надеяться. Она хочет покоя. Отныне он для нас будет не без вести пропавшим, а умершим. Маме уже полегчало. — Они прочесали каналы, но не нашли его, — шепчет она. — Наверняка тело унесло в море течением. — Она делает шаг в мою сторону. Пол вздрагивает. Я пробую встретиться с ней взглядом, но не выдерживаю. — Он мог отдать свою куртку кому-то, — говорю я. Мама снова улыбается и протягивает мне бумажку. Это последняя часть письма из Гренландии, и на секунду сердце заходится от торжества, нашёл-таки он письмо, его странствия были не напрасны, но потом я узнаю разнузданный почерк Фреда, ущербные на его манер слова. Видно, он, как и я, заучил письмо наизусть и записал, как сумел, коряво. Самого последнего предложения не хватает. — Это у него в кармане нашли, — сказала мама. И мы замолчали, словно вступили в сговор. Здесь, под крышей, на бывшем чердаке, где когда-то всё началось, мама даёт понять, что всему должен быть и конец. Она забрала у меня лист: — Барнум, я хочу, чтобы ты произнёс речь. — Теперь я вынужден взглянуть ей в глаза.

Они тёмные и блестящие. Мой ответ мне самому не нравится. — Речь? Где? — На поминальной службе по Фреду, — отвечает она.

Потом, позже, я возвращаюсь к себе на Бултелёкке. Из ящиков, шкафов и полок всё вынуто. Вдоль стен громоздятся картонные короба. От фотографии, которую мы держали за изображение Лорен Бэколл, на серых обоях остался выцветший прямоугольник. Я пытаюсь поработать с «Ночным палачом», но картинки стоят как мёртвые. Кстати, а где теперь куртка Фреда? Забыл я спросить у мамы. Раз не работается, я выпиваю помаленьку, пока не возвращается Вивиан. Где она была, я не знаю. И не спрашиваю. Она ложится рядом со мной. Темно. Я слышу, что она не спит. А потом и говорит как раз: — У меня будет ребёнок, — шепчет она. И я нутром ощущаю, что мы каждый в коконе своей лжи, они одна другой больше и цепляются друг за дружку, как колёсики бесшумного часового механизма, это постыдно, будоражит кровь, и я ума не приложу, как обходиться с этим одиночеством. Но медленно поворачиваюсь к Вивиан и бережно кладу руку ей на живот, боясь сделать что-нибудь не так. По её тонкой, просвечивающей почти коже на животе пробегает дрожь, как будто что-то уже живёт

в ней. Она садится на меня верхом. Лица её мне не видно. Я плачу. Она наклоняется низко-низко, почти касаясь моего рта, и гладит меня по голове, снова и снова, тихо при этом раскачиваясь. — Не плачь, — шепчет она. — Не надо сейчас плакать, Барнум. — И это утешение, единственное, что не было сегодня ночью враньём, как микроскоп, увеличило отлаженный механизм лжи, едва не выдав нас с потрохами. — Фред умер, — говорю я. Вивиан соскальзывает с меня, отталкивает меня и притягивает к себе, всё одним порывистым движением. Голос едва слушается её. — Умер? Фред умер? Как? — В Копенгагене нашли его куртку. Предполагают, что он утонул в канале. — Но его не нашли? — Нет, — шепчу я. Вивиан отпускает меня. Я зажигаю свет. Она закрыла лицо руками. Комната белая, это комната, которую скоро бросят. Как нас. Я закрываю глаза. Чтоб не видеть этого. — Я хочу его, — говорит Вивиан, и в голосе её что-то решительное, упрямое, как будто я спорил с ней. Я не сразу понимаю смысл её слов. Одно моё веко болтается, как тонкий липкий пластырь. Но постепенно смысл доходит и до меня. — *Его?* Ты знаешь, что это будет мальчик? — Вивиан отворачивается. — У меня уже три месяца, — шепчет она. Я надеваю рубашку,

выхожу на балкон и сажусь там посидеть, на крайнем месте, номер 18. Я ничего не говорю. Всё одно к одному. Удивительно, до чего тих город, неужели сегодня ночью одни мы, пришибленные, и не спим? А сомнение — это тоже как бы ложь, да? Я допиваю всё до капли. Я так всегда делаю. Что Фред забыл в Копенгагене, если он, конечно, там вообще был? Домой возвращался? Или как раз ехал в Кёге? А может, хотел посмотреть на овцебыка в зоопарке? И я пытаюсь представить Фреда, как он выглядит теперь, взрослым уже мужчиной, но у меня не получается, я вижу его только таким, каким запомнил в самое последнее утро на кухне на Киркевейен, двадцать лет тому назад, когда он уехал, чтоб пропасть навсегда. Фреда из моих воспоминаний время не коснулось. Я не могу представить его иначе, как того тощего молоденького Фреда, которого я знал когда-то, это он бросает на мосту в Нюхавн свою замшевую куртку и скрывается в черноте по ту сторону перил. — Ты думаешь, он мёртв? — Вивиан стоит у двери, и свет от люстры высеребряет её. Мне кажется, я вижу, как чуть выпирает её живот, а может, это лишь чудится мне оттого, что я знаю, что она носит ребёнка, которым я не могу её наградить. Мы оберегаем друг друга ложью.

Ей зябко, она кладёт руки мне на плечи. Руки лежат крест-накрест. Она повторяет вопрос, и губы ходят ходуном на каждом слове: — Барнум, ты думаешь, Фред мёртв? — Мама хочет устроить панихиду по нему, — говорю я. Вивиан буравит меня взглядом, кажется, что она стоит на дне светящейся шахты, вырубленной в темноте, на дне колодца света. — Отговори её, — шепчет она.

Но мама стояла как скала. Я долго заходил так и сяк — всё без пользы дела. Она приняла решение окончательно и бесповоротно. Ждать извелась, а тут наконец потребовались усилия другого рода. И она взялась за дело с рвением и азартом, почти с восторгом, которого я не помнил за ней, отчего теперь был немало напуган. Она сообщила в Армию спасению, чтоб они больше не искали Фреда. Поиски завершены. Она заказала венки и цветы. Дала объявление в «Афтенпостен». Напечатала псалмы, которые нам предстояло петь. И убрала из нашей комнаты его вещи. Я стоял в дверях и рассматривал престранную картину. Моя половина опустела давным-давно, остался один короб кровати. А теперь оголилась и Фредова половина, отчего комната обрела цельность: что слева, что справа одинаково пусто и голо. Мама запихнула всё в шкаф и повернулась ко

мне, она улыбалась, сияла и казалась почти молодой, красивой, она содрала стесняющую маску ожидания и обрела свободу. Это было похоже на запой, на растущее капля за каплей опьянение, и я считал мгновения, когда она уже сорвётся. Это не могло продолжаться долго. Я пошёл к Болетте и растолкал её. — Ты не можешь отговорить маму от этой затеи? — прошептал я. — Наверно, ей кажется, что она задолжала это Фреду, — ответила Болетта. — Ты, значит, «задолжала»? — Болетта поднялась с дивана: — Она родила Фреда не по своему желанию, Барнум. — Мама окликнула меня из прихожей, решительно и нетерпеливо: — Ты идёшь? — Я быстро схватил Болетту за руку: — Ты веришь, что он умер? — Болетта подняла глаза. — Он пошатался по свету уже довольно, — сказала она. Мама позвала меня снова, я пошёл. — Мам, куда мы идём? — Но ей было недосуг ответить, а когда мы вышли на улицу, столкнулись с Вивиан и Педером. Мама обняла Вивиан и расцеловала её в обе щёки. Та шепнула маме что-то, чего я не расслышал. Я взглянул на Педера. И не увидел никакой перемены в нём. — Вивиан собралась показать мне квартиры в мансарде, — объяснил он и тут же отвернулся к маме. — Что тут скажешь. Примите мои соболез-

нования, — произнёс он. Мама поцеловалась и с ним тоже. — Спасибо, Педер. Ты-то знаешь, каково это — терять близких. — Только теперь Педер смутился и долго возился с зонтиком, служившим ему в основном тростью. — Да, — согласился он тихо. — Я знаю. — Мама вздохнула: — Хорошо, что это кончилось. — Мы замолкли и стояли так, безмолвно, на углу Киркевейен и Гёрбитцгатен под редким холодным дождиком, обычным для Осло в конце сентября. Несколько красивых блестящих капель ползли по лбу Вивиан вниз, она не трогала их, пока они не скатывались с бровей к самому почти рту, и тут только слизывала их, а когда я поймал её взгляд, оказалось, она смотрит на меня с той стороны дождя. Нас разделяла водная решётка, так что разглядеть её я не мог. Педер наконец совладал со своим чёрным зонтом, и он оказался до того большим, что накрыл нас всех. — Подниметесь с нами? — спросил он. Но и на это времени у мамы не было. Вивиан с Педером зашли во двор, а мы с мамой пошли дальше к Майорстюен. Я едва поспевал за ней. Она обернулась на ходу: — Вивиан нездоровится? — Да нет. А в чём дело? — Но мама не ответила. И уже забыла, о чём спрашивала. Мы миновали киоск, закрытый сейчас, несколько планок были выдра-

ны, а на окошке кто-то написал красной краской обидное слово. Мама и бровью не повела. Только прибавила ходу. Мы спешили в полицейский участок на Майорстюен.

Нам пришлось сорок пять минут подождать. Как выяснилось, мама отдала в полицию найденный у Фреда листок, чтобы узнать их мнение и проверить, не обнаружатся ли отпечатки пальцев, уж не знаю, какой в них мог быть смысл. Во мне нарастала усталость. Мама же, напротив, воодушевлялась с каждой минутой всё больше. Наконец нас запустили в кабинет. За столом помещался пожилой мужчина в форме и с седыми, тонкими волосами, примятыми фуражкой, оставившей след, красный ободок, вокруг головы. Перед ним стоял торт со свечкой посерёдке. Мама пожала мужчине руку, и мы смогли сесть. У полицейского был вид человека, занятого своими заботами. Задумавшись, он вдруг облизал пальцы, подъедая крем, и залился краской, поняв, как опростоволосился. — Вы изучили наш вопрос? — приступила мама. Полицейский вытер пальцы о тонкую щёточку усов, выдвинул ящик и достал пластиковую папку с запиской Фреда. — Сочинил текст он сам или где-то мог вычитать? — спросил он для начала. — Это конец письма, которое

мой дедушка отправил из Гренландии моей бабушке, — ответила мама. Она не упомянула, что недостаёт последней фразы. Возможно, забыла. Как и сам Фред. А я помню эту фразу. — На самом деле это слова одного старого инуита, шамана Одарка, — сказал я. Полицейский пододвинул к нам торт. — Угощайтесь, — предложил он. Мы взяли по кусочку. Он улыбнулся и поднял Фредову записку. — Меня провожают сегодня на пенсию, — объяснил он. — Ваше дело — моё самое последнее. — С этими словами он подошёл к стене, снял с неё диплом в стеклянной рамке и убрал его в набитую уже сумку. Мы в молчании жевали торт. Мама управилась гораздо быстрее меня. — И ваше мнение? — спросила она. Полицейский вернулся к столу и сунул записку назад в папку. — Так сразу и не поймёшь, — сказал он. Маму снедало нетерпение. Что такого надеялась она узнать? Каких откровений ждала она от нескольких слов, записанных на клочке бумаги по памяти, с детства худой? Она легла грудью на стол. — Ну так вы прочтите. Прочесть вы можете? — Прочесть я могу. Но не факт, что я читаю в этих словах то же, что и вы. — Маму такой ответ не устроил. — Что вы хотите сказать? — Лучше вы расскажите мне, как вы это понимаете, — предло-

жил он. Мама начала плакать. — Это прощальная записка моего сына, — всхлипывала она. — Вот что это такое! — И тут я понял, что она ничего не хотела знать. Не собиралась ни до чего докапываться. Ей требовалось разрешение верить в то, что она для себя решила. Ожидание закончилось. Я взял нашу записку и, поддерживая, повёл маму к выходу. Полицейский встал из-за стола. — Да, а ваш дед вернулся из Гренландии? — спросил он. Мама остановилась. — Нет, — ответила она. — Он тоже пропал. — И в эту секунду в голове у полицейского что-то забрезжило, и он увидел дугу своей жизни от начала до конца, узрел в ней некую закономерность, смысл, который ему, возможно, особенно важно было увидеть сегодня, в последний день службы. — Вера Эбсен? — вдруг спрашивает он. Мама оторопело таращится на него. — Это моя девичья фамилия, — говорит она. Полицейский опускается на стул. — Так это ваша бабушка была здесь после войны, заявляла о совершённом преступлении. — Мама молчит, и чин поднимается снова. — То преступление так и осталось нераскрытым, насколько я знаю, — говорит он. — Я был тогда неразумным юнцом. — Мама покачнулась, словно у неё закружилась голова на краю обрыва, это тянулось

не дольше секунды, она устояла, не грохнулась, она улыбнулась и сдула волосы со лба. — А теперь вы набрались ума-разума? — спросила она. Полицейский одёрнул форму, опустил взгляд на пустой стол, засыпанный лишь крошками торта, посмотрел на часы: через несколько минут закончится его смена, и он сможет навсегда уйти домой. — Нет, не набрался, — пробормотал он.

Когда мы вышли на улицу, дождь уже кончился. Мама взяла меня за руку и задрала голову к небу. И долго стояла так, зажмурившись, ослеплённая солнцем, прорывавшимся сквозь тучи косыми отрезами. — Надеюсь, завтра будет хорошая погода, — прошептала мама. И обернулась ко мне. — Барнум, в твоей речи не должно быть никаких гадостей о Фреде, — сказала она. — А что должно быть? — спросил я. Мама вздохнула: — Ты сам отлично знаешь. — И я попробовал ещё раз отговорить её: — Мам, ты твёрдо уверена, что хочешь это всё устраивать? — Она улыбнулась: — Вивиан задала мне точно такой же вопрос. — И что ты ей ответила? — Что я абсолютно твёрдо уверена.

Мама была уверена в своей правоте, как никогда прежде. Она вознамерилась устроить эту поминальную службу, эту заочную панихиду *in*

absentia, похороны без гроба и покойника, мало того, всё это должно было свершиться в церкви на Майорстюен, той самой, настоятель которой отказался крестить и Фреда, и меня. В этом сквозило какое-то ухарство, которым я не мог не восхищаться, эдакая порождённая любовью несгибаемость. Мы пошли вверх по Киркевейен назад. Мама продолжала держать меня за руку. — И не пей завтра, — попросила она. Я задним числом посетовал, что не заявил о нападении на киоск, раз уж всё равно был в полиции. — Не буду, мам. — Барнум, я хочу, чтобы ты был трезв как стекло. — Хорошо, мам. — Ты обещаешь мне, малыш Барнум? Ради твоего брата.

(на дне)

На другое утро я просыпаюсь в одиночестве. Я всё ещё держу, за-ради моего брата, данное маме слово. На столике у кровати записка. Вивиан пишет, что она у врача и мы встретимся в церкви. Времени десять пятнадцать. Панихида в час. За окном сегодня солнечно, низкий осенний свет, не затенённый отощалыми деревьями. Дождь был бы больше в тему. Вылезаю из кровати, встаю под душ. Вивиан проредила уже и шкафчик в ванной тоже. На полках лишь необходимый

минимум: шампунь, какая-то парфюмерия, лак, крем, макияж, щётка для волос, бутылка водки и зубная паста, мои в основном причиндалы. Закрываю шкафчик. Я давно не смотрелся в зеркало. А теперь делаю это. Запотевшее стекло оттаивает, словно кто-то сдвигает вуаль с моего лица. Остался ли и я в глазах Фреда прежним, как он в моих? Замерло ли и моё время в то утро на Киркевейен, когда он бережно потрепал меня по щеке и ушёл навсегда? Вспоминал ли он меня все эти годы как шестнадцатилетнего Барнума, как малявку-брата, отчисленного из школы? От этих мыслей я внезапно чувствую такую глубокую, безысходную тоску, что мне не хватает дыхания, я упираюсь лбом в зеркало, стою. Мне бы хотелось получить шанс сказать ему: — Фред, я справился. А ты? — Я снова открываю шкафчик и смотрю на бутылку. Она ещё не откупорена. Она — обещание, которое пока не нарушено. Сегодня я хочу порадовать маму. Но куда-то запропастился костюм, мой старый, ещё отцовский. Я переворачиваю коробки, упакованные бюро по переезду. Его нигде нет. Спускаюсь в подвал. Наш чулан в глубине, за постирочной. Дверь в него даже не запирается, поэтому бомжи из парка, бывает, ночуют здесь, греются в тепле сушиль-

ного шкафа. Красть тут всё одно нечего: старьё, которое Вивиан приготовила на выброс или блошиную ярмарку, пара лыж с заусенцами, одежда, которую теперь никто не наденет, башмаки на платформе, торшер с ярким абажуром и пустые бутылки. Костюм висит в прозрачном пластиковом чехле. Давненько я его не носил. Снимая его с крючка на стене, я обнаруживаю ещё кое-что: чемодан. Тот самый старый-престарый чемодан, который я унаследовал от отца, таскавшего его за директором цирка Мундусом, и отдал напрокат Фреду, когда он свалил. Теперь мне вернули его. Я приподнимаю чемодан. Такой же лёгкий. Только ещё более потрёпанный. Ремень на замке порвался. Я стою и держу в руке чемодан, словно теперь моя очередь покидать дом. Потом открываю крышку: пустота. Ни следа аплодисментов. Обивка истёрлась и висит лохмушками. Он прошёл через многие странствия. Нет, это выше моего разумения. Я отшвыриваю от себя чемодан и бегом припускаю из чулана домой, наверх. Ключ остался в квартире. Стою, тупо уставившись на дверь. Дощечка подёрнута матовой, пятнистой пеленой, и наши имена кажутся выдавленными в тумане, едва разберёшь. Он был здесь. Я знаю. Может, переночевал внизу. Он видел моё лицо,

нас, время, которое минуло. Почему же он не объявился? Духу не хватило? И тут же разгорается беспокойство другого рода — когда именно он под сурдинку нанёс нам визит? Я не осмеливаюсь додумать этот вопрос до конца, но он по собственной воле стучит и стучит в голове, как разогнавшийся паровоз, не остановишь. Кто-то дышит рядом. Соседка. — Это ты воруешь у меня газеты, — говорит она. Я начинаю раздеваться. Соседку как ветром сдувает. Надеваю костюм, а всё своё скидываю в мусоропровод. Мне надо в церковь на Майорстюен. Но я даю кругаля и иду через Блосен. Останавливаюсь там на вершине. В холодном воздухе всё кажется ближе. Я думаю: не есть ли это готовая финальная сцена «Ночного палача»? Закуриваю, меня рвёт. Когда я подхожу к церкви, мама с Педером уже сидят на лавочке под часами и красным виноградом. Завидев меня, они немедленно поднимаются. Мама нервничает, ей неймётся. Она целует меня в щёку, думаю, чтоб проверить, пил ли я. Педер кладёт руку мне на плечо. — Эта квартира наверху супер, — говорит он. Мы уже можем заходить внутрь. Пара активистов Армии спасения сидит в заднем ряду. Я узнаю домоуправа Банга, кое-кого из школы, полицейского в первом ряду и, ну куда без этого,

моего злого гения, мою горевестницу Бенте Сюнт, хорошо, сегодняшний день уже не может стать хуже, чем есть. — Всё отлично, — шепчет мама. Я сажусь между Вивиан и Болеттой на первом ряду. Двери закрываются. Болетта кладёт сухую, в бляшках пятен руку мне на колени. — Спасибо, хоть пастора нет, — шепчет она. Мама шикает на неё. Органист начинает играть. Я не знаю текста псалма. Вивиан смотрит прямо перед собой. Рот у неё закрыт. Щёки ввалились. На том месте, где надлежит быть гробу, стоит стул, вокруг него разложены венки и цветы. На одной из лент надпись «Спасибо. Вивиан и Барнум». Мама поднимается и говорит какие-то слова. Я не улавливаю смысла. У меня в голове всё стучит колёсами паровоз, не желает останавливаться. — Это почти хороший исход, — шепчу я Вивиан, наклоняясь к ней. Она дёргается беспокойно: — *Почти* хороший? Что это значит? По-настоящему хорошо было бы, найди они его мёртвым, да? — Мама смотрит на меня. Она улыбается. Она красива сегодня в этом чёрном платье, она не надевала его с отцовых похорон. Теперь моя очередь. Я должен сказать слова о Фреде. Я встаю перед пустым стулом и цветами, спиной к скамьям, и стою так долго, не знаю сколько, но когда оборачиваюсь, в церкви

яблоку упасть негде, ни одного свободного места. Это напоминает мне премьеру «Голода», только на этот раз вырезали Фреда. Мама села рядом с Вивиан. Педер устроился за ней. Я различаю мелодию, гремящий в голове паровоз привёз её с собой, это песня Марриконе из «Однажды в Америке». Я начинаю свою речь: — Я всегда жил фантазиями, как Фред возвращается. Помните, как вернувшийся Роберт де Ниро сходит на вокзале Нью-Йорка? Только на наш вопрос, что он делал все эти годы, он ответит не как де Ниро: «рано ложился спать», а скажет: видел вас. — Я замолкаю. Педер улыбается, он понял, и он пригибается к затылку Вивиан и дует ей в волосы. Мама пока выжидает, она подалась вперёд, готовая в любую секунду оборвать меня. Её держит за руку Болетта. И, стоя так, подле голого стула, перед бледными, замкнутыми лицами, я снова превращаюсь в сочинителя, в фантазёра Барнума. Я воображаю себе, что это я умер, сгинул, утонул в канале и тело моё кружит в толще воды, прибиваясь к дну. Наконец-то мне удалось представить себе собственные похороны, это меня собрались они помянуть в церкви на Майорстюен, сейчас я в последний раз вижу всех, кого покидаю и кто, я знаю, забудет обо мне, едва выйдет из церкви

на улицы Фагерборга, где стоит такое чудесное бабье лето. Эта сцена пробирает меня до нутра, до слёз, приходится утирать их. Плач заразителен. Плач — моё послание собравшимся. Когда они видят меня таким, расчувствовавшимся до соплей, они тоже начинают плакать, все, кроме Вивиан и Педера. Мне кажется, Болетта заснула, честь ей и хвала за это, но мама комкает в руке платок и несколько раз кивает, она довольна, всё правильно, я совершил всё, что обещал, и всё за-ради моего брата. — Как-то ночью Фред притащил домой гроб, — продолжаю я громко. Мама снова делает насторожённую стойку, просыпается Болетта. Теперь я прикрываю глаза и отдаюсь грёзам. Я фантазёр, сдающий задним ходом. — Может, это было предчувствием будущего. А может, скачком во времени, *флэшфорвард* как это называется в моей профессии. Потому что здесь сегодня гроба нет, у нас есть только наши воспоминания, а они не что иное, как картинка, помноженная на время. — Педер показывает мне большой палец. Мама нервничает. Мне хочется присесть на Фредов стул, но я удерживаюсь от этого. И снова мне чудится Флеминг Брант, он стоит у купели, и с пальцев капает вода, а потом качает головой, вскидывает на плечо грабли и

уходит вдоль центрального прохода, но он так медленно переставляет ноги, что не скрывается из виду никогда. — Но моё самое первое воспоминание о Фреде — это как мы прячемся под столом в гостиной и подслушиваем, как наша прабабушка читает вслух письмо нашего прадедушки. Я знаю его наизусть. *Пока мы торчали во льдах, то часто охотились на тюленей и набили их кучу, тюленей надо стрелять, когда они вылезают на льдину понежиться на солнце, а в воде их не убьешь…* — Горло сжимается, я замолкаю. Гляжу себе под ноги. Я стою посреди цветов и венков. Я мог бы закончить на этом свою речь. Но я продолжаю: — *Когда охотник находит след, он не идёт по нему вперёд, а возвращается назад, туда, откуда зверь вышел.* — Мама порывается вскочить, Болетта не пускает её. Вивиан отводит глаза, а Педер сидит, вперившись в меня взглядом. В церкви на Майорстюен мертвенно тихо. Сейчас я разравниваю граблями наши следы на песке. Я возвышаю голос — И прощальные слова Фреда тоже взяты из этого письма, ставшего в нашей семье легендой, сказанием, из которого мы все вышли и куда постоянно возвращаемся, во льды и снега. — Я снова отираю щёку тыльной стороной руки и выжидаю. Успевая тем временем

подумать, что жизнь наша в основном состоит из ожидания, оно заполняет собой наши дни: мы всё время ждём чего-то, чего-то другого. А сегодня мы собрались, чтобы покончить с этим ожиданием. И я зачитываю вслух слова с той бумажки, что лежала в кармане Фредовой куртки: *Ты спрашиваешь о смерти, но я ничего не знаю о ней, а только о жизни, поэтому могу лишь рассказать, какой я вижу смерть: или она окончание жизни, или переход к иному способу существования. И в том, и другом случае бояться нечего.*

Я поворачиваюсь в мамину сторону. Она скрестила руки. И я вполголоса произношу самое последнее предложение, которое Фред, возможно, просто забыл, и никто, по-моему, не разбирает этих слов, которые кажутся мне самыми прекрасными во всём письме, слов шамана Одарка, исполненных настойчивости, любви и мужества, которые юный Вильхельм присвоил себе, когда обращался с письмом к своей суженой, не зная, что его история на этом оборвётся. Эти слова я раскрываю теперь всем: *Но я с большой неохотой ушёл бы из жизни сейчас, потому что мне кажется, что жить прекрасно!* Мама встаёт. И вешает куртку, замшевую куртку Фреда, на спинку пустого стула, словно он только сидел

тут, во время урока, а теперь его выставили в коридор или он сам вышел пописать. И до меня враз доходит, насколько ожидание повредило рассудок матери. И как ей теперь жить дальше с бесплотной тоской, с этой курткой, которая ни на кого не налезает? Мама хочет увести меня с собой на место. — Довольно, Барнум, — шепчет она. — Ты умница. — Но я стою столбом рядом со стулом Фреда, я ещё не всё сказал, и тишина вокруг, которой нет во мне, ширится и углубляется. Никогда ещё Фред не был более живым для меня, чем в эту самую минуту. — Время шутит с нами шутки, — говорю я громко, похоже, кричу. Мама останавливается на месте. Я понижаю голос. — Время разделено на много-много комнат, — шепчу я. — И во всех комнатах что-то происходит, всё идёт одновременно и непрестанно. — И я усаживаюсь на Фредов стул. — Фред учил меня никогда не говорить «спасибо». Но сегодня я отступлю от этого правила. Сегодня я скажу: большое спасибо. Потому что Вивиан наконец забеременела. — Педер выпрямляет спину и разевает рот, но не говорит ничего, а принимается хохотать, и удивлённый смех Педера наполняет церковь на Майорстюен. А я подхожу к Вивиан и целую её, она не может отвертеться. Потом мы

стоим на паперти. Выходя из церкви, последние уже гости молча раскланиваются с нами. Вивиан смотрит на меня волком, но она рада, потому что скоро скрывать её положение станет уже невозможно. — Это надо отпраздновать, — говорит мама, глотая слёзы. Она права, теперь мы можем скорбеть и радоваться, одна комната окрашена в траур, а другая полна солнца, но мы так и не знаем, в какой же из них обретается радость. — Я только захвачу кое-что, — бормочу я и припускаю к киоску. В холодильнике с газировками я припрятал две бутылки, тёмный самогон нужен, чтобы забыть, а белый — чтоб вспомнить, с чего ты пьёшь. К остальным я уже не возвращаюсь. Пусть ждут сколько влезет. Рассовав бутылки по карманам, перелезаю через ограду и спрыгиваю с другой стороны. Оттуда пешком дохожу до пансиона Коха. У них есть свободная комната, номер 502 на последнем этаже, бывшее отцово прибежище. Занавески задёрнуты. Лампочка искрит, когда я включаю люстру. — Фред! — кричу я. — Выходи, Фред! Трус бессовестный! Я знаю, что ты здесь! — Опрокидывается стул. Я распахиваю дверцы шкафа, и плечики стукаются друг о дружку у меня над головой. Я вскрикиваю. — Дьявол криворотый! Ты от меня не скроешься, чёрт тебя

подери! — Кто-то из коридора просит меня вести себя потише. Я запираю дверь и начинаю пить горькую.

(викинг)

Это как всякая большая любовь. Получив немного, ты хочешь больше. Обретя больше, ты живёшь мечтой об обладании всем. Но и тогда не успокаиваешься, проверяешь, до донца ли отдано тебе всё. В любви нет серединки на половинку. Или всё, или ничего. Любовницы ждут тебя по всему городу, в камере хранения на Восточном вокзале, в чемодане, упрятанном в чулан в подвале, в ящике рабочего стола, за Гамсуном, в цистерне с водой и мусоропроводе, в хлебнице и водостоке, в почтовом ящике и внутреннем кармане, под кроватью и в закрытом киоске: они твои повсюду. Большая любовь начинается красиво, с поцелуйчика, нет, даже не с него, а с нежного прикосновения, за которое вполне сойдёт запах или просто даже вид кое-чего, и ты вспоминаешь свою первую детскую влюблённость, приторный запах «Малаги», который ты вобрал в себя и напитал им свои мечты, потому что ничего больше не требуется, это начало, а в начале Бог сказал: да будет тьма. Ты берёшь

стакан, конечно берёшь, ты твёрдо намерен вести себя по-людски, у тебя самые благие помыслы, ты собираешься пропустить бокальчик, нет, стопочку, как говорится, рюмочку, ну или ладно, назовём её нейтрально, стакан, так проще и привычней, и как человек, собирающийся насладиться маленьким стаканчиком кое-чего, ты, разумеется, достаёшь стакан. Это само собой понятно. И когда ты отвинчиваешь крышку и резкий запах водки, виски, джина или другого столь же доходчивого напитка забивает всё вокруг, как благоухающий букет, ты почти счастлив, ты обретаешься на пороге блаженства, с таким-то букетом в руках. И это, наверно, самое чудесное мгновение, пока всё в твоей власти, ты можешь с таким же успехом запаковать букет обратно, но зачем, ты же прельстился одной маленькой стопочкой, вот этой гвоздикой или той розой, подарком любовницы, её молчаливым приглашением, и ты наливаешь стаканчик, аккуратно наливаешь, тут же поспешно закручиваешь пробку и прячешь бутылку назад в шкаф или засовываешь на самую верхнюю полку, как можно дальше с глаз долой, она не нужна тебе больше, с тебя довольно стопочки, и ты сам свято веришь в это, когда со стаканом в руке идёшь в соседнюю

комнату или на балкон и усаживаешься там. У тебя в руке букет. Ты ещё не начал пить. Да и не собираешься. Ты только пригубишь. Попробуешь. Получишь удовольствие. Насладишься ароматом. И ты неспешно подносишь букет ко рту, к пересохшим губам. Букет оросит их влагой.

Двое суток спустя ты просыпаешься незнамо где. Ты думаешь, тебе это снится, но нет, всё происходит на самом деле. Букет завял. Жажда мучит тебя, как никогда раньше. Ты алчешь любви и ласки, но ты брошен. Пустая ваза, вот ты кто. Ты поднимаешь руку. Ладонь в крови. Ты не имеешь никакого представления, что это за кровать, в которой ты лежишь. Комната вокруг черна. Ты пытаешься собраться с мыслями. Не собираются. Ну и бог с ними. Тьма подступает ближе. Если лежать не шевелясь, можно попробовать удержать страх на длинном поводке. Правда, не успеешь оглянуться, он у твоих ног, ибо страх твой самый верный спутник сейчас, но сколько-то секунд выгадать можно. Потом ты различаешь какой-то звук. Шелест ветряной мельницы, её крылья вращаются у самого твоего лица, всё быстрее, быстрее, ты слышишь близкое несчастье, крик, визг тормозов и затем безмерная тишина, и ты понимаешь тогда: это я, я лежу здесь, в номере

502 в пансионе Коха. За запертой дверью переговариваются. Потом она распахивается. — Фред? Это ты? — шепчу я. Кто-то захлопывает за собой дверь и раздёргивает занавески. Педер глядит на меня с высоты. — Бог мой, — охает он и рывком задёргивает занавески снова. Потом скидывает пустые бутылки и осколки стакана в мусорное ведро. Раздевает и моет меня. У меня рассечён большой палец на правой руке. Педер промывает рану и заклеивает пластырем. У него и чистая одежда с собой. Толстун ухаживает за кнопкой. Он распахивает окно проветрить комнату. На подоконнике лежит снег. Мне холодно. Потом он наливает в стакан колу и сироп от кашля, добавляет содержимое ампулы и размешивает зелье пальцем. Я выпиваю. — Я тоже ночная душа, — бормочу я. — Ночная душа? — У нас полно таких в роду, Педер. Люди, которые уходят и пропадают во тьме. — Ты вроде пока не пропал. Насколько я вижу. — Но я уже на пути. — Куда это ты на пути? — хотел бы Педер знать. — На дно. Прочь. В тартарары. Один чёрт. — Педер отворачивается. — А как насчёт того, что есть люди, которым ты нужен здесь? — Я опускаю глаза и тихо спрашиваю: — Как ты меня нашёл? — Педер присаживается на кровать. — Барнум, я тебя все-

гда нахожу. Ты всё ещё не понял? — Я упираюсь лбом ему в плечо. — Может, я не хочу, чтобы меня находили, — шепчу я. — Но я-то тебя всё равно найду. Я твой друг. Так и знай. — Мы сидим так некоторое время, молча. Мне хочется плакать, но не плачется. Тогда я пробую обратить всё в смех. — Так у меня выбора нет? — шепчу я. Педер с прежней серьёзностью мотает головой. — Вивиан тревожится, — говорит он. Я гляжу на него. И вдруг спрашиваю: — Ты отец? — Дальше всё произошло мгновенно. Педер звезданул мне в морду. Я откинулся назад. Он взгромоздился на меня верхом и стал мутузить. — Ты не слышал, что я сказал? — кричит он. — Я твой друг! Чёртов ты алкаш! — Надо бы его унять. Ударов я не чувствую. Он молотит руками, как рассерженный мальчишка. В конце концов мне удаётся издать смех. Педер сразу тухнет. — Хочешь — можешь ещё меня стукнуть, — сиплю я. — Заткнись, — огрызается Педер. Я беру его руку. Она дрожит. Потом мы валимся на колченогую, раздолбанную двуспальную кровать и лежим, таращимся в потолок. В него вбит огромадный крюк прямо посерёдке, а штукатурка вокруг него разлезлась и висит лишаями. — Отец здесь живал, — говорю я. — Он тоже был ночной душой? — спрашивает

Педер. — Он был самой тёмной лошадкой из нас всех, — шепчу я. Педер длит молчание. Теперь он держит меня за руку. — Барнум, а вдруг доктор, у которого ты обследовался, ошибся? — Доктор Греве никогда не ошибается. — И ты до сих пор не сказал Вивиан? — Я зажмуриваюсь. Крутится маховик лжи, чёрное колесо, и его невозможно остановить. — У тебя есть выпить? — спрашиваю я. — Ты пускаешь в отходы собственную жизнь, чикаешь её ножницами по имени алкоголь, — говорит Педер. — Паясничать обязательно? — Педер наконец-то улыбается, выпускает мою руку и встаёт. — Пошли, — бросает он. — Куда? — Отсюда, Барнум.

Мы спускаемся к стойке. За две ночи, уборку и издержки платит Педер, но глаз женщина с ключами не сводит с меня, губы у неё поджаты в узкую дугу. — И чтоб я больше не видела тебя здесь, — говорит она. Педер добавляет ещё полтинник, перегибается через стойку и шепчет. — Он не вернётся никогда. — И мы бегом пересекаем тот перекрёсток, где машина задавила Пра 21 сентября 1957 года, мы несёмся сквозь снег, который начал сыпать нам в лицо, и это всё ещё то же самое мгновение, оно запечатлено в картинке, и, обернувшись, я вижу Фреда, он

сидит, как изваяние, на бордюре, у него гребень в руках, словно он хочет зачесать время назад, Пра лежит в крови на брусчатке, шофёр вылезает из грузовика, люди с неслышными криками бегут к ним, а затем всё закрывает снег. Мы уже домчали до зала в глубине «Лори», и официант стоит у нашего столика. Педер заказывает яичницу с двумя кусками карбонада, кофе, молоко и хлеб. Я прошу пол-литра пива и рюмку крепкого. Когда официант отходит, Педер принимается есть меня глазами. И делает это долго-долго. — Ремонтные работы в разгаре, — говорит он наконец. — Что-то сломалось? — интересуюсь я. — Ты, — отвечает Педер. Официант приносит напитки. Я поднимаю кружку двумя руками. Это уже не любовница, это старая шлюха, которая потешается над тобой, между тем обрывая лепестки единственного оставшегося от букета цветка: любит — не любит. Маленький стаканчик для меня лекарство. — Ты помнишь, что я пообещал фрекен Кох? — спрашивает Педер. — Что? — Что она тебя больше не увидит. — Надеюсь, ты сумеешь выполнишь то, что пообещал, — говорю я. Официант приносит еду. Есть мне не хочется. Но я принимаюсь за пищу. Потом отлучаюсь в туалет потошниться. Педер ждёт. Рядом с пустой тарелкой стопкой

сложены кипа бумаг и несколько книг. Я сажусь на место. — Готов наконец? — спрашивает он. Я киваю: — А к чему готов? — Педер расплывается в улыбке и наклоняется поближе. — Американцы изобрели вестерн, японцы пекут фильмы о самураях, истерны, так сказать, у итальянцев имеется пицца, а нам что осталось? — Педер отвечает сам раньше, чем я успеваю открыть рот — Норстерн, Барнум. Сага о северянине. — Норстерн? — Подходит официант, собирает тарелки и приносит пол-литровую кружку, которую я ещё не заказал. Педер пододвигает ко мне книги: — Я выполнил твою просьбу. — О чём я тебя просил? О второй кружке? — Я почитал саги. Всё, чего нам не хватает, можно взять оттуда. Там есть полный набор: действие, драматургия, сильные характеры, любовь, смерть, всё по списку. Чего тебе ещё недостаёт? — Я не занимаюсь сокращёнными переложениями, — отвечаю я. Педер провожает взглядом каждый мой глоток. — Ты можешь пустить слова Одарка как голос за кадром. — Я молчу. Педер начинает терять терпение. Он кладёт руку мне на плечо. — Это наш огромный шанс, — шепчет он. — Если ты всё не угробишь. — Я стряхиваю его руку. — И как же ты думал назвать эту эпохалку? — Я предлагаю

её под названием «Викинг, фильм в жанре норстерн». — Теперь я испытующе и долго смотрю на него. — Значит, продаёшь? — Во всяком случае, могу сказать, что и власти, и бизнес проявляют большой интерес к проекту. Пайщики стоят в очереди. — Я чувствую, что зверею, грохочу кулаком по столу: — А со мной ты обговорить это не мог? Прежде, чем идти побираться? — Я перешёл на крик, от соседних столиков народ поворачивается в нашу сторону. Педер вздыхает: — Барнум, в последнее время с тобой было не так легко связаться. — Он извлекает из кармана конверт и кладёт его на стол между нами. — Это что? — спрашиваю я. — Чтоб узнать, надо посмотреть. — Я медленно тяну пиво. Потом вскрываю конверт. Это чек. Число с несколькими нулями. Я прямо слышу, что Педер улыбается. — Ты в игре? — Может, да, а может, нет, — отвечаю я, вскидываю руку и заказываю красного вина. У Педера делается усталый вид. — Опять до потери пульса? — спрашивает он. — Считай это изучением материала, — отзываюсь я. Педер поднимается. — У тебя есть двенадцать часов на принятие решения, — говорит он. — И на этот раз я не стану за тобой бегать. — Официант ставит передо мной бутылку. — Ты там пока присмат-

ривай за Вивиан, — говорю я. Педер наклоняется ко мне. — Сколько пафоса, — шипит он. — Я с тобой больше в игрушки играть не буду. — И он уходит не оборачиваясь. Я прячусь за красным букетом. И тут обнаруживаю, что Педер забыл книги. Это саги о Ньяле, об Эгиле, о Храфнкеле, Роди Фрейра и «Королевское зерцало». Я беру его, сижу, полистываю. Натыкаюсь на главу, где сын расспрашивает отца о Гренландии. А многомудрый отец отвечает: *Гренландия лежит на краю мира на Севере, я знаю, что далее береговой линии Гренландии нет ни одной страны, только открытое море, что обтекает землю. Непогода здесь сильнее, чем во всех других местах; и шквальный ветер, и стужа, и снегопады тяжелее. Ибо ледники имеют такую суть, что постоянно иссылают из себя порывы холодного ветра. В дни ненастья в льдинах, что лежат на суше, могут появляться обширные расщелины. Люди, что посетили Гренландию, свидетельствуют о холоде особой силы в этом краю. Хотя вид суши и моря сам говорит о непрерывной стуже и господстве холода, ибо здесь вымерзло всё и зимой, и летом, а суша с морем покрыты льдом.* У меня за спиной стоит официант. Он убирает со столов. Я показываю ему чек и обещаю расплатиться завтра. Он кива-

ет, отпирает дверь и выпускает меня. Искрится снег. На нём почти не видно следов. Я иду к нам в контору. Ещё одна буква перегорела. Теперь мы *Брум & Мишл.* Педер в задней комнатке. Мне кажется, он спит. Лицо у него собрано в кучку, как сложенная гармошка. В руке шкурка от сосиски, а на рубашке горчичное пятно. Я приношу бутылку, припрятанную в самом дальнем ящике, и наливаю два стакана. — Давай поиграем, — говорю я. Педер просыпается, он делает это со своей обычной обстоятельностью, сперва один глаз, только потом другой, а тем временем двойной подбородок и обвислые складки растягиваются и гармошка принимает обычный вид. — Я думал, ты умер, — шепчет он. — Я только, чёрт возьми, оцепенел, — отвечаю я. Потом сажусь на диван и ставлю стакан с горячительным на грудь. Сердце колотится. Педер криво улыбается. — Во что ж ты хочешь поиграть? — спрашивает он. — В викинга. Я в игре. — И я опрокидываю в себя содержимое стакана. Я живой. Педер вышвыривает шкурку от сосиски в помойку и меняет рубашку. Он начинает задыхаться от такого негигантского усилия, как застёгивание пуговиц. Он обзавёлся новым приспособлением, факсом. Сейчас из него выползает сообщение. Педер выдёргивает

его. И застывает с таким видом, словно у него в руках по крайней мере свитки Мёртвого моря. Потом хлопает кулаком по столу: — «Блэк Ридж» из Голливуда тоже выражает заинтересованность. — Здорово, — откликаюсь я. У Педера на лбу, под волосами, ложится глубокая складка. — Но мы должны управиться с детальной заявкой к Рождеству. Сдюжишь? — Пошли они в зад. Я сделаю сразу сценарий. — Педер улыбается во весь рот: — Что заставило тебя принять предложение? — Какая разница, — отмахиваюсь я. Педер пожимает плечами: — Нет, просто любопытно. — Мне приглянулось, как отец рассказывает сыну об устройстве мира, — тихо отвечаю я. Педер подходит ко мне. И проводит рукой по моей щеке. Он давным-давно не ласкался так. — Иди теперь к Вивиан, — шепчет он. — Иду. — И давай, Барнум, заставь её снова смеяться. — Я поднимаю на него глаза: — А как? — Для начала расскажи ей правду, — предлагает он. — Какую? — Педер отворачивается: — Что у тебя не может быть детей.

Когда я появляюсь дома, Вивиан уже проснулась и плещется в душе, слышу я. Она мурлычет какую-то песню, псалом, которого я не знаю. Я стучусь к ней. — Мне надо тебе кое-что сказать, — кричу я. За дверью повисает тишина. Я

сажусь на кровать и жду. Её чёрное платье висит на спинке последнего кресла, номер 18 — моего. Свет за окном волглый и тяжёлый. Вивиан стоит передо мной. С неё течёт. Она голая. — Зачем ты это сказал в церкви? — спрашивает она. — Что я беременна? — Я опускаю голову. — Мне хотелось порадовать маму, — лепечу я. Вивиан быстро взъерошивает мне волосы и легонько дёргает их. — Барнум, я боялась за тебя. — Её слова, мимолётная ласка, её рука, треплющая мои волосы, — от всего от этого я размяк и растерялся, словно всё-всё сошлось в этой секунде, как в капле воды, тяжёлой, точно гора, которая вот сейчас треснет и обрушится. Но она не спрашивает, где я был. Мы как бы подписали пакт, мы не хотим знать лишнего друг о друге. Возможно, Педер уже отзвонил, доложил, что нашёл меня, причём в номере 502 пансиона Коха. Я целую её бёдра. Кожа упругая и податливая под губами, а запах какой-то чужой, другой и будоражащий. Вивиан вырывается, подходит к окну и закрывается чёрным платьем. — Грузчики увезут сегодня всё, что осталось, — говорит она. Я смотрю мимо неё. — А в подвале ты разобралась? — Там всё на помойку. — Всё? Ты уверена? — Тебе оттуда что-то нужно? — спрашивает она. Я пожимаю плечами. — Я

подумываю снова перейти на платформы, — отвечаю я. Вивиан хохочет. Я сумел. Я снова заставил Вивиан смеяться! — Тогда уж лучше отдай их в реквизиторскую на «Норск-фильм», — предлагает она. — Мы с Педером начинаем серьёзный проект. По-настоящему большой. — Вивиан несмело улыбается: — Что за проект? — Фильм о викингах. Мы им покажем, какие мы берсерки. — Я вынимаю чек и показываю ей все нули. — Ты это хотел мне сказать? — спрашивает она. Глядя на неё, стоящую так в тяжёлом свете от окна, я вижу, как ежесекундно меняется её тело, она всё время разная, не та, что была мгновение назад. Я встаю с кровати. — Нет, я хотел сказать, что я не переезжаю. — Вивиан делает шаг в мою сторону и останавливается так, на полпути между окном и кроватью. Она не возражает, не валяется у меня в ногах, не умоляет. Скорее, в её глазах читается невесёлое облегчение, и наверно, она видит нечто схожее в моих глазах, обессилевшую тоску. — Ты хочешь остаться здесь? — шепчет она. — Если тебя это устроит. — Вивиан кивает: — Конечно, Барнум. — Она начинает одеваться. Утро как утро, самое обычное. Я выхожу на балкон и закуриваю. Я вымотан, но в то же время и спать не хочу. Если я сейчас лягу, просплю семь

лет. А если удержусь, бодрствуя, то могу вообще никогда больше не ложиться. Я делаю глоток из фляги, чудесно охладившейся под снегом в цветочном горшке, и снова иду к Вивиан. — А что мы сделаем с табличкой? — Сперва она даже не понимает, о чём я, а меня это задевает, больно. Я делаю шаг в её сторону, возможно, слишком резко, она пятится. — Барнум, пожалуйста, — говорит она, и голос у неё низкий и напуганный. Я торможу. Я сбит с толку и прокладываю слова смехом. — Табличка с двери, Вивиан. Наша табличка. Как с ней быть? — Вивиан отворачивается. — Она пусть так и висит, — шепчет она. — Что пусть висит — *Вивиан и Барнум?* Это же ложь. Или ты, может, собираешься назад вернуться? — Она скользит по мне взглядом, страха в ней уже нет, одно нетерпение, понятное дело, бояться меня долго кто ж боится? — Поступай как знаешь, — буркает она. — Отлично, я распилю её надвое. — Но тут звонят в дверь. Это грузчики — молодой парень, немедленно хватающий первый попавшийся на глаза предмет, и второй постарше, этот не спеша обходит комнату, прикидывая объём в кубометрах. У него скука в холодном взгляде, он насмотрелся этих сцен выше крыши. Вивиан показывает, что им забирать. Кровать,

письменный стол и стул остаются. Холодильник и плита вмонтированы в кухню. Цветы на балконе вымерзли подчистую. И пока они уносят последние коробки в грузовик, я думаю о том, что поженил нас мастер по вывескам с Пилестредет, а развели грузчики из бюро переездов с Адамстюен. Вивиан берёт меня за руку. — Я оставлю кольцо, — говорит она. — У меня перехватывает дыхание. — Это был подарок. — Я знаю. — Не обижай меня тогда. — Вивиан отпускает мою руку: — С остальным разберёмся потом, — шепчет она. Я киваю: — Да, с остальным потом разберёмся. — А напоследок, прежде, чем побежать догонять грузчиков, чтобы переехать с ними на Киркевейен, она произносит странные слова: — Барнум, это не только твоя вина. — Застыв на месте, я вслушиваюсь в её шаги на лестнице. Они скоро уходят. Дороги рождённой от аварии и кнопки разошлись, но моей вины в том нет. Хотя до сей поры я иногда просыпаюсь с мыслью, что Вивиан вернулась. Нашарив в кухонном ящике нож, я выхожу на лестницу и откручиваю табличку, медную с чёрными буквами, *Вивиан и Барнум,* она прикручена на века и оставляет в память о себе уродливый след. У меня за спиной пыхтит соседка. Я чую вонь из её пакета с мусором. —

Так она сбежала от тебя, — говорит старуха. Я оборачиваюсь. Она сама стала похожа на мусор, который вечно таскает в своих пакетах, не ровен час запутается и сама протиснется в мусоропровод и рухнет в смердящую шахту. — Она уехала в отпуск, — отвечаю я. Старуха открывает рот в улыбке, и в нос мне шибает тяжёлая вонь, словно у неё рот полон рыбьей требухи и протухших куриных крылышек. Она понижает голос и шепчет, словно выдаёт мне страшную тайну: — Она вычеркнула своё имя с почтового ящика тоже, — шипит она. Я отшатываюсь на шаг назад. Старуха гаже мисс Ослиной головы, признанной самой уродливой жительницей Земли в Коннектикуте в 1911 году. Будь такой конкурс сейчас, моя соседушка могла бы одержать в нём блистательную победу. Мундус просмотрел неподражаемого кандидата! Она смеётся мне в лицо. А я вдруг делаю то, чего она никак не ожидает. Начинаю плакать. Она в растерянности кладёт руку мне на плечо и становится почти похожа на человека, она как будто даже привлекательна сейчас, при всей своей безобразности, и она говорит те же слова, что тихо и загадочно произнесла Вивиан, задуманные, верно, в утешение, но звучащие как угроза: — Здесь не только твоя вина, — говорит

она. Я отпихиваю её, швыряю табличку в помойку и с грохотом захлопываю за собой оголённую дверь. Теперь здесь никто не живёт, а комната достаточно просторна. Я вынимаю бутылки из всех тайников и расставляю их на столе, задёргиваю занавески, заправляю чистый лист в машинку, и первое слово, которое приходит мне на ум, это слово *месть.* Я намечаю сюжет, свой кровавый тройной прыжок: идиллия, смерть и воскресение. Сын возвращается домой отомстить своей семье. Как-то утром звонит телефон. Мама. Первым делом ей хочется знать, как я жив. — По уши в работе, — отвечаю я. — Но часок на воскресный обед у нас выкроить сможешь? — уточняет она. Сегодня воскресенье. Это слышно по колокольному гулу. Я бросаю трубку и выдёргиваю телефон из розетки. Я добежал до первого критического момента, до планки. Скорость хорошая. Мститель видит своего врага. Но выжидает подходящий момент. Я пишу: *Один глаз не видит другого.* Мне осталось шестьдесят страниц. В душ я прихватываю с собой водку. Потом нахожу в бельевой корзине белую рубашку. Она режет мне глаза своей ослепительной белизной всю дорогу до Киркевейен. Хоть солнечные очки надевай. Мама ещё поседела. Мы садимся за стол. Болетта упря-

мо бычится, словно её изнутри что-то гложет. Она едва капает в мой стакан и отодвигает бутылку как можно дальше. Стол накрыт на четверых. — Будет ещё кто-то? — спрашиваю я. — Вивиан неважно себя почувствовала, — отвечает мама, передавая мне блюдо. Аппетита у меня нет. Я думаю о сцене, которую буду писать — как мать, чтобы унизить своего трусливого сына, подаёт ему сырое мясо в тот день, когда убили его брата.

Вместо еды я тяну вино. — Наверно, ей нелегко приходится жить так высоко, — шепчу я. Болетта забирает у меня бутылку. — Особенно когда мужика в доме нет, — отзывается она. Но Вивиан всё же приходит. На ней застиранный огромного размера тренировочный костюм. Жидкие жирные волосы лезут на глаза. Есть ей тоже неохота. Она клюёт только варёную морковку, пьёт воду и ничего не говорит. И, глядя на них, на троих этих женщин за воскресным обедом, маму, Болетту и беременную Вивиан, я явственно слышу глубокое эхо — это овальные ходики в прихожей, они снова идут, и опять звякают монетки в ящичке, но теперь гость в женском царстве я. Молчание описало круг и связало в узел чёрный шлейф времени. Я ищу, что бы такое сказать. — Как в киоске? — спрашиваю наконец. Мама кладёт

мяса мне на тарелку. — Нет смысла держать его дальше, — отвечает она. — Это почему? — Мама делано улыбается: — Барнум, это всего лишь привратницкая на самом деле. — Я отодвигаю тарелку и тянусь за бутылкой. Болетта сливает остатки в свой стакан. Я закуриваю. — Я считал, это нечто большее, чем просто привратницкая. — Мама качает головой: — Салон красоты и тот закрылся. Да, Вивиан? — Вивиан кивает. Кожа на лице жирно блестит. — Там теперь собачья парикмахерская, — говорит она. — Всё для четвероногих. — Мне делается смешно, но засмеяться я не рискую, это всё равно что залить скатерть, нарочно измазать смехом белую скатерть. — Кофе, — говорю я громко. Мама вздыхает — Кофе? Ты ж ничего не съел ещё, Барнум. — Вот теперь я могу дать волю смеху. Теперь он в строчку. — Я имею в виду перейти на кофе в киоске, мам. Продавать его в стаканчиках с крышкой и трубочкой. — Болетта поднимается из-за стола и уходит к себе, не сказав ни слова. И шваркает за собой дверью. — Что это с ней? — спрашиваю я тихо. — Возможно, ей не нравится, что ты куришь, — говорит мама. Вивиан мерит меня взглядом. — И пьёшь, — добавляет она. — Чёрт меня дёрнул прервать молчание. Я с грохотом

отодвигаю стул и вышвыриваю бычок в камин. На стене по-прежнему висит моя фотография с церемонии получения награды в Ратуше за «Городочек», электрический Барнум, юный гений. Я оборачиваюсь к маме. — Одно мне кажется очень странным, — говорю я. — Что такое, Барнум? — То, что Фред носил эту куртку все эти годы. — Мама не хочет об этом, голос у неё делается куцым и тесным, в нём едва хватает места всем её словам. — Ты же знаешь, как он любил свою замшевую куртку, — шепчет она. Вивиан поднимается. — Сходишь со мной наверх посмотреть? — спрашивает она. Я говорю маме «спасибо за обед» и плетусь за Вивиан. На каждой площадке она останавливается отдохнуть. Носит она тяжело. И я представляю себе маму, как она тащит бельевую корзину из подвала на самую верхотуру, на чердак, плетёную корзину, полную мокрой одежды, и как у неё немеют пальцы и ломит спину, на шее у неё связка прищепок; наверно, маме тоже пришлось остановиться перевести дух, и она считала, сколько ступенек ещё осталось, и надеялась, что жизнь её изменится. Вивиан оборачивается, она дышит ртом, губы у неё сухие и раздутые. — Обещают построить лифт, — вздыхает она. — Привесить снаружи, со

стороны двора. — Наконец мы у цели. На двери значится «Вивиан Вие», простенькая серая дощечка с большими буквами. Она пропускает меня в квартиру. Я останавливаюсь под скошенным окном в крыше. Снег тает, едва коснётся стекла. Свет утекает и растягивает за собой темноту. Следом я вижу в углу, у белой оштукатуренной стены дымохода, коляску, манеж и стопку детской одежды, которую носили мы с Фредом, замурзанная колыбель тоже извлечена на свет божий, всё готово, побывавшие в деле вещи ждут нового человека. Я отворачиваюсь в сторону кухни, Вивиан забыла убрать в холодильник молоко. — Ну как тебе? — спрашивает Вивиан. Я снова подхожу к окну в крыше. — Ты чувствуешь, как качает? — спрашиваю я. — Что ты говоришь? — Качает, — повторяю я. Она замолкает и стоит, обхватив живот руками, взгляд тревожный. — Барнум, здесь совершенно не качает. — Качает, качает. Ты скоро заметишь. — Вивиан вдруг заводится. — Нет, не качает! — кричит она. Я подхожу поближе: — Так ведь поэтому и бельё здесь получалось такое сухое и приятное телу, — объясняю я. Она чуть не плачет. — Почему «поэтому»? — Потому что качает дом. — Вивиан уходит в ванную. Я убираю молоко в холодильник и беру пиво. Старое

детское барахлишко на ощупь мягкое, пижамка, ползунки, кофточка, это ещё когда мне подходила одежда обычного размера и я донашивал вещи за Фредом. Я и не знал, что мама всё это сохранила. Я наклоняюсь над коляской, в которой лежит тёплый конверт, подбитый густым, белым мехом, и вдруг чувствую, как что-то холодное скользит по губам, мама жирит мне губы камфорой, чтоб не потрескались на морозе, но меня это не волнует, вот что странно и вот что пугает меня сильнее прочего, что я выключен из сети, лишён реакций. Ребёнок Вивиан тоже родится зимой, в самый холодный месяц года, когда над фьордом поднимается красивый морозный туман. Я различаю её дыхание. Должно быть, она уже давно стоит и смотрит на меня от косяка будущей детской. Я отвожу глаза, но мимолётное смущение и дурнота успевают настичь меня. — Как движется история про викинга? — спрашивает она. — Мне кажется, я попал на планку, — отвечаю я. Вивиан улыбается: — Педер думает, что получится хорошо. — Я медленно-медленно поворачиваюсь к ней: — А ты как? В собачью парикмахерскую тебя не взяли? — Она стирает улыбку тыльной стороной ладони. — Меня с Нового года берут гримёром на телевидение. — А ребёнок как же? — С ним будут

сидеть Вера и Болетта, — отвечает Вивиан, и на её словах нас ослепляет молния. Я сперва решаю, что это гроза на улице, но вспышка выстрелила с другой стороны, не из окна в крыше. Это мама. Она стоит на пороге со стареньким фотиком в руках, и я не успеваю остановить её, как она второй раз ослепляет вспышкой нас, отвернувшихся в разные стороны. — Барнум, ты помнишь этот аппарат? — Я мотаю головой. Мама хохочет. — Было время, я мечтала стать фотографом, — говорит она. — Что ж не стала? — спрашиваю я, по ходу вопроса раскаиваясь в нём. Мама смотрит в окно в крыше. — Обстоятельства помешали, — говорит она. — Ещё и сейчас не поздно, — говорю я. А мама снова поднимает аппарат. Мне приходится поддержать её, и я справляюсь с трудом, потому что её вдруг начинают сотрясать рыдания. И разве не должен был я понять уже тогда, что было нечто выше маминых сил, бремя, далеко превосходящее размерами и тяжестью всё, что я мог себе представить, и которое она долее не могла нести в одиночку? Но я был закрыт в себе и не понимал ничего. Не это ли я называю тихими омутами памяти? Мама вцепилась в мои руки. — Барнум, я так жалею, что не сделала снимка в церкви. — Мы все всё помним и так, — отвечаю я и смотрю

на Вивиан. — Ты не снесёшь мне коляску? — спрашивает она. Я рад стараться. Мама остаётся с Вивиан. С мамой остаётся Вивиан. Когда я прохожу мимо нашей двери, из неё выходит Болетта в шубе и с палкой. — Мне нужен воздух, — говорит она. Я ставлю коляску под почтовыми ящиками у входа, Болетта, которая идёт первой, не говорит ни слова до самой маковки Блосена. — Всё, дурень, — говорит она там, — дальше я с тобой не потащусь. — Я смахиваю снег со скамейки, и мы садимся. И долго сидим так, а что сказать, я ума не приложу. В серых сумерках всё сливается воедино, ржавая тьма в обрамлении снега. — Почему ты не живёшь с Вивиан? — спрашивает Болетта. — Лучше так, как есть, — отвечаю я. Болетта шарит по карманам в поисках чего-то. Наконец находит. Она протягивает мне плоскую флягу, я откручиваю тугую пробку и ощущаю тяжёлый аромат моей первой любви, которым я, роняя слюни, не мог надышаться, и детство облепляет меня, как этот снег, я включился, я растроган. Я отпиваю глоточек и передаю флягу Болетте, она вытягивает каплю и объясняет мне, что это последняя «Малага» в Осло. — Никто на такое баловство теперь не раскошелится, — говорит она. — На «Малагу» — нет, — соглашаюсь

я. — Спасибо, Болетта. — Болетта прячет флягу обратно в карман и опирается на палку. — Что, чёрт возьми, с нами не так? — вдруг вопрошает она. А я гляжу на гаснущие одно за одним окна, на город, который погружается в очередную ночь под снегом и облаками, и мне неожиданно вспоминается Флеминг Брант. Мне хочется заговорить о нём, монтажнике посреди пляжа, но предложение не складывается, слова не даются в руки, я уже почти развалина. — Я не могу иметь детей, — говорю я. Болетта не поворачивает головы. — И что с того? — спрашивает она. — У меня *не может* быть детей, — повторяю я. — И тем не менее ты её предаёшь? — Это она меня предала, — шепчу я. Болетта встаёт и стукает палкой о снег. — Мелочная ты душонка, — говорит она. У неё точно такое лицо, как бывало прежде, когда на неё накатывало, и ей приходилось тащиться на Северный полюс, чтобы охолонуться. — Что ты сказала, Болетта? — Она показывает на меня своей палкой. — Барнум, я никогда не злилась на тебя так, как сейчас. Я в таком бешенстве, что мне самой дурно. — Я пробую улыбнуться. — Ты сердилась на меня, когда я прогулял школу танцев, — говорю я. Болетта снова садится, она удручена и устала. — Сердиться и быть вне себя от бешенства

— не одно и то же. По сравнению с моей яростью то недовольство просто фитюлька. — Тогда и я в бешенстве, — шепчу я. Она накрывает мою руку своей скрюченной. — Это ты зря. Тебе лучше бы любить Вивиан и маленького. — Я опускаю голову. — Я не могу, — говорю я. Болетта отнимает свою руку. — Если не можешь, значит, ты, Барнум, полчеловека. Вот и всё. — Теперь и я чувствую ярость, вполне неподдельную, словно весь гнев, который копился во мне годами с того момента, как полицейский припечатал меня тогда в лилипутском городочке, теперь собрался в один огромный пульсирующий кулак. — Ну-ка повтори, Болетта! Или боишься? — спрашиваю я. — Повторяй не повторяй, настоящим человеком ты от этого не станешь! — огрызается она. — Я выхватываю у неё палку, ломаю надвое и иду вниз, увязая в снегу. — Я не желаю тебя больше видеть! — ору я. — Ты слышишь, старая маразматичка! Я НЕ ЖЕЛАЮ ТЕБЯ ВИДЕТЬ! — И когда я оглядываюсь в последний раз, от неработающего фонтана, она всё так же сидит на скамейке на самом верху Блосена, сухая сгорбленная фигурка во всё более плотной пелене снега, и так именно она и пропадает с глаз моих долой.

Этой ночью я не могу писать. Снова включаю

телефон. Во мне неукротимо крепнет та особая тревога, которая суть нервное окончание несчастья. Подпив всё, что оставалось в наличии, я принимаюсь разбираться в бумагах. Перечитываю то, что написал.

Море. Вечер

Корабль с головой дракона. На море штиль. Команда вынуждена грести. Единственный звук, который слышится, — ритмичные крики на каждый гребок. Корабль похож на тень, которая скользит мимо.

Усадьба. Утро

Май, симпатичная девчушка лет девяти, развлекается тем, что прокладывает по снегу следы. Кроме неё никого нет. Она уходит всё дальше и дальше от домов, к опушке леса.

У неё что-то падает в снег, и она останавливается поднять потерю: это украшение на шею, половинка амулета в форме звезды. Нагнувшись, она вдруг видит другое: ещё чьи-то следы. Гораздо больше её собственных. Они исчезают в лесу в двух шагах от неё.

Май сидит на корточках, глядя то на лес, то на дома. Она осторожно завязывает амулет на шее.

Из большого дома выходит мать, машет дочери.

Май не решается помахать в ответ. Мать стоит и смотрит в её сторону. Машет ещё раз. Май слышит звуки у кромки леса. Хрустнул сучок. Вытащили меч.

Тишина разрывается диким гвалтом: дюжина мужчин в одеждах воинов выкатывается из леса.

Корабль. Утро

Корабль подходит к берегу. Паруса подняты. Все носятся как угорелые, чтобы подготовить груз. Все, за исключением одного человека. Он пристроился на корме и спит. Лицо закрывает капюшон. Но нам видно украшение на шее, это половинка амулета в форме звезды, такая же, как у Май.

Три мужика ставят неподалёку от него клетку с птицами. Они смотрят на спящего, потом переглядываются и кивают. Один неслышно подкрадывается поближе, наклоняется и аккуратно возится с амулетом, старается снять. Внезапно молниеносным движением на его запястье сцепляются пальцы. «Спящий» больно держит его железной хваткой. Вор падает на колени. Нам видно лицо спавшего. Ему 25, он много повидал.

Зовут его Ульф.

Ульф отпускает воришку и смотрит на материк.

Голос за кадром: Семь зим прошли, как он подался прочь, от лесов за моря, от земли на ветра. В первую зиму о нём скорбели. На вторую зиму от него всё не было вестей. На четвёртую зиму его видели в трёх разных странах одновременно. На шестую зиму о нём забыли. Он вернулся домой, как беглец, и опоздал.

Звонит телефон. Мне нельзя брать трубку. Надо закончить «Викинга» сперва. Всё свелось к одному слову: закончить. Телефон орёт. Я выдёргиваю его из розетки. Почтальон торопится по лестнице вниз. Я слышу, как соседка спешит перехватить у него свою «Афтенпостен» прямо на площадке. И огромное, глубочайшее беспокойство охватывает меня. А если Болетта не вынесла холода? Я иду на Блосен. Мои следы вихляют на снегу. Скамейка пуста. Никто не сидит на ней. С этим местом я разделался. Мне нужно проредить реликтовые места, если я намерен двигаться вперёд, и найти новое место, только моё. Ума не приложу, где оно окажется. Я спускаюсь в «монополькy». Продавец долго изучает меня, но документов не просит.

Потом я с кошёлками возвращаюсь домой на такси и занимаюсь «Викингом» дальше. Разбег сделан. Я в прыжке. Но Фредова куртка не идёт у меня из головы. Отвлекает. Пора избавиться и от неё тоже. Как портняжка, я на своей пишущей машинке перешиваю куртку в синий кожаный плащ и прячу его в вещи героя, а посреди повествования облачаю его в этот прекрасный наряд, он переливается издали, как тёмное пламя, а потом становится добычей предателя раба, но тот платит за это жизнью, а враги-погубители решают, судя по наряду, что порешили моего героя, вернувшегося домой пропащего сына. Как-то утром или вечером, во всяком случае, после сна, а темно за окном всё время, я вижу, что в Стенспарке, рядом с детским садиком, зажгли ёлку. Я даже слышу вроде, как малыши поют. Старые, добрые песни. Я сажусь за стол и начинаю читать последнее из написанного. И неожиданно понимаю, что я закончил. Бестрепетный голос за кадром подрубает края истории, а ветер восьмой зимы раздувает паруса корабля, уходящего в море. Я испытываю радость даже, хотя удивительно, что меня смогли обрадовать какие-то слова, которые я настриг там-сям и склеил вместе в тройной прыжок. Наверно, меня настроили на этот лад

дети в изножье Блосена с их песнями. Мне больно от этого, и я счастлив.

Спустя время я по предрождественским улицам спускаюсь к Педеру. Он починил вывеску. Мы сияем всеми десятью буквами. Сам толстун распят между двумя телефонами спиной ко мне и оборачивается лишь с четверть часа спустя после моего прихода. Он заслоняет глаза козырьком ладони. — Выглядишь чудовищно, — сообщает он. — Что за поверхностность, Педер. — Он только головой качает. — Барнум, можно скажу кое-что? — Изволь. — Мне плевать, что ты сдохнешь от выпивки, только закончи, чёрт возьми, «Викинга» прежде, чем помрёшь. — Спасибо, Педер, за заботу. Ты чрезвычайно добр. — Не стоит благодарностей, Барнум. Но ответь на один вопрос. — Какой? — Ты твёрдо уверен, что уже не умер? Я имею в виду не как бы смерть, со всякими там оцепенениями, а по-людски, по-крематорски. — Педер, я не умер. — Он достаёт носовой платок и прижимает его к носу. — А ты в курсе, как долго может длиться момент умирания? Неделями, Барнум. Годами. — Я жив, — шепчу я. — Как ты можешь это знать, а, чёрт возьми? — Потому что жажда мучит, — отвечаю я. Звонит телефон, и американский голос без раскачки

начинает наговаривать на автоответчик, речь быстрая, громкая, короткая. Я выуживаю всего несколько слов: Рождество, Новый год, викинги и доллары. Педер глядит на меня с печалью в лице, которое медленно перетекает в подбородки. — Это из Лос-Анджелеса. Спрашивают, как дела. А откуда я знаю как, если ты мне не рассказываешь. — Педер с натугой встаёт, распахивает шкаф и меняет рубашку. — Что тебе подарить на Новый год? — спрашиваю я. Педер молчит. Потом снова садится. — Мне бы сценарий и настоящего друга, — тихо произносит он. Я вынимаю из куртки свёрток и кладу перед ним. Педер долго-долго смотрит на конверт, я обвязал его красной ленточкой. Педеру от Барнума. — Это что за фигня? Бомба? Или завещание? — Кто откроет, тот узнает, — отвечаю я. Педер подозревает подвох и злится: — Барнум, ты надо мной издеваешься или как? — Барнум никогда ни над кем не издевается. — Ещё поскрипев, Педер наконец вскрывает конверт и извлекает 102 страницы «Викинга, фильма в жанре норстерн, сценария Барнума Нильсена по оригинальной идее». — Вот это подарок, всё, что я хотел, и сразу, — шепчет Педер. — Да, да, хороший сценарий и плохой друг. — Педер встаёт и лезет обниматься: — Бар-

нум, я тебя обожаю. — Фу, опять американские штучки. — В глубине души все мы американцы, — смеётся Педер и чмокает меня в лоб. И так мы стоим и держимся друг за дружку, стоим, пока и эта рубаха не сопревает на Педере насквозь. — И что теперь? — спрашиваю я. Педер разжимает объятия: — Теперь, Барнум, иди домой и немного отдохни. А я заступаю на вахту. — Это означает что? — Это означает, что я прочитаю сценарий, переведу и отошлю факсом «Блэк Риджу» в Лос Анджелес, — говорит Педер и пристраивается у телефона. Я стою и не могу на него насмотреться. Педер впрягся. Он бесподобен. Мы сделали это. Перетерпев недолго, он с беспокойством поднимает на меня глаза: — Ты сказал, что хочешь пить? — Я имел в виду, что я счастлив, — отвечаю я.

И ухожу домой, оставив его делать дела в покое. Дорогой я кружу и петляю. Мне надо и с остальными местами разделаться тоже. Расчистить территорию. Я в последний раз похлопываю дерево на площади Соллипласс, шершавая кора щекочет ладонь, и я слышу, как медленная музыка сваевского проигрывателя уходит в пыль, скопившуюся в самых дальних бороздках детства, а шаги по паркету ускользают во все стороны. Сажусь на углу Дворцового парка

и улицы Вергеланна и поминаю Пра минутой молчания, потом зажмуриваюсь и вижу, как тень Фреда наконец-то встаёт, прячет в задний карман блестящую расчёску и идёт вслед за Пра к дворцу. И это осталось позади. Отсюда мой путь к беседке во Фрогнерпарке. Она давно не белая. Покосившиеся стены изрисованы граффити. Кто-то вывел *Я гулял здесь.* Это всегда правда. Но тот, кто пишет *Я здесь гуляю,* не грешит против истины, только пока выписывает буквы. Сплюнув в снег, я спешу дальше. Забираю из киоска последнюю бутылку, ту, что я прятал под отошедшей половицей. Всё, и это место забыто мной так же, как оно давно истёрлось из головы Эстер, превратившись в грёзу сладких ирисок и денег на сдачу. Я перебегаю на ту сторону, в Городочек: небольшого размера руины, сереющие в тяжёлой, промозглой слякоти, и ничего более, Городочек заброшен, я заколачиваю его навсегда. Изымаю с глобуса. Потом поднимаюсь к Вивиан. Звоню. Открывает мама. Она ставит на полку сумку и смотрит на меня в таком же наверняка изумлении, как и я на неё. — Вивиан в больнице, — говорит мама. Я стараюсь сохранить спокойствие. Я совершенно спокоен, тут не из-за чего терять голову. — Уже? — Они хотят пере-

страховаться. — Перестраховаться? Что-то не в порядке? — Мама впускает меня в квартиру. Она собирает в сумку туалетные принадлежности и кой-какую одежду Вивиан. Я топчусь за ней по пятам. — Плохого ничего не случилось? — бубню я. — Вивиан такая худенькая, — шепчет мама. И снова повторяет только это: — Она такая худенькая. — И это заклинание ударяет меня по башке, как огромная мягкая силища, отчего мне вдруг представляется божья коровка, как она семенит вверх по травинке, а та тихо гнётся. Я кладу руку маме на плечо: — Всё будет хорошо, правда же? — Мама застёгивает молнию, выпрямляется. — Барнум, ты можешь поехать со мной. — Я отворачиваюсь, ничего не ответив. Мама медлит. — Ты поругался с Болеттой? — спрашивает она без перехода. — Нет, а она так сказала? — Она вообще ничего не говорит, Барнум. Лежит на диване и киснет. — Мама подхватывает сумку и идёт к двери. Голос едва слушается её. — Барнум, я не знаю, что произошло у вас с Вивиан, и знать не желаю. — Я дёргаюсь на шаг в её сторону и вскидываю руку. — Именно, ты вообще ничего знать не желаешь! То-то и оно! — кричу я. Мама смотрит на меня в упор, чернота заволакивает её глаза. — Что ты хочешь этим сказать? — Рука моя

падает и болтается, оттягивая плечо. — Скажи Вивиан, что я здесь, — шепчу я.

Притаскиваю стул и усаживаюсь под окном в крыше. Дверь захлопывается. Я считаю мамины шаги вниз по крутой лесенке, сколько мне их слышно, а потом откупориваю бутылку. Я был прав. Качает тут, как встарь. Водка ходит с боку на бок, словно запечатанная в склянке волна. Стоит задрать голову, как чёрное окно превращается в зеркало, в котором колеблется и пляшет моя физиономия. Снег падает и беззвучно соскальзывает. В мире есть только эта волна и я, вцепившийся ей в холку. Я пью, никуда не торопясь. Чтобы отрешиться от этого места, нужно не пять минут. Я не подгоняю себя. Сколько нужно, столько нужно. Это моя поминальная служба. Я упражняюсь в забвении, и я единственный, кто пришёл на панихиду. Тремя этажами ниже лежит на диване Болетта и киснет. Недалеко отсюда мама хлопочет вокруг Вивиан. Я забываю гроб, который притащил сюда Фред. Убиваю в памяти войну, бельевые верёвки и мёртвого голубя. Раз или пару раз бьют часы на церкви. И вот тут-то я вспоминаю простую и очевидную вещь, что только один предмет здесь принадлежит мне — кольцо, то кольцо, что я купил, но не подарил,

спрятал в угольной шахте, кольцо с буквой «Т», как Тале, тишина, тиканье времени. Отыскав на кухне нож, я набросился на оштукатуренную стену. Я врубаюсь в стену, бью, стучу и ковыряю, я должен, бляха-муха, найти это кольцо, но вскрыть этот люк нет никакой возможности, я колочу и колупаю, но нет, пыль и краска сыплются на пол, и вдруг не часы бьют на церкви, а звонит телефон. Я не знаю, где он стоит. А когда наконец отыскиваю его в спальне, трубку уже положили. Здесь только узкая кровать и колыбель в углу. Качает. Я на всякий случай сажусь, и тут же телефон звонит снова. Я осторожно беру трубку и, пока поднимаю её, думаю, что в эту секунду Болетта на Центральном телеграфе соединяет звонки и вот разыскала меня в электротьме проводов. Звонит мама. — Вивиан родила мальчика, — говорит она.

Его будут звать Томас.

Кольцо останется лежать в стене, невидимое никому, кроме меня. Я бреду домой. На столе стоит шампанское и букет роз, двенадцать штук. На карточке Педер написал: *Большому малоформатному гению. Поздравляю!* Сам он сидит на балконе, листает рукопись и смолит сигару. Завидев меня, поднимается, стряхивает снег с

рубашки и входит в комнату. — Ты дверь взломал? — спрашиваю я. Педер улыбается: — Вивиан дала ключ. — Я опускаю глаза. — Ты был в больнице? — Мужик что надо, — говорит Педер. — Орёт как резаный. — Мы замолкаем. Спустя время Педер кладёт руку мне на плечо: — Американцы наши, Барнум. Они влюбились в тебя. — Я беру у него из рук рукопись. Это перевод. Педер вдруг начинает суетиться, наливает нам шампанского. Это моя последняя выпивка почти на семь лет вперёд. — Что за хрен этот Брюс Гант? — спрашиваю я. Педер пожимает плечами: — Кто-кто? — Я с силой тычу в первую страницу: — Здесь написано *переработка* Брюса Ганта. — Ах Брюс Гант, — спохватывается Педер. — Он сценарная «неотложка» на «Блэк Ридж». Он там кое-где немножко украсил. — Украсил? — Барнум, не цепляйся к деталям. — Я принимаюсь читать. Этот самый Брюс Гант, доктор «неотложки», не только понатыкал красивостей, он ещё вырезал меня и мой голос. Ампутировал мои визуальные картины. Педер мечется взад-вперёд и не знает, куда себя деть. — Пачино, считай, уже наш, — говорит он. — Не исключено, что Лорен Бэколл согласится. А Бенте Сюнт просит интервью. — Это вивисекция! — выкрикиваю я. Педер берёт

меня за плечо: — Барнум, только не надо сейчас сентенций. — Сентенций? Брюс Гант загубил всё! Этот твой доктор грязный шарлатан. Пациент мёртв! — Я стряхиваю с плеча его руку. — Ты сам прекрасно знаешь эту кухню, — говорит Педер. — Чем лучше сценарист владеет словом, тем больше проблем. — Это что — комплимент или оскорбление? — Я просто объясняю, что ты слишком хороший писатель. Американцам нужно ближе к делу. Понимаешь? — Ближе к делу? Викинги, которые сношаются на шкурах под открытым небом и рыдают через каждую вторую сцену? — Сантименты, Барнум. — Один *глаз не видит другого!* Эту реплику он вырезал тоже! — Ты слишком хорошо пишешь, — повторяет он. Я швыряю в него рукопись и грохаюсь на кровать. — На чьей ты стороне, Педер Миил? — Он тягостно вздыхает: — Да на нашей я стороне, чёрт подери! — Я вперяюсь в него взглядом: — Вот я и выяснил, с кем связался, — говорю я. Педер кладёт ключи на стол, между шампанским и цветами. — Тебе б тоже проведать Вивиан, — говорит он. — Нет у меня больше ничего своего, — шепчу я. — Ничего своего.

Позже я снова спускаюсь в подвал. Это последнее место, с которым я хочу расчесться. Я иду

с фонариком, тощий свет шарахается вдоль по стенкам. Рядом с сушилкой валяется куль мокрой смердящей одёжи, пустая бутылка перекатывается по полу. Я поддаю её что есть силы и слышу, как стекло разлетается вдребезги в темноте. Чулан открыт, всё на месте. Немой чемодан без звуков заткнут в самый дальний угол. Как раз тогда я замечаю, что кто-то тут есть, проворные тени, но я не успеваю оглянуться, как меня хватают и прижимают к двери, свет выпадает из моих рук, тошнотный жар конопатит мозги, кровь заливает рот. Потом меня разворачивают и ослепляют ещё более резким светом. Один полицейский выворачивает мои карманы. — Ищешь, где соснуть? — спрашивает он. — Я здесь живу, — шепчу я. — Коротышка пьян в стельку, — замечает второй полицейский. Я вырываюсь, крушу что-то и не чувствую ничего, кроме безразличия, когда они выволакивают меня наружу, запихивают в машину и увозят. Соседка стоит на лестнице с мусором в руках. А во всех, во всех окнах, кроме моего, горят звёзды. Рождество. Я заливаюсь хохотом. Падаю. Меня поднимают и тащат по коридору. За одной из решёток Флеминг Брант, а я думал, он умер, но это финт в его репертуаре, он вытягивает сухонькую руку, в ней блестят

ножницы, и это последний раз, когда я вижу и его тоже, монтажёра. — С праздничком, мой друг, — шепчет он. Я опять начинаю вырываться. Безразличие сменилось страхом. Они отбирают ремень, шнурки, часы и расчёску. И немедленно дверь за ними защёлкивается с громким стуком, откидывающим мою голову назад. Я сижу в углу пустой камеры вытрезвителя, у дырки в полу, и в таком виде исчезаю с глаз своих долой.

(баклан)

Островок возникает как точка в конце моря. Я сижу на палубе, замотанный в плед. Я был здесь однажды. Тут обрёл имя. Но никто не признаёт во мне меня, когда я ступаю на землю Рёста. Со мной пишущая машинка и календарь. Я на секунду останавливаюсь, набираю полную грудь воздуха, но не чувствую ничего особенного, кроме грубого ветра. Дохожу до Дома рыбака. Свободная комната находится. Чернявая девушка за стойкой спрашивает, сколько я пробуду. — Достаточно, — отвечаю я. Она улыбается и теперь хочет знать моё имя. — Брюс Гант, — говорю я. — Брюс Гант, — повторяет она по слогам и успевает мельком стрельнуть в меня глазами прежде, чем записать имя и число в книгу. Наконец я всё-таки получаю

ключ. Мне досталась комната на втором этаже. Кровать стоит у окна, обросшего коркой соли. Я не сплю. Вычёркиваю в календаре ещё один день чистоты. И ещё один на следующий вечер. На третье утро в дверь стучатся. Эта чернявенькая снизу. Она принесла завтрак: яйца, хлеб, джем. Я прошу добыть мне скотч. Она приносит его тем же вечером. Берёт поднос и видит, что я ничего не поел. Я пишу на листе *Ночной палач, сцена 1,* и приклеиваю его к стене.

Пытаюсь уснуть.

Слушаю в темноте птиц.

В какой-то из дней, в дождь, я выхожу наружу. Дождь хлещет прямо в лицо, будто небо опрокинулось. Съёжившись, иду по тропке наискось через состругáнную Рёстландию, между сушил, похожих на огромные сады, увешанные рыбинами, но я не чувствую вони, всё мертво, ветер стесал чувства под ноль, точно как он шкурит и шкурит эти холмы своим огромным наждаком, пока оставшаяся крошка не осядет на дно и не сгинет навек. Я распахиваю калитку на кладбище, притянуть её назад сил не хватает. Флагшток гнётся в дугу под шквалами ветра. Я пластаюсь под прикрытием каменной стены и в конце концов нахожу их имена на высоком чёрном

постаменте, обложенном белым песком, Эверт и Аврора. Буквы засраны птицами. Я тяну руку оттереть плиту, но передумываю. Вспоминаю вдруг; как пастор на отцовых похоронах говорил, что бакланы метят помётом скалы, чтоб найти дорогу домой.

Я поворачиваю, и теперь той же силы ветер лупит с другой стороны, соляная буря в морду. Не от скромности и смущения все ходят опустив глаза, дело в ветре. Сбоку сарайчик, покосившийся навес, под брезентом очертания машины, перед выдаётся наружу. Что-то смутно брезжит в памяти. Я оглядываюсь. Ни души. Подхожу ближе и поднимаю брезент сбоку. Это «бьюик», старый отцов автомобиль, ржавый, раздолбанный, полный воды. Я закрываю глаза. Но я всё-таки здесь не один, оказывается. Сутулый мужик с белым лбом, венчающим обветренное лицо, наклоняется к сломанному радиатору, мужик молчит, стряхивает землю с комбинезона. Я опускаю край брезента на место. — Нечастая машина в этих краях, — говорю я. — «Бьюик-роудмастер». — Мужчина молчит, но враждебности в нём не чувствуется. Он мерит меня взглядом, как опытный портной. — Где ты его взял? — спрашиваю я. — Да был тут деятель, он нам задолжал за выпивку и за

памятник на могиле. — Я киваю: — А чего ж не пользуетесь им? — Теперь он улыбается: — Мы пользуемся. Когда итальянцы приезжают.

Я рисую ещё несколько крестиков в календаре.

Это единственное, что мне удалось написать.

Как-то вечером я спускаюсь в кафе, пью апельсиновый сок и смотрю телик в компании других завсегдатаев, постояльцев, которые ходят сюда съесть торт и ради чернявенькой барышни. Мужики списались на берег, меня они рассматривают с высокомерным любопытством, молча и дружелюбно, а я не отрываю глаз от нечёткого изображения на экране, с рябью и без звука, как будто антенна приколочена к ветру и болтается в мёртвой зыби, и мне приходит в голову, что на эти известные лица, которые расплываются на просоленном экране телевизора в Доме рыбака в крайнем к океану отеле, только что накладывала грим Вивиан. — Что тебе здесь надо, Брюс Гант? — спрашивает барышня, когда я возвращаю ей стакан, уходя опять к себе наверх. Все слушают нас, не подавая вида, но вилки перестают на миг стучать. — Просыхаю, — отвечаю я. — Мне всё равно кажется, ты мог бы есть хоть чуть-чуть.

Скоро пора будет покупать новый календарь.

Начинает светлеть.

Однажды утром я иду не обычным маршрутом, к церкви и кругом каменной ограды, а на ту сторону вала, по оголённой отливом полосе к маленькой бухточке за пристанью. Тогда-то я обнаруживаю дом. Он давно уже никакой не дом, не жилище человека, а развалины, медленно рассыпающиеся и раскатывающиеся на плавняк. Покойницкая дверь открыта и хлопает. В реденькой жухлой траве отполированный овечий череп. И тут случается это. Ветер вдруг залезает мне под куртку, раздувает её как парус, и он уносит меня в воздух, я дёргаюсь, пыжусь стать тяжёлым, неподъёмным, да куда там, для этих порывов ветра я невесомая пушинка, я ору, брыкаюсь, и в конце ветер благовоспитанно опускает меня на землю подле узкой тропки.

Сам не свой, точно под градусом, я поворачиваю назад к Дому рыбака. Где чернявенькая за стойкой посмеивается, давешние мужики переглядываются и продублённые лица кривятся улыбками, и один из них успевает громко сказать, пока не грянула ржачка: — А вот и баклан прилетел!

Я раздуваю по сторонам пыль повествования, чтоб она расцвела в устах людей букетами наипрекраснейшей лжи.

Как-то утром снова стучат. Это она, чернявенькая. Она торопливо озирается, оглядывает стены, заклеенные листами почти сплошь. — Я не голоден, — говорю я. Она улыбается: — Так вам письмо. — Это выше моего разумения. Но она протягивает мне конверт. Я узнаю почерк Педера. И длинный ряд перечёркнутых адресов до здешнего. — Спасибо, — шепчу я. Она стоит, не уходит. — Ну так мне переписать вас в книге на Барнума Нильсена? — спрашивает она. — Я подхожу к ней ближе. Глаза коричневые. — Как ты узнала, что это я? — А что тут трудного? — Я выгляжу как моё имя? — Она смеётся в ответ: — Мой отец говорит, что мало кто сможет признать этот «бьюик» под брезентом.

Я кладу письмо на тумбочку, не решаюсь прочесть.

Впервые за долгое время мне грезится. Мне снится чемодан. Его несут, но я не вижу ясно кто. Во сне мне видно лишь башмаки, ноги и руку с чемоданом, он много весит.

Просыпаюсь я резко от солнца. Оно в комнате везде. Встаю. Письмо лежит на тумбочке. Я вскрываю его. Педер пишет «Друг мой, не знаю, где ты, но письмо, может, тебя и отыщет. Ты же помнишь ту открытку от самого высокого человека в мире,

которую мы нашли на Ильярне тогда летом? Ну что сказать. Из «Викинга» ничего не получилось. На студии сменился директор. Я встретился с новым в Лос-Анджелесе. С шестьдесят девятого года он всё время жил в Венеции и не смог сказать ничего, кроме: *What about vikings in outer space?* Берёшься, Барнум?» Мне пришлось сесть, чтобы отхохотаться. Не смеялся я, к слову, тоже не вспомнить сколько. Потом с улицы послышался гомон, разговоры, крики, музыка. Я подхожу к окну и замечаю тут только, что кто-то вымыл его, всё видится ясно и близко. Мир ослепляет меня. К пристани идёт паром, вот что. И, похоже, все почти островитяне собрались тут. И у меня такое ощущение, что я уже видел это, и в то же время на моих глазах это происходит впервые. Это итальянцы, закупщики, они едут снять урожай с просушенных садов Рёстландии, обобрать береговые виноградники. Их препровождают по трапу на берег, а навстречу катит жёлтый «бьюик», сияющий, намытый, с опущенным верхом, он мягко и бесшумно покачивается, как коляска на колёсах. На шофёре форма с блестящей фуражкой, скрывающей высокий белый лоб. Экипаж останавливается у трапа, берёт гостей и медленно трогается прочь промеж людей и ветра.

В конце Педер сделал приписку: «PS. Вивиан передаёт привет. Томас сказал первое слово. Угадай какое?»

Попозже днём я собираюсь и иду к кривому сараю. «Бьюик» стоит на улице. Опустившись на колени, шофёр начищает колпаки до зеркального блеска, хоть смотрись во все четыре. — Ты не знаешь, где отец установил ветряк? — спрашиваю я. Он в лёгком замешательстве вытирает пот со лба. — Мы выложились на стол на твои крестины, а плиту для могилы везли аж из Будё, — шепчет он. Я кладу руку на разогретый капот. — Значит, эти дровни по праву ваши. — Он смотрит на меня, потом улыбается. — Поехали, — приглашает он.

Мы гребём через пролив, к отвесному холму. Мы сидим на банке бок о бок. Весло скользит у меня в руках. Шофёр посмеивается. — Ты табанишь чисто Арнольд, — кричит он. — Что ты знаешь о моём отце? — спрашиваю я. Он гребёт, молчит, время идёт. Я напрягаю все силы, чтоб попадать в такт, но они на исходе. — Арнольд отчекрыжил себе палец когда был пацаном, — говорит он. Мы подходим к берегу, узкий залив в топкой полоске отлива. — Он был хороший человек? — тихо шепчу я. Шофёр, паромщик, единственный сын Кручины скорбно приклоняется к веслу. — Когда

Арнольд приехал крестить тебя, Барнум, у него не было уже всей руки, — говорит он тихо. Всё, мы у цели. Он помогает мне сойти на берег. — Проводить тебя наверх? — Я мотаю головой: — Дальше я сам справлюсь. — Но он не отпускает меня так просто, он берёт два увесистых булыжника и запихивает в карманы моей куртки. — Чтоб тебя снова от нас ветром не унесло, — говорит он. И вот я карабкаюсь наверх по тому же отвесу, где отец скатился вниз и стал Колесом. Не знаю, сколько времени уходит на это. Свет не движется в туче белых птиц. Когда я ставлю ногу на вершину и мокрая трава ложится широкой пологой дугой, то вижу наконец отцову мельницу, она похожа на врезавшийся в землю самолёт, на разломанный крест. Я сажусь. Солнце висит над горизонтом, оно зелёное, вижу я. Я пускаю камни кататься вниз по склону и втягиваю терпкий запах гуано. Ветер рвёт обломки, они издают красивый перекликающийся звук ржавую песню. И я знаю: вот оно, моё место.

Назавтра утром я уезжаю с севера на юг. Паром до Будё, самолёт до Осло, такси до Бултелёкке. Я проветриваю три дня. Это как после долгого летнего отпуска. У соседки новые жильцы, молодая пара. С Вивиан я не общаюсь. Томаса не

видел ни разу. Но наш электрический театр мы с Педером продолжаем. Я прячусь в темноте кулис, пишу «Ночного палача», выдаю идеи вкратце и подробные проработки и считаю, считаю чистые дни, пока по почте мне не приходит пуговица и два слова, *пуговица отца,* в тот самый день, когда нам улетать на Берлинский фестиваль.

(темпельхоф)

Пыхтит мне в затылок Педер. Он провожает меня в Темпельхоф, архитектурный образчик культурности нацизма, ещё раннее-раннее утро, я одержим давящим покоем. Я лечу домой. Домой к Фреду, потому что он вернулся домой. Я не видел его 28 лет и 60 дней. Но может статься, что он меня видел. Что он наблюдал за нами все эти годы. Педер берёт меня за руку. Это он перебронировал билеты, отменил встречи, оплатил счета и обзвонил со словами извинений почти всех, с кем я соприкасался. — Ты уверен, что мне не надо лететь с тобой? — спрашивает он. — От тебя больше проку здесь, — отзываюсь я. Он загораживает мне дорогу, я останавливаюсь. — Но ты ведь знал, что он вернётся, да? — Что ты имеешь в виду? — Педер смотрит в сторону: — Барнум, ты ведь знал, что он не умер. — В зале пусто. Пахнет

мылом. Стены ходят ходуном, грозя завалиться. Мне надо схватиться за что-нибудь. Я сажусь на чемодан. — Может, да, а может, нет, — шепчу я. Внезапно из туалета выбегает вооружённый охранник, пистолет в чёрной кобуре, дубинка на тугом ремне, островерхая форменная фуражка, которую он, на секунду остановившись оглядеться и выдернув взглядом меня, сдвигает на место. У него капает с рук. Он уходит в сторону транспортёра, где кто-то позабыл синий фестивальный зонтик. Как же здесь пахнет мылом. — Ты думаешь, можно получить прощение за то, чего ещё не сделал? — спрашиваю я. Педер наклоняется ко мне, его тревога растёт: — Барнум, ты не натворишь никаких глупостей? — Я смеюсь только. — Ничего смешного, — говорит он. — А я и не смеюсь. — Тебе лекарства не надо? — Нет, — качаю я головой. — Мне просто подумалось, что ничего так и не вышло. — Педер не понимает меня: — Не вышло из чего? — Из всего, что мы с тобой делали. Ни фильма. Ни картинки. Ни кадрика. — Я смотрю на это иначе. — А если б нам удалось пробиться с фильмами, то всё пошло б по-другому? — Педер усмехается: — Тогда б нас возили лимузины. — Нет, Педер, серьёзно. Изменилось бы тогда что-нибудь? — Педер поворачивается к

табло. Осло отправляется по расписанию. — Судя по всему, мир прекрасно обходится без нас, — говорит он. — А разве мы — не мир? — Мир, Барнум. А классно знать, что никто не догадывается, как мы чертовски хороши? — Не уверен я в этом, — шепчу я. Педер стоит молчит. Зонтик наматывает круги на транспортёре. — Спрашивать о сценарии, который ты упомянул ночью, пока кощунство? — говорит Педер погодя. Сценарий у меня в чемодане. Я открываю его, зачёркиваю название «Ночной палач» и пишу поверх «Ночные парашники». Педер хлопает меня по спине и чуть не пляшет от нетерпения. — Стильное название, Барнум, — говорит Педер и первым делом заглядывает сценарию под хвост. Считатель. Увидев цифру, он немеет. — Четыре с половиной часа? — мямлит он потом. Я захлопываю чемодан. — И что с того? — Барнум, это слишком долго. — И я запрещаю менять хотя бы запятую. — Мы подходим к стойке, я регистрируюсь. Чемодан уплывает в дырку и пропадает там. Мне выдают посадочный талон. Пассажиров скликают на мой рейс. И Педер, заезженный оптимист, улыбается мне: — Сдюжишь? — Сдюжу. — Томасу я куплю что-нибудь офигенное! — Я закрываю глаза: — Договорились. — И мы обнимаемся на

прощание, обнимаемся в зале Темпельхофа, как мы тысячи раз обнимались и прежде, Педер и Барнум, толстун и кнопка. Откуда я мог знать, что этот раз последний? Я этого не знаю. Педер говорит: — Я прилетаю завтра утром. — Он вскользь чмокает меня в щёку: — И передай привет твоему малохольному братцу! — Педер издал свой неподражаемый смешок подхватил с транспортёра зонтик и, зажав под мышкой сценарий, засеменил в сторону такси. Но он не прилетел назавтра. Он разбился в аварии по дороге в отель, в «Кемпински». Меня остановили на контроле безопасности. Вооружённый охранник отвёл меня в сторону, в особое помещение. Задёрнул тонкую занавесочку. Я вывернул в лоток всё содержимое карманов: ручку, фонарик, расчёску, ключи и зеркальце. Но когда он массирует меня своим электрическим щупом, я продолжаю звенеть. Снимаю пояс. Не помогает. В конце концов он просит снять ботинки. Я вынужден подчиниться. Отдаю ему свои туфли. Он берёт их резиновыми перчатками. Ощупывает изнутри. Переворачивает и простукивает подмётки. А потом отламывает высокие каблуки на обоих. Я отворачиваюсь. Приходит ещё один охранник, тоже суёт нос в мои испоганенные туфли. Чтоб задекларировать мои

обманные, фокусные туфли, потребовалось два амбала с оружием. Мне разрешают одеться. Они улыбаются молча. Я стал на четыре сантиметра ниже. Это не играет никакой роли. Наконец меня опускают, я слышу их смех за спиной. Я поднимаюсь в автобус и еду к самолёту. Идёт дождь. Я рысцой бегу по крутому трапу. Отсюда зал прилёта похож на овальный храм, с колоннами и сводами, на грязный храм путешествующих. Ждали меня одного. Кто-то кивает, я делаю вид, что никого не узнаю. Мне досталось последнее место, в хвосте. Я пристёгиваюсь и прошу стакан воды. Самолёт выкатывает на рулёжку. И пока мы набираем высоту, с аэродрома посреди Берлина поднимаемся посреди жилых домов вверх, я вижу людей в этих домах, они начинают новый день, раздвигают занавески, включают лампы, поливают цветы, садятся завтракать, пьют кофе, листают газеты, кормят детей — настоящее кино, думаю я, человеческая история от окна к окну, простые привычные действия, повседневная очаровательная рутина, вот моё кино, а в последнем окне я вижу пожилую пару, они сидят в кровати и целуются, а потом самолёт взмывает в облака и мне приносят стакан воды.

(эпилог)

Встречает меня в Форнебю Болетта. Мы не виделись с того дня, как я бросил её на Блосене. Она стала более старой, чем была Пра, жизнь в ней повернула вспять, бабка врастает в землю и уже ниже меня, сплошь морщины, сгорбленная, пахнет сохлым фруктом. Но в руках, когда она берёт меня, ведёт к стоянке такси, где, к всеобщему негодованию, проворно пролезает без очереди, чувствуется прежняя твёрдость и бестрепетность. Идёт редкий снег, тает, не долетев до земли. Мы залезаем на заднее сиденье. Болетта трётся щекой о моё плечо. — Теперь ты не полчеловека, Барнум. Ты цельный. — Это что значит? — Но она не отвечает, а я думаю, пока мы переваливаем пригорки Гаустада, что не хочу я быть цельным, целым, не вполовину, и я так стискиваю руку Болетта, что она охает. Красное кирпичное здание появляется между голыми чёрными деревьями, со своими башенками и окнами оно похоже на сказочный замок, а не на дом скорби. — Почему его упекли сюда? — спрашиваю я. Болетта расплачивается с шофёром. — Это маму сюда положили, — отвечает она тихо. И вдруг резко оборачивается, словно только сейчас, слишком поздно, вспом-

нив важное: — Барнум, а где твой багаж? — Я мотаю головой: — Исчез. — Исчез? — Ерунда, пустой старый чемодан, — шепчу я. — И мы идём к ним. Первый, кого я замечаю в общей, наверно, комнате, — маленький мальчик в серых брюках и синем свитере. Он первый раз меня видит. Он сидит на стуле, слишком высоком для него. Сидит не шевелясь. Это Томас. Я встаю перед ним. В его глазёнках одновременно страх и любопытство, словно он всегда и во всём опасается подвоха. Я не знаю его, но узнаю в нём себя. И понимаю, что за эти глаза, мрачные, легкоранимые, пойду в огонь и в воду. Неуклюже, беспомощно я кладу руку ему на макушку, но перепуганный мальчик пригибается, уворачиваясь, как и я, конечно, сделал бы на его месте. Вивиан следит за нами, и когда я встречаюсь с ней взглядом, вдруг вспыхивает. Кольцо по-прежнему у неё на пальце. И такое ясное-ясное чувство, что оба мы должны набрать побольше воздуха, опамятоваться, чтобы не пасть под тяжестью этой тишины. Болетта берёт Томаса на руки. — Фред у Веры, — шепчет Вивиан. Я иду по коридору. Под дверью отирается санитар. Он распахивает мне дверь. Мама лежит в кровати. На вид спит, но улыбается, едва я вхожу. Худой мужчина стоит у окна, спиной ко мне.

Мама порывается сказать что-то, но во рту ни словечка, и она ударяется в слёзы. Старый, тощий мужчина оборачивается. Это мой брат. Его глаза смотрят прямо. — Чего вернулся? — спрашиваю я. И непонятно, на меня или на маму смотрит Фред, когда он отвечает: — Чтоб рассказать тебе всё это.